

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Св. митр. Иларион | Коялович М. О. | Соловьев В. С. |
| Св. Нил Сорский | Лешков В. Н. | Бердяев Н. А. |
| Св. Иосиф Волоцкий | Погодин М. П. | Булгаков С. Н. |
| Иван Грозный | Беляев И. Д. | Хомяков Д. А. |
| «Домострой» | Филиппов Т. И. | Шарапов С. Ф. |
| Посошков И. Т. | Гиляров-Платонов Н. П. | Щербатов А. Г. |
| Ломоносов М. В. | Страхов Н. Н. | Розанов В. В. |
| Болотов А. Т. | Данилевский Н. Я. | Флоровский Г. В. |
| Пушкин А. С. | Достоевский Ф. М. | Ильин И. А. |
| Гоголь Н. В. | Одоевский В. Ф. | Нилус С. А. |
| Тютчев Ф. И. | Григорьев А. А. | Меньшиков М. О. |
| Св. Серафим Саровский | Мещерский В. П. | Митр. Антоний Храповицкий |
| Шишков А. С. | Катков М. Н. | Поселянин Е. Н. |
| Муравьев А. Н. | Леонтьев К. Н. | Солоневич И. Л. |
| Киреевский И. В. | Победоносцев К. П. | Св. архиеп. Иларион (Троицкий) |
| Хомяков А. С. | Фадеев Р. А. | Башилов Б. |
| Аксаков И. С. | Киреев А. А. | Концевич И. М. |
| Аксаков К. С. | Черняев М. Г. | Зеньковский В. В. |
| Самарин Ю. Ф. | Ламанский В. И. | Митр. Иоанн (Снычев) |
| Валуев Д. А. | Астафьев П. Е. | Белов В. И. |
| Черкасский В. А. | Св. Иоанн Кронштадтский | Лобанов М. П. |
| Гильфердинг А. Ф. | Архиеп. Никон (Рождественский) | Распутин В. Г. |
| Кошелев А. И. | Тихомиров Л. А. | Шафаревич И. Р. |
| Кавелин К. Д. | | |

КОНСТАНТИН ПОБЕДОНОСЦЕВ

**ГОСУДАРСТВО
И ЦЕРКОВЬ**

ТОМ II

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2011

УДК 347
ББК 66.1(2)5
П-41

Победоносцев К. П.

П-41 Государство и Церковь / Сост., предисл., коммент. О. А. Суржик / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2011. — Т. II. — 624 с.

Институт русской цивилизации выпускает двухтомное собрание сочинений великого русского мыслителя, ученого, обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева (1827–1907).

Как христианский мыслитель Победоносцев учил, что наука и философия содержат лишь вероятностные предположения, не имеющие в себе абсолютного, безусловного и цельного знания. Только православная вера, которую русский народ «чувствует душой», способна давать целостную истину. Победоносцев последовательно отстаивал идеал монархического устройства, называя западную демократию «великой ложью нашего времени». В своих трудах он убедительно критикует основные устои западной государственности, видя ее главные пороки в псевдонародовластии и парламентаризме, ибо они «рождают великую смуту», затуманивая «русские безумные головы».

Часть произведений, публикуемых в настоящем двухтомнике, издаются впервые после столетнего перерыва.

УДК 347
ББК 66.1(2)5

ISBN 978-5-902725-95-4

© Институт русской цивилизации, 2011.

ГОСУДАРСТВО

Реформы

О ЖАЛОБАХ НА ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЕДОМСТВА

В настоящее время и у нас в России, и повсюду слышатся и в публике, и со стороны ученых юристов голоса, требующие постановить общим правилом, что всякое пререкание, имеющее вид спора о праве, каком бы то ни было, подлежит рассмотрению *суда*, что *судебная власть* имеет право привлечь к ответственности судебным порядком всякого, на кого только предъявлен иск или подана жалоба о нарушении права.

Это требование, соответствуя вполне идеальному представлению судебной власти, не может, однако, до сих пор почти нигде безусловно осуществиться, ибо в действительности сталкивается с такими условиями быта общественного и общественной организации, которые никак его не выдерживают.

Суду принадлежит юрисдикция, т[о] е[сть] разрешение спора о праве. Приговоры свои суд основывает на законе; но возле суда стоит *власть правительственная и административная*, имеющая другое отправление, также основанное на законе.

Когда спор о праве возникает между *частными лицами*, единственным авторитетным толкователем закона между сторонами является суд, и это совершенно естественно: над

частными людьми стоит *власть судебная*. Но когда по поводу действия *административных властей* возникает сомнение о праве и противодействии частного лица административной власти или наоборот, поставить *суд* и в этом случае единственным истолкователем закона значило бы признать, что органы власти правительственной неспособны иметь авторитет в своей деятельности, опирающейся на закон, значило бы фактически поставить суд выше всех властей в государстве, ибо тогда одному суду принадлежало бы право поверять действия всех властей и определять исходную точку для каждого действия административной власти.

Во многих случаях суд был бы и неспособен поставить себя на место администрации и определить нормальный характер ее деятельности при тех условиях, при которых она действовала; не в состоянии был бы восстановить всю фактическую обстановку данной минуты, в которую действовало или может действовать административное лицо; не в состоянии был бы усвоить себе тот процесс *усмотрения*, которым по характеру администрации определяется иногда деятельность ее органов. В администрации есть своего рода техника, совсем отдельная от техники судебной.

Поставленная в такое положение судебная власть, по закону тяготения всякой власти к насилию, перешла бы в господство и произвол, т[о] е[сть] уронила бы себя, выйдя из своей нормальной сферы.

Коренной характер судьи состоит в том, что он не отвечает за свои приговоры, напротив, сущность администрации состоит в том, что она отвечает за свои действия.

При такой разнице в основном принципе положение судьи, когда бы ему принадлежал контроль над действиями администрации, контроль безотчетный, было бы слишком соблазнительно для человеческой природы. Нельзя же себе представить отвлеченно всех судей мудрыми, беспристрастными, независимыми от сторонних влияний, от взгляда партий, от увлечений минуты и проч[ее], и нельзя, наоборот, смотреть подозрительно на всякую деятельность администрации.

Мы можем быть уверены, что где администрация не пользуется авторитетом и уважением, там не пользуется ими и суд, может быть в других отношениях, может быть при иной технике производства. И потому там, где суд получил бы фактически такую преимущественную власть в государстве, непременно возник бы антагонизм между властями, от которого ничего, кроме вреда, быть не может. И этот антагонизм привел бы непременно к унижению и падению судебной власти, ибо она вышла из своей сферы на арену борьбы политической.

В самом деле, каково должно быть положение лица, принадлежащего к администрации, если по каждому своему действию оно может быть привлечено к суду, так же как всякий человек, только волею истца. Когда мы говорим о суде, здесь не может быть середины и сделки, здесь каждое лицо, привлекаемое к суду, становится ответчиком. Это значит: оно должно явиться на суд, оправдываться, быть при суде, подчиняться формам судебного производства. Администрация, при том же, действиями своими в отношении к частным лицам возбуждает недовольство; недовольный всегда считает себя правым и может просто из досады на действие вполне законное привлечь деятеля к суду. Поставить администрацию в такое положение – значит сделать невозможным нормальное и спокойное отправление администрации.

Далее, с понятием о суде соединяется понятие об определенных строгих формах последовательного производства. Применение этих форм к бесконечному разнообразию вопросов администрации и всяческих столкновений администрации с частными лицами сделало бы для суда невыполнимою главную его задачу – суд и расправу по частным столкновениям. Для разрешения всех этих случаев потребовалось бы такое размножение органов суда, что не достало бы людей и средств для правильной деятельности.

При этом следует иметь, конечно, в виду администрацию в том виде, как она у нас существует и как она организована почти повсюду в Европе, обнимая тысячи разнообразнейших предметов, по коим государство соприкасается с деятельностью и

имуществом частных лиц, разветвляясь на сотни и тысячи служебных лиц, связанных между собою иерархической сетью.

В этой области, которая так обширна, что едва можно найти ей границы, и так разнообразна, что едва можно уместить все ее предметы в общие схемы и формулы, какое должно возникать неисчислимое множество столкновений, неудовольствий и пререканий. Странно и подумать, что было бы, когда бы все эти интересы, возбуждаемые и раздражаемые действиями администрации, находили себе открытую дорогу в суд.

Этот вопрос не может быть разрешен отвлеченно. Как бы мы ни решили по разуму и по общему соображению вопрос государственной политики, решение наше будет ложно, если мы не справились с условиями действительности, с экономией нашего общества, с силами и средствами, со всеми теми данными, посреди коих решение наше должно исполняться, осуществляться. Иначе дело, которое думал решить закон, внешнее правило, жизнь будет решать по-своему, и из этого столкновения между внешним правилом и действительностью ничего не может произойти, кроме неправды и соблазна.

Данные, представляемые внутреннею экономией общества, до крайности разнообразны. В одном месте вся администрация – как центральная, так и местная – устроена извне, совершается посредством органов государственной власти, поставленных и скрепленных между собою сильною централизацией власти. Чуть где возникло столкновение, оно требует для разрешения своего вмешательства правительственной власти. Всякая нужда частного лица в разрешении своем связана с правительством. Жизнь общественная и жизнь общинная не имеют инициативы и не привыкли к ней. Общество живет в массе первобытными инстинктами интереса и правды и еще не выработало себе твердых, реальных начал для деятельности, для суждения о предметах и о границах права. Само понятие о законе еще не сложилось в твердом и ясном виде. Органы администрации, особливо на низших степенях, еще не имеют ясного понятия о пределах своей власти и о круге своего действия и принуждены беспрерывно обращаться к авторитету

властей, поставленных выше, так что всякое почти действие низшего органа имеет отзыв и отголосок в высших сферах управления, и самые мелкие вопросы местной администрации могут доходить до решения центральной власти.

Этими недостатками страждет в большей или меньшей степени *администрация во Франции и Германии*, где она сложилась иерархически; но там все еще большая разница с тем, что мы видим у себя в России.

У нас еще на очереди и в полном ходу много таких вопросов, которые там давно уже разрешила история; в экономию тамошнего общества там давно уже вошли такие статьи, которые в нашей экономии только что подняты или находятся в процессе прививки; правительство там уже разрешило многие задачи, которые у нас еще не близки к разрешению.

Там в ходу и в обороте такие формы жизни и деятельности, такие понятия и правила, которые у нас еще кажутся чуждыми и странными.

Там в обществе общее образование, общий склад, тогда как у нас и по пространствам, и по населению, и по экономическому развитию, и по местным интересам можно сказать: *что город, то норы, что деревня, то обычай*.

У нас немало пустынь огромнейшего пространства, где по крайне слабому развитию местной жизни правительству приходится искусственно возбуждать ее и поддерживать, и регулировать ее отправление, и удовлетворять самым первым, основным потребностям государства и местной экономии. В таком разобщении и рассеянии понятно, что централизация властей у нас еще во многих случаях представляется необходимостью, ибо государство не может дать полной делегации нашим органам администрации, поставленным на дальних пунктах и не имеющим сдержки и регуляции ни в обществе, ни в твердости закона.

Словом сказать, на правительстве у нас лежит еще обязанность созидания, установления, воспитания в большей мере, чем где-либо на западе Европы. Понятно, что при этом частное лицо повсюду, на всех пунктах, во всех нуждах, встречается с администрацией и ощущает потребность обращаться к ней.

С другой стороны, представляется нам Англия с ее особенностями, из коих главная – издавна сложившаяся и укрепившаяся исторически привычка к самоуправлению.

В *Англии* нет чиновнической иерархии должностных лиц в том смысле, в каком мы ее знаем у себя, нет той крепкой централизации властей, какая у нас существует.

Местное управление происходит совершенно независимо от участия правительства королевского. Лица, платящие подати и соединенные по жительству в известном территориальном округе, собираясь от времени до времени, выбирают из среды своей или назначают по условию ответственных комиссаров; *одного*, например, для попечения о церковных делах, *другого* – для дел общественного призрения, *третьего* – для смотрения за дорогами, *четвертого* – для местной полиции.

Все эти власти действуют самостоятельно и несколько друг от друга не зависят и не имеют общего административного центра, к которому примыкали бы. Но этого еще мало. Иерархическая администрация, по существу своему, не может обойтись без произвола и усмотрения.

В ведении нашей администрации состоит так много дел, она соприкасается с таким множеством и разнообразием интересов, требующих немедленного разрешения, что дело ее никак не может быть доведено до точности строгого правила. В этом виде администрация состоит из звеньев, состоящих во взаимной связи; низшие члены получают от высших наставления и приказание не только общие, но и по частному делу; затруднения и недоумения, возникающие на низших ступенях, восходят к разрешению на высшие ступени иерархии, так что во многих случаях бывает затруднительно определить сразу меру ответственности должностного лица, не исследовав всех отношений между ним и другими должностными лицами, от которых он зависел, и в том круге действия, который указан ему по его официальному положению, нелегко бывает определить, по каким побуждениям и в меру ли надобности он действовал.

Совсем в ином положении находится должностное лицо в *Англии* или в *Северной Америке*. Английский закон стара-

ется заранее определить в своей инструкции все случаи вмешательства должностных лиц в частные дела. Необходимо, чтобы эти правила были как можно более точны и положительны. Эти правила не оставляют ровно ничего вмешательству какой-либо высшей администрации, не предполагают никакого высшего авторитета и служат единственным неуклонным руководством для самих деятелей, которые не должны ни от кого ожидать наставлений, приказаний или подкреплений. За нарушение каждого правила положено взыскание, которое исполнитель имеет всегда в виду перед собою. Нарушено правило – по жалобе частного лица суд входит в рассмотрение этого нарушения, как всякого другого. Суду предстоит здесь только сличить действие с ясным правилом и определить взыскание. При этом и речи не может быть о каком-либо столкновении с администрацией, с приказаниями высшей власти. Такое приказание суд отрицает, ибо по сущности дела не может быть никакого приказания.

Наконец, нельзя забыть еще, кто эти представители судебной власти в Англии.

Положение их не имеет себе подобного ни в какой другой стране Европы. Такого единства власти не имеет никакой другой суд. В Англии видим всего 15 судей, и круг действия их простирается на все государство. Они все равны между собою, власть принадлежит им нераздельно, и закон не знает других судей в настоящем смысле этого слова. Они получают содержание 40 000 руб[лей] сер[ебром]. Они выбираются из лиц, которые приобрели высший авторитет по уму, знанию и нравственности, качествами в своем кругу деятельности и по своему положению, как общественному, так и политическому, стоят не ниже министров и государственного канцлера. По своему положению они независимы от влияния партий и мнений политических. Вот каковы английские судьи, принадлежащие к верховным сановникам государственным; они служат действительно представителями власти политической, не завися не только¹ ни от произвола административного, ни даже от парламентских решений, ибо суд английский по своему

положению не зависит даже от той силы, которую называют мнением общественным, во всех ее организованных и дезорганизованных проявлениях.

Для ясности укажем здесь хотя бы на один пример. Сравним, например, что относится к государственным повинностям и что – к местным в разных государствах, – и мы увидим великую разницу. Без сомнения, многое зависит здесь от неправильного распределения, от недостатка в практическом соображении, от господства старых привычек, от государственного неведения или от бюрократической претензии все знать лучше всех и т[ому] п[одобное]. Но кроме всех этих причин, сколько есть статей, по которым сама экономия общества не позволяет возложить на общину или земство в известной местности попечение о таких интересах, которые для местного населения не имеют еще реального и практического значения, имея его в высшей степени для государства.

Представим себе, например, такое дело, как проведение и поддержание большой дороги с одного конца России на другой конец. Дорога проходит по разным местностям самого разнообразного свойства и для тех местностей, по коим проходит, имеет вовсе неодинаковое значение; она может проходить на несколько сот верст, например по безлюдной степи. Между тем *для всего государства* дорога эта имеет значение величайшей важности. Очевидно, что попечение об этой дороге не может быть распределено экономически по тем местностям, через которые она проходит, и не может быть возложено на местные общины, которые по бедности своей не могут принять этого на себя, а вследствие того управление дорогой непременно получает государственную организацию и устраивается иерархически, как правительство чиновников. Этого можно бы избежать, отдав, например, дорогу в содержание частному капиталисту, но такой способ не всегда удобен для государства, и притом что делать, когда в стране не находится таких капиталов и предпринимателей, которые могли бы взяться за это дело. Государство поневоле берет его на себя, и вот одна такая статья сколько возбуждает неизбежного соприкосновения го-

сударственных интересов с частными, сколько дает поводов чиновникам и государственным приставам вмешиваться в свободу частных отправлений, сколько производит пререканий о нарушениях пределов власти.

Стоит только вникнуть ближе в нашу действительность, чтобы убедиться, что таких статей у нас неисчислимо количество. Легко сказать, что государство слишком много себе захватило, что гораздо лучше бы большую часть статей отнести к частной деятельности и т[ому] п[одобное], легко сказать, но трудно исполнить. Переберем все статьи казенного управления по разным ведомствам: много ли в числе их найдется таких, по которым можно было бы, не задумываясь, с государственного дела сойти на вольное дело, общественное или промышленное? Конечно, их найдется весьма немного.

В Англии, например, или во Франции государство по множеству статей своей государственной экономии, например по снабжению войск, по заготовке снарядов, орудий и т[ому] п[одобного], может не выходить из пределов гражданского отношения, оставаясь в качестве юридического лица по отношению к гражданам; внутренняя экономия общества, экономия частной промышленности до того развита, что может во всякое время удовлетворить всем потребностям, какие предъявит государство; рынок частной промышленности так обширен, что запасы его не истощаются, всегда готовы и пополняются до бесконечности, соразмерно спросу.

У нас, напротив, государство рискует остаться без оружия, без амуниции и т[ому] п[одобного], если положиться на текущие рыночные запасы, так они скудны, и так скудны предприимчивость и капиталность частных промышленников. И потому поневоле государство остается заводчиком, фабрикантом и т[ому] п[одобным], удерживая правительственную административную организацию заводского управления.

Сравним, например, во Франции или в Англии и у нас отношение населения к пространству обработанной земли и к необработанной, количество частных владений, значение общинного владения, отношение городского населения к сельскому,

число бездомных работников, движение частной промышленности и пр[очее] – и мы поймем, почему государственные имущества имеют там столь слабое, а у нас столь важное значение, и почему там не требуется, а у нас требуется особое громадное управление государственными имуществами с пространной иерархической организацией.

Таких статей множество; безумно было бы думать, что можно сразу от них отделаться, сразу снять с них печать государственной власти. Дело благоразумной законодательной политики смотреть, чтобы таких статей лишних и ненужных не было, и, где только можно, сводить дело с государственно-го управления на общественное или частное, но в этом нужна крайняя осмотрительность, и руководствоваться в нем только теоретическими соображениями о пределах деятельности государства, применять к нему отвлеченные истины, которые проповедуют В. Гумбольдт² и Джон Стюарт Милль³, было бы безумием, недостойным государственного деятеля, и стоило бы слишком дорого существенным интересам государства.

Конечно, в высшей степени необходимо, чтобы частному лицу была управа на должностное лицо, была возможность искать убытков от неправильных действий должностного лица. Но здесь, прежде всего, следует разрешить вопрос: как это устроить, не нарушая высших государственных интересов.

Нарушение права возбуждает иск; но не все права одинаковы по своей природе. Есть право частное, где *мое* противоплагается *твоему*, и здесь я без затруднения могу привлечь всякое частное лицо к ответственности перед судом за действия, нарушающие *мое* право, так как здесь предполагается, что нарушитель действовал от себя, своим именем, в своем интересе и на виду исключительно столкновения частных интересов.

Совсем иное дело, когда столкновение между частным лицом, с его интересом, и между должностным лицом, действующим во имя интереса государственного или общественной пользы. Здесь нельзя сказать, что должностное лицо непременно отвечает имуществом за каждое нарушение интереса частного лица, это еще вопрос.

Надо решить: *в границах ли своего права* действовало должное лицо относительно интересов частного лица. Положим, что тот же вопрос решается и в споре о праве гражданском, но там решение его просто, ибо всякое право есть *мое* частное, а здесь право должностного лица есть *государственное, не свое*, и в состав почти каждого права входит значительная доля *усмотрения*.

Итак, разрешение этого вопроса несправедливо было бы предоставить исключительно суду, ибо суд, имея свою область *определятельных и точных* прав, не в состоянии взвесить все отношения и мотивы, по коим действует администрация, особенно по специальному управлению.

Решение этого вопроса нельзя предоставить исключительно суду, ибо суд делается в таком случае *господствующею* властью, что ни с чем не сообразно, ибо все власти в государстве равны.

В решении этих вопросов администрация должна иметь свой голос, иначе произойдет антагонизм властей, крайне вредный для государственного порядка, и судебная власть на практике, конечно, увлекаясь, сама не выдержит столкновения с властью административной, и на деле выйдет унижение власти судебной.

Самый практический выход из этого положения – поручить рассмотрение всех предварительных вопросов о действиях и об ответственности должностного лица соединенному присутствию в двух инстанциях:

во-первых, общему собранию судебной палаты, к участию в коем *с правом голоса* приглашают местного начальника губернии, вице-губернатора и в потребных случаях – местного начальника того особого управления или ведомства, до коего дело по роду своему относится;

во-вторых, соединенному присутствию сенаторов первого и судебных департаментов.

В судебной палате председательство должно принадлежать председателю судебной палаты, а в сенате – первоприсутствующему судебного департамента.

Такого рода присутствия будут предохранительными органами, которые помогут удержать равновесие властей и подержать достоинство власти судебной. Необходимо притом заметить, что есть множество случаев, в которых просителю, обиженному действием чиновника, совсем невыгодно будет и хлопотливо преследовать его судом, а выгодно тотчас получить себе управу и удовлетворение от начальства того чиновника. Таких случаев несть числа, особенно на низших ступенях управления, в канцеляриях присутственных мест. Например, потребовали от просителя лишнее количество гербовой бумаги, взыскали с него лишние гербовые пошлины по небрежению, например, столоначальника, показывавшего в указе число исписанных листов и т[ому] п[одобное]. Надо предоставить возможность разрешения таких случаев быстрым путем по начальству. Теперь начальство об этом не всегда заботится, но когда оно будет знать, что дело можно вести судом, то дело получит движение и действительно виновный поспешит удовлетворить обиженного.

На этом основании следовало бы, между прочим, постановить:

1. Обиженному предоставляется искать управы или судом, или по начальству.

2. Начальство, получив жалобу, должно немедленно сообщить ее обвиняемому (для того, что он, узнав о том своевременно, мог войти в сделку с просителем и удовлетворить его добровольно).

3. Предъявление жалобы по начальству не препятствует обратиться к суду, но с начатием дела путем суда останавливается все производство, заведенное у начальства.

4. Для начатия дел судебным порядком надо положить срок. Началом срока всего проще и удобнее, кажется, положить самое совершение действия, составляющего повод к жалобе.

5. Судебное производство начинается подачи просьбы *об управе*, т[о] е[сть] о разрешении формального суда.

6. Просьба подается на чиновников местного управления до известной иерархической линии в соединенное присутствие областного, свыше этой линии, в соединенное присутствие сенатское.

7. От обвиняемого отбирается объяснение.

8. Соединенное присутствие, если признает требование *бесспорным*, ясным, может само положить взыскание убытка.

Это последнее правило необходимо именно для тех случаев, о которых сказано выше, если само начальство обвиняемого чиновника по невниманию, по нерешительности и проч[ему] не примет мер; притом само начальство, не имея судебной власти, едва ли вправе будет, например, наложить взыскание на подчиненного, хотя бы дело было весьма ясно, а соединенное присутствие может это сделать, не доводя до формального суда. Кроме того, соединенное присутствие должно обсудить:

во-первых, какого рода действие служит поводом к обвинению, и если окажется, что оно имеет характер проступка или преступления, то дать делу уголовное движение;

во-вторых, может ли чиновник подлежать за свое действие какой-либо ответственности.

Есть множество действий, которые нанесли частному лицу великий ущерб, но за которые все-таки нельзя подвергнуть чиновника ответственности. Тут есть множество оттенков. Положим, что по закону должностное лицо должно действовать в данном случае *«со всюю поспешностью»*, или *«соображаясь с временем и настоятельностью нужды»*, или *«глядя по обстоятельствам»* и т[ому] п[одобное]. Закон не дает мерки для суждения о том, что в данном случае должно считаться *«настоятельною необходимостью»* и т[ому] п[одобное], словом сказать, о фактических условиях деятельности чиновника. Положение его в случае непосредственной и безусловной ответственности перед судом было бы крайне затруднительно. С одной стороны, он отвечает перед своим начальством за то, что не удовлетворил нуждам администрации, о которых нередко нельзя и судить иначе, как с точки зрения интересов администрации; с другой стороны, суд, *невзирая ни на какие нужды*, которые суд не всегда и знать может, станет требовать его *на расправу*. Как же надеяться, что порядочный деятель согласится стать между двумя этими огнями? Администрация составляет для общества столь же необходимую потребность, как и

судебная власть, и одну не стоит унижать на счет другой, до этого не допустит и инстинкт общественной охраны.

Вот главные основания тех преобразований, к которым можно приступить теперь же, а развитие подробностей этого дела следует предоставить практике.

17 марта 1864 г.

О РЕФОРМАХ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

I

К числу важнейших вопросов, возникших и поставленных к разрешению в наше время, принадлежит вопрос об устройстве лучшей системы судопроизводства.

В какую сторону ни обратится законодатель, желающий утвердить на прочных основаниях государственный порядок и исправить злоупотребления, копившиеся веками, он повсюду встречается с этим вопросом; забыв о нем, отложив его разрешение на неопределенное время, публичная власть лишила бы сама себя орудия для достижения главнейшей цели своего существования и не могла бы надеяться на прочный успех в деле общественного устройства.

Так и должно быть. Жизнь отдельного человека получает смысл и значение не от внешних условий благосостояния, не от материальной силы, не от разнообразия событий и явлений, но от идеи, которая одушевляет жизнь.

Без идеи вся жизнь представляется несвязным сцеплением случайных явлений, странствованием по свету без плода и без цели. Без идеала, верно хранимого в душе, ни один человек не может собрать внутренние свои силы и направить их от минутных интересов к великой жизненной цели; без идеала потеряется он в день забот, скорбей и лишений, посреди непре-

станных падений не найдет в себе силы встать. Есть в человеке идеал – и вся жизнь озаряется для него ярким светом, обозначается ясная цель, вызываются из души скрытые в ней силы, и одна родит другую в минуту испытания. Возникают ли сомнения – идея рассеет их; после падения она же дает силу встать; всякому труду она дает смысл и основу, всякому стремлению дает направление, всякому горю указывает конец. Можно сказать, что важнейшее дело в жизни человека есть хранение идеала, ибо идеал есть единственно верная опора, которую он в жизни имеет.

То же самое, что об отдельном человеке, должно сказать и о народе, а в известном отношении – и о государстве. В бесконечном разнообразии отношений между гражданами, в ежеминутном столкновении и сближении частных желаний и потребностей не необходима ли твердая норма, не необходимо ли правило, которое всему указывало бы место и меру? Назначение государства состоит в том, чтобы осуществлять эту норму, этот идеал, перед коим всякое возникающее зло должно освещаться и исправляться и все расстроенное приводиться в порядок. Этот идеал для государства есть право. В нем состоит драгоценнейшее достояние общества и главная основа внутреннего (а следовательно, и внешнего) его благосостояния. Чем яснее отпечатлевается, чем святее хранится этот идеал в сознании общественном, тем более правды в обществе, тем более безопасности для каждого гражданина. Верное хранение его есть священнейшая обязанность и вместе священнейшее право и лучшее оправдание государственной власти.

Для того, чтобы право было не одним только словом, для того, чтобы внешнее выражение его, закон, не был только обманчивой фразой, для этого необходим правый суд. Только посредством суда законная правда осуществляется, переходит в действие. Нет правого суда, нет и правды общественной. Сколько бы раз и где бы ни уклонялись от закона действия отдельных лиц, нарушитель закона должен знать твердо, обиженный должен твердо надеяться, что перед лицом суда всякое уклонение обнаружится: зло будет объявлено злом и правда – правдою.

Как бы ни смешались понятия о правде в сознании отдельных лиц, перед зеркалом суда должно быть восстановлено единое, истинное, нормальное сознание законной правды: суд должен быть совестью общественной. Что же, если это зеркало потускнело или так дурно устроено, что не может с верностью отражать в себе образ общественных явлений? Если око, которое должно было служить светильником общественному телу, само покроеется тьмою, чего может ожидать, чему подвергается общество, лишенное своего света?

В исторической жизни общества бывают критические минуты, когда с особенною ясностью раскрываются перед всеми издавна таившиеся общественные раны, когда вдруг обнаруживаются многочисленные нужды, требующие настоящего удовлетворения, и смятенное общество не находит под рукою ни средств, ни деятелей к разрешению самых жизненных вопросов. Обращаясь к самому себе со всею силою рефлексии, общество внутри себя начинает отыскивать причины зла и средства к его исцелению; работая над собою, оно возбудит в себе тот спасительный процесс, посредством которого всякий живой организм залечивает собственные раны; но для того, чтобы этот жизненный процесс начался и действовал успешно, общество неминуемо должно обратиться к жизненному началу – к правде и в ней одной искать себе спасения. А правда должна быть правдою на деле, а не праздным словом.

Итак, понятно, отчего наряду с голосами, вопиющими о правде и требующими правды и света, громче и громче слышатся другие, которые говорят о том, что правды не может быть и не будет без правого суда; что невозможно ожидать исполнения законов и водворения законности, если нарушитель их на деле всегда имеет средство уклониться от ответственности; невозможно невинному быть уверенным в оправдании, а преступнику – бояться наказания, если обвинение и оправдание становятся делом произвола, формы и обрядности; невозможно гражданину быть уверенным в своей собственности и положиться на слово и действие своих сограждан, если таков механизм гражданского правосудия, что

защищать и отыскивать добросовестно свое право во многих случаях тягостнее, нежели от него отказаться.

II

«Ничто так ко управлению государства нужно есть, как крепкое хранение прав гражданских». Этими словами Петра выражается основное правило государственного устройства. Твердое хранение прав гражданских для правительства есть необходимейшее условие успешной деятельности на пользу общественную, для народа – условие материального и нравственного благосостояния. Твердое хранение прав гражданских устанавливает между гражданами, так же как между народом и правительством, прочную связь, основанную на взаимном доверии граждан друг к другу, правительства – к народу и народа – к правительству. Не может быть общего уважения к законам без твердого их хранения: все законы писать, если не исполнять их. Право собственности, разумея это слово в обширном смысле, есть центр, к которому тяготеют и около которого развиваются все явления общественной жизни граждан. Для развития всякой жизни нужно движение; для человека движение невозможно без свободы, свобода же, как скоро она должна быть предоставлена многим, требует порядка. Этими свойствами обладает гражданское общество в таком только случае, когда каждый гражданин может спокойно и свободно располагать в пределах закона своими материальными и духовными силами и развивать их посредством труда; а труд может быть плодотворен лишь тогда, когда трудящемуся обеспечено спокойное пользование плодами его трудов, когда всякое насилие и посягательство на собственность, с чьей бы стороны ни последовало, является делом необыкновенным, исключением из общего порядка и немедленно уничтожается применением закона, применением правильным, последовательно единообразным и одинаково доступным для каждого, имеющего право.

Как бы ни была полна и совершенна система гражданских законов в государстве, законы остаются без действия и закон-

ность не прививается к народному сознанию, если существующий порядок судопроизводства не представляет гражданам верного средства доказать и защитить свое право и получить безотлагательное его разрешение, не обеспечивает им скорого и точного исполнения по решению. Напротив, несмотря на недостаточность и несовершенство законов гражданских, действие их оказывается благотворным и влияние – прочным, если оно обеспечено правильным, единообразным и скорым действием правосудия.

В настоящее время, когда всеми более или менее ясно сознаются недостатки существующей у нас системы судопроизводства, добросовестный мыслитель, добросовестный гражданин, горячо желающий водворения единого истинного блага, то есть правды, в своем отечестве, не может, не должен уклониться от современного вопроса об улучшении суда и расправы. Настоятельность разрешения этого вопроса не подлежит никакому сомнению. Или желаем мы правды и сознаем, что без нее не можем достигнуть прочного блага, или, помышляя только о личном и минутном интересе, остаемся равнодушны к идеалу благоустроенного общества. Если желаем правды, то не можем не искать средств, без которых осуществление ее невозможно. Если мы равнодушны, то что за дело нам до идеи, до опыта веков и поколений, до судьбы сограждан и будущего потомства? «Будем есть и пить: завтра, может быть, умрем». Авось уже после нас хлынет потоп разрушать покинутое нами здание!

Слава Богу, мы еще не дошли и, даст Бог, не дойдем никогда до состояния, в котором такой языческий взгляд на жизнь может встретить сочувствие в большинстве людей, заведующих общественными делами. Слава Богу, мы хотим еще верить, что каждое сословие у нас хранит в себе зерно общественного единения и любви к отечеству, и лица, которым принадлежит зачаток правительственной деятельности, и каждое из сословий готовы отозваться на призыв к общему делу правды, лишь бы в этом призыве не слышался голос раздражения и страсти. Итак, без раздражения и страсти постараемся и добрую мысль, и доброе желание разделить друг с другом посредством доброго

слова: от добрых слов родится ясное и твердое убеждение, а убеждение само собою приведет к доброму и прочному делу.

III

Прислушиваясь к голосам и суждениям, которые выражались до сих пор в обществе по поводу неофициальных и полуофициальных толков о судебной реформе, мы замечаем, что почти никто уже не оспаривает необходимости улучшения; но как и на каких началах перемена должна быть произведена – по этому предмету слышатся самые разнообразные мнения. Большинство, ограничиваясь поверхностною критикой учреждений и обычаев, останавливается на отдельных случаях злоупотреблений и несовершенств, на примерах, взятых наудачу, и не идет далее по непривычке отвлекаться от частных явлений к общим началам. Это голоса людей, которые видят зло, но не в силах открыть средство к его исцелению или предлагают местные средства для излечения болезни, тогда как начало ее таится в самом организме, ею пораженном. Таковы большею частью политические дилетанты, рассуждающие обо всех вопросах без приготовления.

За ними следуют те близорукие практики, которые черпают свои сведения исключительно из личного опыта, и теорию свою извлекают из того же механизма, к которому прикована их служебная деятельность. Сроднившись продолжительным навыком с формами и обрядами, посреди коих проведены излучистые пути правосудия, не различая живого человека и его живых потребностей от формы, в которой воплощается для них всякое дело, они не способны приступить к анализу тех явлений, которые ежечасно совершаются перед их глазами и при их содействии, не в силах распутать сеть канцелярских обрядов и разобрать, какие узлы в ней необходимы и какие запутывают дело, не облегчая его. Всякое прикосновение к форме и букве приводит их в недоумение, и потому средства к улучшению, предлагаемые такими людьми, заключаются, по большей части, в перестановке и видоизменениях существую-

щих обрядов и форм, без которых робкое их сознание не может представить себе судебного дела.

Не менее близоруки и те восторженные наблюдатели иноземных учреждений, которые воображают, что стоит только пересадить на нашу почву уставы и формы суда, успешно действующие в соседнем государстве, чтобы и у нас явились те же блистательные результаты. Эти люди забывают, что всякий закон должен соответствовать насущной потребности данного общества, что если духовною стороною своею закон основывается на началах, общих всему человечеству, то в материальной, практической части своей он необходимо вытекает из особенных условий того общества, для которого назначен; и что оставить в стороне эти условия значило бы вместо закона, подлежащего исполнению на деле, дать отвлеченное правило или мертвую форму. Законодатель не должен забывать ни об исторических явлениях народной жизни, ни об условиях времени и места, ни об обычае, который развивается в народе самостоятельно и которым закон пренебрегать не может. Нередко форма, оказавшаяся в одном государстве и у одного народа совершенною и вполне соответствующею своей цели, в другом краю оказывалась неприложимою к жизни; учреждение, которое в одном краю действует с успехом, в другом оказывается несогласным с народными понятиями и нравами. Обо всем этом легко может забыть восторженный наблюдатель иноземных учреждений, особенно <в том случае>, когда, не ознакомившись предварительно с ходом судебного механизма и его составными частями в собственном отечестве, где суд не имеет лицевой стороны, открытой для всякого, видит он за границу одну лицевую, блестящую сторону тамошнего судопроизводства и, увлекаясь зрелищем, не заботится заглянуть за кулисы, за которыми оно готовилось. История общественных учреждений у всех народов показывает, что у каждого из них формы суда и расправы состояли в тесной связи со всеми условиями политического и народного быта, с нравами и обычаями народными. Происхождение самых основных форм этого рода столь же трудно уследить в каждом народе, как и образование народной

речи. Невозможно вообразить себе, чтобы какой бы то ни было народ добровольно отказался от родного языка и принял язык чуждого племени; так же трудно себе представить, чтобы он решился, расставшись со своими самобытными формами суда, принять и ввести у себя иноземный порядок. И действительно, как то, так и другое явление могло происходить только в случае, когда вследствие чужеземного завоевания народ терял независимость и самостоятельное бытие свое. В наше время, когда народы более и более сближаются между собою и, расставаясь с национальными предрассудками, заимствуют друг у друга лучшее сознание добра и истины, к которому разными путями всех вела историческая жизнь, в наше время неестественно было бы упорно отрицать законность влияния чужеземных учреждений; но пусть это влияние следует за сознательным изучением их, пусть оно будет относительное, а не безусловное, пусть совершается постепенно и свободно, а не внезапно и насильственно: только на этом основании будет оно плодотворным влиянием.

Представителями другой крайности являются, к счастью, ныне уже немногочисленные, закоренелые староверы, с каким-то тупым убеждением отстаивающие каждую букву, лишённую духа, каждую форму, давно отжившую свое значение или никогда его не имевшую. Ложно понимая историческую связь настоящего с прошедшим, не думая о том, что история есть движение вперед от мертвой обрядности к духу жизни, дорожа суеверно каждым камнем веками воздвигнутого здания, они готовы в каждой случайной пристройке к нему видеть неотделимую часть стройного целого и не хотят дотронуться до сгнившей балки из боязни повредить драгоценное здание. Такие люди хотя и видят зло, но молчат о нем, боятся света и не допускают никаких нововведений.

Но изо всех односторонних направлений, которые выражаются в обществе по вопросу о судопроизводстве, мы считаем самым вредным направление педантов-доктринеров. Не заботясь об указаниях опыта и о требованиях действительной жизни, они обращают все свое внимание на систему и отвлеченную теорию судопроизводства, но и в теории, и в истории имеют в

виду не дух учреждения и основные его начала, а составные части его и подробности деления. Теряясь в разнообразии форм, собираемых из законодательства всех веков и народов, они стараются сравнением и взвешиванием сухих форм заменить ясное понимание дела, которого недостает у них, и в одних этих формах ищут разрешения своей задачи. Прикрываясь мантией науки, они забывают, что наука берет свое содержание из жизни и сама должна быть жива, чтобы с успехом действовать на жизнь. Ставя свою сухую и мертвую доктрину выше уроков истории и жизни, они не хотят справляться ни с условиями среды, которую надеются переделать по своему произволу, ни с людьми, которые посреди этих условий жили и действовали. Собирая, рассчитывая, прикладывая, усложняя формы старые и новые, они хотят во что бы ни стало воздвигнуть новое здание, потому что стремятся все преобразовать на придуманный лад, но зданию их недостает единства и стройности, и духа жизни не слышно в их сложной системе. Тем не менее они готовы всегда испробовать ее на деле и, если не удастся, заменить новою. Везде, где такое направление брало верх и оказывало влияние свое на законодательства, законы являлись сухими сборниками правил и форм, отрешенных и от истории народа, и от условий действительной жизни. Понятно, что в отношении к законам о судопроизводстве влияние педантического доктринерства еще пагубнее, нежели в прочих частях законодательства.

Опыт чужеземных народов и законодательств должен служить нам уроком: при помощи его мы можем, мы должны избежать тех крайностей, в которые впадали другие, ошибок и неудач, которые следовали за крайностями. Пора убедиться, что как одна рутинная, так и одна кабинетная деятельность недостаточна, если нет при ней ясного понимания действительной жизни, нет смысла, распознающего связь явлений между собою и с общими началами. Одно изучение кодексов, как бы ни было добросовестно, не даст нам светлого взгляда и ясного понимания, покуда мы не изучим самих явлений в той сфере, в которой призваны действовать; не забудем, что закон должен истекать из потребностей действительной жизни, если имеет целью во-

дворить посреди нее порядок и правду; жизнь действительная никогда не может следовать правилу, которое чуждо ей, и противоречить ее условиям; к чему же послужит закон, если он станет в разлад с жизнью, и жизнь должна будет для поддержания себя пробавляться нарушениями неисполнимого закона?

Итак, чтобы составить себе ясное понятие о том, что требуется для судопроизводства, на каких началах оно должно быть устроено и какая система лучше всего соответствует предположенной цели, – одним словом, чтобы убедиться в том, что должно быть, необходимо прежде всего узнать то, что есть, чтобы под ногами иметь не воображаемый мир, а твердую почву. Необходимо не только знать, из каких форм, обрядов и правил состоит существующее судопроизводство, но и знать, в какой степени и каким образом то или другое правило закона прилагается к действительной жизни. Надобно изучить судопроизводство на деле: собственный опыт, прежде всего, должен показать, какие правила и формы должны почитаться существенными и какие могут или должны быть устранены, в чем состоят общие и частные недостатки нашей системы и что может быть оставлено в ней неприкосновенным; что соответствует местным и временным нашим условиям и что по разногласию с ними оказалось неисполнимым; что успело привиться к народной жизни и что ей противоречит. Может быть, близкое знакомство с действием существующих обрядов и правил, внимательное изучение явлений той среды, к которой они прилагаются, покажет, что виною беспорядка <является> не та или другая форма процессуального обряда, которую мы готовы осудить безусловно, а законы и условия среды, к которой она прилагается, что новая форма оказалась бы еще менее действительною при тех же самых условиях и законах, что, устранив препятствия, не зависящие от процессуального обряда, мы могли бы удержать с пользою прежний обычай и дать ему впервые истинное значение? Непосредственное и тщательное изучение существующего порядка тем нужнее для законодателя, что только при помощи такого изучения может он освободиться от узких взглядов и привычек вековой рuti-

ны и подняться на ту высоту, с которой взгляд, просвещенный наукою и опытом, в состоянии свободно и беспристрастно обозревать все явления целой сферы, отличая без труда существенное и необходимое от случайного и бесполезного.

Итак, необходимо, прежде всего, привести в известность свое собственное состояние, собрать запас сведений о том, что существует и совершается у себя, дома. Эта потребность всего ощутительнее в государстве обширном, где одинаковая система применяется к разнообразным местным, племенным и исторические условиям; естественно, что и разумение этой системы и применение ее отличается тем же разнообразием. Иное правило, оказавшееся неприложимым к жизни, везде осталось без исполнения; иное, привившись к одной местности, вовсе не принялось в другой, а в третьей подверглось в исполнении совершенному изменению; в четвертой жизнь, оставив без внимания и без исполнения законное правило, официальную форму, сама собою, помимо нее, выработала для себя самобытный обряд путем обычая. В одном месте не нашлось людей для того, чтобы осуществить на деле мысль и намерение законодателя; в другом нашлись такие люди и с первого раза умели водворить около себя сознание нового начала и применение нового правила*.

Внимательное изучение всех подобных явлений покажет наглядным образом, какие части существующей системы судопроизводства сродны общественной и народной жизни, какие

* Укажем для примера хоть на словесную форму, установленную нашим законом для некоторых видов судопроизводства, что в некоторых местностях она существует только на бумаге и в букве закона; в других успела привиться и принесла плод. Есть коммерческие суды, в которых словесное производство существует только по имени, есть другие, в которых господствует эта форма над письменною. То же должно сказать и о торговых словесных судах, о словесных судах при полиции и проч[ее]. Сколько доставило бы любопытного материала изучение одного вопроса о том, каким порядком слушаются и решаются дела в судебных местах! В ином месте вовсе не употребляется доклад, в другом он заведен; в одном есть обычаи постановлять вопросы, в другом дело решается огулом, без вопросов; в одном вторые и третьи члены молча участвуют в заседании, в другом они привыкли принимать участие в суждении и проч[ее]. Упомянем еще о величайшем разнообразии в обрядах и формальностях при совершении и явке актов у крепостных дел. – *Здесь и далее – примеч. К. П. Победоносцева.*

вовсе чужды ей, какие могут быть полезны и какие составляют мертвую букву, излишнюю тягость в обряде и т[ому] п[одобное]. Должно признаться, что мы до сих пор не имеем вовсе точных сведений об этом важном предмете; изучение наших законов и обрядов суда доступно каждому, но никому не известен образ исполнения этих законов и обрядов в обширном нашем отечестве. В последнее время немало отправлялось людей в чужие стороны для изучения тамошних порядков суда; сознавая всю пользу такого изучения, мы осмеливаемся думать, что не менее полезно и еще нужнее было бы снарядить опытных и образованных людей для добросовестного изучения собственных наших порядков во все – как крупные, так и мелкие – центры суда и управления в России. Мы думаем, что сведения, которые могла бы собрать повсюду подобная экспедиция, послужили бы законодателю важнейшим пособием в его деятельности, открыли бы ему много таких явлений, которых и подозревать нельзя было, осветили бы новым светом основную его задачу, указали бы новые и неожиданные средства к ее выполнению.

За изучением отечественного судопроизводства следует изучение тех систем иностранного судопроизводства, которые почитаются образцовыми. Оно не должно ограничиваться ни мертвою буквою кодексов, ни одною лицевою стороною гражданского процесса. Многие путешественники вывозили из больших городов Франции безусловное восхищение от тамошнего судопроизводства; но у весьма немногих впечатление это основывалось на непосредственном знакомстве с судебным делом и всеми его пружинами. Блестящие речи известных адвокатов, достоинство магистратуры, тонкое искусство арретистов⁴ – вот чем по большей части пленяются путешественники, изучающие судопроизводство в публичных заседаниях; но одно это не дает еще сознательного и полного понятия о целой системе. Необходимо изучить нижние пути, по которым дело восходит до открытого прения, ознакомиться с кабинетным и канцелярским механизмом, которого действие предшествует суду и без которого невозможно приготовление дела к решению. Тогда только можно дать себе полный отчет в том, легко или трудно в том или

другом краю достается частным людям правосудие, чего стоит, какими средствами достигается судебная защита и какое значение имеет каждый обряд в общей системе судопроизводства.

Только при помощи такого изучения просвещенный мыслитель в состоянии будет дать себе ясный и полный отчет в том, что есть существенного, разумного и практически полезного в системах судопроизводства и в разнообразных принадлежностях каждой системы. Не составив себе твердого и отчетливого убеждения по этому предмету, он или потеряется в разнообразии форм и подробностей законодательств и судебных обычаев, или, выбрав одну какую-либо систему, увлечется односторонностью, полагающею все значение в форме, независимо от того, что составляет сущность и основание формы, ее, так сказать, материальную подкладку. Как бы ни было подробно изучение формы, оно ни к чему не послужит, если плодом его будет только умножение в уме наблюдателя массы бездушных сведений, если оно не расширит его взгляда, не возбудит в нем самостоятельной деятельности. Ум, обогащенный наблюдениями и опытом, тогда только в состоянии создать что-либо прочное и практически полезное, когда успел самостоятельно переработать в себе добытые сведения и ясно видит перед собою как цель, так и ведущие к ней средства; тогда не будет ему затруднения в выборе форм и учреждений, не будет нужды рабски копировать их и переносить с места на место. Сосредоточив себя в той сфере, в которой призван действовать, знакомый со всеми условиями той почвы, на которой строит свое здание, он должен быть не робким работником, а мастером, извлекающим и план свой, и составные части его из глубины духа, а не из готовых учреждений и кодексов. Вот единственный надежный путь в деле важных учреждений и преобразований государственных, следовательно, и в деле нового устройства суда и расправы.

IV

При тех затруднениях, издержках и хлопотах, с которыми сопряжено ходатайство по делу, немудрено, что на всяком шагу

у нас встречаются противники суда и судопроизводства; немудрено, что, рассуждая нехладнокровно, они не всегда умеют отличить несовершенство правила от ошибки или злого умысла в исполнении, необходимое и существенное – от излишнего и случайного. История показывает, что это смешение понятий встречалось не только между простыми людьми в массе публики, но и между философами и политиками. Некоторые и теперь готовы почитать вообще всякое судебное производство злом и стараются к искоренению этого зла направить всю деятельность законодательства. Умножение исков и тяжб служит, по мнению их, несомненным признаком испорченности нравов в обществе; ябеда является последствием тех же форм и обрядов, которые установлены для того, чтобы ей противодействовать. Для прекращения зла иные предлагают обрезать до последней крайности, либо вовсе уничтожить судебные формы, чтобы быстрым разрешением дел уничтожить зло в самом его начале; другие предлагают заменить суд и всю его обрядную обстановку патриархальным разбирательством судей и правителей; третьи думают заменить судебное разбирательство третейским или ввести повсеместно суды примирительные.

Вопрос о необходимости судебных форм, сильно занимавший ученых и философов в XVI, XVII и XVIII столетиях, ныне принадлежит уже к числу решенных. Существенная задача всякого процесса конечно весьма проста: суд должен сказать сторонам свое решение. Но не должно забывать, что есть необходимые условия, вытекающие из самой сущности процесса, без которых эта задача не может быть разрешена удовлетворительно. Невозможно сказать решение, не выслушав сторон; невозможно выслушать их без явки их на суд; невозможно судить, не взвесив обвинений и оправданий; невозможно добраться до истины, не прибегая к предположениям. На суде происходит борьба, спор между сторонами; для борьбы необходимы правила и порядок боя, спор невозможен без последовательного движения (*processus*) от общих начал к частным выводам и приложениям. Спор происходит о праве; предмет его должен быть определен, чтобы стороны не уклонялись

от него и чтобы известно было, чего каждая требует и против чего защищается, что подлежит судейскому рассмотрению и что должно быть оставлено без внимания. Право утверждается на фактах; необходимо определить материальные их признаки, то есть систему доказательств. Чем ближе познакомишься со всеми подробностями процесса и его условиями, тем полнее убеждаешься в необходимости твердых правил для руководства судьям и тяжущимся. Невозможно представить себе процесс без форм и обрядов; эти обряды могут быть ничтожны разве только в краю тесном или бедном, где не развиты еще гражданские отношения и понятия о праве собственности, где торговля и промышленность стоят еще на низкой степени; но и здесь необходимо предположить полное соответствие частной воли каждого гражданина с законом. Не было бы нужды в обрядах и формах суда, если бы, например, стороны всегда являлись в суд по первому требованию, если бы каждая из них искренно желала обнаружения истины и не увлекалась личным интересом, если бы допрашиваемые лица всегда говорили одну только правду, если бы судьи, постоянно способные и достойные, не могли ни ошибаться, ни разногласить, ни увлекаться за пределы своей власти и т[ому] п[одобное]. Очевидно, что при подобных условиях не нужно было бы вовсе и суда, но если он нужен, то нужны и формальности. Они составляют благодетельное обеспечение тяжущихся от судебного произвола и от личного влияния, служат судебному производству остоном, на котором оно укрепляется и удерживается в порядке. Если отнять формы, то все судебные действия должны будут смешаться и вместо стройного порядка образуется судебная путаница, в которой только недобросовестность и произвол могут свободно действовать. Естественно, однако, что не всякий вид суда требует одинаковых форм и в одном и том же количестве; одна и та же форма на разных степенях суда может иметь неодинаковое значение. Так, например, при устройстве местного суда, имеющем целью доставить тяжущимся скорый и, по возможности, простой способ разбирательства на месте только что возникшего несогласия или пре-

рекания о праве, там, где стороны находятся по большей части налицо и могут быть выслушаны немедленно, где вопросы, подлежащие разрешению, несложны и могут быть при первом обозрении обняты как судьбою, так и сторонами, где по малому протяжению подсудного круга под рукою у судьи находятся достаточные средства к уяснению фактической стороны дела, там требуются самые простые и несложные формы суда. Обряды эти, по необходимости, усложняются в той степени суда, в которой спор между сторонами принимает вид формального состязания, всякая ошибка или упущение одной стороны составляет приобретение для другой, участие судьи в споре совершенно устраняется или допускается в малой мере, и обилие и запутанность фактов требуют применения более сложной и искусственной системы доказательства.

С другой стороны, чрезмерное изобилие форм и предосторожностей в судебном производстве также ведет к путанице и злоупотреблениям: формы, вместо того чтобы служить к ограждению частных лиц, препятствуют свободной защите права и нередко влекут за собою разорение просителя, если размножение их связано с фискальными целями. Крайность этого рода может быть еще вреднее противоположной крайности для достижения целей правосудия. Если чрезмерная распушенность суда ведет к неопределенности и запутанности его, то и чрезмерное обилие форм ведет к стеснению естественной свободы, делающему защиту права в высшей степени затруднительною для частного лица. Законодательство, развиваясь в этом направлении, не способствует, а препятствует достижению правды, ибо при господстве канцелярских обрядностей правда материальная мало-помалу совершенно поглощается поддельною, формальною правдой; судья, обремененный заботою об обряде, становится равнодушен к сущности своего дела, а тяжущиеся привыкают состязаться на суде не прямым оружием правды, а хитрыми приказными уловками, развращающими понятие о праве и в них самих, и в суде, который обязан их распутывать. Ошибается законодатель, когда, руководимый недоверием к судье и равнодушием к ве-

ликому значению судебной власти, думает он расположением формальностей, сроков и заповедей поставить границу судейскому произволу: под покровом этих форм, особенно, когда применение их совершается безгласно, произвол судейский и канцелярский усиливается еще более, находя на всяком шагу готовые поводы и предлоги. Нетрудно законодателю придумать новую форму, установить новое запрещение, но только ленивая мысль, только робкая и легкая совесть довольствуется поверхностным взглядом на вопрос, поверхностным разрешением затруднения. Несравненно труднее заглянуть в глубину явления, распознать и уяснить себе скрытые причины его и последствия, зато только после такого труда и возможно прийти до очевидного убеждения в едином истинном средстве к исцелению зла и к установлению порядка. Как в сфере нравственной, так и в сфере положительного закона излишняя заповедь, ненужное запрещение производят пагубное действие, стесняя без нужды свободу лица, они побуждают ее искать в нарушении закона средства для удовлетворения естественной необходимости, они развивают и в гражданине, и в обществе лицемерие перед законом и неуважение к нему, – а что может быть пагубнее такой привычки для блага общественного? Законодатель, вполне понимающий свое призвание, всегда имеет в виду высшие цели гражданского общества и для достижения их рассчитывает не только на действие страстей, на влечение падшей и развращенной природы, но в особенности на высшие силы, сокрытые в душе человека, на энергию воли, на свободное действие личности. Преследуя неизбежное зло, он не ставит перед собою невыполнимой задачи – предупредить всякое зло в обществе, но заботится о том, чтобы добрые и благородные побуждения в каждом гражданине и во всех могли развиваться беспрепятственно для борьбы со злом и не встречали на пути своем вредных стеснений для законной свободы.

Дело законодательства – установить формы в надлежащем соответствии между собою и с теми целями, к которым они должны быть направлены; опыт послужит лучшим указанием того, какая форма необходима и какая без опасения может

быть отвергнута. Везде, где законодатель, пренебрегая формами, оставлял их без внимания или предоставлял устройство их судебному обычаю, обнаруживались вредные последствия такого направления: в судебном производстве по необходимости слагались формальности сложные и обременительные или оно должно было возвращаться к старым формам, давно потерявшим свое значение и отвергнутым здравою критикой. Так случилось, например, в 1793 году во Франции, когда люди, стоявшие во главе правительства, замыслили разом уничтожить все формы, издавна принятые на суде. Целью этих людей было сделать правосудие доступным для каждого без труда, достигнуть того, чтобы каждый, не нуждаясь в знании судебных обычаев, мог защитить свое право. Что же вышло? Люди самые безнравственные и невежественные получили возможность являться на суд с ябедническими вымыслами, и скоро все суды обременены были множеством пустых исков; честным людям сделалось почти невозможно защищать правое дело; без правил нельзя было обойтись, а все правила и формы перемешались; самая пустая придирка могла дать делу ложное направление, и самая благодетельная формальность не могла уже служить ограждением от ябед. Все фискальные стеснения были отменены, но правосудие обходилось каждому несравненно дороже прежнего. Таким образом, излишнее пренебрежение законодателя к форме, как и излишнее к ней расположение производит действие одинаково вредное.

Опасно, увлекаясь подозрительностью к формам, полагаться на усмотрение судьи в определении большей части обрядностей: тогда при неограниченном развитии судейского произвола сам суд мало-помалу может получить характер полицейского установления; но не менее опасна и другая крайность – излишнее стеснение свободы, принадлежащей судье, запутанною сетью обрядностей. Законодателю предстоит назначить обязательным формам такое место в процессе и расположить их в таком порядке, чтобы в указываемых ими границах оставалось свободное поле для самостоятельной судейской деятельности, а форма исполняла бы только существенное свое назначение,

охранение порядка в развитии процесса. Законодатель не должен упускать из виду, что форма существует не ради самой себя, но ради процесса, а процесс не сам себе служит целью, но установлен единственно для отыскания и признания права. В этом отношении необходимо иметь в виду различие между процессуальным правом и процессуальным производством в тесном смысле. Обрядности, с которыми связано право процессуальное, не должно смешивать с обрядностями, по коим обыкновенно совершается то или другое судебное действие. Только первые должны служить предметом обязательного закона; последние же могут быть указаны простою инструкцией или предоставлены свободному усмотрению судьи. Когда и эти последние формальности наравне с первыми и без различия от них подчиняются общему, строгому правилу, тогда становится трудно распознать, какое действие должно почитаться на суде существенным и какое не имеет существенного значения. В таком случае все обрядности сливаются в одно беспорядочное целое и форма получает не принадлежащее ей господство на суде к ущербу материального права.

Быстрота судебного производства также не должна быть господствующею целью стремлений законодателя. Суд, без сомнения, должен быть скорый, безотлагательный, но прежде всего, он должен быть правый; ни одного из этих качеств не следует развивать насчет другого; нетрудно под влиянием одностороннего стремления к быстрой обрезать многие формы и сроки, замедляющие ход дела, нетрудно в особенности для того, кто сам мало знаком с судебною практикой и не участвовал в разрешении или производстве дел многосложных и запутанных. Но, имея в виду истца, преследующего справедливое дело, не должно забывать и об ответчике, несправедливо обвиняемом; первый желает простого и скорого производства, последний от того же самого производства вправе требовать таких форм, которые дали бы ему средство и время защититься от неправильного притязания. Не следует забывать и о судье, которому предстоит нередко в разрешении дела серьезная умственная работа, требующая спокойного, обстоятельного,

добросовестного рассмотрения. Исключительная забота о быстроте решений, слишком усердное побуждение к тому же сверху может развить в судье равнодушие к делу, пренебрежение к существу его, склонность удовлетворяться формальным его окончанием или тем, что называют очисткою производства. Сколько видим мы канцелярий и судов, которые по наружности отличаются примерною деятельностью: к концу года очищаются все бумаги, подписываются все протоколы, составляются отчеты с итогами, кругло и тщательно выведенными, так что по наружности не остается ничего более желать. Но стоит только справиться с сущностью судебных действий, исчисленных в отчете огромною цифрой, чтобы убедиться в совершенной пустоте, в крайнем лицемерии одной формальной деятельности: под нею весьма часто скрывается отсутствие умственного труда или стремление заслужить доброе мнение начальства одним видом исполнения своего долга. Если в судье, равнодушном к делу правосудия, может развиться столь лицемерное понятие о своем долге, то закон, по крайней мере, не должен способствовать распространению таких понятий, не должен ставить судью в ложное положение, в котором исполнение нравственной и разумной обязанности по совести и закону невозможно согласить с формальными условиями деятельности, определенными тем же законом.

Ревнуя о сокращении сроков и об ускорении судопроизводства, законодатель во всяком случае должен соразмерять свою ревность с условиями места и времени. Сокращение форм и сроков должно быть основано не на отвлеченных соображениях, а на достоверном предположении, истекающем из местных потребностей. В краю необширном или там, где густое население равномерно распределяется по территории, где с распространением образования в народной массе общение между гражданами сделалось легким и удобным, где значительно распространены и доступны каждому средства публичности, там, без сомнения, можно и должно требовать быстроты и большей простоты в устройстве судебного механизма; формы и сроки здесь могут быть сокращаемы до той

степени, до которой расширяется предположение о возможности и удобстве в соблюдении их.

Требования теории по необходимости должны быть умереннее в отношении к обширному, мало и неравномерно населенному государству, в котором грамотность мало распространена в народе, общественная жизнь мало развита, и между различными классами общества образовалось еще немного точек соприкосновения. Здесь нередко тяжущиеся стороны отделены друг от друга и от суда огромными пространствами, с трудом проезжаемыми; центральные места политической, умственной и промышленной жизни разделены по территории в дальнем расстоянии и не в одинаковом отношении между собою. При таких условиях иное сокращение формы будет иметь вид насильственного требования; иное требование закона по крайнему неудобству в исполнении окажется на деле нарушением справедливости, отказом в правосудии. Причиной медленности в судопроизводстве бывает иногда сам закон, если он отстал от жизни и держится форм, давно устаревших или сделавшихся негодными при изменившемся быте; еще чаще злоупотребления в исполнении закона бывают причиной медленности, и тут недостаточность закона служит иногда поводом к злоупотреблениям. Но есть и такая медленность, которую нельзя предотвратить никаким законом, а именно та, причина которой кроется в материальных условиях жизни. Закон должен по необходимости подчиниться этим условиям, он не в силах изменить их и не вправе забывать о них или пренебрегать ими.

V

Мысль о замене судебного разбора третейским принадлежит к числу добрых желаний, которым едва ли суждено когда-либо осуществиться на деле. Нельзя надеяться, чтобы официальное посредничество суда между сторонами могло быть с успехом заменено частным посредничеством. Начало того и другого различное. Идея суда принадлежит к области

государственного права, суд есть власть государственная: отнимите у него власть – и он потеряет свое высокое значение. Суд имеет целью охранение и восстановление законной правды, уничтожение всякого сомнения, возникающего о правде законной; основанием судебному приговору служит принцип, не допускающий никакой сделки: он должен удовлетворять вполне общественному сознанию о правде и неправде, то есть закону положительному и справедливости. Напротив, идея посредничества принадлежит к области гражданских, договорных сделок. Стороны заботятся здесь не о том, чтобы спор их разрешен был строгим применением закона, но о том, как бы согласить взаимные интересы и прекратить разногласие удобнейшим для себя путем; с этою целью, то есть с целью личного интереса, они соглашаются избрать третье лицо, которому доверяют разрешение спора: и качества судьи, и основания решения, и средства исполнения – все определяется здесь этим соглашением. Такое соглашение должно быть действительно свободное, и никакой закон не вправе предположить его, если его нет на самом деле. Естественно, что такое соглашение всегда было и будет явлением исключительным; а в большинстве случаев одна из сторон, если не та и другая, непременно потребует справедливого решения по закону от того судьи, который именем государства дает всем и каждому суд и расправу. Государство ни в каком случае не может отказать в этом требовании, это значило бы, что оно перестало быть государством.

Все попытки устроить суд так, чтобы каждый процесс при самом начале своем мог оканчиваться сделкою, имели в виду цель самую нравственную – водворить между людьми мир, отвратить между ними распри и ябеды и сделать ненужными сложные, сбивчивые и затруднительные формы процесса. Немудрено, что так рассуждали некоторые моралисты и философы XVIII столетия, когда мечтали построить гражданское общество по задуманному идеалу и водворить во всем человечестве первобытную простоту нравов и отношений. Это взгляд людей непрактических, незнакомых с условиями действительной жизни. Закон положительный, издаваемый человеческою

властью, не в силах изменить природу человеческую, не вправе требовать от нее невозможного; общее правило его должно быть приноровлено к действительным ее условиям, а не к чертам идеального нравственного совершенства. Нравственный закон советует человеку: старайся уступать, не заводи спора, соглашайся на мир; но закон государственный не может предъявить такого требования, не нарушая правды; не может рассчитывать на готовность каждого гражданина к исполнению нравственного совета. Закон положительный воздает каждому должное и никого не приглашает к уступке своего права.

Если рассуждать о деле без увлечения и без предпринятых мнений, то едва ли можно будет согласиться с теми, которые безусловно почитают каждый процесс злом нравственным и малое число тяжб в государстве полагают признаком внутреннего мира и благосостояния. Зло состоит не в сущности процесса и не в одном количестве тяжбных дел, а в случайных и местных обстоятельствах, под влиянием которых развиваются и продолжаются тяжбы, и в недостатках судебной организации. Процесс сам по себе есть явление гражданской жизни; умножение процессов необходимо следует за развитием общественных отношений. Недаром называют процесс делом; чем более дел между гражданами, тем более процессов. Где не развиты торговля и промышленность, где слабо обращение денег и не значительна масса народного капитала, где много еще неразработанных источников народного богатства, там не значительно и число процессов, но из этого невозможно еще заключить о мире и благосостоянии общества; опыт показывает, что именно в таком состоянии общества собственность гражданина мало обеспечена от произвола, понятия о праве мало развиты, целые сословия почитаются бесправными, многие лица не имеют собственности, и разрешаются одною материальною силой тысячи таких столкновений между гражданами, которые при лучшем устройстве общественных отношений разрешились бы не иначе, как правдой и судом. Судебных дел бывает немного. Но ближайшее знакомство с содержанием старых дел⁵ покажет нам, как были в то время обыкновенны в судах и

ябеднические вымыслы, и жестокая проволочка, и судейский произвол, и беспорядочные решения – все это признаки скудости и невежества. По мере того как развиваются новые отношения и являются новые силы в обществе, закон положительный стремится определить их и водворить в них порядок, а вслед за законом являются процессы; несправедливо было бы относить постепенное умножение их именно на счет злых побуждений человеческой природы, на счет корыстолюбия и зависти. Каждый, кто знаком с делом, знает, что в большинстве случаев спорные вопросы возникают естественным путем из самого закона, и каждая сторона добросовестно почитает себя вправе искать удовлетворения.

Чем богаче содержанием право, определяемое законом, тем более возникает из него юридических вопросов, тем разнообразнее становятся сплетения фактов, из которых надлежит извлечь истину для решения. Всякая попытка оставить быстрое размножение всех таких вопросов или противодействовать ему было бы также невозможно, также безумно, как и попытка остановить непрерывно продолжающееся течение гражданской жизни. Жизнь исполнена сомнений и вопросов; все они требуют разрешения и вправе получить его, а всякий спор гражданский есть сомнение, пререкание о праве. «Все-таки это спор, – возражают моралисты, – откуда он не разрешен, продолжается раздражение; мир есть лучший исход для всякого спора». Но близкое знакомство с характером людей и дел убеждает, что этим путем редко с удобством разрешается судебное дело. Не забудем, что сомнение, возникшее из разумного начала и укоренившееся в убеждении, может удовлетвориться только разумным же разрешением; не всякий способен погасить его в себе и отступить от своего убеждения, не убедившись в его неосновательности. Убеждение в правоте своей, если укоренилось в душе, должно быть дорого для каждого; тем тверже и упорнее будет оно держаться в личном сознании, чем более развито в целом обществе понятие о праве и чем крепче уверенность в правосудии. Этим убеждением пренебрегать не следует; правда, одною стороною своею оно граничит с эгоиз-

мом и своекорыстием, ослабляющим человека; но есть у него и другая сторона – чистое сознание правды, которую нельзя не признать свойством человека и гражданина. В таком случае несправедливо было бы уклонение от мира называть упорством и хитростью. Мировое соглашение тем возможнее между тяжущимися, чем менее каждый из них убежден в правоте своего дела; если же одна сторона, по твердости характера, по хитрости или по внешнему авторитету, может взять верх над другою, то мир всегда будет победою сильного над слабым. Не спорим, что при дурном устройстве правосудия мир, как бы ни был невыгоден для одной из сторон, во всяком случае может считаться благоприятным исходом, спасением от беды; но мы говорим здесь о том, каков должен быть благоустроенный суд, а не о том, как от него избавиться, если он дурно устроен.

Итак, по самой сущности процесса не в одном количестве тяжб заключается зло, уменьшение коего должен иметь в виду законодатель. Каждый день порождает множество новых тяжб; общество еще не терпит от этого, если процессы возникают и разрешаются естественным порядком, если тяжущиеся обращаются с полным доверием к судейской власти, а судья при разрешении споров руководствуется твердым и неизменным сознанием права. Как бы ни были разнообразны и многочисленны спорные вопросы, они не сбивают с толку ни судей, ни тяжущихся, если в судебном деле есть свет и порядок. Но если нет ни света, ни порядка на суде, в таком случае умножение дел действительно становится общественным бедствием.

Там, где суд совершается безгласно и произвольно, где нет ни правильно организованного судебного сословия, ни твердой судебной доктрины, где при назначении судей не требуется от них опытности в судебном деле и особого к нему призвания, где тяжелые формы производства не облегчают, а затрудняют открытие материальной истины, где посторонняя власть имеет возможность препятствовать свободному действию власти судебной, там не может быть ни доверия к суду, ни единства, ни твердости судебных решений. Сегодня решается так, завтра – иначе; сегодня называется белым то,

что завтра названо будет черным, а послезавтра – красным и т[ак] д[алее]. Понятно, что при таком положении судопроизводства никто из тяжущихся не может с вероятностью рассчитывать на то или другое решение спорного вопроса; нет твердых оснований для их разрешения, и потому одни и те же вопросы ежедневно возобновляются и после каждого решения вопрос остается в прежней неопределенности; понятно, что таким образом тяжба, вместо того чтобы быть юридическим спором о праве, превращается в азартную игру, в которой есть своего рода риск и премия обеспечения. Частному человеку, недалновидному взглядом и испытавшему на себе самом все невыгоды и затруднения судебного ходатайства, позволительно еще ошибаться и смешивать причину зла с необходимым его последствием, но законодатель легко может понять, что одними формальными средствами невозможно достигнуть уменьшения тяжб, когда причины чрезмерного их умножения скрываются в беспорядке судебного производства, в дурном устройстве судов, в несовершенстве других частей законодательства и управления.

VI

Итак, процесс сам по себе не есть зло для общества. Но для частного лица он во многих случаях есть бедствие: почти всегда влечет он за собою неудобства, стеснения, невыгоды, часто даже разорение. Все эти невыгоды в таком только случае могут считаться неизбежными последствиями процесса, когда сам процесс вызван необходимостью, действительным сомнением в праве, действительной невозможностью разрешить несогласие без помощи судебного производства. К сожалению, однако, нередко случается, что несогласие, ведущее к процессу, возникает по случайным причинам, вследствие личных отношений, вследствие неблагоприятных и ложных внушений, по недоразумению о фактической стороне дела, на основании личного раздражения, не допускающего ни той, ни другой стороне сознаться в вине или ошибке, может быть взаимной. Во многих

случаях при самом начале раздражения, готового уже перейти в действительный спор, нетрудно было бы уничтожить недо-разумение, если б явился между сторонами правдивый и бес-пристрастный посредник и, пользуясь доверием обеих сторон, согласил бы их противоречие или убедил бы их, что спорить не о чем. В эту минуту возможно еще полюбовное соглашение; остается сделать еще шаг, начать дело в суде – и соглашение станет вдвое труднее, а когда огласятся перед судом взаимные требования и возражения, когда завяжется формальная борьба противников, когда на ступенях процессуальной лестницы каждый из них станет ловить и утверждать за собою новое формальное право, тогда в большей части случаев соглашение становится уже почти невозможностью.

Эта решительная минута, когда зарождается спор и пригото-вляется процесс – минута сомнения и недоразумения, обра-щала на себя особенное внимание многих законодателей. Они поставили себе задачу: воспользоваться ею для уничтожения спора в самом зародыше, при помощи официальных или по-луофициальных посредников, которым вменялось в обязан-ность склонять спорящих к примирению, прежде чем спор их получит судебное значение. Зачатки подобного учреждения можно распознать в законах древней Греции и древнего Рима, но мысль об официальном посредничестве между спорщиками до суда распространилась с особенною силою в XVIII сто-летия под влиянием философского взгляда на процесс, как на зло общественное, которое следует искоренять всеми ме-рами. В половине XVIII столетия существовал в Голландии закон, в силу которого спорящие стороны, готовясь вступить в процесс, обязаны <были> прежде лично обратиться к осо-бым судьям-примирителям; не ранее как после трех неудач-ных попыток к примирению позволялось им требовать себе правосудия формальным порядком. Вильям Пенн⁶ в Америке предлагал установить специальную магистратуру для предва-рительного выслушивания спорящих и соглашения их к миру. Мысль эта впервые выразилась систематически во Франции с учреждением мировых судей в 1790 году⁷; с того времени

осуществилась она во Французском гражданском процессе положительнее и последовательнее, чем в каком-либо другом. Основным правилом Французского судопроизводства с 1790 года принято, что ни одна новая тяжба между сторонами, юридически способными лично входить в сделку, не может быть начата в суде первой степени, если мирный судья не приступал к предварительному их соглашению. Правило это обязательно для всех дел, которые по закону должны быть непосредственно начинаемы в суде первой степени; в таких делах стороны обязуются прежде формального начатия дела являться к мирному судье по его вызову, под опасением штрафа за неявку; вызов этот производится официально, посредством повестки судебного пристава; разбирательство, требующее составления протоколов, сопряжено с судебными издержками (**conciliation a l'audience**); **речи сторон, записываемые в протокол**, могут быть принимаемы в соображение при судебном производстве дела, если соглашение не состоится. Независимо от этого порядка в делах, которые по закону разбираются или окончательно, или с правом апелляции у мирового судьи как низшей инстанции, мировой судья обязан прежде формального вызова ответчиков пригласить к себе обе стороны для попытки их примирения. Это приглашение и переговоры мирового судьи со сторонами совершается неофициально, без издержек и без посредства пристава, по простой записке судьи (**conciliation endehors de l'audience**).

Другие законодательства возлагают обязанность соглашать стороны к миру до вступления в суд на местных начальников общины, к которой принадлежат спорщики, на особых посредников, собственно для этой цели установленных и не принадлежащих к суду*.

Наконец, предоставляют самому суду прежде принятия формального иска назначить по своему усмотрению сторонних посредников для выслушивания и соглашения сторон. Все эти учреждения более или менее носят на себе характер обязательности и потому не достигают своего назначения.

* Таковы, например, в Пруссии так называемые Schiedsmanner.

Обязательность мирового разбора, как мы уже заметили прежде, совершенно противоречит сущности всякого мирового соглашения. Если для спорщиков во многих случаях полезно в решительную минуту встретить человека, который мог бы разъяснить им их недоразумения и погасить взаимное их раздражение, то необходимо, чтобы такая встреча была свободная, чтобы свободно было и отношение их к посреднику. Здесь все зависит от личного доверия и уважения, которое имеют к такому лицу обе стороны. Придать ему характер официальной необходимости, облечь его в качестве посредника внешним авторитетом судьи – значит или подвергать некоторому насилью свободную волю сторон, или устанавливать для суда излишнюю формальность, не имеющую существенного значения. Если такой судья-посредник по личному своему знакомству может иметь влияние на волю и убеждения спорящих, если по местному положению своему он близко знаком с личными их отношениями и обстоятельствами, подготовлявшими спор, если по своему образованию и опытности способен он быстро объять юридическую сторону возникающего спора и взвесить противоречия права, то как трудно ему самому сохранить свое беспристрастие ввиду всех местных и личных обстоятельств и в переговорах со сторонами удержаться на точке равновесия, не допускающей выразить свою склонность к одной из них? Если же, не зная лично приходящих к нему за разбором, он равнодушен к его исходу, то разбор превращается в соблюдение пустой формальности, и удостоверение о безуспешности его получает значение лишнего документа, необходимого для предъявления иска на суде. К такому заключению приводят и теория, и опыт обязательного мирового разбора в большей части европейских государств, где он установлен. Только во Франции судебная статистика представляет, по-видимому, блистательное доказательство противного. Официальные сведения, собранные по этому предмету, доказывают, что деятельность мировых судей по прекращению споров с каждым годом становится успешнее: при содействии их прекращаются миром около половины спорных дел, подле-

жащих предварительному их соглашению, как в официальной, так и неофициальной форме. Но должно заметить, во-первых, что в самой Франции существует сильное сомнение в полной достоверности и добросовестности официальных цифр, доставляемых мировыми судьями, которые принадлежат к числу чиновников, назначаемых от правительства и ожидающих от него гнева и милости; во-вторых, если и допустить полную достоверность этих чисел, то и они могут иметь только относительное, а не безусловное значение, покуда остается неизвестным, какими путями и на каком основании совершено соглашение во всех случаях, исчисленных голою цифрой, и в каком отношении состоит количество прекращенных споров к числу всех споров, возбужденных не только в целом государстве, но и в той или другой местности.

Правило, принятое французским законодательством, подверглось критике при составлении женеvского устава о судопроизводстве гражданском, с 1819 года оно вовсе отвергнуто этим уставом как не соответствующее целям правосудия. Женеvский закон, допуская участие судьи в соглашении спорящих, решительно устраняет всякую обязательность такого участия, не дозволяет никаких вызовов и приглашений. Исключение из этого правила сделано только для тяжб между супругами и родственниками по восходящей и нисходящей линии.

Если теория судопроизводства не может признать безусловную справедливость официального способа к соглашению сторон, то несправедливо было бы и отвергать его безусловно, как негодный при каких бы то ни было условиях. Механизм судопроизводства и устройства судебных мест нигде не доведен еще до желаемого совершенства, везде еще возможно, к сожалению, торжество истины формальной над материальной. Производство судебного дела связано еще с большими издержками, нередко превышающими к концу процесса сумму выигранного иска. Количество этих издержек зависит еще более или менее от случайностей и от произвола лиц, служащих официальными орудиями суда; в фактических и юридических условиях спора возможна еще неопределен-

ность, мешающая правильности расчета об успешности иска или защиты и дающая самому решению вид нетвердой попытки к определению права; не у всех еще находятся под рукою готовые средства к судебной защите; распределение судебных округов по территории, местное положение их относительно населения не везде одинаковы, и во многих случаях подсудному лицу приходится надолго отрываться от дома и дел, чтобы отыскивать или защищать свое право; юридические познания слишком слабо еще распространены в массе подсудных лиц; безграмотность и невежество коренятся еще глубоко в низших сословиях. Покуда существуют все эти и подобные им недостатки и невыгоды суда, для подсудных лиц остается еще в силе правило, что «худой мир лучше доброй брани», и закон будет еще принимать на себя заботу о примирении спорящих. Забота эта оправдывается вполне, лишь бы не превратилась она в ревность, ведущую к насилию.

Но установление специальных учреждений и посредников, имеющих официальную обязанность предупреждать тяжбы и склонять спорщиков к миру, не только не достигает своей цели, но скорее вредно, нежели полезно: такие посредники не в силах будут возбудить и поддержать к себе доверие. Если необходимо, не довольствуясь возможностью добровольного, непосредственного соглашения между гражданами, допустить участие в нем лица, облеченного официальной властью, то пусть это участие будет свободное и естественное. Закон со своей стороны обязан только устранить все препятствия и стеснительные формальности, которые могли бы в этом случае отвлечь спорщиков от мира и навлечь подозрение на посредствующее лицо. Успех такого посредничества зависит от личности судьи, от законного отношения его к тяжущимся и от того порядка, в котором суд совершается.

Во-первых, всего удобнее для такого соглашения местный суд, подобный французским мировым судам, тем более что само разбирательство в этих судах должно в особенности иметь характер третейского разбирательства и связь суда с подсудными лицами должна, по преимуществу, истекать из

общинного, местного союза, а не поддерживаться искусственно центральной государственной властью. В этом отношении типический образ мирового судьи, как он представляется в учреждениях различных государств, не везде одинаков. В Англии учреждение это состоит в тесной связи со всей общественной жизнью, происходит от начала, утвердившегося в течение веков и освященного глубокою древностью – начала самоуправления. Авторитет мирового судьи основан здесь на положении его, вполне независимом и от центральной правительственной власти, и от выбора подсудных лиц, и от местного влияния; должность его добровольная и деятельность свободная, хотя и состоит в то же время под постоянным контролем общества и суда; суд и расправа по делам гражданским составляют не специальную его обязанность, а только часть, и притом не самую значительную, общих обязанностей, соединенных с его званием и заключающихся в охранении спокойствия и порядка (так называемого королевского мира – *raх regis*). Во Франции, по начальному предположению учредительного собрания 1790 года, мировой судья должен быть выборным лицом от народа, чтобы авторитет его основывался на признанных всеми нравственных его качествах. Но такое воззрение на должность мирового судьи удержалось недолго, оно не могло устоять против исторического стремления к правительственной централизации, развивавшегося с особенною силой под влиянием начал Французской революции. Мировой судья во Франции сделался вскоре одним из орудий этой централизации и стал в разряд чиновников, назначаемых правительством для деятельности, определенной строгою формальною инструкцией. Мировой судья поставлен французским законом в положение официального судьи и облечен властью, по преимуществу судебною. Естественно, что при этом и приглашение тяжущихся к миру сделалось принадлежностью той же судебной его власти, приняло для него вид официальной обязанности и вместе с тем – официального права; а тяжущиеся должны являться к его разбору в качестве лиц подсудимых и по обязанности, налагаемой тою же подсудностью. На этом

основании для мирового судьи при многосложности судебных и полицейских его занятий и в том положении, в какое он поставлен искусственным началом централизации, потребуются формальные качества, потребуется специальное приготовление к должности; отношение его к лицам, вызываемым для соглашения, и само соглашение тоже будет искусственное, что противоречит основному понятию о соглашении. Такой тип мирового судьи не удовлетворяет чувству справедливости. Если предстоит надобность устроить такой орган местной власти, который мог бы с успехом содействовать прекращению тяжб в самом их зародыше, то в устройстве его следует тщательно избегать всякого насилия, избегать применения начал искусственных. Простое и естественное начало такого учреждения должно быть отыскиваемо в той жизни, которою живет каждая отдельная община. Нет сомнения, что мы найдем его, если в самом понятии об общине отрешимся от искусственного взгляда, к которому приучила нас теоретическая рутина, если община представится нам не правительственным учреждением, не одним из многочисленных колес государственного механизма, а тем, что она есть по существу своему и чем должна оставаться, то есть самостоятельным общественным союзом, единицею общества, подобною той единице, которую мы видим в семействе.

Во-вторых, возможность соглашения тяжущихся при самом судоговорении в присутствии суда должна сама собою увеличиться, как скоро на все суды распространен будет простой порядок словесных объяснений, существующий у нас по закону только для словесной расправы в коммерческих судах. Весьма естественно, что при этом простом разбирательстве тяжущиеся, став лицом друг к другу на суде, во многих случаях тут же в первый раз могут разъяснить друг перед другом взаимные свои притязания в должных порядке и мере, сдерживая личные свои увлечения, и что в эту минуту при содействии судьи, объясняющего как себе самому, так и им сущность спора, соглашение их легко может последовать за ясным сознанием этой сущности. Это предположение наше вполне

подтверждается на опыте. В тех коммерческих судах, где словесная расправа происходит не только для виду, а на самом деле (например, в московском и тифлисском), редкое заседание обходится без примирения, и вообще из числа дел, производящихся этим порядком, около двух третей средним числом оканчивается миром. Такие результаты весьма значительны, они показывают нам и великое преимущество словесной расправы, когда она совершается добросовестно.

VII

Первое дело государства – доставить правосудие гражданам, устроить порядок и формы судопроизводства, чтобы посредством их каждый гражданин имел возможность защитить и доказать свое право. Второе и немаловажное дело – озаботиться, чтобы граждане как можно реже были в необходимости прибегать к действию правосудия.

Цель гражданского процесса – разрешить спор. Разрешить спор – значит определить неизвестное, сделать его известным, ибо в основании каждого спора и каждой тяжбы лежит, поводом к ним служит не что иное, как неизвестность. Я называю вещь своею и, конечно, имею к тому основание. Противник мой называет ее тоже своею и тоже выставляет к тому основание. Мы спорим, следовательно, не согласны в основании права на вещь, стало быть, основание это не ясно и требует разъяснения. Если бы ясность его доходила до очевидного непосредственного убеждения, то не было бы места никакому спору. Основания права выражены в законе, а буква закона подлежит истолкованию и изъяснению, толкование же дает возможность спорить. Отсюда возникает неопределенность юридическая, вопрос о праве. Если бы возможно было буквою закона определить столь ясно, подробно и точно все права, возникающие из гражданских отношений, что не оставалось бы места толкованию, а следовательно, и сомнению о праве, то не было бы и спору о нем. Но по несовершенству языка, по бесконечному разнообразию отношений невозможно достигнуть

этого*, и споры о праве всегда будут возникать вновь, но их будет тем более и разрешение их будет тем затруднительнее, чем менее строгости в системе и определительности в смысле закона; напротив, разрешение частных вопросов о праве будет всегда удобно, если закон исходит из ясного, полного и цельного сознания и общие начала выражены в нем так, что частные случаи могут быть приведены к ним без затруднения.

Положим, что юридический вопрос, возникший в отдельном случае, разрешен судом. Спор между частными лицами кончен, сомнение о праве устранено. Этим удовлетворилась только первая, насущная потребность общества, но этого еще недостаточно для полного достижения цели правосудия. С разрешением вопроса в одном деле должна во всех однородных случаях прекратиться неизвестность по тому же вопросу, если то был подлинно вопрос юридический. Если разрешение этого вопроса не останется в безгласности, то нет и повода возбуждать его другим лицам, в другом месте, перед другими судами.

Не должно думать, что значение судебного решения ограничивается только тесною сферой решенного дела, имеет важность в отношении к правам одних тех лиц, которые непосредственно принимали участие в деле. Ограничиться таким узким взглядом можно было только в раннюю эпоху гражданского общества, когда интересы отдельных лиц и сословий представлялись разрозненными и суд стоял еще на первой степени своего исторического развития, являлся, прежде всего, благо-

* Все попытки законодательства достигнуть этой цели оставались до сих пор и всегда будут оставаться без успеха. Самую замечательную из них была попытка прусского законодательства, выразившаяся в 1794 году изданием «Общего земского закона для прусских владений» (*Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten*). Одному гражданскому праву посвящено в этом уложении более 15 000 статей именно с тою целью, чтобы предусмотреть и обнять все возможные виды спорных гражданских вопросов. Это неестественное стремление законодателя привело к последствию, совершенно противоположному его ожиданиям: спорные вопросы под влиянием сложной казуистической системы прусского уложения только еще запутались и умножились, так что через 20 лет после издания сказалась уже необходимость приступить к ревизии закона; но одна ревизия не могла принести существенной пользы – и прусское гражданское право сих пор остается при том же существенном недостатке.

детельною заменой частного насилия и самовольной расправы между членами общества. Эта эпоха в иных местах вполне, в других – большею частью – давно уже принадлежит к истории прошедшего европейских обществ. Везде в понятии о суде более или менее господствует идея о правде и порядке; везде более и более явственно становится взаимное сближение разных классов общества, все живее ощущается неразрывная связь интересов одного гражданина с интересами другого, так что нарушение права относительно одного лица представляется и другому опасным посягательством на права его. Можно сказать, что чем далее распространяется в обществе, чем глубже проникает в него это чувство взаимной солидарности, тем крепче становится союз правительства с народами и тем сильнее – сознание общественной безопасности. С этой точки зрения, до которой возвысилась современная наука и непременно должно возвыситься всюду общественное мнение, суд имеет столько же, если еще не более, важное значение для не участвовавших в нем граждан, как и для тех, которые непосредственно в нем участвовали. Последние, начиная судебную борьбу, являются ратоборцами не за свои только интересы, но и за интересы целого общества; борьба их способствует утверждению общей безопасности, разъяснению общих прав. Если с исходом ее успел выясниться спорный вопрос о праве, подтвердилась непоколебимость сделки, происшедшей из свободного соглашения, отвергнуто несправедливое требование, дарована защита обиженному, то необходимым последствием такого приговора должна быть уверенность остальных членов общества, что в подобных случаях подобное право будет почитаться твердым, подобная сделка возымеет полное действие, подобное притязание сделается юридически невозможным. Чем менее единства и твердости в судебных приговорах, тем слабее должна быть и эта уверенность. Вот как важно значение судебного решения, получающего между гражданами гласность.

Но одна гласность решения сама по себе не служит еще достаточным ручательством, что сомнение по разрешенному вопросу не будет возбуждено вновь и не потребует нового ре-

шения. Судебных мест в государстве много, и каждое руководствуется одними и теми же законами, судит о деле свободно, не стесняясь мнением другого суда по какому бы то ни было вопросу. Притом, как бы ни была обширна гласность решений, нет возможности каждому суду следить за всеми приговорами всех других судов по всем вопросам; нет повода и частному лицу почитать решение одного суда обязательным для другого суда по другому делу – такого рода правило стеснило бы необходимую свободу судьи и могло бы повести к несправедливостям, к юридическому соблазну. Совсем иное дело, если решение, состоявшееся по спорному вопросу, носит на себе печать силы; сила эта может быть двоякая: внутренняя сила разума и внешняя сила власти. Если решение спорного вопроса так ясно, так согласно с правилами здоровой юридической логики, что никакая критика не в силах поколебать его, никакой ум без натяжки и предубеждения не в силах ему противоречить, если притом суд, постановивший это решение, пользуется, по составу и государственному значению своему, особым авторитетом, то, без сомнения, во всех однородных случаях каждый судья должен будет покориться убеждению, сделавшемуся для всех очевидным, составить свое мнение по тем же началам, не допуская противоречия. Тому же убеждению, как скоро оно делается очевидным, необходимо должны будут покориться и частные лица, прежде чем начнут формальный спор о праве. Таким образом, многие вопросы, бывшие прежде спорными и подававшие повод к тяжбам, покуда было еще возможно сомнение, сделаются очевидно доказанными положениями, а с прекращением неизвестности юридической устранился и повод к спорам⁸. Следя за юридической практикой тех государств, в которых она успела уже приобрести надлежащую правильность и порядок в действии, мы замечаем, как юридические вопросы, бывшие прежде предметом долгих споров между частными лицами и жарких прений в судах, достигнув окончательной ясности, принимают вид очевидных положений и мало-помалу исчезают из обращения, другие заступают на их место и так же: одни быстрее, другие медленнее – разъясняются. Неред-

ко случается, что вопрос, окончательно разрешенный высшим судебным авторитетом, возбуждается опять с новой силой, это значит, что он еще не обследован со всех сторон, что по поводу его разные мнения могут еще возникать, приобретать сторонников и держаться силою разумных убеждений. Такое состояние вопроса продолжится дотоле, пока не будет открыта в практике одна истинная точка зрения на вопрос, одно нормальное к нему отношение анализирующей силы или пока законодательство не вступится в его разрешение. Встречаются, конечно, в юридической сфере вопросы темные, но нет ни одного безнадежного, который в самом себе, в существе объемлемой им юридической идеи не содержал бы скрытых данных для будущего разъяснения. Если нет налицо этих данных в самом законе, то они должны быть наверно в абсолютном праве, рано или поздно долженствующем перейти в закон, то есть в сущности том институте, к которому закон относится.

Отсюда понятно, какие средства ближе всего ведут к ограничению числа спорных вопросов о праве и процессов, по этим вопросам возникающих.

Во-первых, система и редакция гражданских законов должна быть приведена в возможную стройность, определенность и полноту. Чем теснее будет связь между частными положениями и общими началами законодательства, чем яснее будут высказываться в каждой статье закона мысль и намерение законодателя, чем точнее слова, в которых выражено правило закона, тем менее будет представляться поводов к разнообразному его пониманию и истолкованию. Если же содержание законов бедно и не объясняет института во всей целости, если редакция их небрежна, неопределенна, обременена темными и тяжелыми фразами, и отдельные положения следуют одно за другим без органической связи, тогда личный интерес, хитрость и ябеда тяжущихся в каждой строке закона будут находить повод к тяжбам; с другой стороны, и судебные места столь же часто будут встречать недоумения, неразрешимые одними средствами судебной власти; неизвестность юридическая, умножаясь, вместо того чтобы уменьшаться при

содействии закона, поведет непременно к размножению запутанных процессов и произвольных решений.

Излишняя краткость закона бывает в этом отношении столько же вредна, как и излишняя его плодovitость. Закон должен держаться в естественных пределах своей идеи, касаться только тех вопросов, которые необходимо было предвидеть и вывести из сферы произвола, устанавливать только необходимые формальности. Ограничивать свободную волю судьи и частного лица там, где нет никакой необходимости стеснять ее, было бы скорее вредно, нежели полезно. Но и молчание законодателя, и невнимание его к предметам, возбуждающим споры и недоумения в круге юридических отношений, повело бы к неудобствам, столько же важным: тогда при отсутствии иной учредительной власти, которая могла бы пополнить недостатки законодательства, за это дело берется личный произвол судей, тяжущихся и стряпчих; формы спутываются, неизвестность умножается, а под покровом неизвестности может свободно действовать только недобросовестность, преследуя свои темные цели.

Во-вторых, постановленное решение должно делаться достоянием не одного только частного лица, в пользу коего состоялось, но, по возможности, достоянием целого общества и судебной практики. Все, что касается до изъяснения гражданских прав, не может, не должно быть тайною ни для гражданина, ни для общества; можно ли, не впадая в нелепость, представить себе тайное право, тайную обязанность? Можно ли с успехом ограждать свое право, можно ли с точностью соблюдать свою обязанность, оставаясь в неизвестности о существовании того и другого? Закон должен быть известен всем, но закон есть правило; правило может быть вполне понято лишь тогда, когда оно объясняется на опыте, на явлениях жизни действительной; приложение закона к этим явлениям производит споры, споры разрешаются судебною властью; понятно, что только посредством ее решений можно знать, какой смысл имеет закон в приложении к действительности. Итак, скрывая свои решения от общества, судебная власть и себя лишает света, необходимого для скорого и удобного познания истины, и отнимает у

общества этот свет, без которого частное лицо не может с точностью определить меру прав своих и обязанностей в отношении к другим лицам. Последствием этого бывает юридическая неизвестность, умножающая тяжбы.

В-третьих, в ряду судебных мест пусть будет одно центральное место, облеченное высшим авторитетом судебной власти, место, которому должна принадлежать руководящая деятельность в истолковании закона. Такое учреждение необходимо, без него и судебное сословие не может получить прочной организации, и судебная практика не может утвердиться на прочных основаниях, и действие закона не будет иметь единства, а без единства нет силы. Как необходим центр тяжести для тела, так для дела общественного необходим авторитет. В деле судебном будет всегда смешение и разладица, если не управляет им авторитет. Но не должно забывать, что дело судебное есть дело не только внешней власти, но вместе с тем, и по преимуществу, дело мысли и разума; следовательно, и авторитет его должен быть авторитетом не только формальной власти, но и мысли, и разума. Таковым должен быть центральный орган судебной власти. В решениях его никогда не должно слышаться: *Sic volo, sic jubeo: slet pro ratione voluntas!**

Он должен быть чистым зеркалом юридической истины, и все его решения должны быть основаны на строгих выводах юридической логики; известно, что при строгой последовательности выводы эти в области права могут привести к убеждению, очевидному для всякого и близко подходящему к точности математической. При таких условиях решения высшего суда будут служить надежным руководством в области гражданского права; и юридические вопросы, бывшие прежде спорными, будут мало-помалу исчезать из нее, уступая место достоверным положениям, не возбуждающим спора.

Средства эти, по нашему мнению, всего ближе соответствовали бы цели тех, которые заботятся об уменьшении тяжб. Мы осмеливаемся думать, что они были бы в этом отношении

* Так хочу, так приказываю: вместо разума да будет моя воля. – *Пер. К. П. Победоносцева.*

действительнее всякой новой системы, новой механической регламентации форм, сроков и подсудностей. Напротив, без них и при какой бы то ни было системе не будет успеха, потому что при помощи одних форм суда и расправы, как бы ни были они совершенны, невозможно достигнуть уменьшения затейных⁹ исков и тяжб; назло формам и под прикрытием их процессы будут плодиться без конца, решения будут распадаться в противоречиях, покуда не истощится главный источник тяжб и противоречий – юридическая неизвестность, смешение понятий о праве.

Чтобы уяснить себе смысл и убедиться в истине вышесказанного, стоит присмотреться к ежедневным явлениям нашей юридической жизни и судебной практики. Всякому, кто несколько знаком с тою или другою, известно, какая юридическая неопределенность господствует в судах наших по вопросам самым существенным, едва ли не ежедневно возникающим. Правда, что некоторые из них могли еще не дойти до той зрелости, при которой возможно твердое, единообразное понимание и разрешение; правда, что неясность некоторых достаточно объясняется бедностью догматического права, но из числа юридических вопросов, всего чаще подающих повод к спорам и жалобам, как много есть таких, которые давно вышли бы из разряда спорных, если бы были приведены к общим началам закона и разрешались повсюду единообразно. Трудно, почти невозможно перечислить все такие вопросы; чтобы уяснить дело, достаточно будет обратить внимание на некоторые. Укажем на многочисленные вопросы о формальностях завещаний, о порядке явки завещаний к засвидетельствованию, о применении сроков для частных жалоб, о значении формальностей апелляционного обряда, об исчислении процентов по обязательствам, о переходе бесспорного дела в спорное и т[ому] п[одобное]. Такие вопросы, как, например, следующие: должно ли крепостное завещание вторично быть представляемо к явке, можно ли при явке домашних завещаний входить в рассмотрение существа их, пропуском четырехнедельного срока для жалобы на полицию прекращается ли безусловно отыскивание права и множество подобных ежедневно повторяются в судах, подают повод

ко множеству жалоб потому только, что разрешаются повсюду разнообразно. Можно ли поэтому ожидать, чтобы по всем таковым вопросам частное лицо решалось остановиться на твердом мнении: уступить противнику или согласиться с ним? Кто может прежде начатия дела или подачи жалобы рассчитать с достоверностью, какого решения следует ожидать от судебного места. Самый добросовестный истец, сколько бы ни желал убедиться в правости или неправости своего требования, весьма часто бывает не в состоянии достигнуть этого, потому что слышит отовсюду противоречащие заключения и видит примеры разнообразнейших решений, не имея перед собою никаких положительных данных, чтобы отдать одному решению преимущество перед другим. Что остается ему делать в таком случае? Начать дело – пожалуй, откажут; оставить дело – но, пожалуй, его удовлетворили бы. Самая чувствительная совесть редко в состоянии выйти победительницею из такой борьбы, потому что очень трудно частному человеку решить, в обиду ли станет он искать или в правду, когда ни внутри себя, ни вне себя не находит он твердых оснований, чтобы решить: право или не право по закону его требование. Притом в тяжущемся всегда предполагается естественное расположение почитать себя правым, ослепляющее юридический взгляд его на свое дело, и почти никогда не предполагается такая тонкость юридического взгляда, которая могла бы устоять против подобного ослепления. Наконец, если предположить в нем, при самом правильном юридическом взгляде, полноту юридических сведений и практическую опытность в судебных делах, то все эти качества еще более собьют его с толку. Как человек, заинтересованный в деле, он почти не в состоянии определить с полным убеждением всю меру материального своего права; как юрист, по привычке соединять материальную сторону права с формальною, он непременно увлечется последнею, и во всяком судебном решении, которое может истолковать в свою пользу по спорному вопросу, будет видеть право свое на начатие дела или на подачу жалобы. Чем же оканчивается обыкновенно такая борьба противоречащих и разнохарактерных убеждений? Тем, что и

добросовестный ум не может прийти в своем деле ни к какому единому, решительному убеждению и решается подать жалобу наудачу: авось выиграю, как выигрывали другие. В таком же положении находится и опытный юрист, к которому частное лицо прибегает за советом, может быть, для того чтобы, убедившись в неправоте своего требования, оставить его совсем. Что скажет он частному лицу, каким авторитетом подкрепит личное свое мнение? Не может быть авторитета по вопросу, если он разрешается в судах и так и иначе. Столь же затруднительно и положение добросовестного судьи, которому предлежит постановить приговор по спорному вопросу. Мы знаем, часто ли встречаются между судьями люди с твердым взглядом, с решительным характером, с неуклонным и деятельным стремлением к убеждению в истине. Но и решительный характер, и самый твердый взгляд судьи невольно останавливаются перед грустной мыслью о том, что взгляд его на дело есть только личное его мнение, одиноко стоящее посреди разноречащих и нетвердых авторитетов. Положим, что убеждение судьи составилось на основании твердых исторических или юридических данных; но если других судей те же самые данные приводят к другому заключению, если в другом месте, в другое время, для других лиц эти данные вовсе не принимаются во внимание, мудроно ли, что самый добросовестный судья почувствует себя нетвердым на своей почве и, скрепляя свои приговор, в то же время будет провидеть возможность его несостоятельности?

Та же юридическая неопределенность бывает часто причиной неполных, поверхностных решений, в основании коих лежит не юридическая истина, а фактический вывод. Такие решения вредны, потому что в них существенный, юридический вопрос с намерением обходится, остается нетронутым, следовательно, и после решения может во всякое время возникнуть с прежнею силой. Чем судья ленивее, чем менее знаком с общими началами права, чем менее привык вдумываться в догматический и исторический смысл закона, тем чаще будет прибегать к этому способу, столь несогласному с понятием о судейской добросовестности. Но и независимо от личных качеств судьи

нередко случается, что неопределенность самого закона, не содержащего в себе положительных данных к истолкованию, при недостатке твердого юридического авторитета ставит судью в затруднительное отношение к вопросу о праве и побуждает искать выход в средствах обыкновенной приказной рутины. Последствием этого бывает стремление привязаться к одному факту или к одной форме и постановить решение с тем только, чтобы отвязаться от дела, не исчерпав в нем всего юридического содержания. За таким решением следуют жалобы, за жалобами – пересмотры с той же точки зрения, обращение дела к новому производству, собиравание сведений для уяснения таких фактов, которые сами по себе нисколько не служат к уяснению вопроса чисто юридического, – таким образом, существенное в деле остается все-таки неразрешенным, а все внимание суда отвлекается к фактическому содержанию дела.

Таковы вредные последствия юридической неопределенности. Вот зло, на которое следует нам обратить внимание, если желаем, чтобы успешно действовали новые формы, которыми думаем заменить недостаток, обнаруженный в старых. Не забудем, что и плохой механизм при помощи рабочей силы может с успехом действовать при свете, а без света и совершенная машина, устроенная по всем правилам науки и искусства, не в состоянии выполнить свое назначение.

VIII

Юридическая неопределенность – еще не самая главная причина неправильного размножения и развития процессов. Еще вреднее может быть в этом отношении влияние неопределенности фактической.

Содержание каждого процесса может быть представлено в виде силлогизма, в котором первую часть составляет юридическое основание, законное начало, из коего проистекает право на иск, – это большая посылка. Вторую часть составляет факт, к которому требуется приложить закон – меньшая посылка. Третью часть составляет вывод, то есть заключение и

требование. Из вывода, делаемого просителем, образуется иск, вывод, делаемый судом, превращается в решение. Для того чтобы этот вывод был тверд и верен, необходимо, чтобы в верности той и другой посылки не предстояло никакого сомнения. Если стороны соглашаются в фактах, если факты не требуют проверки и подтверждения, тогда суду остается только разрешить спорный вопрос о праве. Но если факты, представляемые сторонами, не ясны, противоречивы и служат предметом разногласия между тяжущимися, тогда задача суда становится сложнее: ему предстоит, прежде чем он приступит к вопросу юридическому, привести в совершенную известность истину фактическую, для чего употребляется система доказательств.

Для разрешения юридического вопроса судья должен иметь все средства в самом себе, под своею рукой, тут тяжущиеся обращаются к его непосредственному знанию; но фактическая сторона дела в случае спора о ней должна быть объяснена по тем данным, которые представляются сторонами и существуют отдельно и независимо от судьи и закона. Следовательно, здесь судья не в самом себе исключительно имеет средства для познания истины; здесь он должен судить не по личному своему опыту и знанию, а по тому, что есть и доказано в действительности (*secundum allegata et probata*).

В основании иска лежит право. Факты представляются, так сказать, материальною подкладкою права, материальным его осуществлением и вместе – внешними признаками права. Поэтому в фактах заключается всегда и первый материальный повод к начатию иска. В основании всякого спора лежит, как мы сказали, неизвестность, неопределенность, с окончанием коей оканчивается и спор. Следовательно, чем шире область этой неизвестности, тем более поводов к спорам.

Первую причину неизвестности должно искать в сфере материальной, в области фактов, служащих внешним выражением права, в ней-то и заключается первоначальный и неиссякаемый источник сомнений, столкновений и споров – все они рождаются от неопределенности. Представим себе спор о завладении землей¹⁰. Юридическая сторона вопроса здесь проста

и не подвержена сомнению: никто не вправе завладеть чужою собственностью; конечно, никто из тяжущихся не решится доказывать, что это положение несправедливо и что он имел право завладеть чужим. В таком случае спор сосредоточивается весь в фактической стороне вопроса: где граница между нашими владениями, где кончается мое и начинается твое? К этому предмету относится несогласие. Откуда же оно возникло? От неизвестности материальной. Если бы была несомненно определена граница нашего владения, мы не имели бы повода спорить о ней. Положим, что спор идет о действительности завещания; нет сомнения в том, что если оно простирается на родовое имение, то не может быть действительно, или в том, что если, например, свидетелями на нем подписались племянники получающего завещание, то завещание не имеет силы – это положения бесспорные. Спор состоит в том единственно, что одна сторона называет имение родовым, другая – благоприобретенным¹¹; одна называет свидетелей племянниками известного лица, другая отвергает это. Отчего такой спор сделался возможным? От неизвестности материальной. Нет, стало быть, ввиду такого акта, который удостоверял бы, без сомнения, родовое свойство имения или родство двух данных лиц между собою, или есть акт, но он недостаточно ясен или определителен. Такие примеры нетрудно умножить, но и приведенных достаточно для убеждения в том, что в большей части случаев материальная неизвестность служит первым источником спора.

Основная причина фактической неизвестности заключается в природе вещей и в природе человеческой; следовательно, решительное уничтожение этого главного источника процессов невозможно. Поводом к иску служит явление мира действительного, действие человека, оно ведет к возбуждению вопроса о том, какую законную норму следует приложить к этому явлению или действию? Но прежде чем этот вопрос поступит на разрешение суда, необходимо, чтобы он возник среди частных лиц, заинтересованных фактом; а между этими лицами возбуждение этого вопроса тем удобнее, чем менее определено или чем более сомнительно значение самого факта.

Факт служит материальным выражением права или внешним его признаком: если этот признак так ясен, что не допускает сомнения о том, что должно обозначаться им, или выражение так точно, что для всех очевидна сущность выражаемого, тогда разногласие или вовсе не может иметь места, или разрешается без всякого затруднения.

Как бы ни была совершенна существующая в государстве система судопроизводства, какие бы формы ни устанавливало законодательство в видах уменьшения процессов, процессы будут не уменьшаться, а размножаться, если право собственности в ежедневном его проявлении, действии и употреблении выражается неопределительно, если внешние признаки этого права столь неточны, что оставляют место частым сомнениям о материальных границах собственности, владения и пользования, – одним словом, если в сфере частных сделок и отношений, проистекающих из личного права и прав по имуществу, господствует беспорядок, вследствие коего делается затруднительным приведение в известность явлений и фактов, служащих выражением и доказательством права. В таком случае каждая сторона под влиянием недоразумения или личного интереса может почитать себя вправе не на основании положительных данных, представляемых предметом спора, но на основании личных своих выводов и предположений. Так, например, в государстве, где не вошло еще в обычай вести повсеместные акты для записки браков, рождений и смерти, где каждый из этих моментов должен быть приводим в известность посредством исследования, господствует неопределенность относительно всех прав, сопряженных с этими фактами; следовательно, и число спорных дел об этих правах должно быть весьма значительно. Там, где не определены с точностью границы поземельного владения, нет конца ссорам соседей и возникающим вследствие того тяжбам о завладении; для определения прав собственности на землю приходится большею частью исследовать само владение, восстанавливать посредством второстепенных, сложных и сомнительных доказательств факт, который должен бы быть очевидным для

всякого, если бы система поземельного владения и укрепления прав устроена была в надлежащем порядке. Известно, сколько затруднений в разрешении представляют у нас, например, дела о размежевании по документам чресполосных владельцев¹², дела о подтопе лугов и держании воды на мельницах, о самовольном завладении, о стечении долговых обязательств и проч[ее]. Главным источником этих затруднений служит фактическая неопределенность, неясность, шаткость и неполнота тех формальных признаков, которыми должно быть связано представление о праве, и если эта неясность представляет так много затруднений для самого суда, то тем более – для лиц подсудных. Можно сказать с уверенностью, что вдвое менее дел доходило бы до судебного разбирательства, если бы фактическая сторона права была определена с ясностью.

Этот важный предмет всегда должен быть в виду у законодателя, желающего ограничить количество возникающих тяжб. Для успешного достижения этой цели следует рассчитывать не на механические процессуальные средства, погашающие процесс произвольно и насильственно: следует преследовать зло в том самом источнике, откуда оно рождается, – в юридических условиях и принадлежностях гражданского быта. Приведение в порядок, полноту и ясность законов и обрядностей, коими управляется и утверждается право собственности, есть лучшее средство для предупреждения споров относительно этого права.

IX

Учреждение, имеющее целью достижение и признание правды в обществе, должно быть само верно правде. Как бы ни были настоятельны, чем бы ни извинялись побуждения, вследствие которых нарушается правда: в частном ли деле, с заднею мыслью о благе частном, в государственном ли деле, во имя смутной идеи о благе общественном (*salut public*), – нигде и никогда правду нельзя нарушать безнаказанно, рано или поздно она отомстит за себя, и нарушение ее отзовется горькими плодами, подроеет в самом корне благосостояние частного быта,

распалят и исказит жизнь общественную, выведет из равновесия высшие силы, которыми держится и управляется целое общество. Так и должно быть, потому что, в сущности, сама правда есть основное благо и частного, и общественного быта.

Вот начало, которое, по нашему мнению, не следует ни под каким предлогом упускать из виду, когда рассуждаешь о таком великом деле, каково учреждение суда и расправы. Как бы ни было великолепно новое здание, которое воздвигнется на обломках или из обломков прежнего, как бы ни были отделаны, рассчитаны и соображены в общей связи особенные его части, оно не будет прочно, оно не исполнит своего назначения, если не будет в нем свойств всего, что может назваться прочным на земле, то есть простоты и правды. Если система судопроизводства должна быть прочною и действовать с успехом, то все формы ее и обряды должны быть действительным выражением того, что под ними предполагается, а не фальшивым официальным представлением того, чего нет в действительности. Суд должен быть судом, а не пустою формой, иначе не будет в нем правды.

Историческое развитие нашей общественной и государственной жизни, согласное, впрочем, в главных чертах с историческим развитием других народов, привело нас к приказной форме суда, донныне существующей. В начале своей истории видим мы суд в чистой форме частной борьбы, происходящей между сторонами перед судьей, который после этой борьбы высказывает конечный результат ее, произносит не приговор о безусловном праве той или другой стороны, а решение о том, которая должна считаться побежденною. Закон положительный имеет в виду почти исключительно процессуальную сторону дела, в нем почти не встречаем определений о праве. Право живет еще в сознании народном, в обычае, в представителях его, присутствующих на суде. Суд по содержанию своему (в смысле объективном) есть дело народное, земское, власть не выказывает заботы об охране права, потому что не высказала ясно от своего имени и того, что есть право. В то же время по внешним признакам своим (в смысле субъектив-

ном) суд есть право власти, вручаемое тому или другому лицу, право сказывать решение со взиманием пошлин в своем при- суде, в своей волости, в своем кормлении.

По мере того как утверждается государственное единство, изменяется мало-помалу и этот характер суда. Органами суда являются представители центральной власти – воеводы и судьи московских приказов; но не им собственно принадлежит хранение и сказывание права. Право не успело еще организо- ваться в стройное целое, получить самостоятельное значение. Из области непосредственного ведения, из среды народной оно перешло в другую, более тесную, но еще не ясно опреде- ленную сферу. Хранителями его и истолкователями делаются так называемые приказные люди, дьяки и подьячие. Судебная власть еще не приобрела себе самостоятельности, не обозна- чилась резкою чертой в кругу государственных учреждений; суд не отличается от правительства, понятие о подсудности сливается с понятием о ведомстве и подчинении. Обращение тяжущегося к суду выражается в форме челобитья; в иске его и жалобе еще не ясно выражается твердое, сознательное тре- бование права как чего-то безусловно принадлежащего ему, в них всего чаще слышится просьба о помощи, бессознательное: укажи, пожалуй или помилуй! Суд, по началу своему словес- ный и состязательный, под влиянием приказного элемента превращается более и более в письменный и следственный; формы его становятся сложнее и запутаннее, судоворение теряет свой первоначальный характер живой речи, к нему присоединяется множество письменных челобитий и канце- лярских помет. В приговоре пишется: «боярин (или воевода) с товарищи, слушав дела, приговорили», но мы знаем, что со- держание приговора и действительный суд принадлежит дья- ку или подьячему, приказному человеку, у него спрашивают, в чем дело, ему приказывают подвести указы, он делает пометы на челобитьях и выписках от имени судьи, он составляет ре- шение, кого и почему обвинить и оправить. Оттого и приговор не имеет внутренней безусловной самостоятельной силы, от- того нет ясного понятия об инстанции, оттого не организова-

лась еще апелляция, а взамен ее в обширном и неопределенном смысле употребляется спорное челобитье на дьячью помету, на судейское вершенье, челобитье, обращаемое безразлично к тому же судье, который повершил дело, к главному боярину, заведывающему приказом, к государю. Оттого в каждом почти деле решение по несколько раз перевершается одним и тем же лицом или местом; для этого стоит только судье сложить вину на дьяка или дьяку подвести новые законы.

Соответствует ли эта приказная форма прямому и чистому понятию о суде? Судейскому приговору принадлежит решительное значение только на том основании, что в нем судья высказал свое убеждение о праве; для того и облекается он судебною властью, чтобы судить. Но если приговор, составляемый от имени судьи, выражает не его собственное убеждение, а убеждение или мнение другого лица, которое скрывается во тьме и не может назвать себя судьей, в таком случае суд лишается главной своей опоры. В нем нет прямоты и искренности, в нем есть неправда. Возможно ли примириться с этою неправдой? Возможно ли расстаться с нею, уничтожить ее?

Примириться с нею невозможно и не должно. Она служит источником большей части неправд, совершающихся на суде, распложая их по закону необходимости. Она ставит на суде в фальшивое положение и судью, и приказного человека, и самих тяжущихся. И в добросовестном судье убивает она энергию, развивает равнодушие к своему делу, тем более в таком, который по природе своей склонен к лени. Человек, желающий судить и решать на самом деле и приучить к тому своих сочленов, вступая в обязанность судьи, на первых же порах встречает почти непреодолимые препятствия в вековой приказной привычке, в укоренившихся издавна свойствах самой среды, в коей он призван действовать. Если он хочет быть судьей не только по имени, то редко желают этого товарищи его, успевшие уже свыкнуться со спокойным положением повелевающей, но не действующей власти; для этого, кроме труда умственного и материального, необходимо еще знание, необходима уверенность в себе, которых они не успели при-

обрести. Не желают этого приказные люди, им неприятно было бы утратить свое значение и превратиться на самом деле в исполнителей чужих приказаний. Они привыкли иметь свое мнение и распоряжаться чужим убеждением. С другой стороны, если одному из членов суда, по официальному положению или по особенным внутренним качествам, удастся приобрести действительный авторитет, сделаться действительным судьей, то в нем под влиянием той же приказной формы почти всегда выказывается стремление к исключительному владычеству над всеми прочими членами, стремление судить и действовать единолично за всех, хотя и сам он, большею частью невольно, подчиняется влиянию и мнению приказных людей, сильных всем искусством рутины, всем могуществом терпеливого труда. Таким образом, к прежней неправде присоединяется еще новая; коллегиальная форма суда, сохраняя весь свой титул, скрывает под ним все несовершенства единоличного взгляда и единоличной власти.

Не менее фальшиво и положение приказного человека, когда он желает быть верен своей обязанности. Каковы бы ни были судьи, которым он докладывает, он чувствует с первого же опыта, что в руках его сила действительная, сила труда и знания, следовательно, и сила решения. Но этою силой должен он пользоваться скрытно, не имея права открыто признать ее перед всеми. Официально он должен представляться лицом, не имеющим на суде своего мнения, тогда как в действительности это мнение управляет судом. Такая роль должна казаться тяжелою для добросовестного человека, а недобросовестному предоставляет полную свободу делать, что ему угодно. Человеку, имеющему высокое понятие о суде, тяжело уже и то, что на нем одном лежит в большей части случаев нравственная ответственность, которая при нормальном устройстве суда разлагалась бы на совесть каждого члена; что убеждение его, как бы ни было честно, должно выражаться косвенно, в лживой форме чужого убеждения. Таково положение приказного человека посреди судей, отказавшихся от своей деятельности. Оно становится еще тяжелее, еще

соблазнительнее, когда эти судьи или некоторые из них при неспособности прямо судить о деле, при отсутствии всякого юридического взгляда, при лени, препятствующей им вникнуть в дело во всех подробностях, желают удержать за собой роль судьи и решать дело в действительности. Недобросовестный делопроизводитель будет чувствовать себя свободно и в этом положении, но для добросовестного оно невыносимо: каждый день приходится ему вступать в скрытую, глухую борьбу с мнениями, неразумность коих для него очевидна, с невежеством, произволом, с привычкою судить о всяком деле свысока и поверхностно, с нравственными взглядами, отрицающими всякое юридическое основание, с выводами казуистики, не опирающейся на твердое убеждение. Борьба эта не может быть открытою, и нередко необходимость принуждает в ней борца схватиться за первое попавшееся орудие, лишь бы при помощи его можно было одолеть. Кто знаком на практике с приказным делом, тому должно быть известно, например, что опытный докладчик в деле, сколько-нибудь трудном и запутанном, никогда не выскажет перед судьями всего того, что находит в деле и сам признает необходимым к решению, а высказывает только то, что, по его расчету, должно, не запутывая судей, привести их к такой резолюции, которая в данном случае вытекает из обстоятельств дела. Так принужден поступать докладчик и тогда, когда действует добросовестно, и тогда, когда преследует в деле личные свои цели, – и в том, и в другом случае говорится одно, а в уме держится другое. Но, вынуждаясь фальшивым положением своим на суде к употреблению такого орудия, докладчик скоро привыкает пользоваться им безразлично во всех случаях, не обращая внимания на то, что это орудие несправедливое, какими бы целями ни извинялось его употребление. Таким образом, мало-помалу вся обрядовая сторона приказного дела заражается неправдой, слагается из неправды, писаной и словесной, к которой все привыкают до того, что не могут и представить себе иных, прямых и искренних, отношений к делу и к людям. Мудрено ли, что в такой школе скоро ослабевают и энергия воли, и

вера в силу честного убеждения, и добросовестное стремление к изысканию истины?*

Тою же неправдой испорчено и положение тяжущихся относительно судьи и друг к другу. Они стоят лицом к лицу перед судьей, но не могут прямо отнестись к нему, а положив в его руки судьбу своего дела, не могут вполне успокоиться ни на доверии к суду, ни на сознании твердости своего права. Они начинают ходатайствовать перед судьей, но не смеют положиться и на его слово, зная, что позади судьи таится другая, приказная сила, которая держит в своей власти все нити и пружины судебного механизма, держит слово судебское, держит слово закона и правды. Поневоле приходится обращаться к ней, действовать, если можно, на ее убеждение, а если нельзя – искать случая сделки с ним и даже радоваться возможности таких сделок. Сколько неправды в этой печальной необходимости! По наружности, по форме – обращение к правде, на самом деле – расчет на неправду. Но и приобретя в свою пользу мнение и слово приказной силы, проситель еще не может на этом успокоиться. Пожалуй, на сей раз судья не покорится этой силе, захочет бороться с нею и утвердить на суде свое собственное мнение и слово, может быть, кривое или неблагоприятное. Так, переходя от сомнения к сомнению, не видя перед собой единства власти, от которой мог бы ожидать верного решения, проситель принужден и здесь и там отыскивать себе кривые лазейки к суду, когда нет возможности пройти по прямой и ровной дороге.

* Под влиянием письменной системы, сказано в рапорте комиссии для рассмотрения нового устава сардинского судопроизводства, «если докладчик намеренно или только по беспечности какую-либо допустит неверность в докладе; если, обремененный работою, он при многосложности актов, составляющих дело, неумышленно пропустит какое-либо обстоятельство, утверждение или отрицание, сократит какой-нибудь документ, исключив из него все, что, по мнению его, не имеет влияния на разрешение дела; если умышленно или даже без всякой цели, но по естественной склонности всякого человека излагать права, по мнению его, законные, яснее тех, кои представляются ему неосновательными; если предупрежденный более в пользу одной, чем другой стороны, он успеет обнаружить влияние на других судей, обвиненная сторона при чисто письменной и секретной системе не будет иметь никакой возможности открыть или исправить ни ошибку, ни недосмотр, ни самый умысел».

Неужели же нет возможности найти и открыть перед всеми прямую и широкую дорогу к правосудию, установить для всех, отыскивающих свое право, прямые и искренние отношения к лицам, которые должны служить органами правосудия, устроить положение этих лиц так, чтобы согласие мнения с убеждением, слова – с мнением, дела – со словом и формой было для них легко и естественно, чтобы не было во взаимных отношениях органов суда между собою и к подсудным лицам той неправды, которою эти отношения теперь проникнуты? Есть возможность – так ответит всякий, в ком есть еще вера в правду и в духовные силы природы человеческой.

Приказная форма суда неразрывно связана с господствующею в нем письменностью и канцелярскою тайной и будет держаться до тех пор, пока суд не сделается словесным и открытым. Только на этих условиях возможно освободить его от приказной формы и неправды, с нею связанной.

Письменная форма суда имеет еще у нас много защитников, и несправедливо было бы думать, что все они защищают ее недобросовестно, не по убеждению. Они указывают не без основания, что письменное производство имеет некоторое преимущество перед словесным, только через меру преувеличивают это преимущество, потому что не обнимают вопроса во всей его целостности, а имеют в виду только одну сторону. Затем указывают они на материальные препятствия ко введению у нас словесного судопроизводства, на недостаток людей, специально к тому приготовленных, и т[ому] п[одобное], но и здесь ошибаются они, предполагая, что словесное судопроизводство требует от судей более способностей, знания и опытности, нежели письменное. Как будто можно допустить, что легче и удобнее обращаться со сложными и искусственно построенными формами, нежели с формами простыми и естественными!

Письменное производство действительно имеет на своей стороне некоторые выгоды: судья не принужден здесь схватывать на лету один за другим факты, нередко противоречащие, а может разом обозревать все содержание дела на одном плане; ему нет нужды посвящать на выслушание процесса по

несколько продолжительных заседаний; он приступает к рассмотрению дела, когда оно совсем уже приготовлено к решению, может заняться делом спокойнее, удобнее сосредоточить внимание на всех его обстоятельствах и беспристрастнее относиться к противоречащим внушениям сторон; может рассматривать вместе по несколько прикосновенных одно к другому дел, не заставляя тяжущихся подолгу дожидаться своей очереди. Все это может казаться убедительным и даже неопровержимым доказательством в пользу письменности поверхностному взгляду человека, составившего себе кабинетное понятие о сущности письменного и словесного судопроизводства и не знающего на практике письменного суда и приказной сферы. Опыт показывает, что те самые качества, которые кабинетная теория присваивает исключительно письменному суду, в нем именно всего реже встречаются на самом деле. Тот, кому близко знакомо это дело на практике, кто исполнял судебские обязанности, кто работал в судебных канцеляриях и не разучился еще давать себе отчет во всем, что делает сам и что около него делается, тот, конечно, не станет доказывать преимущество письменной формы суда над словесною при каких бы то ни было условиях.

С письменным производством необходимо сопряжено то раздвоение судебной власти на присутствие и канцелярию, на которое мы указали выше, раздвоение, не согласное с идеей о единстве как необходимом условии всякой власти. Судья должен выслушать обе стороны, чтобы сказать им свое решение – вот первоначальная, простая и нормальная форма суда. Здесь отношение судьи к тяжущимся прямое, искреннее, непосредственное, тяжущиеся стоят лицом друг к другу и перед судьей. Но при письменном производстве между обеими сторонами, равно как между ними и судьей, находится бумага. Бумага, по старинной пословице, все терпит, она лжет и не краснеет. Все официальные сообщения тяжущихся с судом производятся, с одной стороны, посредством неограниченного числа прошений, в которых запутывается сущность дела, собираются нестройные груды доказательств, повторяются

по несколько раз с изменениями одни и те же факты и доводы; с другой стороны, посредством множества журнальных записок, отношений, ведений, предписаний и подтверждений, которых требует каждое действие суда в отношении к тяжущимся. Таким образом накапливается масса писаной бумаги, составляется дело и запутываются в нем узлы. Судьи не имеют возможности распутать их, очистить сущность дела от всех его покровов, вникнуть в него непосредственно. Эта работа принадлежит канцелярии – новое писание, новое повторение одного и того же; сколько здесь теряется напрасного труда, сколько губится даром силы и времени – известно каждому, кто знаком с канцелярским обрядом. Дело готовится к докладу, но это приготовление состоит по форме в составлении записки, которую приказная обрядность помимо закона превратила в переписку целиком сырого бумажного материала, составляющего содержание дела. Таким образом, изучение дела, то есть приготовление того убеждения, которое должно вести к решению, принадлежит непосредственно не судьям, но канцелярии, а судьи знакомятся с ним посредством доклада. Но в приказном производстве сам доклад превращается в формальность, не всегда соблюдаемую. Большею частью и доклада не бывает, а дело обдeldывается между судьями и производителями. Составляется решение, но кто участвовал в составлении его, чье убеждение, чей взгляд служит ему основой – этого в большей части случаев определить невозможно. Предполагается, что судьи слушали записку из дела; но если бы в каждом деле действительно читалось громадное собрание бумаг, называемое пространною запиской, то не достало бы времени для решения десятой доли дел, решаемых в суде; и судьи, даже при всей готовности, не в состоянии были бы проследить нить дела и объять сущность его по длинным и запутанным бумагам записки. Вот в каком виде являются на самом деле так называемые преимущества письменного производства. Такая форма процесса сама по себе уже объясняет, почему судьи равнодушны к своему делу, отчего происходит пассивное положение их на суде: суда и нет для них в истин-

ном значении слова, а есть только обряд, приказный. Если этот обряд лишен жизни и духа, лишен правды и действительного значения, то и в судьях нечего рассчитывать на живую деятельность духа. Она явилась бы сама собою, и те же судьи стали бы действительными судьями, когда бы вместо немой бумаги стали перед ними живые люди и совершалось бы перед лицом их действительно живое состязание спорящих. Если бы притом в залу присутствия проник свет, которого она лишена теперь, то ни один судья не мог бы остаться равнодушным свидетелем спора и каждый желал бы составить себе и выразить собственное мнение; тогда деятельность его получила бы внешнее побуждение, тогда не ослабло бы в нем сознание нравственной ответственности перед совестью и перед обществом; тогда в священном и торжественном обряде суда не было бы той неправды, того разлада между делом и формой, которых не должны мы допускать в обряд суда, если сам суд должен быть судом, а не пустым обрядом.

Итак, если словесная форма суда должна быть почитаема самую простою и естественною, если эту форму видим мы у всех народов и на первой ступени общественного развития, на которой застают их история, и на высшей ступени сознательно-го их бытия и устройства, то, кажется, нельзя сомневаться, что именно от нее и следует ожидать лучшего успеха даже там, где есть недостаток в судьях, специально приготовленных наукой и опытностью к юридическому делу. Такого судью запугает, спутает и сделает равнодушными бумажная форма; напротив, словесное разбирательство даст ему опору, поддержит в нем постоянный интерес к своему делу и разовьет в нем те качества, которые необходимы для доброго судьи. Словесное судопроизводство будет лучшею школой для образования судей, единственным средством для уничтожения вредного разлада между наукой права и юридическою практикой. Отлагать введение этой естественной формы суда до тех пор, пока при господстве письменной формы образуются добросовестные и опытные судьи, — значит не дожидаться никогда ни истинных судей, ни желаемого правосудия.

Х

Многие рассуждают о словесном судопроизводстве, не давая себе ясного отчета, в чем состоит сущность его, и думая, что со введением словесной формы суда всякое письменное производство должно само собою уничтожиться. Иные, увлекаясь живостью и плодотворностью публичных дебатов во французском судопроизводстве, готовы поставить его за образец всякого нового устройства, как совершенное применение формы словесной, не подозревая того, что один из главных недостатков французского процесса состоит именно в сложности производства и в чрезмерном развитии письменности.

Дело в том, что ни одна форма суда не может быть чисто словесною и каждая требует, в большей или меньшей степени, производства письменного. Каждый процесс в последовательном развитии своем до минуты решения делится на две части: в первой дело готовится к суду, во второй совершается самый суд. Словесное разбирательство относится к этой последней части и состоит в том, что стороны лично или через своих представителей являются перед судом, объясняют взаимные свои претензии и излагают свои доводы и опровержения. Живое слово употребляется при этом с тою целью, чтобы судья посредством действительного состязания тяжущихся мог прийти к юридическому убеждению в справедливости той или другой стороны и произнести приговор о праве. Но основанием такого состязания должны служить, во-первых, факты, из которых составляется дело и возникает вопрос; во-вторых, положительно и определительно высказанные предметы иска или требования. Те и другие должны быть заявлены, утверждены несомнительно (фиксированы), должны служить материальною подкладкою и поверкою процесса. Одного слова для этой цели не всегда достаточно при разнообразии и сложности гражданских отношений, из которых возникают процессы. Если довериться одному слову, то в большей части случаев невозможно было бы привести процесс к концу: нельзя было

бы знать с достоверностью, что именно каждая сторона требовала, что утверждала, в чем созналась, каждая могла бы отказаться от самого решительного слова или изменять по произволу первоначальный смысл; судья остался бы в недоумении, что и по каким фактам судить ему; ни один судебный приговор не имел бы надлежащей фактической твердости. Эта необходимость утвердить каждое дело на прочной письменной основе выразилась в форме процесса у всех народов в самые ранние эпохи исторического их существования. К этой цели вели римские формулы исков; на нее указывают и у нас первоначальные формы судных речей в старинных судных списках. Формы эти, развиваясь мало-помалу, доходили везде до чрезмерного размножения и, наконец, при развитии канцелярского обряда превращали весь процесс в одно цельное письменное производство, так что в позднейшую эпоху народного самосознания приходилось везде обращаться к историческому первообразу суда. Но при новых условиях юридического и общественного быта, без сомнения, уже невозможно было восстановить его во всей первоначальной простоте; везде, наряду с новыми формами словесного разбирательства, появились новые письменные формы предварительных судебных действий.

Формы эти сложились типически в двух главных видах. Один, представителем коего может служить прусская система, состоит в судебном протоколе. Стороны заслушиваются судьей, и речи их со включением первоначальной жалобы, доказательств и возражений записываются в протоколе под надзором судьи. Форма эта состоит в связи со следственным характером прусского гражданского процесса и с официальной обязанностью судьи достигать в гражданском деле истины посредством расспроса.

Другая форма составляет принадлежность французского процесса и состоит в том, что дело готовится к суду без всякого участия и надзора судьи и даже без прямого участия самих тяжущихся, посредством особенных чиновников или стряпчих, которым стороны официально поверяют все фактические и юридические материалы, какими располагать могут.

Почитаем нелишним указать на некоторые подробности этого порядка, так как на французский процесс чаще всего указывают у нас как на образец, которому должно следовать.

Цель учреждения официальных стряпчих, *avoués*, при всех французских судах (кроме тех, в коих судопроизводство происходит сокращенным порядком, то есть мировых и коммерческих), состоит в том, чтобы, во-первых, дать каждому из тяжущихся готового ходатая, который управлял бы за него всем ходом процесса, наблюдая за исполнением обрядов, требуемых законом и предупреждая ошибки и упущения, которых всегда трудно избежать частному человеку, не знакомому с особенностями судебного обряда; во-вторых, установить между тяжущимися удобнейший способ сообщения, при коем они могли бы, не имея надобности в личной явке, объяснить друг перед другом взаимные основания и требования и приготовиться к публичной и словесной борьбе перед судом, чтобы одна сторона со своими доказательствами и возражениями не могла сделать на другую непредвиденного и внезапного нападения. Для этой цели каждая сторона обязана избрать себе стряпчего из числа состоящих при суде, а стряпчий обязан представлять и защищать ее на суде, то есть обязан, во-первых, составлять для нее все акты, необходимые для приготовления дела к суду, исполнять все требуемые законом формальности (*postuler*) и заявлять перед судом все ее требования (*conclure*); во-вторых, в качестве ходатая подавать просьбы с объявлением способов и оснований, иска и защиты и даже в некоторых случаях может словесно защищать своего клиента на суде совокупно с адвокатом.

Способ этот с первого взгляда представляется значительным облегчением как для судей, так и для тяжущихся. Но на деле служит он источником большой медленности, запутывает ход процесса и ведет ко множеству злоупотреблений.

Дело начинается с того, что истец, избрав себе стряпчего, вручает ему свои документы. Затем адресуется к ответчику через посредство пристава и от имени его судебный вызов (*exploit d'ajournement*). Ответчик, получив его, обязан в течение

восьми дней избрать себе стряпчего, и с этого времени все сообщение сторон между собою совершается посредством бумаг, пересылаемых между стряпчими; по закону эта пересылка и получение бумаги могут быть удостоверяемы простою распиской стряпчего, но по обычаю и для взаимной выгоды судебных чиновников установилось мало-помалу между стряпчими посредствующее лицо протоколиста (*greffier*), будто бы для большей верности сообщений, но на самом деле – для того, чтобы протоколисту чаще доставалось собирать свои пошлины с просителей. Уведомив бумагою (*acte d'occuper*) стряпчего истца о своем назначении, стряпчий ответчика через 15 дней после того сообщает ему объяснения и бумаги в защиту своего клиента в форме прошения, адресуемого на имя суда (*requete en defense*). **Через 8 дней первый стряпчий в подобной же форме (*requete en reponse*) доставляет второму свои возражения.** По окончании этого обряда или по прошествии сроков, для него установленных, один из стряпчих, по желанию, может пригласить другого к явке на действительный суд. Это называется ***poursuivre l'audience* и совершается посредством особого акта (*acte d'avenir*);** его передает судебный пристав (он также берет в свою пользу пошлины за передачу акта в тех случаях, когда ему предоставлено визировать акт). Но это еще не последний акт стряпчего: он должен ввести само дело в суд, поставить его в очередь (***mettre au role***). **Для этой цели составляется особенный акт (*placet*), содержащий изложение фактической стороны дела, доводов, заключений и требований;** не позже как накануне заседания он вручается протоколисту, записывается в очередной реестр и отдается обратно стряпчему. В назначенный день стряпчий является в присутственную залу до начала заседания с этим актом и вручает его дежурному приставу. При открытии заседания пристав провозглашает дело, стоящее на очереди; стряпчий противной стороны должен быть тут же и представить со своей стороны подобный акт с противоположными заключениями. На этом, по большей части, и останавливается дело, суд еще не начинается. Первое провозглашение имеет целью удостовериться в том, что обе

стороны явились на суд в лице своих стряпчих, и вычеркнуть из очереди все дела, по которым нет налицо стряпчего ответчика, утвердить решительную очередь. Затем дело вызывается на суд через 8 дней, но и этот срок еще не окончательный. Может случиться, и весьма часто случается, что который-нибудь из стряпчих не представил своих заключений или представил их не вполне или извиняется тем, что не получил всех нужных сведений от своего клиента и не вполне изучил дело. Тогда ему назначается для того новый срок. Стряпчие, соединенные общими интересами, часто сами соглашаются между собою в действиях, имеющих целью оттянуть дело, которого по привычке к лени или к равнодушию не успели еще приготовить. Таким образом, день, в который дело действительно будет засужено, почти всегда находится в неизвестности и зависит от множества случайностей (исключая дела, производящиеся скороокончательным порядком).

Таким образом, порядок приготовления дел к суду, установленный законом для пользы тяжущихся, на самом деле оказывается обрядом сложным и отяготительным. Французские писатели, защищая основания этого порядка, доказывают, что причину всех недостатков его должно искать в злоупотреблениях исполнителей. Нам кажется, однако, что сами начала этого порядка не выдерживают здоровой критики, что в нем не достает простоты, что в нем самом есть скрытая неправда.

В самом деле, как ни разумна сама по себе идея дать тяжущимся официальными представителями и защитниками и освободить судью от обременительного участия в собирании фактов, составляющих содержание дела, идея эта во французском судопроизводстве проведена так безусловно и решительно, что в конечном результате своем приводит к совершенному отчуждению тяжущихся от суда и ставит их в положение беззащитное относительно тех самых лиц, которые по закону должны быть официальными их защитниками. Закон доверяет здесь простым судебным служителям, не всегда имеющим достаточные юридические сведения, такое дело, которое должно было бы составлять принадлежность судебной

власти, – установление первоначальных отношений между тяжущимися и первоначальное соображение представляемых ими доказательств. Закон требует от тяжущихся предварительного письменного производства, определяет число бумаг, подаваемых от лица их в форме прошения на имя суда, дает взаимным объяснениям их значение материальной основы для предстоящего процесса и в то же время предоставляет стряпчему совершать все эти действия без всякого ведома судей и без всякого надзора со стороны их, так что суд в ординарном порядке процесса ни прежде, ни во время пледирования¹³ не принимает ни в какое соображение содержание всех бумаг, которые были подаваемы на имя его при письменном производстве. В этих бумагах должны содержаться по закону доказательства, опровержения и возражения, и для подачи их требуются сроки, но тот же закон не видит в этих бумагах действительных эксцепций¹⁴, реплик и дуплик¹⁵, составляющих основу всякого письменного состязания, и относит все эти необходимые действия к другому, последующему моменту состязания словесного. Отсюда происходит, что предварительное производство дела посредством стряпчих во Франции при всех формальностях, подобных письменному суду, не имеет, однако, качеств суда и как приготовление материалов для суда не выполняет своего назначения, потому что слишком сложно и растянуто. Стряпчие, зная, что решение дела несколько не зависит от всего того, что они пишут друг другу от имени сторон, не заботятся о добросовестном собирании и разъяснении всех фактов на основании процесса и ограничиваются только поверхностным составлением бумаг и формальной пересылкой друг другу документов. С другой стороны, собственный интерес, тесно связанный с количеством написанных листов, заставляет их по своему произволу и без всякого контроля как со стороны тяжущихся, так и со стороны суда расплывать бумажную переписку. О содержании бумаг, о ясности в изложении нет нужды много заботиться по той же причине, что бумаги эти (кроме заключительных записок, известных под названием *qualites*) не имеют на суде действительного значе-

ния. И точно, всякий, кому случалось читать эти бумаги, вероятно, с изумлением спрашивал себя: как могла удержаться во Франции XIX столетия такая тяжеловатость внешней формы, такая варварская конструкция бесконечных периодов, такая запутанность и темнота выражений?

К сожалению, французский закон, допустив вредное отделение обязанности стряпчих (*avoués*) от должности адвоката, предоставил первым исключительную монополию предварительного производства и допустил вместе с тем продажность стряпческих мест. Продажность прокурорских должностей существовала во Франции издревле. Она установлена была для казенного дохода при Франциске I⁶, уничтожена канцлером Лопиталем¹⁷, потом восстановлена при Генрихе III¹⁸ и снова отменена декретом учредительного собрания в 1791 году. **Ей суждено было снова возродиться в первой четверти XIX столетия.**

За все свои действия, то есть за каждый написанный и подписанный лист бумаги, стряпчий получает от своего клиента вознаграждение в размере, определенном в особом тарифе. Таким образом, звание стряпчего соединено с доходом весьма значительным и не имеющим строгой определенности. Закон обязывает их (наравне с нотариусами, протоколистами и судебными приставами) при вступлении в должность представлять значительную денежную сумму в обеспечение ответственности, сопряженной с их должностью. Это обстоятельство, само по себе незначительное, оказалось впоследствии весьма важным: благодаря ему все перечисленные нами чиновники, в том числе и стряпчие, утвердили за собою исключительное положение в отношении к правительству, а звание их сделалось представителем ценности и предметом торговли. С 1816 года каждый из них при добровольном оставлении должности обязывался представлять за себя преемника правительству; вследствие того все эти места снова сделались продажными и передаются посредством сделок, официально признаваемых властью. По мере умножения процессов и гражданских актов начала возрастать и цена каждо-

го подобного места. Теперь она в некоторых случаях доходит до огромных размеров*.

Естественно, что при таких условиях должность стряпчего получает значение откупного места, и каждый, заплатив деньги своему предместнику, старается всеми мерами вознаградить себя за уплаченную сумму и увеличить свой доход или перепродать место тому, кто больше даст за него; а правительство при передаче мест наблюдает только за исполнением формальных условий перехода, не имея возможности следить за способностью и нравственными качествами нового чиновника. Как ни соблазнителен такой обычай, как ни отяготительны последствия его для граждан, прибегающих к помощи судебных чиновников, правительство до сих пор не нашло еще средства уничтожить его. Главное затруднение состоит в том, что при уничтожении продажи необходимо возвратить всем чиновникам с процентами все денежные залоги, с давних пор внесенные в казну и составившие в ней значительный фонд, а этот фонд, без сомнения, давно уже растроченный на другие надобности, по последним исчислениям простирается в одной капитальной сумме до 59 605 000 франков.

Этим положением, которое создали себе французские судебные стряпчие и к которому отчасти приводит их сам закон, объясняется возможность многочисленных злоупотреблений. Стряпчие во французском судопроизводстве получили значение приказной силы, которой не может миновать ни один из тяжущихся. В их руках находится все приготовленное производство, и они мало-помалу развили в нем огромную письменность в союзе с прочими исполнительными чиновниками (*greffiers* и *huissiers*). Правда, законом постановлено, что кроме бумаг, на которые есть в нем прямое указание, все остальные не обязательны для тяжущихся и падают на счет самих стряп-

* Ниже 5000 франков не стоит ни одно место; но есть и такие, за которые дают по 400 и по 500 тысяч франков; протокол в парижских гражданских судах был продан за 700 000 франков, а доходы протокола в парижском коммерческом суде ценятся в 1 млн. франков. Ценность всех мест, принадлежащих так называемым *officiers ministeriels*, во Франции предполагается до 1 млрд. франков. См. *Philosophie de la procedure civile* par R. Bordeaux.

чих, как и все акты, признанные ничтожными и напрасными (Code рг. ст. 81, 1031); правда, что по закону президент суда, постановившего решение, должен проверять таксацию, и недовольный имеет право возражать против нее, – но и эти законы оказываются бессильными против произвола стряпчих. Во-первых, стряпчий выигравшей стороны сам составляет счет издержкам (и еще за этот счет берет пошлину); во-вторых, проверка со стороны судьи существует только по имени, а не в действительности, судья занят делами более важными, да и вообще равнодушен ко всем актам, которые входят в состав предварительного производства; в-третьих, французский таксационный тариф до того запутан, что сами судьи, а тем более тяжущиеся, теряются в разнообразных его правилах, а стряпчие держатся в свою пользу собственной системы истолкования и применения этих правил; в-четвертых, для возражения против таксации назначен краткий трехдневный срок, и подавать его должен все-таки стряпчий обвиняемой стороны, состоящий при том же суде и связанный одинаковыми побуждениями со стряпчим, составлявшим таксацию; в-пятых, все производство по таксации и по возражениям против нее совершается под покровом канцелярской тайны, а не в публичном заседании. Пользуясь таким выгодным положением, стряпчие мало-помалу успели ввести в обычай, против которого никто уже и не возражает, такие акты и установить такие формальности письменного производства, о коих нет и помину в законе, присвоить в свою пользу доходы совершенно произвольные. Сильные единством своей корпорации и общих выгод, поставленные законом безусловными посредниками между судьей и тяжущимися, стряпчие присвоили себе полное владычество над последними до того, что по милости их все более и более стесняется отношение тяжущихся к неофициальным их защитникам; стряпчие начинают уже раздавать дела адвокатам по своему произволу, и во многих местах клиент без согласия стряпчего не имеет возможности выбрать себе адвоката.

Такова оборотная, письменная сторона французского процесса, и здесь мы видим также черты неправды, искажающей

правосудие, и здесь является перед нами владычество приказной, канцелярской силы. Этот пример поучителен: он показывает нам, как опасно при учреждении суда держаться одной решительной, безусловной доктрины, разобщать судью с тяжущимися и ставить между ними мертвые формы, не имеющие внутренней правды, действительного значения. Оставляя эти формы для нормального, ординарного процесса, устраняя их только там, где по закону допускается производство скороокончательное (*affaires sommaires*), французский закон сам противоречит признанному им началу. Если сложные формальности предварительного производства действительно необходимы для верности и правильности решений, то не следует устранять их ни в каком деле; если же можно обойтись без них без ущерба правосудию в некоторых делах, требующих особой быстроты, то для чего не распространить упрощенный порядок на все дела без исключения? Потребность в скором решении должна быть одинакова для всех дел, и мера ее ни в каком случае не должна быть произвольною, основанною на внешних, случайных признаках дела. Если в одном процессе не могут быть терпимы излишние формы, без нужды замедляющие производство, не должна быть допущена возможность произвола и случайностей, то на том же самом основании точно такое же требование существует и во всяком другом процессе, каков бы ни был предмет его. Сокращение или замедление производства должно зависеть не от искусственного начала, принятого законом, а от естественных условий каждого дела. Если фактическая сторона дела так сложна и запутана, что требует осторожного и продолжительного изыскания истины, то, несмотря на всю краткость форм, окончание дела замедлится; если же обстоятельства дела сами по себе просты и могут быть сразу объяты судьей и подведены под юридическую норму, в таком случае сложность процессуальных форм будет излишнею предосторожностью и послужит готовым предлогом к проволочке там, где без обязательного правила все разрешилось бы просто и скоро.

На этом основании во многих новейших системах гражданского процесса с легкой руки женеvского кодекса давно

уже отменено разделение производства на обыкновенное и скороокончательное*.

Существенная часть французского процесса состоит из производства словесного, то есть из словесной борьбы тяжущихся в лице своих защитников-адвокатов (*plaidoieries*). Мы видели, какие затруднения представляются на пути, ведущем к этому словесному состязанию. Но когда и этот путь пройден, решение может быть еще не близко, производство может еще растянуться на довольно продолжительное время, словесный суд может еще превратиться в письменный.

Если суд действительно начат, это еще не значит, что он будет окончен в то же заседание. Стряпчий, не приготовившийся к делу, и здесь может уклониться от пледирования по существу, представив суду отводы и отсрочные возражения. Впрочем, и независимо от подобных уловок, всякий сколько-нибудь сложный процесс непременно разбивается на несколько заседаний, и эти рассрочки также подвержены случайностям. Очередь делам распределяется по восьми дневным срокам. Так может случиться, например, что 1-го числа пледировал адвокат истца; адвокату противной стороны назначается отвечать 8-го числа, истцу – возражать 15-го числа, последнее слово принадлежит ответчику 22-го числа; наконец, прокурор уже 29-го числа объявляет свое заключение в тех случаях, когда оно по закону требуется. При словесном судопроизводстве судья судит не по письменным документам, а по тому, что происходило на суде в

* К числу новейших и лучших уставов гражданского судопроизводства принадлежит сардинский кодекс, изданный в 1855 г. Законодатель старался здесь воспользоваться всеми указаниями критики и опыта; однако и в сардинском кодексе под влиянием французского удержалось еще разделение производства на ординарное и скороокончательное; к ординарному порядку относится и предварительное письменное производство; оно устроено на французских началах, с тою разницей, что должность адвоката нераздельна с должностью стряпчего, но назначение адвокатов также обязательно для всех тяжущихся в суде первой степени или провинциальном; эта обязанность распространяется даже на суды коммерческие; стороны на словесном состязании имеют право защищаться сами, если дозволит суд. Сардинское судопроизводство доставляет, однако, тяжущимся более гарантий, нежели французское, против произвольной медленности в обмене доказательств между адвокатами и в очередном вызове дела на суд.

его присутствии; стало быть, решать дело может только такой судья, который присутствовал при всех заседаниях по одному и тому же делу; адвокат должен также присутствовать на всех заседаниях и слышать все то, что говорится со стороны противной. Отсюда следует, что если в один из назначенных дней судья или адвокат не может почему-либо присутствовать в заседании, дело должно быть отложено; оно отлагается в таких случаях и на две, и на три недели, и на целый месяц.

И по совершении всех описанных нами обрядов решение дела может еще быть отложено. Если суд по совещании о деле найдет, что при помощи одного словесного состязания нельзя объять с точностью все обстоятельства дела и приступить с полною достоверностью к решению, он вправе еще назначить новую особенную форму производства. В таком случае по особому постановлению суда или предписывается прямо представить на рассмотрение судей все дело подлинником, со всеми документами, или одному из судей поручается рассмотреть дело и в определенный срок сделать суду доклад с кратким изложением обстоятельств и доводов, или же назначается по сложным делам формальное письменное производство. Здесь снова начинается деятельность стряпчих. Стряпчий истца в течение пятнадцати дней должен подать исковую жалобу, а между тем сообщить свои документы, при особом акте, в протоколе (*acte de production*), и сверх того, уведомить о том формально стряпчего противной стороны (*acte de produit*). Этот последний в течение 15 дней после того должен рассмотреть документы истца, сообщить свои документы в протокол с соблюдением подобных же формальностей и объявить свое возражение против жалобы. Закон позволяет и дальнейшую переписку между стряпчими, если представлены после первых бумаг новые документы. Когда с обеих сторон представлены объяснения или истекли все положенные сроки, то вследствие просьбы которой-либо из них (то есть ее стряпчего) все акты поручаются на рассмотрение члену-докладчику. Но есть еще возможность отводить и того докладчика, и в таком случае или в случае его отказа, болезни, медленности, по новой пись-

менной просьбе одной из сторон президент назначает нового докладчика. Доклад делается в заседании, но после доклада адвокаты не имеют права говорить, а могут только представлять пояснительные записки. Это письменное производство имеет много очевидных недостатков. Во-первых, само по себе оно слишком сложно и запутано; в нем много излишних письменных обрядностей (*production, significations* и пр.); ход его, как и ход предварительных объяснений, зависит от произвола стряпчих. Во-вторых, назначается оно уже после того, как дело прошло весь ряд длинных приговорительных объяснений и словесных состязаний; все это производство, которое тянется в иных случаях более года, теперь уже признается ненужным, и начинается новый процесс – с тою же целью, к которой должен был вести весь прежний. В-третьих, письменное производство назначается и изменяется по приговорам суда, которые требуют формального предъявления сторонам, отчего происходит много лишней траты времени и лишних издержек.

Из всего вышеизложенного видно, что, несмотря на словесный характер французского судопроизводства, письменность допускается им в обширных размерах; что нет в нем простоты и единства, без которых никакая система не может с успехом действовать. Письменное производство может быть действительно необходимо в некоторых делах, но необходимость его могла бы обнаружиться при самом начале процесса, если бы первые действия тяжущихся на суде обращены были действительно к лицу суда и совершались под непосредственным его ведением. Учреждение стряпчих как представителей-ходатаев и посредников между судом и неопытными сторонами, без сомнения, было бы полезно как для судей, так и для тяжущихся и способствовало бы успешному ходу дел, если бы избрание стряпчих не было безусловно обязательно во всех делах и для каждого просителя. Такая мера могла бы быть признаваема, по усмотрению суда, обязательно только в тех делах, в которых по сложности содержания, по личным отношениям сторон и т[ому] п[одобному] казалось бы затруднительно и неудобно предоставлять лично самим тяжущимся ведение и разъясне-

ние дела. Во всех прочих делах, то есть в большинстве, стороны гораздо проще и удобнее могли бы вести спор свой лично перед судьей, при помощи сторонних защитников по свободному избранию. Таким образом, легчайший и простейший способ суда принял бы вид обыкновенного, а производство более сложное составляло бы исключительный, особенный вид его.

Такого именно взгляда придерживается женеvский процесс. По мысли женеvского законодателя, все спорные дела принадлежат к двум разрядам: одни по своей несложности или по своему предмету позволяют приступить к словесному суду непосредственно, без приготовительного письменного производства. Для других, более сложных, это производство необходимо. Первые составляют общее правило процесса; последние – исключение из правила. В общем порядке, после формального предъявления иска судебное производство (*introduction des causes en justice*) **начинается с того, что истец записывает в протокол суда свой вызов (*exploit d'ajournement*)**, и этою запиской устанавливается очередь для слушания дел. По вызове ответчика немедленно начинается словесный суд, в котором участвуют или сами тяжущиеся, или их адвокаты. Но если по содержанию дела окажется необходимость, суд назначает более сложный обряд: он состоит или в предварительном обмене между тяжущимися письменных документов и заключений, или в формальном предварительном производстве, с непременноvм участием адвокатов. По окончании этого производства суд сам собою назначает день для словесного состязания.

Проще французской и ближе к правде устроена прусская система предварительного письменного производства*. Здесь оно составляет не пустую формальность, а действительную основу процесса. Первым актом тяжущегося на суде служит

* Главные начала прусского гражданского судопроизводства содержатся в уставе 1795 года; оно было исключительно письменным до 1837 года. В этом году изданы были правила сокращенного суда, которые положено применять к значительному количеству процессов особенной скорости (*Mandatsprocess, summarischer Process и Bagatellprocess*). **Правила эти положили начало системе словесного судопроизводства, которая с 1846 года распространена на все вообще дела, без различия обыкновенных суммарных процессов.**

заявление жалобы (*Anmeldung der Klage*), записываемое в протокол (*informations-Protokoll*)*; затем является настоящая письменная жалоба, она должна содержать в себе полное изложение фактической и юридической стороны иска. Список с жалобы доставляется ответчику (*Insinuation der Klage*), и он приглашается явиться в суд для дачи ответа перед одним из младших членов суда или так называемым судебным депутатом**.

Для этого назначается ему срок от двух до шести недель; впрочем, судье дозволено по обстоятельствам дела и сокращать, и продолжать этот срок, однако не более одного раза, разве обе стороны согласно пожелают изменения. Ответчик может, явившись лично, изложить свое оправдание на словах, и в таком случае оно тут же записывается в протокол, или до истечения срока прислать в суд письменный ответ; но в последнем случае непременно требуется, чтобы ответ был за подписью одного из стряпчих или адвокатов (*Rechtsanwalt*, прежний *Iustizcommissar*). Если с наступлением срока ответ не получен, то суд по докладу депутата предполагает ответчика сознавшим обстоятельства, изложенные в жалобе, и, не ожидая долее, приступает по ходатайству истца к рассмотрению дела. В ответе своем ответчик обязан очистить вполне все предметы жалобы, а те обстоятельства и документы, по которым он не дал ответа, почитаются признанными. Новые возражения, основанные на обстоятельствах, изложенных в жалобе, не принимаются по одному и тому же делу прежде апелляции. Возражения ответчика, имеющие целью отстранить или погасить процесс (отводы, *dilatorische und peremptorische*), если подкреплены очевид-

* Это заявление жалобы в протоколе имеет особую цель: им вызывается расспрос истца, по особому началу прусского судопроизводства, о чем будет ниже упомянуто. Впрочем, на практике расспрос не всегда оказывается необходимым, и потому эта предварительная формальность (*Anmeldung der Klage*) часто опускается, а прямо подается жалоба.

** Вызов тяжущихся, которые не находятся в том же городе, где суд, делается в Пруссии без посредства служителей суда или полиции, а прямо через почту; но для доставления конвертов с повестками употребляются особые присяжные почталыоны. Со всякого письменного объяснения своего и документов, при нем прилагаемых, тяжущийся должен представлять копию для сообщения противной стороне.

ными доказательствами, могут быть представлены, но только один раз, до вступления в ответ по существу, и в таком случае рассматриваются судом немедленно. Жалоба и возражение на нее составляют по закону достаточное письменное основание процесса; дублика и реплика допускаются лишь в случае, когда в ответе приведены такие обстоятельства, о которых не упомянуто в жалобе; тогда к дублике и реплике приглашаются в сроки, назначаемые судом, или сами тяжущиеся, или стряпчие, если тяжущиеся избрали себе стряпчих; впрочем, участие сих последних по-прежнему необходимо при составлении письменных объяснений; в таком случае стряпчий и отвечает за содержание подписанной им бумаги. После дублики и реплики дальнейшие письменные объяснения не допускаются; письменное производство заключается, и назначается от суда день словесного и публичного суда, о чем за три дня вывешивается в суде извещение. Определенная очередь может быть отложена только один раз, по просьбе самих сторон, вследствие особенно уважительных причин; но препятствие со стороны стряпчего ни в каком случае не принимается в уважение.

Таким образом, прусское предварительное производство не разобщает судью с тяжущимися. Депутат, выслушивающий их и принимающий от них объяснения, представляется здесь не безгласным орудием, а посредствующим звеном, принадлежащим к составу суда, живым деятелем, который управляет от имени суда и по его авторитету ходом всего производства. Письменные объяснения тяжущихся имеют для суда действительное значение. «Жалобой и ответом на нее, – говорит прусский закон, – определяются границы, в которых должен совершать свое движение судебный спор. Истец должен поместить в своей жалобе все, чего требует от противника; последний в ответе своем – все, что имеет возразить против требования. После того в течение процесса не может иметь места ни новое требование истца, ни новое встречное требование (*Gegenforderung*) ответчика. Истец не вправе уже изменить основания своего иска (*sein Klagefundament*), ответчик не может в той же инстанции предъявить новые, на фактах основанные, возраже-

ния (*neue Thatsachen beruhende Einreden*). В дальнейшем ходе процесса, то есть при словесном производстве, допускается приведение новых обстоятельств лишь в той мере, в какой ответ на жалобу дает повод истцу приводить их, и в какой они, быв приведены на сем основании, дают повод ответчику возражать на них». (*Instr. V 24. Juli 1833. § 29*). В другом месте (*Verordn. V. 24. Juli 1849. § 20*) прусский закон предоставляет, однако же, суду по взаимному согласию тяжущихся принимать по заключении письменного и до начала словесного производства указание на факты, в которых обе стороны согласны, и в течение самого словесного суда принимать от них всякие ссылки и указания (*jede Art von Beweisaufnahme*).

XI

В необходимой связи со словесным судопроизводством состоит учреждение адвокатов. В первоначальном периоде юридической жизни общества, когда понятие о праве хранится еще среди народа и изыскание его в потребном случае незатруднительно, когда суд обставлен немногими и простыми формами, исполнение коих удобно для каждого, тогда каждому естественно искать и отвечать за себя лично. Но с развитием гражданской жизни изменяется вид суда: право слагается в догматическую форму закона, и знание его делается не для всех доступным; по мере того как усложняются вопросы о законе и о праве, с ним связанном, изыскание истины фактической, изыскание правды законной становится более и более затруднительным, ибо применение закона к противоречивым интересам тяжущихся делается невозможно без истолкования его. Закон стремится обнять по возможности все стороны гражданской жизни, но, умножая свои определения, он в то же время стремится присвоить им безусловное значение, распространить на всех граждан обязательную их силу, требует неперменного их исполнения. Исполнение невозможно без знания, а знание законов, по мере умножения их, становится все менее и менее доступным массе граждан, подчиненных

закону. Между тем закон в строгой своей последовательности не может допустить никакой сделки с незнанием и, для того чтобы обеспечить и утвердить безусловную власть свою, по необходимости предполагает во всех гражданах знание закона – знание, которого нет и не может быть в действительности. Каждый гражданин, отыскивающий или защищающий свое право, непременно должен знать, каким оружием бороться на суде со своим противником, иначе каждый спор его на суде будет не только затруднителен, но и опасен. Чтобы пополнить в себе недостаток знания, тяжущийся прибегает к содействию стряпчего – человека, знающего законы и судебное производство, доверяет ему нести вместо себя дело. Таким образом, по необходимости между судом и подсудным лицом является посредствующее лицо – стряпчий, лицо, необходимое для тяжущихся и во многих случаях полезное для самого суда, ибо участие стряпчего в ведении дела может при некоторых условиях обеспечить суду точнейшее соблюдение необходимых обрядов и формальностей. Вот почему в обществах, где на твердом основании римского права рано развилась полная система гражданских законов с обширною своею казуистикой и рано устроился сложный механизм письменного производства, само правительство старалось организовать в правильном виде сословие стряпчих, прокураторов, судебных ходатаев, требуя для вступления в должность стряпчего некоторых формальных условий и знания законов. У нас вследствие той же естественной потребности частных лиц с XVII столетия вошло в употребление поручать ведение дела сторонним ходатаям посредством верящих челобитных, но со стороны правительства не было никакой попытки организовать стряпчих в виде особого сословия и подчинить каким-либо формальностям вступление в эту должность. Стряпчие избирались у нас безразлично из всякого звания, по произволу самих тяжущихся, и правительство оставалось равнодушно к качествам и познаниям этих судебных представителей.

Если при письменном производстве участие стряпчих в деле вызывается потребностью подсудных лиц, то при про-

изводстве словесном это участие получает уже вид необходимости не для частной только, но и для общественной пользы; учреждение стряпчих или адвокатов делается непременною принадлежностью целой системы судопроизводства. Они становятся необходимы в большей части случаев не только для тяжущихся как законные их защитники, но столько же, если еще не более, и для самого суда, который только при помощи их может с удобством и скоростью разработать и осмыслить весь фактический и юридический материал сложного процесса. При письменном производстве весь этот материал заключается в бумагах, составляющих дело, разрабатывается канцелярией и представляется суду в виде доклада, ибо при множестве дел и огромности переписки суд не в состоянии принять на себя, кроме решения, и непосредственную разработку всего материала, накопленного в грубом и нестройном виде. Но рано или поздно наступает время, когда становится для всех очевидною несостоятельность канцелярии в исполнении этой обязанности при возрастающем количестве дел и размножении письменности, — наступает пора обратиться к простейшей форме словесного производства. Здесь основанием суждения и решения должны служить уже не мертвые бумаги, подаваемые на суд от имени тяжущихся, а живые речи их перед судьями; здесь уже не канцелярии, а самим тяжущимся принадлежит дело собирания и изложения перед судом материала, из коего слагается вещественное и юридическое содержание процесса.

Эта работа не представляет ни для них самих, ни для суда значительных затруднений, если содержание дела просто и не запутано, если отделение в нем фактической стороны от юридической и постановление вопросов, истекающих из спора, не требует особой подготовительной деятельности и особых логических и юридических качеств; в таком случае каждый из тяжущихся сам может изложить обстоятельства дела в том виде, как они ему представляются, и определить перед судом свои требования и свои доводы, а судье нетрудно и по этому изложению обнять содержание процесса, взвесить и проверить доказательства и возражения, и все, что может быть

в них смутного, уяснить тотчас же собственным сознанием. Если даже оказывается неравенство сил той и другой стороны в способе изложения дела и защиты, то для уравнивания сторон достаточно будет положительной деятельности судьи, когда, внимательно следя за речью, он будет помогать ей расспросом об обстоятельствах, подлежащих уяснению. Если дело не глубоко, и вопросы его не сложны, то все содержание его без труда уясняется и исчерпывается с помощью этого расспроса.

Но когда процесс по содержанию своему оказывается сложным и дает повод к возбуждению многих вопросов, когда в нем оказывается или предполагается обилие фактов неясных и противоречивых и вопросы о факте так тесно связаны с вопросами о праве, что отделение их требует особой ловкости, особых приемов и ясности изложения, тогда изложение дела самими тяжущимися не обеспечивает ни им самим, ни судье, обязанному выслушивать их, верного и скорого решения. Судья не может столь же свободно и просто, как в предыдущем случае, оказывать свое содействие сторонам в разъяснении обстоятельств дела, ибо при фактической запутанности расспрос становится в руках его сомнительным и неверным орудием для изыскания истины: здесь судья неприметно – как для себя самого, так и для тяжущихся – может склонить это орудие в ту или другую сторону и вместо восстановления естественного неравенства спорящих сил легко может еще увеличить это неравенство. С другой стороны, предоставить и в этом случае самим тяжущимся изложение перед судьей обстоятельств дела, требований и доводов значило бы в высшей степени затруднить и замедлить отправление правосудия. На первый взгляд, казалось бы, что сама сторона лучшего человека должна знать обстоятельства своего дела и лучше может объяснить их перед судьей, которому нетрудно уже будет определить по ним взаимные требования и осветить их юридическим сознанием. Но на самом деле оказывается иное. Только в простых и несложных делах, и то большею частью с помощью расспроса, сама сторона может безопасно принять на себя рассказ своего дела; если же предмет сложен или вы-

ходит из разряда случаев, ежедневно встречающихся и нелегко обнимаемых простым здравым смыслом, тяжущийся, большею частью неопытный в искусстве излагать факты и мысли, менее всего способен объяснить свое дело так, чтобы немедленно можно было понять его. Всякий, кому случалось говорить публично, кто бывал в положении докладчика, знает, что для этого еще недостаточно обыкновенного образования и что фактическое изложение составляет именно самую затруднительную часть словесной речи: нужно долго и пристально трудиться, покада привыкнешь, наконец, излагать факты ясно – так, чтобы ничто необходимое не было выпущено, чтобы не было ничего лишнего и все расположено было на своем месте. Такой навык весьма редко встречается в большинстве тяжущихся. Итак, естественно, что если им самим предоставлено будет изложение дела, то успеха быть не может. Перед лицом суда, особенно публичного, невольно смешается и тот, кто умел бы изложить свое дело в частной беседе; став лицом друг к другу, редкие из тяжущихся если устоят против естественной робости, успеют сохранить спокойствие духа и ясность мысли, столь необходимые для ясности речи; а если есть между ними значительное неравенство природных сил, то под влиянием всех этих обстоятельств оно еще более увеличится: робкий и неумелый по природе окажется еще более робким и неумелым перед судом, а бесстыдный и ловкий, приготовясь заранее, и здесь не утратит природных своих качеств. Довериться такой неравной борьбе и выводить из нее свои заключения было бы крайне опасно. Но кроме того, и следить за нею было бы крайне затруднительно, часто вовсе невозможно. В редких случаях, и то с большим трудом, суд мог бы составить себе ясное понятие о деле по словесному изложению самих тяжущихся, если оно, как обыкновенно бывает при словесном производстве, должно служить главным, существенным материалом для решающего судьи. В большей части случаев оно повело бы к смешению понятий и о фактах, и о правде; суд после одного заседания вынужден был бы назначать новые заседания для разъяснения того же дела или

требовать от тяжущихся письменного изложения, то есть прибегать к помощи письменного производства. Другими словами, словесное производство хотя бы нескольких сложных дел при таком порядке сделалось бы невозможным.

Вот чем в особенности объясняется и оправдывается необходимость представителей или адвокатов в гражданском судопроизводстве. Кажется, затем не следовало бы уже предлагать в безусловном смысле давно поднятый вопрос о пользе этого учреждения. В этом смысле он может почитаться решенным и доказывать, что адвокатура во всяком случае вредна и не соответствует целям гражданского суда, значило бы не признавать результатов, представляемых опытом всех народов, у коих действует система словесного судопроизводства. В настоящее время стоят на очереди лишь вопросы об относительном значении этого учреждения; критическая поверка должна касаться отдельных случаев, в которых применение его необходимо или может быть опущено без вреда либо даже с пользой для правосудия; науке по указаниям опыта предстоит определить, насколько это учреждение может быть усовершенствовано, очищено от недостатков и получить лучшую организацию. Тем не менее появляются еще у нас от времени до времени противники самого учреждения, слышатся мнения, заподозрывающие саму идею, которая лежит в его основании. Но при этом выпускают обыкновенно из виду необходимую связь адвокатуры с гражданским процессом в том виде, как он организовался в последнее время, сообразно потребностям и условиям новых гражданских обществ, забывают, что усиленное развитие гражданских сделок и отношений не позволяет уже во многих случаях сохранить или восстановить простую, первобытную форму суда, забывают, что требовать в одно и то же время введения у нас словесной формы гражданского судопроизводства и, безусловно, отрицать необходимость адвокатуры по делам гражданским¹⁹ – значит требовать невозможного.

Говорят иные, что в гражданском процессе невозможно дать сторонам совершенно равносильных представителей их прав: что здесь праву одной стороны необходимо противопо-

лагается неправо другой стороны; что, следовательно, почти всякий процесс с адвокатом есть необходимо процесс злонамеренный. На этом основании доказывают, что «самый возвышенный идеал гражданской адвокатуры есть ее уничтожение»*.

Мы думаем, что такое мнение происходит от односторонности взгляда на гражданский процесс и от неясного понятия о его сущности. Несправедливо было бы при суждении о гражданском процессе начинать с предположения о злонамеренности той или другой стороны, в нем участвующей. Напротив, здесь прежде всего должна быть предполагаема добросовестность каждого из тяжущихся в отыскании или защите своего права, которое он почитает лучшим; здесь законодателю нет дела до скрытого намерения, с которым та или другая сторона ведет процесс, и понятие о злом умысле сюда не прилагается. Злой умысел может быть в том или другом отдельном действии, подавшем повод к процессу, может быть в совершении того или другого процессуального акта, но соединять понятие о злом умысле с понятием о праве судебной защиты, предоставляемой каждому из тяжущихся одинаково, независимо от всякого соображения с тем, кто из них окажется правым или виноватым, было бы неразумно. В деле уголовном поводом к начатию суда служит преступное действие, как скоро оно обнаружилось; здесь совершенно оправдывается предположение о злом умысле в совершении этого действия; здесь главная цель суда состоит в отыскании виновника преступления, в исследовании внутренней связи между преступлением и совершившим его и в наказании виновного; здесь добывается исключительно материальная истина. Гражданское судопроизводство, как и уголовное, направлено к тому, чтобы обеспечить в каждом частном случае действие закона, восстановить силу его, когда он нарушен. Как здесь, так и там предполагается незаконное действие, нарушение закона. Но разница состоит в том, что предмет уголовного суда составляет нарушение безусловного права, а граждан-

* См.: заметку об адвокатах С-ва, помещенную в 6-й книжке «Русского Вестника» за 1859 год.

скому суду подлежит нарушение такого права, которое может быть оспорено, находится под сомнением. В основании гражданского процесса лежит неизвестность о праве; из нее проистекает спор; если б ее не было, то не было бы нужды и в суде; цель суда состоит именно в прекращении этой неизвестности. Гражданское право, с одной стороны, – объективное и материальное, с другой – опирается на многочисленные формальности, возникает, изменяется и исчезает вследствие обстоятельств, столь же разнообразных, как вся гражданская жизнь, зависит от случая и времени, подчиняется влиянию и действий, и бездействия. Поэтому относительно той или другой личности, с которою оно соединяется, гражданское право в каждую данную минуту может изменить свой вид, и понятие сторонних или заинтересованных лиц о принадлежностях его, виде и значении может быть неодинаково. Суду предстоит определить: каков должен быть в данную минуту истинный, единый взгляд на право, каков должен быть нормальный вид его; при этом может оказаться, что одна сторона права, а другая ошибалась или даже что обе стороны были в заблуждении. На этом основании каждый из тяжущихся может добросовестно защищать такое право, которое впоследствии, по суду, окажется недействительным, высказывать такое убеждение, которое суд признает ложным. Не забудем притом, что суд есть не только отыскание истины, но и борьба сторон между собою; что в этой борьбе каждая сторона может употреблять всякое оружие, лишь бы оно было законно, и вправе пользоваться всеми ошибками и промахами стороны противной; что процесс сам по себе, в формальном своем развитии, дает начало новым правам, которые в течение его возникают для той или другой стороны, правам формальным, которые, присоединяясь к материальному праву, составляющему содержание спора, нередко вовсе изменяют вид дела и вопроса и доставляют победу той стороне, которая не могла бы утвердить свое существенное право, если бы не успела приобрести среди самого процесса случайное, формальное право. В этом смысле обвинять в злонамеренности адвоката, защи-

щающего спор, который признан потом неправым, – одно и то же, что обвинять в злом умысле истца или ответчика за то, что он решился начать или поддерживать спор о праве, признанном впоследствии недействительным. Никто, конечно, не потребовал бы от тяжущегося, чтобы он, начиная дело, необходимо и прежде всего имел в виду восстановление правды объективной ради самой правды; предполагается, что главная цель тяжущегося – удовлетворение субъективного, личного интереса на основании права, которое он почитает своим. От адвоката невозможно ни ожидать, ни требовать в этом отношении более чем от лица, лично заинтересованного в деле. От адвоката можно требовать, чтобы он оставался верен правде в защите частного права, которую принял на себя, но совсем на иных основаниях. Действительно, от добросовестного адвоката повсюду требуется, чтобы он при защите клиента имел в виду интерес своего клиента, а не свой собственный; адвокат действует недобросовестно, если, вводя в заблуждение своего клиента, защищает упорно во всех инстанциях требование, явно противозаконное и безнадежное; если почитает нужным спорить против всякого показания, сделанного, или документа, представленного противоположной стороной, как бы ни была ясна и неопровержима справедливость того или другого. Вот чего можно требовать от адвоката, но неразумно было бы предполагать, что всякий гражданский иск, защищаемый адвокатом, должен быть безусловно справедливым, и суждение о материальной правде этого иска основывать на последующем решении, по которому можно судить только об условной, формальной справедливости. Допустив такое предположение, мы уничтожим адвокатов, но если будем последовательны, должны будем уничтожить и тяжущихся, и суды, и все то, что в особенности называется гражданским правом.

Во-вторых, государство приняло бы на себя неразрешимую задачу, если бы поставило себе целью дать сторонам во всех случаях совершенно равносильных защитников: совершенного равенства сил не бывает ни в физическом, ни в нравственном мире. Целью закона должно быть возможное урав-

нение сил, то есть возможное устранение тех причин, которые развивают и усиливают природное неравенство, учреждение такой формы, такого порядка, при коих естественное неравенство имело бы как можно менее влияния на ход дела или уравновешивалось бы другими гарантиями справедливости. Поэтому государство в строгом смысле не дает от себя защитников тяжущимся и не заботится о взвешивании сил в каждом отдельном случае, а предоставляет сторонам выбирать себе защитников по произволу. Дело государства – устроить так, чтобы не было недостатка в этих защитниках и затруднения в приискании их, и чтобы каждый из них был достаточно приготовлен наукою и опытом к отправлению своей должности.

В-третьих, если бы не предстояло надобности в адвокатах и оказалась бы возможность уничтожить их там, где они уже существуют с пользою для общества, это значило бы, что настал золотой век, в котором нет места никаким спорам, никакой неизвестности, никакому злу. В этом только смысле можно желать совершенного уничтожения адвокатуры, но это будет пустое, праздное желание. Попытки уничтожить адвокатуру бывали и прежде, но нигде не удавались.

Польза, приносимая адвокатами в гражданском процессе, не ограничивается, однако, указанною нами необходимою связью этого учреждения со словесным судопроизводством. Есть другие, не менее важные соображения, которые убеждают в его необходимости и практической пользе.

Только при помощи адвокатов судебное состязание может достигнуть полноты и живости, а эта полнота и живость необходима для того, чтобы судья мог обозреть дело со всех сторон, проникнуть в самую сущность его и составить себе твердое убеждение; она только может предохранить судью от односторонности взгляда, столь вредной для правильности решения. Чтобы право получило перевес на суде, с каждой стороны, по каждому требованию должно быть представлено с возможною полнотою и ясностью все, что только следует сказать в защиту каждой стороны; при изложении фактических отношений каждой стороны должно быть высказано и

юридическое начало, которое служит им основанием и которым сторона руководствовалась в своих действиях. Только адвокаты способны представить суду такое изложение. Всякое дело человеческое, как бы ни было по началу своему разумно и духовно, может превратиться в механический труд, если человек допустит усилиться в себе равнодушию – этому естественному врагу всякой духовной жизни; а где нет духа, там иссяк источник жизни, форма осталась без содержания, чувство долга существует только по имени и дело мысли и разума готово превратиться в дело бессмысленной привычки. Дело правосудия подвержено той же опасности, и все мы хорошо знаем, что равнодушные судьи встречаются у нас, к сожалению, едва ли не чаще, чем судьи, проникнутые сознанием долга и привыкшие всегда видеть в своем деле живой интерес мысли и истины. Для того чтобы человеку нетрудно было сохранить и поддерживать в себе этот интерес, эту живую связь с делом, которому он посвятил себя, нужно, чтобы само дело было живое, чтобы мысль, прежде чем примется за свободный труд свой, не была в необходимости всякий раз тратить свои силы в механической, черной работе, не представляющей никакого интереса. А таково будет именно положение судьи, если он во всяком деле принужден будет выслушивать на суде противоречивые, запутанные, а иногда и вовсе бессмысленные объяснения тяжущихся, не умеющих изложить свои обстоятельства и требования ясно и последовательно. Но когда перед судом послышится живая речь адвоката, знакомого с искусством изложения, когда притом перед судом и участвующими в нем будут не затворенные двери тайной присутственной камеры, а общество, принимающее живое участие во всем, что происходит на суде, тогда процесс получит вид действительной, живой и разумной борьбы. Тогда редкий судья в состоянии будет остаться невнимательным и равнодушным. В таком только виде, то есть при участии адвокатов и при открытом заседании, суд делается лучшей школой для образования судей и адвокатов. Если суд не есть механическое дело, для коего достаточно рутины, если не все

равно, кто бы ни судил, то для правого суда необходимо образование целого сословия судей, среди коего хранились бы и неизменное чувство судейского долга, и твердость судебной доктрины, дающей устойчивость решениям, а такое сословие не может и образоваться без содействия адвокатов. Всякое приготовление судей в школах, как бы ни было тщательно устроено, образует разве ученых и чиновников, но никак не судей; судье предстоит еще выработаться в той самой среде, для которой он себя предназначает, а для этого необходимы открытая судебная арена, к явлениям коей мог бы он присмотреться и прислушаться, необходимы живые авторитеты, которым мог бы он следовать, необходимы не школьные, а действительные упражнения мысли и слова в судебном деле. Судья должен взрасти и укрепиться не на канцелярских обязанностях, убивающих дух юридического знания, он должен пройти школу суда, должен быть свидетелем борьбы судебной, должен испытать ощущения зрителя, ей сочувствующего, покуда в состоянии будет сам принять участие в этой борьбе и в ней собрать все силы, нужные для судейского звания. А борьба эта, повторяем, не может быть действительна, жива, плодотворна и поучительна без участия адвокатов.

Уравнение сил тяжущихся, о котором мы упомянули, как об одной из целей судебного представительства, простирается не на одни только умственные качества сторон. Бывают случаи, когда неравенство общественного положения тяжущихся служит немаловажным препятствием к достижению целей правосудия. Борьба слабого с сильным, бедного с богатым, зависящего от индивидуума, от кого он по разным отношениям зависит, всегда и везде была затруднительна и опасна. В иных случаях такая борьба была бы решительно невозможна без помощи адвоката. Адвокат, если он, как и следует, находится в положении, не зависимом ни от правительственных лиц, ни от судей, и сам не принадлежит к официальному составу суда, если, надеясь на нравственную силу дела, которое защищает, он может вместе с тем опереться на нравственную силу целой корпорации, к которой принадлежит, и на сознание общества,

присутствующего при борьбе, адвокат и, прибавим, один только адвокат в состоянии смело решиться на состязание с личным интересом материальной силы и выставить против нее оружие силы духовной. Перед адвокатом может устыдиться и грубое насилие, хотя оно не обратило бы внимания на робкие возражения человека, которого оно привыкло почитать ничтожным и зависящим. Вместе с тем адвокат по своему положению удобнее, нежели тяжущийся, может сохранить в самом себе, внушить своему противнику и поддержать в судьях то хладнокровие и меру, которые так необходимы для правильной борьбы и которые так нетрудно нарушить среди спора тому, чей материальный интерес в этом споре участвует.

Если не везде учреждение адвокатов соответствует своей цели и выполняет свою задачу удовлетворительно, если еще слышатся в иных местах жалобы на тягости и затруднения, происходящие от адвокатов, то причину этому следует искать не в несостоятельности самого начала адвокатской защиты, но, во-первых, в недостатках внешней или внутренней организации сословия адвокатов; во-вторых, в безусловной строгости закона, через меру стесняющего свободу частных лиц в избрании себе защитников общим обязательным правилом.

Адвокатом может быть не всякий, но лишь тот, кто достаточно приготовлен к этому званию. Случалось, что правительство, несправедливо опасаясь чрезмерного влияния, которое может иметь в обществе корпорация людей, сильных знанием, мыслию и словом, пыталось открыть в это сословие свободный доступ людям всякого звания, не подвергая их соблюдению никаких формальностей и не требуя от них никакого приготовления; но такие меры всегда вели к дурным последствиям, и вместо одного воображаемого зла развивалось другое зло, действительное. Нет никакого повода опасаться деспотизма мысли там, где мысль может свободно развиваться под контролем общего мнения²⁰; владычество мысли если и доходит иногда до насилия, то это насилие бывает лишь минутным уклонением от истины и скоро исчезает под влиянием той же самой мысли. Должно опасаться, чтобы

не развился в обществе иной деспотизм, деспотизм невежества или поверхностного праздного знания, или грубой силы, не управляемой здравою мыслию и не допускающей никакого контроля мысли. Требовать уничтожения адвокатуры или ослабления ее на том основании, что всякое сословие, в котором развивается умственная сила, составляет опасный элемент в обществе, было бы не только в высшей степени не разумно, но и в высшей степени опасно для общественного порядка. Безумно было бы думать, что в развитии мысли заключается опасность для общества; напротив, никакого порядка в обществе невозможно себе представить без идеи, проникающей во все гражданские отношения. Опасность для общества состоит в унижении мысли, в глухом и беспорядочном ее развитии, в распространении ложных понятий, пустых и поверхностных знаний во вред знанию истинному. В этом смысле трудно представить себе для общества что-либо полезнее такого сословия, в котором прочное специальное знание сосредоточивается и развивается не беспорядочно, а под влиянием внутренней, разумной дисциплины, в котором сохраняются начала и убеждения под влиянием корпоративного духа. Влияние такой силы на все общество может быть только благодетельное и становится вредным в таком лишь случае, когда, по ложному расчету, силу эту стараются подчинить внешним авторитетам и связать внешними узами, не доверяясь внутреннему авторитету, который, развившись в ней самой, один только мог бы поддержать в ней порядок и равновесие. Сословие адвокатов, как и сословие судей, тогда только может исполнить свое назначение и удовлетворить своей цели, когда будет сословием, в самом себе заключенным, стоящим возле судебной власти, но не зависящим от нее. Законодатель не должен забывать, что есть сословия, для которых только честь и убеждение могут служить надежным руководством и основанием порядка, для которых владычество материальной силы и безусловного приказа было бы губительно. Для вступления в такое сословие должны быть установлены формальные требования, но как скоро сословие

организовалось, необходимо предоставить ему свободную, независимую деятельность*.

Превращая адвоката в официальное лицо, состоящее при суде и от суда зависящее, ограничивая число адвокатов, назначая им на суде место наряду с низшими исполнительными чинами, закон тем самым помешал бы достижению цели, которой служит адвокат, и стеснил бы, ко вреду правосудия и граждан, свободу их в выборе себе защитников. Если частное лицо поставлено будет в необходимость выбирать себе представителя из ограниченного числа стряпчих, состоящих при суде, то от этого произойдет для них монополия, во всяком случае тягостная для просителей, и между самими стряпчими возможны будут стачки, неизбежные при всякой монополии. С другой стороны, видя в стряпчем лицо, подчиненное судейскому произволу, определяемое и увольняемое судьями и от судей зависящее, тяжущийся не мог бы с полным доверием на него положиться; трудно ожидать, чтобы в таком положении адвокаты могли образовать из себя сословие, приобрести твердое сознание достоинства как

* Условия для вступления в звание адвоката не везде одинаковы. Порядок, существующий во Франции, едва ли заслуживает безусловного одобрения, потому что не вполне обеспечивает соединение в адвокате всех качеств, требуемых для этого сословия. Здесь всякий молодой человек, окончив курс университетских наук, может тотчас же записаться в список адвокатов и должен в течение определенного срока заниматься приготовительною практикой (stage). Гораздо строже в этом отношении требования женеvского закона об адвокатах 1831 года. Здесь требуется, прежде всего, чтобы кандидат в адвокаты окончил курс юридических наук. Далее нужно, чтобы он посвятил себя в течение определенного времени специальному изучению права и затем подвергся подробному испытанию в нем со стороны философской и догматической. После того назначается ему срок для судебных упражнений (stage), для изучения права и буквы законов на практике, для навыка во всех формах и обрядностях судебного и адвокатского дела. При исполнении этих условий для всех желающих, без ограничения числа, открыта свободная конкуренция ко вступлению в адвокатство; но со вступлением в него на каждом из адвокатов лежит непрменная нравственная или гражданская ответственность за его действия, и эта ответственность всего тщательнее охраняется тем самым сословием, к которому он принадлежит. Разумеется, что условия для вступления в адвокатское звание должны быть тем менее строги, чем ниже стоит в обществе уровень общего и специального юридического образования и чем настоятельнее потребность в адвокатах, для которых сама практика должна служить по окончании курса наук лучше приготовительною школой.

личного, так и корпорационного, связанного с их званием, и развить в среде своей чувство долга и преемственной чести.

В этом отношении необходимо, чтобы лицо, действующее в качестве адвоката, имело право принимать на себя все действия, соединенные с судебным представительством. Некоторые теоретики процесса* допускают отделение должности защитника, адвоката или ассистента от должности представителя, стряпчего или прокуратора, так что адвокат должен помогать стороне своими советами, речами на суде и составлением судебных бумаг и записок; а настоящим хозяином дела (*dominus litis*) должен быть стряпчий как официальный представитель тяжущегося. С этой теорией невозможно согласиться. На французском судопроизводстве можно видеть пример того, как вредно разделение судебных представителей на два сословия, из коих одному в качестве официальных стряпчих (*avoués*) предоставлен исключительно один отдел адвокатской деятельности (*postulation*), другому в качестве адвокатов дозволено принимать на себя защиту тяжущихся в публичном заседании (*plaidoirie*)**. Обе части процесса, разделяемые таким образом между двумя сословиями, состоят между собою в необходимой связи; в обеих одинаково взаимное действие формы на содержание процесса и содержания – на выбор формы; поэтому в каждом процессе весьма важно, чтобы он с начала до конца был веден и защищаем в одном и том же духе и по одному плану – такого единства невозможно ожидать от участия в процессе двух защитников, действующих не по одному началу и не по одинаковым побуждениям. Для тяжущегося происходит от того явная невыгода и проволочка: он два раза должен приступить к совещаниям о деле со своими защитниками; два раза договариваться о вознаграждении с разными лицами; разделяясь между этими лицами, должна ослабевать и нравственная ответственность, которую принимает на себя защитник в отношении к клиенту. Такое разделение должностей существует

* См.: *Bluhme*. Encyclopedie der in Deuchland geltenden Rechte. B. II. § 583.

** Только при кассационном суде звание стряпчего соединено со званием адвоката.

почти исключительно во Франции. В Пруссии обе они соединены в виде судебного стряпчего (*Rechtsanwalt*); даже в рейнских провинциях, где действует французская система процесса, должность стряпчего соединена с должностью адвоката в одном лице (*Advocat-Anwalt*). В Англии должности стряпчего (*attorney, solicitor*) и адвоката (*counsel, barrister*) разделены, но стряпчие более подчинены адвокатам, нежели во Франции.

ХИ

Участие адвокатов в гражданском процессе при словесном судопроизводстве делается необходимым; но было бы несправедливо распространить эту необходимость на все дела, и во всяком процессе принуждать тяжущихся действовать через адвокатов. В этом отношении существующие системы судопроизводства представляют большое разнообразие. Участию адвокатов на суде придается значение более или менее решительное или произвольное, сообразно тому, как определяется целою системой деятельность судьи в ведении процесса. Одни законодательства, представителем коих может служить французское, основаны на состязательном начале (*Verhandlungsmaxime*), воспрещающем судье принимать участие в развитии и ведении спора между тяжущимися; другие, и во главе их прусское, основаны на следственном начале (*Untersuchungsmaxime*), не только допускающем в судье, но и требующем от него деятельного участия в этом споре. Под влиянием того и другого начала, принимаемого в слишком строгом, безусловном смысле, образовалась юридическая доктрина, имеющая с той и с другой стороны безусловных противников и последователей. С той и с другой стороны, как обыкновенно случается, нет недостатка в людях, проповедующих, что им одним принадлежит истина и что все зависит от безусловного применения того или другого начала. Учение школы не могло не отразиться и в положительных законодательствах – к ущербу для истины, но в настоящую минуту, кажется, проходит пора фанатического увлечения отвлеченными началами процесса. Теория, более и более сближа-

ясь с практикой, требует от нее указания и не решается строить целую систему с высоты общего понятия о предмете. Кажется, недалеко уже время, когда по указаниям опыта и необходимости сложится, помимо предрассудков и педантизма, более простая и справедливая теория процесса.

Формальное понятие о состязательном начале составилось уже тогда, когда в новых европейских обществах сделалась господствующею письменная форма судопроизводства. Первобытною же нормой везде была, как известно, форма словесная. Суд был и в то время состязанием сторон, но когда спорящие стояли налицо перед судьей, то судья всегда имел случай предлагать им вопросы о событиях и доказательствах, требовать ответа и, в случае неясности его, помогать тяжущемуся новыми расспросами. Это было вполне естественно, и тогда, конечно, никто не возбуждал сомнения о том, имеет ли право судья для произнесения приговора о спорных претензиях требовать от той или другой стороны разъяснения спора. Когда процесс сделался письменным, вышло из обычая требовать личного присутствия тяжущихся на суде; материалом для суждения сделались почти исключительно бумаги, составляемые по принятой форме и по рассчитанному плану; суд, занятый разнообразными делами, обремененный надзором за канцелярией и ее обрядностями, не имел уже ни времени, ни необходимости следить за внутренним содержанием каждой бумаги, подаваемой одною из сторон, и приступал к рассмотрению ее только тогда, когда все бумаги, механически накопившиеся в течение производства, представлялись на рассмотрение в виде дела, достигшего формальной полноты. Естественно, что когда наступала минута решения, судье приходилось судить дело по тому, что в нем написано, и довольствоваться теми бумагами, какие есть, хотя невозможно было восстановить по ним полный образ действительных событий. Отсюда возникло мало-помалу понятие о страдательном положении судьи в отношении к фактам, собранным тяжущимися, в отношении к самим тяжущимся и, наконец, к изысканию материальной истины, которая под влиянием, с одной стороны, приказного бездействия, с другой – приказной хитрости – все

более и более исчезала из виду и заменялась истиной формальной. К такому положению привели судью условия письменного суда и образовавшаяся вследствие их привычка, но, утвердившись обычаем, оно по времени принято было и теорией процесса как положение нормальное и законное.

Однако такое отношение судьи к делу, к тяжущимся и к истине не удовлетворяло требованиям правды, не соответствовало вполне прямой цели правосудия. При таком порядке форма должна была получить неестественное развитие на счет содержания дела, процессуальные вопросы размножились до чрезмерности, так что разрешение спорных дел совершалось по этим вопросам несравненно чаще, нежели по вопросам материального, чисто гражданского права. В конце XVIII столетия философская критика коснулась в числе многих других и этого предмета. Стали говорить, и, конечно, не без основания, что следует возвратить судью к прежнему простому и естественному его положению и дать ему более свободы в изыскании истины материальной, чтобы он имел более средств составить себе в каждом процессе убеждение о правде, которая должна быть единственным основанием каждого решения. Поднятый вопрос, как бывает со всеми свежими вопросами, обсуждался с увлечением, и мнения готовы были от одной крайности перейти к другой. Результатом новой теории был устав прусского гражданского судопроизводства, изданный в 1794 и 1795 годах, и с изданием его впервые догматически обозначилось резкое различие между состязательным и следственным началом процесса.

В прусском уставе резко проведено было начало следственное. Оставаясь при прежней письменной форме, новый закон выразил в себе решительное стремление к трем главным целям: во-первых, сделать обязательным личное присутствие на суде тяжущихся; во-вторых, ограничить по возможности участие адвокатов на суде; и в-третьих, расширить власть судьи так, чтобы он в силу своего звания исследовал истину, не стесняясь указаниями и объяснениями сторон.

По уставу 1795 года главные черты деятельности прусского судьи состояли в следующем.

Судья обязан лично и непосредственно исследовать основательность или неосновательность фактов, составляющих содержание дела, и разъяснить их все по возможности для правильного применения закона такими средствами, какие могут оказаться вернее, ближе к цели и дешевле для тяжущихся. Тяжущиеся сами обязаны объяснять судье факты, потребные для решения, по чистой правде и разумению, так как никто не вправе основывать свои выгоды на действиях недозволенных. За умышленное извращение или утайку истины они подлежали штрафу. В случае упорного отказа от требуемых объяснений сам факт, требующий объяснения, может быть во вред упорствующему признан за доказанный. Сторона, основывающая свое право на факте, обязана указать судье на средства удостовериться в нем, но судья, не стесняясь этими указаниями, может употребить и другие средства по указаниям, взятым из обстоятельств дела и взаимных объяснений между тяжущимися. Однако при этом постановлены для судьи следующие ограничения: он не вправе выходить за пределы тех фактов, которые составляют содержание первоначальной жалобы и возражения; он не должен руководствоваться при исследовании частными сведениями, которые может иметь об обстоятельствах дела; судья не вправе торопить тяжущихся, не должен насиловать их сознание изворотливыми вопросами или входить в подробности, не имеющие в деле существенного значения, не должен ни прямо, ни косвенно указывать стороне и на законные средства защиты, когда сама она не обращает на них внимания, если при ней находится стряпчий, которого нет повода подозревать в умышленной оплошности; если же нет при ней законного защитника, судья обязан сам помогать ей в изыскании и исследовании средств к защите. Все происходящее при исследовании вносится в протокол. Исследование начинается с первого заявления о жалобе; судья тотчас же и до подачи самой жалобы приступает к расспросу истца обо всех обстоятельствах и доказательствах иска, и составляемый при том протокол (Informationsprotocoll) есть главное основание каждого процесса. Подобный же расспрос делается ответчику,

по явке его. Затем стороны вместе ставятся перед судьей и расспрашиваются совокупно, причем отмечается в особенности все, в чем они между собою противоречат и в чем успели согласиться. После того, чтобы представить дело в полном виде и в общем обзоре как перед судом, так и перед сторонами, в удостоверение того, что все факты и требования их поняты и представлены верно, судья или судебный депутат составляет сжатое изложение всех обстоятельств дела с отделением всего спорного от бесспорного (*status causae et controversiae*). По прочтении этой записки если тяжущиеся при содействии судьи не рассудили за благо помириться или войти в соглашение, производится вновь инструкция о всех предметах, оказавшихся в споре: она заключается, по усмотрению судьи, тогда, когда исчерпаны уже все средства к изысканию истины.

В связи с этою системой состояло в Пруссии стеснение адвокатского участия в процессе. Оно было вызвано противоположною крайностью, до которой доведен был в то время так называемый общегерманский письменный процесс, правилом воспрещавший кому бы то ни было, хотя бы простому крестьянину, начинать и вести дело лично, без адвоката. Вследствие этого правила адвокаты, во множестве состоявшие при всех больших и малых германских судах, не имевшие в то время правильной сословной организации, захватили в свои руки монополию всех процессов и управляли каждый по своему произволу. Всеобщие горькие жалобы против владычества адвокатов, прежде чем где-либо, вызвали в Пруссии решительную меру. В 1780 году было положено вовсе уничтожить адвокатов, а вместо них и из среды их вскоре были выбраны в качестве официальных лиц так называемые юстиц-комиссары. По цели закона они должны были помогать тяжущимся уже не по свободному договору за условную плату, но в качестве ассистентов судьи – контролировать самого судью в инструкционной его деятельности. Намерение закона, однако, не совсем исполнилось на деле. Общество не довольствовалось деятельностью комиссаров, оно чувствовало потребность в действительных защитниках и представителях. Когда закон расходится с тре-

бованиями действительности, общество находит способ удовлетворить своей потребности помимо закона – так случилось и на этот раз. В Пруссии при новом порядке судопроизводства тяжущиеся перестали сами являться на суд, что было бы для одних крайне тягостно, для других – разорительно или вовсе невозможно. Место их заняли на суде те же юстиц-комиссары, превратившись, таким образом, в адвокатов на прежнем основании, так что впоследствии сам закон должен был расширить деятельность судебных защитников, переименовав их из юстиц-комиссаров в судебных стряпчих (Rechtsanwälte).

Очевидно, что прусский законодатель, желая в новом уставе своем удовлетворить всем требованиям правды безусловной, поставил перед собою слишком трудную задачу, которую не в силах был разрешить удовлетворительно. В новом уставе его выразилось, с одной стороны, несостоятельное стремление патриархально-бюрократической власти распространить как можно далее официальный надзор за соблюдением повсюду строгой справедливости; с другой стороны, недостаточно взвешены были наряду с положительными и отрицательные качества человеческой природы. Задача, указанная законом прусскому судье, слишком обширна. Границы ее определены не ясно; так что и сам он легко может увлечься до произвола в исследовании истины, и стороны не могут иметь к нему полного доверия, видя в нем лицо официальное, а не беспристрастного посредника. Это недоверие было тем более естественно, что судья при первоначальном исследовании мог выслушивать и допрашивать каждую сторону с глазу на глаз и не в присутствии другой стороны, и не в публичном заседании; следовательно, другая сторона не могла быть обеспечена в беспристрастии его деятельности. Присвоенное судье качество советника несколько не согласуется с нормальным представлением о судейской обязанности, выразившимся в законодательствах всех веков по этому предмету, и с понятием, которое имеют о судье сами тяжущиеся. Все эти неудобства не замедлили обнаружиться при действии прусского устава, так что впоследствии само законодательство вынуждено было при дальнейшем развитии

процесса и при введении в него новых начал словесности и публичности допустить значительные отступления от строгости следственного начала. По новейшему прусскому законодательству требуется от каждой стороны, прежде всего, определенное изложение взаимных требований и доказательств; затем, вместо пространного исследования о факте и о праве по протокольным запискам установлено публичное состязание перед судом лично самих сторон или их законных защитников; но этому состязанию должно предшествовать словесное изложение обстоятельств дела одним из членов суда (судебным депутатом), составляющее фактическую основу прений и подлежащее разбору и опровержению. Разумеется, что при словесном состязании и официальное положение адвокатов на суде должно было измениться, и деятельность их значительно расширится. При всем том, положение прусского судьи относительно тяжущихся и теперь отличается характером самостоятельности и попечительности; и теперь закон возлагает на него обязанность «вернейшим и ближайшим законным способом исследовать истину лежащих в основании процесса событий, которые своевременно приведены были тяжущимися». Судья имеет право требовать, и без ссылки сторон, те лица, от которых может ожидать вернее, нежели от самой стороны, показания об истине, может требовать личной явки тяжущихся и предлагать им, или представителям их, вопросы.

На ином начале основана французская система судопроизводства. По французскому понятию о суде судья обязан только разрешить спор, а соби́рание материалов для этого решения вовсе не относится к его деятельности; поэтому и так называемая инструкция процесса во Франции имеет совсем не то значение, какое дается этому слову в прусском и вообще в германском процессе. Одно из главных правил французского судьи состоит в том, что всякий обязан сам наблюдать за своим правом, что где нет просьбы, там нет и действия (*vigilantibus jura sunt scripta*); ход целого процесса – от первой жалобы до решения – зависит от ходатайства, от просьбы той или другой стороны, какая признает для себя полезным просить (*de la par-*

tie la plus diligente); так что без просьбы дело, уже официально начатое между стряпчими, может пролежать долгое время без движения, не обращая на себя никакого внимания судьи. Даже признание одной из сторон, сделанное на суде, в заседании, не служит доказательством признанного события, если сторона, которая желает воспользоваться словами противника, не просила тогда же о записке²¹ их в особый акт. Окончательные заключения (conclusions) тяжущихся составляют для судьи строгую рамку, за пределы которой он не может перейти ни в каком случае; закон вовсе отнимает у него право дополнять, даже по бесспорным обстоятельствам дела, возражения и фактические ссылки, если о них не упоминают сами стороны, например применять давность, когда на нее не ссылалась сторона в свою пользу. Нарушение этих правил со стороны суда дает законный повод просить о кассации решения (s'il a ete prononce sur les choses non demandees). Правда, что французский процесс уполномочивает судью, впрочем по просьбе тяжущихся, приступать к расспросу их об обстоятельствах дела; однако этот расспрос допускает такие формальности, которые значительно ослабляют следственное его значение: стороны допрашиваются поодиночке, не в публичном заседании и не всегда непосредственно самим судьей, который должен решать дело; им дается срок на приготовление к ответу. Французскому судье предоставлено в некоторых случаях право требовать доказательств и т[ому] п[одобного]. Но в существе своем французский процесс основан на начале состязательном. При господстве этого начала французский закон не дозволяет никому защищать себя на суде без помощи, по крайней мере, судебного стряпчего, он предоставляет только стряпчему, а не самому тяжущемуся направлять ход дела, представлять или изменять заключение, требовать записки признания противной стороны. От суда далее зависит обязывать сторону, чтобы она представила для защиты своей адвоката, если по усмотрению суда оказывается, что сам тяжущийся не в состоянии представить дело с надлежащею ясностью, – в таком случае, если бы тяжущийся не мог сам найти себе адвоката, суд назначает ему защитника

по своему распоряжению (d'office). Справедливо замечают, что это безусловное запрещение являться на суд без защитника во многих случаях оказывается на деле стеснительным для тяжущихся и что обязательное участие адвоката в делах несложных и не представляющих затруднения в решении представляется часто в виде формальности, которая, не принося существенной пользы ни суду, ни тяжущимся, только замедляет окончание дела и увеличивает судебные издержки.

Строгое применение следственного начала к гражданскому судопроизводству ставит судью в несвойственное ему, затруднительное и неловкое положение, нарушает равновесие, в котором судья должен находиться относительно тяжущихся. Но и начало состязательное, если развилось также под влиянием односторонней, безусловной и самоуверенной теории, также ведет к вредным последствиям, приучает судью к формальному воззрению на предмет дела, заставляет его смотреть на правду не совсем прямо, а с искусственной точки зрения. Для естественного чувства справедливости оскорбительна мысль о том, что судья, связанный, безусловно, изложением тяжущихся и представителей их, должен быть иногда немым слушателем и свидетелем лжи, что он, видя перед собою путь к достижению истины, должен отказаться от изыскания истины и таким образом иногда поневоле и бессознательно делается орудием неправды и ябеды, произносит приговор об истине формальной и в то же время внутренне протестует против него по своему убеждению. Чем сильнее в процессе господство формы над содержанием, тем очевиднее становится искусственность того положения, в которое утвердившаяся веками теория поставила судью относительно к правде, долженствующей составлять конечную цель судебного приговора. Нет сомнения, что форма процесса в этом отношении подвергнется еще многим изменениям, покауда успеет достигнуть надлежащей простоты и совершенства. В новейших законодательствах, основанных на состязательном начале, заметно уже стремление освободиться от исключительного господства состязательной теории. Истинное и неизменное правило ее состоит в том, что факты,

составляющие содержание тяжбы, и доказательства, относящиеся к ним, должны быть указаны судье самими тяжущимися и обозначать пределы его деятельности; но в этих пределах должна быть предоставлена судье свобода доискиваться до истины, чтобы он мог составить себе убеждение о праве.

ХIII

Первый признак всякой правды есть искренность. Правда не боится света. Что прячется от света и скрывается в тайне, в том, верно, есть неправда. В этом признаке совесть каждого человека имеет лучшее средство для проверки каждой мысли, возникающей в душе его, каждого движения воли, каждого действия. Есть мысли и движения, которые страшно осветить, потому что они не терпят света; но строгая совесть всюду стремится внести свет для того, чтобы повсюду была правда или, по крайней мере, неправды было как можно менее. Чем сильнее это стремление, тем более приближается человек к тому согласию мысли со словом и действием, достижение которого составляет главную цель во внутреннем его развитии. Таково же должно быть и стремление совести общественной – правосудия. Если цель его действительно состоит в охране правды, в исправлении и обличении неправды, в соблюдении закона, то оно не может, не должно опасаться света, и все действия его должны совершаться открыто, потому что обличение неправды во тьме не есть обличение, объявление правды в тайне не есть объявление.

Итак, когда правосудие человеческое избирает для себя таинственные пути и тщательно скрывает их от общего ведения, это значит, что в путях правосудия есть кривизна, которую оно опасается обнаружить перед всеми. Но кривые пути не обеспечивают прямого достижения предположенной цели; чтобы исправить их, необходим свет, без которого невозможно ни ясное сознание недостатков, ни решительное их исправление. Вот почему судопроизводство закрытое, совершающееся под покровом канцелярской тайны, не допускающее объявления

судебных действий, скрывающее свои приговоры от всеобщего ведения, не удовлетворяет целям правосудия. Стало быть, достижение правды не вполне обеспечивается судебными действиями, если эти действия не терпят света. Иные возражают, что обнаружение зла соединено с некоторою опасностью, что несовершенства общественного организма могут быть исправляемы только постепенно и негласно, что есть язвы общественные, к которым следует прикасаться с осторожностью, которых не следует выставлять наружу; но эти возражения едва ли применимы к делу правосудия общественного. Если формы его несовершенны, если действие его неверно и медленно, если на всяком шагу встречается в нем неправда материальная под ложным видом правды формальной, если господство мертвого обряда вытесняет из него живой дух правды законной, то чем же иным, как не отсутствием света поддерживаются и развиваются все эти недостатки, и можно ли надеяться на исправление их, пока не будет света и искренности в отправлении правосудия? Канцелярский образ Фемиды²², совершающей свое дело с повязкою на глазах, давно уже перестал быть удовлетворительным символом правосудия. Суд – первая потребность гражданского общества, важнейшее дело общественной власти, дело правды, важное не только для одних тех лиц, которые непосредственно в нем участвуют, но и для всех граждан, – должен совершаться не во тьме, но открыто перед всеми.

В первобытной жизни народов гласность была непременно и естественною принадлежностью судопроизводства, принадлежностью той бессознательной свободы, которою проникнуты были общественные отношения. Римские преторы творили суд открыто, на публичной площади; судьи германских и славянских племен заседали и судили под открытым небом; даже двери византийских базилик, где совершался суд, не были еще заперты для народа. Не ранее XV или XVI столетия появляются на западе Европы закрытые суды с канцелярскими обрядностями, там они образовались под влиянием канонического права, нового следственного начала и новой формальной юриспруденции, сделавшейся исключительным достоянием

особого, замкнутого в самом себе сословия юристов, воспитанных на писаном римском праве. У нас, как и на Западе, новый порядок установился около того же времени, незаметно, мало-помалу, без положительного законного предписания, вероятно, под влиянием административной централизации, собиравшей воедино все части московского государства, и приказного начала, посредством которого она достигала своей цели. Таким образом сложилась и у нас мало-помалу нынешняя приказная форма закрытого суда.

Пробудившись в истекшем столетии, в нынешнем проявилось повсюду с особенною силой стремление восстановить гласность судопроизводства и утвердить ее на новых началах, которых не касалось общественное сознание ни в древней, ни в средневековой жизни. В настоящую минуту, кажется, не подлежит уже сомнению, что гласность принадлежит к необходимым условиям правильного судопроизводства*.

Суд должен быть открытым прежде всего для самих тяжущихся. Для них ни в каком случае не должно быть безусловной канцелярской тайны. Долговременным канцелярским опытом, кажется, давно уже доказано, что установление ненужных запрещений, не принося никому существенной пользы, вредит только существенным целям правосудия и ведет к разврату и самих судей, и тяжущихся, устанавливая между ними искусственные ложные отношения. Со стороны тяжущегося очень естественно желание знать, в каком положении находится его дело, в чем состояло последнее судебное действие, что доказывает перед судом и о чем ходатайствует его противник, как изложена та или другая бумага, которой придает он особенную

* «Общественная власть, – говорит Блунчли²³, – не может поставить себе целью исследование совести гражданина, разыскание о том, что происходит во внутренней, таинственной, духовной его жизни, в невидимой жизни души его. Деятельность ее простирается только на внешние, видимые явления, в которых выражается эта внутренняя жизнь, в той мере, в какой нарушается ими установленный законный порядок; имея дело не с таинствами души, подлежащими Божескому, а не человеческому суду, а только с внешними явлениями, земное человеческое правосудие нуждается в дневном свете, и только то, что с помощью его различить можно, подлежит его ведению». – *Bluntschlii. Alleg. V. II.* – С. 205.

важность, и т[ому] п[одобное]. Столь же естественна была бы и со стороны судьи или канцелярии готовность удовлетворить этому желанию. Но если закон без нужды запрещает сообщать тяжущемуся потребное для него сведение, то закон становится сам поводом к нарушению ненужного запрещения, ибо не может ни погасить в тяжущемся естественного желания, ни убедить его в том, что удовлетворение этому естественному желанию есть действие преступное. Где должен быть свет по естественному порядку, там не следует искусственно уничтожать свет и устанавливать тайну, не следует для того именно, чтобы естественное желание света не было нарушением закона. Запрещение непременно будет нарушено с вредом для нравственности общественной и для прямоты общественных отношений. Тяжущийся вынужден будет искать противозаконные средства для получения нужных сведений, соблазнять судью или чиновника к нарушению закона. С другой стороны последний, приучаясь мало-помалу входить в тайные сделки с просителем, запутываясь и сам во множестве запрещений и обрядностей, имеющих по первоначальной цели закона неодинаковое значение, привыкает истолковывать каждое запрещение в самом обширном смысле и делать просителям затруднения даже там, где закон вовсе не устанавливал безусловного запрещения. Понятно, что с введением словесного судопроизводства должна будет сама собою исчезнуть большая часть запрещений, которые составляют принадлежность письменного суда и приказной формы; но и всякая система словесного суда непременно должна удовлетворять необходимым условиям гласности. Условия эти требуют в особенности: чтобы судья входил в непосредственные сношения с одною стороною по судебным действиям своим не иначе как в присутствии другой стороны; чтобы каждый акт, каждое требование одной стороны были немедленно сообщаемы другой; чтобы каждая сторона имела право во всякое время требовать оказания²⁴ актов и бумаг, заключающихся в деле; чтобы каждая сторона имела право присутствовать при допросе свидетелей и принимать в нем участие под надзором суда; чтобы доклад дела, если он требуется, не

был тайною, но совершался в присутствии сторон и подлежал их возражениям. Вот главные условия гласности, соблюдение коих необходимо для того, чтобы тяжущиеся могли сохранить прямые, открытые отношения к суду и полное к нему доверие.

Но для того, чтобы соблюдение этих необходимых условий было вполне обеспечено, нужна еще иного рода гласность: для того, чтобы суд всегда был открытым для тяжущихся, нужно, чтобы он не был тайною и для всего общества. Во-первых, суд есть дело общественное, следовательно, общество вправе интересоваться тем, что на нем происходит; тем живее этот интерес, чем крепче связь членов общества между собою, составляющая самую надежную опору общественного порядка; а потому общественная власть не может желать, чтобы каждый гражданин почитал важным для себя только личный интерес свой, оставаясь равнодушным к правам остальных граждан. В этом смысле судебный приговор есть достояние целого общества, а суд становится средством для развития в обществе правильных понятий о праве и для утверждения в каждом гражданине уважения к закону и сознания взаимных прав и обязанностей; чем доступнее становится для граждан понятие о праве, тем более одушевляется само право жизненными началами народности. В закрытых судах развитие права совершается под влиянием одностороннего, схоластического или приказного взгляда, разобщаясь более и более с жизненною средой, из которой оно должно возникать и в которой должно действовать.

Во-вторых, как бы ни были судьи опытни и добросовестны в своем деле, они по свойству человеческой природы легко могут уклониться от справедливости и нарушить меру, если дело свое совершают в тайне и не подлежат контролю общественного мнения. В самом лучшем судье может развиваться малопомалу чувство равнодушия, если единственно в себе самом должен он искать возбуждений и одобрений, поддерживающих живое участие в деле, невольно притупляемое привычкою; не у всякого найдется столько силы, чтобы он мог всегда сам поддерживать себя, не нуждаясь в участии целого общества. Кому близко известны обычаи закрытых судов, тот, конечно, знает,

как нетрудно ревностному судье превратиться в равнодушно-го; к сожалению, многие судьи доходят до того, что без малейшего упрека совести занимаются чтением газет или дремлют во время заседания и, подписав поданные им бумаги, думают, что исполнили свою обязанность. Столь печальные и, к сожалению, столь известные всем явления делаются невозможными при открытом суде. Что делается в четырех стенах, без свидетелей, того нельзя уже позволить себе в присутствии общества. Закрытый суд нередко принимает вид домашнего дела, которое обделывают между собою судьи с делопроизводителями; нет нужды распространяться о том, как унижается правосудие таким воззрением или, лучше сказать, такою привычкой, которую бессознательно приобретают приказные судьи, не думая даже о том, сколько в ней унижительного для звания судьи. Но в открытом и публичном заседании суд носит характер достоинства и торжественности, с которым несовместны подобные привычки: каждый из судей прежде всего станет заботиться о том, чтобы не унижить в лице своем достоинства судьи, а тяжущиеся или адвокат в публичном заседании суда не всегда решится на такие речи, которые без всякого стыда изложил бы на бумаге, он позаботится тогда тщательнее взвесить и доказательства, и обвинения свои, потому что противник может публично обличить и устыдить его в неправде. Присутствие публики благотельно действует и на адвокатов. Только в присутствии общества каждый адвокат получает действительное сознание лежащей на нем нравственной ответственности, ибо при закрытых стенах суда адвокат еще более, нежели судья, способен увлечься инстинктами лени и равнодушия к своему делу. Но под контролем общественного мнения всякий употребит все силы для того, чтобы поддержать честь или утвердить свою репутацию, постарается сделать ясным и общедоступным свое изложение, строже проверит логическую крепость своих доводов. Только в публичном заседании может развиться талант адвоката; здесь только и тяжущиеся получают возможность ознакомиться со способностью того или другого адвоката, которому желают поручить свое дело.

Гласность судебных заседаний имеет немало противников. Одно из главных возражений, повторяемых ими, состоит в том, что публичность не соответствует достоинству правосудия, превращая суд в публичное зрелище, на которое сходятся толпы людей праздных. Такое возражение возможно лишь со стороны тех, кто не знаком на самом деле ни с судебным делом-производством в закрытых заседаниях, ни с порядком суда публичного. Кому известны по собственному опыту таинства, совершающиеся в канцеляриях и присутственных камерах, тот, верно, не станет доказывать, что приказный, закрытый обряд благоприятно действует на развитие судей и на поддержание достоинства, которое должно принадлежать суду. С другой стороны, всякий может удостовериться на опыте, что суд публичный не составляет пустого и праздного зрелища. Бывали отдельные случаи, когда достоинство публичного суда нарушалось неприличными демонстрациями со стороны зрителей, когда на суде разыгрывалась соблазнительная борьба партий; но эти случаи принадлежат к редким исключениям и никак не могут служить опровержением самого начала публичности, иначе следовало бы допустить, что всякое нарушение закона служит доказательством его негодности и неприменимости. Напротив, торжественность и достоинство публичного суда поражают всякого, кому случается присутствовать при заседаниях его; если это свидетель добросовестный, если он истинно желает пользы своему отечеству, то он не может не пожелать, чтобы и в родной стране его суд совершался с таким же достоинством, с таким же добросовестным вниманием судей и зрителей к ходу процесса. Судебная власть имеет все средства наблюдать за сохранением должного порядка на суде и в публике, и случайные уклонения от этого порядка тотчас же прекращаются, не оставляя за собою следа.

Не должно представлять себе, однако, что всякое заседание суда предполагает необходимо присутствие публики. Невозможно ожидать, чтобы по всякому делу, и самому незначительному, зала заседания наполнялась слушателями, потому что всякий занят собственными своими делами, и общий ин-

терес в публике возбуждается лишь некоторыми процессами, вызывающими, по содержанию своему или по личности участвующих, особое любопытство; в большей части случаев зала заседания останется пустою. Но не в том состоит публичность заседания, чтобы всегда присутствовала при нем публика, а в том, чтобы всякий имел возможность быть свидетелем суда. Одного сознания этой возможности будет уже достаточно для того, чтобы и судьи, и тяжущиеся почитали открытым для всех все, что совершается на суде. Притом усмотрению суда предоставляется обыкновенно устранять публичность заседания в тех случаях, в которых суд признает ее несовместною с требованиями общественной нравственности или когда сами тяжущиеся по взаимному согласию пожелают судиться в закрытом заседании.

XIV

С вопросом о судопроизводстве тесно связан вопрос об устройстве судебной власти и ее органов. Как бы ни была совершенна система судопроизводства, невозможно положиться на нее исключительно и успокоиться на той мысли, что эта система повсюду и при всяких условиях должна действовать с успехом, что при помощи ее и под ее влиянием сами собою исправятся те орудия, посредством которых действие ее совершается. Если не устроена на правильных началах судебная организация, если судебские должности замещены людьми малоспособными и малообразованными, малообеспеченными в материальном содержании и поставленными в зависимое положение, если притом вместе с судебным делом возложены на судью обременительные обязанности иного рода, то и совершеннейшая система процесса не будет действительна: она останется собранием мертвых форм, приложение которых судья станет почитать существенною своею обязанностью, не заботясь о том, как они прилагаются и к какому результату приводят. Совершенствуя формы судопроизводства, необходимо в той же мере усовершенствовать и формы судоустройства и

поставить суд на ту степень власти и значения, которые принадлежат ему в ряду государственных учреждений.

Первое условие для этого есть строгое отделение суда от управления. Деятельность той и другой власти совершенно различная. Цель как той, так и другой – охранение общественного порядка, применение закона. Но судебная власть, имея в виду чистое право и строгую норму закона, руководствуется им, и только им одним, неуклонно и последовательно, не обращая внимания ни на какие временные, местные и личные условия; всегда верная сама себе и строгому разумному истолкованию закона, она принимает только те соображения, которые указывает ей этот самый закон. Судья ставит перед собою частный вопрос, подлежащий его разрешению, и идет к этому разрешению размеренным, осмотрительным шагом; не опуская ни одной обязательной формы, взвешивая строго все обстоятельства, относящиеся к вопросу, он не обязан ничего искать за пределами этого вопроса и не спрашивает себя, чем отзовется, какое действие произведет его приговор в частной или общественной жизни. Если судья решил дело по своему убеждению о праве, составляющем единственную цель судейского изыскания, то затем уже нисколько не отвечает за последствия своего решения.

Не таков путь администрации. Имея в виду потребность минуты и условия места, она с этою потребностью, с этими условиями соображает свои действия, посреди множества разнообразных обстоятельств избирает скорейший и вернейший способ к достижению своей цели и в применении закона нередко бывает в необходимости руководствоваться не столько строгою идеей закона, который она не имеет права и способности истолковывать, сколько колеблющимся чувством справедливости и меры; она принимает в соображение не только личность гражданина, но и отношения его к целому обществу; действия ее, непосредственно следующие за решением, простираются в своем влиянии на все разнообразные отношения лица и на целую среду, в которой совершаются. От этого правила, руководствующие деятельностью администрации, столь же разнообразны и изменчивы, как обстоятельства, посреди коих она действует.

Отсюда очевидно, что каждый род деятельности требует особо подготовленных людей и что смешение в одном и том же органе судебной и правительственной деятельности непременно ведет к смешению понятия о праве в суде, к педантизму и формализму – в администраторе. Администрация, с одной стороны, допускает некоторый произвол в действиях лиц, облеченных властью, с другой – требует зависимости, подчинения и исполнительности. Напротив, понятие о суде исключает всякую идею о произволе, а независимость от личного влияния, неподчинение никакому приказу, кроме того, который исходит от закона, составляют необходимое условие, без которого суд не может быть судом; если же к обязанности судьи принадлежат дела управления, то он поневоле перенесет и в судебную свою сферу из сферы административной привычку повиноваться личной воле, привычку, которая в отношении к суду есть соблазн и отрицание правосудия. Суд должен быть самостоятелен и независим, следовательно, должен быть отделен от управления; не мешаясь в дела администрации, суд должен быть поставлен так, чтобы администрация не вмешивалась в принадлежащее ему решение спорных дел и толкование закона, чтобы святое и разумное дело правосудия совершалось в нем спокойно, без всякого вмешательства со стороны чуждого элемента так называемой кабинетной юстиции, составляющей свои определения в сфере, которой чужды все условия правильного и обдуманного суда: суд должен пользоваться правом отвергать всякое подобное вмешательство. К области суда принадлежит все, что может составлять предмет спора о праве и гражданского требования; каково бы ни было личное положение истца и ответчика, из какого бы действия ни проистекало основание иска, место истцу и ответчику должно быть перед судом, а не перед администрацией, и никакая так называемая административная юстиция не должна присваивать своему ведомству дела, возникающие по гражданскому требованию, как скоро нет в них спора о праве публичном или общественном. С другой стороны, к области суда не должно относиться ничто, принадлежащее к управлению и к беспорядочному производству: обременение суда делами,

в которых нет спора, а есть только исполнение, совершение или свидетельство, не соответствует истинному значению суда и препятствует успешному отправлению правосудия.

В понятии некоторых суд представляется не более как средством для разрешения частных распрей, а главною целью его предполагается установить порядок там, где он был нарушен вследствие частного несогласия. С этой точки зрения, сущность приговора становится уже делом второстепенным, а при равнодушном отношении к этому предмету можно дойти до той мысли, что и нет нужды требовать от судьи во всех случаях особых качеств, нужных для этого звания, нет нужды искать разумного единства в судебных приговорах. Подобною односторонностью взгляда объясняется равнодушие многих государственных людей к поддержанию внутреннего и внешнего достоинства судебной власти. Но такое понятие о суде не соответствует уже потребностям нашего времени и современному развитию общественной жизни. Было бы еще недостаточно, если бы суд только обеспечивал вообще охранение внешнего порядка и служил только к прекращению несогласий; необходимо, чтобы он обеспечивал каждому гражданину спокойное и верное пользование принадлежащим ему правом, необходимо, чтобы каждый приговор суда был основан на праве, а в этом смысле по каждому спорному делу требуется не только решение, но и решение верное, правое. Невозможно общественной власти полагаться исключительно на форму судебного приговора и оставаться равнодушною к существу его: довольствуясь формой, нетрудно забыть о том, что форма установлена для того, чтобы собственность была присуждена тому именно, кому она принадлежит по праву. Если придет в забвение эта существенная цель правосудия, то может ослабеть в обществе священное уважение к правам всех и каждого. Поэтому и для общественной власти весьма важно, чтобы суд получил действительное, принадлежащее ему значение.

Чтобы суд мог быть вполне самостоятелен и независим, необходимо, чтобы и каждый судья имел те же самые качества. Для судьи необходимо такое внешнее положение, в котором

он мог бы совершать свое дело спокойно и беспристрастно, не подчиняясь ничьему личному влиянию. Он должен быть, во-первых, достаточно обеспечен в средствах к жизни, чтобы иметь возможность без затруднения противиться всем искушениям: снизу – в виде корыстных сделок с подсудными лицами и сверху – в виде обещаний и наград за личные одолжения и за верность внушениям. Во-вторых, за действия свои по званию судьи он должен отвечать перед законом и судом, а не перед гневом и милостью начальника. Если начальник в иерархическом порядке администрации сохранит при себе право награждать и наказывать судью, отставляя и перемещая его по своему произволу, в таком случае напрасно было бы ожидать от судьи независимости и добросовестности. В сфере, подчиненной личному влиянию, никогда не воспитается добрый судья для дела, основанного только на свободном убеждении, никогда не образуется судебное сословие, связанное духом правды и чести и единством разумения законов, никогда не утвердится правый суд на прочных основаниях.

Только независимые судьи могут быть вполне способны к своему званию и вполне достойны его. Этому мнению иногда противопоставляют другое: «Только тогда можно поставить судей в положение независимое, когда они будут вполне способны к своему званию и достойны его», – и на таком основании доказывают, что там, где не организовалось еще судебное сословие, где немного судей, вполне соответствующих своему званию и проникнутых сознанием своего достоинства, там судья должен еще состоять под страхом ответственности перед личною волей, там суд еще не может быть освобожден от бюрократического надзора правительственной власти. Такое мнение неверно ни в логическом, ни в историческом смысле. Или независимость суда и судей необходима для того, чтобы как суд, так и судьи были достойны своего назначения, или судебная власть никогда не должна выходить из-под правительственной опеки. Кажется, в наше время никто уже не спорит против первого положения и никто не допускает второго. Если так, то каким же образом возможно

будет ожидать прочных улучшений в судебном сословии и развития в нем внутренней силы, внутреннего единства, если судья останется в зависимом положении? Под внешним гнетом, под законом страха, под личною опекой не может развиться духовная сила, требующая свободы и самосознания, и ежедневный опыт показывает нам, что ответственность перед лицом всегда превращается в случайную и воображаемую ответственность, а правительственный надзор за правосудием – в формальную очистку посредством наружной отчетности и периодических подтверждений. Нет сомнения, что независимость суда и судьи сама по себе при отсутствии других необходимых качеств еще недостаточна для того, чтобы суд сделался вполне соответствующим своему назначению, – в таком случае независимость эта легко может превратиться в деспотизм и привычку к насилию. Но в соединении со словесною формой суда и с гласностью независимость суда будет именно тою силой, которая способна поднять суд на степень самостоятельной власти, а судебному сословию дать нравственное единство и правильную организацию. Как одно из учреждений государственных суд не изымется от надзора высшей государственной власти; как всякое дело общественное, суд подлежит контролю общественного мнения. Но и власть государственная, и общество могут следить за действиями суда только тогда, когда действия его будут открыты для всех; в противном случае всякий надзор будет недействителен, всякие предписания, подтверждения, ревизии и отчетности останутся пустою и лживою формой, потому что и для общественной власти публичность составляет единственно верное средство надзора. Назначение судей принадлежит власти правительственной, но при письменной, приказной форме суда, в отсутствие публичности и адвокатуры какими скудными и неверными средствами и указаниями должна будет ограничиться общественная власть при выборе людей, достойных судейского звания! Опыт давно уже научил нас, как недостаточны для этой цели те способы, которыми может располагать бюрократия, если доверяется исключительно

своим собственным силам: следование по степеням служебной лестницы²⁵, суждение о личностях по исправности и количеству канцелярских занятий, назначение на места в виде наград и отличий, представления по начальству. Всякому известно, как трудно самому добросовестному начальнику сделать верную оценку и удачный выбор при таких скудных способах, как часто, по привычке к ним, сам выбор людей получает вид формы и совершается столь же равнодушно, как и другие обрядности бюрократического дела. Но с водворением на суде публичности и адвокатуры круг для выбора должен значительно расшириться и верный выбор людей для занятия судебных должностей впервые станет возможным. Мы привыкли слышать частые жалобы на недостаток способных и достойных людей и этим самым недостатком поневоле иногда оправдываем легкость выбора и назначений; нам часто указывают в виде подобного оправдания на недостаток юридического образования в обществе и в массе чиновников, состоящих кандидатами на места. Невозможно, однако, примириться с мыслью о том, что общество не в силах выделить из среды себя достаточное количество способных людей для отправления важнейшего общественного дела; невозможно допустить, чтобы число таких людей было действительно так незначительно, как мы готовы себе представить. Сто ит ближе присмотреться к каждой общине, к каждому кружку людей, состоящих в непосредственных между собою отношениях, чтобы убедиться, что в способных людях нет у нас недостатка, и что многие из них, к сожалению, проживают даром свои силы, не находя им приложения и цели для деятельности. Многим из нас приходилось видеть, сколько может иногда распространить около себя света и силы один из таких людей, если, успев случайно занять место, соответствующее его способностям и наклонностям, приступает свободно и просто к делу и к обращению с людьми, состоящими под его влиянием: нередко около такого человека оживляются люди, считавшиеся прежде за неспособных и негодных. И нравственную силой его вызываются и в них спавшие дотол

силы, потому что сила нравственная, если действует прямо и открыто, не истощаясь напрасно в мелочных обрядностях, не может остаться бесплодной. Напротив, в той сфере, где форма и обрядность занимают главное место и составляют всю деятельность человека, где нет простоты и откровенности во взаимных отношениях людей, связанных между собою только искусственным началом служебной иерархии, там и дело становится механическим обрядом, и люди превращаются в орудия бездушной машины делопроизводства.

При таких условиях, когда нет живой связи между людьми, нет живого духа в деле, нет и возможности людям способным ни образоваться, ни выказаться. Они должны явиться, лишь только явится свет и возникнет жизнь в той сфере, где предстоит им действовать. Тогда и для власти общественной незатруднительно будет отыскивать людей, способных к судебным должностям, когда судебные действия будут открыты для всех, тогда способность каждого обнаружится сама собою и мнение о способности того или другого деятеля, составляемое теперь по формальным признакам, по случайным и отрывочным соображениям, получит тогда твердую основу.

Сословие адвокатов, когда оно достаточно разовьется и организуется, должно, по естественному порядку, сделаться рассадником и для судебного сословия.

К. Победоносцев

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Чтобы дать себе точный отчет в тех нововведениях, которые мы получаем с новыми судебными уставами²⁶, и составить ясное, раздельное, реальное о них представление, необходимо отделить в них то, что относится к общим началам или основным правилам суда, от всего того, что составляет техническую часть его, совокупность процессуальных обрядов и правил.

Одно дело – уяснить себе, *что* имел в виду законодатель, какие он полагает существенные, необходимые условия суда, какие интересы имеет он в виду оградить, какие потребности желает он удовлетворить и каких целей достигнуть. Другое дело – определить, *как* предположил законодатель достигнуть этих целей, какие указал для этого пути и обряды и какие устроил органы, – сюда относится вся техническая часть судоустройства. Без сомнения, те и другие вопросы тесно между собою связаны, и одна часть законодательной работы должна вполне соответствовать другой. Не уяснив, *что* имеется в виду, законодатель не может определить с успехом, *как* достигнуть предположенных целей; с другой стороны, не составив реального понятия о способах, средствах, путях и органах, не определив во всей подробности, как все это будет, законодатель не может с полною уверенностью поставить и основные условия, ибо предписать к исполнению можно только возможное, а о возможности нельзя рассудить основательно, покуда мысль, сообразив и взвесив все условия действительности, все орудия и силы, не составила еще себе отчетливого представления, как все это будет, как все это двинется.

Но и разрешив с достаточною отчетливостью эти вопросы, ни один законодатель в мире в таком важном и сложном деле, каково дело суда, преобразуемого с верхнего края до нижнего, не может почить от дел своих, заключиться в круге своего творения и сказать себе с полною уверенностью Творца: все созданное мною прекрасно! Эта уверенность всего менее может относиться к технической части нового здания – к самой трудной части дела, ибо здесь вся работа законодателя состоит в комбинации вероятностей и предположений, основанных на бесчисленном множестве фактических данных, мелких и крупных. Выше силы человеческой сообразить вместе все эти данные, не упустив из виду ни одного факта, ни одного существующего состояния, ни одной из сил, долженствующих входить в расчет общего действия вновь устраиваемой машины. А что сказать, если общее состояние таково, что многие из этих данных открываются только случайно и нечаянно, много есть таких сил, которые, подоб-

но физическим силам, еще не исследованным в науке, можно только чувствовать и испытывать, но нельзя еще взвесить, уяснить и подчинить себе? Вот почему в подобных случаях, как ни отрадно было бы с чувством уверенности успокоиться после тяжелой работы созидания, законодатель не может сказать себе: теперь все движется само собою по плану! Еще приходится ему стать на страже у своего дела, самому пускаться в ход разные части машины и зорко следить за всем, что пущено в ход, все ли совершается по мысли и где что исправить следует.

Но оставим пока в стороне техническую часть новых уставов суда и судоустройства; оставим также в стороне вопрос о способах ее осуществления и необходимого видоизменения при осуществлении. Осмотримся сперва в том, что нового представляется в тех общих началах, которые положены нашими уставами в основание суда и судебных отправлений.

В этом отношении наши судебные уставы (мы будем говорить пока лишь о суде гражданском) составляют для нас драгоценное приобретение тем, что ясно выясняют истинные, руководящие начала суда: не новые, но старые, как сама истина, начала, которые или вовсе не касались нашего сознания, или пришли в забвение, но таковы по своему свойству, что от забвения их кривится и теряет свое значение всякий суд. Они драгоценны для нас тем, что отсекают многие формы производства, которые появились в истории нашего суда не в силу органического развития мысли о суде, но или вследствие тупого подражания чужеземным, дурно понятым формам, или вследствие того, что прямое законное понятие о суде затмилось приказною привычкою и канцелярскою обрядностью.

Вот, например, какие наши капитальные приобретения.

У нас во многих случаях совсем забылось понятие о том, что суд есть состязание двух сторон и что нельзя ни удовлетворить, ни обвинить одну сторону, не выслушав другой. Как ни просто это понятие, оно не присутствовало в сознании у многих судей; как ни безусловно это правило, оно нарушалось ежедневно и бессознательно, и оттого судебный приговор нередко принимал вид произвольного или случайного действия и

служил не к исходу из неизвестности, а к возбуждению новых нескончаемых недоумений. Оживить в сознании это коренное начало всякого суда и поставить его так, чтобы оно впредь было ненаруσιμο, чтобы оно составляло азбуку правосудия, без которой нельзя шагу сделать в его книге, – это одно составляет уже для нас при нашей бедности важное приобретение.

Суд наш был до сих пор беден и внутреннею, и внешнею силой; но негде было ей развиться, когда ей простору не было, не было своего, резко очерченного круга, в котором она могла бы свободно и сознательно совершать свои отправления. В отправления суда имела право вмешиваться власть правительственная – если не прямо, то косвенно, и низшие органы суда были совсем подавлены надзором административной власти. Высшая администрация не могла уничтожать судебные приговоры, но могла ревизовать делопроизводство, требовать отчетов, налагать взыскания на суд и судей. Недобросовестным и ленивым судьям не было от этого помехи, но сколько бывало судей честных, горячих и деятельных, которым приходилось бросать свои должности только потому, что они чувствовали себя в зависимости от секретарей губернского правления или от правителя губернаторской канцелярии! Что может быть унижительнее для суда и какого суда можно ожидать при такой зависимости? Новый устав снимает с судьи это иго и предоставляет суду свой круг деятельности, в который ни прямо, ни косвенно не может вмешиваться общая администрация.

Вследствие отрывочности постановлений, вследствие недомолвок в законе, вследствие крайнего раздробления подсудности, сложности и запутанности сроков, тяжущиеся при существовании судов весьма часто находились в состоянии бессудности; длинное и утомительное производство оканчивалось для них нередко отказом в правосудии с указанием просить, где следует, по закону, тогда как в законе невозможно было найти ясного указания. Дела первой важности об исполнении договоров и о защите владения закон направлял прежде судебного к судебному-полицейскому производству, но где начиналось первое и где оканчивалось последнее, невозможно было

и различить по неясности закона: в одном и том же деле судебное производство смешивалось с полицейским, так что между состязанием и следствием невозможно было провести ясную черту и самый добросовестный судья нередко должен был отказать в правосудии людям, безгласно обвиненным и нигде еще по порядку не судившимся. Невозможно исчислить, сколько происходило путаницы, проволочки, раздражения, сколько терялось безвозвратно неоспоримых прав от этого смешения начал и беспорядка в формах производства. Новые уставы наши указывают для всех дел одну общую форму производства, чисто судебную, и разрушают лабиринт, в котором блуждали так часто наши просители между судом и полицией.

В так называемых следственных делах, соединенных с казенным интересом, беспорядок производства доходил у нас до крайней степени. Правила и формы, хотя и неполные, и не совсем ясные, которые установил сам закон для ограждения частных лиц от неправильных и произвольных исков со стороны казенного управления, пришли в забвение в судах, так что нарушение этих правил перестало и представляться нарушением. Без определенного иска, без всякой мысли об ответственности, без всякой заботы о доказательствах любое место казенного управления могло одним предписанием или сообщением суду привлечь к ответу частного владельца, волочить его в судах, заставить его оправдываться даже против притязания, ничем не подкрепленного, подвергать его всем случайностям следствия, в которое превращалась тяжба, всем последствиям ошибки или упущения, нередко невольного, в течение процесса. Новые уставы дают возможность прекратить всю эту бессудность под видом суда, устанавливая и для этих дел общие начала судебного производства, указывая всякому казенному управлению законное его место, ставя и его в положение истца или ответчика перед судом наравне с другой стороной.

Распространение письменности сделалось язвой нашего судебного производства, оно угрожает дойти до таких размеров, при которых сами отправления судебные не могли бы продолжаться. Бывали уже примеры такого накопления дел,

что весь порядок канцелярской деятельности расстраивался и оказывалась необходимость приостановить ее в ожидании разборки и очистки. Но не в этом еще канцелярском свойстве нашего суда заключался главный его недостаток, без письменности никакой суд обойтись не может, и форма сама по себе еще не отвечает за злоупотребление формы, за излишество, за невежество и рутину. Главный недостаток нашей судебной организации в этом отношении состоял в том, что она вовсе не оставляла места и возможности для словесной формы суда даже в тех случаях, когда оказывались все нужные для того условия и когда заботливый и умный судья пожелал бы этой формой воспользоваться. Новые уставы дают полную к тому возможность и, устанавливая определительные правила и порядки суда словесного, по-видимому, стремятся к утверждению этой формы преимущественно перед письменною.

До сих пор чиновник в администрации или в судебном управлении мог считать себя на деле почти безответственным перед частными лицами за последствия своих действий и распоряжений или своего бездействия. Правда, закон объявлял, что чиновник должен отвечать перед частными лицами за убыток и вред, происшедший от его действий, но вместе с тем закон не открывал никому прямого пути и надежного способа для привлечения должностных лиц к ответственности. Правительственные места обыкновенно указывали обиженным обращаться к суду с иском, а суды отказывали в принятии исков, признавая себя не вправе судить о действиях должностных лиц, особливо тех, которые в рядах служебной иерархии занимали место выше той или другой степени суда. В редких случаях, когда просителю удавалось тем или другим способом двинуть свое требование по той или по другой дороге, оно оказывалось в результате бесплодным, потому что взять было уже нечего и не с кого: сами признаки действия, на котором требование основывалось, уничтожались за давностью времени, в конце сам же обиженный должен был расплачиваться за издержки бесплодного производства. Не говоря о крупных делах, при сложности и разнообразии нашей администрации и судебного управления нетрудно себе

представить, какое множество встречалось ежедневных, мелких случаев, в которых частный человек должен был покоряться произвольным действиям, произвольной проволочке, произвольным сборам и нести на себе издержки вовсе излишние, не имея возможности требовать вознаграждения за ценность, по чужой вине растраченную, за имущество, по чужой вине разоренное. Таких случаев тысячи и десятки тысяч встречаются у нас в ежедневном обращении просителей у должностных лиц и в присутственных местах. Ужасно подумать, как, с одной стороны, должна была развиваться и усиливаться в должностных лицах до самых мелких чиновников привычка к произволу и лени, равнодушие к законным интересам просителей; сколько, с другой стороны, пропадало даром времени, труда и издержек, сколько накапливалось раздражения у просителей от этой бессудности во всем, что относилось до действий чиновников в канцелярии присутственного места. Если бы можно было развернуть и прочесть этот бесконечный свиток, поистине в нем прочли бы мы: «жалость и рыдание, и горе».

От этого зла, от безответственности и бессудности новые уставы дают возможность освободиться или, по крайней мере, значительно уменьшить его, указывая прямой, ясный и, по-видимому, скорый путь к заявлению и к разрешению всех подобных жалоб, так что будет возможность и в малозначительных суммах, без пространного производства искать управы на нерадение, неосмотрительность или медленность должностного лица. Кому доводилось испытать на себе всю тяжесть хождения по делу, всю невыносимость волокиты приказной, тот, конечно, оценит по достоинству значение статей нового устава, относящихся к этому важнейшему предмету, и вздохнет свободнее хоть надеждой на будущее.

Вот (не говоря о других) капитальные приобретения, которые обещают нам новые судебные уставы. Нельзя не радоваться этим драгоценным приобретениям, но, радуясь им, нельзя позабыть, что все они покуда не что иное как законная возможность, слово законное: да будет! Как превратить возможность в действительность, как слову придать реальность дела, как эти бла-

гие начала воплотить и утвердить таким оплотом, чтобы сквозь него пробиться нельзя было, – вот задача, которую решить еще предстоит. Слово оправдывается делом, а дело в сфере практической требует практического расчета и соображения.

Московские ведомости. – 1865. – 14 апреля. – № 79. – С. 1.

Давно уже законодательство наше в той части, к которой относятся по системе так называемые «учреждения государственных», не подвергалось такому коренному, такому решительному преобразованию, какое вводится теперь с обнародованием судебных уставов. Новые учреждения по крестьянскому управлению при всей важности своего государственного значения не могли в общей организации управления произвести такой переворот, какой суждено произвести новым учреждениям судебным. Крестьянские учреждения появились в виде особого цельного организма, который можно было без особенных затруднений, без решительной ломки ввести в старую, установившуюся и окрепнувшую систему «учреждения о губерниях». Теперь с изданием судебных уставов эта система в первый раз подвергается коренному изменению сверху донизу: в нее вводится новый чуждый организм, и не только вводится, но переплетается с нею, принося с собой начала новой системы, которым трудно привиться к старой конструкции и невозможно ее поглотить в себе. Легко предвидеть, с какими затруднениями сопряжено это соединение старой системы, существующей и действующей, с новой системой, только что очерченной в плане. Соединение механическое нетрудно, но и ненадежно: старая система может не выдержать, новая может покривиться и сойти с места. Но как устроить не механическое, а органическое соединение, как дойти до того, чтобы новая конструкция привилась к старой?

Задача эта затрудняется еще тем, что кроме новости в устройстве органов судебной власти и в их отношениях к другим соприкосновенным властям действие этих органов должно совершаться на новых началах, в новых, еще не испытанных формах и по правилам техники, вовсе еще нам незнакомой.

Поэтому неудивительно, если вопрос о приведении в действие новой системы представит законодательству более трудностей, чем представляло начертание самих положений. Неудивительно также, что в ожидании законодательного разрешения этой задачи общественное мнение в высшей степени заинтересовано ею, что повсюду слышны вопросы и горячие толки о том, когда и как новые учреждения приведены будут в действие.

Мнения и желания, высказываемые по этому поводу, очень разнообразны.

Одни говорят: «Чего ждать? План готов. Пусть повсюду сразу приведет в действие новая система как общих, так и мировых судебных учреждений. Пускай на первый раз общее действие системы будет несовершенно, пускай будут ошибки, неровности, противоречия – все это мало-помалу сгладится и придет в порядок, дойдет до единства и цельности на практике, но по крайней мере во всей России откроется одинаковый суд и для всех будет повсюду равномерная защита. Не будет в одном месте осуждаем один подсудимый за то, за что в другой местности был бы оставлен в подозрении. Не будет противоречия в применении к одним частям государства форм и законов, которые в других частях отринуты как негодные и отжившие свое время. Старые дела, еще не решенные, если нельзя будет тотчас же перевести на новый лад, можно порешить как-нибудь скорее, в сокращенной форме, назначив для того срок, и затем повсюду место для нового суда очистится».

Другие, почитая невозможным одновременное и повсеместное введение в действие новой системы в полном виде, полагают наилучшим оставить на первое время в действии старую систему, ввести повсюду только мировые учреждения, а остальные судебные учреждения открывать в разных губерниях постепенно, по очереди. «Таким образом, – говорят они, – вся империя воспользуется хотя одною частью новых учреждений, и затем уже можно будет, без нарушения справедливости, вводить полное действие новой системы постепенно, соображаясь со средствами и пользуясь уроками опыта, в одной местности вслед за другою».

Наконец, слышится еще мнение, что всего удобнее и всего надежнее было бы на первый раз открыть полное действие как общих, так и мировых судебных учреждений в двух или трех местностях, избрав для того области столичные, где представляется наиболее удобств в приискании людей и способов к полному осуществлению преобразования, а затем уже, когда налицо будет, так сказать, живой образец новых учреждений в полном действии, вводить их мало-помалу в другие области и губернии.

Которое из этих мнений основательнее? Какой путь надежнее, какой соединяет в себе наиболее условий успеха?

Вопрос этот, конечно, разрешится в непродолжительное время законодательным порядком: слышно, что особая комиссия, состоящая при государственной канцелярии, уже почти окончила его разработку. Но в ожидании законодательного решения этого важного вопроса публика не может, конечно, не требовать, чтобы и периодическая печать высказалась о нем и постаралась свести к одному знаменателю разнообразные мнения, ходящие в обществе.

Мы знаем, как трудна эта задача, но не считаем себя вправе уклоняться от нее. Мы изложим взгляд, соглашающийся, по нашему мнению, суждения специальных людей с заявлениями общественной потребности и общественной заботы. Но чтобы изложить этот взгляд с достаточною убедительностью, необходимо сперва привести в ясность его мотивы, и мы в интересах дела подчиняемся этой необходимости, как ни трудно удовлетворить ей в газетных статьях, от которых публика по праву требует решительных и ясных заключений, а не развития мотивов и доводов.

Начнем с замечания самого элементарного. При решении вопроса о том, как совершить переход от старых форм к новым, как ввести в новые формы и приладить к ним живую человеческую силу, всего опаснее горячее увлечение самой формой, всего вреднее – выставить перед собой эту форму и вообразить ее делом осуществившимся. Разве старая наша форма суда при всех своих несовершенствах была вовсе лишена основных начал

судебного дела? Разве многие из новых начал не служат только обновлением и лучшим изъяснением старых, лежащих в основе старого суда, но забытых или никогда не приходивших в сознание на практике, хотя в сознании старого закона они присутствовали? Разве и теперь безобразие многих судебных действий не обличается перед лицом некоторых начал действующего закона, когда здравая мысль сумеет распознать их? И все-таки в массе судебных деятелей и судебного производства начала эти остаются без сознания, без жизни, без исполнения, и все-таки равнодушие и лень, и невежество гораздо еще сильнее, чем своекорыстие и умысел, успели оплести эти начала частою сетью приказного обычая, под которым и распознать их бывает трудно. Кто поручится, что с нашими новыми драгоценными приобретениями не случится то же, если мы не позаботимся сразу дать им всю жизненную реальность в лице первых деятелей так, чтобы последующие за ними не могли уже сбиться с толку?

Еще недавно с грустным чувством сравнивали мы отправление своего суда с отправлением суда у соседних народов и там чуяли присутствие крепкой действительной силы, которой у себя не примечали, видели там установившийся твердый порядок, которого у себя не находили. Изучив этот порядок, последовательно развившийся в систематической форме, более или менее стройной, более или менее совершенной, мы задумали, и задумали благоразумно, ввести у себя систематический строй, подобный тому строю, на деле испытанному. Но можно ли нам забыть о том, что не эта форма, не этот внешний строй придает у соседних народов силу и обеспечивает порядок судебному отправлению? Сила в том, что есть там неистощимый запас реального знания, опыта и предания, передаваемый в течение нескольких столетий от поколения к поколению; есть вековая история и практика судебная, в которой последовательно воспитываются и входят в силу один за другим целые ряды готовых деятелей; есть живой авторитет науки и практики, под сенью которого возрастают будущие авторитеты; есть вековые корпорации, разделившие между собою экономически труд судебного

отправления и служащие специально для техники каждого отдельного рода; есть (и это ли не главное) основные начала суда, столь ясно утвердившиеся в сознании деятелей и в общем мнении, что перед этими началами, распознав их, всякий принужден остановиться, ибо перескочить через них нельзя, отрицать их или обойти невозможно, а дальше идти некуда.

Многого нет у нас, что есть у соседних народов, но со многими недостатками можно еще помириться, лишь бы удалось нам утвердить у себя основные начала суда, лишь бы те капитальные приобретения, которые мы перечислили вчера, из возможности перешли у нас в действительность и стали у нас крепкими столбами; на этих столбах установилась бы прочная основа правосудия, и рано или поздно воздвиглась бы сила, утвердился бы порядок.

Мы указали вчера на эти новые начала, которые считаем основными, существенными приобретениями нового судебного порядка. Но как ни просты, по-видимому, эти начала, нет возможности предположить, что и они сами собою скажутся с первого раза в новых судах и новых судебных деятелях. Придется еще провести эти новые начала сквозь темную тучу утвердившегося обычая, который окажется тем упорнее и неподатливее, что образовался бессознательно, механическим накоплением, переходя от одного поколения к другому. Можно заранее предугадать, что эта громадная сила инерции и привычки обнаружится бессознательно в самих деятелях судебной реформы, ибо они сами, прежде всего, — сыны своего века, своей земли, своей истории. Сколько раз уже эта громадная сила вступала у нас в борьбу с новыми началами деятельности и одолевала в борьбе, потому что на стороне ее были природная лень и равнодушие — свойства, как известно, умеющие ужиться с самым восторженным сочувствием, с самым горячим стремлением к новому делу и в нем притаиться; на стороне ее были, и это главное, неопытность, неведение, недостаток сил, слабость реального сознания о предмете и способах деятельности! Легко было бы дело, когда бы надлежало только наблюдать и приказывать; но в

трудном и сложном деле суда вся деятельность совершается посредством судебной техники, и эту-то технику, совершенно новую для нас, надлежит так устроить и направить, чтобы ее пружины и колеса все вместе действовали, не сбиваясь с указанного места и не уклоняясь от основных начал, на которых держится весь механизм.

Часто приходится слышать фразу, что само дело может создать для себя нужные силы, может поднять до себя людей. Полезно отдать себе отчет в смысле этой фразы. Да, дело поднимает людей, но только тогда, когда совершается само дело, а не подобие его. Живое дело сказывается только в живых людях. Живые личные силы притягивают к себе и воспитывают около себя другие личные силы; завязываются узлы или средоточия сил, а затем выступают целые ряды деятелей, возникает предание, создается школа. Тогда дело поднимает людей. Если же мы обратимся к началу зарождающейся деятельности, то вернее будет, обернув фразу, сказать, что люди поднимают дело.

Попробуем представить себе, например, учреждение словесного суда отдельно от экономии сил, посредством которых оно должно двинуться, и мы убедимся, что это дело у нас само себя поднять никак не в состоянии. Как бы решительно ни была высказана, как бы старательно ни была обставлена в новом уставе идея и форма словесного суда, в настоящую минуту никто не может представить себе, во что она обратится на деле. И если бы спросили: кто знает, не будет ли наш словесный суд только новым видоизменением старого суда, письменного? – это будет в настоящую минуту не вопрос праздного скептицизма, а серьезный вопрос испытующей мысли, обходить который ни в каком случае не следует. Но мы предоставляем себе поговорить об этом подробнее завтра.

Московские ведомости. – 1865. – 15 апреля. – № 80. – С. 1.
Москва. 15 апреля

Словесное делопроизводство – вот главная характеристическая черта новопроектированной формы суда, ее существен-

нейшее достоинство, обещающее обеспечить нам суд, чинимый судьями, а не канцеляриями и, следовательно, освободить суд от его теперешнего приказного характера. Мы должны дожить судом словесным. Будем ли мы довольны, если столь желаемый, столь нетерпеливо ожидаемый нами словесный суд на деле окажется таким же письменным судом, как теперешний, вызывающий столько горьких жалоб? К сожалению, это дело весьма возможное.

Решительно нет основания думать, что наше многописание само собою прекратится только потому, что будет введена новая форма. Всякая форма примет тот вид, какой захотят и сумеют придать ей исполнители, а наша форма, как увидим сейчас, очень податлива и с письменностью может ужиться весьма удобно.

Нет суда, с которым не соединялось бы канцелярское дело. В нашем новом уставе очень многое заимствовано из французского судопроизводства, считающегося бесспорно за судопроизводство преимущественно словесное. Но именно во Франции на судебное многописание очень сильно жалуются: многописание производится только, помимо судебного места, в канцеляриях у стряпчих. У нас, по новому уставу, вся письменная часть производства должна совершаться под наблюдением и при непосредственном участии самого суда и его канцелярии: здесь зерно возможного развития письменности в наших новых судах, и притом письменности машинальной.

Мы должны взглянуть на дело без увлечения. Наша новая форма предоставляет судьям полную возможность ввести и поддержать суд словесный, но только возможность, не более. Наряду с этою законною возможностью есть другая возможность – положиться на бумагу и утвердить на письменной части производства всю силу судебного рассмотрения. По какой дороге пойдет судебное дело, как настроится основной тон его, это будет зависеть не только от желания, но и от умения тех людей, кому выпадет на долю почин новой деятельности.

Мы видим, что новый устав принял французскую систему разделения формы производства на общую и сокращенную. Не

будем говорить здесь о том, какие могут быть удобства или неудобства такого раздвоения формы, заметим только, что от усмотрения суда зависит свести всякое дело с сокращенной формы на общую. Но общую форму суда невозможно признать чисто словесной формой; конечно, не без особой цели законодательство наше признало невозможным при существующих условиях требовать словесного суда во всех делах во что бы то ни стало. Существенною принадлежностью общей формы служит письменное производство: закон называет его предварительным и приговорительным и указывает вслед за ним словесное состязание тяжущихся. Но в этом обмене письменных объяснений, совершающемся под наблюдением суда и при его участии, нетрудно распознать основной тип нынешнего бумажного состязания. Нужна сильная рука, нужна большая твердость и ловкость для того, чтобы при этом типе развить и прочно утвердить на практике форму суда словесного, чтобы не поддаваться тому тяготению к письменности, которому инстинктивно следует всякая канцелярская практика не только в лице судей, но и в лице самих тяжущихся. Напротив того, представим себе судебных деятелей слабосильных, малоопытных, не привыкших поддерживать в себе всегдашнее серьезное отношение к делу, а такие деятели, без сомнения, будут в большинстве на первое время, представим их лицом к лицу с такою податливою формою. Нетрудно себе вообразить, что последует: последует под видом словесного суда полнейшее повторение нынешнего приказного производства. И судьи, и тяжущиеся, и стряпчие их мало-помалу утвердятся в той мысли, что вся суть дела заключается в бумагах, на суд подаваемых. Доклад, производимый членом суда, может принять знакомую форму записки из дела. Словесные состязания, когда окажется, что они никому не нужны, совершенно уподобятся нынешнему присутствованию тяжущихся при докладе, а тогда и дела сокращенного производства незаметно повернутся на удобную для слабости человеческой дорогу, указываемую общей формой. Немало уже видели мы у себя примеров тому, как суд, по намерению закона словесный, превращается в руках испол-

нителей в письменное производство. В уставе коммерческих судов начало словесного суда выражено еще решительнее, нежели в новом уставе судопроизводства; однако что мы видим на деле? Есть коммерческие суды, в которых действительно суд производится словесный. Это значит, что здесь с самого начала опытная рука дала направление судебной практике и утвердила в ней правильный обычай. Зато есть и такие коммерческие суды, в которых хотя суд и называется словесным, но на самом деле такового нет, а развилось письменное производство, и к нему все подладилось – как работа канцелярии, так и деятельность стряпчих; причина та, что не было человека, который в самом начале умел бы понять сущность новых начал в формах нового судебного механизма и, поняв, утвердить в новом деле новый обычай и новую практику.

Вот почему нашим судебным деятелям при самом начале действия новых уставов много надобно будет иметь не только желания, но умения, ловкости и технических сведений, чтобы провести в практику самое существенное начало уставов – начало словесного суда. Ошибутся многие, кто, не испытав еще этой деятельности, считают себя готовыми к ней и весело думают, что новое начало поднимет их. Нет, им предстоит поднять в суде новое начало, уразуметь его, поддержать его твердо и, главное, приучить людей неопытных к делу весьма трудному, к тонкой и сложной судебной технике. Как не согласиться, что для этого требуется немалая сила?

Итак, форма нашего состязательного производства сама по себе несколько еще не дает нам уверенности в том, что оно будет словесное. Но вот еще: в самом конце производства после решения открывается широкая дверь, в которую может малопомалу проникнуть самая пространная письменность и все заполнить снова. Когда состоялось и объявлено решение суда, начинается новая работа: надобно изложить его на письме во всей полноте не только юридической, но и фактической. Надобно составить для выдачи тяжущимся акт судебного решения с прописанием всех обстоятельств дела, ибо для определения законной силы решения повсюду признается необходимым

разуметь его в связи со всеми обстоятельствами дела, выяснившимися во время состязательного судопроизводства. Оттого составление судебного решения или протокола повсюду сопряжено с большою письменностью. Эта письменная работа ложится всею тяжестью либо на канцелярию, либо на самих тяжущихся. Известно, что, например, во Франции стряпчие для этой цели подают на суд свои записки с изложением всех обстоятельств дела, доводов, опровержений, доказательств, представленных во время процесса, и приговор составляется по соглашению стряпчих двух сторон, лишь слегка поверяемому председателем суда; таким образом, помимо суда и судебной канцелярии совершается эта письменная работа, достигающая нередко огромных размеров. Известно, что во Франции эта система, выгодная для стряпчих, дает повод ко многим злоупотреблениям. Наши судебные уставы отвергли ее, да и трудно было бы ее принять, потому что сословия стряпчих мы покуда не имеем. У нас эта работа возложена на канцелярии, под надзором судей. Фактическое изложение у нас было всегда камнем преткновения для делопроизводителей и главным узлом, в котором завязывалась письменность и от которого вместе с тем зависела медленность производства. Для того чтобы изложить фактическое содержание дела без повторений, без путаницы, во всей полноте и сжатости слова, требуется и верность анализа, и умение владеть речью – качества, приобретаемые серьезным учением, которое редко достается на долю наших молодых людей при существующей у нас учебной системе. Вот почему, хотя многие из них не затрудняются рассуждать о том или другом деле и разрешать самые отвлеченные вопросы, весьма немногие умеют без крайнего затруднения изложить на письме, в кратком, полном и последовательном очерке обстоятельства дела, имеющего некоторую сложность, изложить так, чтобы в этом очерке обе стороны признали содержание своего дела исчерпанным. Между тем от неполноты или пропусков в таком изложении нередко зависит соблюдение или потеря прав, принадлежащих тяжущимся или за ними признанных, и потому наши делопроизводители, чувствуя себя слабосиль-

ными для этого дела или избегая умственного, иногда очень тяжелого труда, с ним соединенного, предпочитали, по большей части, механическую работу работе умственной и краткое изложение заменяли механической перепиской бумаг из подлинного дела, зная, что хотя при этом много будет лишнего, но уже пропусков не будет. Тяжущиеся тоже при существующих условиях находили в этом и для себя более обеспечения, и таким образом являлась в делопроизводстве пространная записка, входившая затем в состав приговора. Это обычай безобразный; но практикам, которые заправляли канцелярским делом, известно, каких трудов стоит поднимать борьбу с этим обычаем, укреплять слабосильных и оживлять равнодушных работников и сколько раз многим приходилось после бесплодных усилий предпочитать надежную плодovitость пространного многописания ненадежной краткости аналитического изложения и успокаиваться на стороне обычая. Вся эта борьба, вся эта трудная работа еще в большей степени предстоит новым деятелям. Победа, без сомнения, останется за сильными и счастливыми, но вот вопрос: много ли сразу найдется и тех и других, и те, которые найдутся, много ли они сделают, если при повсеместном и единовременном введении новых судебных уставов будут разбросаны по пространству всей России?

Московские ведомости. – 1865. – 16 апреля. – № 81. – С. 1, 2.
Москва. 16 апреля

Новый суд тем дорог нам, что обещает утвердить и осуществить в нашей публичной жизни понятие о законе, которому негде было приютиться среди всюду господствовавшего, благонамеренного и неблагонамеренного, произвола. Но чтобы суд был верным хранителем и истолкователем закона, для этого сам закон о суде должен стать посреди нас истиной. Довольно уже было у нас построено великолепных зданий, оставшихся необитаемыми; довольно было освящено мест, на которых водворилось запустение. Ныне готовится новое место свято в наших учреждениях – не следует ли всячески озаботить-

ся, чтобы и оно не запустело? Велика ли была бы радость увидеть тотчас же повсюду в действии полный механизм нового судебного устройства, когда в большей части местностей это действие было бы только призрачное?

Представим себе, что новые учреждения открыты одновременно повсюду приказанием распорядительной власти. Не подлежит сомнению, что на каждое место явится довольно претендентов и что все места будут заняты. Все клеточки сети, начертанной в общем плане для всех областей, губерний и уездов, будут наполнены; но чтобы в этих клеточках одним творческим словом пробудилась такая жизнь, какой все желают, этого нельзя себе представить иначе как при помощи воображения, совершенно отрешенного от реальных условий места и времени.

Кто будут наши первые судебные деятели? Рассчитывают, что ныне всех лиц, служащих по судебному ведомству в высших, средних и низших местах, наберется до 4000; рассчитывают, что в русских университетах по юридическому факультету окончило курс около 3600 человек с 1840 года, а в училище Правоведения²⁷ с учреждения его – 640 человек, и заключают из этого, что людей будет достаточно и даже с избытком. Но что значит эта цифра? Кто рассчитает нам по этой цифре, сколько в общей ее сложности людей, вошедших в силу, которые могут сразу стать настолько авторитетом в своем круге, чтобы успешно пустить в ход новое дело? Кому неизвестно, что дельные люди составляют довольно редкое явление в массе юношества, выходящей из наших школ? Кто не знает, что и при теперешнем порядке делопроизводства в наших судах правосудие страдает от исполнителей столько же, если не больше, сколько от формы суда? Итак, можно, кажется, со всей достоверностью заключить, что число людей, годных для такого трудного дела, как введение в действие совершенно нового судебного механизма, окажется весьма ограниченное. Оно должно оказаться ограниченным не потому, чтобы способных людей вообще было у нас мало, даже и не потому, чтобы мало было желаний и усердия, но по той весьма простой, так сказать,

экономической причине, что большей части людей, имеющих в виду, не на чем было воспитать себя, не на чем было испытать, развить и утвердить свою силу. Верно то, что без школы силы не могут подняться и прийти в сознание, а школа держится авторитетом, преданием, упражнением, обычаем. Где у нас были школы? Где наши авторитеты? Их надобно еще создать, и тогда около них массаи поднимутся живые силы.

Но предположим невероятное: предположим, что уже теперь есть все то число способных и опытных людей, какое требуется для замещения новых судебных должностей и должностей, примыкающих к судебным. Положим, что две или три тысячи людей стоят уже во всеоружии судебного знания и судебной опытности, ожидая открытия новых судов. Где средства распознать этих людей в общей толпе искателей? Кто возьмет на себя тяжкое право раздачи нескольких тысяч мест разом? Кто может так воспользоваться этим правом, чтобы не подпасть потом под обвинение в самонадеянности? А это обвинение будет тем серьезнее, чем труднее будет исправить ошибки первоначального назначения.

Чем пристальнее всматриваемся в наличные, существующие условия этого дела, тем более убеждаемся, что одновременное введение в действие повсюду полной системы новых судебных учреждений послужило бы не к утверждению, не к обеспечению и разъяснению новых основных начал суда, а, напротив, было бы, может быть, непреодолимым препятствием к достижению этой главнейшей цели и вместо ясного сознания внесло бы в судебную практику смешение понятий. Не лучше ли, не вернее ли будет, прежде всего, собрав к некоторым местностям все силы лучших и надежнейших деятелей, открыть сначала только в этих местностях при совокупности благоприятных условий полное действие новых учреждений? Таким только образом с первого раза может открыться живой образец новой деятельности, могут проявиться новые начала суда во всей своей реальности, могут разъясниться и внутреннее значение, и внешняя практика новых форм производства, могут образоваться живая школа и надежный рассадник новых

деятелей. Будет на что смотреть, будет к чему примениться, в чем почерпать руководство и набирать силу для новой деятельности, и одним уже этим обеспечится успех новых учреждений в тех местностях, где они постепенно и последовательно могут быть затем открываемы в полном действии.

Только в группе людей, занимающихся вместе общим делом, может совершиться то взаимное притяжение сил и собирание их к общему центру, которое дает возможность положить прочную основу для общей деятельности: узнать людей на самом деле, привлечь их к делу, связать их с делом прочною связью, удержать их в деле и обеспечить на будущее время запас свежих сил, образование новых деятелей. Но эти группы составляются не вдруг и не случайно, их нельзя создать по произволу и распределить на одном плане в задуманном количестве. Счастливыми должны мы почесть себя, когда бы удалось нам на первый раз для такого важного и обширного дела, каково образование нового суда во всей Империи, собрать хотя бы две-три такие группы, тогда можно было бы надеяться, что они, сосредоточив в себе потребный запас сил, выделят из среды своей элементы для образования других групп и в себе предоставят живой образец для распространения той же деятельности.

Кто не пожелал бы в самом скором времени, в назначенный заранее день увидеть осуществление плана, начертанного законодательством для нового судоустройства и судопроизводства, увидеть учреждения, нетерпеливо всеми ожидаемые, в полном действии повсюду? К сожалению, трудно этому желанию исполниться с соблюдением всех условий, какие нужны для того, чтобы дело нового правосудия прочно утвердилось на старой почве. Одно из главных к тому затруднений состоит еще в том, что при такой всеобщей и одновременной замене старого новым не только должны вдруг повсюду измениться сверху донизу формы, обряды и принадлежности судебных отправлений, но и все устройство органов судебной власти должно подвергнуться всеобщей ломке, и все распределение различных ее отправлений между местами и лицами должно

устроиться в новых, небывалых отношениях и сочетаниях; наконец, территориальные пределы ведомства властей должны получить новые очертания и новое значение. Некоторые думают, что нетрудно было бы на первый раз учредить повсюду по одному только окружному суду на целую губернию, притянув таким образом к одному пункту деятельность всех судов первой степени из каждого уезда и обеспечив между тем юстицию в уездах мировыми учреждениями, во всей полноте их судебного ведомства. Но не забывают ли при этом, сколько пустых мест окажется вдруг в уездах с одновременным упразднением старых учреждений, таких пустых мест, которых не наполнит сразу ни деятельность губернского окружного суда, ни деятельность мировых судей? Припомним, что до сих пор около суда группируется у нас в уезде множество дел так называемого судебного управления, имеющих свои предания и свою практику. Эти дела касаются таких частей законодательства, которые судебная реформа оставила нетронутыми, и требуют соображения с местными условиями: таковы, например, дела опекунские, совершение крепостных актов, вводы во владение и т[ому] п[одобное]. Нельзя успокоить себя мыслью, что эти дела как-нибудь, куда-нибудь можно будет приурочить; это значило бы прикрыть затруднения, не разрешая их. На все дела этого рода неблагоприятно было бы смотреть, как на старый хлам, который можно сложить где-нибудь в ожидании нового для них устройства; для них остаются еще старые законы, не отмененные, ими ограждаются интересы частного права, имеющие одинаковую важность с интересами правосудия. В этих делах необходимо еще разобраться, и, только смотря по условиям каждой местности, можно будет приурочить их так, чтобы они могли производиться в порядке. Общая же мера, сразу повсюду без различия принятая, может произвести в делах этого рода такую путаницу, которая собьет с толку и ход самого правосудия; нетрудно себе представить, например, к каким важным последствиям может повести нарушение строгого порядка в совершении крепостных актов, которое в нашей системе гражданских законов имеет до сих пор важное

значение и обставлено множеством обрядов и предосторожностей для охранения частного права. Притянуть все эти дела к окружному суду в губернский город, приурочить их к местным сословным управлениям, возложить их на мировых судей, отнести их к ведомству, неизвестно когда и как имеющему возникнуть, сословию нотариусов – все это предположения, которые допустить невозможно по одному гадательному соображению, которые для осуществления своего требуют расчета и соображения осмотрительного, в связи с практикой и с условиями каждой местности.

Мы не видим возможности согласиться и с мыслью о всеместном введении в действие новых мировых судов (то есть в полном объеме, как они проектированы в уставах) отдельно от остальных частей общего судоустройства. Новые мировые учреждения состоят в такой неразрывной связи с общею системой нового судебного порядка, что отделить их от нее и поставить наряду со старою подсудностью и с судами старого порядка – дело решительно невысказанное. Невозможно представить себе совместно действующими суды первой степени старого порядка в прежней их подсудности и мировые суды во всем круге власти и ведомства, предоставленных этим судам по новому уставу.

Но спрашивается: если нет возможности ввести одновременно повсюду ни цельную систему нового судоустройства и судопроизводства, ни даже мировые суды в их полном составе с удержанием в прежней форме старых учреждений, то можно ли удовольствоваться введением в действие полной системы в небольшой части России, а всю остальную страну оставить без всяких улучшений по части правосудия? Отвечаем решительно: нет, этого нельзя сделать, об этом невозможно и думать, тем невозможнее, что именно теперь, среди совершающихся реформ по другим частям, существующая у нас, особенно по мелким делам, бессудность становится невыносимою. Как же выйти из затруднения? Мы убеждены, что выйти из затруднения очень можно, но что для этого потребны серьезные усилия, имеющие в виду сущность дела.

Мы не замедлим представить на суд публики наши мысли по этому делу, а теперь пока повторим еще раз нашу главную мысль. Не учреждения сами по себе, не тот механизм, который проектирован для них в судебных уставах, составляют желанную цель преобразования; учреждения эти в новой своей организации суть только средство для достижения цели, а целью служит утверждение в судебной практике основных начал правого и разумного суда. Этих основных начал следует крепко держаться и их считать главным приобретением судебной реформы. Если нельзя ввести повсюду полную систему новых судов, то некоторые из основных начал нового суда можно ввести немедленно во всей Империи.

Московские ведомости. – 1865. – 17 апреля. – № 82. – С. 1, 2.
Москва. 27 апреля

По поводу приведения в действие судебных преобразований иные указывают на пример крестьянской реформы, введенной повсюду одновременно, и говорят, что лучшего примера нам не надобно. Но пример крестьянской реформы не идет к делу судебного преобразования, и между крестьянскими учреждениями и новыми учреждениями судебными нет той аналогии, которая может представляться на первый взгляд. Крестьянское дело было совсем иного свойства. Прежде всего, нельзя не заметить, что повсеместное приведение в действие положения о крестьянах немедленно по обнародовании представлялось необходимою до того очевидною, что противное было даже немислимо. Как скоро произнесено было для всей России слово власти об отмене крепостного права, силой этого слова тотчас же разрушился весь существовавший до того порядок управления в целой массе крепостного населения и старые органы власти фактически и юридически лишились возможности действовать; необходимо было ради охранения порядка немедленно заменить эти разрушенные власти новыми властями и водворить новый порядок на развалинах старого, разрушенного уже одним словом о свободе помещичьих кре-

стьян. В этом отношении не может быть никакого сравнения между той и другой реформой. Там изменялось в существе состояние людей, вырывалась с корнем вся система вековых прав и обязанностей государственных и гражданских и на ее место ставилась новая. Судебные же учреждения, вводимые новым законом, водворяются не на пустом месте; суд существовал у нас в той или другой форме, и старые судебные учреждения, продолжающие ныне действовать, не уничтожились сами собою в силу одного указа о судебной реформе.

Приведение в действие крестьянского положения имело в виду специальную задачу: перевести людей из одного состояния в другое, чтобы при этом произошло наименее потрясений, и переход совершился в последовательном порядке. Эта задача, в сущности простая, затруднялась вовсе не технической обстановкой формы и обрядов, а тем, что соединена была с ликвидацией вековых отношений одного сословия к другому и с колоссальным перемещением интересов и прав по имуществу, долженствовавших вступить в состязание, исход которого, наперед определенный, оставил, правда, глубокие следы, но не в архивах делопроизводства, а в народной жизни, нравственной и экономической. Громадность интересов, над которыми был произнесен суд, делала задачу исполнения приговора в высшей степени затруднительною, но вовсе не в том отношении и не в том смысле, в каком ныне представляется затруднительным приведение в действие судебных учреждений: в технической своей части крестьянское дело не представляло и сотой доли тех затруднений, с какими должна считаться судебная реформа. Впрочем, и в крестьянском деле трудности оказались бы непреодолимыми и были бы не под силу никакому правительству в мире, если бы надлежало тогда для приведения в действие крестьянской реформы употреблять такие способы, какие ныне неизбежны в деле реформы судебной. Страшно и подумать, что могло бы случиться, если бы принята была система вводить крестьянскую реформу с помощью чиновников, рассылаемых из центральных пунктов государственного управления, посредством новой бюрократической сети, нало-

женной на целую Россию. Правительство избрало другую систему, которая одна только могла оказаться и действительно оказалась надежной. Для организации местного управления и для непосредственного руководства крестьянским делом послужили лица, взятые непосредственно из той же среды, в которой производилась реформа. И каждая местность поставила для себя своих деятелей в свои мировые учреждения.

Когда бы возможно было такими же средствами воспользоваться и для судебной реформы, когда бы возможно было и для нее найти в каждой местности деятелей, готовых сразу приняться за дело, повсеместное введение в действие полной системы судебных учреждений могло бы совершиться на тех же основаниях, какие были приняты при введении крестьянских учреждений. Но таких средств для судебной реформы недостаточно, и задача ее в техническом отношении несравненно сложнее. В крестьянском деле, по его свойству, требовалось на первый раз, чтобы двинуть его, сказать властное слово закона и наметить явственные черты нового направления; затем можно было надеяться, что дело двинется само собою, и задача законодательной политики заключалась преимущественно в охранении поставленных ею учреждений. Сами эти учреждения, как мы уже заметили, с внешней стороны могли тотчас же и весьма удобно приладиться ко всем остальным государственным учреждениям, не нарушая общей их системы. Трудность дела, предпринятого законодательством, заключалась не в том, чтобы пустить в ход крестьянскую реформу, а в том, чтобы надлежащим образом рассчитаться с общими ее последствиями. Как только подвинулось вперед специальное дело крестьянской реформы, тотчас же оказалось невозможным удерживать прежний порядок в большей части отправлений государственной жизни и тотчас же выступили на первый план всеобъемлющие задачи, простирающиеся на весь государственный механизм и уже по тому самому гораздо труднее приводимые в исполнение.

К этим задачам принадлежит и судебная реформа. Ее цель — не перемещение прав, а ограждение прав существую-

щих, но недостаточно огражденных. Средства ее заключаются в улучшении способов судопроизводства, обнимающих всю техническую часть его. Поэтому для новых судебных учреждений начертана в законе полная и цельная система со множеством технических обрядностей. Мы уже указывали на необходимость отличать общие начала суда, признанные в новых судебных уставах, от проектированной в них судебной техники. Но если иметь в виду техническую сторону, то нельзя не признать, что все ее подробности состоят в самой тесной взаимной связи между собой, и что каждая из них предполагает совокупную деятельность всех отдельных частей искусственно устроенного механизма. Вводить их можно не иначе как все разом; по частям вводить их нельзя, и в этом заключается еще одно существенное различие между судебной и крестьянской реформами. В крестьянском деле можно было, определив существенную задачу новых учреждений, разделив ее на несколько последовательных операций и начав с первой, самой простой, указать затем места и сроки для перехода от одной операции к другой, покуда совершится весь ряд действий, предназначенных для временного учреждения. При осуществлении новых судебных уставов невозможно так действовать. Все то, что относится к их технической части, может быть введено не иначе как разом. Для правильного суждения о трудностях этой задачи надобно иметь постоянно в виду цельность механизма, проектированного для новых судей, не позволяющую ожидать, чтобы он действовал успешно, если из него будет выделено то или другое из его колес. Вводя механизм, нельзя без вредных для дела последствий забыть, например, такое колесо, как несменяемость судей, а если не забывать этого колеса, то может ли быть хотя бы отдаленная мысль о введении новых судебных уставов в полное действие иначе как в небольшой местности?

Одновременное приведение в действие крестьянских учреждений немного требовало от законодателя. При тех условиях дела, о которых мы упомянули, законодателю предстояло установить несколько общих правил для организации крестьянских и мирowych учреждений во всей России, и можно

было затем надеяться, что эта общая, но широкая формула сама собою приладится к особенным условиям каждой местности. Напротив того, если бы потребовалось судебные учреждения вводить повсюду в одно время, в одни и те же сроки, в одинаковой полноте, то применение одних и тех же правил и сроков ко всем разнообразным условиям каждой местности встретило бы непреодолимые затруднения, которые угрожали бы вместо разъяснения запутать еще более такое дело, в котором без определительности, ясности и порядка ничего устроить невозможно. В одно и то же время надо было бы совершать двойное дело: и кончать все расчеты со старым порядком, и вводить порядок новый. Между тем ликвидация старых учреждений и старых дел, еще не конченных, – дело весьма сложное и трудное, а главное, такое дело, которое невозможно повсюду совершить в одной и той же форме и в одни и те же сроки. Старые дела имеют точно такое же право на правый и правильный суд, как и дела новые; в окончании их надобно соблюсти все законные интересы; ни одного дела нельзя разрубить, всякое надобно разрешить и привести к концу, но в этом отношении каждая местность у нас более чем где-либо состоит в особенных условиях, имеет свою экономию, которую необходимо принять в соображение; разнообразие этих условий невозможно вместить в общее, одинаковое для всех местностей правило; есть местности, в которых дел почти вовсе нет и затруднений не представляется; есть немало других местностей, в которых накопившаяся масса нерешенных дел и запутанных отношений требует, по-видимому, нового Геркулеса²⁸, чтобы все разобрать и очистить. Эта разборка и очистка могут [быть] произведены только хозяйственным способом, и не законодательным правилом о сроках перехода из одного состояния в другое. Необходимо изучить особенности и силы каждой местности, чтобы рассудить, какими мерами и в какие сроки где надобно действовать. Общее соображение о том, что повсюду всякие дела могут в такой-то срок доведены до такого-то термина и в такой-то срок должны быть кончены, решительно невозможно. Правило, общее для всей России, основанное на таком сооб-

ражении, было бы неисполнимо в действительности. Поэтому если бы изучение особых условий каждой местности не было положено в основание при решении вопроса, когда может в ней открыться полное действие новых учреждений, и все расчеты со старыми могут быть закончены, то пришлось бы во многих местах содержать двойной суд, оставляя для старых дел старые учреждения и открывая новые – для новых, дело решительно несообразное с государственной экономией и в людях, и в финансовых средствах.

Московские ведомости. – 1965. – 28 апреля. – № 90. – С. 1, 2.
Москва. 29 апреля

Вопрос о приведении в действие новых судебных уставов естественно распадается на следующие вопросы.

Можно ли ввести новые судебные уставы одновременно во всей Империи или, по крайней мере, в значительной части ее губерний, и если нельзя, то какие улучшения и сокращения судопроизводства могут быть повсюду введены безотлагательно для удовлетворения вопиющей повсеместной потребности в суде, более правом и более скором, нежели теперешний?

Если нет возможности ввести новые уставы повсюду в полное действие, то в каких местностях новое судопроизводство может быть введено безотлагательно в полной своей системе?

Затем, какие меры следует принять для приготовления остальных местностей к введению новых уставов, а именно:

а) для скорейшего и удобнейшего окончания старых дел и для перевода их в полный порядок;

б) для привлечения на новые должности способных людей и для правильного распределения их по роду деятельности.

По первому из этих вопросов мы уже высказывались*.

Сегодня предполагаем рассмотреть второй, оставляя третий до одного из ближайших номеров нашей газеты.

Мы несколько раз говорили о важном различии между основными началами суда, признанными и установленными в

* См. передовые статьи в № 9, 79, 80, 81, 82, 86, 87 и 90.

новых судебных уставах, и между технической стороной этих уставов. Первые составляют главное приобретение судебной реформы – то приобретение, которым следует особенно дорожить и которым надобно безотлагательно воспользоваться, насколько это возможно при теперешнем судоустройстве, без повсеместной его ломки, хотя и не без некоторых, теперь же удобоисполнимых, существенных изменений судопроизводства и отчасти – судоустройства.

Техническая сторона новых уставов не может быть поставлена наряду и наравне с этими коренными началами суда, провозглашение которых есть драгоценнейший дар судебной реформы. Но и технической стороне новых уставов нельзя не придавать высокого значения: она выработана тщательно; ее подробности обстоятельно обдуманы и приведены в стройное согласие; наконец, многие из основных начал, провозглашенных реформой, не могут быть введены вполне, а некоторые и вовсе не могут быть введены в действие без той технической обстановки, которую они получили в новых уставах. В этой технической обстановке весьма многое заимствовано из иностранных законодательств и составляет для наших судов, по крайней мере в настоящее время, совершенную новость. Кое-что из этого весьма многого придется, по всему вероятно, изменить или дополнить, пользуясь указаниями опыта, и эта вероятность тем очевиднее, что, применяясь к местным потребностям и средствам, новые уставы ввели несколько важных подробностей, еще нигде не испытанных – ни у нас, ни за границей. Неизбежность исправлений и дополнений есть, между прочим, одно из оснований, побуждающих желать, чтобы новые уставы не были вводимы одновременно во всей России: лучше ввести их повсюду уже после того, как они будут надлежащим образом прилажены к нашим условиям. Но именно потому-то и надобно желать, чтобы в некоторых местностях, рационально для того избранных, новые уставы были введены во всей полноте их основных начал и технического механизма, и притом введены так, чтобы характер, приданный ими новым судебным учреждениям, не был ис-

кажен недостатками исполнения и чтобы новым уставам не были приписаны те неудобства, которые могут произойти не от их неудовлетворительности, а от неопытности или несамостоятельности исполнителей. В последнем случае публика не воздала бы новым уставам той чести, на которую они имеют право, а законодательство могло бы прийти к неверным заключениям о необходимости исправлений там, где исправления, в сущности, не были бы необходимы. Не надобно упускать из виду, что новые судебные учреждения, нетерпеливо ожидаемые большинством публики, неминуемо встретят с разных сторон сильную оппозицию. Им предстоит бороться со всеми старыми привычками, преданиями и формами не только управления, но и самого быта. Эта борьба потребует большой ловкости в практических приемах; мало будет для этого энергии и решимости, свойственной молодому борцу, потребуются в особенности сила знания, уверенности и самообладания. Невозможно положиться на то, что в законе проведена пограничная черта между отправлениями судебной и административной власти. Мы видим повсюду, что только продолжительный опыт дает возможность уловить так часто колеблющиеся очертания границы, проводимой законом между этими двумя сопредельными государственными властями. У нас на первый раз судебная власть будет в большом затруднении по этому предмету. Многие из вчерашних участников общего дела, из вчерашних распорядителей и даже начальников сегодня станут в положение ревнивых соперников суда и на первый раз охотнее будут ему противодействовать, нежели содействовать; во всяком случае, зорко будут следить за его увлечениями и ошибками, чтобы, где можно, на счет его высидеться и усилиться или выставить его несостоятельность в таком деле, которое еще вчера состояло в руках или под надзором властей административных. В таком положении, которое неизбежно, представителям судебной власти необходимо будет внимательно наблюдать за собою и все свои действия приводить в законную меру, дабы закон, на котором судебная власть утверждается, оправдываясь в ее действиях, мог и для

нее служить защитой и оправданием. Если бы закон всегда был ясен и не давал места «обманчивому непостоянству самопроизвольных толкований», еще не было бы больших затруднений; но, повторяем, смысл закона, особенно в политической практике, разъясняется и утверждается только продолжительным опытом, правильным состязанием, а иногда и борьбой. Кому неизвестно, что закон, еще не вполне установившийся, весьма часто оказывается оружием обоюдоострым, служащим на пользу только того, кто умеет владеть им и ловко обращать его в свою защиту? Судебная власть у нас – власть еще юная, не успевшая на самом деле утвердить свой авторитет; многие ей сочувствуют, но не все понимают ее, и многие готовы смотреть на нее ревнивым и подозрительным взглядом. Напротив того, администрация сознала свою силу в такую пору, когда понятие о суде еще не выяснилось у нас; она издавна привыкла наполнять свою деятельность своим усмотрением и распоряжением, те пустые пространства, которых еще не коснулось сознание закона, а таких пустых мест и по введении новых уставов останется у нас немало. Покуда суд будет действовать размеренно на одной, хоть и большой, своей дорожке, не дерзая отступать от определений закона и распоряжаться по усмотрению, у администрации будут в распоряжении тысячи проселочных путей, на которых она может действовать быстро и свободно, распоряжаясь по усмотрению. В таких условиях можно ли надеяться, что при неминуемых столкновениях той и другой власти тотчас же само собою восстановится нарушенное равновесие и права суда сами собою выяснятся? Не следует ли, напротив того, опасаться, что при неутвердившихся еще понятиях о самой сущности судебной власти и об отправлении ее органов всякая ошибка, всякое увлечение со стороны новых и неопытных представителей нового суда поведут к процессу, в котором старые силы найдут себе опору против силы новой и встретят таких защитников и ходатаев, с которыми силе новой, даже во имя закона, смутно сознаваемого в самом обществе, трудно будет считаться? Не следует ли опасаться, что вследствие того сами уставы, еще недоста-

точно заявив себя, могут подвергнуться преобразованию, во все не требующемуся сущностью дела?

Дорожа новыми судебными уставами, высоко ценя их разнообразные достоинства, нельзя не желать, чтобы личный состав новых судов был подобран как можно безукоризненнее; нельзя не желать, чтобы новые суды вступили в действие, снабженные всеми условиями успеха, всеми средствами для правильного и искусного ведения борьбы, их ожидающей, всем тем авторитетом, которым сопровождается деятельность людей, уже успевших снискать себе уважение и признание. Жертвовать этою существенною потребностью новых судов желанию учредить их в возможно большем числе местностей значило бы рисковать всею будущностью нового дела. Имея это в виду, мы, признаемся, не можем представить себе успешного введения новых уставов не говорим уже в двадцати или тридцати губерниях, но даже и в десяти. Все согласятся, что в десяти губерниях нельзя учредить новые суды в таком удовлетворительном виде, в каком можно учредить их, например, в пяти губерниях; зачем же, думается нам, рисковать успехом дела, когда и при риске новые суды были бы учреждены все-таки лишь в незначительной части России? Надобно принять еще в соображение, что для успешного действия новых судов потребуются не только судьи и члены прокурорского надзора с их канцеляриями, но и присяжные поверенные и что тем более около вновь учрежденных судов соберется способных присяжных поверенных, и чем опытнее они будут, тем удовлетворительнее пойдет и само дело суда.

Само по себе очевидно, что столичные города представляют во всех отношениях наиболее удобств для немедленного осуществления судебной реформы во всей ее полноте. Поэтому было бы, по-видимому, всего удобнее образовать для начала две судебные области из столиц с прилежащими к ним губерниями. Но тут возникает следующее соображение: если в обеих столицах будут учреждены новые суды, то не пострадают ли от того те губернии, в которых продолжали бы действовать суды теперешние? Главная потребность настоящей

минуты есть потребность всеобщая: улучшение правосудия. Преимущественное внимание должно быть обращено на удовлетворение этой потребности. Но можно ли ожидать, что она будет во всей силе чувствуема и сознаваема ведомством юстиции, если в обеих столицах и во всех ближайших к столицам, а следовательно, и к центральной судебной администрации губерниях будут введены новые суды? В интересе остальных губерний не следует не желать, чтобы непосредственному и ближайшему наблюдению ведомства юстиции могли подлежать не только те губернии, где будут учреждаться новые суды, но и некоторые из тех, где останутся суды теперешние, но где в эти суды будут вводиться новые начала, долженствующие оживить их деятельность и приготовить их к окончательному преобразованию. При этом важно еще и то, что сравнительно со столичными все другие губернии почти безгласны у нас; если обе столицы будут заняты новым судом, то интересы других губерний не будут иметь средств достаточно заявить себя, и тогда главная часть задачи – повсеместное улучшение правосудия, без чего и дальнейшее распространение новых учреждений было бы крайне затруднительно, – могла бы потерять интерес для администрации, заглохнуть и остаться в числе *ria desideria*²⁹. Польза дела требует, чтобы обе части задачи были выполнены равномерно, чтобы одна отнюдь не вредила другой и не сосредоточивала на себе всего внимания центральной судебной администрации. Учреждение новых судов, ограниченное небольшою местностью, не представит трудностей, и главные усилия ведомства юстиции потребуются на то, что гораздо труднее, – на повсеместное улучшение правосудия. Весьма желательно, чтобы это дело было постоянно на глазах центральной судебной организации.

Вот почему мы думали бы, что общие интересы государства были бы лучше обеспечены, если бы новые суды были учреждены на первый раз не в обеих столицах, а только в одной из них и в ее ближайшем соседстве. Такое ограничение было бы совершенно согласно и с интересами судебной реформы, которая тем более выигрывает, чем меньше придется сразу

учреждать новых судов и чем, следовательно, легче удовлетворительно заместить новые судебные должности. Для этой цели Москва, бесспорно, удобнее, чем Петербург, и как центральная, и как коренная столица Русского государства. Она окружена древними средоточиями русской государственной жизни – Владимиром, Тверью, Рязанью, и эти исторические города уже связаны с нею железными дорогами, что также послужит немаловажным подспорьем для успешного введения новых судебных учреждений.

Московские ведомости. – 1865. – 30 апреля. – № 92. – С. 2.
Москва. 30 апреля

Наши рассуждения о приведении в действие судебной реформы отнюдь не клонятся к отсрочке и замедлению этого великого дела; напротив, во всем, что мы говорим о нем, мы только и имеем в виду, чтобы судебная реформа могла скоро осуществиться – осуществиться не на словах, а на деле, и на первых же порах приобрести надлежащую устойчивость; если отсрочка нужна в этом деле, то не для траты, а для выигрыша времени. Вот в каких именно видах, по нашему мнению, теперь требуется заниматься вопросом не о том, когда мы совершим дело, а о том, как мы приступим к нему. Мы уже немало говорили о двух возможных системах введения в действие судебной реформы. Одна из этих систем состоит в том, чтобы новые суды были введены одновременно во всей России или, по крайней мере, в губерниях, управляемых по общему учреждению, но при этом считается все-таки необходимым соблюдать известную постепенность в порядке перехода от старых судов к новым. Другая система предлагает ввести новые суды в небольшой местности, особенно удобной для этой цели, и тут ввести их уже в совершенной полноте проектированного для них плана, а в остальных частях Империи одновременно с этим принять все возможные меры к упрощению и улучшению судопроизводства, а также к подготовке перехода от старого судопроизводства к новому.

Невелика будет разница во времени между этими двумя системами приведения в действие судебных учреждений, но в высшей степени важно то, что приемы, общие взгляды, предположения, хозяйственные расчеты в той и в другой системе будут неодинаковы. Под влиянием одного взгляда, основываясь на целой системе предположений, заранее составленных *a priori*, можно, сразу распорядив все дело, сразу и погубить его, сразу достигнуть результата, но только обманчивого и призрачного. При других приемах, воздерживаясь от общих предположений, покуда они на деле не выясняются, можно довести дело до конца с верным расчетом. Что же лучше?

В одной системе горячее желание видеть немедленное осуществление полной системы судоустройства и судопроизводства приводит к предположениям, заранее составленным более чем на 30 губерний – почти на всю Европейскую Россию, дело, по меньшей мере, сопряженное с великим риском: приходится предположить, что в каждой местности, при всяческих существующих там и еще неизвестных условиях все дела войдут к известному сроку в известный канал и повернутся в известное направление, все обстоятельства примут известный вид, все понятия и обычаи достигнут известной степени развития и известной, заранее определенной формы.

Другая система, при столь же твердом и горячем желании преобразования, предлагает для него совсем иные приемы. Одно только предположение для нее безусловно верное: что новые начала суда суть начала истинные, которые должны повести к улучшению дела, когда к нему привыются и станут в нем правдой. Но эти начала выражаются в новой технической обстановке. Прежде чем заменить повсюду старую обстановку новою, необходимо сначала на каждом месте осмотреться и произвести в каждой местности ликвидацию старых отношений и дел сообразно хозяйству каждой местности. Главное условие для этого заключается в том, что действовать надобно постепенно и последовательно, не стесняя заранее разнообразных условий каждой местности общими правилами и сроками, не распоряджая заранее на одних и тех же условиях деятельно-

сти людей и учреждений в применении к разнообразной экономике местностей, весьма мало похожих одна на другую.

Но всего опаснее, всего обманчивее сопряженное с первой из этих двух систем предположение о людях, предположение, что «люди найдутся». Где найдутся? Повсюду, отвечает система. Когда? К известному сроку. Кто, какие люди? И на этот вопрос она отвечает с невероятною легкостью: кто-нибудь, только найдутся непременно. А между тем к столь легкому ответу на трудный вопрос жадно прислушиваются самозванные кандидаты, при первом слухе о новых местах потянувшиеся длинными рядами «от севера и моря» с заявлениями своих способностей.

Без сомнения, на первый же раз явится достаточное число желающих занять новые места при увеличенных окладах, явится немалое число таких, к которым можно будет, руководствуясь дипломом или формулярным списком, приложить печать: «способен и достоин». Но в этом-то именно и состоит опасность, угрожающая успеху новых учреждений в случае одновременного введения их в действие по общей рамке и по общему правилу. Когда придется во что бы ни стало к одному сроку открыть повсюду новые учреждения, необходимо будет и наполнить места к сроку во что бы то ни стало, и места по всей России будут наполняться по назначению из центральных пунктов управления, ибо в заботе об открытии всего, повсюду, на срок некогда будет ждать, пока в каждой местности успеют обнаружиться и заявить себя люди, способные для того или другого отправления. Можно ли не опасаться такой поспешности назначений, когда подумаешь о той кочующей орде искателей мест, которая наряду со всеми просителями наполняет нашу северную столицу, непрерывно меняя пестрые ряды свои и высылая в отдаленнейшие уголки Империи деятелей, в короткое время успевающих созреть для всякой деятельности и готовых принять на себя всякое бремя, лишь бы оно было соединено с властью? Всякий из них приносит с собою льстивые речи и запас ходячих фраз в таком роде, какой по вкусу требуется; всякий хочет казаться не тем, что

он есть; всякий, являясь героем какой угодно деятельности, оставляет позади себя на месте своем действительное дело, тогда как только по делу и можно рассудить, что умеет делать человек и на что он способен.

«У нас нет людей»? – «Неправда, у нас есть люди, дайте учреждения. Люди явятся!». Вот две темы, на которые в последнее время стал завязываться у нас горячий спор противоположных мнений, спор, нередко приводящий ту и другую сторону во взаимное раздражение. Между тем нам кажется, что сама тема, с которой начинается и от которой не отходит этот спор, не имеет надлежащей реальности, и потому о ней можно спорить с одинаковою вероятностью доводов, оставляя существенный вопрос все-таки нетронутым и нерешенным.

«У нас есть люди», – не все ли это равно, что сказать: земля наша велика и обильна? Кто не знает, какие необъятные сокровища естественного богатства лежат в недрах земли нашей и рассеяны на ее поверхности? Все, по-видимому, есть у нас под рукой, что составляет богатый материал для деятельности, из чего слагается экономическое благосостояние, из чего разрабатывается и нарастает богатство отдельных лиц и целого народа. И за всем тем разве мы не видим, что эти богатства наши массою лежат в недрах и на поверхности нашей земли нетронутые и неразработанные? Прочитав обилие и богатство на одной стороне медали, на другой стороне мы видим наличную бедность и недостаток запасов. Но благо-разумно ли поступит тот, кто, увидев только одну сторону медали, тем и удовольствуется, что успел прочесть на ней?

Да! Духовными дарами природа не обделила нас так же, как и дарами физическими, и мы свою силу чуем в себе, и грех нам жаловаться, что Бог обидел нас. Силы в нас много, так много, что, видя перед собою действительные, насущные надобности, требующие приложения сил, мы останавливаемся в раздумье, нельзя ли силу свою направить и еще на что-нибудь. Мы так много силы чуем в себе, что вовсе не ценим ее и растрачиваем ее самым бессмысленным образом. Страшно подумать, сколько прекрасных сил мы губим, на-

пример, тем расслабляющим воспитанием, которое мы даем большей части нашего юношества. Сколько сил отвлекается у нас от дела совершенно бесплодную деятельностью на тех поприщах, где все делается только для вида! Сколько сил пропадает даром в этом кочевании от занятия к занятию, которое так улыбается теперь нашему чиновничеству, в особенности столичному! Да, у нас сил много, иначе не могла бы и устоять русская земля среди этого беспорядка и хаоса в употреблении ее сил, но ведь и дело наше не со вчерашнего только дня перед нами. Во все эпохи нашей народной жизни обозначались потребности общественного дела, и что же мы видим? Мы видим, что являлись у нас Голиафы³⁰ и Самсоны³¹, созидавшие нам государственность и гражданственность. Но не видим ли мы также, что за пределами круга этих людей оставалось несметное множество пустых кругов, что целые массы бездействующей силы лежали нетронутыми около рассеянных деятелей, что всякому новому деятелю, вступающему в дело, предстоит у нас до сих пор начинать вновь трудную работу создания и собирания сил, как будто до него никто на этом месте не собирал и не трудился? Отчего у нас при начале каждого общественного дела вместе с восторженным криком одним: «Есть люди!» всегда раздавался отчаянный вопль других: «Нет людей!», – а потому нередко и тот и другой звук замирал в привычке и равнодушии. Не оттого ли происходило и происходит все это, что мы только чуяли в себе присутствие сил, но не хотели или не умели различить их, собрать, дать им постоянное движение и распределить их экономически.

Люди найдутся у нас, без сомнения, и для судебного дела, и выработают нам русскую юриспруденцию, если мы позаботимся о приготовлении их в наших школах на той же солидной, веками испытанной работе, которая развивает и укрепляет молодые умы во всех странах европейской цивилизации, а без этого условия только люди особенно одаренные будут оказываться способными для всякого дела, требующего известной тонкости и крепости мышления. При тепереш-

нем состоянии гимназий и юридических факультетов и училищ странно было бы ожидать, чтобы судебное дело могло уже теперь процвести у нас; мы можем ожидать многого от обильного родника наших народных сил только в том случае, если серьезно озаботимся исправлением наших училищ и постановкой их на европейскую ногу. Вот первейшее условие успехов русского судебного дела в будущем. Что касается настоящего, то чем беднее оно условиями для надлежащего хода судебного дела, тем более следует дорожить готовыми и годными силами, тем тщательнее следует их отыскивать, привлекать и готовить к новому призванию. Школа мало помогает нам, но если трудно у нас найти людей, как должно подготовленных к делу школой, то немало найдется таких, которые уже достаточно выработали себя и могут еще более выработать себя на деле. Вот самые лучшие, вот настоящие люди для судебной реформы. Повторяем: таких людей найдется немало. Но распознать этих настоящих людей можно только на деле, посреди дела, в связи с делом, когда сам, кто ищет, возьмется за то дело, для которого ищет людей. Без труда, без усилия собирает людей тот, кто словом скликает их и по слову о них судит и, собрав их, говорит: есть люди! Совсем иначе звучат эти слова: «есть люди!», когда их производит тот, кто, приступая к делу, должен был на самом деле выбирать, испытывать, руководить и распределять сотрудников и работников и на опыте убедился, как обманчиво слово и как надежно дело, которое одно открывает людей и завязывает между ними связь. Для того чтобы отыскивать людей, годных для дела, надо сойти с широкого поля общих взглядов и предположений, сойти на рабочую ниву и взяться за плуг вместе с работниками...

Личный состав мирового суда будет зависеть от земских выборов; тут во власти законодательства только общие меры, которые могут облегчить дело мирового суда установлением постепенности в расширении круга его деятельности. Мы уже имели случай высказать, что на теперь существующие мировые учреждения можно было бы безотлагательно возло-

жить судебно-полицейские дела. Затем должны последовать земские выборы в мировые судьи, и нам кажется в интересах дела весьма желательным, чтобы эти выборы происходили непосредственно вслед за открытием уездных земских собраний; мировые судьи могут еще быть поставлены в зависимость от земства, но как скоро земство уже избрало гласных, то кандидаты на должность мировых судей поступают в зависимость уже не от земства, а от тех 30 или 50 человек земских людей, которые избраны в гласные, что совершенно изменяет дело и может, очевидно, вести ко многим неправильным последствиям. Вот причина, побуждающая желать, чтобы выборы мировых судей были по возможности ускорены. Избранным по новому порядку мировым судьям надобно дать время спознаться в своей должности и привыкнуть к ней. Лишь через год после избрания можно, кажется, без опасения приступить к расширению круга ведомства мировых судов согласно новым уставам. Между тем уездные суды, соединенные с магистратами, могут закончить многие из производящихся у них дел. Сообразно обстоятельствам, можно будет закрыть некоторые уездные суды, другие слить с судами смежных уездов и т[ак] д[алее]. В соответствие тому может начаться преобразование губернских палат гражданского и уголовного суда для постепенного превращения их в суды окружные. Но мы не будем вдаваться в подробности этого дела. Успех его зависит не от общих, заранее составленных правил, а от выбора главных местных распорядителей, которые должны будут служить исполнителями закона. Только через их посредство могут открыться для каждой местности те способы и средства, какие надлежит употребить для осуществления повсюду полной системы нового судоустройства и судопроизводства. Вот почему, кажется нам, самую первую и самую важную меру для приведения в действие новых учреждений должен быть безотлагательный выбор в распорядители людей, вполне знакомых с делом и успевших приобрести в нем опытность и авторитет. Потребуется на первый раз небольшое число людей, обладающих этими качествами, по

числу областей, на которые предполагается разделить всю сеть нового судоустройства, и нет сомнения, что выбор в таком ограниченном размере не представит затруднений. Чем строже и осмотрительнее он будет сделан, тем будет удобнее предоставить этим лицам всю возможную свободу соображения, распоряжения и выбора сотrudников и работников в предназначенной каждому области.

В интересах дела требуется, чтобы они были снабжены полномочиями приблизительно в тех размерах, которые установлены для ревизующих сенаторов. Это очень важно не только для успешного реформирования судов, но и для оживления и поощрения теперешних чинов судебного ведомства.

Нет сомнения, что, находясь на виду у распорядителей, пользующихся таким полномочиим, все способные люди, служащие теперь по судебной части, одушевятся усердием и примутся за усиленную работу, которая принесет пользу правосудию и в то же время послужит для них самих хорошей школой.

Распорядителей, облеченных доверием, нет надобности стеснять подробными программами и предписаниями. Достаточно указать им главнейшие правила для руководства. Каждый из них, отправившись к своему делу, начнет его обзором и изучением всего судебного хозяйства в своей области; и тогда повсюду сами собою обнаружатся условия каждой местности, ее потребности и очертания будущих округов.

Повсюду, по местным условиям, могут быть приняты деятельные меры к окончанию старых дел, причем может оказаться, что в одном суде дел нет и оканчивать нечего, а в другом — следует стянуть силы из других местностей для разборки массы дел, с давнего времени скоплавшихся без движения.

Главная же выгода, как сказано, будет состоять в том, что при этой ревизии и разборке дел обнаружатся сами собой и на самом деле люди, способные быть деятелями судебной реформы. Когда разберется повсюду хозяйство, обозначатся все пути и средства, тогда настанет время провозгласить полное открытие новых судебных учреждений, и мы убеждены,

что при таком образе действия время это для каждой местности не замедлится. Между тем, опыт новых учреждений, произведенный в немногих губерниях, покажет те недостатки, недомолвки и ошибки, которые потребуют дополнения и исправления, а начавшаяся практика нового дела послужит образцом для последующих работников.

Московские ведомости. – 1865. – 1 мая. – № 93. – С. 1, 2.

МОСКОВСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Василий Петрович Зубков

В сороковых годах начались первые выпуски из училища Правоведения. Известно, что оно было основано по мысли принца Петра Ольденбургского – вывести образованных и честных юристов как свежий элемент практического судебного дела. В ту пору делопроизводство во всех судебных инстанциях было в руках старых канцелярских дельцов, и от них, в сущности, зависело дело, так как судьи повсюду были люди, несведущие в законе. То же самое было и в департаментах Сената, коих канцелярия в особенности славилась опытными, сведущими в законе старослужилыми секретарями и обер-секретарями. С ними должны были иметь дело просители, и потому эти дельцы при малых окладах содержания наживали себе значительное состояние. Можно себе представить, каково было в таких условиях правосудие и чего стоило судиться.

Необходимо было обновить состав канцелярий (прежде всего, канцелярии Сената) свежими элементами нового строя и привлечь к практической судебной деятельности молодых людей, юридически образованных и воспитанных в новом духе служебной правды. Для сего предполагалось воспользоваться первыми выпусками из училища Правоведения. Министр юстиции (тогда граф Панин) распределял

воспитанников по выпуске их по канцеляриям судебных департаментов Сената, петербургских и московских: кто куда был назначен, должен был туда отправляться на службу беспрекословно. Материальные условия этой службы были и по тогдашней, а тем более по нынешней, мерке более чем скромные. Поступивший на службу молодой человек не получал еще штатного места, но должен был в ожидании того довольствоваться очень незначительным (около 20 р[ублей]) пособием, куда, зарекомендовав себя, получит при открывшейся вакансии должность помощника секретаря (столоначальника) на оклад 23 р[убля] с копейками в месяц. Следующая степень, на которую не всем удавалось поступить вскоре, была должность секретаря, получавшего 600 рублей в год, а затем приходилось иным ожидать годами назначения на должность обер-секретаря: оклад ее, представлявшийся в то время завидным, был 1000 рублей.

Так, в 40-х годах появилась в Москве компания новых людей, начинавших службу в департаментах Сената, коих было там четыре: 7-й и 8-й для гражданских судебных дел и 1 и 2 отделения 6-го департамента – для дел уголовных. В числе этих молодых людей там, в Москве, были люди, прошедшие первую школу служебной опытности и занимавшие впоследствии важные государственные должности или получившие известность на других поприщах. Назовем в числе прочих имена князей Оболенских (Дмитрия, Юрия, Георгия, Андрея)³², князя Шаховского³³, барона Ферзена³⁴, Ив[ана] Аксакова³⁵, князя Львова³⁶, двух братьев Менгденов³⁷, Д. А. Ровинского³⁸, Старицкого³⁹, Глебова⁴⁰, Набокова⁴¹, Зубова⁴², Победоносцева, Коробьина⁴³ и пр.

Сенатское производство было тогда лучшею практической школой для судебной, да и для административной деятельности. Молодые люди вступали в канцелярию, где встречала их подозрительными взглядами группа старых дельцов, которые видели в них новый элемент, предназначенный для внесения в канцелярское дело нового духа и новых обычаев. Новобранцы поступали на службу сначала в

должность столоначальников, подготовляясь мало-помалу к должностям секретарским и обер-секретарским. Они заняли сразу особое положение в среде чиновников. Многие из них, принадлежа к известным в Москве семействам, примкнули к высшим слоям тогдашнего московского общества. При этом, сохраняя вынесенные из училища товарищеские между собою связи, они составили и в Москве особую компанию правоведов, поддерживая друг друга и собираясь вместе на товарищеские беседы.

Старые дельцы, сидевшие в канцеляриях, озирались на них с подозрительным недоумением. Итак, от людей старого закала молодые люди не могли ожидать ни сочувствия, ни поддержки и руководства. Но в особо благоприятные условия попали те из них, кои назначены были на службу в 8-й департамент Сената, благодаря тому, что во главе канцелярии стоял человек просвещенный – В. П. Зубков⁴⁴, а в составе ее в должности обер-секретаря находился молодой кн[язь] Сергей Николаевич Урусов⁴⁵, по рождению принадлежавший к высшему обществу, человек высокого образования и благородных стремлений, которые склонили его поставить себя на труд юридической практики в Сенате. Человек богатый, не нуждавшийся в жалованье, он все свое содержание жертвовал на бедных чинов своей канцелярии, а сам себя посвящал труду, представлявшему много живого интереса для человека просвещенного. В 8-й департамент Сената восходили в то время дела из губерний, составлявших, так сказать, главное ядро поместного, исторически сложившегося владения (Орловской, Тульской, Тамбовской, Пензенской, Харьковской); приходилось разбирать массу старых вековых грамот, вековых межевых записей, актов однодворческих и казачьих. С другой стороны, с Юга России, из Таврической, Екатеринославской и Херсонской губерний, приходили дела инородческого – татарского, армянского – быта и дела торговые из коммерческих судов Одессы, Керчи и Таганрога. Все это составляло область права, дотоле почти не исследованную. Высокий интерес ее привлекал кн[язя] Урусова и мало-

помалу завлекал в ту же область молодых людей, работавших под его руководством. Каким-то новым духом веяло от этой деятельности – новая работа закипела в канцелярии. На приготовлении к докладам, составлении резолюций и определений вырабатывалось искусство юридического анализа и изложения, так что мало-помалу посреди бумажного производства образовалась целая школа сознательного труда и умственного развития. Все проходившие в то время эту школу сохраняли до конца своей жизни благодарное воспоминание о том времени своей жизни.

Главную мысль В. П. Зубкова было обновление застаревшей в приказном обычае канцелярии департамента. Главную силу ее составляли старые обер-секретари и секретари, умные и опытные знатоки старых указов и дел, но трудно было полагаться на честность приемов их практики. Однако в их руках находилась участь каждого дела. Присутствие состояло из сенаторов, заслуженных генералов военной и гражд[анской] службы, людей мало искусных в юридических тонкостях, и потому докладом канцелярии почти всегда решалось дело. Эту крепость В. П. Зубков задумал разбивать с помощью новых элементов, к чему первым орудием явился к нему по назначению гр[афа] Панина кн[язь] Урусов. Затем явились новобранцы из правоведов, и ими-то обер-прокурор начал орудовать, не трогая с места никого из старых опытных дельцов. Выбирая способнейших молодых людей и подготавливая их мало-помалу к секретарской должности, он обставлял ими старых обер-секретарей под своим руководством; так что на докладе, за которым внимательно следил обер-прокурор, молодой докладчик мог всегда уравнивать неверное внушение своего обер-секретаря. По той же системе, когда вызревали под руководством Зубкова обер-секретари из молодых, он присоединял к ним секретарей из старых дельцов. Так мало-помалу перерабатывался состав канцелярии, без обид и потрясений: старые дельцы доживали век на местах своих и нередко служили своими советами молодым, обращавшимся к их опытности в делах прежнего времени.

Старые сенаторы наши были приветливы к молодым людям и показывали нам полное доверие. Приятно вспоминать их, заслуженных людей старого века. У нас сидели, во-первых, почтеннейший, известный всей Москве кн[язь] Александр Петрович Оболенский⁴⁶ с Солянки, патриарх многочисленной семьи Оболенских с родственными ей Самаринными, Лопухинными, Евреиновыми. Имя его, давнего почетного опекуна, любезно было сиротам и вдовам. В Сенате он был заступник и покровитель просителей по многочисленным делам так называемых «отбывающих», то есть крестьян, отыскивающих свободы из помещичьего владения. Часто случалось ему повторять вслух всего присутствия любимую его поговорку «хвалится милость на суде», указывая на плафон присутственной комнаты, где красовалось в надписи это изречение. Сидел у нас бывший обер-прокурор Синода Степан Дмитриевич Нечаев⁴⁷, и бывали мы у него в доме на Девичьем поле. Сидели И. Э. Курута⁴⁸, знаменитый деятель в Варшаве при в[еликом] к[нязе] Константине Павловиче⁴⁹, Фон-Дребуш⁵⁰, почетный опекун – старец Петр Семенович Полуденский⁵¹, Дмитрий Ник[итич] Бегичев⁵², автор «Семейства Холмских», Александр Павлович Протасов⁵³, старый масон⁵⁴, занимавшийся, по московским слухам, чернокнижием, Павел Аполлонович Чертов⁵⁵, супруг недавно скончавшейся почтенной московской старицы Варвары Евграфовны⁵⁶.

Василий Петрович Зубков, из дворянского рода Ярославской губернии, после домашнего воспитания начал службу (1814 г.) в колоновожатых свиты его величества, потом перешел к статским делам, поступил в 1822 году в число архивных юношей⁵⁷ Московского Архива Иностр[анной] Коллегии, а затем перешел на судебную службу: сначала – в Уголовной Палате, потом – в Сенате, где уже с 1840 года состоял в должности обер-прокурора.

Служба Зубкова в Москве в постоянном общении с московским обществом и с товариществом компании архивных юношей (Пушкиным⁵⁸, Вяземским⁵⁹, Одоевским⁶⁰ и пр[очими]) дала ему способ расширить и усовершенствовать свое

образование, так что в 40-х годах он считался в Москве одним из самых просвещенных людей между начальниками отдельных ведомств. Общение с таким человеком по службе не могло не быть благотельно для развития молодых людей, начинавших в Сенате свою служебную деятельность. Зная прекрасно французский и немецкий языки, Зубков следил постоянно за литературой, много читал, и беседа его была всегда приятна и поучительна для молодежи. Дом его в одном из переулков Смоленского рынка близко был знаком тогдашнему обществу: здесь на танцевальных вечерах можно было тогда видеть всех московских красавиц того времени (двух дочерей самого Зубкова, А. Бегичеву, Юлию Давыдову, Лидию и Александру Ховриных, Лужину, Акинфову, двух Поливановых).

Парижская революция 1848 года⁶¹ внесла новую смуту в умы и новые интересы и подняла новые толки в тихом дотоле московском обществе. Все принялись с жадностью за чтение газет. Беседы нашего товарищеского кружка (собиравшегося раз в неделю по субботам в квартирах Старицкого и Глебова на углу Хлебного переулка) оживились. В досужные часы нередко забегали мы в кондитерскую Пеера (на Тверской, на углу дома бывшего Благородного Пансиона), где получалось множество иностранных газет, и с жадностью просматривали затасканные по рукам листы франц[узских] газет, испещренные в то время множеством цензурных пятен. Особенный интерес возбуждали в то время статьи Эмиля Жирардена⁶² в газете “La Presse”, и многие из нас стали ее выписывать, ознакомившись с нею у Зубкова. У него же в то время увидели мы прославленные сочинения того времени, считавшиеся запрещенными, но возбуждавшие общий интерес (Луи-Блана⁶³, Прудона⁶⁴, Фурье⁶⁵, Ламартина⁶⁶ – «Историю жирондистов» и пр[очее]). Немногие из этой молодой компании товарищеправоведов остались в живых, но оставшиеся не могут не вспоминать с благодарностью о В. П. Зубкове. Пишущий эти строки проводил немало приятных вечеров в его кабинете, где рассказывал нам много о делах и людях прежнего и ново-

го времени, показывал новые полученные им книги, объяснял чудеса микроскопа, стоявшего всегда на рабочем столе его*.

Тут случалось встречать у него некоторых его приятелей, большею частью интересных и умных людей**.

Из 8-го департамента Зубков был переведен обер-прокурором в общее собрание Московских департаментов, а отсюда в Петербург обер-прокурором 1-го департамента. В 1855 году назначен сенатором, но тяжелая болезнь принудила его оставить службу, и уже в 1862 году он окончил дни свои в Москве, в старом московском доме.

К[онстантин] П[обедоносцев]

Самоуправление

ЛЕ-ПЛЕ

Пьер Вильом Фридерик Ле-Пле (**Le-Play**), сын таможенного чиновника, родился 11 апреля 1806 года в деревне Ларивьер, в Кавальдосском департаменте. Первые впечатления детства неизгладимы: бедность прибрежных рыбаков, разоряемых английскою блокадой, сильно подействовала на ребенка, а рассказы старых моряков, участников войн первой половины прошлого столетия, воспитали и усилили в нем чувство патриотизма.

* В. П. Зубков занимался и естественными науками: в энтомологии⁶⁷ известен жук его имени (*Carabus Zubkovii*). – П[етр] Б[артенев]⁶⁸.

** Однажды, когда я шел к нему, от него выходил Н. Ф. Павлов⁶⁹.

– Зачем он был у вас сегодня? – спросил я Зубкова.

– Зачем? – отвечал Зубков. – Сидел-сидел и добился своего. Знаете ли, – прибавил он, – вот какой человек Николай Филиппович. Он придет к вам, сядет у вашего стола и увидит: в черновом ящике брошен конверт с пятью печатями. Довольно этого, он будет сидеть и не уйдет, пока не выпросит денег взаймы.– *Примеч. издателя.*

После смерти отца, которого Ле-Пле лишился очень рано, мать в 1811 году отпустила ребенка в Париж к богатой бездетной родственнице. Новая роскошная столичная обстановка не заглушила, однако, в мальчике чувства любви к природе и сельской жизни, хотя четырехлетнее пребывание в обществе умных и образованных людей не прошло бесследно для будущего мыслителя.

По возвращении в Нормандию мальчик продолжал курс учения под руководством доброго, почтенного священника, коего стесненное материальное положение имело также влияние на будущие труды Ле-Пле. В 1818 году он поступил в школу в Гавре и, поселившись с матерью в скромном домике, стал заниматься один, не прибегая к помощи репетитора. Он любил читать Цицерона⁷⁰ и изучать книгу Тацита⁷¹ «О нравах германцев», а вскоре Монтень⁷² сделался его любимым автором. В 1825 году, по совету одного из друзей своих, готовившегося в Политехническую Школу, Ле-Пле решился попытать счастья на этом трудном поприще. В то время он уже был силен в математике настолько, что местный землемер, как он сам, смеясь, об этом рассказывал, предлагал ему поступить к нему в помощники, обещая впоследствии передать ему свое дело. Экзамен в Политехнической Школе был выдержан отлично, и Ле-Пле в 1825 году поступил вторым учеником, а в 1827 году перешел в Горную Школу уже первым, с радостью вырвавшись из стеснительной казарменной обстановки, в течение двух лет, по словам его, парализовавшей его способности, которые с переходом в Горную Школу снова развернулись в полном блеске. Здесь он показал такие успехи, что главноуправляющий путями сообщения поздравил его письменно, заявив при этом, что не более как в два года «этот молодой человек успел стать во главе списка учащихся и приобрести 5797 похвальных баллов, то есть цифру, до которой никогда со времени основания училища не доходил ни один студент, даже прошедший все четыре курса».

В школе Ле-Пле особенно сдружился с одним из товарищей – Ж. Рено; их сближали одинаковая любовь к деревенской

жизни и одинаковые воззрения на общественные вопросы; первый из них отличался ясностью ума, точностью наблюдения и высшим пониманием практической жизни; другой – литературным талантом, любовью к поэзии и пламенным воображением. Рено увлекался идеями сен-симонистов⁷³, Ле-Пле, напротив, отвергал их, из чего возникали споры и разногласия относительно социальных вопросов, не нарушившие, однако, ни в чем их дружбы.

Когда министр, не ограничившись одной похвалой, ближе познакомился с Ле-Пле и пожелал узнать его будущие планы, молодой человек откровенно рассказал ему, как они с Рено намерены дополнить во время следующей школьной экскурсии сведения по своей специальности еще исследованием причин процветания народов. «Г. Беке улыбнулся, – говорит Ле-Пле, – но не отнесся к нам с недоверием и даже принял меры к обеспечению успеха нашего путешествия».

Как скоро идея о совместном изучении горного дела и социальных наук запала в душу Ле-Пле, она не замедлила укорениться в уме его, так как он был не только настойчив, но и в высшей степени положителен и требователен относительно самого себя. Благодаря привычке к точности математических вычислений, Ле-Пле не мог иметь доверия к теоретическим априорным системам разных социальных школ. Он был уверен в существовании критериума, при помощи которого возможно было бы определить с научною точностью те причины, которые доставляют обществам благосостояние или приводят их к упадку. Этот критериум, по его мнению, заключался не в теоретических и произвольных измышлениях, но в тщательном наблюдении и изучении социальных явлений. Если существуют известные законы даже в обществе муравьев и пчел, то тем более должны существовать законы для усовершенного и возвышенного общества людей, и эти законы не должны зависеть от места и времени, но должны быть непоколебимы; их можно узнать по тому, что они постоянно водворяют мир и устойчивость. Из этого следует, что вся задача сводится не к кабинетному ученому рассуждению

об устройстве быта народов, как это делал Руссо⁷⁴, но к странствованию по всему свету с целью собрать как можно более фактов, тщательная разработка которых должна открыть тайну устройства человеческих обществ и основные законы, нарушение коих влечет за собою падение и разложение этих обществ. Еще Бэкон⁷⁵ предостерегал ученых от излишнего доверия к теории, напоминая, что она легко становится для человека идолом, которому он поклоняется безусловно, удаляясь от истины; он советует ученым носить постоянно «свинцовые сапоги», разумея под этим словом наблюдение и опыт, с которыми ученый ни на минуту не должен расставаться. Так, Ле-Пле положил себе обойти, по возможности, все места, чтобы из действительных фактов, без всякой предвзятой мысли извлечь жизненную истину.

В мае 1828 года Ле-Пле и другу его удалось осуществить на деле задуманное путешествие по Северной Германии. Молодые люди путешествовали с мая по декабрь и успели за это время познакомиться с бытом рудокопов, плавильщиков, дровосеков, угольщиков и перевозчиков на Гарце, с бытом сельского населения Саксонской долины и береговых рыбаков Ганновера, Ольденбурга и Нидерландов и, наконец, с условиями жизни промышленного населения Вестфалии, Бельгии и Рейнского бассейна. Друзья путешествовали пешком, руководствуясь картой и компасом и держась прямой линии, когда ничто интересное не заставляло их от нее уклоняться, причем пробирались дорожками, недоступными для лошадей и экипажей. Это путешествие, хотя и не дало возможности найти законы, направляющие благосостояние и упадок человеческих обществ, но с другой стороны, не говоря уже о множестве собранных фактов, привело Ле-Пле к той мысли, что в социальной науке нельзя ничего придумывать и изобретать, а нужно исключительно заняться изучением народов, сохранивших мир и устойчивость. Он понял также, что, если преследовать эту цель с некоторой надеждой на успех, следует отрешаться от всех предрассудков, привитых воспитанием и окружающей средой, чтобы уже объективно

воспринимать все истины, которые может раскрыть метод наблюдения, хотя бы они и шли вразрез с самыми дорогими идеями и убеждениями.

В продолжение зимы 1829–1830 годов он посетил множество парижских мастерских. Весною, когда он собирался предпринять второе путешествие, в Горной Школе произошел взрыв во время каких-то экспериментов, так сильно его поранивший, что он проболел серьезно целых десять месяцев. В это самое время вспыхнула революция. Не имея возможности владеть обеими руками и находясь в самом беспомощном состоянии, Ле-Пле углублялся в размышления, окончательно определившие его дальнейшую судьбу, и твердо решил, по возможности, смягчить бедствия, разразившиеся над его родиной, посвящая для этой цели ежегодно шесть месяцев путешествиям.

С 1832 до 1840 [года] он совершил восемь последовательных путешествий по Средней и Южной Испании, по Бискаии, Каталонии, Бельгии, Англии и по Южной России.

В Испании он нашел превосходные черты социального устройства наряду с некоторыми признаками дезорганизации, обнаруживавшимися главным образом в политических кружках, куда только что проникли идеи 1789 года. Наоборот, в Бискаии, Каталонии он нашел самое очевидное доказательство социального мира и благосостояния: тесную связь между всеми классами населения.

Англия произвела на Ле-Пле глубокое впечатление, которое он сам описывает следующим образом: «Новый луч света озарил мой разум, едва только я ступил на английскую почву. Я испытал сперва внезапное удивление, сменившееся затем глубоким волнением при виде того, как все семейства, с которыми мне приходилось сближаться, руководствовались даже в самых обыкновенных своих поступках идеей почитания Бога и подчинения Закону Десяти Заповедей. Присутствуя несколько раз на лекциях профессоров Конибера⁷⁶ и Бекланда⁷⁷ об образовании земли, Ле-Пле был поражен, заметив, что оба эти ученые при всяком удобном случае старались воздать

хвалу могуществу и милосердию Создателя. Он нашел в Англии такое же уважение к родительскому авторитету и к общественным властям. По этому поводу он приводит очень характерный случай. Желая ближе познакомиться с рудным делом, Ле-Пле сошелся с одним известным рабочим, сделавшимся помощником мастера, и пригласил его пообедать вместе. Заметив, что гость после первого блюда как будто чем-то озабочен, Ле-Пле вспомнил о том, что он еще не выпил за его здоровье по местному обычаю. Но несмотря на то, что за вторым блюдом была выполнена эта формальность, англичанин оставался невозмутимым и, посмотрев на Ле-Пле, поднял свой стакан со словами: «За здоровье королевы». Тогда только Ле-Пле понял причину озабоченности своего гостя, так как ему как иностранцу следовало отдать честь старой Англии, провозгласив тост за здоровье королевы, и, разумеется, поспешил за третьим блюдом поправить свою оплошность, после чего англичанин сразу развеселился и сделался совершенно неузнаваем. «Этого простого рабочего звали Стилль, – говорил Ле-Пле, – и я всегда буду с благодарностью вспоминать о нем, так как он научил меня лучше всяких классических книг понять одну из главных нравственных сил английского общественного строя».

Однако наряду с этими хорошими свойствами от наблюдательности Ле-Пле не ускользнули и некоторые недостатки, как, например, распадение большого числа сельских общин и мелких частных владений и утрата обычаев патронатства у многих богатых поземельных собственников и промышленников. Замечая, что за этими новшествами следовало неминуемо нарушение мира и устойчивости, Ле-Пле убедился в их вредном влиянии и принял этот вывод к сведению. 1837 год Ле-Пле посвятил России.

«Это путешествие, – говорил он, – более чем все предшествовавшие открыло мне новые элементы социальной науки. Мне пришлось входить в близкие и продолжительные сношения с рабочим классом, условия жизни которого западная литература представляла в ложном свете. Мои первые впечатления при виде крепостного состояния противоречили моим

предвзятым мыслям, и потому я долго не доверял самому себе. Население было довольно своей судьбою, подчиняясь нравственному закону, равно как и верховной власти, и господам благодаря религиозному началу, которое поддерживало твердую веру. Изобилие самородных произведений давало достаточные средства к существованию. Как и в Испании, взаимная короткость отношений соединяла помещиков с крестьянами. С этого первого своего путешествия я заметил, что главная сила России заключалась во взаимной зависимости помещиков и крестьян. Дух покровительства был, в сущности, основанием общественного строя. Во время этой поездки я привык к виду степей и получил возможность усвоить идеи пастушеских народов, оставивших глубокий след в прошедшем Европы и Азии. Укрепив свою мысль новыми путешествиями по Англии, по Саксонской равнине и Скандинавским государствам, я пришел к убеждению в плодотворных результатах, которых должно было ожидать от применения монографического метода».

Итак, этот строгий метод явился плодом восьмилетних путешествий Ле-Пле. Метод этот впоследствии дал ему возможность произвести как бы вскрытие социального тела, разместить все факты в научном порядке и вывести из них заключения, ясность и очевидность которых способна увлечь всякий ум, стремящийся к истине.

Ле-Пле основывает найденный им метод на том, что начала общественного строя находятся в идеях, нравах и учреждениях частной жизни, более чем в писаных законах, так как частная жизнь характеризует общественную и семья есть основа государства.

С этих пор такой способ действия сделался очевидным для Ле-Пле; стоило только наблюдать до самых мельчайших подробностей известное число семейств для того, чтобы открыть в них самый глубокий и первоначальный источник причины силы или слабости, процветания или упадка народов. Задача наблюдения, будучи ограничена семьей, делалась вполне точной и определенной, тогда как наблюдение могло бы стать

бесконечным и не приводить ни к каким выводам, если бы применялось или к отдельным личностям, или к совокупности социальных явлений.

Овладев могучим средством наблюдения в классификации, представляемым монографией, он решился приступить к его применению, проверяя, дополняя и заключая в эти рамки все факты, собранные им с 1829 года.

С удивительным постоянством и настойчивостью он снова предпринимает целый ряд путешествий по Европе и частью по Азии и до 1853 года посещает по одному разу Данию, Швецию, Норвегию, Европейскую Турцию и Тироль, три раза – Россию и Италию, шесть раз – Англию и Германию, два раза – Испанию и Западную Азию.

«В течение лета я дополнял свое изучение европейских народностей, – говорит он, – знакомясь с местностью и вникая в семейный быт населения, а зимою приводил я в порядок все собранные мною материалы».

Ле-Пле в своих исследованиях держался той мысли, что руководителями социальной науки должны быть не профессора-теоретики, не юристы, не горожане, но люди дела и опыта, проводящие жизнь в деревне, изо дня в день занятые заботами о воспитании семьи своей и об устройстве быта зависящих от них людей. Этот прием состоит в связи с одним из основных положений учения Ле-Пле о великом значении авторитетных людей в обществе (*autorités sociales*). Под этим именем разумел он людей разума и опыта, привлекающих к себе общее уважение и возбуждающих своим примером к подражанию окружающую их среду, людей, сильных преданностью верховному закону веры и добрым преданиям, унаследованным от предков. Счастливым обществом, богатым такими людьми, а оскудение таких людей грозит обществу бедою. О таких людях помышлял еще Платон⁷⁸: это, по словам его (*De legibus*. XII), люди божественные; они рождаются и между варварами, равно как и у племен образованных. Обращение с ними – дело бесценное, и гражданин, ревнующий о благе отечества, должен, когда нужно, странствовать в даль-

ние края за их советом и у них учиться, как утвердить правду и исправить неправое в учреждениях своей родины. Эта глупая мысль древнего мудреца давно была изношена и забыта посреди шума законодательных и совещательных собраний, в коих новая политика привыкла почерпать счетом голосов мнимую истину. Ле-Пле, приложив эту мысль к своему делу, объяснил существенное ее значение для всякого общества, стремящегося выбиться из тьмы к свету и стать на правый путь в своих учреждениях.

По совету Франсуа Араго⁷⁹, Ле-Пле, только что окончивший свои наблюдения над множеством (более 300) семейств в самых разнородных странах и условиях жизни, напечатал в 1855 году монографию некоторых из них в первом издании своих *Ouvriers Europeens* («Европейские рабочие»), и этот труд в следующем году получил от Академии Наук премию по статистике.

Несколько месяцев спустя он основал «Социальное экономическое общество» (“**Société d’Économie Sociale**”), признанное в 1869 году весьма важным общественным учреждением и ознаменовавшее свою деятельность изданием “*Ouvriers de deux Mondes*” («Рабочие в обоих полушариях») и множеством других замечательных трудов, помещенных в издаваемых им «Записках».

Не прерывая своих социальных исследований, Ле-Пле находил возможность серьезно заниматься металлургией и издал в 1833 году, по возвращении из своего путешествия по Испании, сочинение под заглавием “*Observations sur l’histoire naturelle et sur la richesse minérale d’Espagne*” («Заметки о естественной истории и о минеральных богатствах Испании»).

Когда Анатолий Николаевич Демидов⁸⁰ в 1837 году принял на свои собственные средства экспедицию с ученою целью на юге России, Ле-Пле принял в ней участие в качестве геолога и специалиста по разработке копей, причем каменноугольный Донецкий бассейн должен был служить главным предметом его занятий. Ле-Пле первый дал обстоятельную карту этих замечательных залежей, и Демидов пришел в такой вос-

торг от своего сотрудника, что, не желая расстаться с ним, поручил ему реорганизовать эксплуатацию всех металлических залежей, принадлежавших ему на Урале, где под управлением Ле-Пле находилось до 45 000 рабочих. Труды его по этому вопросу увеличили в громадном размере доходы владельца*.

Изучив металлургический вопрос в Австрии, Германии и Скандинавии, Ле-Пле продолжал производить важные изыскания в Англии. Результатом этих трудов явились различные сочинения, а именно: в 1848 году – «Металлургические процессы, применяемые в Валлийском Княжестве для выделки меди» и в 1853 [году] – его же книга по вопросу «О новом способе, употребляемом в лесах Каринтии для выделки железа».

В то время, когда вышло в свет первое издание “*Les ouvriers Europeens*”, правительство, признавая заслуги Ле-Пле как ученого и администратора, назначило его генеральным комиссаром всемирной выставки 1855 года. Несмотря на то, что назначение это состоялось, так сказать, в последние минуты перед самой выставкой, Ле-Пле вышел победителем из всех затруднений, нераздельных с такою сложною деятельностью, и так блистательно исполнил возложенную на него задачу, что в 1862 году получил подобное же назначение на Лондонскую всемирную выставку, а в 1867 году – вторично руководил во Франции этим колоссальным предприятием.

Благодаря исключительно его назначению на выставке появилось много замечательного по отношению к социальному вопросу, например целый отдел предметов, предназначенных для улучшения положения рабочего класса в умственном, нравственном и физическом отношениях. Кроме того, Ле-Пле предложил установить совершенно новый отдел наград для лиц, учреждений и местностей, которые при помощи своей организации или специальных учреждений дошли до водворения согласия между рабочими классами и обеспечили этим последним нравственное, умственное и материальное благосо-

* В это время познакомился с Ле-Пле и близко узнал его покойный граф С. Г. Строганов⁸¹; он всю жизнь помнил его и говорил о нем с величайшим уважением. – *Здесь и далее – примеч. К. П. Победоносцева.*

стояние. Этот отдел наград, состоявший из десяти премий на сумму 100 000 фр[анков] и 20 почетных отзывов, не замедлил привести к самым благоприятным результатам.

Уступая настояниям своих друзей, убеждавших его изложить в менее научной форме результат своих работ по социальному вопросу и вывести из них практические применения, Ле-Пле в 1864 году издал свой замечательный труд о социальной реформе во Франции (“Reforme Sociale en France”), а в 1870 году появились “Organisation du travail” («Организация труда») и “Organisation des familles” («Организация семьи»). После того как он приложил к большому числу семейств свой монографический метод, социальная задача, казавшаяся ему сначала крайне сложною в начале его путешествий, представилась в таком простом виде, что он удивился, как ему сразу не пришло это в голову. Для него стало очевидным, что народы обязаны заботиться об удовлетворении двух существенных главных потребностей, и что такое удовлетворение безусловно для них необходимо. Первая из этих потребностей состоит в изучении и соблюдении нравственного закона, подавляющего у человека стремление к злу, и вторая – в обладании насущным хлебом, дающим человеку возможность существовать. От выполнения этих условий зависит счастье и благосостояние, и, наоборот, из невыполнения их вытекают страдания и бедствия обществ.

Идя далее, Ле-Пле убедился еще в том, что названные две потребности удовлетворялись при помощи целого ряда однородных учреждений, не прекращавших своей деятельности у благополучных народов и более или менее утративших свой первоначальный характер у народов, пришедших к упадку. Эти учреждения он обозначил одним общим именем «Основное начало общественного строя» (Constitution essentielle) и разделил их на три группы, назвав эти последние «основанием, цементом и материалами» социального здания.

К первой группе он отнес два основания, так названные потому, что они, так сказать, образуют фундамент всего здания: Закон Десяти Заповедей, исправляющий несовершенство чело-

веческой природы установлением границ употребления свободной воли, и авторитет родительской власти, побуждающей молодые поколения постоянно применять этот нравственный закон. Стоит только пошатнуться одному из этих оснований, и немедленно появятся признаки страдания, а затем последует и социальное разложение. На помощь названным основаниям являются дополнительные установления, исполняющие в некотором смысле роль цемента, а именно: духовная и верховная власть. На обязанности первой лежит забота о преподавании своей пастве Закона Десяти Заповедей и религии; задача второй состоит в довершении в общественном строе идеи родительской власти, олицетворением коей она должна служить.

Главным источником заблуждений, от которых страдает современное общество, Ле-Пле почитает идею исконного совершенства человеческой природы, овладевшую умами, со слов Руссо, в 1789 году; здесь видит он и отсюда ясным психологическим анализом выводит ложные догматы этой эпохи и последующих за нею: догмат свободы, равенства, большинства голосов, права на восстание против власти... Эта идея, вскружившая всем головы, утвердившаяся с тех пор сознательно и бессознательно у всех в душе, породила и должна была породить дикие явления варварства, насилия и анархии; какой закон, какое учреждение, какое общество, какое правительство могут устоять, когда в умах водворилась мысль, что стоит лишь оставить человека на волю натуральным его наклонностям, и они приведут его к добродетели? Всякая кормилица знает по опыту, как в малом ребенке с первыми проблесками сознания появляются уже страсти: и гнев, и зависть, а затем и насилие, и притворство; опыт свидетельствует не о самовозрастании добродетели, а, напротив того, о необходимости воспитывающей и исправляющей дисциплины. Вот начало и основание родительской власти – и кроткой, и твердой. Родители призваны продолжать Божие дело творения на земле, призывая новые существа к жизни. Если они не воспитают человека для общества в чувстве долга, то введут в общество паразита или варвара. И еще того важнее: Бог

порукает им душу бессмертную, которую они должны вести к вечности. Вот почему власть родительская, единственная власть, установленная Богом в Законе Десяти Заповедей, есть самая высокая власть, никакою иною незаменимая.

Однако все названные элементы могут только содействовать поддержанию нравственного и материального порядка, но вовсе не удовлетворяют второй потребности человека, то есть обладанию насущным хлебом. Тут являются на помощь установления, которым Ле-Пле дал остроумное название материалов, как-то: община, частная собственность и патронатство.

У некоторых народов, как, например, у кочующих уральских, каспийских и донских племен, равно как и у земледельцев восточных местностей России, господствует общинный принцип по отношению к земле, жилищам и стадам. Старики, главы семейств, имеют наблюдение над молодыми семьями, беспристрастно распределяют работы и продукты, стараются искоренить леность и не допускают неблагоприятных расходов. Подобный патриархальный порядок обеспечивает равномерное распределение довольства между всеми членами семьи и, не допуская, чтобы порочные или малоспособные впадали в бедность, доставляют всем обладание насущным хлебом.

Порядок этот, однако, представляет то неудобство, что выдающиеся члены общины в большей степени несут на себе тягость труда и всевозможных лишений, тогда как при распределении общего достатка они получают свою долю наравне с самыми ленивыми и невоздержными, что заставляет их стремиться к устройству частной собственности. Такой переход от одной системы к другой совершается с пользой для общества в том только случае, когда воздержность и трудолюбие достигли достаточного развития, так как в таком случае личный интерес дает новый толчок частной деятельности и частному богатству. В то же время и сама собственность становится более плодотворною, по мере того как владелец ее делается полным и бесконтрольным господином. Если же при существовании частной собственности начнется порча нравов, если по той или другой причине уменьшится степень трудолюбия владельцев,

нищета, не допускаемая при существовании общинного владения, немедленно постигает всех порочных, больных или непредусмотрительных людей. К счастью, такой печальный результат частной собственности отвращается посредством последнего из трех учреждений, то есть патронатства.

Главная задача этой системы состоит в том, чтобы более или менее тесно сплотить известное число бедных семейств вокруг богатой семьи, которая посредством труда и своего покровительства обеспечивает им насущный хлеб.

Патронатство может проявляться в самых разнообразных формах, например, оно может прикрепить неразрывными узами человека к человеку или к земле, как то было во времена римского рабства и феодального крепостного состояния; может иногда представлять только продолжение семейного начала, как германский *mundium*; может иметь вид опеки по добровольному подчинению, какова была рекомендация (*recommandation*) у франков или клиентство у римлян и галлов. Наконец, может быть только фактической связью, основанной на непрерывно обязательном отношении, в коем происходит взаимный обмен обязанностей и услуг или одолжений вследствие естественной у человека потребности найти себе покровителя и помощника.

Во всяком случае, в какой бы форме ни проявлялось патронатство, оно составляет неизбежную социальную потребность, безусловно необходимую для всех народов, не могущих обеспечить всем своим членам «обладание насущным хлебом», так как при неудовлетворении этой потребности тотчас появляется грозный призра́к пауперизма⁸².

В новейшее время экономисты стали учить, что труд есть не что иное, как товар, подверженный, подобно прочим товарам, закону спроса и предложения; что вследствие того и заработная плата должна изменяться сообразно со всеми колебаниями рынка; что хозяева не связаны со своими рабочими никакими узами. Такое решительное учение, проповедуемое под видом свободы труда, было отрицанием исконного начала патронатства – оно не замедлило принести плоды свои.

Хозяева в отношении к рабочим стали руководствоваться исключительно личным интересом в производстве и потребностью данной минуты на рынке. Тогда явилось невиданное дотоле зрелище: множество людей, внезапно поставленных в решительную невозможность добывать себе насущный хлеб, в положении, много хуже того, в коем находятся пастушеские и бродячие племена, обеспеченные, по крайней мере, в хлебе насущном. Отсюда возникла грозная социальная борьба, слишком известная нашему времени и неизвестная там, где еще существует и действует начало патронатства.

Кроме всех этих элементов, составляющих главные основы общественного строя, существуют еще известные социальные обычаи, между которыми особое значение имеет обычай наследия.

В отношении к нему можно разделить семейства на три совершенно различные и очень характерные типа: на семьи патриархальные, неустойчивые и коренные (f[amille] patriarcale, f[amille] instable, f[amille] souche). Первый тип, то есть патриархальную семью, Ле-Пле нашел у пастушеских племен на Востоке, у русских крестьян и у славян средней Европы. Все дети, не исключая и состоящих в браке, остаются при отце, имеющем над ними и внучатами очень обширную власть. Вся собственность, за исключением только некоторой подвижности, остается нераздельною, и отец распоряжается ею и заведует работами. По смерти его это право переходит к тому из сыновей, которого он сам назначил своим наследником. Хотя этот обычай имеет неудобства соответственно с неудобствами общинного начала, но, по крайней мере, он представляет то громадное преимущество, что дает возможность менее способным членам пользоваться все-таки некоторой долей благосостояния и иметь обеспеченный кусок хлеба. Кроме того, он вполне подходит к положению семейств, живущих в почти пустынных местностях и под очень первобытною формой управления и принужденных ради избежания опасности держаться вокруг домашнего очага и не выходить из-под авторитета родительской власти.

Неустойчивая семья преимущественно встречается на Западе, и особенно во Франции, среди населения, дезорганизованного за последние три четверти столетия вследствие принудительного раздела имущества. При таком порядке все дети со дня вступления в брак или при получении возможности существовать сами по себе покидают родной дом и устраиваются самостоятельно, оставляя в одиночестве престарелых родителей. Все дети располагают, так сказать, своим собственным приданым, то есть своею частью имущества, и пользуются плодами своих трудов, будучи свободными от всех обязанностей относительно семьи; по смерти же родителей все имущество делится поровну между детьми, причем отец не имеет права самостоятельно вмешаться в дело посредством своего завещания. Результатом такого порядка является ряд как бы периодических ликвидаций родительского дома. Такой порядок роковым образом приводит и к уменьшению населения, ибо супруги из боязни многолюдия избегают его. Итак, этот порядок служит всегда в обществе признаком расстройств или стремления к расстройству.

Третий тип, которому Ле-Пле дает выразительное имя коренной семьи (**f[amille] souche**), **встречается у наиболее свободных и наиболее благоденствующих народов**, имеющих достаточно здравого смысла, чтобы охранить свою частную жизнь от господства формалистов, законников и бюрократии, а именно: в Соединенных Штатах, в Англии, Германии, в Скандинавских государствах и в большей части Европы. В семьях такого типа отец принимает кого-нибудь из женатых детей к себе в сотрудники с обязательством жить постоянно в родительском доме и продолжать отцовскую профессию. Такой обычай поддерживает профессиональные традиции, равно как и сохраняет средства к жизни и сокровища полезных наставлений, завещанных предками. Он создает в то же время постоянный покровительственный центр, к которому все члены семьи могут прибегать в трудные минуты жизни.

В то время как в неустойчивых семьях смерть отца является поводом к распадению, в коренных семьях она представ-

ляет только тяжелое испытание для сердца детей и не влечет за собою вредных последствий по отношению к благосостоянию семьи. Дети, не достигшие совершеннолетия, нуждающиеся еще в помощи и покровительстве, не бывают покинутыми и, благодаря непоколебимости домашнего очага и значению преданий, находят у нового главы семьи ту поддержку, какую они пользовались при жизни отца. И все остальные дети также нисколько не страдают ради интересов наследника очага и профессии, так как этот последний выплачивает им в момент их обзаведения [семьей] известную долю, пропорциональную размерам имущества и определенную отцом.

Сравнивая все эти семейные типы, Ле-Пле пришел к тому выводу, что если патриархальная семья более свойственна кочующим пастушеским народам и населению, живущему при существовании общинного порядка в малонаселенных местностях, то коренная семья является установлением, наиболее обеспечивающим насущный хлеб и благосостояние оседлым народам, занимающимся земледелием, торговлею или промышленностью. Что же касается неустойчивой семьи, то она представляет болезненное явление и заключает в себе очевидные признаки социального разложения.

Закону о наследственном переходе имущества Ле-Пле придает важное социальное значение: этим путем государство всего проще и удобнее может действовать на социальное устройство и косвенным образом на сами нравы граждан. Он различает три системы в порядке наследования: систему обязательного охранения имущества (единонаследие), систему обязательного раздела имущества поровну и систему свободы завещаний. Обязательный раздел учрежден во Франции в революционную эпоху Конвентом⁸³ с явной целью поколебать родительскую власть и истребить семейные предания. Наполеон умерил действие этого закона учреждением майоратов⁸⁴, но с уничтожением их закон восстановлен в безусловной силе и составляет донныне великое зло: он производит бесконечное дробление имуществ, уничтожает сложившиеся хозяйства, разрушает семейные связи, затрудняет образование новых со-

юзов и их производительность. Устранить это зло со всеми его последствиями может, по убеждению Ле-Пле, лишь предоставление отцам семейства полной свободы завещания, как она существует в Англии и в Северной Америке. Этим лишь способом возможно восстановить родительскую власть, утвердить хозяйственные основы собственности, вольность и прочность отдельных хозяйств, оздоровить семью, оживить интересы и побуждения частной предприимчивости, наконец, возбудить в гражданах дух самостоятельности и способность к гражданскому самоуправлению.

Найдя таким образом законы, которым подчинены семья и труд, Ле-Пле пошел далее и дошел постепенно до законов, которым подчинено все вообще управление обществ. Он останавливается прежде всего на том явлении, что мир в общественной жизни обеспечивается тогда, когда народ повинуется божественному закону. Падение начинается с того момента, когда народы, ослепленные своими успехами, начинают относиться к закону Десяти Заповедей не как к Божию дару, но просто как к выражению человеческой мудрости. И как скоро они перестают следовать правилам этого закона и открыто восстают против его постановлений, являются страдание, упадок и конечная гибель.

Если народы должны подчиняться нравственному закону, то они должны повиноваться и верховной власти. Эта последняя имеет различные виды, смотря по тому, где проявляется: в семье, в обществе, в отдельных областях или в целом государстве. Долголетний опыт помог Ле-Пле вполне уяснить себе это различие, сформулированное им следующим образом: «Образцовые общественные установления (конституции) как в прошедшем, так и в настоящем представляются в четырех видах, являясь теократическими в духовной сфере, демократическими в общине, аристократическими в области (провинции) и, наконец, монархическими в семье и государстве».

Пред этим различием, подтверждаемым историей и наблюдениями, все политические теории, созданные духом системы, разлетаются, как дым. И действительно, общество

не может быть ни исключительно теократическим, ни исключительно демократическим, или аристократическим, или монархическим, но должно заключать в себе одновременно все эти начала.

В течение одного столетия во Франции было свергнуто и переделано столько правительств потому именно, что каждое из них стремилось развить один из названных элементов в ущерб прочим, и по той же самой причине народ до сих пор не в состоянии создать себе ничего прочного. Истинная социальная формула утрачена, и люди не умеют найти пропорцию монархическую и демократическую, нужную для благоустройства.

Утвердившись на этой истине, Ле-Пле обозначает условия, необходимые для реформы общественной жизни.

Вот эти условия.

В общине развить местную жизнь, привлечь всех граждан к интересу общинного управления и ограничить вмешательство государства во все предметы, не входящие прямым образом в его компетенцию. Община в действительности есть истинная и законная область демократии.

В провинции восстановить руководящий класс, совокупляя вместе отдельные лица, выдающиеся по способностям и по материальному богатству, на безвозмездное служение благу отечества.

Наконец, в центральном управлении укрепить государство и упрочить его благосостояние, с одной стороны, сосредоточивая во власти его политическую деятельность, с другой стороны, освобождая его от дел частного интереса и местной администрации, которые с большею пользой могут быть возложены на местные власти или предоставлены самим гражданам.

По этой программе, точно выведенной из наблюдений над всеми народами, государство должно заниматься исключительно такими делами, как составлением и применением законов, заведыванием армией, флотом, иностранною политикой, финансами, правосудием, полицией и призрением неспособных членов общества. Все же остальное: местная администрация, распределение большей части должностей, попечение о

церковных потребностях, дело образования, дело призрения, устройство дорог, торговля и промышленность – все это должно быть при некоторых условиях предоставлено местным властям, общественным союзам или отдельным лицам.

Другими словами, требуется централизация политическая и децентрализация административная. При осуществлении такого порядка граждане, занятые ведением местных дел, менее имеют склонности вмешиваться в ведение общих дел и противодействовать правительству, которое, в свою очередь, имеет возможность посвятить свою заботу главнейшим интересам страны.

С другой стороны, отдельные лица при ежедневном соприкосновении с местными вопросами могут приобретать, кроме практического навыка в делах, привычку к управлению и мало-помалу станут способны переходить от управления общиной к управлению областному и затем, по способности своей, к государственному. Таким образом, вся страна становится как бы обширную школой государственных людей, не случайно вызванных счетом голосов, но подготовленных к политической деятельности серьезным опытом местного управления.

Во время войны 1871 года Ле-Пле жил у себя на родине, несчастья, поразившие Францию, глубоко опечалили его, но не удивляли; еще в 1864 году в своем сочинении “Reforme Sociale” он предвидел неизбежный исход положения, в котором стремление к умножению материальных богатств иссушило источники нравственной жизни*.

По заключении мира с Германией и по окончании междоусобной войны люди, просветленные опытом, сгруппировались вокруг Ле-Пле, коего горькие опасения сбылись та-

* И задолго перед тем наблюдал он с крайнею грустью действия правительства и общественные явления в эпоху Второй Империи. Император Наполеон III⁸⁵ слушал его советы и принимал их с доверием. Ле-Пле не скрывал перед ним свой образ мыслей. Однажды в присутствии Морни⁸⁶ он сказал ему: «Ваше Величество, вас обманывают, Ваша Империя гибнет, и гибнет от двух причин: одно – всеобщая подача голосов, другое – теория национальностей. Теория эта вот к чему приведет вас – что Альзас⁸⁷ станет немецким краем. А всеобщее право голосов приведет вас к тому, что дворец, в котором вы в эту минуту говорите со мной, будет разрушен».

ким роковым образом. При виде развалин, накопившихся во Франции менее чем в одно столетие, благодаря одиннадцати революциям и безжизненности девятнадцати последовательных конституций, они преклонились пред разумностью метода, который, не удовлетворяясь теорией, ищет в самих фактах разрешения социальных вопросов, причем само собой пришлось спрашивать себя: не благоразумнее ли было бы обратиться к опыту всех народов, нежели полагаться на системы некомпетентных людей без авторитета? Таким образом, начиная с 1874 года, возникли во Франции и за ее пределами кружки сторонников тех принципов, на которых зиждется спасение народов; образовались союзы общественного мира; школа вышла из наблюдательного фазиса и стала на почву популяризации и практического применения.

В 1871 году Ле-Пле возвратился в Париж. Не занимая более никаких общественных должностей, он по окончании своих металлургических исследований мог уже вполне предаться классификации своих трудов по социальной науке, основанной на наблюдении, уверенный, что принесет этим более пользы своей родине, а с 1871 по 1879 год успел издать “*La paix Sociale après le désastre*” («Замирение общества после бедствий») и “*La Constitution de l’Angleterre*” («Конституция Англии») – одно из лучших его произведений.

Затем следовали: “*La Reforme en Europe et le Salut en France*” («Реформа в Европе и спасение Франции»), второе издание главного его труда “*Ouvriers Europeens*”, “*La Question Sociale*” («Социальный вопрос»), служащее дополнением к предыдущему сочинению, и, наконец, “*La Constitution essentielle de l’humanité*” («Основная конституция человеческого рода»).

В этой книге Ле-Пле резюмирует свои окончательные выводы и дает общую картину принципов и обычаев, с самых первых веков жизни человечества руководящих идеями, нравами и учреждениями благоденствующих народов. Эту книгу по широте и ясности взглядов можно назвать завещанием возвышенной души мыслителя, предчувствовавшего, что это будет последним его словом.

После «Духа законов» (предисловием коего, по мнению одного из известнейших критиков, могло бы служить сочинение “*Les Ouvriers Europeens*”) Ле-Пле своею основною конституцией человечества довершил науку о причинах благосостояния или гибели человеческих обществ.

Неутомимый мыслитель почти до последних дней жизни не покидал своих занятий. Вставая очень рано, он работал до самого вечера, прерывая работу только для подкрепления сил пищей и для небольшой прогулки. Большую часть своей жизни он провел у рабочего стола. Пока еще сохранялись его силы, он в течение дня не принимал никого, кроме людей близких или сотрудников, чтобы не потерять ни минуты строго распределенного времени, благодаря чему и мог довести до конца значительные труды свои.

Вечером он принадлежал посетителям, представляя им с достопочтенною своею супругой ободряющий пример встречаемой ясности и бодрости духа. Несмотря на возраставший упадок сил, дверь его была открыта для всех. Простота и доброта его производили чарующее впечатление. Было истинным наслаждением, оторвавшись от низменных материальных или тщеславных интересов, беседовать с этим живым олицетворением науки, благородства и душевного мира. Маленького роста, сухощавый, нервный и сгорбленный, одетый очень скромно, с отрывистою, короткою речью этот неутомимый поборник здравых социальных начал с первого раза не обращал на себя внимания; зато по мере знакомства с ним нельзя было не поражаться тонкими и выразительными чертами его лица, дышавшего внутренним спокойствием непоколебимого убеждения.

Единственною его задачей было служение все более и более распадавшемуся обществу и приобретение новых помощников, способных осуществить его мысли. Он с радостью следил за распространением периодического издания, основанного под его редакцией, и сам дал ему заглавие: «Социальная реформа» (“*Reforme Sociale*”).

Мысль, что сын его будет достойным его преемником и что преданные ученики, между которыми было немало вы-

дающихся людей, постараются разжечь зажженную им искру, доставляла ему большую отраду.

Итак, по мере приближения конца душа его, отрешаясь понемногу от житейских земных привязанностей, достигла величайшей ясности; религия, которую он считал неперменным основанием всякого земного благополучия, давала ему силу переносить недуги, истощавшие его тело, но не сокрушившие непобедимой энергии души его.

29 июня 1879 года он в день именин своих отпраздновал в кругу семьи и друзей то, что называл своею «золотою свадьбой» с социальной наукой, а несколько месяцев спустя, окончив второе издание “Ouvriers”, почувствовал первый приступ болезни сердца, заставившей опасаться за его жизнь. Вот выдержка из письма к другу, которое он написал, едва оправившись от болезни: «Любезный друг, во время моей второй болезни я снова предвкусил приближение вечной радости. Я не отношусь к жизни человека, как тщете и суете, как то делают некоторые мистики, а, напротив, вполне сознаю ее глубокое значение. Настоящая жизнь – это место, где определяется наше назначение в будущей. Мы должны считать себя счастливыми, что живем в ней, исполняя свои обязанности, из которых главная состоит в том, чтобы направлять наших граждан к вечной жизни. Чтобы утешить себя в минуту разлуки, я составил список друзей, способных продолжать мое дело»...

И смерть могла прийти к нему – он был готов. Вся его жизнь вела его к самоусовершенствованию: удаление от светской суеты, серьезные занятия, стремление к истине, любовь к родине, испытания, которые пришлось вынести его патриотическому чувству, неблагодарность, с которой отнеслись к нему многие, физические страдания, недавняя потеря обожаемых внучек, глубокие размышления и полное самообладание, с которым он спокойно ожидал смерти. Болезненные явления стали учащаться, тело ослабевало, но не утрачивало своей энергии, и он с лихорадочною деятельностью после каждого припадка спешил наверстать потерянное время, переживая, так сказать, себя самого.

Ле-Пле был врагом борьбы всякого рода, будучи прежде всего человеком мира. «Чтобы быть сильными, будьте в мире даже с воинствующими», – говорил он. Никакой девиз не мог бы лучше охарактеризовать его, как слова, вырвавшиеся из сердца блаж[енного] Августина⁸⁸: “Occidere errorem, diligere errantem” («Истреблять заблуждение и любить заблуждающегося»). Припомним еще слово псалма: «С ненавидящими мира бых мирен». Случалось несколько раз, что болезнь временно лишала его речи, и он не был в состоянии выразить свои мысли, но даже и тогда, когда не мог найти никакого другого слова, он не переставал произносить одно, которое беспрестанно шептали его бессильные уста: «Мир, мир». Душа его до самой последней минуты бытия сохранила за ним обладание этим словом, выражавшим священный девиз, составлявший основание и венец его жизни и воплощавший в себе его идеал...

Роковой час приближался, но мужество его не ослабевало. За два дня до смерти он еще принимал участие в приеме гостей, собиравшихся у него по понедельникам, и в шесть часов утра, в Великую Среду, причастился Св[ятых] Таин и старался подписать письмо папе, которому посылал собрание трудов своих.

По завету его, на похоронах у него не было никакой пышности. Самый просвещенный из друзей, каких когда-либо имел рабочий класс, заранее распорядился, чтобы сумма, которой стоили бы парадные похороны, была выдана на руки бедным, говоря, что никакие церемонии не увеличат значения трогательных заупокойных молитв. Но около гроба его собрались, соединенные одним и тем же чувством глубокого почтения, выдающиеся представители самых противоположных партий. На следующий день 11 апреля, на 76-й день своего рождения, незабвенный подвижник социальной науки был похоронен в семейной могиле близ Лиможа, в самом сердце Франции, близ могил Дагессо и Ге-Люссака. Человечество со временем поставит высоко чистый его облик и провозгласит его имя как имя праведного. Один из членов французской Академии сказал в порыве своей скорби, что «с этою потерей уменьшилась сила

человеческого разума». Добродетели Ле-Пле, его терпение, мужество, стойкость, доброта и благородство придали ему нравственную высоту, еще более выясняющую его заслуги как мыслителя и неутомимого деятеля, который, не касаясь злобы дня, забываемой назавтра, выдвинул на первый план принципы и законы, назначенные до конца веков действовать на развитие человеческих обществ.

Учение Ле-Пле оживилось новой силой после его смерти. Основанное им «Международное общество для практических исследований в социальной экономике» (*Societe inetrnationale des etudes pratiques d'economie Sociale*) с **каждым годом** приобретает большее значение. Совет его составлен из самых серьезных людей науки и общественных деятелей. Члены его во множестве рассеяны по всей Европе и Америке. Журнал, от имени его издаваемый, “**Reforme Sociale**”, посвящен распространению идей Ле-Пле и исследованию социальных вопросов по его методу. Около этого знамени собирается, возрастая постепенно, кружок истинных патриотов, одушевленных желанием вывести свое отечество, Францию, на путь спасения не новыми учреждениями и законами, не изобретением новых форм правительства, но восстановлением тех законных учреждений, которыми обеспечиваются повсюду порядок и благосостояние человеческих обществ.

В течение всей исторической своей жизни Франция испытала много потрясений и бедствий, но выходила из них и обновлялась силою тех самых нравственных начал, покуда они сохранялись в среде общественной. Цветущим временем в ее истории представляется, по мнению Ле-Пле, царствование св[ятого] Людовика⁸⁹: государство является первою политическою силою в Европе, государь славен мудростью своей и благочестием, внутри государства – мир и благосостояние. После него настает мрачная эпоха. Страшная столетняя война разоряет вконец народ и власть государственную. Но не тронута в народе вера, целы предания власти семейной и общественной, тверд Закон Заповедей, и потому лишь только Бог помог Деве Орлеанской⁹⁰ освободить отечество

от неприятелей и восстановить королевскую власть; скоро затем восстановилась и вся общественная организация. Затем после Людовика XII⁹¹ началась новая эпоха бедствий: злоупотребления чиновников, итальянская война, безумная роскошь королей из дома Валуа⁹², появление раскола, религиозные войны⁹³ – все это довело Францию до губительного состояния. Во второй половине XVI столетия английские стрелки, германские рейтары, испанские военные шайки, гугеноты⁹⁴, ополченцы лиги, неистовствуя повсюду, разносили по всему краю ужасы междоусобной войны; государственная власть унижена хуже еще того, что было в эпоху Орлеанской Девы, и наследнику престола приходится добывать его тяжкою продолжительною войной. Наконец, на этот раз потрясена и вера, сам ключ союза общественного, раздроблена расколом, заражена духом сомнения и неверия. Однако и в эту эпоху оказались целыми в народе нравственные основы. Лишь только Нантский эдикт⁹⁵ внес начало мира в смущенные совести, оживает государственная власть, оживает вера, враждовавшие вероисповедания одушевляются стремлением распространять христианское просвещение. И вскоре Франция вступила в эпоху высокой культуры нравственной, на образец всему европейскому миру: это был век Паскаля⁹⁶ и Декарта⁹⁷, Франциска-де-Саль⁹⁸, Винцентия Поля⁹⁹, век Тюренна¹⁰⁰ и Конде¹⁰¹. Но вслед за тем ослепленная власть стала забывать свое призвание и развратилась; в литературе обладали софизмы лживой философии, подрывающие веру. Настала страшная эпоха революции: государственная власть исчезла, королевское звание уничтожено, король обезглавлен¹⁰², разрушены святые места народной веры, и на место Христа поставлена богиня разума¹⁰³ в образе публичной женщины. Разрушены самые основы общественного быта декретами нового правительства в эпоху террора¹⁰⁴: родительская власть, дух семейного союза, национальные предания; хартия «прав человека»¹⁰⁵ (**Droits de l'homme**) поставлена на место Закона Божьих Заповедей. На этот раз дело разрушения доведено до конца – ничего не осталось. Франция, по спра-

ведливому замечанию Леруа Болье¹⁰⁶, уподобилась дому, сложенному из сухих камней без цемента; вековым цементом здания была религия; цемент этот разбит, и никто не знает, чем заменить его. С тех пор, вращаясь в заколдованном кругу революций, несчастная Франция ищет исцеления и не может найти его, переходя от одного пустого мечтания к другому. В 1789 году¹⁰⁷ умами овладела химера «свободы», которую мечтали водворить в новых учреждениях, тогда как ни в идеях, ни в нравах не было ничего похожего на свободу, а свобода превратилась в страшное насилие над жизнью и природой. Горький опыт отрезвил безумных поклонников революции, но сила нравственная иссякла уже в обществе и пути к водворению мира закрылись. В 1848 году умами овладела другая химера – химера демократии, которую задумали пересадить из Америки на несродную почву французской истории и быта. Непрерывный ряд новых потрясений привел, наконец, Францию к нынешнему безотрадному состоянию, в котором новая химера социализма господствует над умами, побуждая их искать в новом мечтательном учреждении мнимого уравнивания прав и благоденствия. Революционное начало извратило до такой степени действие общественного организма, что он уже не в силах выделить из себя крепких и разумных деятелей власти, и на месте власти являются образованные тем же началом деятели, бессильные или нравственно развращенные.

Французы-патриоты с ужасом видят, что все общество разделилось на множество враждующих между собою лагерей: вместо мира повсюду борьба, и притом борьба не только между отдельными деятелями или между партиями. Вражда непрерывная в среде коммун, в мастерских, в семьях. Люди способные, которые могли бы с разумом и авторитетом принять участие в делах местного управления, уклоняются от должностей, подчиненных государственной власти, в которую не верят, которую презирают. Не скрывая этого чувства, они передают его и подчиненным людям, так что вражда и страстное раздражение распространяются во всех сослови-

ях. В хозяйственных и промышленных предприятиях исчезла нравственная связь между хозяевами и рабочими: те и другие привыкли считать враждебными взаимные свои интересы и забыли думать о взаимных обязанностях службы и покровительства. Наконец, в среде семейной молодое поколение, отвергая родительскую власть и почтение к старшим, вырастает в совершенном отчуждении от вековых обычаев и преданий нравственного закона.

Нынешнее печальное состояние Франции должно бы служить поучительным примером для всех государств, издавна заимствующих от нее и законы, и учреждения, и формы общежития, и нравы, и увеселения.

Вот как изображает это состояние один из передовых представителей учения Ле-Пле. «В течение последних 15 лет наши государственные люди явили себя ярыми противниками Закона Заповедей и, по-видимому, поставили себе целью истребить все, что напоминает о Боге и о законе нравственном. В то время, когда все великие нации: Англия, Россия, Северная Америка – единодушно чтят религию как самое существенное из учреждений, наши правители из всех сил стараются устранить Бога отовсюду – и от колыбели младенца, и от постели умирающего, и от могилы. Они вычеркнули имя Божие из торжественной речи президента и из учебной книги школьника. Устранили Бога из школы, и мы видим, какую страшную, возрастающую жатву преступлений, совершаемых малолетними, приносит ежегодно такая школа. Устранили Бога из больницы, лишив несчастных, убогих, страдающих, умирающих последней надежды, последнего утешения. Хуже царедворцев и фаворитов, развращающих самовластного монарха, эти люди для укрепления своей власти действуют на низшие страсти самодержавной народной массы – неразумной, невежественной, безответственной, легковойной! Всеми способами стремятся они устранить Бога из души народной, возбуждая в массе безумную гордость, поощряя безнаказанностью развращение нравов, соблазняя народ кабаком для подбора голосов

на выборах. Так совершилось одно за другим нарушение двух первых заповедей – Богопочтения, третьей – о почитании воскресного дня, пятой – утверждающей родительскую власть, опору всякого доброго обычая. Мы дожили, наконец (говорит автор, намекая на Панамское дело), до восьмой заповеди: не укради. Каких еще можно требовать фактических доказательств того разорения, до которого дошли мы? Не ясно ли, что благосостояние нашего племени можно восстановить прочным образом не иначе, как утвердив его на двух неперменных основах: на Законе Божием и на родительской власти. К этой цели социального возрождения патриоты, все любящие Францию, должны направить всю свою деятельность, совокупить все свои усилия».

К. Победоносцев.

Свобода самоопределения

СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО

I

Свобода

Едва ли найдутся на человеческом языке еще другие три слова, которые произвели бы столько путаницы в понятиях, напустили бы столько туману в человеческие умы и распространили бы в массах народных столько губительного обольщения. Вначале они служили только девизом политической партии безумных людей, возмечтавших силою преобразовать человечество. Но этот девиз мало-помалу превратился в *ученье*, сделался *словом завета*, которое и безумные правитель-

ства понемногу привыкли бросать в народную массу, забыв о том, что масса народная, не способная к уразумению философских и политических учений во всей их целостности, принимает брошенное ей сверху понятие не разумом, а страстью и инстинктом ежедневной нужды и усваивает его себе *чувством и слепую верой*. Так мало-помалу три обольстительные слова сделались для масс народных заветом мечтательного и неопределенного блаженства, которого они считают себя вправе требовать от властителей; стали *знаменем*, под которым всякий агитатор может собирать неразумную толпу для низвержения существующего правительства. Из этих слов и понятий составила уже какая-то особая религия, смутная, неопределенная; вступая то в соперничество, то во вражду, то в союз с христианским верованьем, она приобретает оттого новую силу над умами и составляет в наши дни одну из самых значительных и тонких духовных сил, с которыми должны считаться многие правительства. Во Франции, овладев народными массами, эта новая религия привела уже к гибели государство, возмечтавшее, что может с нею справиться ее же оружием. Эта религия слагается от времени до времени, при помощи философских школ, в определенные формы, из коих самую замечательную составляет в наши дни так называемая *позитивная философия* Августа Конта¹⁰⁸ и его последователей. Прививаясь к другим историческим религиям, она проникает их и изменяет их сущность. Ей удавалось преобразовывать христианское учение в систему оптимизма с удержанием некоторых терминов церковной теологии в извращенном значении. Она успела уже глубоко проникнуть в политику и законодательство и извратить понятия самих консерваторов о самых основных предметах и правилах государственного управления, так что под влиянием ее самые непреклонные консерваторы действуют как самые яростные радикалы, к низвержению тех самых принципов, которые провозглашают еще по имени, но которых уже не чувствуют и не понимают. Можно назвать эту новую религию гуманитарною, религией человечества, как провидит и называет ее Август

Конт. Основное ее верование состоит в том, что род человеческий во всей совокупности призван на земле к осуществлению всеобщего благосостояния и блаженства и что прямой путь к достижению этих судеб состоит в устранении всякого стеснения личной человеческой деятельности во всех ее желаниях и проявлениях, в признании безусловного и существенного равенства между всеми человеческими существами и в братстве всеобщей взаимной любви. Вот догматы этой новой религии, за которые многие из ее последователей готовы идти на кровавую брань и на конечное истребление, из-за которых иные решились бы разрушить вселенную со всем ее порядком, чтобы на развалинах воздвигнуть свое знамя: «*Liberté, égalité, fraternité, ou la mort!*»¹⁰⁹.

Учение это распространяется быстро, тонкими путями, так что им заражаются невольно и многие из его философских противников. Было бы в высшей степени важно для отрезвления многих положительных умов разъяснение догматов этого учения посредством глубокого, беспристрастного и полного их анализа, ясного не только для специалистов школы, но и для массы, стоящей вне школы. Такого анализа еще нет покуда, хотя и есть частные к тому попытки. Один из самых замечательных опытов философской полемики с гуманитарным учением представляет появившееся нынешнею весною сочинение, заглавие которого выписано выше. Оно принадлежит перу известного в Англии политического мыслителя Стифена¹¹⁰ и направлено главным образом против положений, распространенных в публике сочинениями Джона Стюарта Милля «О свободе», «Об утилитаризме» и «О подчинении женщины». К сожалению, книга Стифена появилась уже по смерти Милля, когда знаменитый философ свободы не мог уже отвечать своему противнику.

Стифен начинает свою книгу с анализа известной формулы, выведенной Миллем для определения отношений общества к отдельному лицу в кругу его личности. По мнению Милля, при одном только условии или для одной только цели оправдывается принуждение, или стеснение лич-

ной свободы, каким бы то ни было способом – физической силой, законным прещением или нравственным действием общественного мнения, именно тогда только, когда это требуется для самозащиты (self protection), чтобы предупредить положительный вред. Стеснение свободы никоим образом не оправдывается желанием добра, нравственного или материального, стесняемому лицу. Ради его добра или счастья можно убеждать, но никак не стеснять его; для принуждения необходимо, чтобы со стороны его последовало действие, угрожающее вредом другому лицу.

Формула эта широка непомерно и в этом виде представляется парадоксом. Против него направлена аргументация Стифена. И нравственное учение, говорит он, и все возможные религии имеют в виду направление деятельности человеческой; но и нравственное учение, и религия разве не обращаются к надежде и к чувству страха в душе человеческой, и к страху гораздо еще более, нежели к надежде? Даже уголовное законодательство со своими прещениями бледнеет перед системою всякого нравственно-религиозного учения. Страх перед законом удерживает от преступного действия; но на один случай этого стеснения какое бесчисленное множество других, в которых человека сдерживает страх перед мнением соседей и ближних – санкция нравственная, или страх ввиду будущей жизни – санкция религиозная; или страх перед своей совестью! И в бесчисленном большинстве всех этих случаев неодобрение, или нравственная санкция, не имеет решительно ничего общего с началом самоограждения, на которое указывает Милль. Религиозная санкция, по существу своему, не может от него зависеть. Ни на суде Божиим, ни на суде совести нельзя сказать в оправдание: я поступил, как мне хотелось, и никому не сделал этим вреда. Положение Милля противно и устройству природы человеческой. Едва ли есть хоть один добрый навык, который можно было бы приобрести иначе как посредством стеснений, более или менее отяготительных. Таковы условия человеческой жизни, что мы почти во всяком действии своем побуждаемся и стесняемся внешними

обстоятельствами. К этому закону жизни применяется в потребных случаях и законодатель, применяется и руководитель общественного мнения. Закон, наказывая за убийство, за кражу, служит заменой частной мести, которая казнила бы еще строже, и казнила бы слепо. Если бы в законе были наказания за невоздержание, за пьянство и т[ому] под[обное], то и о них надлежало бы сказать то же самое.

Свободу, по мнению Милля, Стифен сравнивает со священным быком у индийских браминов. Брамины, чувствуя благодетельное значение скота в земледелии, объявили быка священным животным. Его нельзя останавливать, куда бы он ни шел, повалит ли загородку, зайдет ли в лавку и опрокинет или съест весь товар. Убивать его – преступление, хотя бы из жалости к его страданиям. Когда бык свалился со скалы и, разбившись, не в силах подняться так, что коршуны терзают его живого и выклевают глаза ему, все-таки (пусть умирает сам по себе) делать ему насилие невозможно.

Милль выставляет личную свободу состоянием неприкосновенным и первым законом бытия так, что всякое ее стеснение допускается лишь в одном, заранее определенном случае, по отвлеченной логике идеального закона свободы. Нашему автору вопрос о том, добро или зло свобода, представляется столь же нерациональным, как подобный вопрос об огне – добро или зло огонь? Добро или зло, смотря по времени, по месту, по обстоятельствам, так что обстоятельный ответ о свободе, в каких случаях она добро и в каких зло, вместил бы в себе не только целую историю человеческого рода, но и полное разрешение всех вопросов, которые возбуждает эта история. Все наше знание в нынешнем его состоянии недостаточно для того, чтобы вывести, как предполагает Милль, такое простое начало, которое служило бы безусловным руководящим правилом в отношениях общества к отдельному лицу на случай стеснения или надзора. Мы должны ограничиться внимательною проверкою каждого отдельного случая, в коем предполагается стеснение. В этом смысле Стифен выводит следующие положения. Стеснение вредно: 1) когда оно имеет в виду дур-

ную, лживую цель; 2) когда цель добрая, но мера стеснения не рассчитана для достижения цели, напр[имер] производит одно раздражение; 3) когда цель добрая, но стеснение превышает меру, потребную для достижения цели.

Таким образом, разрушая конструкцию идеи *о свободе*, предлагаемую Миллем и действительно несостоятельную в применении к действительности, Стифен предлагает свою конструкцию идеи *о принуждении* или стеснении. Но строгая логика заставляет его быть последовательным в развитии этой идеи, и сам он в обобщении практического понятия о стеснении впадает в такую же крайность, в какую впал Милль в обобщении идеального понятия о свободе. Множество глубоких истин и метких суждений рассеяно в сочинении Стифена, но в положительной его части, в выводах которые он делает из своего ученья, слышатся иногда жестокие слова, о которых можно сказать: кто может его послушать? Так, например, в деле веры Стифен допускает *принуждение*, как и во всех прочих делах, серьезно указывая, что ни одно вероисповедание нигде не утверждалось без принуждения. Не находя возможности указать какой-либо отвлеченный критерий истины, ради коей оправдывается или осуждается принуждение, он относит все к усмотрению, по мере потребности (*expediency*), той или другой общественной власти. Автор, по-видимому, – верующий человек и имеет глубокое понятие о вере, но в тех выводах, к которым он иногда приходит, чувствуется какой-то скептицизм, слышится как будто Пилатов¹¹¹ вопрос: что есть истина? Если и в делах веры допускается стеснение, то тем более натуральным находит его автор в свободе мнения и рассуждения. Любопытно сравнить в этом случае слова Милля с возражением Стифена. Вот что говорит Милль:

«Наша общественная нетерпимость сама по себе не убивает никого, не искореняет мнений, но принуждает людей маскировать мнение или воздерживаться от деятельных усилий в распространении их. У нас о неправовых мнениях нельзя сказать, чтобы они заметно усиливались или ослабевали с каждым поколением: они не расходятся вширь, но продол-

жают мерцать и тлеть в тесных кружках мыслящих людей, в среде коих возникли, и не являются осветить общий вид дел человеческих ни истинным, ни обманчивым светом. Так подерживается состояние, удовлетворительное для некоторых умов, потому что избавляет от тягостной обязанности судить и наказывать за мнения и вместе с тем ограждает, по крайней мере наружно, мнения господствующие от всякого смятения, хотя и не устраняет решительно возможности действовать разумом у неправовверных, зараженных болезнью мышления. Средство очень удобное для охранения мира в среде умственной жизни и для поддержания всех дел и порядков в существующем виде. Но мы платим за это средство дорогою ценою – утратою нравственного мужества в человеческом духе... Как исчислить громадный ущерб для целого мира от того, что множество даровитых умов со слабым характером не смеют дать воли смелому, сильному, самостоятельному мышлению только из опасения, что оно приведет их к выводу, который по общему мнению окажется не нравственным или нерелигиозным».

Вот что говорит Милль, увлекаясь, очевидно, своей абсолютной доктриной и не допуская даже того отпора, который дает общественное мнение слову, оскорбляющему нравственное или религиозное чувство. Требовать, чтобы общественное мнение безмолвствовало или покорялось в этом случае, значит допускать своего рода насилие в пользу частного мнения над общественным, и притом насилие дешевое, ничего не стоящее всякому, кто захочет сказать свое хотя бы безумное и соблазнительное слово. «Мне кажется, – возражает Стифен, – что обнародование мнений о нравственности, о политике, о религии – действие великой важности; что ниспровержение мнений, на которых утверждается общественный порядок, – такое действие, которое, по существу своему, сопряжено с опасностью. Я нисколько не хочу этим выразить, что к действиям этого рода вовсе не следует приступать, напротив, следует во многих случаях; но пусть же тот, кто приступает к ним, делает это, как боец, с оружием в руках; ему неприлично удивляться

и негодовать, что он встречает яростный отпор на брешах, через которую идет на приступ. Единственная причина Миллева негодования на общественную нетерпимость состоит в том, что робким людям она препятствует выражать непопулярные мнения. В одной старинной балладе есть рассказ о том, как рыцарь, заблудившись в горах, попал в подземную залу, наполненную очарованными рыцарями: каждый из них лежал без движения, в полном вооружении, и возле каждого стоял в ожидании боевой конь его... На камне лежал меч рядом с рогом, и страннику было сказано, что если хочет добыть себе бранную рать, пусть выбирает одно из двух – меч или рог. Он выбрал рог и затрубил, в ту минуту и рыцари, и кони – все пропало, а странник очутился опять на горе, в обыденной жизни, и вслед ему по ветру слышались слова:

“Тот подлый трус и недостойн бою,
Кто сам, не взяв меча, зовет других трубою”.

Никто не вправе подавать сигнал к бою, покуда сам первый не обнажит меч и не сумеет защитить себя. Когда он сам боец, пусть трубит на все четыре конца, и если звуки его стоят того, чтобы их слушали, к нему соберется множество. Покуда человек сам еще не составил себе обстоятельного мнения о предметах такой важности, не обдумал его старательно, не удостоверился в его великом значении и не решился на риск объявить его во всеулышание, до тех пор, по всей вероятности, мнение это таково, что не стоит быть объявленным. Умозрение о правительстве, о нравственности, о религии – предмет великой жизненной важности, а не просто предмет праздного любопытства».

В сфере нравственной Милль, следуя, безусловно, своему принципу, не допускает стеснения свободы, если действие, хотя бы и безнравственное, не нарушает прямо *чьих-либо* определенных прав. На этом основании, с точки зрения Милля, не допускаются никакие предупредительные или стеснительные меры против общества, преследующего безнравственную цель,

например пропаганду разврата, занимающегося совращением женщин и молодых людей на распутство. Стифен опровергает эту странную теорию, доказывая существенную важность поддержания в обществе нравственной идеи на высоте идеала. «Люди, – говорит он, – что собаки на своре: вместе связаны и рвутся в разные стороны. По мнению Милля, пусть они разбегаются, куда хотят. Совет соблазнительный, но подумаем, что когда разбегутся все, то окажется между ними неровность, и тогда никаким рассуждением, никаким счетом голосов не соберешь бегущих и не помешаешь тем, которые сильнее и лучше бегут, увлечь за собою остальных в свою сторону. В сфере нравственной, так же как в религии, брань и столкновение между людьми неизбежны. Добрый и злой, добрый с добрым, злой со злым другого оттенка – стоят врагами друг против друга: между ними борьба действительная, существенная и вечная. С другой стороны, побуждения, клонящиеся к соединению людей к доброй взаимности, еще многочисленнее, еще сильнее разъединяющих побуждений. Этим борьба не устраняется, но с борьбой соединяются мотивы дружбы и благоволения, которые удерживают ее в границах и не доводят до крайности. Главный интерес жизни состоит в столкновении этих противоположных побуждений. Полная нравственная терпимость возможна лишь в таком случае, когда люди станут совсем равнодушны друг к другу – это значит конец обществу... Главное искусство жизни состоит не в избегании борьбы, а в умении вести ее с наименьшею обидой для бойцов, которые все-таки скорее друзья, чем враги между собой, и не преувеличивать через меру важность предмета, возбудившего столкновение. Итак, настоящее дело терпимости – смягчать, по возможности, неизбежную борьбу. Но терпимость переходит меру и становится неразумною, когда предпринимает устранить борьбу во все, тогда она клонится к величайшему из зол – к водворению между людьми равнодушия и уединения».

Указывая на принуждение в самой страшной и решительной форме войны, Стифен заключает, что война неизбежно представляется одним из коренных начал национальной само-

бытности. Войною решается, быть или не быть нации и чем ей быть. Решается, во что станут верить люди, как станут жить, в какую форму отольется у них религия, нравственность, целый строй жизни. Война – это *ultima ratio*¹¹² не только для царей, но и для человеческого общества во всех его видах. Война решит окончательно и вопрос о том, какая доля, великая или малая, предоставлена будет личной свободе в том или другом месте, в то или в другое время. Из этой великой истины вытекает много выводов, которые все сходятся к одному следующему. *Сила повсюду предшествует свободе. Свобода по самому существу своему зависит от силы.* Свобода, какая бы то ни была, может существовать лишь под покровом могущественного, благоустроенного и разумного правительства.

Жесткое слово, надобно иметь немало мужества, чтобы высказать его ввиду того идеала свободы, к которому обращены с верою воззрения нашего века. Но разве не то же самое говорят нам с поражающею силой события последнего времени из Германии, из Франции, из Испании, из самой Англии, выработавшей себе силою нынешние формы гражданской свободы?

Слова *свобода* и *вольность* употребляются энтузиастами во всех возможных значениях, какое кому угодно придавать им. Но всего употребительнее слово свобода, говорит Стифен, в применении к народному правлению. Говоря о свободе, люди вообще разумеют демократию, или тот образ правления, который подходит к демократии ближе существующего у них на сей раз. Между тем демократия, в собственном смысле, вовсе не состоит в определительном отношении к свободе. Степень вмешательства в личные права и отношения, допускаемого тем или другим правительством, почти совсем не зависит от образа правления, а зависит от пространства страны, от густоты населения, от народного, опытом утвержденного сознания о взаимной друг от друга зависимости, от национального духа и нрава и т[ому] под[обного].

Воображать, будто можно определить на весах логики истинное значение народных требований, значит обманывать себя мечтою. Чтобы понять значение энтузиазма, возбуждае-

мого в народной массе свободой, для этого недостаточен простой анализ слова «свобода». В поэзии и в восторженных речах всякого рода это слово означает и более, и менее чем простое отсутствие стеснения. Оно означает отсутствие того именно стеснения, которое говорящему о свободе представляется тяжким, и означает вместе с тем присутствие особенной силы, свободно действующей в том направлении, которое представляется желательным... Крики о свободе обыкновенно содержат в себе общее осуждение прошедшему и прославление настоящего, поскольку оно рознится с прошедшим, и будущего, поскольку можно заключить о нем сходно с настоящим.

В этом смысле энтузиазм к свободе едва ли возможно согласить с сознанием всей важности повиновения и дисциплины в обширном смысле слова. Когда дух преисполнен хвалою настоящему времени и успеху в сопротивлении власти, которая предполагается безумною и насильственной, в таком состоянии уже невозможно сознавать, что подчинение высшему себя с добросовестною решимостью действовать в пределах законной необходимости есть гражданская добродетель, без которой невозможно великое и прочное дело... На практике частое повторение общих мест о свободе ведет к тому, что в обыкновенных умах, в массе возникает упорное предубеждение против повиновения кому бы то ни было, а в остальных классах общества естественно развивается печальная способность – предаться первому, кто, обладая сильною самоуверенностью и горячностью, потребует себе повиновенья. Этот напущенный энтузиазм успел уже расшатать и разломать большую часть старых форм, основанных на подчинении, и, конечно, не в состоянии был создать новые формы, достаточные для замены прежних. Из всего этого следует вот какой практический вывод. Люди, обладающие даром восторженного слова, должны бы воздержаться от повального прославления свободы. Лучше, добросовестнее поступили бы они, когда бы прежде, чем приходить в восторг по тому или другому случаю, спросили себя: какая свобода? Кому надо дать какую свободу? Кого и от какого стеснения избавить? – и постарались бы ответить на

эти вопросы обстоятельно. Тот же самый совет, разумеется, относится и к повальным противникам *всякой* свободы.

По поводу речи о свободе автор обращается к сочинениям двух писателей, представляющих полнейший контраст в суждении об этом предмете – Бокля¹¹³ и Деместра¹¹⁴. Ни с тем, ни с другим он не согласен. Вот его меткие замечания на систему Бокля.

По мнению Бокля, вся история человечества состоит из непрерывной борьбы между духом скептицизма, в котором он видит прогресс и цивилизацию, и духом покровительства, в котором ничего не признает кроме мрака и заблуждения. Не похоже ли на то, как бы кто стал восхвалять центробежную силу в ущерб силе центростремительной и называть последнюю темною силой, стремящейся бросить землю на солнце? Такой же разумный человек и на том же основании мог бы возразить: неправда, напротив, сила центробежная – вот первый и вечный вред. Она безумно стремится повергнуть шар земной в пространство, в мрак и холод и успела бы в том, когда бы друг наш, сила центростремительная, не притягивал землю постоянно к источнику тепла и света. И то и другое мнение – вздор: земля движется по своей орбите, которая составляет результат взаимного действия как той, так и другой силы.

Удивляет меня, что люди могут приходить в такой энтузиазм либо от результата, либо от той или другой из причин, производящих результат. Возьмем результат. Скажем, круглым числом – 300 миллионов китайцев, 22 миллиона индейских туземцев, 200 миллионов европейцев и североамериканцев и 100 миллионов всякой смеси в Средней Азии, на островах и пр[очая]; ко всему этому прибавим библиотеку Британского музея. Вот чистый результат безмерно долгой борьбы между силами человеческими и всякого рода тягестями и давлениями, которые требовалось устранить или сдвинуть. Энтузиасты прогресса поют по этому случаю гимн, которого я понять не могу. «Слава! Слава! Приближается время, когда будет 600 миллионов китайцев, 500 миллионов индусов, 400 миллионов европейцев и Бог весть сколько еще сотен всевозмож-

ного черного народу, и сверх того – два Британских музея с библиотекою в каждом». Но конец этого странного гимна еще непонятнее: «Да! И если бы не проклятые узы, которыми тираны связывают силу человеческую, было бы 800 миллионов китайцев, 700 миллионов индусов и так далее в том же размере!» Какое заблуждение! Да в чем же будет сила, что от нее останется, когда вы освободите эту силу, разлучите ее с материей и с трением? Сила ваша исчезнет в пустом пространстве.

Весь демократический девиз в своей совокупности заключает в себе коренное противоречие, говорит Стифен. Если что успел доказать человеческий опыт, то доказал несомненно, что когда стеснения доведены до наименьшей меры, когда людям предоставлена наибольшая, какая возможна, доля свободы, то в результате происходит не равенство, а, напротив того, *неравенство*, усиливающееся в геометрической прогрессии. Из всех видов свободы, конечно, самый важный – свобода в приобретении собственности. Если в этом человек ограничен, то трудно даже представить себе, какая за тем остается у него свобода. Всякая частная собственность происходит от труда в пользу работника, а частная собственность составляет саму сущность неравенства. Но предположим, что всякий человек имеет право на безусловное равенство со всяким другим, так как все неразрывно друг с другом связаны, и что произведения труда всех и каждого обращаются в общий капитал, из которого все одинаково получают содержание, в результате получится осязательное сознание равенства и братства, но свободу придется исключить решительно. Опыт показывает, что в этом именно состоит не только теоретическое, но и практическое затруднение и непреодолимое препятствие к осуществлению на практике всех планов, создаваемых социалистами.

В одном только смысле можно понять и объяснить последовательно республиканский девиз: если под словом *свобода* разуместь *демократию*. Установление демократического правления с признанием всеобщего братства и с равным распределением собственности – вот план, в полном смысле ясный, и нельзя придать девизу иного значения, когда он употребляется

в серьезном смысле, а не в смысле погрешки. Но уже в таком случае следует к девизу и прибавка: «Свобода, равенство, братство – *или смерть*». Эти пять слов явственно означают полную политическую систему со всеми ее практическими последствиями, сущность ее, цели, к которым и она направлена, и наказание, которое угрожает ослушникам ее уставов. Эта система выражает в самой определительной форме всю горечь и ярость, какая только может накопиться в душе у самых завистливых и злобных членов общества, которым не повезло в жизни по желанию, против предполагаемых притеснителей. Бедные говорят богатым: мы теперь ваши владыки с установлением свободы, так как свобода означает демократию; а <так> как все люди братья и имеют право на равную часть в общем капитале, то отдавайте нам все, что у вас есть, или будете преданы смерти. Пусть же все те, кого привлекает блестящий республиканский девиз, спросят себя по совести: то ли они понимают в этом девизе и того ли им хочется? А если нет, то где они проводят черту между этим и своим понятием? Я думаю, всякий, у кого есть разум, чтобы понять крайнюю сложность задачи, убедится в том, что девиз или оставляет задачу далеко позади себя, или ровно ничего не дает к ее разрешению.

II

Равенство

Из всех трех понятий, соответствующих словам девиза, Стифен находит, что понятие о равенстве наиболее возмущенное и наименее определительное. Всякий понимает в нем разное. В большей части случаев слово это служит смутным выражением зависти неимущих к имущим или смутного стремления к такому общественному состоянию, в котором не было бы, как ныне, резких противоположностей между людьми в материальной их доле. Так смутно и неудовлетворительно это учение, что трудно и спорить с ним, не прибегая к повторению общих мест. Автор входит и по этому предмету в анализ

учения о равенстве, как оно выражено у Бентама¹¹⁵ и у Милля в связи с учением об утилитаризме. Он останавливается в особенности на двух главных предметах проповедуемого Миллем равенства: на равенстве женщины с мужчиною и на равенстве в распределении политической власти.

Теория Милля по вопросу о женщине выражается в следующих четырех положениях.

1. Справедливость требует, чтобы все люди жили в обществе как равные.

2. История показывает, что поступательный ход прогресса постоянно возводил человечество от владычества «закона силы» к такому состоянию, в котором приказание с одной и повиновение с другой стороны представляются исключительными явлениями, выходящими из общего порядка, предполагающего сообщество равных с равными.

3. Как скоро «право сильного» утратило свое значение в Англии и во многих других странах почти по всем отношениям жизни, то не должно оно простираться и на отношения между мужчиной и женщиной.

4. Множеством известных фактов подтверждается, что это отношение, по своей сущности, допускает вполне такое уравнение.

Каждое из этих положений Стифен отвергает решительно.

Из первого положения следует, что *нет* между человеческими существами никакого неравенства, которое могло бы иметь влияние на определение законных прав и обязанностей, и что, стало быть, справедливый закон не должен предполагать неравенства между людьми. Неправда, отвечает Стифен. Закон, если надобно ему удовлетворять своей цели, если пишется он в правду, должен соответствовать как можно полнее существующему состоянию общества, закон должен быть впопору обществу, как платье человеку, должен быть устроен по его строю и по цели своей, как устраивается хирургический или ортопедический снаряд, когда имеется в виду поддержать тело или направить его положение. Стало быть, какие есть неровности в положении членов общества, тех закон не может оста-

вить без внимания. Существование этих неровностей, и весьма значительных, есть факт очевидный для всякого. Главные из них – неровности в возрасте и в поле. Сам Милль вынужден признать первую неровность, и потому не только не отвергает необходимость воспитания, но расположен скорее преувеличивать его значение.

Между тем что следует из одной этой неровности? Следует то, что у самого входа в жизнь ждут человека приказание и повиновение и непременно, по необходимости, простирают свое действие на самую важную долю его жизни – до совершенных лет. Следует дальше, что уже простым действием времени одни люди приобретают в отношении к другим неравное, высшее положение, которое все века и все народы, от диких до самых образованных, всячески старались соединить с чувством почтения и страха. Лучшею частью рода человеческого присвоено Божеству имя Отца, потому что с этим именем естественно соединяются понятия о любви, почтении и повиновении. Без сомнения, тот, кем в первый раз произнесено слово: Чти отца твоего и мать твою, да долголетен будеши на земли, – глубже и совершеннее разумел, что нужно для прочности народного бытия и благосостояния, нежели сочинитель девиза о свободе, равенстве и братстве.

Если необходимо признать неравенство возраста и положить его в основание неравенства в правах великой важности, то как же не признать на том же основании неравенство пола? Но есть ли оно в действительности? Есть положения, которые крайне трудно доказывать, потому что они не требуют доказательства по всеобщей очевидности. Все частности физического устройства указывают на физическое неравенство того и другого пола. Чтобы ни говорил об этом Милль, хотя бы со всем миром, все эти речи не опровергнут очевидной истины, что мужчина сильнее и крепче женщины. Эта истина, признанная повсюду, во всех веках и народах и при всяческих обстоятельствах, повсюду вызвала и существующее, общеизвестное разделение труда между мужчиной и женщиной. Все это факты, которых не может не признать закон и общественное мнение.

Иной вопрос: в каком смысле признать его и к каким различиям должно оно вести в законном положении мужчины как мужчины и женщины как женщины?

Возьмем пример. Мужчина подвергается обязательно военной службе. Начинается война – производится конскрипция¹¹⁶. Следует ли подвергать ей и женщину наравне с мужчиной? Кто мне скажет, что следует, с тем больше и говорить нечего, потому что всякая аргументация невозможна. Но кто соглашается, что не следует, тот, стало быть, признает необходимость неравного отношения, основанного на коренном неравенстве; а если в одном случае есть это признание, то какую чертою его ограничить? Возьмем другой пример – воспитание, дело великой важности и для государства. Следует ли мальчиков воспитывать вместе с девочками и учить одинаково? Учить ли мальчиков шитью, домоводству, кухонному искусству? Станут ли девочки играть в крикет, грести и бегать наравне с мальчиками? Кто скажет – нет, тот уже признает неравенство пола и допускает неравенство воспитания.

Идем дальше, к центральной точке всего вопроса – к браку. Брак – один из тех предметов, которых не может обойти ни закон, ни нравственное мнение. Как же тому и другому надлежит смотреть на брак: как на договор между равными или как на договор между более сильной и менее сильной или слабой стороною, предполагающей по некоторым предметам необходимое подчинение слабейшего сильнейшему? Я утверждаю, что первое мнение будет основано на обманчивом предположении и непременно ведет к самой жестокой несправедливости относительно женщины. Если стороны равны, то неизбежно допустить, что брак, подобно всякому договорному сообществу, может быть произвольно разрушен. Проповедники прав женщины чрезвычайно старательно обходят этот деликатный вопрос. У Милля в его книге ничего об этом не сказано явственно; хотя из принятых им начал следует, по строгой логике, этот самый вывод. Если таков будет закон, то в силу его жены станут подлинно рабами мужей своих. Женщина теряет качества, привлекающие мужчину, гораздо ранее, чем муж-

чина теряет качества, привлекающие женщину. Связь между матерью и малолетними детьми гораздо теснее, нежели связь их с отцом. Итак, из десяти случаев в девяти, наверное, женщина, утратившая молодость, при детях, будет совершенно во власти мужа, если от него зависит разорвать союз, когда ему угодно. Вот одно неравенство, которое нельзя не иметь в виду при определении договора, если договор должен служить ко благу обеих сторон. Вот и другое неравенство. Мужчина, когда вступает в брак, большею частью так или иначе устроился в жизни. Издержки его, конечно, прибавляются, но он несколько не расстраивает себя в способах добывать хлеб насущный. Напротив, женщина, когда выходит замуж, по необходимости (кроме редких и исключительных случаев) теряет возможность заниматься другим промыслом, кроме домашнего, и в этом не может иметь других товарищей, кроме одного – мужа. Много еще можно указать других и очень важных статей, но и этих двух достаточно для убеждения в том, что брачный договор невозможно приравнять к договорам между равными.

Милль уверяет, что в браке не встречается ни малейшей надобности в употреблении власти с одной стороны и в повиновении с другой, разве союз окажется вовсе неудачным, и в таком случае для обеих сторон лучшим исходом будет освободиться от такого союза. Эти слова Милля доказывают, что он совсем не понимает, в чем сущность семейной власти и не дает себе этого отчета, в каких случаях возникают между мужем и женой вопросы о решении и повиновении. Нет и спора, что муж не вправе обращаться с женою, как с рабою подвластною, и суровое обращение может быть законным поводом к разводу. Совсем в ином смысле возникает вопрос о повиновении между супругами, состоящими в наилучшем отношении взаимной любви, и несколько не нарушает этого чувства, точно также как на корабле начальственное право капитана несколько не препятствует ему быть в близком дружеском отношении со старшим офицером. Возьмем хоть такие вопросы домашнего быта: как нам устроить образ жизни? Знакомиться ли с такими и такими людьми? Решаться ли мне, мужу, на такое-то

предприятие, и если решусь, переезжать ли нам на житье в другое место? Отдать ли сына в коллегию? Посылать ли дочерей в школу или взять гувернантку? Куда готовить сыновей? По множеству подобных вопросов самые согласные супруги могут расходиться в мнениях. Как поступить в этом случае? Я утверждаю, что жена должна поступиться своим мнением; должна повиноваться мужу и действовать так, как он решит, точно так же как на корабле, когда капитан отдает приказ рубить мачты, старший офицер обязан исполнить приказание, хотя бы не согласен был и хотя бы разумел морское дело лучше капитана. Смотреть на эту обязанность, как на унижение, как на обиду – вот в чем зло, вот что обличает не дух достоинства и мужества, а низкое, недостойное, мятежное расположение духа, расположение, разрушающее в жизни все, ради чего стоит жить на свете. В основании его лежит такая мысль, что низко уступать свою волю другой воле, и в этом я вижу корень всего зла, отрицание силы, без которой невозможна ни в чем совокупная деятельность. На какое бы дело люди ни соединились для совокупной деятельности: сшить ли пару сапог, управлять ли государством – нет ни малого, ни великого дела, в котором кому-нибудь одному не принадлежала бы власть решать, сила последнего слова. Это и значит – власть приказывать и повиновение. Разумеется, тот, кто в данную минуту приказывает, будет безумцем, если лишит себя возможности воспользоваться советом, если станет во всем упорно держаться одного своего мнения, если захочет только решать и откажется выслушивать; но и то практически верно, что он будет тем более расположен выслушивать, чем более важности придастся его решению.

Итак, мне кажется, что законы и нравственные правила, на которых должно держаться отношение между мужчиною и женщиной, должны клониться к одной цели: обеспечить общее благо той и другой половине рода человеческого, так как обе они связаны самыми тесными и прочными узами и не могут иметь противоположных интересов, как не имеют их различные члены одного тела, хотя и рождаются между собою в силе и в назначении.

Эту задачу право и нравственность разрешают признанием в единоженстве неразрывного брака, с подчинением жены мужу и с разделением труда. Остановливаясь на остальных предположениях Милля, Стифен предлагает вопросы. Точно ли закон силы, право сильного оставлено и не действует? Точно ли это обстоятельство способствует равенству? Справедливо ли, что весь ход событий последнего времени направлен к устранению этого закона силы?

Сила, отвечает автор, составляет существенно необходимый элемент всякого закона. Закон есть не что иное, как регулятивная сила, действующая в особенных условиях и направленная к известной цели. Итак, устранение закона силы каким образом не означает устранение элемента силы из закона, ибо в таком случае сам закон был бы разрушен.

Но, говоря о законе силы, Милль, по-видимому, понимает силу, не управляемую никаким законом. Ему следовало бы это выразить явственно, но в таком случае он впал бы в явное противоречие с фактами, ибо брачное право в новейшем европейском законодательстве никак не может служить примером силы, не управляемой законом. Напротив того, это именно пример того, как закон строжайшим образом обуздывает самую сильную из страстей человеческих. Можно ли сомневаться, что установлением единоженства и неразрывности брака действительно обузданы были самые пылкие страсти и самые своенравные характеры в мрачную эпоху и в Средние века, и что эта узда была в высшей степени благодетельна для всего человеческого общества, и для женщин в особенности. Де Местр совершенно справедливо в этом случае отдает честь средневековому духовенству за то, что оно отстаивало эти основные начала нравственности против непрерывных попыток попятить их и нарушить со стороны королей и знатных лиц в такую эпоху, когда владычество страсти не знало себе границ.

Не подлежит сомнению, что во всех учреждениях, особенно в тех, которые имеют отношение к закону и к правлению, видно постоянное стремление к устранению отличий, особенностей и к упрощению закона. Этому много причин,

и самая главная та, что все человеческие общества растут и изменяются в нравах и обычаях и т[ак] д[алее], так что прежние учреждения оказываются неподходящими, а иногда и вовсе теряют значение в новом состоянии общества. Одно из важнейших изменений, как указывает Милль, состоит в том, что общественное положение человека и отношение его к другим людям в старину определялись *состоянием*, в котором он родился, а в последовательном развитии общества природное отношение заменяется мало-помалу отношением вольным, договорным. Но разве это означает, что сила, действительная в прежнем состоянии, вовсе исчезла? Нет, она только *изменила форму свою*. В XIV столетии Шотландия, например, представляла картину полного разгула дикой, беспорядочной силы и общественной войны всякого рода; ныне Шотландия – спокойная страна промышленности, торговли, земледелия. Неужели это значит, что тогда Шотландия была вполне под законом силы, а ныне совсем не подлежит ему? Это было бы детское заключение. На том же основании следовало бы заключить, что нестройное судно с грубым и мятежным экипажем, проводящим время в драке посреди моря, служит выражением силы, а пароход, перевозящий сотни людей на край вселенной так быстро и спокойно, что не заметно движения и не видно суетливой работы, не выражает никакой силы. Ныне сила действует спокойно и незаметно, потому что никто не сомневается в ее присутствии, в ее направлении, в ее превосходстве, которым в минуту сокрушено будет всякое сопротивление.

И напрасно уверяют, продолжает Стифен, будто поступательное движение общества от природного состояния к договорному способствует равенству. Я не стану разбирать сущность этого изменения. Может быть, и в самом деле то состояние общества самое научное и самое желательное, в котором все отношения между людьми разрешаются в виде задельной платы всякого рода; одно только верно, что в результате от этого и выходит не желаемое равенство, а, напротив, неравенство, и притом в самой резкой и наименее сочувственной

форме. Общество обращается в одну необъятную машину, и все силы этой машины сосредоточены в одном установлении, которое носит звание общественной власти и состоит из законодательного и исполнительного департамента с войском и полицией. Направление, в котором действует эта сила, определено законами, прилагаемыми ко всем возможным случаям с постоянно возрастающей точностью и неуклонностью (inflexibility). Всякому предоставляется просить о применении этих законов к его потребностям по своему лучшему усмотрению. И законы эти сводятся к четырем статьям: не делай преступления, не нарушай чужого права, исполняй свои договоры, пользуйся вместе со всеми своими тем, что успел добыть себе. И разве можно уверять серьезно, а не в виде жалкой иронии, что такое состояние общества благоприятствует равенству, что оно ведет к устранению приказания и повиновения, что им уничтожено действие силы и т[ому] п[одобное]? Какое может быть равенство между богатым и бедным, между сальным и сдобным, между добрым и злым? В особенности же, какое равенство между человеком хорошей фамилии и хорошего воспитания, сыном заботливых, умных, зажиточных родителей и другим, низкой породы, без образования, сыном родителей, которые ничему доброму не могли научить и ничего доброго не могли передать? Правда, конечно, что в наше время немного остается неравенства в титулах. Правда, мы достигли того, что политическая власть у нас вся разрезана на множество маленьких долей, которые мы не перестаем еще с торжеством урезывать и будем урезывать до таких миниатюрных кусочков, что доля каждого окажется лишенною всякого значения. И со всем тем действительные, существенные неравенства всякого рода, в богатстве, в дарованиях, в чувствах и понятиях и даже в религиозном убеждении, то есть в самой крепкой основе долга, никогда не были так явственны, как в наше время. Едва ли когда-нибудь власть отдельных людей над соседями и ближними бывала определена такими резкими чертами и сопровождалась такую легкостью и таким удобством в своем осуществлении.

Смутное понятие о всеобщем равенстве определительнее всего выражается в теории политического равенства. Бесспорно, в течение последних поколений во всем мире совершается преобразование, ведущее к дробному разделению политической власти. Господствующая теория правления проповедует, что всякому должно принадлежать политическое право голоса, что этими голосами должно быть избираемо законодательное собрание и что это собрание должно управлять общественными делами посредством доверенных людей, которые сохраняют власть, пока пользуются его доверием. Эта теория развивается и утверждается все более и более. Ясно как день, что она господствует и, по всей вероятности, будет еще долго господствовать над умами. Как посудит о ней разумный человек со здравым смыслом? Я совершенно понимаю, что ее следует обсуждать критически, как всякий факт, беспристрастно, со всех сторон; но вот чего не могу понять: как возможно питать к ней чувство энтузиазма и благоговения. А энтузиастам этой системы нет числа и меры. Возьмите лист любой газеты, посмотрите любую книгу политического содержания – повсюду, за немногими исключениями, встречаются успехи демократии, приближение всеобщей подачи голосов с чувством, близким к религиозной восторженности. Этого восторга я не признаю.

Укажу на обстоятельство, обыкновенно оставляемое без внимания. Пишите какие угодно законы, устанавливайте всеобщую подачу голосов в силу непреложного завета – все-таки от равенства будет так же далеко, как и прежде. Окажется, что политическая власть переменила только форму, а сущность ее та же. Раздробите ее на множество маленьких кусочков, что из этого выйдет? Только то, что кому удастся сложить как можно более этих кусочков в одну кучу, тот и будет над всеми властителем. Править будет тот, кто тем ли, другим ли способом явит себя самым сильным человеком. Если правление военное, те качества, которые являют человека великим воином, сделают его владыкой. Если правление монархическое, власть будет зависеть от тех качеств, которые монарх полагает в советнике, военачальнике, администрато-

ре. В чистой демократии владыками будут те люди, у кого в руках скрытые пружины движения, со своими друзьями; но между ними и между их избирателями все-таки будет столь же мало равенства, как между военачальниками или министрами и всеми подданными монархии. Перемены в форме правления изменяют значительно условия властительства и очень мало действуют на сущность его. В одну эпоху – сильный характер, в другую – хитрая ловкость, в иную – деловое искусство, у одних – красноречие, у других – умение пользоваться ходячими в обществе понятиями и прилагать их к практическим целям – вот что в разные времена дает тому или другому человеку способ взобраться на плечи к своим ближним и направлять их в ту или другую сторону; но во все времена и при всех обстоятельствах толпы, ряды и кучи людей идут за тем или другим предводителем, кто соединит их в свою команду. Коротко сказать, подразделение политической власти не имеет никакой существенной связи с равенством точно так же, как и со свободой. Хорошо ли оно или дурно, благотельно или вредно – это вопрос сам по себе и может быть решен только по соображению действия и последствия, производимого учреждением. Я не обсуждаю этого вопроса; я настаиваю только на одном обстоятельстве, которое обыкновенно проходят мимо, потому что оно не нравится, глаза колет: именно то, что народные учреждения, каковы бы ни были их красные стороны, имеют сторону слабую и крайне опасную, так что никоим образом не стоят того слепого поклонения и восторженного восхваления, которым обыкновенно приветствуют их водворение. Знаю, что нет возможности бороться с этим потоком, который стремится по всей Европе, и отказываюсь бороться. Снялись высоты и волны и всех и все уносят с собою; но кого уносит могучее течение, тому, по крайней мере, да будет позволено молчать и не петь хвалебного гимна божеству сорвавшегося потока. Меня возмущает всеобщая подача голосов, потому что она извращает закон, в который я глубоко верю, закон истинного и естественного отношения между мудростью и безумием. Мне кажется спра-

ведливым, чтобы разумные и добрые люди властвовали над безумными и злыми. Итак, я не понимаю такого состояния, в котором единственное назначение разумных и добрых людей будет проповедовать своим согражданам; в котором каждому без различия предоставляется делать, что угодно, и каждому дается отмеренная порция верховной власти в виде голоса. Когда говорят мне, что следствием всего этого должно быть господство разума над силою, мне слышится во всем этом самая дикая фантазия, которая когда-либо овладевала умами в человеческом множестве.

III

Братство

Философы с давнего времени занимались анализом нравственной идеи и отыскивали источник нравственного начала в человеке. Стоики¹¹⁷ с Зеноном остановились на той мысли, что источник нравственного начала – разум и добродетельная жизнь есть не что иное, как жизнь, сообразная с природой; счастливая жизнь есть не что иное, как жизнь нравственная, с устранением всякого действия чувственных побуждений. Эта система оказалась и в теории, и на практике несостоятельною. <Попытки> исправить ее и дополнить предпринял Эпикур¹¹⁸. По его мнению, побуждения действий человеческих имеют свой источник не в разуме, а в чувствах и все добродетели выводятся из одного основания – из пользы. Вследствие того, заключил он, разум вовсе не служит источником добродетели, а правилом жизни служит *желание*. Эпикур имел в виду не чувственное только желание, не желание минуты, но высшее, духовное желание, направленное к благополучию или счастью, в высшем и общем его значении. Так Эпикур путем очищенного желания доходил до одинакового с Зеноновым учением идеала жизни, сообразной с природою, в которой полагалось счастье. Несостоятельною оказалась и эта система наравне с системою стоиков, потому что ни в той, ни в другой не было места осо-

бому нравственному побуждению природы человеческой и сознанию нравственного долга.

Ничто не ново под луною. Эпикурову учению суждено было возродиться в наше время, по следам Бентама, в новейшей системе *утилитаризма*. Милль явился проповедником утилитарного начала, долженствующего, по мнению его, служить заменой начала нравственного. Основанием его служит не сознание личного долга, а мысль, направленная ко *всеобщему благополучию*. Затем признается уже ненужным решение вопросов о добре и зле, о нравственном и безнравственном. «Основанием утилитарной нравственности, – говорит Милль, – служит социальное чувство в человечестве, желание быть в единстве с подобными себе. Оно есть в природе человеческой начало великой силы и способно усиливаться с течением времени. Социальное состояние так естественно, так необходимо, так обычно человеку, что он и вообразить себя не может иначе как членом общественного тела. Итак, всякое условие, существенное для социального состояния, мало-помалу прививается к сознанию человека о том состоянии, в котором он родился и которое составляет судьбу человеческого существа. Общение же между людьми (кроме отношений раба к господину), очевидно, возможно при том лишь условии, чтобы принимаемы были в соображение общие интересы всех и каждого. Общение между равными может существовать тогда только, когда интересы всех и каждого принимаются в соображение равномерно. С каждым поколением люди приближаются все больше и больше к такому состоянию, в котором иначе и жить невозможно, как на условиях такого равенства... Укрепление социальных уз при здоровом развитии общества усиливает в каждом отдельном человеке личное побуждение соображаться во всем с благосостоянием всех прочих членов общества. Мало-помалу само *чувство* его отождествляется с мыслью об общем благосостоянии, и эта мысль приобретает значение инстинкта».

С точки зрения Стиффена, и на суде здравого смысла такая теория не может не казаться мечтательною идеализацией че-

ловеческой природы. Милль убежден в том, что, если оставить людей свободными от всякого стеснения и уравнивать между собою, насколько возможно, они по природе станут братски обращаться друг с другом и действовать в гармоническом союзе, к общему благу. Это мечта, говорит Стифен. Многие люди совсем злые, большинство равнодушных, и есть много добрых людей. Притом равнодушные люди обращаются то в ту, то в другую сторону, смотря по обстоятельствам, и особенно смотря по тому, на чьей стороне сила – на стороне злых или добрых. Сверх того, между всеми классами людей есть и всегда будут действительные поводы к вражде и ссорам, и даже добрые принуждены часто быть между собой во враждебном отношении или потому, что есть у них противоположные интересы, или потому, что они о самом добре оказываются в разномыслии. Допуская, что мерилом нравственного начала может служить потребность всеобщего благосостояния, Стифен утверждает, что эта потребность и соответствующее ей нравственное правило могут быть определены, только никак не по идеалу тех людей, для которых правило должно быть обязательно, а по тому идеалу человеческой жизни, который имеет в виду законодатель нравственного кодекса. Что такое благосостояние или счастье (*happiness*), об этом не может быть единства в общем мнении. Счастье – понятие в высшей степени неопределенное, и основывать на этом смутном понятии всеобщую систему нравственности – значит строить здание на песке.

Но и законодатель, и моралист, и всякий человек, кто бы ни был, расположен заботиться о благополучии своем и друзей своих больше, чем о всеобщем благополучии. Милль настаивает на том, что «всякий должен *по строгой справедливости* относиться к своему и к общему благополучию так же безразлично, как бы он был в качестве стороннего беспристрастного зрителя». В действительности же можно сказать, что жизнь каждого человека есть постоянное отрицание такого беспристрастия: почти всякий проводит жизнь свою в соображении способов к устройству благополучия себе и своим близким, не вводя притом ни в какой расчет благополучие прочих людей.

Даже больше того: такова природа человеческая, что в ней невозможно отличить и отделить личные мотивы от социальных. Всякий раз, когда мы хотим сделать другим приятное, мы знаем, что это нам самим приятно, и оттого происходит наше желание. Человек так тесно привязан к собственному центру, что, говоря об отношениях его к самым близким людям, приходится употреблять термины, означающие ощущения личного довольства или недовольства. Человек по природе не может отрешиться от своего *я*, так же как не может отделиться от своей тени. Человечество есть тоже *я*, написанное огромною буквой, и любовь к человечеству означает вообще ревность к *моему* понятию о том, чем должны быть люди и как должны жить. Кто не любит родного своего брата, которого видит, способен воображать, что любит своего двоюродного брата, который где-то далеко живет, которого ни разу не видел и никогда не увидит. Нельзя отрицать действительные факты: себялюбие есть *природный* источник, из которого происходят все, и самые широкие формы человеческого благоволения, из которого берет свои основы самая филантропия. Странно заблуждается Милль, когда думает, что это натуральное чувство благоволения к себе и к своим людям может само по себе постепенно изменить характер, возвыситься в чувство общего благоволения к роду человеческому и в этом виде даже получить значение *новой религии*, столь глубоко проникнутой этим чувством, что Милль даже опасается, как бы оно со временем не послужило к ущербу личной свободы! Нет, это мечта. Утилитарная нравственность не может сама в себе утвердить свою санкцию: ей нужна внешняя, высшая санкция.

Эту санкцию она может найти только в религии, то есть в определительном сознании *религиозного факта*, в сознании бытия Божия и будущей жизни; сама по себе она не в состоянии быть религией, обязательной для всего человечества. Нам трудно и представить себе в нынешней обстановке такое состояние духа, в котором нет не только положительной веры в Бога и будущую жизнь, но нет даже и сомнительного предположения возможности Бога и будущей жизни.

Мы не можем вполне рассудить о последствиях безбожия по действиям людей, которые воспитаны в той вере, что есть Бог, или выросли среди народа, верующего в Бога; но если бы такое состояние было, то в нем по необходимости изменились бы совершенно нравственные понятия, и особенно представления человека об отношении его к другим людям. Допускаю, что некоторые люди по особенным качествам духовной своей природы могли бы остаться при нынешнем нравственном сознании; но меня нисколько не восхищает та новая религия, которую эти люди могли бы себе составить из правил простой нравственности. По моему мнению, расположение и способность к принятию такой религии обличают не силу, а слабость духа и почти неизбежно соединяются с самообольщением. Как бы ни была совершенна такая натуральная религия, она не может вести человека далее той черты, на которой начинается *самопожертвование*.

В ежедневной жизни и в общих понятиях мы не смущаемся вопросами о всеобщем братстве. Простой человек рассуждает так простым смыслом: «Я желаю добра себе, своему семейству, друзьям своим. Я предан благу своего отечества. Я стараюсь делать добро всякому, кому случится. Но если в течение жизни встретятся мне люди, которые захотят обойтись со мною или с близкими моими по-вражески, я знаю, что по-вражески обойдусь с ними. Покажите мне известное лицо с известным делом, и я скажу, кто он: друг мне или враг».

Но поклонник натуральной религии братства не может говорить так. Он *повинен* любить все человечество. Пусть он объяснит мне, почему. Но объяснить это он не может. Не может потому, что сам он, по большей части, отвергает решительно единственный факт, на котором могло бы утверждаться такое учение, а именно то, что Бог сотворил всех людей и велел им любить друг друга. А как без этого заставить людей любить друг друга, понять невозможно. Вот в чем состоит коренное самообольщение доктрины.

Требуется чудо. Нас хотят уверить, что это чудо может совершить сила прогресса и цивилизации. Говорят, что с

умножением капиталов всякого рода, с развитием физического знания, с всеобщим распространением удобств жизни непременно усилится и чувство взаимного благоволения. В действительности же происходит совсем противное. Все направление новейшей цивилизации клонится к тому, чтобы человеку удобно было быть одному в своем положении и устраивать свои собственные интересы; а с развитием свободы и равенства это чувство непременно должно усиливаться. С уменьшением всякого стеснения до наименьших размеров все люди станут приближаться к одному плоскому уровню, и в каждом человеке будет уменьшаться способность возбуждать и привлекать воображение и чувство. В таком состоянии общества будет, без сомнения, великое множество митингов всякого рода и филантропических ассоциаций, но мало будет возбуждений для патриотизма или для духа общественного. Много было высказано общих мест о том, что чувство патриотизма слабеет по мере распространения роскоши и комфорта; но во всех этих речах гораздо больше правды, нежели в тех общих фразах, которые ныне повсюду слышишь об усилении любви к человечеству с распространением цивилизации. Бесспорно, цивилизация ведет к тому, что людям становится ненавистна сама мысль о страдании или нужде как в своем лице, так и в лице всякого кого бы то ни было. Цивилизация располагает людей рассуждать и говорить друг с другом о чужих делах в духе взаимного сочувствия и учтивости с комплиментами, а от времени до времени – с великим негодованием и яростью; но от этого расположения до *любви* очень еще далеко.

По правде сказать, род человеческий – совокупность такая громадная, такая разнообразная, так мало известная, что невозможно любить его действительную повальную любовью. Можно разве вообразить, что любишь некоторых воображаемых его представителей, которые при ближайшем рассмотрении оказываются олицетворенною нашею мечтою.

Братство не может быть религией. Религии не может составить само по себе ни одно свойство человеческой при-

роды, ни одна страсть человеческая. Отдельное свойство может быть в религии только одним из многих деятелей. Если предоставить людей себе самим, их свойства, желания и страсти рано или поздно найдут себе какой-нибудь уровень. Устроится как-нибудь общий быт, социальное учреждение. Измените относительную силу той или другой страсти, изменится так или иначе и социальное устройство. Все это не есть еще религия. Религия означает установление и общее признание определительного учения о человеческой жизни и о взаимных отношениях людей между собою и к миру, такого учения, которое должно быть руководством для жизни. Религия непременно должна заключать в себе не один только элемент чувства, но и *фактический элемент*; фактический элемент и составляет существенную основу, на которой утверждается чувство и которою само свойство его определяется. Без этого основания религия быть не может. Возьмем четыре образца верования¹¹⁹.

1) Веруйте во все то, что содержится в Символе Веры. Веруйте и живите по этой вере.

2) Един Бог и Магомет пророк его. Живите, как велел Магомет.

3) Всякое бытие есть зло, и кто познал глубину духа, того все желание – освободиться от бытия. Вот вам правило жизни: если будете жить так, освободитесь скоро.

4) Бесконечно могущественное верховное Божество всех вас устроило в касты и каждой касте дало свои правила для жизни. Вас ожидают страшные казни, если будете жить не так, как вашей касте положено. Вся природа исполнена невидимых сил, пребывающих в разных предметах естества. Поклоняйтесь им и молитесь.

Вот религии в собственном смысле слова. Каждая из них представляет систему, в самой себе заключенную, полную, содержит положительные правила, могущие служить практическим руководством для жизни. Ни одного из таких положений не может выставить учение, которое Милль называет верховною санкцией нравственности. Все, что из него можно вы-

жать, состоит в следующем: «Любите все человечество. Ныне уже действуют такие побуждения, которые рано или поздно, когда-нибудь приведут людей к тому, что они будут любить друг друга». Это можно назвать добрым советом, можно назвать пророчеством, но это не религия. Если человек не примет совета, не поверит пророчеству, слова остаются праздными. В них нет вовсе *нудящей* силы (*in invitos*), а масса людей всегда и повсюду состояла из упорных или, по крайней мере, равнодушных относительно всякой религии. Чтобы придать этим словам нудящую религиозную силу, иного средства нет, как совокупить их с положительным утверждением *факта*, относящегося к человечеству и к человеческой жизни.

Какой же такой факт совокупит с этими словами гуманитарная религия? Разве что такой: род человеческий есть огромное соединение пузырей, которые поминутно лопаются и исчезают. Никто этих пузырей не создавал и никому неизвестно, откуда они явились. О, пузыри! Любите друг друга с нежностью! Пожалуй, это тоже религия своего рода, но какая жалкая! «Станем есть и пить, ведь умрем завтра!» «Не будь слишком праведен: зачем губить себя?»

Кто мой брат? Этот вопрос прямо зависит от другого вопроса: есть ли Бог, промысляющий о человеческом обществе, есть ли Провидение? Если нет, нравственность есть простой факт, не более. Некоторые правила внешнего поведения фактически способствуют человеческому благополучию. Верховною санкцией этих правил служит личный вкус каждого. Но если есть Провидение, нравственность – уже не простой факт, она становится законом. Вера в Провидение означает, что и физический мир, и нравственный мир одинаково входят в сферу сознательного устройства и расположения; что люди, члены мира нравственного, выступают за предел материального мира, в котором поставлены, и что закон, возложенный на них, есть *добродетель*, то есть навык действовать по началам, направленным к благополучию людей вообще, и в особенности к тем видам благополучия, которые имеют отношение к пребывающему, вечному эле-

менту человеческой природы... Из двух систем одна не дает никакого, другая дает рациональное объяснение сознанию, что добродетель есть *долг* человека. Если закон добродетели – закон Божий, то быть добродетельным есть долг. Где нет законодателя, там нет закона, где нет закона, там не может быть долга, хотя может быть особенное природное расположение делать то, что относилось бы к долгу, когда бы был закон. Расположение это может быть и наследственное; но во всяком случае когда человек сознает, что чувство долга в нем – не более как фактическое свойство, не имеющее прочной основы, и что оно стесняет его, неудобно для него, ему очень легко от него освободиться.

Но уже время заключить нашу статью о книге Стифена. Изо всего, что приведено нами, читатель видит, что это произведение – глубокой, сильной и мужественной мысли, одно из самых замечательных явлений нынешнего года в английской литературе. Не только в сочувственных с автором, но и в радикальных журналах книга эта встречена с серьезным уважением. Нет сомнения, что по поводу ее возникнет интересная полемика.

В заключение приводим последнюю речь автора, которою заканчивается книга.

«Есть талант, который сто́ит всех других талантов, взятых вместе, в делах человеческих. Это способность судить верно по несовершенным материалам; можно назвать ее, пожалуй, способностью верно угадывать истину. Этой способности не научат никакие правила, даже опытом не всегда удастся добыть ее. Она часто соединяется с некоторою мешкотностью и даже тупостью мышления и с неумением выразить мысль. Существенное в ней то, что она видит вещи как они есть, без преувеличения и без страсти; но можно ли видеть вещи как они есть и как можно? Просто открыть глаза и смотреть во всю широту зрения. Все действительно важные вопросы разрешаются не аргументацией от известных посылок к необходимому выводу, а мудрым выбором между несколькими возможными взглядами на дело.

Я думаю, что эта мысль справедлива и в отношении к религиозному верованию. Возможно иметь в виду несколько связанных осмысленных взглядов на тот или другой предмет, и все они, поскольку основаны на фактах, могут быть вероподобны. Обсуждая здравым разумом факты, на коих эти взгляды основаны, и, соображая связь их с другими предметами, можно привести себе в ясность, сколько взглядов возможно себе составить и который из них наиболее вероподобен.

Когда таким образом сознание остановится на нескольких взглядах на жизнь, имеющих внутреннюю связь и разумное основание, остается человеку справиться со следующими вопросами: что ты думаешь о себе? Что ты думаешь о мире? Признаешь ли ты себя просто машиною и свое сознание – результатом механических сил? Мир представляется ли тебе просто существующим фактом и ничем кроме того? Вот вопросы, на которые всякий обязан себе ответить, как ему угодно.

Это загадки сфинксовы: каким путем ни пойдем, непременно встретимся с ними. Если решаемся вовсе оставить их без внимания и без ответа – наша воля. Если даем ответ нерешительный – опять наша воля, но и в том и в другом случае – наш и страх. Если человек предпочитает отвернуться вовсе от Бога и от будущего, кто может запретить ему? Нет возможности убедить его в противном, явственно доказать ему, что он ошибается.

Наоборот, если человек сделал свой выбор в другую сторону, никто не в силах и ему доказать, что он ошибся. Всякий вправе действовать по своему лучшему усмотрению, и если не так действует, так для него хуже.

Все мы в положении путника на горных вершинах, в узком проходе, где отовсюду дует снежная метель и туман слепит ему очи. Сквозь туман виднеются кое-где тропинки, но которая из них безопасна? Остановиться на месте – значит замерзнуть. Выбрать неверную тропу – разбиться до смерти. И которая тропинка верная – кто знает? Что нам делать в таком положении? «Будь тверд и мужествен, не страшись и не бойся» (Втор. 31:6, 7 – Слова Моисея Иисусу Навину). Сколько разуме-

ешь правды, действуй в правду; сколько есть надежды в душе, живи во всей надежде и прими твердым духом все, что будет твоим уделом. А главное, не обольщайся никакой мечтою и не лги ни себе, ни другим, но иди путем своим, куда бы он ни привел, очистив взор и подняв голову. Если б и все кончилось со смертью, нельзя встретить смерть достойнее. А когда не все, то войдешь в иную страну прямым человеком, без софизмов на устах и безо всякой маски».

ФРАНЦИЯ:

ВЗГЛЯД НА ТЕПЕРЕШНЕЕ ЕЕ СОСТОЯНИЕ

Едва прошло три месяца с тех пор, как известное соединение партий в версальском национальном собрании повело к низложению Тьера¹²⁰, и уже положение партий существенно изменилось. В ту пору консерваторы, отстав от республиканцев и соединившись с монархистами, образовали сильное большинство, в котором представители трех монархических партий – бурбонской, орлеанской и бонапартовской – слились на время в одно целое. Но вскоре случилось событие, которое разбило эти партии снова. Произошло слияние орлеанской партии с бурбонскою¹²¹. Претендент орлеанской династии уступил права свои представителю легитимизма и старшей бурбонской линии, графу Шамборскому¹²². На каких именно условиях последовала уступка, до сих пор еще неизвестно с достоверностью. По всей вероятности, во временной комиссии, заменяющей национальное собрание до открытия его заседаний, готовится решительное действие, долженствующее восстановить во Франции старую монархию; все думают и гадают, на каких началах. Предполагается немедленно по открытии собрания внести в него проект постановления, которым должно быть определено, на каких условиях графу Шамборскому следует предложить трон в качестве законного короля Генриха V. Национальное собра-

ние одно считает себя ныне вправе располагать судьбами Франции, и большинство его, покуда вновь не разобьется, уверено, по-видимому, в своем торжестве и в поддержке со стороны президента и армии. Но уже нельзя не видеть и теперь, что в союзе между бурбонской и орлеанской партией есть семена раскола. На прочность его можно было бы вполне надеяться, когда бы каждая партия поддерживала только личное право своего претендента. В таком случае сделка между партиями была бы не затруднительна, особо ввиду того обстоятельства, что Генрих V стар и бездетен и наследство от него должно перейти к представителю орлеанской линии, графу Парижскому. Главное затруднение состоит в том, что каждая из двух партий служит представительницею политической системы, основанной на особенном начале, а сделка между началами политическими, особо столь противоположными, крайне затруднительна. Орлеанские служат представителями народных вольностей, конституционного правления и трехцветного знамени. Генрих V служит представителем монархии старого закона, монархии Людовика XIV¹²³, правления «Божиею милостью» и королевским правом и белого знамени. Никакого иного начала он не хочет быть представителем и никакого иного знамени не признает своим. «Это знамя, – говорит он, – осеяло колыбель мою; оно же, а не иное знамя покроет и мою могилу». Он не допускает никакой сделки между государем и правами народными. Очевидно, что признать без оговорок такие требования значило бы для орлеанской партии не только отказаться от всего своего прошедшего, но и осудить его; да едва ли и возможно такую монархию восстановить в нынешней Франции. Говорят, что есть еще надежда составить для Генриха V такую политическую схему монархии, в которой возможно примирить его политический катехизис с заветными началами орлеанской партии; во всяком случае, в последнюю решительную минуту такая попытка может оказаться неудачною, и тогда корабль, несущий на себе судьбы Франции, очутится снова в безбрежном море.

Между тем третья монархическая партия, бонапартовская, временно соединившись с двумя первыми против общего врага, то есть против Тьеровой республики, видит себя отчужденною после слияния первых двух партий. У нее тоже не только свой претендент, но и свое, особенное политическое начало, которого она не уступит. Представители ее собрались 15 августа в Чизельгерсте на наполеоновский праздник к императорскому принцу и приветствовали в нем будущую надежду Франции. Проповедник, обращая к нему пышную речь, окончил ее текстом: *Наляцы, успевай и царствуй!* – Молодой принц¹²⁴ в ответе своем на приветствие счел благовременным повторить в качестве девиза своей династии те же надутые и лживые слова, которыми так долго играл отец его: «все – от народа и все – для народа» (*tout par le peuple et tout pour le peuple*). Стало быть, он объявляет себя представителем начала прямо противоположного началу, исповедуемому графом Шамборским. Против начала наследственной монархии он выставляет начало народного самодержавия и против белого знамени – знамя революции. Это такое льстивое и лукавое слово, которое, сколько бы раз ни оболгалось, никогда не теряет своей прелести для французского уха.

Уверяют, что во Франции теперь не менее 16 враждебных между собою политических партий, из коих каждая стремится поставить на своем и устроить по-своему и для себя государство. Сколько б их ни было, ни одна не остается без действия, ни одна не прекращает агитации. Деятели всех партий, побежденных или подавленных в нынешнем большинстве национального собрания, рассыпались по Франции с криками об измене и с призывами к народу для защиты прав народных, или новых начал социального евангелия. Тьер стал после своего падения кумиром республиканцев, и недавняя поездка его до швейцарской границы была триумфальным шествием, в котором его приветствовали кликами как освободителя Франции.

Несчастливая Франция! Как широко сложила она свой политический фундамент из идеальных прав человечества, как вы-

соко задумала возвести на нем свою всемирную башню! И вот к чему привела ее судьба, что уже одно имя ее означает Вавилон¹²⁵, то есть смешение языков. К сожалению, не исчезло еще очарование, еще есть множество людей, которые, несмотря ни на что, смотрят с фанатической верой на окутанные туманом вершины полуразрушенного здания и чают, что из Франции прольется когда-нибудь на всю вселенную свет к обновлению человечества. А если бы все смотрели, раскрыв глаза, простым, непредубежденным зрением, сколько спасительных уроков, ясных как день, представили бы судьбы Франции обольщенным правительствам и народам.

И главный из этих уроков учит, что первое и самое существенное благо для народа – прочность царствующей династии и соединенная с нею твердость законного правительства. Многими, очень многими из воображаемых политических благ разумный смысл народный может и должен пожертвовать для целостности этого основного блага, на котором, в сущности, держатся все прочие. Как бы высоко ни поднимало автономию человеческого общества новое гуманитарное ученье, общество требует прежде всего законной власти и всегда стремится тем или другим путем удовлетворить этому требованию. Но необходимо, чтобы законная власть была не идеей только в обманчивом сознании народного самодержавства, но действительным фактом, бесспорным, ясным, как солнце на небе, и не подлежащим никакому сомнению и никакому перерыву. Пусть будет многим тесно и узко под этим сознанием, зато для массы народной только под ее покровом возможно спокойное развитие, охранение целостности национального чувства и сознание долга и правды; а для народного чувства и сознания необходимо живое олицетворение власти. Как скоро власть сорвалась с основ своих и обществом овладело недоумение о том, где власть законная и кто ее непрекаемый представитель, все общество выходит из своей орбиты и стремится в пространство блудящей планеты, куда не попадет в центр тяготения. И вот Франция показывает до очевидности, как трудно найти этот центр, однажды

потеряв его, и как мятется во все стороны, не находя уверенности и безопасности, покуда не найдет верной власти народ, объявленный самодержавным. Роковой день революции дал страшный урок монархам, урок, до сих пор не утративший всей своей силы: он показал, как рушится власть, утратившая веру в свое призвание, вместе с верою утратившая свежесть сил и безграничную способность к обновлению. Он показал, что власть сама в себе разлагается с той минуты, как начинает отделять свою личность от *бремени правления*, сливая ее с одним *блеском правления*, и что вместе с тем начинает разлагаться народная вера во власть. Но горький опыт показывает: когда утрачена одна вера и уверенность, трудно создать себе новую и в ней утвердиться и успокоиться. С того рокового дня, когда пала законная монархия во Франции, Франция еще не умела утвердить себе новую законную власть. Правда, сама революция, в разгаре полного разгула необузданных своих сил, из среды своей выставила человека *силы*. Разогнав внешних врагов во имя Франции и под знаменем революции, он взял в руки бич и, вернувшись домой, выгнал из храма всех осквернивших его мятежом, воровством и разбоем и сам стал в храме на первое место и всем велел молчать перед собою. Все почувствовали над собою власть, непреодолимую, как закон природы. Но Наполеон¹²⁶ не мог признать себя законным преемником той законной власти, которая погибла в революцию: он создал для себя новый принцип законности, но этот принцип был ложный, на обольщенье, а не на утверждение народной веры; народная воля, однажды навсегда высказанная обманчивым счетом голосов, собранных насилием и хитростью. Из этого революционного принципа не могло выйти ничего, кроме революции. Наполеон пал, и Франция думала, что восстанавливает свою законную власть, но тайна законной власти была уже утрачена, и с тех пор вся история Франции превращается в борьбу партий, политических учений и претендентов. Каждая из партий готова каждую минуту низвергнуть и заместить власть существующую в качестве новой законной власти. Каждый новый переворот вступает

на время в силу существующего факта, и Франция на время подчиняется этому факту как власти. Каждая власть именуется себя народной и ищет опоры в мнимом желании или определении народном, но каждая, в сущности, есть дело и господство той или другой партии или нескольких партий, соединившихся вместе. Нет ничего мудреного, что и теперь граф Шамборский с помощью сильного большинства в национальном собрании провозглашен будет законным государем и что Франция, накануне бывшая республикой, проснется поутру под монархией. Но надолго ли? В тот же день начнется новая игра партий, которая ранее или позже вызовет новую перемену правительства... Разве явится вновь в решительную минуту человек не слова или доктрины, а действительной силы и дела, который один, не спрашиваясь ни у какой партии, не производя никакого счета голосов, возьмет в свои руки судьбу Франции, разгонит шумную и безумную толпу и очистит храм от мелких и крупных торговцев.

Замечательнее всего, что в этой политической игре, которую ведут между собою партии, хотя все делается именем народа, до народа, в сущности, никому дела нет. Народ, т[о] е[сть] масса людей, стоящая вне агитации, сбит с толку и совсем не понимает, что делается наверху с его правительством. Политикою занимаются вожаки движения со своими агентами: масса народная всегда и повсюду, хотя и способна вспыхивать, поддаваясь влияниям и впечатлениям всякого рода, чуждается политической деятельности, не имея для нее и досуга; первая ее потребность – это потребность в твердом, установленном правительстве, а когда его нет, положение массы печально, потому что она невольно привыкает, как во Франции, признавать всякую власть, провозглашенную в Париже, лишь бы можно было надеяться, что будет от власти, хоть на несколько времени, какой-нибудь порядок. Разве не насмешка, когда народу в этом положении говорят, что он самодержавен? Разве не обманом становятся всякие выборы и подачи голосов там, где невозможно рассчитывать на ясное сознание о предмете политической игры, вверху происходя-

щей, и на твердую волю самостоятельного мнения? Равнодушие заставляет иных вовсе уклоняться от подачи голоса; других побуждает подать тот или другой голос искусственная агитация, интрига, угроза или подкуп. И собранные таким образом голоса торжественно именуется выражением воли народной! В последнюю войну¹²⁷ иностранцев изумляли в простом народе равнодушие к общему делу, вялость национального чувства, эгоизм личного самосохранения; в тех, кого не коснулось военное разорение, замечали слишком много попечения о своем имуществе и слишком мало ревности к спасению отечества. Это печальные явления, и если известия о них не преувеличены, они мало доброго обещают в будущем для Франции. Но в этих явлениях нет ничего удивительного: где иссякло сознание о законной, неоспоримой власти, там иссякает мало-помалу и народное самосознание, чувство своего единства, гаснет и тот священный огонь, которым питается чувство патриотизма. Мы видели, что положительное отрицание законной власти привело к владычеству коммуны и ко всем ужасам безначалия в минуту падения государства и ввиду торжествующего неприятеля.

Журналы наполнены в эту минуту известиями о необыкновенном движении целых масс во Франции к святым местам всякого рода – на поклонение и молитву. Собираются под предводительством священников целые партии пилигримов всякого звания, едут и идут с молитвами и пением гимнов в одно из мест, прославленных явленной статуей Богоматери, и собираются восторженными массами, доходящими в иных местах (напр[имер] в Салетте) до нескольких десятков тысяч. Явление это во всяком случае замечательно: сколько бы ни было искусственных возбуждений к нему со стороны Рима и духовенства, оно состоит в непрерывной связи с нынешним политическим движением Франции. Конечно, либеральные журналы встречают это движение одними только презрительными насмешками и сожалением о невежестве и суеверии. Но стоило бы самим либералам глубже всмотреться в это явление и внимательнее над ним призадуматься. В нем

выражается вопль простого человека, потерянного в смятенном своем отечестве и сбитого с толку, вопль к Богу о судьбах своей несчастной родины. Нелепость той или другой легенды, соединенной с тем или другим предметом поклонения, грубость самого предмета, той или другой статуи – все это не существенно. Не тот, так другой образ или символ: природа человеческая в разгаре чувства не может обойтись без олицетворения, без образа. Но за образом скрывается идея, и над нею смеяться невозможно.

Для примера укажем на легенду, связанную с салеттскую статуей Богоматери, к которой преимущественно стремятся народные толпы, потому что эта легенда глубоко проникла в народное чувство по всей Франции. Сложилась она незадолго до февральской революции, в 1846 году, в ту пору, когда уже отяжелела нравственная атмосфера и чуялось что-то зловещее в народных гаданиях о будущей судьбе Франции. Пронеслась весть, что в горах около Гренобля, в диком лесистом ущелье двое детей заблудились, отыскивая коров своих. Им явилась Пресвятая Дева и послала их сказать людям, что злые и развратные дела их, леность и неверие превысили меру долготерпения Божия и что уже больше нельзя умолить за них Бога. Затем, подозревая каждого из детей поодиночке, Богоматерь каждому из них сказала на ухо особенные слова, содержавшие в себе тайну о великих бедствиях, грядущих на Францию. Эту тайну дети передали одному только папе: Пий IX¹²⁸ пришел в ужас, услышав страшные слова, и только повторял, заливаясь слезами: *Бедная, бедная Франция!*

С тех пор как сложилась эта легенда, не было бедствия, которое в мнении народном не соединялось бы со страшною тайною салеттской Богоматери. В течение 27 лет, по мере того как омрачался политический горизонт Франции, усиливалось и пилигримство в Салетту; оно возросло до необычайных размеров, когда ужасы парижской коммуны¹²⁹ поразили народное воображение, и в прошлогоднюю годовщину явления 19 сентября на Салеттской горе собралось за раз до 100 000 пилигримов.

Итак, возможно ли только смеяться над тем, что народное чувство обращается к Богу с воплем о судьбах отечества? К кому еще обратиться со своим чувством простому человеку в простоте веры? Вера в правительство иссякла, законной власти нет, и Франция со всеми своими судьбами страшно *впала в руки Бога живаго*.

Z. Z.

НОВЕЙШАЯ АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПО ВОСТОЧНОМУ ВОПРОСУ

I

Достопочтенный мистер Гладстон¹³⁰, ветеран политической и литературной деятельности, подал и в политике, и в литературе первый пример справедливого отношения к восточному вопросу и к русской политике. Разумеется, справедливость англичанина к России может быть только относительной вследствие национального предрассудка, но и то уже много значило, что сила истины заставила признать те факты варварского насилия и разврата, которые до того упорно отрицали ради ненависти и недоверия к России, заставила оценить во имя правды и человеколюбия права угнетенных и правду того дела, на защиту коего поднялось в России народное движение и высказывалось русское правительство. За первым возбуждением общественного мнения, поднявшимся повсюду в Англии при появлении Гладстонова памфлета «Болгарские ужасы»¹³¹ и выразившимся в многочисленных митингах и протестах против министерской политики, внезапно последовала реакция. Митинги прекратились, возбужденное чувство упало, и министерство торжествовало уже победу. Но достопочтенный мистер Гладстон не отступил от выраженных им мыслей и продолжал с тою же энергией поддерживать дело, которое раз признал делом правды в борьбе

с ложью и насилием. Вот что писал он в прошлом октябре в ответ на письмо одного приятеля, с тревогою и недоумением спрашивавшего, что означает наступившая внезапная реакция. «Правда, в столичной прессе замечается, несомненно, довольно дружное движение в пользу Турции. Она вообще служит представительницей идей и мнений того, что у нас слывет под именем передового отряда (the upper ten thousand). Но от этого отряда, на памяти моей, ни разу еще не исходило решительного движения, благоприятного какому бы то ни было из великих преобразований, совершившихся в последние 50 лет и так возвысивших славу и благосостояние Англии. Не этими силами совершилась эмансипация диссентеров, римских католиков¹³², евреев¹³³. Не они преобразовали парламент. Не они освободили негра от невольничества¹³⁴. Не от них последовала отмена хлебных законов¹³⁵, отмена журнальной пошрины, государственной Церкви в Ирландии¹³⁶. В них не нашло сочувствия дело освобождения и восстановления Италии¹³⁷. Все эти дела совершились действием совсем иных сил, а не этих и вопреки оппозиции передового отряда. Конечно, я разумею при этом большинство в составе его. К сожалению, обыкновенно о состоянии нашей страны составляется понятие только по столичной прессе. Но выражением его служит всего более провинциальная наша пресса; а в этой последней, думаю, что вы не заметили бы той реакции, какая обнаружилась бы в лондонской прессе». Мистер Гладстон остается и до сих пор в уверенности, что движение, коего поборником он выступил, возьмет верх и подействует решительно на официальную политику. Увидим, оправдаются ли честные его надежды и ожидания.

Когда появилась в октябре книга Скайлера¹³⁸ о Туркестане и о хивинской экспедиции (“Notes of a Journey in Russian Turkistan”), враждебные России журналы ухватились за эту книгу как за орудие для новых нападков на Россию и на русскую политику. «Смотрите, – стали кричать отовсюду, – с каким варварством расправляется русский военачальник с несчастными иомудами!¹³⁹ И представители такого варварства

смеют выставять себя защитниками угнетенных христиан против мнимого турецкого варварства!» Одна из самых ожесточенных против России газет, “Pall-Mall”, принялась перетолковывать самым недобросовестным образом подобранные цитаты из книги Скайлера и обобщать к порицанию России частные выводы и замечания автора. Достопочтенный мистер Гладстон выступил и на этот раз защитником правды в политике и добросовестных приемов в литературе. В ноябрьской книжке журнала “Contemporary Review” он поместил статью о книге Скайлера и выставил на вид, до какой степени несогласно с истиною приравнивать вынужденную военным положением и совершенно исключительную кровавую расправу русских войск с иомудами, о которых сам Скайлер передает по слуху, может быть преувеличенные, рассказы о варварствах, систематически совершаемых турками в Болгарии; вместе с тем обличил он и всю неправду литературных приемов газеты по поводу книги Скайлера.

Вслед за брошюрою Гладстона стали появляться рядом, один за другим, памфлеты о том же предмете с именами известных в литературе авторов. Дженкинс¹⁴⁰, известный сатирик, автор едкого политического памфлета под названием «Дженкинсов младенец» (русский перевод был напечатан в «Отечественных записках»), издал брошюру под названием «Тень на кресте» (“Shadow on the Cross” – тень, разумеется, от полумесяца) и явил себя горячим защитником христиан и обличителем турецкого насилия и неправды своего правительства. Вскоре, когда уже образовалась в Лондоне так называемая Национальная конференция, знаменитый историк, философ и публицист Карлейль¹⁴¹ написал по вызову друзей правого дела письмо, напечатанное во всех газетах, в котором со свойственной ему прямою и решительностью тона объявил себя противником Турции и за Россию. Он помянул при этом Россию добрым словом. Со своей точки зрения Карлейлю, поборнику авторитета и сильной власти в истории и в политике, свойственно было воздать России справедливую хвалу за то, что она является в истории представительницею

твердой власти и твердой государственной идеи посреди хаоса и беспорядков всякого рода. Этому слову не мог вытерпеть ярый республиканец и атеист, известный поэт Свинборн¹⁴². Он выпустил в свет свою книжку под названием «Заметки английского республиканца по поводу московского крестового похода» (“Note of an English Republican on the Moscow Crusade”). Вечно напыщенный, исполненный пафоса и ожесточения, хотя и талантливый, Свинборн превзошел в этом памфлете самого себя. Каждое слово сказано им как будто с пеною у рта от бешенства, и оттого книжка его лишена всякого серьезного значения.

Другой английский поэт того же направления, Альфред Августин¹⁴³, высказался также в отдельном памфлете, «Россия перед Европою», против России, в защиту Турции, и опять не столько из сочувствия к Турции, сколько из ненависти к России. Напротив того, три других поэта, и в том числе наиболее значительные, именно – Ульнер, Браунинг¹⁴⁴ и знаменитый Моррис¹⁴⁵ (едва ли не самый даровитый и симпатичный из современных поэтов Англии), состояли членами Национальной конференции и высказывали (особенно Моррис) очень явственно свое сочувствие к России и к ее роли заступника за угнетенных. Примечательно, что три первостепенных историка – Карлейль, Фруд¹⁴⁶ и всего решительнее – Фримен¹⁴⁷, заявили себя решительными противниками Турции. Фримен на многих митингах в Лондоне и в провинции говорил энергичнее, чем кто-либо за дело освобождения славян, которое по совести и по сердцу признает святым делом. В защиту его устраивал он и публичные чтения, имевшие громадный успех. Особо напечатано одно из его чтений в Манчестере, содержащее в себе блестящий талантом и правдою очерк восточного вопроса в историческом его развитии (“The Eastern Question in its Historical Bearings”).

На Лондонской Национальной конференции 8 декабря едва ли не самую энергичною была речь Фримена. Речь эта, сколько помнится, не была переведена в русских газетах. Приводим ее по полному изданию речей конференции. «Странная обязанность, – говорил Фримен, – лежит на мне сегодня. Обязанность

проводить ваш протест, смею сказать, протест целого нашего народа против войны, самой бесполезной, самой несправедливой из всех войн, какими когда-либо опустошала мир человеческая неправда. Со всех сторон слышатся вести о войне, и иные говорят спокойным тоном, что Англия, конечно, примет в ней участие. Но с кем будем мы воевать и за какое дело? Ни одна из держав цивилизованного мира не давала нам ни малейшего повода обнажить меч против нее, и все-таки говорят о войне. Есть, однако, дело, ради которого можно бы нам не отказаться опоясать меч отцов своих и вступить в бой, как отцы наши вступали. Вопли угнетенных раздаются в ушах наших, вопли поработанных народов, борющихся за свободу, народов, которые нами самими осуждены на рабство. Может быть, нам будет призыв вступить в бой затем, чтобы разорвать их оковы, чтобы изгладить грех наш, в котором мы повинны; обнажить меч Байрона, Кохрена, Чорча, Гастингса на действительную брань. Может быть, вернется снова то время, когда Англия, Франция, и Россия соединили свои флоты затем, чтобы раздавить гордыню варварства. За такое дело можно нам не щадить ни казны своей, ни крови. Но пора эта миновала, и теперь приглашают нас обнажить меч совсем за другое дело, а меч легче вынуть из ножен, чем опять вложить в ножны. Зовут нас обнажить меч не за угнетенных, а за притеснителя; не затем, чтобы исправить сделанную нами неправду, а затем, чтобы увековечить ее и употребить на то всю свою силу. Во всех краях Востока пятно положено на имени Англии; притеснитель выходит на дело свое, на дело крови и хищения, радуясь, что за ним стоит друг – Англия. Мы отказываемся идти на помощь угнетенным, и другие предлагают им помощь; другая нация встает на дело, которое должна была бы взять на себя Англия. И находятся еще люди, которые говорят, что мы должны не только сами уклониться от этого дела, но и должны еще силою меча своего воспротивиться всякому иному народу, если бы кто захотел вместо нас совершить это дело. Перед нами теперь не какой-нибудь хитрый и властолюбивый деспот, ищущий распространения своих владений; перед нами могуществен-

ный народ, крепкий свежестью обновленной национальной жизни, – он встает и вооружается за святое дело и подвизается освободить братьев по крови и по вере от варварского ига. Правитель этого народа, совершивший для него такое великое дело, какое только может совершить монарх¹⁴⁸, шлет нам послание мира и дружества, призывает нас к союзу с ним на защиту правого дела, зовет на путь мира, если возможно обойтись без брани. И какой ответ дают ему? Ваш ответ вы дадите сегодня, но что отвечает ему голос, который могут в других странах принять по заблуждению за голос Англии. Посреди звона застольных чаш, посреди восклицаний пирующего собрания раздается этот голос и отвечает бранным вызовом на послание мира. Пир этот похож был на те древние римские пиры, на которых веселье считалось неполным, когда в нем не было крови, и самые изысканные яства казались гостям безвкусными, когда на празднике недоставало ран и смерти гладиаторов. Спрашивают вас, признаете ли вы этот голос за свой? (Нет! Нет!) Разделяете вы эти угрозы, это самохвальство? (Нет!) Согласны вы и готовы начать хоть самую краткую кампанию, пожертвовать хоть одною каплей английской крови, хоть одним пенсом английской казны для того, чтобы поддержать это гнилое и кровавое здание неправды и насилия, на которое мир взирает с ужасом и отвращением? (Нет!) Хотите вы биться за султанское самодержавство, за независимость и целость Оттоманской империи? Значит, за самодержавство злодеев, руки которых обгарены кровью, языки ложью опутаны. Хотите вы биться за целость и независимость Содомского царства? (Нет! Нет!) Хотите биться за него, чтобы бедствия угнетенных продолжались навеки, чтобы оковы поработенных народов никогда не могли быть разбиты, чтобы им закрыт был доступ к правам, не говорю уже свободных людей, к правам существа человеческого? Хотите идти на брань, чтобы народ христианский не мог освободиться от векового своего мученичества? Хотите биться за то, чтобы великий и славный во всей вселенной храм христианской веры не обновился славой восстановленного христианского богослужения? Те, что переходили

море и сушу – уничтожать торг невольниками и разбивать окопы рабов, те самые неужели пойдут теперь воевать за то, чтобы продолжился гнусный торг человеческим телом и снабжал бы варварского союзника нашего жертвами для гнусной его страсти? Вот за какое дело зовут вас на брань, англичане, христиане, соотечественники Каннинга¹⁴⁹ и Вильберфорса¹⁵⁰! Нам говорят, что трактаты обязывают нас помогать им. Не то читаю я в этих трактатах; но если б и таков был их смысл, спрашиваю: отчего, когда все другие трактаты остаются в забвении, вспоминается один этот трактат, который обязывает нас к неправде? Соблюдать такой договор, значит следовать Иродову нравственному началу, значит подражать царю, который клятвы ради послал на казнь праведника¹⁵¹. Говорят, интересы Англии требуют, чтобы мы воспротивились успехам России. Говорят, что наше владычество в Индии подвергнется опасности, что распадется весь цивилизованный мир, если только русское судно покажется в Средиземном море. Я отвечаю: если это правда, все-таки долг прежде всего, а интерес за ним следует. Лучше пусть гибнут интересы Англии, гибнет владычество наше в Индии, прежде чем рука наша поднимется или слово наше скажется за неправду, против правого дела! Но это неправда, и я не стану повторять здесь все, что было высказано в опровержение ложной мысли. Взгляните на карту: разве через Константинополь идет дорога в Индию? И верьте мне: не за царство константинопольское русский народ и Монарх готовы обнажить меч против турка. Верьте мне: они не так безумны, они хорошо знают, что кто царствует в новом Риме, тот перестает царствовать в Петербурге. А что касается до русских судов в Средиземном море, то покуда мы на Атлантическом острове гордимся тем, что сторожим Геркулесовы столпы¹⁵², мы не можем жаловаться на то, что Россия не хочет быть заперта в узких границах своего средиземного залива. Скажут, что такое рассуждение недостойно патриота. На этом обвинении не стану долго останавливаться. Патриоты мы, когда хотим удержать свое отечество на пути правды, он же и он один – путь чести; а те не патриоты, кто стремится посредством слов

и призраков и ссылаясь на мнимый закон чести, который есть, в сущности, закон позора, направить страну на тот путь, где она запятнает славное имя свое участием во зле и неправде».

II

В числе новых книг о Турции и славянах особое внимание заслуживает книга почтенного, давно известного друга и защитника угнетенных славян, пастора Дентона, автора известного сочинения о Сербии и сербском народе. Новая книга называется «Христиане в Турции и состояние их под мусульманским владычеством» (“The Christian of Turkey”). Кто хочет ознакомиться с действительным состоянием христианского населения на Балканском полуострове, найдет у Дентона беспристрастное описание того угнетения и бесправия, в котором живут христиане. И за всем тем, по свидетельству его, господствующая турецкая раса вымирает и истощается, а райя¹⁵³, несмотря на угнетение, растет и множится, подобно иудеям под железным правлением египтян¹⁵⁴. В тех городах, говорит Дентон, где лет пять тому назад было до трех тысяч турецкого населения, теперь оно не доходит и до двух тысяч. В Дарданелльской провинции на 6% более умирает людей, нежели рождается. В 1830 году, по показанию консула, в Смирне была 81 000 турок и 20 000 христиан; в 1860 году оказалось обратное отношение – 75 000 христиан и 41 000 турок. Это вымирание расы Дентон приписывает порокам и невежеству, по местами укоренившемуся обычаю детоубийства, эпидемиям, развивающимся от тесноты и грязи в жилищах и т[ому] п[одобного].

Очень любопытны и очень неприятны для сторонников официальной английской политики те ее разоблачения, которые приводятся в книге Дентона. Этому предмету посвящено у него все предисловие в книге. Здесь он доказывает на основании подлинных показаний консулов и по официальному собранию документов, представленных парламенту, что английская дипломатия на Востоке намеренно старалась и

старается тщательно скрывать все турецкие злоупотребления и все случаи угнетения христиан, и что эта недостойная политика продолжается преимущественно со времен Крымской войны¹⁵⁵. Вот один из приводимых Дентоном примеров: в начале 1860 года князь Горчаков¹⁵⁶ разослал циркулярную ноту о печальном состоянии христианского населения в Боснии, Герцеговине и Болгарии. По поводу этой ноты ко всем английским консулам на Востоке разосланы были через английско-го посланника в Константинополе сэра Бульвера вопросы о характере и приемах турецкой администрации. Но, рассылая вопросы, сэр Бульвер опасался, что правдивые ответы на них будут слишком соответственны с обвинительными пунктами князя Горчакова; надлежало скрасить правду и предупредить иных, может быть, слишком наивных агентов британского правительства. Вследствие этого в одном пакете с вопросами разослан был консулам посольский циркуляр, принятый ими в виде инструкции, в котором внушалось, что показания, ответственные с русскими обвинениями, были бы весьма нежелательны для посольства, «доброе мнение коего господ консулы, без сомнения, желают для себя обеспечить». Разумеется, все консулы поняли намек и сообразно с ним составили свои ответы. Но с одним из них вышел комический случай: по недосмотру в посольстве забыли вложить посольский циркуляр в пакет с вопросами, который был ему послан. Бедный консул, добросовестно разумея свою обязанность, вообразил, что от него требуют правды и спешил послать правдивый ответ свой. Едва успел он отправить его, как получает, к ужасу его, пакет из посольства со вложением циркуляра, который забыли прежде послать ему. С перепугу бедняк спешил тотчас же отправить в посольство вторичное донесение с громким извинением в том, что не понял видов и намерений своего начальства... «Я представил, – писал он, – те сведения, какие мог получить, не имея понятия о тех видах и целях, в коих составлены были вопросы, я не имел еще в виду многозначительной инструкции, содержащейся в циркуляре. Вследствие того спешу исправить недостатки прежнего моего донесения.

Ваше превосходительство изволили выражать уверенность, что следовало бы считать преувеличением и увлечением, если бы кто решился утверждать, что дела здешние в худшем положении, нежели можно было бы при данных обстоятельствах предвидеть (какова фраза! И после того станут еще уверять, что английские чиновники не похожи на остальных!). Это воззрение на предмет совершенно подтверждается и моим служебным опытом. Смею надеяться, что мне не поставлено будет в вину то, что в прежнем донесении моем выразились мои, конечно, грубые и невежественные понятия об этом предмете». Эта история, документально подтверждаемая, весьма характеристична. Вот еще пишет доктор Сандвис в письме, которое приводится в книге Дентона: «Года два тому назад в бытность свою в Турции я имел продолжительный разговор с одним консулом. Он рассказал мне такие ужасы о турецких варварствах над христианами, что кровь стыла у меня в жилах. “По крайней мере, – заметил я, – вы имеете хоть то утешение, что можете описать все эти ужасы в своих донесениях”. “Ни-ни, – ответил он, – как это можно! Да разве я смею? Нам уже не раз и не два давали понять это очень внушительно, что наше правительство положило поддерживать Турцию; и если бы я позволил себе говорить правду и описывать все как есть, вся бы моя карьера пропала. Иные пробовали, не угодно ли справиться, как им за это досталось?”».

Ввиду этой господственной английской опеки над Портой и над всеми ужасами турецкого управления любопытно взглянуть на картины из того времени, когда эти отношения только что начинались и были еще совсем не похожи на нынешние. Об этой эпохе дает понятие любопытная книга господина Баркера «Сирия и Египет в правление последних пяти турецких султанов» (“*Syria and Egypt under the Last Five Sultans of Turkey*”. – London, 1876). Книга эта содержит все записи Баркера, бывшего в течение этого времени генеральным английским консулом сначала в Алеппо, потом в Александрии. Как интересно и как маловероятно кажется в наше время следующее описание первого приема у султана английского посланника

в 1805 году. Посланника заставили очень долго ждать, и когда, наконец, ввели его в присутствие монарха, султан сидел с полузакрытыми глазами, медленно и сердито поднял на него брови и тотчас же, повернув немного голову в сторону, на великого визиря, спросил: «Кто этот гяур?»¹⁵⁷ Последовал ответ, что это раб, присланный королем английским, чтобы вымогать благоволение у его величества, при этом великий визирь вынул из-за пазухи заранее приготовленную, обернутую шелковой материей, грамоту и, держа ее в руках, говорил: «Вот письмо, которое рабу сему приказано положить у подножия трона». Султан в это время был, казалось, в сонном состоянии, но через несколько секунд, как бы очнувшись, обратился снова к визирю и тихим голосом спросил: «Накормили ли этого пса и одели ли его?» И, получив утвердительный ответ, сказал: «Хорошо, так тому и быть». Затем посланника со свитой отвели назад, а между тем два громадных негра, стоявших тут во время аудиенции и делавшие всевозможные гримасы англичанам, стали громко кричать: «Киш! Киш!», то есть: «Гоните вон! Гоните вон!». Вот с каким церемониалом принимали в Турции, не более как за семьдесят лет, английского посланника, и, может быть в других формах, то же расположение отражается ныне в существующем и ныне, по уверению многих, мнению турок, будто королева английская – подданная падишаха и по велению его шлет на защиту ему флот свой. Многие англичане не признают ныне жестокостей турецкой администрации, но она ныне, в сущности, та же, какую показывает ее Баркер в 1809 году, описывая нового пашу, назначенного в Алеппо. Первым делом его по прибытии на новую должность была прогулка по улицам города инкогнито, в сопровождении палача: требовалось захватить наудачу несколько несчастных лавочников под каким-нибудь предлогом и тут же отрубить им головы, чтобы задать на первый раз страху жителям и утвердить власть нового правительства. Это и было буквально исполнено. Баркер передает еще любопытный разговор свой со старым турком, объясняющим странное понятие мусульманина о необходимости мусульманского владычества. По мнению

этого турка, все события последнего времени неоспоримо свидетельствуют о сверхъестественном основании мусульманской власти. «Вы, христианин и консул, – так говорил турок, – укажите мне в истории древней и новой еще такой пример, как пример нашего народа. По-видимому, власть наша ослабела и мы как будто утратили силу отражать нападение, и что же? Мы не только остаемся в ряду независимых, непокоренных наций, но правительство наше окружено почетом извне, и посланники могущественнейших в мире держав обращаются к нему с хвалою и лестью».

«Славяне и турки или пограничные места ислама в Европе» (“Slaves and Turks, or the Borderlands of Islam in Europe”) – вот заглавие другого нового сочинения, содержащего в себе интересную, живо написанную характеристику славян Балканского полуострова и их отношения к туркам. С особенным сочувствием и живостью автор описывает нравы и быт в Черногории.

В 1857 году, когда Турция после Парижского мира¹⁵⁸ приступила к постройке у себя железных дорог, три брата, англичане-инженеры Барклай, отправились в Болгарию для заведования работами по постройке линии от Кюстенджи на Черном море до Черноводы на Дунае. Двенадцать лет провели они тут же в ежедневном соприкосновении с народом и турецкими чиновниками, и теперь один из них, Генри Барклай, издал интересную книгу о Болгарии под заглавием «Между Дунаем и Черным морем, или пять лет в Болгарии» (“Between the Danube and the Black Sea, or Five Years in Bulgaria”. – London, 1876). Не вдаваясь в технические исследования и в глубокие политические соображения, автор представляет в своем рассказе только живую и правдивую картину испытанных им впечатлений. Сомневающиеся в действительности турецких насилий и варварств над болгарам найдут в книге Барклая немало ужасов, коих он был свидетелем, увидят картину набега баши-бузуков на мирные деревни, прочтут рассказ о том, как в Варне паша велел заморозить до смерти несчастных болгар, им же ограбленных. О болгарях Барклай отзывается с великою похва-

люю. Это народ, по словам его, солидный, тихий, работающий, он выказывает необыкновенное терпение и выносливость под турецким игмом, но в то же время незаметно в нем того раболепства и нравственной приниженности, какая заметна у других; болгарина как работника Барклай ставит очень высоко. Он говорит с негодованием о греческом епископском управлении у болгар (до отделения их от вселенской Церкви) и о греческих священниках. Болгария процвела бы промышленностью и дольством, если б освободилась от турецкого варварства и насилия. «В двенадцати милях от Варны, – рассказывает Барклай, – лежит цветущая деревня Гебеджи, населенная турками пополам с болгарами. Когда въезжаешь в нее, вас поражает вид благосостояния: всюду видны дома, солидно построенные, и большие стада. Эта деревня отделяется от дороги зыбучею трясинной, которую перерезывает узенькая, но глубокая речка. Моя линия шла через эту деревню, и для удобства в своих работах я распорядился проложить через болото дорогу и построить деревянный мост через речку. Как только готов был мост, в следующую же ночь он оказался разрушенным, и когда я стал разведывать, как это случилось, один турок объявил мне, что если устроится у них удобное сообщение с дорогой, то все жители – и турки, и болгаре – лучше сожгут дома свои, покинут деревню и выедут куда-нибудь в такое место, где не так легко будет до них добраться турецким чиновникам, турецким войскам и особенно турецким заптиям (конным жандармам), которые составляют сушую и постоянную язву и разорение для всех деревень – и для турецких, и для болгарских. Если не все, то многие из этих заптиев бывали разбойниками, и все поголовно – хищники и грабители. Жалования их (когда его платят) так мало, что жить нечем, и единственным средством добыть себе удобства для жизни служит им возможность поживиться на службе грабежом. Часто бывал я свидетелем, как в целой деревне мигом скрываются все женщины и дети, лишь только завидят заптия, а мужчины собираются в кучу и смотрят только, что будет, точно стадо баранов, когда забежит к ним неизвестная, странного вида собака».

Последнюю новость литературы по восточному вопросу составляет книга Кембля¹⁵⁹ «Новейшая картина Турции» (“A Recent View of Turkey”, by Sir George Campbell. – London, 1876). Автор, член парламента, совершил недавно поездку по турецким провинциям Балканского полуострова с целью исследования о социальном и политическом их положении; прежняя служба его в Ост-Индской администрации близко познакомила его с условиями правительства посреди разноплеменного народа, и потому изданная им книга представляет особый интерес для английской публики.

В начале книги помещено краткое топографическое и этнографическое описание турецких провинций на Балканском полуострове. Магометанство, по словам автора, не противоречит в принципе идее человеколюбия, но сострадание к врагу на войне недоступно исламу, не в его обычае щадить даже детей и женщин на войне; притом самые лучшие начала, какие есть в исламе, извращены невежеством и варварством многих его последователей. Мусульманину доступно понятие о религиозной терпимости, но ему крайне затруднительно усвоить себе идею равноправности. И в Индии, и в других местах, по мнению Кембля, вся будущность магометанства зависит от того, в состоянии ли будет оно преобразовать и применить к новым началам древние свои законы, которые возникли совсем в иную эпоху и которым законодатель придал значение священного, непреложного правила. Автор, знаток Ост-Индии, совершенно отрицает религиозную и политическую солидарность ост-индского мусульманства с турецким, на которой столько настаивают в Англии ярые поборники туркофильства в английской политике. Ост-индские магометане не только далеки от мысли считать своим главою турецкого султана, но или не знают вовсе, или вовсе не заботятся о его существовании. Все магометанские властители Индии – арабы, персы, афганцы – были ожесточенными его врагами, а могольские императоры, конечно, считали себя несравненно выше его. Притом между магометанами, не менее чем между христианами, разделение на толки и секты религиозные, церковные и политические.

О болгарях Кембль тоже отзывается с великою похвалою, называя их солидным, серьезным, трудолюбивым народом, который способен к большому развитию и, быстро совершенствуясь, приобретает все больше и больше значения. Маленькие болгарские города поражают своим хорошим видом. Те из них, которые были разорены в последнее время, состояли из солидных зданий и имели внешний вид благосостояния.

О турецкой бюрократии и ее приемах он отзывается с отвращением. Турецкое правительство развращено, бессильно: единственным средством к исправлению его может служить постепенная децентрализация с освежением его новыми элементами из христианского населения. Кембль подтверждает вполне достоверность ужасов, совершенных в Болгарии; но все усилия турецкого правительства направлены, ввиду этих ужасов, к заподозрению достоверности сделанных о них сообщений и к преувеличению ничтожных фактов болгарского восстания; вместе с тем стараются свалить всю вину на бывшее правительство Абдул-Азиза¹⁶⁰, хотя события случились уже во время перемены министерства. Признанные виновники варварских распоряжений не только не наказаны, но получили награды и повышения. «Вообще, – говорит Кембль, – всего хуже, на мой взгляд, то, что ни один из высокопоставленных турецких чиновников, с кем я ни говорил, не выражает требуемого, по крайней мере приличия, а по-давно здравою политикой, сожаления о случившемся. Они повторяют лишь жалкие отзывы некоторых англичан: не то ли же самое делали англичане в Индии и русские в Туркестане?» По мнению автора, эти варварства были делом рассчитанной политики, имевшей в виду навлечь страх на целое население, в котором опасались восстания. Жертвы избиения и разорения были совсем не случайные, и кара падала только на тех, кого предполагали покарать. Не тронули ни одного болгарина-католика, протестанта, ни одного грека, пострадали одни болгаре православные. «Притом, – говорит Кембль, – само разорение было, очевидно, систематическое: мне случалось видеть немало разоренных мест, но нигде не

видывал я ничего подобного такому полнейшему, совершенному разорению и опустошению».

Кембль открыто порицает известную двусмысленную политику английского правительства по восточному вопросу, особенно действия английского посланника в Константинополе, сэра Генри Эллиота¹⁶¹. Он выражает надежду, что твердая воля лорда Салисбюри¹⁶² произведет желаемое действие на турок, но прибавляет следующие многозначительные слова, которые вполне подтверждаются ходом нынешних переговоров на Константинопольской конференции. «Но вместе с тем я убежден, что, если только мы подлинно желаем соблюсти мир в Европе, необходимо прежде всего отозвать из Константинополя сэра Генри Эллиота.

Я нисколько не считаю его способным на какое-либо нечестное дело, но необходимо прежде всего доказать туркам, что наши намерения серьезны и что мы действительно хотим оставить туркофильскую политику. А если только он, хотя бы только по имени, будет состоять в числе представителей Англии, турок никак не убедишь в перемене нашей политики: до такой степени его личность официально и по убеждению слилось с нею; до такой степени он упорно стоял за турок в то время, когда они отвечали на английское предложение вызовом на шестимесячное перемирие.

Я думаю, что сэр Генри в некоторых отношениях заслуживает порицания за личные свои действия; а если нет, если он только исполнял волю и инструкции своего правительства, пусть лучше сделают его пэром, герцогом, чем угодно, дадут ему какой угодно пансион – все это будет выгоднее, чем оставлять его в Константинополе».

На днях появилась в Лондоне брошюра, содержащая сокращенный перевод известного отчета, читанного И. С. Аксаковым в Московском славянском комитете¹⁶³ (см. приложение к «Гражданину» № 38). Брошюра эта носит название “*Condensed Speech of Ivan Aksakoff*”, и перевод сделан одною русскою дамой. Она произвела впечатление в кругу лиц, сочувствующих освобождению славян, и заявила, вне всякого сомнения, что

движение в России по поводу сербских событий было подлинно самобытным явлением, независимо от приказаний правительства или от мнимого влияния каких-то тайных обществ. Газета "Daily News" посвящает этой брошюре серьезную передовую статью. Она проникла и во Францию, где газеты сообщают из нее выписки. В Англии читается она нарасхват; в первый раз выпущена она в количестве 250 экземпляров, но вскоре члены комитета Национальной конференции просили издателя напечатать еще одну тысячу экземпляров, которые предполагают рассылать по своему усмотрению при письме председателя с рекомендацией «особенному вниманию».

ИСПАНИЯ¹⁶⁴

Роковая судьба отяготела над испанскою монархией и над целою Испанией. Для монархии, как для всякого учреждения, необходимо иметь хотя бы от времени до времени живых, деятельных представителей, умеющих править и разуметь настоящие потребности государства, народа и времени. Испанская монархия издавна лишена была таких представителей; царствующая династия выродилась, и вот уже идет второе столетие, как на испанском троне сменяют друг друга не живые исторические лица, а образы без значения или только с отрицательным значением, лица бледные и искаженные, люди неспособные, невежественные, иной раз – полуидиоты. Вот, кажется, главная причина, почему монархия в Испании малопомалу превратилась в фикцию, лишенную действительного значения, а вместе с тем, как всегда бывает, под правителями, не способными и лишенными энергии, выросли и укоренились злые семена политических партий, из коих каждая, преследуя свои цели, готова была броситься в агитацию и в борьбу с государственною властью во имя народа. Смешение партий увеличилось, и политическая игра их усилилась с 20-х годов нынешнего столетия, когда в систему правления принято было

основным началом народное представительство с идеей народного самодержавства. В ту же пору показала язва, которая повсюду соединяется с разложением монархического начала: появились династические претенденты со своими интригами и с вековой привычкой набирать войско и заводить дробную междоусобную войну. К несчастью, политический либерализм в Испании не имеет под собою здоровой и твердой исторической почвы. В Испании либерализм неразрывно связан с преданиями и обычаями той эпохи, когда были во всей силе дикие привычки полуфеодального-полуварварского самовластия, когда всякий недовольный и оскорбленный чем бы то ни было считал себя вправе поднять знамя мятежа, провозгласить свое *pronunciamento*¹⁶⁵ и, собрав около себя толпу приверженцев, выходить на брань, которая означала, в сущности, разбойничество под предлогом свободы. С такими-то преданиями, с такими-то привычками каждая новая партия в Испании стала заявлять бытие свое; очевидно, что чем более образовалось таких партий, чем более они стали дробиться, тем более стало накапливаться отовсюду горючих материалов, готовых вспыхнуть при первом предлоге, при всяком удобном случае и, вспыхнув, сразу поднять в том или другом углу войну против государства. Всякий оттенок учения о той или другой организации государства, всякий толк республиканской доктрины становился знаменем, под которое можно было набирать разнохарактерную шайку и вести под ним рать самозванных бойцов за свободу. Мало того, кроме партий, опирающихся на начала национальности, возникли еще партии социальные, без всякой уже национальной почвы, во имя занесенных со стороны социальных учений; каждая из них готова была приступить к делу с тем же национальным навыком к мелкой мародерской войне и с тою же национальной способностью раздробляться и отделяться под всяким предлогом.

В таких обстоятельствах немногие люди разума и порядка должны были чувствовать себя поистине в отчаянном положении бессильных людей. Новое конституционное начало правления в приложении к Испании оказалось ложью и

способствовало лишь усилению общей путаницы. Конституционное правление, основанное на обсуждении и совещании, предполагает всегда (чего не признают доктринеры конституционности) установившуюся дисциплину мысли и порядка в обсуждении. Ничего похожего на такую дисциплину не бывало в Испании. С характером южного, впечатлительного, горячего племени, взрослого в борьбе не словесного, а железного оружия и уже приобретшего столько дурных политических привычек, несовместно спокойное, порядочное совещание о предметах внутренней политики. Испанские кортесы и при конституционном правлении представляли картину невообразимой, ни к чему серьезному не ведущей болтовни, наполненной множеством отдельных эпизодов, беспрерывными столкновениями, нападками, дроблениями имений, напоминающими ту же национальную привычку к пронунциаментам. Серьезному оратору трудно было докончить речь и выразить всю мысль свою, потому что в речи его тем или другим словом беспрерывно поражалось чуткое ухо той или другой партии и всякий раз его перерывали и требовали себе слова в силу губительного, одним испанским кортесам свойственного, устава, по которому имеют право возражать все, хотя бы в безграничном числе, члены, усмотревшие в речи противника что-нибудь относящееся до них лично или до личного их мнения. Зато, с другой стороны, власть человека, обладающего цветистою речью, звучным голосом и умением говорить гармонически громкие фразы, бывала всегда безгранична в этом собрании: пышная и звучная речь – такое очарование, которому не в силах противиться испанское ухо.

Что же народ, ради которого произносятся речи и на котором утверждается механизм народного правленья? Народ этот всегда был и ныне находится в таком состоянии первобытной, непосредственной восприимчивости, при котором идея народовластия повсюду оказывалась и будет оказываться ложью. Выборы, в которых последнее слово предполагалось за народом, конечно, были не чем иным, как обманом. Народу, в сущности, немного было дела до политических прав своих;

народ, по природе склонный к бездействию, погруженный в удовлетворение потребностей, в натуральную жизнь жаркого климата, разбросанный в дробные поселения по горам и долинам, в политическом смысле не мог иметь никакого мнения, и голоса его в неразрывной связи с впечатлением, к которому испанец особенно восприимчив, всегда были во власти либо у духовенства, либо у первого агитатора. И в том же народе ловкий агитатор мог, возбуждая впечатления и лаская инстинкты, набрать себе с удобством толпу приверженцев и вести ее куда угодно.

Последнею опорой порядка служит в подобных случаях армия. Но и сила армии не устояла против духа партий, как устояла она во Франции. В последние годы монархии, при Изабелле¹⁶⁶, республиканским агитаторам удалось поколебать в армии главную твердыню ее – дисциплину и распространить в войске деморализацию. В решительную минуту монархия осталась без опоры в своем государстве. Испания изгнала свою королеву и отлучила от трона свою династию. Известно, что затем последовало. Новый король, из чужеземного рода, призван управлять Испанией¹⁶⁷; но, приняв корону и переехав в свое государство, он ступил на почву, уже подкопанную. Испания обеднела уже людьми для сильного и разумного правления, и в ту самую минуту, когда начиналось новое царствование, погиб от руки политического убийцы маршал Прим¹⁶⁸ – единственный деятель, на которого могли возлагать надежду друзья порядка. Новый король скоро убедился в том, что правление его невозможно, он оставил престол – и Испания провозглашена республикой.

Республиканская партия торжествовала победу. Идеалисты республиканской федеративной республики с Кастеляром¹⁶⁹ во главе вступили в новый порядок с твердою надеждой, что под знаменем республики соединятся все партии, разделенные во время монархии. Но как скоро суждено было им разочароваться в мечтах своих! В новой республике явилось такое разделение, какого никакая монархия еще не видывала, и республиканская партия, расшатав старое государство, старую организацию

властей, расшатав дисциплину в армии и в правительстве, сама себя лишила орудий, необходимых для того, чтобы утвердить и поставить на мире собственное свое правление.

Немного времени прошло с тех пор, как провозглашена республика, и она уже находится на краю гибели под бессильным правительством несогласных между собою доктринеров демократии. По всему государству распространилось безначалие в ужасающих размерах. Правительство, истощаясь в бесплодных усилиях водворить порядок, не находит ни людей, ни денег, ни армии, без которой водворение порядка невозможно. В течение лета сменилось уже несколько министерств, но ни одно еще не явило в себе способности справиться с внутренними врагами, возникающими отовсюду.

Республиканская формула нынешнего правительства достаточно либеральна. Члены его фанатически преданы своему идеалу государственной организации, а этот идеал состоит не в том, чтобы соединить раздробленные части государства в одно целое сильною центральною властью, а в том, чтобы раздробить снова Испанию на отдельные провинции, которые связаны были в истории вековою политикой в одно государство, и потом связать их идеальным союзом федерации. Такова фантастическая задача нынешних испанских законодателей. В проекте конституции, коего обсуждение еще не началось ввиду внутренних междоусобий, сказано, что вся Испания делится на 15 отдельных штатов, составляющих федерацию. Все без исключения власти суть выборные, сменяемые и ответственные. Верховное самодержавство принадлежит всем гражданам и выражается во всеобщей подаче голосов, от которых зависит устройство всех местных и федеративных учреждений; их полагается три рода: муниципальное общественное учреждение, областное собрание и федеративное собрание штатов.

Кажется, чего еще либеральнее? Однако в среде самого собрания кортесов тотчас же оказалось значительное меньшинство членов, которым предполагаемая организация представляется *ретроградною*. Всякий может иметь свое мнение, и это меньшинство (числом до 200) могло бы, кажется, отстаивать

свое мнение, оставаясь в собрании, или пожертвовать им мнению большинства для общего блага. Но такой образ действия вовсе не в испанских нравах. Помянутые члены по испанскому обычаю объявили себя *непримиримыми* (Intransigentes), не признающими никакой сделки и не подчиняющимися никакому решению большинства. Мало того, каждый из них счел себя вправе оставить собрание и отправиться внутрь страны, чтобы, набрав себе шайку, поднять знамя бунта против установленного правительства. Так поступили многие депутаты; под предводительством их в южных областях Испании города и отдельные кантоны стали провозглашать себя самодержавными, независимыми от центральной организации. Стали образовываться местные юнты¹⁷⁰, захватывать казну, налагать сборы и контрибуции и собирать войска. Правительству пришлось вступать в войну с этими самочинными властями и брать силою отделившиеся города. Казалось бы, совершенно очевидно, что те члены собрания, которые, оставив его, пошли поднимать против него войну, должны быть объявлены мятежниками против государства и подлежать ответственности как преступники. Ничуть не бывало. И это оказывается не в испанских нравах. Эти мятежники считаются по-прежнему членами собрания, и никто не смеет их преследовать. Еще недавно один из поднявшихся городов был усмирен и юнта его распущена. Депутат, который поднял весь этот город, стоял во главе возмущения и хозяйничал в нем 2 месяца; увидя же, что попытка не удалась, вернулся, как ни в чем не бывало, в Мадрид и спокойно занял свое место в собрании кортесов. Некоторые члены попробовали возразить против его появления, но *президент остановил их*, и тем дело кончилось.

С весны и до сих пор южные провинции Испании, самые богатые и промышленные, представляют сплошную картину безначалия, мятежа и разорения. Появляются всюду ведомые мятежники или еще чаще никому неведомые проходимцы, набирают шайку, овладевают городом, провозглашают его независимость, забирают казну и правительство, грабят, разоряют и насилуют во имя свободы, и нередко громадное большин-

ство местного населения, захваченное врасплох, принуждено повиноваться толпе грабителей-самозванцев. Как вороны на мертвечину, собрались сюда же агенты Интернационалки, поднимают чернь и рабочих и устраивают, где можно, коммуны со всеми ее ужасами*.

Подобную участь испытали и большие города – Севилья, Малага, Барселона. В прошлом июне вся Европа огласилась ужасною вестью о варварствах, пожарах и истязаниях, совершенных коммуною в городе Алкое; подробности их были так ужасны, что председатель не решился прочесть подлинного донесения о них в собрании кортесов. Эта коммуна разрушена. Но виновники злодеяний до сих пор остаются ненаказанными, и регулярная военная стража для охранения порядка до сих пор не решается вступить в мятежный город. Положение четырех Каталонских провинций, по признанию самого правитель-

* До 1868 года в Испании не было слышно об Интернационалке, а в настоящую минуту Испания считается главным гнездом ее. Таким быстрым развитием нового учреждения Испания, по словам женевского корреспондента газеты «Таймс», обязана известному русскому политическому выходцу Бакунину¹⁷¹. Он придумал воспользоваться распространившимся в народе равнодушием к политическим вопросам для образования союзов рабочих с целью увеличения рабочей платы и уменьшения рабочих часов. В Барселоне и Мадриде организовал он центральные комитеты из докторов, адвокатов и журналистов. Эти комитеты взяли на себя пропаганду рабочих союзов, тщательно избегая всяких политических вопросов, и потому без затруднения склоняли рабочих соединяться для упомянутой практической цели. Правительство не видело ничего опасного в этой пропаганде, не касавшейся политики, и кортесы стали преследовать союзы рабочих только в настоящее время, когда уже поздно стало им противодействовать. По сведениям, объявленным на нынешнем конгрессе Интернационалки в Женеве, успехи ее в Испании идут очень быстро. В августе 1872 года испанская федерация Интернационалки состояла из 65 местных союзов с 224 примыкавшими к ним обществами рабочих. В августе 1873 года в ней считалось уже 162 местных союза с 454 обществами. В 1872 году считалось всех членов до 25 000; а в 1873 году – до 50 000. Посредством этой организации произведено было со времени провозглашения республики не менее 130 стачек. Но республиканское правительство начало преследовать Интернационалку; с этого времени члены ее, состоявшие до сих пор вне всех политических партий, соединились с партией непримиримых против республиканского правительства. Этим объясняются те варварские истязания, которые производились над республиканцами повсюду, где (как, напр[имер], в Алкое) рабочие успевали в стачке одолеть местное правительство и учреждать коммуны.

ства, все равно, что положение разоренного края. «Железные дороги, – свидетельствует Кастеляр, – повсюду разрушены, движение остановилось, заводы и фабрики сожжены, рабочие разбежались, и повсюду, как саранча, появляются дикие орды, жгут, убивают, разрушают, бесчестят и насилуют».

Ввиду этих беспорядков, угрожающих гибелью всему государству, что же делает, какие принимает меры центральное правительство в собрании кортесов? Чудное дело! В течение всего июня и июля собрание открывалось ежедневно чтением телеграмм о новых ужасах мятежа и грабительства, а затем правительство объявляло, что надобно строго действовать против мятежников, и тут же собрание большинством голосов постановляло отмену смертной казни и красноречивый Кастеляр по целым часам произносил посреди общего восторга изящные речи о свободе, о судьбах ее в прошедшем, настоящем и будущем и об идеальной организации федеративного государства. Тут же со стороны членов, втайне покровительствующих мятежу, возбуждались предложения о даровании амнистии мятежникам еще в ту пору, когда они беспрепятственно продолжали свои насилия. И эти предложения дебатировались серьезно. Каждый день появлялись известия о страшной деморализации в армии, о переходах солдат целыми отрядами на сторону мятежников, об открытом неповиновении офицерам, об оскорблениях и насилиях всякого рода, производимых подчиненными над начальниками, и в ответ на это произносились длинные речи о том, как низко и как противно республиканскому духу подвергать строгим наказаниям за нарушение военной дисциплины; целые заседания проходили в ожесточенных спорах о том, возможно ли преследовать мятежных депутатов за то, что они подняли целый край на войну против государства. Сменялись перед собранием одно за другим министерства, и каждое вновь протестовало о своем отвращении к чрезмерным строгостям против мятежников. А каковы были члены министерства, можно судить по образцу одного из них, Сунера (мин[истра] иностр[анных] дел в министерстве Пи-и-Маргалья¹⁷²), который, только что вступив в

должность, прежде всего распорядился исключить имя Божие из всех бумаг, в коих оно по форме употреблялось...

Между тем с севера от Пиренеев надвинулась другая туча – столь же грозная. Самые коренные провинции, в которых сложилась испанская нация, провинции, служившие всегда главным оплотом национальной независимости и центром борьбы за национальность, заняты карлистами – самым опасным в настоящую минуту врагом нынешнего правительства, поднявшим голову с того самого времени, как провозглашена республика. Рассеянные в прошлом году маршалом Серрано, беспорядочные отряды карлистов стали вновь собираться в нынешнем году и принимать более и более правильную организацию по мере того, как увеличивалась путаница в республиканском правительстве и усиливались смуты от внутренних врагов порядка. У карлистов появлялись и искусные военачальники, и солдаты, приведенные в дисциплину; они двигались вперед медленно, но последовательно, занимая по пути один за другим важные стратегические пункты. Наконец, в июле явился посреди их проживавший до тех пор за границу сам представитель старой испанской монархии Дон Карлос¹⁷³ как законный король и сам принял на себя предводительство армией*. Он объявил,

* Дон Карлос, именующий себя Карлом VII, имея всего 25 лет от роду, уже второй раз становится во главе восстания. Права его на корону таковы: Фердинанд VII, король испанский, умер в 1833 году, оставив после себя одну дочь, Изабеллу (бывшую королеву), в пользу коей кортесы по желанию короля отменили салический закон, не допускавший женщин к наследству. Младший брат Фердинанда, первоначальный Дон Карлос¹⁷⁴, не признавая этого постановления кортесов, завел по смерти Фердинанда ряд кровопролитных междоусобных войн для восстановления прав своих. Ему не удалось: поселившись с 1839 года во Франции, он умер в 1855 году, оставив двух сыновей, Карлоса и Хуана, из коих первый умер бездетен, а Хуан, наследовав его права, отрекся от них в 1868 году в пользу сына своего, герцога Мадридского, нынешнего Дона Карлоса. В том же году Дон Карлос созвал своих приверженцев в Лондон на конгресс и затем поднял восстание, в котором приняли участие 20 000 пиринейских горцев, но у них достало оружия только на 2000 человек, и попытка не удалась. Дон Карлос женат на племяннице графа Шамборского, чем еще усиливается связь между обоими претендентами на законную власть – в Испании и во Франции. Оба вместе с тем представляют в себе пламенных поборников папства и клерикализма, следовательно, стремятся к осуществлению романского начала в противоположность началу германскому.

что идет избавить страну свою от мятежа и насилия, водворить в ней законный порядок и восстановить в ней государство с властью. Около него собрались многие представители древних и богатых испанских родов; народ по пути встречает его восторженными кликами; солдаты, видя его самого впереди боя и опасности, следуют за ним с одушевлением. Духовенство по всей Испании чаует в нем избавителя Церкви и проповедует его народу. Поборники начала законной монархии во Франции и в Австрии и ревнители папского католичества во всей Европе сочувственно следят за его движением, и нет сомнения, что от многих получает он материальную помощь деньгами и оружием. Карлисты двигаются медленно и до сих пор не выходят за пределы Пиренеев, выжидая событий и средств. Уверяют, что если бы Дон Карлос имел средства вооружить всех своих приверженцев, то мог бы в скорости набрать себе армию до 50 000 <человек>. Очевидно, что в этом пункте собирается действительная и грозная сила; успех ее тем вероятнее, чем долее продлится слабость республиканского правительства и чем явственнее обнаружится его бессилие справиться с внутренними смутами на юге.

А это бессилие все более и более обнаруживается. В начале, когда пало, продержавшись всего три недели, неспособное и вялое министерство Пи-и-Маргалья и уступило место министерству Сальмерона, можно было надеяться, что в деятельности его, кроме либеральных фраз, проявится какая-нибудь энергия. И действительно, много было говорено в кортесах о необходимости самых энергических мер против врагов порядка. Но первым орудием этого дела должна служить армия, т[о] е[сть] та самая сила, которую утратило республиканское правительство и которую оно продолжает отрицать в принципе, отрицая безусловность строгой военной дисциплины. Пришлось обратиться за помощью к некоторым из старых генералов Изабеллиной монархии; но для действий против мятежников правительство успевало находить одни жалкие обрывки армии, которыми нельзя совершить совокупного и систематического напора к очищению целого края.

И эти обрывки трудно вести в бой, потому что нет главной пружины военного дела – строгой дисциплины. Правда, удалось и с такими отрядами при относительной слабости самих мятежников обезоружить Валенсию, Севилью, Кадикс, но повсюду главные виновники беспорядков и злодейств остались ненаказанными или успели скрыться, чтобы продолжать свое дело в других городах. Военачальники не решаются принимать энергические меры, когда республиканское правительство объявило строгость взысканий *несовместною с духом республики*, и изо всех генералов ее один Павия не боится расстреливать мятежников и преступников против дисциплины, за что многие уже требуют отозвать его и предать суду. Правительство до того бессильно, что даже в обезоруженных городах не может восстановить регулярное действие установленных властей; не в силах оно до сих пор одолеть и главный пункт, в котором сосредоточились силы партии непримиримых на Юге – Картагену. Борьба с ними стала вдвое затруднительнее, когда непримиримейшему из непримиримых, генералу Контрерасу¹⁷⁵ удалось захватить в свои руки этот важнейший военный порт Испании с большею частью флота, с обширной гаванью и с крепостью, имеющею славу неприступной. В этом пункте непримиримые в смешении, по-видимому, с явными и тайными коммунистами укрепились на решительную битву с мадридским правительством; и отсюда с бессильною злобой грозят они Германии и Англии за секвестрованные у них командором Вернером военные фрегаты. Очевидно, что чем дольше успеют они продержаться в этой позиции, тем разительнее окажется перед всей страной и перед Европой нравственное и материальное бессилие республики ввиду наступающего с севера монархического претендента, которого некоторые европейские державы уже задумывают признать воюющей стороной. Но кортесы до сих пор только угрожают Картагене. Правительство могло выставить против нее только жалкий отряд в 4000 <человек>, не имеющий средств предпринять осаду. С моря блокирует ее только адмирал по имени Лобо с жалкими остатками ре-

спубликанского флота и спешит уйти прочь из-под выстрелов всякий раз, как только появляются картагенские мониторы. Между тем взаимная ненависть однородных партий дошла уже в Испании до такого раздражения, что картагенские непримиримые, то есть крайние из крайних республиканцев, готовятся в случае неудачи взорвать город и скорее согласны сдать его представителю монархии Дон Карлосу, нежели мадридской республике. Одна мысль о возможности передачи захваченных иностранцами фрегатов мадридскому правительству привела их в такое ожесточение, что они решались, не думая о последствиях, стрелять по английской эскадре.

А между тем кортесы продолжают ежедневно собираться для выслушивания речей о свободе. 25 августа собрание большинством выбрало себе в председатели талантливейшего из своих ораторов – Кастеляра, честного человека, фанатика республиканской религии, показавшего себя, впрочем, до сих пор только человеком идеи и слова, изящным оратором и литератором, а не человеком дела. По этому случаю Кастеляр объявил, что не может отказываться от налагаемого на него бремени в деле, касающемся до того, что составляет «религию его совести и любовь всей его жизни», то есть до республики и нации. Затем он сказал длинную и действительно красноречивую речь о прогрессе в делах человеческих, о драгоценном благе свободы, о том, как нужно всем помнить и не забывать, что они основывают совершенно новую для Европы форму социального устройства – самую передовую, самую совершенную; что форма эта не должна быть исключительным достоянием той или другой партии, но должна быть «вольна, как воздух, исполнена обилия, как земля, и общительна всем, как свет солнечный».

Он кончил изображением опасностей, отовсюду угрожающих этому новому изобретению, и призывом к соединению всех партий и к энергическому действию против сил, враждебных республике.

Вот что говорил Кастеляр 25 августа, а через несколько дней разрушилось Салмероново министерство, так как Сал-

мерон объявил положительно, что не допускает смертной казни за какое бы то ни было нарушение военной дисциплины, и большинство собрания оказалось против его мнения. Тогда на место Салмерона главою исполнительной власти выбран Кастеляр и сказал новую речь, в которой объявил, что необходимо призвать на службу 150 000 резерва, вооружить 500 000 милиции и подавить мятеж во что бы то ни стало.

Вот каково нынешнее положение Испании. Кастеляр в последней речи, призывая все партии к единению, угрожает своим согражданам, что если не соединятся, если сами либералы станут подкапываться под республику, то Испанию ожидает 18-е Брюмера¹⁷⁶ или 2-е декабря¹⁷⁷, то есть «необъятное и постыднейшее диктаторство». Но словами не заменишь дела, из мечтания не выведешь действительности. Можно, пожалуй, и детей уговаривать, чтобы вели себя безукоризненно, благоразумно, если не хотят, чтобы к ним приставили учителя. Что толку уговаривать детей, когда знаешь, что дети склонны к шалостям, что между ними много испорченных и что вообще детей невозможно оставить без присмотра и без учителя!

Z. Z.

Государство и Церковь

БОРЬБА ГОСУДАРСТВА С ЦЕРКОВЬЮ В ГЕРМАНИИ

Война государства с Католическою церковью в Германии разгорается все сильнее и сильнее и становится одним из самых интересных и важных по последствиям политических явлений нашего времени. Лет 20–15 тому назад государствен-

ная власть оставляла свободу Католической церкви во внутренней ее дисциплине и в учительской деятельности. В ту пору государство не столько еще опасалось ее, сколько нуждалось в ней. Оно само еще собирало свои внутренние силы и в ожидании внешней борьбы, на которую рассчитывало, предпринимало у себя борьбу с движением либеральной партии, угрожавшим ему серьезными затруднениями. И на выборах, и в делах внутренней политики поддержка со стороны Католической церкви, имевшей громадное влияние на массы германских католиков, была необходима для государства. В ту пору всякое усиление церковного авторитета казалось усилением консервативного начала и подкреплением королевской власти в борьбе с парламентом. Итак, Церкви оставлена была полная свобода вести автономно дело обучения и приготовления своих служителей в духе римской клерикальной дисциплины. Правительство усиливало оклады, назначенные из бюджета на содержание епископских кафедр и семинарий; приходские священники могли без всякого вмешательства светской администрации распространять свое влияние на умы в приходах и действовать даже на общее элементарное образование в первоначальных школах, где предоставлено было им звание инспекторов от правительства. Но уже лет 10 тому назад виды прусского правительства изменились. Вступив деятельнее во внешнюю политику, оно стало искать себе поддержки в либеральной партии и, уклоняясь от открытой борьбы с нею, охотно сдавалось на сделки. С этой минуты изменились и виды правительства на содействие Церкви, и взгляды его на церковную автономию. Прежний союзник стал представляться врагом подозрительным. Этому расположению способствовали и политические события. Война с Австрией¹⁷⁸ дала решительный повод высказаться стремлениям к объединению Германии, в котором Австрии, державе католической, не оставлено места. В разгаре политической борьбы обнаружился непримиримый антагонизм между началом германского государственного и началом римского церковного единства, в котором явно или тайно стали искать себе опору все обиженные и оскорбленные

прусским единовластием. Ясно стало государству, что в своем стремлении к единству оно имеет себе опасного врага в той самой Церкви, которая, считая себя всемирною, в то же время в силу прусского государственного устройства занимает положение и второй государственной установленной Церкви в Пруссии. Это обнаружилось еще явственнее в эпоху сильнейшего возбуждения и разгара национального чувства в Германии во время Французской войны. Как раз к тому же времени подоспело и объявление папской непогрешимости. Римский католицизм ввиду накопившихся отовсюду – и извне, и изнутри – враждебных ему элементов сковал себе новое, решительное оружие единства и духовного владычества над умами. Но уже и германское государство в руках Пруссии испробовало с успехом силу «огня и железа» в своей соединительной и завоевательной политике. Победное торжество по окончании войны с Францией открыло новой германской политике новые горизонты деятельности и новые опасности, с которыми предстояло бороться. Посреди торжества и поздравительных кликов государство не могло не сознавать, что окружено отовсюду тайными врагами, и во главе их, позади раздраженной и униженной Франции, почуяло тайную силу Римского Змия. С этою силой германское государство предприняло борьбу, из которой, без сомнения, рассчитывает выйти победителем. Борьба эта, которая может превратиться при дальнейшем своем развитии в борьбу жестокую, на жизнь и смерть, между двумя началами, становится тем любопытнее, что в ней религиозные и церковные мотивы переплетаются нераздельно с мотивами политическими. С одной стороны, с нею связаны страстные интересы всех политических противников германской государственной идеи как в самой Германии, так и вне ее пределов; с другой стороны, германская государственная власть влагает в этот спор между Церковью и государством всю силу только что сложившегося самодержавия и самоуверенности, воспитанной победами.

После нескольких неудачных попыток к миролюбивой сделке с Католическою церковью в Пруссии правительство

предприняло подчинить ее вовсе своему законному контролю с тем, чтобы обуздать врага своего на собственной его территории. Оно вооружилось против Церкви новым законом, проведенным весною через парламент, законом, который дает правительству небывалое относительно католицизма право распространить прямой свой надзор на клерикальное воспитание и обучение и на назначения в церковные должности. Нарушается коренное правило церковной автономии, считавшееся неприкосновенным. Можно себе представить, с каким раздражением меры эти были приняты духовенством и ревностными католиками в Пруссии. В самом деле, пример небывалый. Протестантским чиновникам протестантского правительства дано право положительного вмешательства в предметы внутренней дисциплины в Римской церкви. Не говоря уже о том, что вмешательство это, по свойству бюрократий, должно быть резкое, формальное и во многих случаях соединенное с пренебрежением ко многому, чего иноверец не понимает в чужой церкви, и особенно протестант – в католической, не говоря уже об этом: ни для кого не тайна, что между этими чиновниками немало либералов, не признающих вообще догматизма и обрядности в религии, и что прусское правительство при самом издании закона принуждено было войти в сделку с партией людей вольномыслящих, поддерживавших его не из одного только убеждения в необходимости борьбы с Римом, но по принципу поддерживать все, что клонится к ослаблению церковного элемента. В числе целей нового закона, явственно признаваемых правительством, есть намерение изменить прежнюю систему образования духовенства в закрытых духовных семинариях в исключительном клерикальном духе и в отчуждении от интересов и побуждений светского правительства. Посредством нового закона имеется в виду поставить образование будущих пастырей Церкви в связи с предметами университетского обучения и с новейшим развитием научной мысли. Между тем известно, что в нынешней системе университетского преподавания сами протестантские богословы развиваются в такой широте

воззрения, в котором мало или вовсе не остается места догматическому верованию, а это верование Католическая церковь преимущественно имеет в виду и, кажется, имеет право, ограждать его от посторонних влияний.

В силу нового закона ото всех епископов правительство потребовало, чтобы в течение двух месяцев представили на утверждение властей программы и планы преподавания в семинариях и духовных училищах. Все епископы отказались исполнить требование. Дав им еще 6 недель дополнительного срока, правительство затем приступило к карательным мерам. В Пруссии содержание католическому духовенству и его учреждениям производится от казны. У епископа Эрмеландского (в Восточной Пруссии) велено удержать производимое ему содержание. У <епископа> Падернборнского (в Вестфалии) отнято содержание, производившееся на семинарии, и воспитанникам объявлено, что правительство не допустит их ни на какую церковную должность. У епископа Фульдинского закрыто силою духовное училище. На епископа Познанского (Ледоховского) наложена тяжкая денежная пеня, и ему объявлено, что его воспитанники как лишенные права на ординацию лишаются права на изъятие от воинской повинности; по последним сведениям, и это училище закрыто. Примечательно, что правительство, уполномоченное законом действовать в подобных случаях по усмотрению, прилагает в разных местностях неодинаковые наказания, довольствуясь в одних местах наложением денежных пеней, а в других употребляет более суровые меры. За уклонением епископов повсюду разосланы от правительства комиссары с правом ревизии и обследований церковных учреждений и школ, которые по донесениям этих комиссаров и закрываются.

Но этого еще мало. Рассчитывая сломить оппозицию епископов, правительство, по-видимому, имеет в виду дальнейшую градацию карательных мер, и трудно предвидеть, на чем они остановятся.

Под рукою у правительства явилось ко времени особенное орудие, посредством коего оно может ставить римскую

иерархию в затруднительное и фальшивое положение. Возле римских католиков стоят ныне в Германии старокатолики, которые, не принимая нового догмата¹⁷⁹ и отвергая верховный авторитет Рима, называют себя настоящими, истинными католиками и добиваются, чтобы правительство признало таковыми их, то есть меньшинство, а большинство, то есть католиков, признающих папу, признало бы самозванцами и отщепенцами от настоящей Католической церкви. Правительство не решалось до сих пор на эту меру, но ввиду противодействия готово, по-видимому, склониться к ней. Когда Бреславльский архиепископ запретил своему духовенству сообщать правительству отчеты и сведения по его требованиям, которые признавал некатолическими, правительство объявило, что признает законным членом Бреславльского капитула бывшего декана, барона Рихтгофена, старокатолика, которого исключил и уволил архиепископ, и что если он не будет обратно принят, то ни одно из назначений на должности, производимых капитулом, не будет утверждено правительством. Одного старокатолика, то есть еретика и врага в смысле Римской церкви, правительство назначило от себя инспектором римско-католических школ! Кельнский архиепископ предан суду за то, что без предварительного разрешения правительства отлучил от Церкви своих священников, принявших учение Деллингера¹⁸⁰. Но всего замечательнее решение, весьма недавно состоявшееся в верховном апелляционном суде по этому предмету. Священник, папист из Рейнских провинций, напечатал памфлет, в котором описывал в оскорбительных для старокатоликов выражениях обряд их богослужения. Против него возбуждено судебное преследование на основании 166 статьи уголовного кодекса, запрещающей оскорбительные отзывы об обрядах исповеданий, *признанных государством*. Местный суд первой инстанции оставил обвинение без последствий на том основании, что перед лицом закона известны только две Церкви – евангелическая и римско-католическая, что одна лишь последняя подходит под силу конкордатного патента 1847 года¹⁸¹ и что старокатолики,

не принявшие римского догмата о непогрешимости, не вправе считать себя признанною Церковью. Верховный суд отменил этот приговор как основанный не на судебных началах, а на односторонних и пристрастных выводах клерикального учения. При этом в окончательном решении сказано: «что касается до нового религиозного учения, не подходящего под патент 1847 года, то это рассуждение не может относиться до *старых католиков*, но должно относиться скорее до *новых католиков*, которые действительно составили себе новое учение (о непогрешимости) и, состоя в действительном владении католическими церквами и церковной собственностью, претендуют на звание истинных членов и представителей Римско-Католической церкви». После такого решения недалеко уже до того, чего добиваются старокатолики, то есть до утверждения за ними всех прав и привилегий, присвоенных в Пруссии Римско-Католической церкви, и до передачи им всех бенефиций и епископских должностей, коими располагает правительство. Когда дойдет дело до этого, а оно может дойти в крайности, тогда настанет критическая минута великого церковного соблазна для римско-католического населения в Пруссии. Вспомним, что если, с одной стороны, протест старокатоликов против нового догмата имеет твердую точку опоры в церковной ортодоксии самого католичества, то, с другой стороны, не определилось еще вполне догматическое и обрядовое вероучение у самих старокатоликов, и в среде их самих слышатся голоса, требующие, независимо от расчета с непогрешимостью папы, дальнейшего *очищения* церковных верований и обрядов!

Но недостаточно еще и этого. Прусское правительство приняло недавно такую меру, которая должна произвести великий соблазн в массе верующего населения. По силе нового закона, ни один католический священник не может быть определен епископом ни в большой, ни в малый приход и ни на какую церковную должность без предварительного разрешения правительства. Епископы, считая это правило антиканоническим, отказались подчиниться ему и продолжают назначать

священников своею властью. Вследствие того правительство, независимо от личного преследования епископов, объявило в одном городе, где в нарушение закона определен был епископом Ледоховским священник, что перед лицом государства не будут иметь значения церковные действия, совершаемые этим священником, то есть что браки, повенчанные им, будут признаваемы недействительными, и *детей, окрещенных им, надобно перекрещивать вновь*. Какое бы значение ни придавали этой мере в гражданском смысле либеральные журналы, очевидно, что, по крайней мере, относительно крещения правительство положительно вторгается этим распоряжением в сферу чисто церковных отпращиваний, представляя новый образец интердикта¹⁸², налагаемого государством на Церковь в параллель тем интердиктам, которые в Средние века Церковь налагала на государство. Если такая мера принята будет повсеместно, то неудивительно, если за нею последует со стороны Рима закрытие церквей и прекращение богослужения для всего католического населения.

Наконец, известно, что прусское правительство готовится внести в следующую сессию проект закона о воспрещении всяких религиозных церемоний и процессий вне церковного здания. До сих пор оно пользовалось правом запрещать только такие процессии, которые угрожают нарушением порядка и мира. На этом основании запретило оно в последнее время пилигримство ко св[ятым] местам в Германии.

Вот откуда главные факты этой необыкновенной борьбы, представляющей, без сравнения, самое интересное из политических явлений нашего времени. Чем-то оно разыграется? Государство, по-видимому, уверено в своей силе и имеет к тому много основательных причин. Оно может рассчитывать на действие духа времени, на распространяющееся в массах равнодушие к религиозным вопросам, которое препятствует народному мнению высказаться с единодушною горячностью в пользу Церкви и против правительства, но рассчитывать на такого союзника опасно, и этот расчет, в конце концов, может обратиться против государства. С одной стороны, поддержа-

ние, а не ослабление элемента веры в народе связано с охранением консервативных начал, которыми не может пренебрегать никакое правительство. С другой стороны, народная масса всегда и повсюду наиболее доступна внушениям агитации, направленной на самые простые инстинкты природы, и агенты так называемой Черной Интернационалки (т[о] е[сть] папской духовной армии) могут действовать на нее с таким же успехом, как и агенты Красной Интернационалки. Государство рассчитывает в борьбе на нынешнее патриотическое настроение во всех классах общества, и действительно, от силезских католиков правительство получило уже сочувственный адрес, к которому присоединяются значительные заявления из других мест Империи. Правда, что эти заявления идут почти исключительно из высших и образованных классов, а не из массы народной. Закону об изгнании иезуитов¹⁸³ прусское правительство успело уже придать общеобязательную силу для всей Германии. Конечно, ему удастся настоять, чтобы в такой же силе признан был и новый закон о делах церковных. Баден, Гессен и Дармштадт вызвались уже сами присоединиться к нему, а Бавария и Вюртемберг – две державы со значительным католическим населением, конечно, не посмеют противиться воле Пруссии. И так прусское государство вооружено ныне для борьбы с Римом, как еще не бывало вооружено ни одно государство. Но и Рим далеко не утратил еще в наше время прежней своей силы. Политическая власть его разбита, но до сих пор изо всего, что мы видим, нельзя еще вывести заключения, что вследствие догмата о непогрешимости ослабели те орудия, посредством коих он владычеству над умами и совестью. Оказались новые отщепенцы от Рима, но общая масса римской иерархии и духовенства сплочена именно вследствие нового догмата гораздо крепче и нераздельнее, чем была, например, в эпоху Тридентского Собора¹⁸⁴, и вся эта масса проникнута сильным сознанием долга – стоять за Церковь в предстоящей борьбе. В ту пору в недрах самой Католической церкви ощущалась потребность внутренней реформы со значительным сочувствием к нача-

лам, провозглашенным проявившеюся реформацией. Теперь не слышится в среде церковной ни одного голоса за реформу, кроме голоса старокатоликов, в действительности уже отделившихся в особое тело.

Но старокатоликам едва ли удастся, по крайней мере в близком будущем, не только поглотить Рим и занять его место, но даже произвести сильное движение к отложению в среде Римско-Католической церкви.

Церковь старокатоликов может иметь самостоятельное значение лишь в качестве Церкви избранных, ученых, просвещенных и сознательно верующих людей (Церковь эта насчитывает ныне в Германии до 50 000 приверженцев). Она останется Церковью интеллигенции уже по тому одному, что видит перед собою очищенное от форм и лишних обрядностей верование. Она не завладеет массою. Многих она оттолкнет от себя тем уже одним, что опирается по принципу на государственную власть и в ней ищет себе внешнего признания, покровительства и *содержания*. Она только что добыла для себя епископа Рейнкенса¹⁸⁵, посвященного для нее в Голландии, рукою первого иерарха Утрехтской церкви. На днях этот первый старокатолический епископ издал свое пастьерское послание, наполненное новыми протестами против папы и против непогрешимости; но эти ученые и умные речи от лица, пользующегося всеобщим уважением и бесспорным авторитетом, немного привлекут новых старокатоликов для новой Церкви из той среды, в которой еще имеет силу правило: **credo quia absurdum** (верю, потому что не имеет смысла). С другой стороны, те либералы верования, которые воображают, что могут иметь религию без веры в воплощение и искупление, в действительность молитвы и в бессмертие души, с одинаковым презрением отвернутся и от Римской, и от Старокатолической церкви.

Скоро настанет время новых выборов в члены германского и прусского парламента. Они послужат, конечно, новым поводом к усилению борьбы между Церковью и государством. Политическое значение низших классов на выборах

значительно усилилось и в Германии, так же как повсюду, и на эту-то среду будет действовать католическое духовенство. Нет сомнения, что прибудет много новых членов ультрамонтанского¹⁸⁶ направления. С ними соединятся те крайние консерваторы, протестанты и католики, которые противились новому закону не во имя папы, но в охранение веры и церковной твердыни от чиновничьего и профессорского неверия. С другой стороны, все либералы и радикалы германского государственного единства будут всею силою поддерживать идею правительства. Предстоящие выборы будут, по всему вероятию, отличаться крайней горячностью партий.

Z. Z.

ЦЕРКОВНЫЕ ДЕЛА В ГЕРМАНИИ

Папа Пий IX издал 21 ноября обширное и грозное окружное послание, имеющее в виду преимущественно германские церковные дела. Как и следовало ожидать, в этом послании папа обращается с самым решительным осуждением и отлучением от Церкви к старокатоликам и во главе их – к главному, по мнению папы, ересиарху и лжеепископу Рейнкенсу.

В ответ на это осуждение появилось на днях пастырское послание Рейнкенса; для характеристики нынешних отношений старокатоличества к папе, устраняющих всякую возможность примирения, считаем нелишним привести некоторые места из послания Рейнкенса.

«Нам ставят в вину, – говорит он, – множество страшных заблуждений относительно основных догматов католической веры; остается только сожалеть, что ни одно из них не названо. Уже по Тридентскому Собору, основных догматов католической веры два: 1) толкование текста Св[ященного] Писания сообразно общехристианскому духу всех веков и, где это возможно, сообразно единогласному пониманию его Отцами Церкви; 2) знаменитое католическое *предание*, зна-

чение которого выяснено Тертуллианом¹⁸⁷ и сформулировано в таких ясных словах Винцентом Леринским¹⁸⁸: “Во что всегда, повсюду и все верили”. Вот что исключительно может считаться догматом. На Ватиканском Соборе 1870 года папа, несмотря на жалобы и письменные протесты более ста епископов, низвергнул эти два основных принципа католической веры, попрал их ногами, а протестующих разогнал, как неразумное стадо.

В противность общему духу Церкви, выразившемуся в продолжении 1500 л[ет], и единогласному толкованию Отцов Церкви он извратил значение знаменитого текста (Лк. 22:32), где говорится о личном исповедании веры Апостола Петра в том смысле, будто он содержит подтверждение божественной привилегии римских епископов определять истину в делах веры и нравственности всегда и повсюду, по личному усмотрению, *без согласия на то Церкви*, по праву вселенских папстырей целого Христианства. А к другому основному принципу католической Церкви, по преданию, он питает такое презрение, что поставил самого себя на его место, отпустил удалившихся с протестом перед торжественным заседанием епископов самых значительных епархий и признал, наконец, догматом то, что, по свидетельству самых авторитетных и ученых епископов, ни в прошлое, ни в настоящее время не составляло предмета веры для всех. Только по устранении этих двух основных принципов Католической церкви сделалось возможным произнести “страшные заблуждения” 18 июля 1870 года и навязать их силою Христианству. Но папа говорит еще о “святотатственных” будто бы принадлежностях обряда, принятых нами в состав нашего богослужения. Если бы ему представился случай присутствовать на нашем богослужении, то он встретил бы такое благочестие, о каком в Риме и понятия не имеют. Святотатства не совершает тот, который, стоя у алтаря, пребывает в истинном учении Христа. Павел не святотатствовал в своем служении, когда прямо воспротивился Петру, не прямо поступающему по истине (Гал. 2:11–14), и порицал его. Но святотатственно стоят у алтаря те, которые

злоупотребляют своею властью, которые несправедливым удержанием тайнств и ущербом в имуществе и добром имени заставляют верующих признавать ложь за слово Божие; оскорбляют святыню те, которые, стоя у алтаря, признают громко то, чему отказывается верить их совесть. Правда, учение римской курии иное. Все древнее Христианство проповедовало, что несправедливое наказание падает на главу того, кто назначил его. Теперь в римской иерархии царствует безнравственная система, возникшая с папской буллы 1713 года *unigenitus*¹⁸⁹, по которой всякий обязан под страхом отлучения исполнять приказания высших и покидать, если того потребуют, раз сознannую истину и исповедовать ложь. На основании этого служение священника, самым неправильным образом отлученного или отрешенного, стали считать святотатственным. Но Афанасий Великий¹⁹⁰ не прекращал священнодействовать несмотря на то, что папа с 600 епископами отлучили его от Церкви за то, что он не хотел отрицать Божество Христа Спасителя».

Далее епископ Рейнкенс опровергает доводы папы против правильности его избрания в епископы: «Пий IX **оспаривает** действительность моего избрания. Отвечаю: собственное Ваше избрание, совершаемое кардиналами (учреждением недавнего происхождения), Вы не можете признать законным на том основании, что *по духу и постановлениям древней Католической церкви* выборы, безусловно, должны совершаться *народом и духовенством*. Если мое избрание не противоречит духу и законам древней Церкви, то о правильности его пред лицом Церкви не может быть и речи, даже если бы оно противоречило современному положительному законодательству. Епископская юрисдикция почерпает силу свою из совершенного основания выборов посвящения, а не из акта какой-то внешней юрисдикции, совершаемого “епископом епископов”. И в этом Тридентский Собор на моей стороне. Но папа утверждает, что “верх бесстыдства” с моей стороны заключается в том, что мое посвящение в епископы совершал янсенист¹⁹¹, которого я сам будто бы прежде признавал ере-

тиком и отступником. Но я никогда не считал достопочтенного епископа Гейкампа¹⁹² отступником и еретиком. Задолго до моего избрания я уже убедился в том, что столь жестоко преследуемая Римом Утрехтская церковь не держится янсенизма и православна более самой римской курии. Преемство епископов в этой Старокатолической голландской церкви, которой Пий IX насильственно, против всякого канонического права, противопоставил новокатолическую, неоспоримо. Не впадая в новое лжеучение, папа не осмелился признать епископов 80-миллионного населения, исповедующего греко-восточную веру, “лжеепископами” только на том основании, что они не утверждены им; по той же причине он не может назвать ни меня, ни посвятившего меня благочестивого и миролюбивого епископа Девентерского “лжеепископами”.

Папе также крайне неприятно, что мы заговорили о “приходской общине” и о ее правах; долгое время играли словом “церковь”, и лишь только заходила речь о правах Церкви, под этим словом подразумевались права или иерархии, или даже исключительно римского епископства. Мы, пребывающие в старой вере католики, объявляем сим, что все обетования и благодатные дары искупления, по единодушному толкованию Отцов Церкви, даны церковной общине, хотя и состоит она под пастырскою властью. Ecclesia¹⁹³ Св[ященного] Писания есть ни что иное, как христианская община *в единении народа с клиром*. Только в этом смысле разуметь следует слово *Церковь* и по Св[ященному] Писанию. Но какое дело вообще Пию IX теперь до истинной Церкви в евангельском смысле! Ведь он торжественно отрекся от нее в догматической конституции 18 июля 1870 года! Ведь он самым торжественным образом объявил Христианству свой догмат, по которому его кафедральные изречения в делах веры и нравственности сами по себе непогрешимы и нисколько не нуждаются в согласии Церкви. Этим он противопоставил себя Церкви: он – все, она – ничего; таким образом, он стоит вне Церкви. “Мне повинуйтесь, а не Церкви”, – говорит он! Но как сам не повинуется более Церкви, то мы вступили бы в разлад с

нашей совестью, если бы стали его слушать. Церковь – наша мать, на которую Пий IX не обращает внимания. Поэтому его власть есть чуждая, а есть власть церкви, и не Христова. Св. Киприан¹⁹⁴ учит, что епископ не должен предпринимать ничего в управлении без *совета и согласия* общины, особенно не должен назначать без этого согласия духовных лиц и не принимать в духовное звание светских. Пий IX говорит, что “епископ старокатоликов призывает на главу свою осуждение от Христа Спасителя, как тать и разбойник, потому что он вошел не через дверь, а по другой дороге”.

Но в тексте, на который ссылается папа (Ин. 10:1–18), Спаситель указывает на себя как на дверь и доброго пастыря. Павел призван был к апостольству Самим Иисусом Христом (Гал. 1:2), а не Апостолом Петром; однако до сих пор никому в голову не приходило называть его “вором и разбойником”. Но Пий IX прямо себя ставит на место Спасителя и *на себя* указывает, как на “дверь”. Это и есть “кумир в Ватикане”, на которого указывал перед смертью Монталамбер¹⁹⁵. Разве папа не слышал, что ораторианец Фабер¹⁹⁶ написал книгу “О благоговении перед папою”, без которого никто не может войти в блаженство, так как оно есть необходимо для святости христианской? Разве он не знает о соблазне, который возбудили некоторые французские и английские религиозные мечтатели, назвавшие папу третьим воплощением Сына Божия? Разве он не слышал, что во время Ватиканского Собора, в самом Риме один из епископов проповедовал с кафедры это языческое учение народу? Разве Пий IX не знает, что те мечтатели, т[о] е[сть] “благочестивые священники и монахи” проповедуют и пишут, будто папа, если бы пожелал, мог бы сказать: “Я святой дух, я путь, я истина, я жизнь, я евхаристия”? Разве он не знает, что они в одном гимне церковном вместо Deus поставили Pius; что его встречают гимном Святому Духу? Что официальный журнал папы, “Civiltà-cattolica” объявил папу обладателем даров Святого Духа и утверждал, что, “когда папа мыслит, то мыслит в нем Бог” и “что он для христиан то же самое, чем был бы Сам Спаситель, если бы остался на

земле"! Когда же Пий IX, услышав такие богохульные речи, раздирал свои одежды, подобно Павлу и Варнаве в Листре, когда они бросались в народ, громогласно восклицая: Люди! Что вы делаете? И я подобный вам человек?¹⁹⁷

Но папа желает видеть действие своего отлучения, поэтому он почитающим его велит "причислить нас к числу тех, с которыми Апостол запретил иметь какие-либо сношения, даже не говорить им *Ave (здравствуй)*". Он имеет в виду Апостола Иоанна. Во втором его послании 10 стих гласит: "Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его". Но пусть бы он не приводил тексты односторонне и отрывочными фразами! Точный и полный смысл этих строгих слов мы уразумеем только тогда, когда приведем их в соотношение со словами Спасителя в Нагорной проповеди: "И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный". (Мф. 5:47,48). Когда в одном селении Самаряне не хотели дать Иисусу приюта, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим, ученики его Иаков и Иоанн сказали: "Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?" Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: "Не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать" (Лк. 9:52-56)».

Пастырское послание заключается следующими словами: «Братья! Что нам делать, если папа Пий IX истощает весь запас поносительных и позорящих слов, если он нас называет даже самыми жалкими сынами погибели, чтобы возбудить против нас бессмысленную толпу? Если мы истинные ученики Спасителя, а я в том уверен, то мы получим мир, который дает нам Господь, "не так, как мир дает", и тогда "Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14:27). Каким миром звучат слова: "Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклиняйте!" "Никому не воздавайте злом за зло!", "Если возможно, со своей стороны, будьте в мире со всеми людьми!"».

Между тем Рейнкенса официально признали епископом правительства прусское, баденское, гессен-дармштадтское. Прусское правительство назначило ему по бюджету содержание в 16 000 талеров; баденское назначает со своей стороны. Очевидно, германская государственная власть рассчитывает, между прочим, воспользоваться старокатолическою иерархией в борьбе своей с римским католичеством, которая достигла уже крайнего пункта. Архиепископ Познанский, конечно, вскоре лишен будет своего звания государственным судом. По всей вероятности, той же участи подвергнутся и другие епископы и все назначенные ими священники. Закон о гражданских браках и регистрациях принят уже в законодательной палате огромным большинством. Для всех вновь могущих быть назначенными епископов на днях издана новая форма присяги, безусловно обязывающая к повиновению государственным властям и государственному закону. Но новые епископы, конечно, не будут вскоре назначены папою, разве по правилу *partibus infidelium*¹⁹⁸. Таким образом, все римско-католическое население в Пруссии вскоре должно оказаться под интердиктом, без церквей и без пастырей, и интердикт на этот раз будет исходить не от папы, а от государственной власти. Надо полагать, что прусское правительство, решившись принять такое положение, имеет твердую надежду и на благоприятный исход из него, потому что нормальное положение этого рода невысказано. Едва ли может оно рассчитывать на уступку со стороны папы и духовенства. Разве, может быть, оно надеется, что многочисленное римско-католическое население, утомившись, склонится мало-помалу перейти в лоно Старокатолической церкви и признать своими старокатолических священников. Трудно этому поверить, но если бы удалось Бисмарку¹⁹⁹ одержать такую победу над умами, эта победа открыла бы новую эру в церковной и народной истории и стала бы в последней вторым подвигом новейшего политического Геркулеса, непреклонного канцлера, еще удивительнее первого подвига.

Z. Z.

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В ГЕРМАНИИ

Новые церковные законы в Пруссии продолжают возбуждать в умах оппозицию: частью – глухую, частью – открытую. Открытую оппозицию ведет, по-видимому, очень решительно римско-католическое духовенство (См. № 34 «Гражданина»), и надобно признаться, сколько бы ни было в этой оппозиции личных мотивов, сколько бы ни скрывалось за нею ультрамонтанских побуждений, в ней открывается многое, достойное уважения; все-таки, в сущности, это борьба духовного начала за свою независимость с государственным насилием. Но вся либеральная партия не видит в этой оппозиции ничего, кроме борьбы мрака со светом, церковного суеверия с государственным просвещением и узкого партикуляризма с идеей государственного германского единства. Очевидно, что такой взгляд на оппозицию Церкви недостаточен для беспристрастного о ней суждения. Либеральная партия не находит слов достаточно сильных, чтобы выразить свое просвещенное негодование против церковных врагов так называемого государственного порядка, не находит мер достаточно сильных и строгих для того, чтобы сокрушить этих врагов окончательно. Ввиду насильственных мер против Церкви²⁰⁰, принимаемых правительством, государственные либералы ропщут на слабость и вялость этих мер. Вот что советует Густав Фрейтаг²⁰¹ в журнале *“Im neuen Reich”*: **«Законы, – говорит он, – вооружают правительство самую решительную властью, стоит только воспользоваться ею до крайних мер. Прежде всего, необходимо окончательно воспретить всякие пилигримства и всякие церковные процессии вне ограды церковных зданий; первые служат только безнравственности и суеверию, последние нарушают порядок и мир гражданского общежития. Затем должна следовать полнейшая эмансипация школы от всякого влияния и надзора Церкви. Женатые учителя первоначальных школ могут служить лучшими пособниками правительству, когда лучшим их материальный быт и обеспечим их от всякого вмешатель-**

ства со стороны священника. Далее надлежит оказать энергическую поддержку движению старокатоликов и повсюду, где они окажутся в большинстве, передать им местные церкви со всеми церковными доходами. Наконец, необходимо применять уголовные законы к мятежным священникам и епископам без всякой пощады. Будет немало жертв, и об иных придется пожалеть, но делать нечего. Не следует колебаться, хотя бы пришлось и всех до одного епископов, когда они станут упорствовать, запереть в Шпандау или в Магдебуге, всех упорных священников удалить от мест и предоставить духовное попечение об общинах одним странствующим проповедникам. Кому такие меры кажутся странными, тот еще не понимает всей важности этой борьбы государства с бессовестною шайкой чужеземных интриганов. Это не простая борьба между людьми, в коей возможны уступки и послабления. Борьба идет на жизнь и смерть между двумя величайшими идеями, над которыми работало человечество в течение двух тысячелетий. Борьба эта поднимается не в первый, а уже в третий раз. В Средние века папство одолело немцев в борьбе с национальным государством франконских королей Гогенштауфенов²⁰². В XVI столетии германская имперская власть после долгого колебания вступила в союз с папою против народной массы; благодетельное действие реформации было оставлено, и Германия в тридцатилетней войне²⁰³ стала жертвою иноземцев. Теперь в третий раз начинается такая же борьба между свободою и рабством, между совестью и авторитетом, между Христом и римским антихристом, в нем немцы должны доставить свободу не только себе, но и всем образованным (культурным) нациям».

Подлинно ли все верно в этой характеристике? Подлинно ли тут на стороне государства одна свобода и одно рабство на стороне Церкви? Нет, либералы обманываются, и дело не так просто и ясно. Не свободы ищет государство и не о совести хлопочет; оно добивается, в свою очередь, *преобладания* и хочет тоже связать, с другой стороны, *совесть* верующей массы. Только для того, чтобы вязать и решить в совести, Церковь опирается на божественное призвание и на веру, а государство

может полагать опору для того только в своей государственной автономии. Католическая иерархия высоко, слишком высоко поставила престол свой; но государство хочет не только понизить его и привести в меру, оно как будто само задумало сместить на этом престоле власть церковную или разделить его с нею. Новые законы касаются не одной внешности, они вторгаются во внутреннюю область церковной жизни, туда, где все держится одним авторитетом веры, где все без него рассыпается. Вот в чем коренится начало *соблазна*, возбуждаемого в верующих умах новым законом и действиями правительства к его осуществлению. Ни для кого не тайна, что главные деятели законодательной власти в издании закона, главные представители государственной власти в его применении, главные защитники этих мер в науке и публицистике – люди, чуждые вере народной, и строят свое мирозерцание и свою политическую теорию на началах, в которых нет места этой вере. Отсюда и происходит, с одной стороны, соблазн для верующего населения, с другой стороны, заметное до сих пор колебание мысли в «придворных сферах», о котором упоминает и Фрейтаг в приведенной статье.

В этом движении умов лютеранская Церковь стоит как бы на распутье между двумя противоположными побуждениями. С одной стороны, не может она не чувствовать, что новые законы вторгаются и в ее внутреннюю область столько же, как и во внутреннюю область Римско-Католической церкви; что к самым существенным проявлениям ее духовной власти и ее учительской деятельности прикасается еще грубее, чем прежде, рука государственного чиновника, обязанного верить, прежде всего, в свое единое государство; что чиновник-учитель, которого поставит во всякой школе правительство, внесет в школу новый дух легкого, недуховного мирозерцания, выведенный по университетскому лекалу; что жизненные для нее вопросы догматического верования и церковной дисциплины будут решаемы в берлинских судилищах по новым воззрениям науки на предметы религии (так недавно еще высшая консистория решила, что пастор Сидов, публично объявивший,

что не верует в Божество Христа Спасителя, может оставаться духовным руководителем своей паствы). Но, с другой стороны, над лютеранскою Церковью тяготеет с начала реформации вековою привычкою начало подчинения светскому правительству. В разгар великой борьбы, великого раздражения против римских насилий и в крайнем изнеможении сил представители реформации вступили со светскою властью в политический союз, в ней стали искать опоры, отдали себя ей под начало и потом, при окончательном устройстве своей Церкви, должны были поневоле допустить ее в самый центр своего церковного авторитета. Создавая начала своего нового устройства, они поставили у себя для светской власти престольное место и даже с некоторым увлечением стали возвеличивать ее в Церкви назло ненавистной власти римского первосвященника. Они пошли к ней мимо народной паствы, на жалование и поставили себя, пастырей, в положение чиновников, надзирающих за благочинием веры в народе. Оттого сначала и донныне всякий раз, когда лютеранскому духовенству приходится отстаивать перед государством и перед его теориями свою жизненную церковную силу и самостоятельность своей церковной деятельности, оно является перед государством в фальшивом положении.

При всем том и в лютеранском духовенстве возбужден новыми законами немалый соблазн. Но он ведет покуда только к разделению умов, к слабым протестам и оговоркам от одних, к заявлению со стороны других искреннего или лицемерного сочувствия правительству, которое, отыскивая себе нравственную опору, вызывает в разных местах Германии подачу сочувственных адресов со стороны лютеранского духовенства. Все эти явления, происходящие в среде лютеранской Церкви, явления бледные, нерешительные, неспособные возвысить дух и поразить его *истиною*.

Замечательным в этом смысле явлением был съезд (Conferenz) евангелическо-лютеранского духовенства, происходивший в Берлине 27 и 28 прошлого августа под председательством пастора Эйена. В первый же день заседания предметом его стало обсуждение новых церковных законов.

Началось с речи генерал-суперинтенданта Бюкселя. Он отозвался о новых законах уклончиво, объявив, что так как государство при издании их не спрашивалось с Церковью, то не станет, конечно, сноситься с нею и при исполнении их; Церкви же следует позаботиться о внутреннем очищении своего духа. Следующий оратор, старейший из членов съезда, суперинтендант Ленгерих, отозвался о законах с сожалением, но кончил тем, что законы эти вошли в силу, следовательно, надо им повиноваться, тем более что они, в сущности, не так уж дурны, как с первого взгляда кажутся. На этом слове оратора прервали шумные выражения протеста и негодования. Он хотел продолжать, но собрание, по-видимому, отказывалось выслушать речи, которыми старик пытался объяснить и оправдать законоположение, хотя он ссылался на известную «любовь короля Вильгельма к евангелической Церкви». Сам председатель не мог удержаться от заявления, не сочувственного оратору. Затем взошел на кафедру граф Шуленбург, член верхней палаты, упорно боровшийся против новых законов при их обсуждении. Он стал горько жаловаться на отпадение правительства от основных начал христианского государства и на союз, в который оно вступило с партией религиозных либералов и рационалистов. Речь его принята была с восторженным одобрением. Но еще более сочувствия возбудил следующий оратор, Клейст-Рецов²⁰⁴, бывший обер-президент Рейнских провинций. Он говорил с желчью, что новые законы суть создание профессоров Фридберга и Дова и составляют пагубную уступку либеральной партии, что посредством их государство, отделившись от Церкви, хочет посреди Церкви утвердить свое самовластие и ввести языческое начало в веру Христову. Он кончил указанием на Навуходоносора, осужденного за свою гордость на скотскую долю²⁰⁵; ссылка эта, очевидно, относилась к Бисмарку. На следующий день собрание обсуждало применение новых законов к церковному управлению. Евангелический пастор Стеффан объявил, что настоящая борьба «верных католиков» против государственной власти есть борьба правая и законная, так как новыми

законами нарушаются самые глубокие и существенные начала Римско-Католической церкви. Однако все эти заявления и протестации против новых законов не привели собрание ни к какому положительному результату и остались одним праздным словом без действия, выразили только бесплодное раздражение. Собрание порешило только подать королю адрес против церковных рационалистов протестантского союза, против решения по делу Сидова и против предположения о гражданском браке. Вот какими результатами обнаружился «гнев» лютеранского духовенства против новых законов.

Вскоре затем открылся в Констанце съезд старокатоликов²⁰⁶. За этим собранием следили сочувственно и германское правительство, и либеральная печать всех оттенков. В старокатолическом движении государство видит себе союзника и опору в самую нужную минуту. По последним известиям, выбранный старокатоликами первый епископ Рейнкенс признан и утвержден в этом звании правительством. Но и собрание представителей старокатолического движения не осталось в долгу; оно само ищет опоры в государстве, стремится воспользоваться ею в благоприятную минуту и надеется стать официально на место Римско-Католической церкви в сознании государства и в государственной организации. На констанцском конгрессе ораторы заявляли безусловное одобрение новым прусским законам и политике прусского правительства в борьбе с Римом. Трудно было и ожидать иного заявления. Ненависть к врагу понуждает броситься в объятия к неприятелям врага своего и искать у них союза и опоры.

Но мы, сторонние и непричастные спору люди, не можем не сознавать, что все это старокатолическое движение казалось бы нам много величественнее и чище, если б оно устранило из числа своих начал и мотивов соблазнительный вопрос об официальном покровительстве Церкви со стороны государства. Совершенно естественно, что вожди старокатолического движения, стремясь возбудить к нему сочувствие, не могли оставаться равнодушными и к тому отношению, какое примет к ним государственная власть; но не было им прямой надобно-

сти оправдывать это стремление в принципе и напрашиваться на официальный союз с государством ввиду разорванного союза с папством. Подлинно, слово об этом предмете было золотое, когда б не высказалось. Но оно высказано было еще в прошлом году, в Кельне, настойчиво и решительно, со ссылкой на пример реформации, с похвалой лютеранскому началу государственного подчинения Церкви. В Констанце послышалась похвала новому германскому государству и его законам о Церкви. Нельзя не уважать в отдельности настоящих вождей старокатолического движения и одушевляющего их крепкого убеждения. Но в целости все это движение не представляет в настоящую минуту того величия, которое является в Церкви, отстаивающей свою истину крепкою борьбою с миром. Величественный вид имеет самое малое стадо, когда собирается оно стоять за истину против подавляющего большинства. Но то же стадо представляет вид лишенного величия, когда стремится занять место в крепкой и безопасной ограде со всеми удобствами внешнего благоустройства. Старокатолическая церковь, не успев еще испытать гонения, становится уже в положение торжествующей Церкви. Римско-Католическая церковь, отчасти по вине своей, отчасти вследствие ошибок государственной политики, готовится встать *на кровях*, в положение Церкви гонимой. Какое положение сообразнее с достоинством Церкви и плодотворнее в духовном отношении? Едва ли не последнее. Закон церковного бытия тот же, что и закон всякого бытия духовного. Сила духа добывается испытанием, борьбою, страданием. Сила церковного духа утверждается на исповедничестве (*martyrion*). Невозможно определить заранее, что суждено в будущем римскому католицизму, сколько еще может оно совершить роковых, непоправимых ошибок, но то несомненно, что настоящая эпоха его истории есть «время посещения»²⁰⁷, случай для обновления внутренней силы, для утверждения церковной веры и дисциплины, для очищения деятельности. История покажет, уразумела ли Католическая церковь время своего посещения.

МОСКОВСКИЙ СБОРНИК

Церковь и государство

I

Знаменательное явление нашего времени – борьба церковных начал с государственными. Когда начинается борьба из-за начал духовно-религиозных, невозможно рассчитать, какими пределами она ограничится и какие элементы вовлечет в себя; до чего дойдет и где уляжется море страстей, взволнованное спором за убеждения и верования. В вопросах верования народного государственной власти необходимо заявлять свои требования и устанавливать свои правила с особенной осторожностью, чтобы не коснуться таких ощущений и духовных потребностей, к которым не допускает прикасаться самосознание массы народной. Как бы ни была громадна власть государственная, она утверждается не на чем ином, как на единстве духовного самосознания между народом и правительством, на вере народной: власть подкапывается с той минуты, как начинается раздвоение этого сознания, основанного на вере. Народ в единении с государством много может понести тягостей, много может уступить и отдать государственной власти. Одного только государственная власть не в праве требовать, одного не отдадут – того, в чем каждая верующая душа в отдельности и все вместе полагают основа-

ние духовного бытия своего и связывают себя с вечностью. Есть такие глубины, до которых государственная власть не может и не должна касаться, чтобы не возмутить коренных источников верования в душе у всех и каждого.

Главным источником возникших и грозящих еще усилиться недоразумений между народом и правительствами служит искусственно создаваемая теория отношений между государством и Церковью. В историческом ходе событий на западе Европы, неразрывно связанных с развитием Римско-Католической церкви, сложилось и вошло в систему государственного устройства понятие о Церкви как об учреждении духовно-политическом, с властью, которая, вступив в противоположение с государством, предприняла с ним борьбу политическую; событиями этой борьбы занято все поле истории на западе Европы. Из-за этого политического значения Церкви отошло на задний план и померкло в сознании государственном простое, истинное, природное понятие о Церкви, как о собрании христиан, органически связанных единством верования в союз богоучрежденный. Это понятие таится, однако, в глубине народного сознания, соответствуя самой коренной и глубочайшей потребности души человеческой – потребности верования и единения в вере. В этом смысле Церковь как общество верующих не отделяет и не может отделять себя от государства, как общества, соединенного в гражданский союз. До какого бы совершенства ни достигло в уме логическое построение отношений, на разделении основанных, между государством и Церковью, им не удовлетворится простое сознание в массе верующего народа. Удовлетворен может быть ум политический как наилучшею формою сделки, как совершеннейшею философскою конструкцией понятий; но в глубине духа, ощущающего живую потребность веры и единства веры с жизнью, это искусственное построение не отзывается истиною. Жизнь духовная ищет и требует выше всего единства духовного, и в нем полагает идеал бытия своего; а когда душе показывают этот идеал в раздвоении, она не принимает такого идеала и отвращается. Верование, по свойству своему безусловное, не терпит

ничего условного в своей идеальной конструкции. Правда, что в действительности жизнь всех и каждого есть непрерывная история падения и раздвоения – печального раздвоения между идеей и делом, между верой и жизнью; но в этой непрерывной борьбе дух человеческий держится в равновесии не чем иным, как верою в идеальное, конечное единство, и дорожит такую верою как первым и исконным сокровищем бытия своего. Приведите человека в сознание этого раздвоения – он никнет и смиряется мыслью. Покажите ему конец раздвоения, к которому стремится дух, – он поднимает голову, сознает себя живущим и стремится вперед с верою. Но когда вы скажете ему, что жизнь – сама по себе, а вера – сама по себе, и это понятие станете возводить в теорию жизни, душа не принимает такого понятия с тем же отвращением, с каким встречает мысль о конечном и решительном уничтожении бытия.

Возрают, может быть, что здесь дело идет о личном веровании. Но личное верование не отделяет себя от верования церковного, так как существенная его потребность есть единение в вере, и этой потребности оно находит удовлетворение в Церкви.

В Западной Европе издавна продолжается борьба Церкви с государством и государства с Церковью. Последнее слово этой борьбы еще не сказано, и каково будет оно, еще не известно. Та и другая стороны меряют свои силы и скликают свои дружины. Государство опирается на силы интеллигенции, Церковь опирается на верование народной массы и на сознание авторитета духовного. Нет сомнения, что в конечном результате победа будет на той стороне, на которой окажется действительное объединение глубокого, жизненного верования. Государственной интеллигенции предстоит во всяком случае трудная задача – привлечь на свою сторону и соединить с собою твердо народное верование. Но для того, чтобы привлечь верование и слиться с ним, нужно показать в себе живую веру; одной интеллигенции для этого недостаточно. *Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi*¹. Народное верование чутко, и едва ли можно обольстить его видом верования или

увлечь в сделку верований: живая вера не допускает сделки, не признает абсолютного господства рассудочной логики. Хотя к верованию обыкновенно применяется понятие об убеждениях, но убеждение рассудка нельзя смешать с убеждением веры, и сила умственная, сила интеллигенции и мышления весьма ошибается, если полагает в себе самой все нужное для силы духовной независимо от верования, составляющего самую сущность духовной силы.

В этом смешении понятий кроется для государства великая опасность в борьбе с Церковью. Когда в эпоху реформации государственная власть в Германии становилась во главе движения против старой церковной власти и вырабатывала новую организацию Церкви, она обладала действительною духовною силою верования. Движение, к которому присоединилась она, возникло в массе народной, проникнутое глубоким, сосредоточенным верованием: первые вожаки его, представляя в себе высшую интеллигенцию тогдашнего общества, в то же время горели огнем веры глубокой, объединявшей их с народом. Итак, в этом движении сосредоточилась громадная духовная сила, которой должна была уступить после долголетней борьбы веками утвердившаяся сила старого закона.

Ныне совсем другие обстоятельства. Со стороны государства произошло разъединение между верованием народным и политической конструкцией церковного отправления в государственном сознании. Со стороны интеллигенции разъединение еще более разительное между верованием и научной конструкцией верования. Богословская наука, не ограничиваясь первоначальной своей задачей привести в сознание и обнять общим взглядом церковные верования, грозит уже поглотить в себе всякое верование, подчинив его беспощадному критическому анализу разума как факт, как внешний предмет исследования. Политическая наука построила строго выработанное учение о решительном отделении Церкви и государства — учение, вследствие коего, по закону, не допускающему двойственного разделения центральных сил, Церковь непременно оказывается на деле учреждением, подчиненным государству.

Вместе с тем государство как учреждение в политической идее своей является отрешенным от всякого верования и равнодушным к верованию. Естественно, что с этой точки зрения Церковь представляется не чем иным, как учреждением, удовлетворяющим одной из признанных государством потребностей населения – потребности религиозной, и новейшее государство обращается к ней с правом своей авторизации, своего надзора и контроля, не заботясь о веровании. Для государства как для верховного учреждения политического такая теория привлекательна, потому что обещает ему полную автономию, решительное устранение всякого, даже духовного, противодействия и упрощение всех операций церковной его политики. Но такие обещания обманчивы. Этой теории, сочиненной в кабинете министра и ученого, народное верование не примет. Во всем, что относится до верования, сознание народное успокаивается только на простом и цельном представлении, объемлющем душу, и отвращается от искусственно составленных понятий, когда чует в них ложь или разлад с истиною. Так, например, политическая теория может удобно мириться с оставлением в должности и на церковной кафедре пастора или профессора на богословской кафедре, который (явление, к несчастью, ставшее уже обычным в Германии) публично объявил, что не верует в Божество Спасителя; но совесть народная никогда не поймет такой конструкции понятия о церковном пастыре и с отвращением назовет ее ложью. Печально и ненадежно будет положение государственной власти, когда ее распоряжение и действие по предметам, относящимся до веры, совесть народная привыкнет ставить в ложь и причитать к безверию.

II

Об отделении Церкви от государства прекрасно рассуждает бывший патер Гиацинт², читавший по этому предмету публичные лекции в Женеве весною 1873 года. Война насмерть с Церковью – это мечта революционной партии, по крайней мере тех крайних ее представителей, которые в

политике ставят себя якобинцами, а в области религиозных идей распространяют безбожие и материализм. Им служат орудием софизм и насилие. Все уже потеряли к ним доверие повсюду; они слепы и не в силах вести борьбу, потому что все смешивают в своем противнике, ничего не различая, и преувеличивают без меры его значение.

Французская революция поставила себе целью обновить общество; но обновить его можно было только применением к гражданскому обществу христианских начал. Возникла борьба между революцией и римской теократией, причем революция смешала римскую теократию с Католическою церковью, со вселенством, которое объемлет всех верующих христиан, смешала с Евангелием и лицом Христа Спасителя. Итак, война объявлена была не столько Риму, сколько царству Христову на Земле. В Христианстве эти люди стали преследовать самое религиозное чувство, которое слилось уже в течение 2000 лет нераздельно с Христианством. Вот какого противника вызвали они на бой, вооружившись на него двояким – низким, опозоренным оружием: секирою палача и лживым словом софиста.

Католическая религия во Франции была не в доброй славе благодаря аббатам-вольнодумцам, наполнявшим дворцовые приемные благодаря известной легкости нравов тогдашнего общества. Вдруг ее будят, поднимают, влекут в темницы. Во имя ее всходят на эшафот священники, девы, поселяне вместе со знатными дворянами, с поэтами, с государственными людьми – как было в эпоху первых цезарей. На ризах ее видна была кровь от Варфоломеевской ночи, видны были следы родительских и сиротских слез после отмены Нантского эдикта; все эти следы вдруг сгладились; ничего стало не видно за собственной ее кровью, за следами собственных ее слез. Вот почему, когда она после того встала, то встала в полном сиянии славы, безо всяких пятен. Это сияние приготовили для нее палачи ее.

Точно так же действовали и софисты-философы. Они стали раскапывать вопросы, которые новейшая наука объявляет недоступными для решения; стали доискиваться в таинстве смерти, увидели в нем одну мечту и выдумку; стали углу-

бляться в происхождение человечества и у колыбели его признали вместо библейского Адама, из земли созданного, какое-то неведомое существо, медленно выделяющееся из животной жизни, вырождающееся сперва в обезьяну, потом в человека. И вот, поставив этого человека и у начала его, и у исхода в сплошную среду животной жизни, унизив его до пределов гниения, они стали приветствовать его величие: «Как ты велик, человек, в атеизме и в материализме, и в свободе самочинной, ничему не покоряющейся нравственности!» Но посреди всего этого странного величия человек этот оказался подавлен грустью. Он утратил Бога, но сохранил потребность религии. Так ощутительна эта потребность, что возможна, мы видим, религия даже без Бога; таков буддизм – религия, одушевляющая миллионы последователей. И в самом деле, хотя бы и правда было, что первый человек выродился из среды животной, что мне в том? В книге Бытия указана еще грубее материя, из которой создан человек, – грязь и прах, персть земная. Какая бы ни была та материя, разве в ней, разве в оболочке – весь человек? Он принял от Создателя своего живую душу, то дыхание жизни религиозной и нравственной, от которого не может, когда бы и хотел отделаться. Вот что не допустит еще никогда отречься от христианской религии.

Проповедуется отделение Церкви от государства. Тут одни слова, но нет единой идеи, потому что под одним словом отделения разуметь можно многое. Пусть определяют сначала, в чем оно заключается. Если дело состоит в более точном разграничении гражданского общества с обществом религиозным, церковным, духовного – со светским, о прямом и искреннем размежевании, без хитростей и без насилия, в таком случае все будут стоять за такое отделение. Если, становясь на практическую почву, хотят, чтобы государство отказалось от права поставлять пастырей Церкви и от обязанности содержать их, это будет идеальное состояние, к которому желательно перейти, которое нужно готовить к осуществлению при благоприятных обстоятельствах и в законной форме. Когда вопрос этот созреет, государство, если захочет так решить его, обязано воз-

вратить кому следует право выбора пастырей и епископов; в таком случае нельзя уже будет отдать папе то, что принадлежит клиру и народу по праву историческому и апостольскому. Государство, в сущности, только держит за собою это право, но оно не ему принадлежит.

Но говорят, что отделение надо разуметь в ином, обширнейшем смысле. Умные, ученые люди определяют его так: государству не должно быть дела до Церкви и Церкви – до государства, итак, человечество должно вращаться в двух обширных сферах, так что в одной сфере будет пребывать тело, а в другой – дух человечества и между обеими сферами будет пространство такое же, какое между небом и землею. Но разве это возможно? Тело нельзя отделить от духа; и дух и тело живут единою жизнью.

Можно ли ожидать, чтобы Церковь – не говорю уже католическая, а Церковь какая бы то ни была – согласилась устранить из сознания своего гражданское общество, семейное общество, человеческое общество – все то, что разумеется в слове «государство»? С которых пор положено, что Церковь существует для того, чтобы образовывать аскетов, наполнять монастыри и выказывать в храмах поэзию своих обрядов и процессий? Нет, все это лишь малая часть той деятельности, которую Церковь ставит себе целью. Ей указано иное звание: научите вся языки. Вот ее дело. Ей предстоит образовывать на земле людей для того, чтобы люди среди земного града и земной семьи сделались не совсем недостойными вступить в град небесный и в небесное общение. При рождении, при браке, при смерти – в самые главные моменты бытия человеческого, Церковь является с тремя торжественными таинствами, а говорят, что ей нет дела до семейства! На нее возложено внушить народу уважение к закону и к властям, внушить власти уважение к свободе человеческой, а говорят, что ей нет дела до общества!

Нет, нравственное начало единое. Оно не может двоиться так, чтобы одно было нравственное учение частное, другое – общественное; одно – светское, другое – духовное. Единое

нравственное начало объемлет все отношения – частные, домашние, политические, и Церковь, хранящая сознание своего достоинства, никогда не откажется от своего законного влияния в вопросах, относящихся и до семьи, и до гражданского общества. Итак, требуя от Церкви, чтобы ей дела не было до гражданского общества, ей придают лишь новую силу.

Говорят, государству нет дела до Церкви. Под первоначальным семейственным устройством образовалось гражданское общество и каждого начальника семьи сделало гражданином; в ту пору общество верующих не отличалось еще от семьи, от целого народа. С течением времени усовершенствовалось устройство гражданского общества и основалось все-ленское Христианство, объемлющее в себе и семейства, и народы. Как сказать теперь отцу, гражданину: ты – сам по себе, а Церковь – сама по себе? На беду и отец, и гражданин уже давно сами себе это сказали. Отец стал равнодушен к религиозному сознанию и направлению в семейной среде своей. У него нет ответа, когда жена обращается к нему со своими сомнениями, когда его ребенок в детской простоте спрашивает: что такое Бог? И отчего ты Ему не молишься? И что такое смерть, которая ко всем приходит и детей уносит? Когда отцу ответить нечего на эти вопросы, как отвечает на них сам ребенок в уме своем? И если у отца найдется ответ, в нем слышится ребенку какая-то сказка, а не слышится голос живой веры, той веры, за которую умереть готов человек. И вот из ребенка выходит такой же скептик, каким был отец, или суевер наподобие матери или ее духовника-патера. Вот как отражается в семействе разделение государства с Церковью, и на место отца вводится в дом священник, извне пришедший в качестве духовного руководителя, владыка совести под видом учителя. Виноваты и священники, без сомнения, но еще виновнее сами отцы, потому что они допустили священника стать у домашнего очага на их место. Когда так, пусть не дивятся граждане и гражданские власти, если когда-нибудь возведенное ими здание рухнет, и их задавит обломками. Вот куда ведет отлучение государства от сознания Церкви!

III

Когда в начале 40-х годов прусскому королю³ донесено было, что некоторые берлинские жители вышли из Христианской Церкви, он удивился и спросил с улыбкой: «К какой же Церкви хотят они причислиться?». Этот вопрос потерял уже ныне на Западе Европы всякое значение. В то время казалось: кто выходил из Христианской Церкви, точно оставляет твердую почву и висит где-то в воздухе. Ныне это уже не воздух, а твердая почва, быт без всякой религии.

Когда бы кто в Средние века объявил, что он отрекается от всякой веры, его сочли бы за безумца и притом столь отвратительного и опасного, что предали бы сожжению.

В то время не было места гражданину неверующему, но могли быть верующие, лишенные прав гражданства, – бродяги, бесправные люди, коим государство отказывало в законной защите, так что им приходилось ставить себя под защиту феодального владельца – одного из тех могущественных вассалов, которые, не подчиняясь государственной власти, могли вступить в борьбу со своим феодальным владыкою.

В наше время кто решился бы объявить себя свободным от государственной власти, не платить податей, не нести воинской повинности, никого не слушать и не подчиняться никому, быть самому себе государством, такого человека объявили бы безумцем, каким считался безверный в Средние века, только не предали бы его сожжению, но принудили бы его или подчиниться государству, или уходить из государства вон. Он ушел бы в другое государство, где бы также или привели бы его в послушание, или выгнали вон.

Стало быть, ныне можем мы свободно уклониться от религии и от Церкви, но от государства уклониться не можем. Государство обеспечивает нам полноту общественной жизни, а Церковь уже не господствует над общественной жизнью так, как прежде господствовала. Наше время отличается стремлением привлечь все отношения к государственной власти; а когда бы Церковь хотя наполовину того предприняла привлечь

к себе общественные отношения, она встретила бы со всех сторон препятствия и противодействия.

Невзирая на всякие свободы, повсеместно провозглашаемые, мы стремимся во всем под власть государства. Мы требуем законов, мер правительства для всякого значительного проявления нашей общественной жизни; многие формально требуют сосредоточения и единообразного устройства индивидуальной жизни посредством государства. Чуть у кого жмет сапог на ноге, слышишь крик – государство должно вступить; где двое-трое жалуются на тяготу – шлетя жалоба, просьба к правительству. В прежнее время обращались бы, может быть, к Церкви. Мысль, что вся частная жизнь должна поглощаться в общественной, а вся общественная жизнь должна сосредоточиваться в государстве и быть управляема государством, эта главная движущая идея социализма, а как эта мысль в ясном или неясном представлении угнездилась даже в самых крепких умах, то и самый простой заурядный человек бессознательно чем-нибудь приобщается к социалистам.

Нельзя не признать, что изменилось и само отношение Церкви к обществу верующих, составляющему союз церковный. Ныне и они не могли бы примириться с восстановлением старинных отношений Церкви к ее чадам, с вмешательством ее в частную и семейную жизнь, в общественный быт и в политику, и в экономию общества. Государство издает ныне закон за законом; Церкви ныне не приходится не только объявлять новые догматы, но и настаивать столь же формально и строго, как прежде, на истолковании и применении своих учений.

Итак, по-видимому, бессильна стала Церковь по сравнению с возрастающим до громадных размеров могуществом государства. Однако на деле не то выходит, ибо Церковь опирается на духовные силы в народе (Риль⁴).

IV

Самая древняя и самая известная система отношений между Церковью и государством есть система установлен-

ной или государственной Церкви. Государство признает одно вероисповедание из числа всех истинным вероисповеданием и одну Церковь исключительно поддерживает и покровительствует, к предосуждению всех остальных Церквей и вероисповеданий. Это предосуждение означает вообще, что все остальные Церкви не признаются истинными или вполне истинными; но практически выражается оно в неодинаковой форме, с множеством разнообразных оттенков и от непризнания и отчуждения доходит иногда до преследования. Во всяком случае при действии этой системы чужие исповедания подвергаются некоторому более или менее значительному умалению в чести в праве и преимуществе сравнительно со своим, с господствующим исповеданием. Государство не может быть представителем одних материальных интересов общества; в таком случае оно само себя лишило бы духовной силы и отрешилось бы от духовного единения с народом. Государство тем сильнее и тем более имеет значения, чем явственнее в нем обозначается представительство духовное. Только под этим условием поддерживается и укрепляется в среде народной и в гражданской жизни чувство законности, уважение к закону и доверие к государственной власти. Ни начало целостности государственной или государственного блага, государственной пользы, ни даже начало нравственное сами по себе недостаточны к утверждению прочной связи между народом и государственною властью; и нравственное начало неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда отрешается от религиозной санкции. Этой центральной, собирательной силы, без сомнения, лишено будет такое государство, которое во имя беспристрастного отношения ко всем верованиям само отрекается от всякого верования, какого бы то ни было. Доверие массы народа к правителям основано на вере, т[о] е[сть] не только на единоверии народа с правительством, но и на простой уверенности в том, что правительство имеет веру и по вере действует. Поэтому даже язычники и магометане больше имеют доверия и уважения к такому правительству, которое стоит на твердых началах верования, какого бы

то ни было, нежели к правительству, которое не признает своей веры и ко всем верованиям относится одинаково.

Таково неоспоримое преимущество этой системы. Но с течением веков изменились обстоятельства, при коих эта система получила свое начало, и возникли новые обстоятельства, при коих ее действие стало затруднительнее прежнего. В ту пору, когда заложены были первые основания европейской цивилизации и политики, христианское государство было крепко цельным и неразрывным союзом с единою Христианскою Церковью. Потом в среде самой Христианской Церкви первоначальное единство разбилось на многообразные толки и разноверия, из коих каждое стало присваивать себе значение единого истинного учения и единой истинной Церкви. Таким образом, государству пришлось иметь перед собою несколько разноверных учений, между коими распределилась по времени масса народная. С нарушением единства и цельности в веровании может настать такая пора, когда господствующая Церковь, поддерживаемая государством, оказывается Церковью незначительного меньшинства и сама ослабевает в сочувствии или вовсе лишается сочувствия массы народной. Тогда могут наступить важные затруднения в определении отношения между государством с его Церковью и церквями, к коим принадлежит народное большинство.

V

С конца XVIII столетия начинается на Западе Европы поворот от старой системы к системе уравнивания христианских исповеданий в государстве с устранением, однако, от этого равенства сектантов и евреев. Государство признает Христианство за существенное основание бытия своего и общественного благоустройства и принадлежность к той или другой Церкви, к тому или иному верованию обязательною для каждого гражданина.

С 1848 года изменяется существенно это отношение государства к Церкви: нахлынувшие волны либерализма про-

рывают старую плотину и угрожают ниспровергнуть древние основы христианской государственности. Провозглашается освобождение государства от Церкви, до Церкви ему дела нет. Провозглашается и отрешение Церкви от государства: всякий волен веровать как угодно или ни во что не веровать. Символом этой доктрины служат основные начала (Grundrechte), провозглашенные Франкфуртским парламентом 1848/1849 года⁵. Хотя они и перестали вскоре считаться действующим законодательством, но послужили и служат донныне идеалом для проведения либеральных начал в новейшие законодательства Западной Европы. Сообразно с ними образуется оно ныне повсюду. Политические и гражданские права отрешаются от верования и от принадлежности к той или иной Церкви и секте. Государство никого не спрашивает о вере. От Церкви отрешается и заключение брака, и ведение актов гражданского состояния. Провозглашается полная свобода смешанных браков, а церковное начало неразрывности брака нарушается облегчением развода, отрешенного от судов церковных.

Ввиду всех этих изменений, достигающих в нынешней официальной Франции до отрицания веры и до насилия над церковным верованием, позволительно спросить: можно ли новейшее государство признать государством христианским? Но здесь открывается та же непоследовательность, какую видим в отдельном лице, когда оно, отрекшись от Христианства, в то же время ведет жизнь, в которой отражаются все христианские начала. Подобно тому видим, что и новейшее государство, отрекаясь от органического союза с Христианскою Церковью, не может обойтись без форм и обрядов, предполагающих христианское верование. Церкви со своими служителями получают содержание из государственного бюджета, общественные учреждения, военные полки снабжаются духовными наставниками, христианские праздники удерживают значение праздников гражданских; в службе государственной, в судах присяга сохраняет свою обязательную силу. В Германии нет уже государственной Церкви, однако главе государственной власти принадлежит верховенство в (Kirchenhoheit)

Церкви евангелической, и государству в парламенте и во всех делах общественных приходится считаться с партиями того или иного вероисповедания. В Англии при уравнивании вероисповеданий на либеральных началах не только король, но и важнейшие государственные сановники должны обязательно принадлежать к Англиканской церкви. Североамериканский Союз есть страна религиозного равенства. Ко всякой отдельной Церкви, ко всякому религиозному обществу государство относится не иначе как к частной корпорации. В школах, заведываемых государством, не допускается обучение Закону Божию и обязательное чтение Библии. И при всем том конгресс открывает свои заседания молитвою при участии духовного лица. Духовные лица содержатся государством при армии и флоте. Президент объявляет от времени до времени установленные дни благодарственные и покаянные. Святость воскресного дня охраняется строгим законом. В некоторых штатах установлены строгие наказания за божбу и богохуление.

Не следует ли из этого, что государство безверное есть не что иное, как утопия невозможная к осуществлению, ибо безверие есть прямое отрицание государства. Религия, и именно Христианство, есть духовная основа всякого права в государственном и гражданском быту и всякой истинной культуры. Вот почему мы видим, что политические партии, самые враждебные общественному порядку партии, радикально отрицающие государство, провозглашают впереди всего, что религия есть одно лишь личное, частное дело, один лишь личный и частный интерес.

VI

Система «свободной Церкви в свободном государстве» основана покуда на отвлеченных началах, теоретически; в основание ее положено не начало веры, а начало религиозного индифферентизма, или равнодушия к вере, и она поставлена в необходимую связь с учениями, проповедующими нередко не терпимость и уважение к вере, но явное или под-

разумеваемое пренебрежение к вере, как к пройденному моменту психического развития в жизни личной и национальной. В отвлеченном построении этой системы, составляющей плод новейшего рационализма, Церковь представляется тоже отвлеченно построенным политическим учреждением с известной целью или частным обществом, для известной цели устроенным, подобно другим, признанным в государстве, корпорациям. Сознание этой самой цели представляется тоже отвлеченным, ибо на нем отражаются многообразные оттенки связанных с тем или другим учением представлений о вере, начиная с отвлеченного уважения к вере как к высшему моменту психической жизни до фанатического презрения к верованию как к низшему моменту и к началу вреда и разложения. Таким образом, в самом построении этой системы с первого взгляда оказывается двойственность и неясность основанных начал и представлений.

Что может выйти из этой системы на практике, это выяснится опытом веков и поколений. Покуда мы имеем перед собою опыт почти ничтожный, если сравнить его с опытом многих веков, в течение коих первая система действовала и действует. Но нетрудно предвидеть заранее, что действие новой системы не может быть последовательно, так как она не согласуется с первыми потребностями и условиями человеческой природы, как бы категорически ни выводилось отвлеченным учением правило: «все Церкви и все верования равны; все равно, что одна вера, что другая», с этим положением, в действительности, для себя лично не может согласиться безусловно ни одна душа, хранящая в глубине своей и испытывающая потребность веры. Такая душа непременно ответит себе: «Да, все веры равны, но моя вера для меня лучше всех». Положим, что сегодня провозглашено будет в государстве самое строгое и точное уравнение всех Церквей и верований перед законом. Завтра же окажутся признаки, по которым можно будет заключить, что относительная сила верований совсем не равная; пройдет 30, 50 лет со времени законного уравнения Церквей, и тогда обнаружится на самом

деле, может быть, слишком неожиданно для отвлеченного представления, что в числе Церквей есть одна, которая, в сущности, пользуется преобладающим влиянием и господствует над умами и решениями или потому, что она ближе к церковной истине, или потому, что учением или обрядами более соответственна с народным характером, или потому, что организация ее и дисциплина совершеннее и дает ей более способов к систематической деятельности, или потому, что в среде ее возникло более живых и твердых верою деятелей. Примеров этому есть уже немало. Великобританским законодательством установлено уравнивание Церквей в Ирландии⁶. Но разве из этого следует, что Церкви равны? В сущности, Римско-Католическая церковь именно с минуты законного уравнивания получила полную возможность распространять и утверждать во всей стране свое преобладающее влияние не только на отдельные умы, но и на все политические учреждения в стране – на суды, на администрацию, на школы.

Североамериканский Союз поставил основным условием своего устройства не иметь никакого дела до веры. Последствием такого юридического состояния выходит на деле, что преобладающею Церковью в Соединенных Штатах становится мало-помалу римское католичество. В Северной Америке пользуется оно такою свободою преобладания, какой не имеет ни в одном европейском государстве. Не стесняясь никаким отношением к государству, не подвергаясь никакому контролю, папа распределяет в Северной Америке епархии, назначает епископов, основывает во множестве духовные ордена и монастыри, окидывает всю территорию мало-помалу частою сетью церковных агентов и учреждений. Захватывая под свое влияние массы католиков, ежегодно увеличивающиеся с прибытием новых эмигрантов, папство считает уже ныне своею целую четверть всего населения ввиду отдельных трех четвертей, разбитых на множество сект и толков. Католическая церковь, пользуясь всеми средствами обходить закон, умножила свои недвижимые имущества до громадных размеров. В ее руках и под ее влиянием состоят уже во многих штатах целые

управления политического свойства. В иных больших городах все городское управление зависит исключительно от католиков. Католическая церковь располагает миллионами голосов в таком государстве, где от счета голосов зависит все направление внешней и внутренней политики. Ко всем этим явлениям государство относится покуда равнодушно, с высоты своего принципа уравнивания церквей и религиозного равнодушия. Но последующие события покажут, долго ли может устоять и в Североамериканском Союзе новая, излюбленная теория.

Защитники ее говорят еще покуда: что за дело государству до неравенств, возникающих не в силу привилегий или законных ограничений, а вследствие внутренней силы или внутреннего бессилия каждой корпорации? Закон не может предупредить такого неравенства.

Но это значит обходить затруднение, разрешая его лишь в теории. На бумаге возможно все примирить, все привести в стройную систему. На бумаге можно отличить определенную чертою и разграничить область политической деятельности от духовно-нравственной. На самом деле не то. Людей невозможно считать только умственными машинами, располагая ими так, как располагает полководец массами солдат, когда составляет план баталии. Всякий человек вмещает в себя мир духовно-нравственной жизни; из этого мира выходят побуждения, определяющие его деятельность во всех сферах жизни, а главное, центральное из побуждений проистекает от веры, от убеждения в истине. Только теория, отрешенная от жизни или не хотящая знать ее, может удовольствоваться ироническим вопросом: что есть истина? У всех и у каждого вопрос этот стоит в душе основным, серьезнейшим вопросом целой жизни, требуя не отрицательного, а положительного ответа.

Итак, свободное государство может положить, что ему нет дела до свободной Церкви, только свободная Церковь, если она подлинно основана на веровании, не примет этого положения и не станет в равнодушное отношение к свободному государству. Церковь не может отказаться от своего влияния на жизнь гражданскую и общественную; и чем она дея-

тельнее, чем более ощущает в себе внутренней, действенной силы, тем менее возможно для нее равнодушное отношение к государству. Такого отношения Церковь не примет, если вместе с тем не отречется от своего божественного призвания, если хранит веру в него и сознание долга, с ним связанного. На Церкви лежит долг учительства и наставления, Церкви принадлежат совершение таинства и обрядов, из коих некоторые соединяются с важнейшими актами и гражданской жизни. В этой своей деятельности Церковь по необходимости беспрестанно входит в соприкосновение с общественной и гражданской жизнью (не говоря о других случаях, достаточно указать на вопросы брака и воспитания). Итак, в той мере, как государство, отделяя себя от Церкви, предоставляет своему ведению исключительно гражданскую часть всех таких дел и устраняет от себя ведение духовно-нравственной их части, Церковь по необходимости вступит в отправление, покинутое государством, и в отделении от него, завладев мало-помалу вполне и исключительно тем духовно-нравственным влиянием, которое и для государства составляет необходимую, действительную силу. За государством останется только сила материальная и, может быть, еще рассудочная, но и той, и другой недостаточно, когда с ними не соединяется сила веры. Итак, мало-помалу вместо воображенного уравнения отправлений государства и Церкви в политическом союзе окажется неравенство и противоположение. Состояние во всяком случае ненормальное, которое должно привести или к действительному преобладанию Церкви над преобладающим, по-видимому, государством или к революции.

Вот какие действительные опасности скрывает в себе прославляемая либералами-теоретиками система решительного отделения Церкви от государства. Система господствующей или установленной Церкви имеет много недостатков, соединена с множеством неудобств и затруднений, не исключает возможности столкновений и борьбы. Но напрасно полагают, что она отжила уже свое время и что формула Кавура⁷ одна дает ключ к разрешению всех трудностей труднейшего из вопро-

сов. Формула Кавура есть плод политического доктринерства, которому вопросы веры представляются только политическими вопросами об уравнивании прав. В ней нет глубины духовного ведения, как не было ее в другой знаменитой политической формуле: свободы, равенства и братства, донны не тяготеющей над легковверными умами роковым бременем. И здесь, так же как и там, страстные провозвестники свободы ошибаются, полагая свободу в равенстве. Или еще мало было горьких опытов к подтверждению того, что свобода не зависит от равенства и что равенство – совсем не свобода? Таким же заблуждением было бы предположить, что в уравнении Церквей и верований перед государством состоит и от уравнения зависит сама свобода верования. Вся история последнего времени доказывает, что и здесь свобода и равенство – не одно и то же, и что свобода совсем не зависит от равенства.

Новая демократия

I

Что такое свобода, из-за которой так волнуются умы в наше время, столько совершается безумных дел, столько говорится безумных речей и народ так бедствует? Свобода в смысле демократическом есть право власти политической или, иначе сказать, право участвовать в правлении государством. Это стремление всех и каждого к участию в правлении не находит себе до сих пор верного исхода и твердых границ, но постоянно расширяется, и про него можно сказать, что сказано древним поэтом про водяную болезнь: «Crescit indulgens sibi»⁸. Расширяя свое основание, новейшая демократия ставит ближайшей себе целью всеобщую подачу голосов – вот роковое заблуждение, одно из самых поразительных в истории человечества. Политическая власть, которой так страстно добивается демократия, раздробляется в этой форме на множество частиц,

и достоянием каждого гражданина становится бесконечно малая доля этого права. Что он с нею сделает, куда употребит ее? В результате, несомненно, оказывается, что в достижении этой цели демократия оболгала свою священную формулу свободы, нераздельно соединенную с равенством. Оказывается, что с этим, по-видимому, уравновешенным распределением свободы между всеми и каждым соединяется полнейшее нарушение равенства или сушее неравенство. Каждый голос, представляя собою ничтожный фрагмент силы, сам по себе ничего не значит: относительное значение может иметь только некоторое число, или группа голосов. Происходит явление, подобное тому, что бывает в собрании безымянных или акционерных обществ. Единицы сами по себе бессильны, но тот, кто сумеет прибрать к себе самое большое количество этих фрагментов силы, становится господином силы, следовательно, господином правления и решителем воли. В чем же, спрашивается, действительное преимущество демократии перед другими формами правления? Повсюду, кто оказывается сильнее, тот и становится господином правления: в одном случае – счастливый и решительный генерал, в другом – монарх или администратор с умением, ловкостью, с ясным планом действия, с непреклонной волей. При демократическом образе правления правителями становятся ловкие подбиратели голосов со своими сторонниками, механики, искусно орудующие закулисными пружинами, которые приводят в движение кукол на арене демократических выборов. Люди этого рода выступают с громкими речами о равенстве, но в сущности любой деспот или военный диктатор в таком же, как и они, отношении господства к гражданам, составляющим народ. Расширение прав на участие в выборах демократия считает прогрессом, завоеванием свободы; по демократической теории выходит, что чем большее множество людей призывается к участию в политическом праве, тем более вероятность, что все воспользуются этим правом в интересе общего блага для всех и для утверждения всеобщей свободы. Опыт доказывает совсем противное. История свидетельствует, что самые существенные,

плодотворные для народа и прочные меры и преобразования исходили от центральной воли государственных людей или от меньшинства, просветленного высокою идеей и глубоким знанием; напротив того, с расширением выборного начала происходило принижение государственной мысли и вульгаризация мнения в массе избирателей; что расширение это в больших государствах или вводилось с тайными целями сосредоточения власти, или само собою приводило к диктатуре. Во Франции всеобщая подача голосов отменена была в конце прошлого столетия с прекращением террора, а после того восстанавлиема была дважды для того, чтобы утвердить на ней самовластие двух Наполеонов. В Германии введение общей подачи голосов имело несомненную целью утвердить центральную власть знаменитого правителя⁹, приобретшего себе великую популярность громадными успехами своей политики... Что будет после него – одному Богу известно.

Игра в собрание голосов под знаменем демократии составляет в наше время обыкновенное явление во всех почти европейских государствах, и перед всеми, кажется, обнаружилась ложь ее, однако никто не смеет явно восстать против этой лжи. Несчастный народ несет тяготу, а газеты, глашатаи мнимого общественного мнения, заглушают вопль народный своим кликом: «Велика Артемида Эфесская!»¹⁰. Но для непредубежденного ума ясно, что вся эта игра – не что иное, как борьба и свалка партий и подтасовывание чисел и имен. Голоса, сами по себе ничтожные единицы, получают цену в руках ловких агентов. Ценность их реализуется разными способами и прежде всего – подкупом в самых разнообразных видах: от мелочных подачек деньгами и вещами до раздачи прибыльных мест в акцизе, финансовом управлении и в администрации. Образуется мало-помалу целый контингент избирателей, привыкших жить продажей голосов своих или своей агентуры. Доходит до того, как, например, во Франции, что серьезные граждане, благоразумные и трудолюбивые, в громадном количестве вовсе уклоняются от выборов, чувствуя совершенную невозможность бороться с шайкою политических агентов. На-

ряду с подкупом пускаются в ход насилия и угрозы, организуется выборный террор, посредством коего шайка проводит насильно своего кандидата: известны бурные картины выборных митингов, на коих пускается в ход оружие и на поле битвы остаются убитые и раненые.

Организация партий и подкуп – вот два могучих средства, которые употребляются с таким успехом для орудования массами избирателей, имеющими голос в политической жизни. Средства это не новые. Еще Фукидид¹¹ описывает резкими чертами действие этих средств в древних греческих республиках. История Римской республики представляет поистине чудовищные примеры подкупа, составляющего обычное орудие партий при выборах. Но в наше время изобретено еще новое средство тасовать массы для политических целей и соединять множество людей в случайные союзы, возбуждая между ними мнимое согласие мнений. Это средство, которое можно приравнять к политическому передергиванию, состоит в искусстве быстрого и ловкого обобщения идей, составления фраз и формул, бросаемых в публику с крайнею самоуверенностью горячего убеждения, как последнее слово науки, как догмат политического учения, как характеристику событий, лиц и учреждений. Считалось некогда, что умение анализировать факты и выводить из них общее начало свойственно немногим просвещенным умам и высоким мыслителям; ныне оно считается общим достоянием, и общие фразы политического содержания под именем убеждений стали как бы ходячей монетой, которую фабрикует газеты и политические ораторы.

Способность быстро схватывать и принимать на веру общие выводы под именем убеждений распространилась в массе и стала заразительною, особенно между людьми недостаточно или поверхностно образованными, составляющими большинство повсюду. Этой склонностью массы пользуются с успехом политические деятели, пробивающиеся к власти: искусство делать обобщения служит для них самым подручным орудием. Всякое обобщение происходит путем отвлечения: из множества фактов одни, не идущие к делу, устраняются вовсе,

а другие, подходящие, группируются и из них выводится общая формула. Очевидно, что все достоинство, т[о] е[сть] правдивость и верность этой формулы, зависит от того, насколько решительную важность имеют те факты, из коих она извлечена, и насколько ничтожны те факты, кои притом устранены как неподходящие. Быстрота и легкость, с которою делаются в наше время общие выводы, объясняются крайнею бесцеремонностью в этом процессе подбора подходящих фактов и их обобщения. Отсюда громадный успех политических ораторов и поразительное действие на массу общих фраз, в нее бросаемых. Толпа быстро увлекается общими местами, облеченными в громкие фразы, общими выводами и положениями, не помышляя о проверке их, которая для нее недоступна, – так образуется единодушие в мнениях, единодушие мнимое, призрачное, но тем не менее дающее решительные результаты. Это называется гласом народа с прибавкой – гласом Божиим. Печальное и жалкое заблуждение! Легкость увлечения общими местами ведет повсюду к крайней деморализации общественной мысли, к ослаблению политического смысла целой нации. Нынешняя Франция представляет наглядный пример этого ослабления, но тою же болезнью заражается уже и Англия...

II

На пороге XX столетия точно видится сфинкс, предлагающий новым поколениям мудреные загадки. Как разрешить их – это великий вопрос.

Как разрешат государства Старого Света вопрос об устройстве своих правительств? Чем дальше входим мы в область так называемого прогресса, тем более задача эта усложняется – ныне мы живем совсем не в тех условиях общественного быта, в каких жили сто лет назад.

Политические предания наши – из Древнего мира, из Греции и Рима. Но тогдашняя демократия была совсем непохожа на нынешнюю, основанную на равенстве. В древнем мире устройство правления вытекало непосредственно

из обычая, местных обстоятельств и религии. В каждой из греческих республик при существовании рабства в правлении участвовали одни граждане, т[о] е[сть] меньшинство, имущие и свободные люди, и в истории каждой из них мы видим постоянно сменявшееся преобладание и руководство властного лица, законодателя, властителя, заправила государственными делами. В Риме семья была ячейкой социального и политического устройства: из нее выродился первый организованный орган правления – Сенат, по первоначальному устройству – собрание стариков, старших людей; не было речи о выборе лучших людей – требовались только старшие, и они действительно были лучшие, способнейшие править делами государства. В новых европейских государствах формы правления образовались из обычая, без конструкции по какому-либо плану, без стремления к симметрии, применяясь в течение времени к идеалам, заимствуемым из Древнего мира; но преобладающее значение в правлении принадлежало элементу аристократическому, высшим служебным, владеющим и богатеющим классам. Все это смела революция, и в конце концов рукою Наполеона поколебала основы прежнего политического устройства на Западе Европы.

Теперь, всматриваясь в современную экономию общества, замечаем, как истощается старое, из рода в род передававшееся понятие о благородстве, бывшее когда-то ключевым сводом политического здания. И прежде мало-помалу подтачивалось оно несоразмерным развитием богатства, роскоши и соединенного с нею разврата в придворной и аристократической сфере. Но в наше время так умножились и облегчились разнообразные способы обогащения, т[о] е[сть] приобретения денег, что всеми овладело стремление к этому приобретению и порождаемая им деморализация, составляет грозный признак упадка в общественном сознании. В сравнении с этою похотью побледнели все старые понятия о родовой чести и о чести звания. Но там, где, по-видимому, господствует демократическое начало с отрицанием аристократии, водворяется иного рода развращенная аристократия: изо всех состояний

люди стремятся войти в какой-то особый класс общества, с иными потребностями, отличающими их от массы, с претензией на честь, сопряженную с достатком, которого у других нет, которая составляет принадлежность богатства; и эта новая аристократия вместо прежней приобретает значение властительного элемента в правительстве.

Основное начало демократии – равенство граждан. Но одно это слово ничего еще не объясняет. Хорошо, если это равенство права на служение стране своей: каждый по своей способности и средствам обязан к этому служению и в потребной мере участвует в правительственной деятельности. Так разумелось это понятие в древних демократиях, особенно в малых государствах, где люди могли знать друг друга и дела общественные обсуждались на площади. Ради самосохранения посреди беспрерывных войн с соседями надобно было звать к правительству лучших людей, и лучшими являлись способнейшие. Рим, с самого начала став завоевательной республикой, должен был следовать тому же пути, и Сенат его стал собранием лучших людей, державших в руках судьбы государства.

Но в нынешних демократиях равенство означает право всех и каждого править делами страны своей – право целого населения обширной страны принимать участие в деле правления. На этом основана существующая система выборов всеобщей подачею голосов: в больших государствах это ведет к преобладанию массы, принадлежащей к классу наименее образованному и не имеющей ясного сознания ни о делах государственных, ни о людях, способных управлять ими. Очевидно, что при таком порядке достоинство и способность избираемого утрачивает свое значение – вот чем существенно отличается новая демократия от древней и вот что угрожает ей гибелью. Но притом надобно еще принять во внимание, что этот механизм демократии призван действовать в эпоху чрезвычайного и неслыханного прежде усложнения человеческих дел и отношений. Даже сто лет назад люди не мечтали о нынешнем развитии торговли, промышленности, механики, нынешнем развитии литературы, печати с громадным ее зна-

чением, о нынешней быстроте сообщений, известий и слухов всякого рода. Можно себе представить, до чего усложняются при этом все отправления правительственной и финансовой власти, и условия, посреди коих они должны действовать, и с каким бесчисленным множеством фактов и новых идей должна ныне считаться власть законодательная.

В этом состоянии общества демократии предлежит страшная задача, с которой она не в силах справиться. Заступая верховную власть, она должна принять на себя дело верховной власти, а главное ее дело – выбирать людей на места и должности: в этом деле – все; если оно несостоятельно, то становится несостоятельным и теряет значение всякий закон, каков бы ни был, и основной строй всего государственного учреждения лишается веры и колеблется. Правительство представляется для народа отвлеченной идеей, поскольку она не воплощается в агентах власти, состоящих в непосредственном соприкосновении с народом и праведными его нуждами: если эти агенты набираются случайно или по ложным побуждениям, то вся их деятельность становится горячим предметом толков, волнующих народное мнение, и орудием всех противников какой бы то ни было твердой власти.

И вот мы видим, что с тех пор как в демократии потеряли всякое значение исторические понятия о лицах, по своему сословию и общественному положению призываемых на служение государству, служебные назначения становятся орудием политических партий, усиливающих себя раздачею должностей, и вместе с тем число должностей непомерно увеличивается не к пользе, а к отягощению народа, для службы не столько общему, сколько своему интересу, в народе же при общем недовольстве возрастает страстное стремление к получению оплачиваемых и доходных должностей. Очевидную для всех картину этого упадка представляют новые демократии во Франции, в Италии и в Соединенных Штатах. Этот упадок отражается в особенности на высших и на выборных должностях, имеющих политическое значение, как-то: на губернаторах, на членах законодательных собраний. Выборные

должности имеют значение представительства, напротив того, административные должности по существу своему должны быть чужды такого значения. Но со времени французской революции совсем помутилась мысль об этом различии в новой демократии, и напротив того, вошла в обиход такая мысль, что административные должности служат наградой для лиц, послуживших той или другой властной партии или держащихся в смысле партии тех или иных политических и социальных видов и мнений, причем и не спрашивается: способен ли человек к особливому делу его должности, или не способен. В прежнее время все думали и верили, что правитель должен быть превосходнее тех, кем управляет, и опыт истории подтверждает, что все успехи цивилизации достигнуты желаниями способнейших людей вопреки противодействию среды, в которой приходилось им действовать. Но в новой демократии вопреки этой беспспорной истине укореняется такое мнение, что и обширное государство может быть успешно управляемо всякими людьми и низшего достоинства. Все это приводит к деморализации, благодаря которой частный интерес партии или компании лиц получает в обществе преобладающее значение на счет интереса общественного.

Естественным последствием всего этого является полнейший упадок законодательных собраний или демократических парламентов. По демократической теории избранный представитель народа призван подавать свой голос не за то, что он признает полезным для народа или разумным и справедливым, но за то, что признают лучшим и нужным люди той партии, которая выбрала его и прислала, хотя бы это не согласовалось с личным его мнением. Таким образом, выбор представителей превращается в игру партий – столь же страстную, как всякое игорное состязание, игру, управляемую интригой, лживыми приманками и подкупом. Так и законодательство попадает в руки людей непросвещенных, нерассудительных, нередко и корыстных или равнодушных ко всему, что не соединено с интересом партии. Мало-помалу от участия в этой игре устраняются все люди прямой мысли, честного духа и высшей культу-

ры, особенно когда каждый из них имеет на руках дело своего специального призвания. Парламент превращается в машину, испускающую массу законов непродуманных, неразработанных, несогласованных между собою и совсем ненужных, не ограждающих свободу, но стесняющих ее в интересе одной партии или одной компании.

Все более или менее чувствуют и сознают, что нынешняя демократическая система законодательства совсем несостоятельна и основана на лжи; а когда в основании такого учреждения лежит ложь, чего ожидать обществу, кроме гибели? Сама демократия изверилась, можно сказать, в своем парламенте, но принуждена мириться с ним, потому что заменить его нечем, а что стояло прежде, все разрушено, всякую же идею диктаторства демократия отвергает по принципу. Фальшиво построенное здание очевидно для всех колеблется, уже пошатнулось, но когда и как падет оно и что возникнет на его развалинах – вот задача сфинкса, стоящего на пороге XX столетия.

III

Как же дальше быть? Повсюду уже люди, еще хранящие совесть, чувство правды и любовь к отечеству, видят и ощущают, что господствующая система учреждать правление и правительство страны не обеспечивает свободу и не приводит к порядку, но, распространяя и усиливая самовластие случайного большинства, ведет прямым путем к анархии.

Умные и ученые люди, профессора политических учений начинают придумывать средства, как поправить беду. Изобретают новые комбинации властей, новые системы выборов, новые формы, в коих могли бы выработаться и утвердиться истинное представительство народного разума и народной потребности, истинное правительство и достаточно уполномоченное, и достаточно ограниченное от злоупотреблений власти.

Простые люди, не удаленные от жизни, спрашивают: как нам быть?! Мы бежали от единовластного насилия – и

вот пришли к горшему насилию безличной власти случайного большинства и своекорыстных партий. Хотели, чтобы у кормила правления стояли лучшие люди, истинные представители страны, знающие народ свой, а вместо того стали у кормила люди партии, оторванные от земли доктринеры и промышленники, ищущие своего интереса и прибыли, люди, подобранные не свободным выбором, а лукавой игрой партий и насилием. Надеялись воспитать детей своих, возрастающее поколение в духе народном, в силе доброго предания, в началах веры, чести и правды; надеялись, хотя бы со временем, при помощи их организовать на местах здоровые, в духе мира, общины, которые могли бы лучших людей своих высылать представителями народного разума. Вместо того правители наши развращают наши общины, подбирая в них соблазном сторонников партий, стесняют свободу местной жизни произвольными законами в духе сменяющихся партий и вместо школы, образующей людей в духе простоты и добрых нравов, навязывают нам школу, отрешенную от жизни, школу без веры, развращающую юношество.

Ввиду общего недовольства, ввиду очевидных несовершенств существующего порядка, раскрываемых критикой, слышатся голоса людей, не удовлетворяемых одним отрицанием и требующих положительного указания на средство к исцелению зла. Так больной, не терпя своей болезни, усиленно ищет и требует лекарства.

Не напоминает ли это притчу о человеке, который всю свою жизнь проводил весело, давая волю всякому своему желанию и всякой похоти, безмерно ел, пил, развратничал, и наконец, расстроив весь свой организм, потеряв саму способность наслаждаться, требует от врача такого лекарства, которое поставило бы его на ноги и возвратило бы ему способность к наслаждению, т[о] е[сть] возможность по-прежнему безмерно есть, пить и развратничать. Но разумный врач говорит ему: нет такого лекарства. Если хочешь быть здоров, войди в самого себя, обратись к природе, которую ты в себе и для себя оболгал, поставь себя на простую меру жизни,

оставь противоестественные привычки и желания. Нет иного средства выздороветь.

Великая ложь нашего времени

I

Что основано на лжи, не может быть право. Учреждение, основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое. Вот истина, которая оправдывается горьким опытом веков и поколений.

Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Она продолжает еще держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее с каждым днем изобличается все явственнее перед целым миром.

В чем состоит теория парламентаризма? Предполагается, что весь народ в народных собраниях творит себе законы, избирает должностные лица, стало быть, изъявляет непосредственно свою волю и приводит ее в действие. Это идеальное представление. Прямое осуществление его невозможно: историческое развитие общества приводит к тому, что местные союзы умножаются и усложняются, отдельные племена сливаются в целый народ или группируются в разноразличные под одним государственным знаменем, наконец, разрастается без конца государственная территория, — непосредственное народоправление при таких условиях немыслимо. Итак, народ должен переносить свое право властительства на некоторое число выборных людей и облекать их правительственной

автономией. Эти выборные люди, в свою очередь, не могут править непосредственно, но принуждены выбирать еще меньшее число доверенных лиц – министров, коим предоставляется изготовление и применение законов, раскладка и соби́рание податей, назначение подчиненных должностных лиц, распоряжение военно́ю силой.

Механизм в идее своей стройный; но для того чтобы он действовал, необходимы некоторые существенные условия. Машинное производство имеет в основании своем расчет на непрерывно действующие и совершенно равные, следовательно, безличные силы. И этот механизм мог бы успешно действовать, когда бы доверенные от народа лица устранились вовсе от своей личности; когда бы на парламентских скамьях сидели механические исполнители данного им наказа; когда бы министры явились тоже безличными, механическими исполнителями воли большинства; когда бы притом представителями народа избираемы были всегда лица, способные уразуметь в точности и исполнять добросовестно данную им и математически точно выраженную программу действий. Вот при таких условиях действительно машина работала бы исправно и достигла бы цели. Закон действительно выдержал бы волю народа; управление действительно исходило бы от парламента; опорная точка государственного здания лежала бы действительно в собраниях избирателей, и каждый гражданин явно и сознательно участвовал бы в правлении общественными делами.

Такова теория. Но посмотрим на практику. В самых классических странах парламентаризма он не удовлетворяет ни одному из вышепоказанных условий. Выборы никоим образом не выражают волю избирателей. Представители народные не стесняются нисколько взглядами и мнениями избирателей, но руководятся собственным произвольным усмотрением или расчетом, соображаемым с тактикою противной партии. Министры в действительности самовластны; и скорее, они насилуют парламент, нежели парламент их насилует. Они вступают во власть и оставляют власть не в силу воли

народной, но потому что их ставит к власти или устраняет от нее могущественное личное влияние или влияние сильной партии. Они располагают всеми силами и достоинствами нации по своему усмотрению, раздают льготы и милости, содержат множество праздных людей на счет народа и притом не боятся никакого порицания, если располагают большинством в парламенте, а большинство поддерживают раздачей всякой благодости с обильной трапезы, которую государство отдало им в распоряжение. В действительности министры столь же безответственны, как и народные представители. Ошибки, злоупотребления, произвольные действия – ежедневное явление в министерском управлении, а часто ли слышим мы о серьезной ответственности министра? Разве, может быть, раз в пятьдесят лет приходится слышать, что над министром суд, и всего чаще результат суда выходит ничтожный сравнительно с шумом торжественного производства.

Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей. Учреждение это служит не последним доказательством самообольщения ума человеческого. Испытывая в течение веков гнет самовластия в единоличном и олигархическом правлении и не замечая, что пороки единовластия суть пороки самого общества, которое живет под ним, люди разума и науки возложили всю вину бедствия на своих властителей и на форму правления и представили себе, что с переменою этой формы на форму народовластия или представительного правления общество избавится от своих бедствий и от терпимого насилия. Что же вышло в результате? Вышло то, что *mutato nomine*¹² все осталось в сущности по-прежнему, и люди, оставаясь при слабостях и пороках своей природы, перенесли на новую форму все прежние свои привычки и склонности. Как прежде, правит ими личная воля и интерес привилегированных лиц; только эта личная воля осуществляется уже не в лице монарха, а в лице предводителя партии и привилегированное положение

принадлежит не родовым аристократам, а господствующему в парламенте и правлении большинству.

На фронтоне этого здания красуется надпись: «Все для общественного блага». Но это не что иное, как самая лживая формула; парламентаризм есть торжество эгоизма, высшее его выражение. Все здесь рассчитано на служение своему я. По смыслу парламентской фикции представитель отказывается в своем звании от личности и должен служить выражением воли и мысли своих избирателей; а в действительности избиратели в самом акте избрания отказываются от всех своих прав в пользу избранного представителя. Перед выборами кандидат в своей программе и в речах своих ссылается постоянно на вышеупомянутую фикцию: он твердит все о благе общественном, он не что иное, как слуга и печальник народа, он о себе не думает и забудет себя и свои интересы ради интереса общественно-го. И все это – слова, слова, одни слова, временные ступеньки лестницы, которые он строит, чтобы взойти куда нужно и потом сбросить ненужные ступени. Тут уже не он станет работать на общество, а общество станет орудием для его целей. Избиратели являются для него стадом для сбора голосов, и владельцы этих стад подлинно уподобляются богатым кочевникам, для коих стадо составляет капитал, основание могущества и знатности в обществе. Так развивается, совершенствуясь, целое искусство играть инстинктами и страстями массы для того, чтобы достигнуть личных целей честолюбия и власти. Затем уже эта масса теряет всякое значение для выбранного ею представителя до тех пор, пока понадобится снова на нее действовать: тогда пускаются в ход снова льстивые и лживые фразы, в угоду – одним, в угрозу – другим; длинная, нескончаемая цепь однородных маневров, образующая механику парламентаризма. И такая-то комедия выборов продолжает до сих пор обманывать человечество и считаться учреждением, венчающим государственное здание... Жалкое человечество! Поистине можно сказать: “Mundus vult decipi – decipiatur”¹³.

Вот как практикуется выборное начало. Честолюбивый искатель сам выступает перед согражданами и старается вся-

чески уверить их, что он, более чем всякий иной, достоин их доверия. Из каких побуждений выступает он на это искательство? Трудно поверить, что из бескорыстного усердия к общественному благу. Вообще, в наше время редки люди, проникнутые чувством солидарности с народом, готовые на труд и самопожертвование для общего блага, это – натуры идеальные, а такие натуры не склонны к соприкосновению с пошлостью житейского бытия. Кто по натуре своей способен к бескорыстному служению общественной пользе в сознании долга, тот не пойдет заискивать голоса, не станет воспевать хвалу себе на выборных собраниях, нанизывая громкие и пошлые фразы. Такой человек раскрывает себя и силы в рабочем углу своем или в тесном кругу единомышленных людей, но не пойдет искать популярности на шумном рынке. Такие люди если идут в толпу людскую, то не затем, чтобы льстить ей и подлаживаться под пошлые ее влечения и инстинкты, а разве затем, чтобы обличать пороки людского быта и ложь людских обычаев. Лучшим людям, людям долга и чести, противна выборная процедура: от нее не отвращаются лишь своекорыстные, эгоистические натуры, желающие достичь личных своих целей. Такому человеку не стоит труда надеть на себя маску стремления к общественному благу, лишь бы приобрести популярность. Он не может и не должен быть скромен – ибо при скромности его не заметят, не станут говорить о нем. Своим положением и тою ролью, которую берет на себя, он вынужден лицемерить и лгать: с людьми, которые противны ему, он поневоле должен сходитьсь, брататься, любезничать, чтобы приобрести их расположение, должен раздавать обещания, зная, что потом не выполнит их, должен подлаживаться под самые пошлые наклонности и предрассудки массы, для того чтоб иметь большинство за себя. Какая честная натура решится принять на себя такую роль? Изобразите ее в романе – читателю противно станет, но тот же читатель отдаст свой голос на выборах живому артисту в той же самой роли.

Выборы – дело искусства, имеющего, подобно военному искусству, свою стратегию и тактику. Кандидат не состоит в

прямом отношении к своим избирателям. Между ним и избирателями посредствует комитет, самочинное учреждение, главную силою которого служит нахальство. Искатель представительства, если не имеет еще сам по себе известного имени, начинает с того, что подбирает себе кружок приятелей и споспешников; затем все вместе производят около себя ловлю, то есть приискивают в местной аристократии богатых и не крепких разумом обывателей, и успевают уверить их, что это их дело, их право и преимущество стать во главе – руководителями общественного мнения. Всегда находится достаточно глупых или наивных людей, поддающихся на эту удочку, и вот за подписью их появляется в газетах и наклеивается на столбах объявление, привлекающее массу, всегда падкую на следование за именами, титулами и капиталами. Вот каким путем образуется комитет, руководящий и овладевающий выборами, эта своего рода компания на акциях, вызванная к жизни учредителями. Состав комитета подбирается с обдуманном искусством: в нем одни служат действующею силой – люди энергические, преследующие во что бы ни стало материальную или тенденциозную цель; другие, наивные и легкомысленные статисты, составляют балласт. Организуются собрания, произносятся речи: здесь тот, кто обладает крепким голосом и умеет быстро и ловко нанизывать фразы, производит всегда впечатление на массу, получает известность, нарождается кандидатом для будущих выборов или при благоприятных условиях сам выступает кандидатом, сталкивая того, за кого пришел вначале работать языком своим. Фраза, и ни что иное как фраза, господствует в этих собраниях. Толпа слушает лишь того, кто громче кричит и искуснее подделывается пошлостью и лестью под ходячие в массе понятия и наклонности.

В день окончательного выбора лишь немногие подают голоса свои сознательно: это отдельные влиятельные избиратели, коих стоило уговаривать поодиночке. Большинство, т[о] е[сть] масса избирателей, дает свой голос стадным обычаем за одного из кандидатов, выставленных комитетом. На

билетах пишется то имя, которое всего громче натвержено и звенело в ушах у всех в последнее время. Никто почти не знает человека, не дает себе отчета ни о характере его, ни о способностях, ни о направлении: выбирают потому, что много слышаны о его имени. Напрасно было бы вступать в борьбу с этим стадным порывом. Положим, какой-нибудь добросовестный избиратель пожелал бы действовать сознательно в таком важном деле, не захотел бы подчиниться насильственному давлению комитета. Ему остается или уклониться во все в день выбора, или подать голос за своего кандидата по своему разумению. Как бы ни поступил он, все-таки выбран будет тот, кого провозгласила масса легкомысленных, равнодушных или уговоренных избирателей.

По теории, избранный должен быть излюбленным человеком большинства, а на самом деле избирается излюбленный меньшинства, иногда очень скудного, только это меньшинство представляет организованную силу, тогда как большинство, как песок, ничем не связано и потому бессильно перед кружком или партией. Выбор должен бы падать на разумного и способного, а в действительности падает на того, кто нахальнее суется вперед. Казалось бы, для кандидата существенно требуется образование, опытность, добросовестность в работе, а в действительности все эти качества могут быть и не быть, они не требуются в избирательной борьбе, тут важнее всего смелость, самоуверенность в соединении с ораторством и даже с некоторою пошлостью, нередко действующею на массу. Скромность, соединенная с тонкостью чувства и мысли, для этого никуда не годится.

Так нарождается народный представитель, так приобретает его полномочие. Как он употребляет его, как им пользуется? Если натура у него энергическая, он захочет действовать и принимается образовывать партию; если он заурядной натуры, то сам примыкает к той или другой партии. Для предводителя партии требуется, прежде всего, сильная воля. Это свойство органическое, подобно физической силе, и потому не предполагает непременно нравственные качества. При край-

ней ограниченности ума, при безграничном развитии эгоизма и самой злобы, при низости и бесчестности побуждений человек с сильною волей может стать предводителем партии и становится тогда руководящим, господственным главою кружка или собрания, хотя бы к нему принадлежали люди, далеко превосходящие его умственными и нравственными качествами. Вот какова, по свойству своему, бывает руководящая сила в парламенте. К ней присоединяется еще другая решительная сила – красноречие. Это тоже натуральная способность, не предполагающая ни нравственного характера, ни высокого духовного развития. Можно быть глубоким мыслителем, поэтом, искусным полководцем, тонким юристом, опытным законодателем и в то же время быть лишенным действенного слова; и наоборот, можно при самых заурядных умственных способностях и знаниях обладать особенным даром красноречия. Соединение этого дара с полнотою духовных сил есть редкое и исключительное явление в парламентской жизни. Самые блестящие импровизации, прославившие ораторов и соединенные с важными решениями, кажутся бледными и жалкими в чтении, подобно описанию сцен, разыгранных в прежнее время знаменитыми актерами и певцами. Опыт свидетельствует непрерываемо, что в больших собраниях решительное действие принадлежит не разумному, но бойкому и блестящему слову, что всего действительнее на массу не ясные, стройные аргументы, глубоко коренящиеся в существе дела, но громкие слова и фразы, искусно подобранные, усиленно натверженные и рассчитанные на инстинкты гладкой пошлости, всегда таящиеся в массе. Масса легко увлекается пустым вдохновением декламации и под влиянием порыва, часто бессознательного, способна приходить к внезапным решениям, о которых приходится сожалеть при хладнокровном обсуждении дела.

Итак, когда предводитель партии с сильною волей соединяет еще и дар красноречия, он выступает в своей первой роли на открытую сцену перед целым светом. Если же у него нет этого дара, он стоит, подобно режиссеру, за кулисами и на-

правляет оттуда весь ход парламентского представления, распределяя роли, выпуская ораторов, которые говорят за него, употребляя в дело по усмотрению более тонкие, но нерешительные умы своей партии: они за него думают.

Что такое парламентская партия? По теории, это союз людей, одинаково мыслящих и соединяющих свои силы для совокупного осуществления своих воззрений в законодательстве и в направлении государственной жизни. Но таковы бывают разве только мелкие кружки; большая, значительная в парламенте партия образуется лишь под влиянием личного честолюбия, группируясь около одного господствующего лица. Люди по природе делятся на две категории: одни не терпят над собою никакой власти и потому необходимо стремятся господствовать сами; другие, по характеру своему страшась нести на себе ответственность, соединенную со всяким решительным действием, уклоняются от всякого решительного акта воли: эти последние как бы рождены для подчинения и составляют из себя стадо, следующее за людьми воли и решения, составляющими меньшинство. Таким образом, люди самые талантливые подчиняются охотно, с радостью складывая в чужие руки направление своих действий и нравственную ответственность. Они как бы инстинктивно «ищут вождя» и становятся послушными его орудиями, сохраняя уверенность, что он ведет их к победе и нередко – к добыче. Итак, все существенные действия парламентаризма отправляются вождями партий: они ставят решения, они ведут борьбу и празднуют победу. Публичные заседания суть не что иное, как представление для публики. Произносятся речи для того, чтобы поддержать фикцию парламентаризма: редкая речь вызывает сама по себе парламентское решение в важном деле. Речи служат к прославлению ораторов, к возвышению популярности, к составлению карьеры, но в редких случаях решают подбор голосов. Каково должно быть большинство – это решается обыкновенно вне заседания.

Таков сложный механизм парламентского лицедейства, таков образ великой политической лжи, господствующей в

наше время. По теории парламентаризма должно господствовать разумное большинство; на практике господствуют пять-шесть предводителей партии; они, сменяясь, овладевают властью. По теории – убеждение утверждается ясными доводами во время парламентских дебатов; на практике – оно не зависит нисколько от дебатов, но направляется волею предводителей и соображениями личного интереса. По теории – народные представители имеют в виду единственно народное благо; на практике – они под предлогом народного блага и на счет его имеют в виду преимущественно личное благо свое и друзей своих. По теории – они должны быть из лучших, излюбленных граждан; на практике – это наиболее честолюбивые и нахальные граждане. По теории – избиратель подает голос за своего кандидата потому, что знает его и доверяет ему; на практике – избиратель дает голос за человека, которого по большей части совсем не знает, но о котором натверждено ему речами и криками заинтересованной партии. По теории – делами в парламенте управляют и двигают опытный разум и бескорыстное чувство; на практике – главные движущие силы здесь – решительная воля, эгоизм и красноречие.

Вот каково, в сущности, это учреждение, выставляемое целью и венцом государственного устройства. Больно и горько думать, что в земле Русской были и есть люди, мечтающие о водворении этой лжи у нас; что профессора наши еще проповедуют своим юным слушателям о представительном правлении, как об идеале государственного учреждения; что наши газеты и журналы твердят о нем в передовых статьях и фельетонах, под знаменем правового порядка; твердят, не давая себе труда взглянуться ближе, без предубеждения, в действие парламентской машины. Но уже и там, где она издавна действует, ослабевает вера в нее; еще славит ее либеральная интеллигенция, но народ стонет под гнетом этой машины и распознает скрытую в ней ложь. Едва ли дождемся мы, но дети наши и внуки, несомненно, дождутся свержения этого идола, которому современный разум продолжает еще в самообольщении поклоняться...

II

Много зла наделали человечеству философы школы Ж.-Ж. Руссо. Философия эта завладела умами, а между тем вся она построена на одном ложном представлении о совершенстве человеческой природы и о полнейшей способности всех и каждого уразуметь и осуществить те начала общественного устройства, которые эта философия проповедовала.

На том же ложном основании стоит и господствующее ныне учение о совершенствах демократии и демократического правления. Эти совершенства предполагают совершенную способность массы уразуметь тонкие черты политического учения, явственно и раздельно присущие сознанию его проповедников. Эта ясность сознания доступна лишь немногим умам, составляющим аристократию интеллигенции; а масса, как всегда и повсюду, состояла и состоит из толпы – «vulgus», и ее представления по необходимости будут «вульгарные».

Демократическая форма правления – самая сложная и самая затруднительная из всех известных в истории человечества. Вот причина, почему эта форма повсюду была переходящим явлением и, за немногими исключениями, нигде не держалась долго, уступая место другим формам. И не удивительно. Государственная власть призвана действовать и распоряжаться; действия ее суть проявления единой воли, без этого немислимо никакое правительство. Но в каком смысле множество людей или собрание народное может проявлять единую волю? Демократическая фразеология не останавливается на решении этого вопроса, отвечая на него известными фразами и поговорками вроде таких, например: «воля народная», «общественное мнение», «верховное решение нации», «глас народа – глас Божий» и т[ому] п[одобное]. Все эти фразы, конечно, должны означать, что великое множество людей по великому множеству вопросов может прийти к одинаковому заключению и постановить сообразно с ним одинаковое решение. Пожалуй, это и бывает возможно, но лишь по самым про-

стым вопросам. Но когда с вопросом соединено хотя малейшее усложнение, решение его в многочисленном собрании возможно лишь при посредстве людей, способных обсудить его по всей сложности, и затем убедить массу к принятию решения. К числу самых сложных принадлежат, например, политические вопросы, требующие крайнего напряжения умственных сил у самых способных и опытных мужей государственных; в таких вопросах, очевидно, нет ни малейшей возможности рассчитывать на объединение мысли и воли в многолюдном народном собрании: решения массы в таких вопросах могут быть только губительные для государства. Энтузиасты демократии уверяют себя, что народ может проявлять свою волю в делах государственных, – это пустая теория, на деле же мы видим, что народное собрание способно только принимать по увлечению мнение, выраженное одним человеком или некоторым числом людей; например, мнение известного предводителя партии, известного местного деятеля, или организованной ассоциации, или, наконец, безразличное мнение того или другого влиятельного органа печати. Таким образом, процедура решения превращается в игру, совершающуюся на громадной арене множества голов и голосов; чем их более принимается в счет, тем более эта игра запутывается, тем более зависит от случайных и беспорядочных побуждений.

К избежанию и обходу всех этих затруднений изобретено средство править посредством представительства – средство, организованное прежде всего и оправдавшее себя успехом в Англии. Отсюда, по установившейся моде, перешло оно и в другие страны Европы, но привилось с успехом по прямому преданию и праву лишь в Американских Соединенных Штатах. Однако и на родине своей, в Англии, представительные учреждения вступают в критическую эпоху своей истории. Сама сущность идеи этого представительства подверглась уже здесь изменению, извращающему первоначальное его значение. Дело в том, что с самого начала собрание избирателей, тесно ограниченное, присылало от себя в парламент известное число лиц, долженствовавших представлять мнение страны в

собрании, но не связанных никакою определенной инструкцией от массы своих избирателей. Предполагалось, что избраны люди, разумеющие истинные нужды страны своей и способные дать верное направление государственной политике. Задача разрешалась просто и ясно: требовалось уменьшить до возможного предела трудность народного правления, ограничив малым числом способных людей собрание, призванное к решению государственных вопросов. Люди эти являлись в качестве свободных представителей народа, а не того или другого мнения, той или другой партии, не связанные никакою инструкцией. Но с течением времени мало-помалу эта система изменилась под влиянием того же рокового предрассудка о великом значении общественного мнения, просвещаемого будто бы периодическою печатью и дающего массе народной способность иметь прямое участие в решении политических вопросов. Понятие о представительстве совершенно изменило свой вид, превратившись в понятие о мандате, или определенном поручении. В этом смысле каждый избранный в той или другой местности почитается уже представителем мнения, в той местности господствующего, или партии, под знаменем этого мнения одержавшей победу на выборах, это уже не представитель от страны или народа, но делегат, связанный инструкцией от своей партии. Это изменение в самом существе идеи представительства послужило началом язвы, разъедающей всю систему представительного правления. Выборы с раздроблением партий приняли характер личной борьбы местных интересов и мнений, отрешенной от основной идеи о пользе государственной. При крайнем умножении числа членов собрания большинство их, помимо интереса борьбы и партии, заражается равнодушием к общественному делу и теряет привычку присутствовать во всех заседаниях и участвовать непосредственно в обсуждении всех дел. Таким образом, дело законодательства и общего направления политики, самое важное для государства, превращается в игру, состоящую из условных формальностей, сделок и фикций. Система представительства сама себя обогнала на деле.

Эти плачевные результаты всего явственнее обнаруживаются там, где население государственной территории не имеет цельного состава, но включает в себе разнородные национальности. Национализм в наше время можно назвать пробным камнем, на котором обнаруживаются лживость и непрактичность парламентского правления. Примечательно, что начало национальности выступило вперед и стало движущей и раздражающей силой в ходе событий именно с того времени, как пришло в соприкосновение с новейшими формами демократии. Довольно трудно определить существо этой новой силы и тех целей, к каким она стремится, но несомненно, что в ней источник великой и сложной борьбы, которая предстоит еще в истории человечества, и неведомо к какому приведет исходу. Мы видим теперь, что каждым отдельным племенем, принадлежащим к составу разноплеменного государства, овладевает страстное чувство нетерпимости к государственному учреждению, соединяющему его в общий строй с другими племенами, и желание иметь свое самостоятельное управление со своею, нередко мнимой, культурой. И это происходит не с теми только племенами, которые имели свою историю и в прошедшем своем отдельную политическую жизнь и культуру, но и с теми, которые никогда не жили особою политической жизнью. Монархия неограниченная успевала устранять или примирять все подобные требования и порывы, и не одною только силой, но и уравнением прав и отношений под одною властью. Но демократия не может с ними справиться, и инстинкты национализма служат для нее разъедающим элементом: каждое племя из своей местности высылает представителей не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти и к господствующему племени, и к другим племенам, и к связующему все части государства учреждению. Какой нестройный вид получает в подобном составе народное представительство и парламентское правление, очевидным тому примером служит в наши дни австрийский парламент. Провидение сохранило нашу Россию от

подобного бедствия при ее разноплеменном составе. Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар – всероссийский парламент! Да не будет.

III

Указывают на Англию, но к этим указаниям можно бы, кажется, применить поговорку: «слышали звон, да не знают, где он». Социальная наука в последнее время принялась вскрывать исторические и экономические ключи, откуда истекают особенные учреждения англосаксонской и отчасти – скандинавской расы сравнительно с учреждениями остальных европейских народов. Англосаксонское племя с тех пор, как заявило себя в истории, и донныне отличается крепким развитием самостоятельной личности: и в сфере политической, и в экономической этому свойству англосаксонское племя обязано и устойчивостью древних своих учреждений, и крепкой организацией семейного быта и местного самоуправления, и теми несравненными успехами, коих оно достигло своею энергичскою деятельностью и влиянием своим в обоих полушариях. Этой энергией личности успело оно в начале своей истории осилить чуждые норманнские обычаи своих победителей и утвердить быт свой на своих началах, которые сохраняются и донныне. Существенное отличие этого быта состоит в отношении каждого гражданина к государству. Каждый привыкает с юности сам собою держаться, сам устраивать судьбу свою и добывать себе хлеб насущный. Родители не обременены заботой об устройстве судьбы детей своих и об оставлении им наследства. Землевладельцы держатся своих имений и сами стремятся вести на них хозяйство и промыслы. Местное управление держится личным, сознательным по долгу участием местных обывателей в общественном деле. Учреждения административные обходятся без полчища чиновников, состоящих на содержании у государства и чающих от него обеспечения и возвышения. Вот на каком корне сами собою исторически выросли представительные учреждения свободной Англии, и вот

почему ее парламент состоит из действительных представителей местных интересов, тесно связанных с землей, вот почему и голос их может считаться в достаточной мере голосом земли и органом национальных интересов.

Прочие народы Европы образовались и выросли совсем на ином основании – на основании общинного быта. Свойство его состоит в том, что человек не столько сам собою держится, сколько своею солидарностью с тем или другим общественным союзом, к которому принадлежит. Отсюда с ходом общественного и государственного развития слагается особая зависимость человека от того или иного семейного или общественного союза и в конце концов – от государства. Эти союзы, быв в начале крепкими учреждениями семейными, политическими, религиозными, общественными, крепко держали человека в его жизни и деятельности, и ими, в свою очередь, держалось все общественное и государственное устройство. Но эти союзы с течением времени или распались, или утратили свое некоторое господственное значение, однако люди продолжают по-прежнему искать себе опору и устройство судьбы своей, и благосостояние в семье своей, в своей корпорации и, наконец, в государственной власти (все равно – монархической или республиканской), возлагая на нее же вину своих бедствий, когда этой опоры, по желанию своему, не находят. Словом сказать, человек стремится к одной из этих властей пристроить себя и судьбу свою. Отсюда в таком состоянии общества оскудение людей самостоятельных и независимых, людей, которые сами держатся на ногах своих и знают, куда идут, составляя в государстве силу, служащую ему опорой, и, напротив того, крайнее умножение людей, которые ищут себе опоры в государстве, питаются его соками, и не столько дают ему силы, сколько от него требуют. Отсюда – крайнее развитие в таких обществах, с одной стороны, чиновничества, с другой – так называемых либеральных профессий. Отсюда при ослаблении в нравах самодеятельности – крайнее усложнение отправлений государственной и законодательной власти, принимающей на себя заботу о многом, о чем каждый

для себя должен бы заботиться. В таком состоянии общество мало-помалу подготавливает у себя благоприятную почву для развития социализма, и привычка возлагать на государство заботу о благосостоянии всех и каждого обращается, наконец, в безумную теорию социализма государственного. В таких-то условиях своего социального развития все континентальные государства, с англосаксонского образца, учредили у себя представительное правление, иные – еще при всеобщей подаче голосов. Очевидно, что при описанном составе общества и при легком отношении его к общественному делу оно не может выделить истинных, верных представителей земли и прямых ее интересов. Отсюда печальная судьба таких представительных собраний и тяжкое, безысходное положение власти правительственной, которая неразрывно с ними связана, и народа, судьбы коего от них зависят.

Что же сказать о народах славянского племени, отличающихся особенным у себя развитием общинного быта при крайней юности своей культуры, о Румынии и о несчастной Греции? Сюда, поистине, представительные учреждения внесли сразу разлагающее начало народной жизни, представляя собой в иных случаях жалкую карикатуру Запада, напоминающую басню Крылова «Мартышка и очки».

IV

Величайшее зло конституционного порядка состоит в образовании министерства на парламентских или партийных началах. Каждая политическая партия одержима стремлением захватить в свои руки правительственную власть и к ней пробирается. Глава государства уступает политической партии, составляющей большинство в парламенте; в таком случае министерство образуется из членов этой партии и ради удержания власти начинает борьбу с оппозицией, которая усиливается низвергнуть его и вступить на его место. Но если глава государства склоняется не к большинству, а к меньшинству и из него избирает свое министерство, в таком

случае новое правительство распускает парламент и употребляет все усилия к тому, чтобы составить себе большинство при новых выборах и с его помощью вести борьбу с оппозицией. Странники министерской партии подают голос всегда за правительство; им приходится во всяком случае стоять за него – не ради поддержания власти, не из-за внутреннего согласия в мнениях, а из-за того, что это правительство само держит членов своей партии во власти и во всех сопряженных со властью преимуществах, выгодах и прибылях. Вообще, существенный мотив каждой партии – стоять за своих во что бы то ни стало, или из-за взаимного интереса, или просто в силу того стадного инстинкта, который побуждает людей разделяться на дружины и лезть в бой «стена на стену». Очевидно, что согласие в мнениях имеет в этом случае очень слабое значение, а забота об общественном благе служит прикрытием вовсе чуждых ему побуждений и инстинктов. И это называется идеалом парламентского правления. Люди обманывают себя, думая, что оно служит обеспечением свободы. Вместо неограниченной власти монарха мы получаем неограниченную власть парламента с тою разницей, что в лице монарха можно представить себе единство разумной воли, а в парламенте нет его, ибо здесь все зависит от случайности, так как воля парламента определяется большинством; но как скоро при большинстве, составляемом под влиянием игры в партию, есть меньшинство, воля большинства не есть уже воля целого парламента, тем еще менее можно признать ее волею народа, здоровая масса коего не принимает никакого участия в игре партий и даже уклоняется от нее. Напротив того, именно нездоровая часть населения мало-помалу вводится в эту игру и ею развращается, ибо главный мотив этой игры есть стремление к власти и к наживе. Политическая свобода становится фикцией, поддерживаемую на бумаге, параграфами и фразами конституции; начало монархической власти совсем пропадает; торжествует либеральная демократия, водворяя беспорядок и насилие в обществе вместе с началами безверия и материализма, провозглашая свободу, равенство и братство

там, где нет уже места ни свободе, ни равенству. Такое состояние ведет неотразимо к анархии, от которой общество спасается одной лишь диктатурой, т[о] е[сть] восстановлением единой воли и единой власти в правлении.

Первый образец народного представительного правления явила новейшей Европе Англия. С половины прошлого столетия французские философы стали прославлять английские учреждения и выставяли их примером для всеобщего подражания. Но в ту пору не столько политическая свобода привлекала французские умы, сколько привлекали начала религиозной терпимости или, лучше сказать, начала безверия, бывшие тогда в моде в Англии и пущенные в обращение английскими философами того времени. Вслед за Францией, которая давала тон и нравам, и литературе во всей западной интеллигенции, мода на английские учреждения распространилась по всему Европейскому материка. Между тем произошло два великих события, из коих одно утверждало эту игру, а другое чуть было совсем не поколебало ее. Возникла республика Американских Соединенных Штатов, и ее учреждения, скопированные с английских (кроме королевской власти и аристократии), принялись на новой почве прочно и плодотворно. Это произвело восторг в умах, и прежде всего во Франции. С другой стороны, явилась Французская республика и скоро явила миру все гнусности, беспорядки и насилия революционного правительства. Повсюду произошел взрыв негодования и отвращения против французских и, стало быть, вообще против демократических учреждений. Ненависть к революции отразилась даже на внутренней политике самого британского правительства. Чувство это начало ослабевать к 1815 году: под влиянием политических событий того времени¹⁴ в умах проснулось желание со свежей надеждой соединить политическую свободу с гражданским порядком в формах, подходящих к английской конституции: вошла в моду опять политическая англomanия. Затем последовал ряд попыток осуществить британский идеал – сначала во Франции, потом в Испании и Португалии, потом в Голландии и

Бельгии, наконец, в последнее время, в Германии, в Италии и в Австрии. Слабый отголосок этого движения отразился и у нас в 1825 году в безумной попытке аристократов-мечтателей, не знавших ни своего народа, ни своей истории¹⁵.

Любопытно проследить историю новых демократических учреждений: долговечны ли оказались они, каждое на своей почве, в сравнении с монархическими учреждениями, продолжение которых история считает рядом столетий.

Во Франции со времени введения политической свободы правительство во всей силе государственной своей власти было три раза ниспровергнуто парижской уличной толпой: в 1792, в 1830 и в 1848 годах¹⁶. Три раза было ниспровергнуто армией или военной силой: в 1797 году 4 сентября (18 фруктидора), когда большинством членов директории при содействии военной силы были уничтожены выборы, состоявшиеся в 48 департаментах, и отправлены в ссылку 56 членов законодательных собраний¹⁷. В другой раз, в 1799 году 9 ноября (18 Брюмера) правительство ниспровергнуто Бонапартом¹⁸ и, наконец, в 1851 году 2 декабря – другим Бонапартом, младшим¹⁹. Три раза правительство было ниспровергнуто внешним нашествием неприятеля: в 1814, в 1815 и в 1870 годах²⁰. В общем счете, с начала своих политических экспериментов по 1870 год Франция имела 44 года свободы и 37 лет сурового диктаторства. При этом еще стоит отметить странное явление: монархи старшей Бурбонской линии, оставляя много места действию политической свободы, никогда не опирались на чистом начале новейшей демократии; напротив того, оба Наполеона, провозгласив безусловно эти начала, управляли Францией деспотически.

В Испании народное правление провозглашено было в эпоху окончательного падения Наполеона. Чрезвычайное собрание кортесов утвердило в Кадисе конституцию²¹, провозгласив в первой статье оной, что верховенство власти принадлежит нации. Фердинанд VII²², вступив в Испанию через Францию, отменил эту конституцию и стал править самовластно. Через 6 лет генерал Риго²³ во главе военного восстания принудил короля восстановить конституцию. В 1823 году

французская армия под внушением Священного союза вступила в Испанию и восстановила Фердинанда в самовластии. Вдова²⁴ его в качестве регентши для охранения прав дочери своей Изабеллы²⁵ против Дон-Карлоса вновь приняла конституцию. Затем начинается для Испании последовательный ряд мятежей и восстаний, изредка прерываемых краткими промежутками относительного спокойствия. Достаточно указать, что с 1816 года до вступления на престол Альфонса²⁶ было в Испании до 40 серьезных военных восстаний с участием народной толпы. Говоря об Испании, нельзя не упомянуть о том чудовищном и поучительном зрелище, которое представляют многочисленные республики Южной Америки, республики испанского происхождения и испанских нравов. Вся их история представляет непрестанную смену ожесточенной резни между народной толпой и войсками, прерываемую правлением деспотов, напоминающих Коммода²⁷ или Калигулу. Довольно привести в пример хотя бы Боливию, где из числа 14 президентов республики тринадцать кончили свое правление насильственной смертью или ссылкой.

Начало народного или представительного правления в Германии и в Австрии – не ранее 1848 года. Правда, начиная с 1815 года поднимается глухой ропот молодой интеллигенции на германских владетельных князей за неисполнение обещаний, данных народу в эпоху великой войны за освобождение. За немногими, мелкими, исключениями, в Германии не было представительных учреждений до 1847 года, когда прусский король²⁸ учредил у себя особенную форму конституционного правления; однако оно не простояло и одного года. Но стоило только напору парижской уличной толпы сломить французскую хартию и низложить конституционного короля, как поднялось и в Германии уличное движение с участием войск. В Берлине, в Вене, во Франкфурте устроились национальные собрания по французскому шаблону. Едва прошел год, как правительство разогнало их военной силой. Новейшие германские и австрийские конституции все исходят от монархической власти и еще ждут суда своего от истории.

Суд присяжных

Вот что говорит знаменитый английский писатель, глубокий знаток истории (С. Ч. Мэн²⁹), о суде присяжных своей родины:

«Народное правление вначале было тождественно с народным судом. Древние демократии занимались судом в гражданских и уголовных делах больше, чем делами политической администрации, и на самом деле историческое развитие народного правосудия несравненно непрерывнее и последовательнее, чем развитие форм народного правления... Мы у себя в Англии имеем живой памятник и след народного суда в отпавлении суда присяжных. Суд присяжных есть не что иное, как древняя, творящая суд демократия, но только поставленная в пределы, в измененных и улучшенных формах, соответственно с началами, выработанными опытом целых столетий, согласованная с новой идеей судебного процесса. И те изменения, которым подверглось притом учреждение народного суда, в высшей степени поучительны. Вместо собрания народного – двенадцать присяжных. Все их дело состоит в том, чтобы ответить «да» или «нет» на вопросы, конечно, весьма важные, но имеющие отношение к предметам ежедневного быта. Для того чтобы эти люди могли прийти к заключению, в помощь им существует целая система приспособлений и правил, выработанная до тонкости и достигающая высшей искусственности. В исследовании дела они не предоставлены сами себе, но совершают его под председательством сведущего лица – судьи, представителя королевского правосудия, образовалась целая громадная литература руководственных правил, под условием коих предлагаются им доказательства спорных фактов, подлежащих их осуждению. С неуклонною строгостью устраняются от них всякие свидетельские показания, обличающие намерение склонить их в ту или другую сторону. К ним обращаются и теперь, как бывало в старину, на народном суде стороны или

представители сторон, но для охранения беспристрастия установлено новое действие, вовсе неизвестное на прежнем народном суде, именно: все исследование заключается самым тщательным изложением фактов, которое произносит искусный и опытный судья, обязанный званием своим к самому строгому беспристрастию. Если он сам впадает притом в ошибку, или в ответе присяжных обличается заблуждением, вся процедура может быть уничтожена высшим судом сведущих людей. Таков настоящий вид суда народного, выработанный целыми столетиями заботливой культуры.

Посмотрим же теперь, каков представляется народный суд в первоначальном виде, как его описывает, конечно, с натуры древнейший греческий поэт. Открывается заседание, предлагается вопрос: виновен или не виновен. Старейшины высказывают по очереди свое мнение, а вокруг стоящее и судящее демократическое собрание заявляет рукоплесканиями свое сочувствие тому или другому мнению, и взрывом рукоплесканий определяется решение. Вот какой характер носило на себе народное правосудие в древних республиках. Производившая суд демократия просто принимала, так сказать, с боя то мнение, которое сильнее на нее действовало в речи тяжущегося, подсудимого и адвоката. И нет ни малейшего сомнения, что когда бы не было строгой регулирующей и сдерживающей власти в лице председателя-судьи, английские присяжные нашего времени слепо потянули бы со своим вердиктом на сторону того или другого адвоката, кто сумел бы на них их подействовать».

Вот что говорит англичанин – глубокий знаток своей истории и глубокий мыслитель. Мысль невольно переносится к несчастному учреждению суда присяжных в тех странах, где нет тех исторических и культурных условий, при коих он образовался в Англии. Очевидно, многие, вводя это учреждение, только «слышали звон, да не знали, где он». Неразумно и легкомысленно было верить приговор о вине подсудимого народному правосудию, не обдумав практических мер и способов, как его поставить в надлежащую дисциплину, и не озабо-

тившись исследовать предварительно чужеземное учреждение в истории его родины и со сложную его обстановкой.

И вот по прошествии долголетнего опыта всюду, где введен с примера Англии суд присяжных, возникают уже вопросы о том, как заменить его для устранения той случайности приговоров, которая из года в год усиливается. Эти вопросы возникают и обостряются и в тех государствах, где есть крепкое судебное сословие, веками воспитанное, прошедшее строго школу науки и практической дисциплины.

Можно себе представить, во что обращается это народное правосудие там, где в юном государстве нет и этой крепкой руководящей силы, но взамен того есть быстро образовавшаяся толпа адвокатов, которым интерес самолюбия и корысти сам собою помогает достигать вскоре значительного развития в искусстве софистики и логомахии, для того чтобы действовать на массу; где действует пестрое, смешанное стадо присяжных, собираемое или случайно, или искусственным подбором из массы, коей недоступны ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу фактов, требующих анализа и логической разборки; наконец, смешанная толпа публики, приходящей на суд, как на зрелище посреди праздной и бедной содержанием жизни; и эта публика в сознании идеалистов должна означать народ. Мудрено ли, что в такой обстановке оказывается тот же печальный результат, на который указывают вышеприведенные слова Чарльза Мэна: «Присяжные слепо тянут со своим вердиктом на сторону того или другого адвоката, кто сумеет на них подействовать».

Печать

I

С тех пор как пало человечество, ложь водворилась в мире в словах людских, в делах, в отношениях и учреждениях. Но никогда еще, кажется, отец лжи не изобретал тако-

го сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время, когда столько слышится отовсюду лживых речей о правде. По мере того как усложняются формы быта общественного, возникают новые лживые отношения и целые учреждения, насквозь пропитанные ложью. На всяком шагу встречаешь великолепное здание, на фронтоне коего написано: «Здесь истина». Входишь и ничего не видишь, кроме лжи. Выходишь, и, когда пытаешься рассказать о лжи, которую душа возмущалась, люди негодуют и велят верить и проповедовать, что это истина, вне всякого сомнения.

Так нам велят верить, что голос журналов и газет или так называемая пресса есть выражение общественного мнения... Увы! Это великая ложь, и пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени.

Кто станет спорить против силы мнения, которое люди имеют о человеке или учреждении? Такова уже натура человеческая, что всякий из нас, что ни говорит, что ни делает, оглядывается, как это кажется и что люди думают. Не было и нет человека, кто бы мог считать себя свободным от действий этой силы.

Эта сила в наше время принимает организованный вид и называется общественным мнением. Органом его и представителем считается печать. И подлинно, значение печати громадное и служит самым характерным признаком нашего времени – более характерным, нежели все изумительные открытия и изобретения в области техники. Нет правительства, нет закона, нет обычая, которые могли бы противостоять разрушительному действию печати в государстве, когда все газетные листы его изо дня в день в течение годов повторяют и распространяют в массе одну и ту же мысль, направленную против того или другого учреждения.

Что же придает печати такую силу? Совсем не интерес новостей, известий и сведений, которыми листки наполняются, но известная тенденция журнала, та политическая или философская мысль, которая выражается в статьях его, в подборе и расположении известий и слухов и в освещении под-

бираемых фактов и слухов. Печать ставит себя в положение судящего наблюдателя ежедневных явлений; она обсуждает не только действия и слова людские, но испытывает даже невысказанные мысли, намерения и предположения, по произволу клеймит их или восхваляет, возбуждает одних, другим угрожает, одних выставляет на позор, других ставит предметом восторга и примером подражания. Во имя общественного мнения она раздает награды одним, другим готовит казнь, подобную средневековому отлучению...

Сам собою возникает вопрос: кто же представители этой страшной власти, именующей себя общественным мнением? Кто дал им право и полномочие во имя целого общества править, ниспровергать существующие учреждения, выставлять новые идеалы нравственного и положительного закона?

Никто не хочет вдуматься в этот совершенно законный вопрос и дознаться в нем до истины, но все кричат о так называемой свободе печати, как о первом и главнейшем основании общественного благоустройства. Кто не вопиет об этом и у нас, в несчастной, оболганной и оболганной чужеземною ложью России? Вопиют в удивительной непоследовательности и так называемые славянофилы, мнящие восстановить и водворить историческую правду учреждений в земле Русской. И они, присоединяясь в этом к хору либералов, совоккупленных с поборниками начал революций, говорят совершенно по-западному: «Общественное мнение, то есть соединенная мысль с чувством и юридическим сознанием всех и каждого, служит окончательным решением в делах общественного быта; итак, всякое стеснение свободы слова не должно быть допускаемо, ибо в стеснении сего выражается насилие меньшинства над всеобщей волею».

Таково ходячее положение новейшего либерализма. Оно принимается на веру многими, и мало кто, вдумываясь в него, примечает, сколько в нем лжи и легкомысленного самообольщения.

Оно противоречит первым началам логики, ибо основано на вполне ложном предположении, будто общественное мнение тождественно с печатью.

Чтоб удостовериться в этой лживости, стоит только представить себе, что такое газета, как она возникает и кто ее делает.

Любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету, хотя бы большую, собрать около себя по первому кличу толпу писак, фельетонистов, готовых разглагольствовать о чем угодно, репортеров, поставляющих безграмотные сплетни и слухи, и штаб у него готов, и он может с завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность. Это особый вид учредительства и грюндерства, и притом самого дешевого свойства. Разумеется, новая газета тогда только приобретает силу, когда пошла в ход на рынке, т[о] е[сть] распространена в публике. Для этого требуются таланты, требуется содержание привлекательное, сочувственное для читателей. Казалось бы, тут есть некоторая гарантия нравственной солидности предприятия: талантливые люди пойдут ли в службу к ничтожному или презренному издателю и редактору? Читатели станут ли брать такую газету, которая не будет верным отголоском общественного мнения? Но это гарантия только мнимая и отвлеченная. Ежедневный опыт показывает, что тот же рынок привлекает за деньги какие угодно таланты, если они есть на рынке, и таланты пишут что угодно редактору. Опыт показывает, что самые ничтожные люди: какой-нибудь бывший ростовщик, жид-фактор³⁰, газетный разносчик, участник банды «червонных валетов», разорившийся содержатель рулетки – могут основать газету, привлечь талантливых сотрудников и пустить свое издание на рынок в качестве органа общественного мнения. Нельзя положиться и на здравый вкус публики. В массе читателей, большею частью праздных, господствуют наряду с некоторыми добрыми жалкие и низкие инстинкты праздного развлечения, и любой издатель может привлечь к себе массу расчетом на удовлетворение именно таких инстинктов, на охоту к скандалам и пряностям

всякого рода. Мы видим у себя ежедневные тому примеры, и в нашей столице недалеко ходить за ними: стоит только приглядеться к спросу и предложению у газетных разносчиков возле людных мест и на станциях железных дорог. Всем известен недостаток серьезности в нашей общественной беседе: в уездном городе, в губернии, в столице известно, чем она пробавляется – картами и сплетней всякого рода и анекдотом во всех возможных его формах. Сама беседа о так называемых вопросах общественных и политических является большею частью в форме пересуда и отрывочной фразы, пересыпаемой тою же сплетней и анекдотом. Вот почва необыкновенно богатая и благодарная для литературного промышленника, а на ней-то рождаются, подобно ядовитым грибам, и эфемерные, и успевшие стать на ноги органы общественной сплетни, нахально выдающие себя за органы общественного мнения. Ту же самую гнусную роль, которую посреди праздной жизни какого-нибудь губернского города играют безымянные письма и пасквили, к сожалению, столь распространенные у нас, ту же самую роль играют в такой газете корреспонденции, присылаемые из разных углов и сочиняемые в редакции. Не говорим уже о массе слухов и известий, сочиняемых невежественными репортерами, не говорим уже о гнусном промысле шантажа, орудием коего нередко становится подобная газета. И она может процветать, может считаться органом общественного мнения и доставлять своему издателю громадную прибыль... И никакое издание, основанное на твердых нравственных началах и рассчитанное на здравые инстинкты массы, не в силах будет состязаться с нею.

Стоит всмотреться в это явление: мы распознаем в нем одно из безобразнейших логических противоречий новейшей культуры, и всего безобразнее является оно именно там, где утвердились начала новейшего либерализма, именно там, где требуется для каждого учреждения санкция выбора, авторитет всенародной воли, где правление сосредоточивается в руках лиц, опирающихся на мнение большинства в собрании представителей народных. От одного только журналиста,

власть которого практически на все простирается, не требуется никакой санкции. Никто не выбирает его и никто не утверждает. Газета становится авторитетом в государстве, и для этого единственного авторитета не требуется никакого признания. Всякий, кто хочет, первый встречный может стать органом этой власти, представителем этого авторитета, и притом вполне безответственным, как никакая иная власть в мире. Это так, без преувеличения: примеры живые налицо. Мало ли было легкомысленных и бессовестных журналистов, по милости коих подготавливались революции, закипало раздражение до ненависти между сословиями и народами, переходившее в опустошительную войну. Иной монарх за действия этого рода потерял бы престол свой; министр подвергся бы позору, уголовному преследованию и суду, но журналист выходит сухим из воды, изо всей заведенной им смуты, изо всякого погрома и общественного бедствия, коего был причиною, выходит с торжеством, улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою разрушительную работу.

Спустимся ниже. Судья, имея право карать нашу честь, лишая нас имущества и свободы, приемлет его от государства и должен продолжительным трудом и испытанием готовиться к своему званию. Он связан строгим законом; всякие ошибки его и увлечения подлежат контролю высшей власти, и приговор его может быть изменен и исправлен. А журналист имеет полнейшую возможность запятнать, опозорить мою честь, затронуть мои имущественные права; может даже стеснить мою свободу, затруднив своими нападками или сделав невозможным для меня пребывание в известном месте. Но эту судейскую власть надо мною сам он себе присвоил: ни от какого высшего авторитета он не принял этого звания, не доказал никаким испытанием, что он к нему приготовлен, ничем не удостоверил личных качеств благонадежности и беспристрастия, в суде своем надо мною не связан никакими формами процесса и не подлежит никакой апелляции в своем приговоре. Правда, защитники печати утверждают, будто она сама излечивает наносимые ею раны, но ведь вся-

кому разумному понятно, что это одно лишь пустое слово. Нападки печати на частное лицо могут причинить ему вред неисправимый. Все возможные опровержения и объяснения не могут дать ему полного удовлетворения. Не всякий из читателей, кому попалась на глаза первая поносительная статья, прочтет другую оправдательную или объяснительную, а при легкомыслии массы читателей позорящее внушение или надругательство оставляют во всяком случае яд в мнении и расположении массы. Судебное преследование за клевету, как известно, дает плохую защиту, и процесс по поводу клеветы служит почти всегда средством не к обличению обидчика, но к новым оскорблениям обиженного; а притом журналист имеет всегда тысячу средств уязвлять и тревожить частное лицо, не давая ему прямых поводов к возбуждению судебного преследования.

Итак, можно ли представить себе деспотизм более насильственный, более безответственный, чем деспотизм печатного слова? И не странно ли, не дико ли и безумно, что о поддержании и охранении именно этого деспотизма хлопочут все более ожесточенные поборники свободы, вопиющие с озлоблением против всякого насилия, против всяких законных ограничений, против всякого стеснительного распоряжения установленной власти? Невольно приходит на мысль вековечное слово об умниках, которые совсем обезумели от того, что возомнили себя мудрыми!

II

В нашем веке распространения изобретений всего удивительнее быстрое распространение газетной литературы, ставшей в короткое время страшно действительной общественной силой. Значение газеты возросло в первый раз после Июльской революции 1830 года, усугубилось еще после революции 1848 года и затем стало возрастать не годами только, но днями. Ныне с этой силой считаются правительства, и стало даже невозможно представить себе не только обще-

ственную, но и частную жизнь без газеты, и прекращение выхода газет, если б возможно было бы представить его себе, было бы однозначно с прекращением всякого действия железных дорог.

Газета, несомненно, служит для человечества важнейшим орудием культуры. Но, признавая все удобства и пользу от распространения массы сведений и от обмена мыслей и мнений путем газеты, нельзя не видеть и того вреда, который происходит для общества от безграничного распространения газеты, нельзя не признать с чувством некоторого страха, что в ежедневной печати скопляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая над человечеством.

Каждый день поутру газета приносит нам кучу разнообразных новостей. В этом множестве многое ли пригодно для жизни нашей и для нашего образовательного развития? Многое ли способно поддерживать в душе нашей священный огонь одушевления на добро? И напротив, сколько здесь такого, что льстит самым низменным нашим склонностям и побуждениям! Могут сказать, что нам дают то, что требуется вкусом читателей, что отвечает на спрос. Но это возражение можно обернуть: спрос был бы не такой, если б не так ретиво было предложение.

Но пускай бы еще предлагались одни новости: нет, они предлагаются в особой форме, окрашенные особым мнением, соединенные с безмянным, но очень решительным суждением. Есть, конечно, серьезные умы, руководящие газетой; таких немного, а газет великое множество, и всякое утро некто, совсем незнаемый мною и, может быть, такой, какого я и знать не хотел бы, навязывает мне свое суждение, выдавая его авторитетно за голос общественного мнения. Но всего важнее то, что эта газета, обращаясь ежедневно даже не к известному кругу людей, но ко всему люду, умеющему лишь разбирать печатное, предлагает каждому готовые суждения обо всем и таким образом мало-помалу силою привычки отучает своих читателей от желания и от всякого старания иметь свое собственное мнение; иной не имеет возможности

сам себе составить его и воспринимает механически мнение своей газеты; иной и мог бы сам рассудить основательно, но ему некогда думать посреди дневной суеты и заботы, и ему удобно, что за него думает газета. Очевидно, какой происходит от этого вред именно в наше время, когда повсюду действуют сильные течения тенденциозной мысли и стремятся уравнивать всякие углы и отличия индивидуального мышления и свести их к единообразному уровню так называемого общественного мнения: в этих условиях газета служит сильнейшим орудием такого уравнивания, ослабляющего всякое самостоятельное развитие мысли, воли и характера. А притом для какого множества людей газета служит почти единственным источником образования, жалкого, мнимого образования, когда масса разных сведений и известий, приносимая газетой, принимается читателем за действительное знание, которым он с самоуверенностью вооружает себя. Вот одна из причин, почему наше время так бедно цельными людьми, характерными деятелями. Новейшая печать похожа на сказочного богатыря, который, написав на челе своем таинственные буквы – символ божественной истины, поражал всех своих противников дотоле, пока не явился бесстрашный боец, который стер с чела его таинственные буквы. На челе нашей печати написаны доселе знамена общественного мнения, действующие неотразимо.

III

В настоящем состоянии общества и при нынешнем его устройстве печать стала учреждением, с которым необходимо считаться, и крепко считаться в ряду других учреждений, связанных государственною властью и подлежащих контролю и ответственности, ибо нет учреждения, которое могло бы считать себя бесконтрольным и безответственным. Но чем дальше разрастается это учреждение печати, тем явственнее становятся наряду с очевидными выгодами разумной и совестливой гласности и те общественные язвы, которые им

порождаются. Одна из этих язв печати состоит в том, что она производит и плодит до безмерности целое сословие журналистов, предпринимателей и писателей, «кормящихся и обогащающихся пером». Самые серьезные деятели серьезной печати не перестают горько жаловаться на умножение числа этих собратий, с которыми стыдно, но приходится считаться в составе одного учреждения. Во всех больших государствах, на всех больших рынках из этого сброда пишущей братии образовалось сословие, которое не напрасно будет назвать паразитами общества.

В самом деле, это люди, стоящие на какой-то особой почве в отношении к благу общественному, которое должно бы связывать и одушевлять все учреждения. Эти люди не заинтересованы прямо в охранении общественного порядка, в умиротворении мятущихся умов и враждующих партий. И естественно. Всякая газета живет и питается ежедневными событиями, новостями всякого рода. Расход ее усиливается именно в смутное время, и тут именно все старание направлено к распространению новостей и слухов, раздражающих и смущающих умы; напротив того, в тихое время расход газеты значительно уменьшается. Лишь только поднимается смута, тотчас появляются на рынке новые газеты, чтобы покормиться ею до тихой поры, когда они сокращаются и исчезают. Но и в тихое время надобно кормиться, а для этого требуется возбудить новое волнение умов, развести новые интересы: изобретаются сенсационные новости, раскрашиваются, преувеличиваются.

Пищею для журналов, претендующих на серьезность, служит политика, и обсуждение политических вопросов, вспеняемых полемикой, происходит ежедневно. Любой журналист готов сразу рассуждать о каком угодно политическом вопросе, но по своему положению обязан рассудить и решить его немедленно, сейчас, ибо он должен быть борзописцем, слугою не мысли, не разума, но настоящего дня. Едва вскочила в голову мысль его, как она уже летит на бумагу, на печатный станок: некогда ждать, некогда дать созреть зародившейся мысли. Спросите этих людей, стыдно ли им? Нисколько.

Они разве посмеются в глаза на такой вопрос, они убеждены, что совершают великое служение общественное. Разве, кои поумнее, те между собою, подобно древним авгурам³¹, сами подсмеиваются над собой и над публикой.

Притом журнальный писатель, для того чтобы его услышали, чтобы обратили на него внимание, должен всячески напирать свой голос; если можно, кричать. Этого требует ремесло его: преувеличение, способное переходить в пафос, становится для него второю натурой. Вот почему, пускаясь в полемику с противным мнением, он готов назвать своего противника дураком, подлецом, невеждою, взвалить на него всевозможные пороки, это ничего ему не стоит, это требуется журнальною акустикой. Это искусство крика, подобного крику торговца на рынке, когда он заманивает покупателя.

Вот какие привычки и качества развивает, к несчастию, печать в своих деятелях. И все это было бы смешно, когда бы не было так вредно. Вредно потому, что печать стала ныне ареною, на которой не только обсуждаются, но и решаются важнейшие вопросы и внутренней, и внешней политики государства, вопросы экономии и администрации, связанные с самыми жизненными национальными интересами. Для всего этого мало одного задора; нужна мудрая рассудительность, зрелость мысли, нужен здравый смысл, нужно знание своей истории и своего народа, знание практической жизни. А между тем ныне в Европе дошло уже до того, что из рядов журнальных ораторов выходят ораторы государственные и составляют в парламентах преобладающую силу вместе с адвокатами, кои разделяют с ними искусство орудовать словом во всякую сторону. Так, ныне во французской камере³² лишь 22 представителя крупной и 50 мелкой поземельной собственности, но вся говорильная сила у журналистов, коих 59, и у адвокатов, коих 107.

И эти люди считаются представителями страны своей и судьями народной жизни и ее потребностей. И народ стонет от законодательного смешения голосов, правящего судьбами государства, но не может от него освободиться.

Народное просвещение

Когда рассуждение отделилось от жизни, оно становится искусственным, формальным и вследствие того – мертвым. К предмету подходят и вопросы решаются с точки зрения общих положений и начал, на веру принятых: скользят по поверхности, не углубляясь внутрь предмета и не всматриваясь в явления действительной жизни, даже отказываясь всматриваться в них. Таких общих начал и положений расплодилось у нас множество, особенно с конца прошлого столетия они заполнили нашу жизнь, совсем отрешили от жизни наше законодательство и саму науку ставят нередко в противоположность с жизнью и ее явлениями. Вслед за доктринерами науки, доходящими до фанатизма в своем доктринерстве, и за школьными адептами натвержденных учений идет стадным обычаем толпа интеллигенции. Общие положения приобретают значение непререкаемой аксиомы, борьба с которою становится крайне тягостна, иногда совсем невозможна. Трудно исчислить и взвесить, сколько ломки произвели эти аксиомы в законодательстве, как опутали они по рукам и ногам живой организм народного быта искусственными, силою навязанными формами! Впереди этого движения пошла Франция: она ввела в моду нивелировку быта народного посредством общих начал, выведенных из отвлеченной теории. За нею потянулись все, даже государства, соединяющие в себе бесконечное разнообразие условий быта, племенного состава, пространства и климата. Сколько пострадало от того и наше отечество – не перечесть.

Вот, например, слова, натвержденные до пресыщения у нас и повсюду: даровое обучение, обязательное обучение, ограничение работы малолетних обязательным школьным возрастом... Нет спора, что ученье – свет, а неученье – тьма; но в применении этого правила необходимо знать меру и руководствоваться здравым смыслом, а главное, не насиловать ту самую свободу, о которой столько твердят и которую так

решительно нарушают наши законодатели. Повторяя на все лады пошлое изречение, что школьный учитель победил под Садовою, мы разводим по казенному лекалу школу и школьного учителя, пригибая под него потребности быта детей и родителей, и саму природу, и климат. Мы знать не хотим, что школа (как показывает опыт) становится одной обманчивой формой, если не вросла самыми корнями своими в народ, не соответствует его потребностям, не сходится с экономией его быта. Только та школа прочна в народе, которая любя ему, которой просветительное значение видит он и ощущает; напротива ему та школа, в которую пихают его насильем, под угрозой еще наказания, устраивая саму школу не по народному вкусу и потребности, а по фантазии доктринеров школ. Тогда дело становится механически: школа уподобляется канцелярии со всей тяготою канцелярского производства. Законодатель доволен, когда заведено и расположено по намеченным пунктам известное число однообразных помещений с надписью: школа. И на эти заведения собираются деньги, и уже грозят загонять в них под страхом штрафа; и учреждаются с великими издержками наблюдатели за тем, чтобы родители, и бедные, и рабочие люди, высылали детей своих в школу со школьного возраста... Но, кажется, все государства далеко перешли уже черту, за которой школьное ученье показывает в народном быте обратную свою сторону. Школа формальная уже развивается всюду на счет той действительной, воспитательной школы, которой должна служить для каждого сама жизнь в обстановке семейного, профессионального и общественного быта.

Сколько наделало вреда смешение понятия о знании с понятием об умении! Увлечшись мечтательной задачей всеобщего просвещения, мы назвали просвещением известную сумму знаний, предположив, что она приобретается прохождением школьной программы, искусственно скомпонованной кабинетными педагогами. Устроив таким образом школу, мы отрезали ее от жизни и задумали насильственно загонять в нее детей для того, чтобы подвергать их процессу умственного развития по нашей программе. Но мы забыли или не хоте-

ли сознать, что масса детей, которых мы просвещаем, должна жить насущным хлебом, для приобретения коего требуется не сумма голых знаний, которыми программы наши напичканы, а умение делать известное дело, и что от этого умения мы можем отбить их искусственно на воображаемом знании, построенном школой. Таковы и бывают последствия школы, мудро устроенной, и вот причина, почему народ не любит такой школы, не видя в ней толку.

Понятие «народное» о школе есть истинное понятие, но, к несчастью, его перемудрили повсюду в устройстве новой школы. По народному понятию, школа учит читать, писать и считать, но в нераздельной связи с этим учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей. Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые в совокупности своей образуют в человеке совесть и дают ему нравственную силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать борьбу с дурными побуждениями природы, с дурными внушениями и соблазнами мысли.

Плохо дело, когда школа отрывает ребенка от среды его, в которой он привыкает к делу своего звания, упражнением с юных лет и примером приобретая бессознательно искусство и вкус в работе. Кто готовится быть кандидатом или магистром, тому необходимо начинать учение в известный срок и проходить последовательно известный ряд наук, но масса детей готовится к труду ручному и ремесленному. Для такого труда необходимо приготовление физическое с раннего возраста. Закрывать путь к этому приготовлению, чтобы не потерять времени для школьных целей, значит затруднять способы к жизни массе людей, бьющихся в жизни из-за насущного хлеба, и стеснять посреди семьи естественное развитие экономических сил ее, составляющих в совокупности капитал общественного благосостояния. Моряк воспитывается для морского дела, с детства вырастая на воде; рудокоп привыкает к своему делу и приучает к нему свои легкие не иначе, как опускаясь с юных лет в подземные мины. Тем более земледелец привыкает к своему труду и получает любовь

к нему, когда с детства живет, не отрываясь от природы, возле домашней скотины, возле сохи и плуга, возле поля и луга.

А мы все препираемся о курсе для народной школы, о курсе обязательном, с которым будто бы соединяется полное развитие. Иной хочет вместиť в него энциклопедию знаний под диким названием «Родиноведение»; иной настаивает на необходимости поселянину знать физику, химию, сельское хозяйство, медицину; иной требует энциклопедию политических наук и правоведение... Но мало кто думает, что, отрывая детей от домашнего очага на школьную скамью с такими мудренными целями, мы лишаем родителей и семью рабочей силы, которая необходима для поддержания домашнего хозяйства, а детей развращаем, наводя на них мираж мнимого или фальшивого и отрешенного от жизни знания, подвергая их соблазну мелькающих перед глазами образов суеты и тщеславия.

II

Новейшая школа народных просветителей предлагает одно средство, один рецепт для блага человечества: войну с предрассудками и невежеством массы народной. Все бедствия человечества, по мнению писателей этой школы, происходили оттого, что в массе народной держались слишком упорно в течение веков некоторые безотчетные ощущения и мнения, которые необходимо во что бы то ни стало разрушить, вырвать с корнем. К таким вредным ощущениям и мнениям они относят все, чего нельзя доказать, что не оправдывается логикой. Когда бы, так рассуждают эти философы, все люди могли привести в движение свою умственную силу, развить свое мышление и им руководствовались бы вместо того, чтобы думать, чувствовать и жить по мнениям, принятым на веру, тогда начался бы золотой век для человечества. В одно поколение человечество подвинулось бы так, как доньше не подвигалось и в течение нескольких столетий. Когда бы хоть на один градус поднялся уровень мыслительной силы в массе, от этого произошли бы последствия неисчислимые. У всех почти есть какой-нибудь

один силлогизм, который слагается в голове по непосредственному впечатлению с первых лет юности. Если бы к этому запасу прибавился у всех еще другой силлогизм, и мысль у каждого стала бы способна связать оба в одну цепь мышления, от этого одного изменился бы вид вселенной, преобразовалась бы судьба всего человечества. Вот цель, к которой хотят вести нас, вот задача просвещения и прогресса, которую ставят новые философы XIX столетия.

Кажется, как спорить против этого? А между тем у предлагаемой задачи есть и другая сторона, обратная и темная, которую обыкновенно упускают из виду.

Есть в человечестве натуральная, земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории, и сила эта столь необходима, что без нее поступательное движение вперед становится невозможным. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, безусловно, необходима для благосостояния общества. Разрушить ее – значило бы лишить общество той устойчивости, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы – вот в чем главный порок новейшего прогресса.

Что такое предрассудок? Предрассудок, говорят, есть мнение, не имеющее разумного основания, не допускающее логической аргументации; все такие мнения предполагается искоренить; каким способом? – возбудив в каждом человеке мыслительную деятельность и поставить мнение у каждого человека в зависимость от логического вывода. Прекрасно, но прекрасно лишь в отвлеченной теории. В действительной жизни мы видим, что в большей части случаев невозможно довериться действию одной способности логического мышления в человеке; что во всяком деле жизни действительной мы более полагаемся на человека, который держится упорно и безотчетно мнений, непосредственно принятых и удовлетворяющих инстинктам и потребностям природы, нежели на того, кто способен изменять свои мнения по выводам своей

логики, которые в данную минуту представляются ему неоспоримым гласом разума. В таком расположении человеку легко сделаться послушным рабом всякого рассуждения, на которое он не умеет в данную минуту ответить, сдаваться безусловно со всем своим мировоззрением на всякий новый прием логической аргументации по какому угодно предмету. Он становится беззащитен против всякой теории, против всякого вывода, если не обладает сам таким арсеналом логического оружия, каким располагает в данную минуту противник его. Стоит только признать силлогизм высшим, безусловным мериллом истины, и жизнь действительная попадет в рабство к отвлеченной формуле рассудочного мышления, ум со здравым смыслом должен будет покориться пустоте и глупости, владеющей орудием формулы, и искусство, испытанное жизнью, должно будет смолкнуть перед рассуждением первого попавшегося юноши, знакомого с азбукой формального рассуждения. Можно себе представить, что случилось бы с массой, если бы удалось, наконец, нашим реформаторам привить к массе веру в безусловное, руководительное значение логической формулы мышления. В массе исчезло бы то драгоценное свойство устойчивости, с помощью которого общество успевало до сих пор держаться на твердом основании.

Притом справедливо ли признать, что упорство в мнении, на веру принятом, состоит необходимо и всегда в противоречии с логикой, что так называемый предрассудок означает всегда тупость или недеятельность мышления? Нет, несправедливо. Если человек склонен сдаться со своим мнением и верованием на доказательную аргументацию логики, это совсем еще не означает, что он логичнее, последовательнее того, кто, не уступая аргументации, упорно держится в своем мнении. Напротив того, приверженность простого человека к принятому на веру мнению происходит, хотя большею частью и бессознательно для него самого, от инстинктивного, но в высшей степени логического побуждения. Простой человек инстинктивно чувствует, что с переменою одного мнения об одном предмете, которую хотят произвести в нем посред-

ством неотразимой, по-видимому, аргументации, соединяется перемена в целой цепи воззрений его на мир и на жизнь, в которых он не отдает себе отчета, но которые неразрывно связаны со всем его мышлением и бытом и составляют духовную жизнь его. Эту-то цель и стремится разорвать по звеньям лукавая диалектика современных просветителей и, к несчастью, легко иногда успевают. Но простой человек со здравым смыслом чувствует, что, уступив беззащитно в одном первом нападению логической аргументации, он поступился бы всем, а целым миром своего духовного представления он не может поступиться из-за того только, что не в состоянии логически опровергнуть аргументацию, направленную против одного из фактов этого мира. Напрасно лукавый совопросник стал бы стыдить такого простого человека и уличать его в глупости: в этом простой человек совсем не глуп, а разумнее своего противника, он не умеет еще осмыслить во всей совокупности явления и факты своего духовного мира и не предполагает диалектическим искусством своего противника, но, упираясь на своем, тем самым показывает, что дорожит своим мнением, бережет его и ценит истину убеждения не в форме рассудочного выражения, а во всей ее целостности.

А так хотят нынче просвещать простого человека! Про все подобные приемы просвещения можно сказать, что они от лукавого. Ночью, когда люди спят или впросонках бесильны, приходит лукавый и потихоньку под видом доброго и благонамеренного человека сеет свои плевелы. И совсем не нужно для этого быть ни умным, ни ученым человеком, нужно быть только лукавым. Требуется ли много ума, например, чтобы подойти в удобную минуту к простому человеку и пустить в него смуту: «Что ты молишься своему Николе? Разве видал когда-нибудь, чтобы Никола помогал тому, кто ему молится?» Или подольститься к девушке в простой семье такую речью: «Кто тебе докажет, что доля твоя – всегда зависеть от других и быть рабою мужчины? Разум говорит тебе, что ты равна ему во всем и на все решительно одинаково с ним имеешь право». Или прокрасться между родителями и

юношею-сыном с такою речью: «По какой логике обязан ты повиноваться родителям? Кто тебе велел уважать их, когда они, по твоему разумению, того не стоят? Что, как не случайное явление природы связь твоя с ними, и разве ты не свободный человек, прежде всего равный всем и каждому?» С такими речами и множеством подобных бродит уже лукавый между простыми и малыми в близких и дальних местах земли нашей, отбивает от стада овец и велит звать себя учителем, уводит и выгоняет в пустыню...

Герберт Спенсер³³ о народном воспитании³⁴

The Study of Sociology. XV

Правильное законодательство не должно отступать от психологической истины. Не подлежит сомнению следующая истина, которую так часто упускают из виду. Действия человеческие зависят непосредственно от ощущения, а не от ведения. Ведение само по себе не производит действия. Когда я нечаянно накальваюсь на булавку или попадаю пальцем в кипяток, я невольно вздрагиваю. От сильного ощущения происходит движение непосредственно, безо всякой мысли. Напротив того, одно сознание, что булавка колет, что кипяток обжигает, не производит во мне никакого движения. Без сомнения, если с этим сознанием соединяется мысль о близкой опасности от булавки или от кипятка, то возникает более или менее решительное побуждение отпрянуть. Но к этому побуждает меня воображаемая боль. Голое сознание, что от укола или от ожога бывает боль, не производит действия; действие начинается с той минуты, когда боль, словесно утверждаемая или идеально сознаваемая, становится действительно сознаваемою или угрожающею болью, когда в сознании возникает живое представление боли, как смутный образ боли, уже испытанной прежде. Стало быть, при-

чиною действия в этом случае, равно как и в других, служит не ведение, а ощущение. То же самое, что видно в этом простом действии, оказывается и в действиях самых сложных. Двигателем деятельности служит не ведение само по себе, но не иначе как в соединении с возбуждающим его ощущением. Пьяница очень хорошо знает, что после сегодняшнего распутства завтра утром явится головная боль с тяжестью, но сознание этой истины не устрашает его, пока не возникнет в нем живое представление угрожающей ему тягости, покуда ощущение, противодействующее пьяной похоти, не достигает такой силы, которая могла бы уравновесить эту похоть. То же вообще следует применить ко всякой беспечности. Когда угрожающее зло явственно представляется воображению и угрожающее страдание вполне ощутительно в духе, тогда налагается действительная узда на стремление к немедленному удовлетворению настоящего желания; но когда нет явственного сознания об угрожающем страдании, настоящее желание не встречает достаточного себе противодействия. Умственно сознается вполне та истина, что беспечность приводит к бедственному положению, к лишениям; но сознание остается без действия, покуда бедствие не представляется в воображении живой картиной. На берегу стоит толпа народу. В воду опрокинулась лодка, человек тонет. Все видят ясно, как дважды два – четыре, что он утонет, если не подадут помощи. Все знают, что его можно спасти, если какой-нибудь пловец бросится в воду и поплывет к нему. Всем натверждено от рождения, что на каждом лежит долг помочь ближнему в опасности; все сознают, что рискнуть собою для того, чтобы спасти человека от смерти, – дело честное и славное. Многие умеют и плавать, но отчего же никто не бросается в воду, а все только зовут: помогите! Или кричат советы утопающему? Но вот выходит один, сбрасывает верхнее платье, бросается и плывет на помощь. Этот один чем отличается от остальных? Неужели ведением? Нисколько. Сознание у него то же самое, что и у всех; и он так же, как все, знает, что жизнь человека в опасности, знает, как можно помочь ему. Но у него вместе

с этим сознанием возбуждаются некоторые соотносительные ощущения, и возбуждаются сильнее, чем у других. Во всех возбуждается по несколько соотносительных ощущений, но у других преобладают отвращающие ощущения страха и т[ому] п[одобное], а у него избыток ощущения произведен сочувствием в совокупности, может быть, с другими ощущениями низшего разряда. В том и в другом случае действие определилось не ведением, а ощущением. Чем же, стало быть, можно произвести перемену в бездейственном отношении зрителей к бедственному событию? Очевидно, не уяснением в них ведения, а усилением в них высших ощущений.

Вот, по-видимому, основная психологическая истина, с которой должна бы сообразоваться всякая разумная система человеческой дисциплины. Не явно ли, что когда законодатель оставляет без внимания эту истину, но держится противоположного с нею представления, он неизбежно впадает в ошибку. А нынешнее законодательство по большей части так и поступает; обманываясь заодно с общественным мнением, оно с горячностью стремится к принятию мер, основанных на том предположении, что человеческая деятельность определяется не ощущением, но ведением.

Разве не это самое предположение лежит в основе всех мер, с такою настоятельностью вводимых для организации школьного обучения? И у той, и у другой из обеих партий, преобладающих по этому вопросу, основное понятие – одно и то же, что для улучшения нравов и деятельности единственным средством служит распространение знания. Все обольщены разными обманчивыми статистическими цифрами и упорно стоят на том, что от государственного школьного воспитания прямо зависит сокращение преступлений и улучшение общественной нравственности. Все находят в газетах сравнительные выводы о числе неграмотных преступников с числом грамотных, видят, что первое гораздо больше последнего числа, и заключают отсюда без рассуждений, что источник преступлений – невежество. Им не приходит в голову, что из статистики можно прибрать какие угодно цифры и доказывать ими

точно с такою же достоверностью, что число преступлений зависит, например, от того, сколько раз в день люди моются, часто ли переменяют белье, какова у них в квартире вентиляция, есть ли у них особая спальня и т[ому] п[одобное]. Стоит сходить в тюрьму и справиться, сколько преступников из таких, которые имели привычку брать по утрам ванну, мыться по столько-то раз в день, – тотчас явится представление о том, что преступное расположение состоит в связи с состоянием кожи, в грязи или в опрятности. Считите всех тех, у кого было больше одной пары платья, и сравнение чисел сейчас покажет вам, что под привычку переменять платье подходит очень небольшой процент преступников. Справьтесь, где они жили: на больших улицах или в закоулках, и вы увидите, что городские преступления без малого все исходят из углов и подвалов. Точно так же фанатический член общества воздержания, поборник санитарных мер всякого рода найдет в статистических цифрах сколько угодно сильных доказательств своей доктрине. Но кто не принимает на веру предлагаемое ему положение принятой доктрины, что невежество – причина, а преступление – следствие и захочет удостовериться, нет ли разных других причин, от которых в равной мере зависит преступность, тот увидит ясно, что преступление в действительности зависит от нашего образа жизни, соединенного большею частью с низшими свойствами прирожденного естества. Тогда необходимо будет признать, что невежество есть лишь одно из многих и разнообразных обстоятельств, коими обыкновенно сопровождается преступление.

Казалось бы, как можно отвергать эту критическую поверку существующего мнения и вывод, из нее следующий. Но существующее мнение знать не хочет этого вывода и отвергает его упорно, до того въелось в умы принятое понятие. Его может изменить и обогатить в умах только действительность, когда она покажет, какие вышли последствия. Когда волна принятого мнения достигла известной высоты, ее не отразишь никаким убеждением, никакою очевидностью; надо, чтобы она истощила свою силу в постепенном течении дел челове-

ских: лишь с этой поры, не прежде, возникает поворот в мнении. Это верно. Иначе было бы совершенно непонятно, как эта уверенность в целительной силе школьного обучения, в которую люди вдалились, наслушавшись без рассуждения всего, что им каждый день толкуют политические доктринеры, как эта уверенность могла устоять перед очевидными свидетельствами ежедневного житейского опыта. Любая мать, любая гувернантка приходит каждый день в смущение оттого, что речи ее не действуют, она твердит беспрестанно о том, что хорошо, что дурно. Отовсюду слышатся постоянные жалобы, что убеждение, толкование, разъяснение очевидных последствий не оказывает на некоторые натуры ровно никакого действия; что если оно действует на иные натуры, то лишь благодаря восприимчивости ощущения; а где оно, быв сначала бесплодно, начинает оказывать действие, там причиною сказывается не столько уяснение понятия, сколько изменение в ощущении. В каждом хозяйстве услышите, что всевозможные замечания не производят действия на прислугу; сколько им ни толкуй, они упорно держатся старых своих привычек, хотя бы самых нелепых; исправить прислугу возможно не наставлениями, а страхом штрафов и взысканий, т[о] е[сть] возбуждением ощущения. Обратимся в сферу совсем иных отношений – увидим то же самое. Злостные банкроты, учредители дутых кампаний, производители поддельного товара, фабриканты, пользующиеся чужими марками, торговцы с фальшивыми весами, страхователи поддельного имущества, охотники, надувающие друг друга, игроки, ведущие большую игру, – разве все это невоспитанные люди? Возьмем крайние случаи: все известные на нашей памяти отравители принадлежат большей частью к образованному классу.

Вера в безусловное нравственное действие умственного образования, опровергаемая фактами, есть не иное что, как предвзятое положение (*a priori*), натянутое до нелепости. Человек научился, что тот или другой знак, на бумаге поставленный, означает то или другое слово; какую связь можно себе представить между этим знанием и высшим сознани-

ем долга? Умение означать на бумаге знаками слова и звуки неужели имеет силу утвердить в человеке волю, направленную к добру и правде? Неужели таблица умножения, умение слагать и вычитать усиливает в человеке силу сочувствия и удерживает его от обиды ближнему? Чувство правды разве усиливается в чем-нибудь от грамотности или от знания географии, хотя бы самого подробного? Доказывать, что одно происходит от другого – не все ли равно, что утверждать, будто ноги укрепляются от упражнения пальцев на руках, что кто выучился по-латыни, тот узнает геометрию, и т[ому] п[одобное]? Неужели менее неразумно утверждать, что дисциплина умственных способностей сама по себе ведет к настроению в человеке ощущений на благо и на правду?

Вера во всемогущество школы, в книжные уроки и чтения принадлежит к числу главных суеверий нашего времени. Книге, даже как орудию умственного образования, придается слишком много значения. Знание непосредственное, из первых рук, важнее знания из вторых рук; последнее должно служить только заменой первого, где первое невозможно; а у нас последнему отдается предпочтение перед первым. Дело ставится так, что все воспринимаемое из печатной страницы входит в курс воспитания, а то, что заимствуется из непосредственного наблюдения в жизни и в природе, допускается в этот курс с трудом.

Читать – значит видеть чужими глазами, значит учиться посредством чужих способностей вместо того, чтобы учиться непосредственно, с помощью своей способности; но существующий предрассудок вошел в такую силу, что непрямой способ учения предпочитается прямому способу и величается образованием. Нам смешно слышать, что дикие считают письмо волшебной грамотой; нас забавляет история того негра, который, неся корзинку с фруктами при письме, съел фрукты и спрятал под камень письмо, чтоб оно не донесло на него. Но не далеко от этого анекдота заблуждение, которое таится в ходячих понятиях об обучении посредством печати; идеям, приобретаемым посредством искусственного орудия, приписыва-

ется какая-то магическая сила в сравнении с идеями, иным путем приобретаемыми. Это заблуждение действует очень вредно даже на умственное образование, но оно еще пагубнее действует на образование нравственное, возбуждая предположение, будто и нравственного образования можно достигнуть чтением и повторением уроков.

Итак, повторяю, действия человеческие определяются не ведением, а чувством. Отсюда таков должен быть заключительный вывод: склонность к тем или другим действиям укрепляется только опытом, т[о] е[сть] часто повторяемым переходом от чувства к действию. Когда две идеи часто повторяются в известном порядке, они, наконец, в этом порядке между собой связываются: механические движения мускулов в известной комбинации сначала очень затруднительны, но по мере упражнения становятся легки и, наконец, совершаются бессознательно; точно так же с повторением действий, возбуждаемых теми или другими ощущениями, известный образ действий становится у человека естественным, не требующим особых усилий. Нравственная привычка образуется не посредством наставления, хотя бы оно каждый день повторялось, даже не посредством примера (если пример не возбуждает к подражанию), но лишь посредством действия, повторительно возбуждаемого соответственным чувством. Вот истина, очевидная из психологии и оправдываемая опытом ежедневной жизни; тем не менее истина эта отрицается фанатиками ходячей теории образования.

Едва ли кто станет сознательно утверждать, что умственное знание важнее для человека, нежели образование характера. Всякому приходилось в жизни делать замечание, что работник, хотя и неграмотный, но трезвый, честный и прилежный к делу, несравненно более имеет цены и для себя, и для других, нежели обученный и знающий, но неисправный, беспорядочный, пьяный, не думающий о семье. В высших классах мот и игрок, как бы ни был образован и умственно развит, не стоит человека, который, хотя и не проходил патентованного курса, делает добросовестно свое дело и сам устраивает детей своих, не оставляя их в бедности на попечение родным. Стало быть,

если взять дело, как оно есть в действительности, надо будет всем согласиться, что для благосостояния общественного характер несравненно важнее многого знания. Против этого не спорят, а вывод, который отсюда следует, не принимают. Не ставят и вопрос о том, как отразится на характере все искусственные средства, употребляемые для распространения знания. Изю всех целей, которые может иметь в виду законодатель, самая первая, самая важная – образование характеров в народе и утверждение сознания личной ответственности каждого; а эта именно цель и оставляется без внимания.

Размыслим, что вся будущность нации зависит от свойства единиц, из коих нация составлена; что эти свойства неизбежно подвергаются изменению сообразно условиям, в которые поставлены; что ощущения, возбуждаемые этими условиями, неизбежно должны усиливаться, а ощущения, которых условия эти не вызывают, должны ослабевать и гложуть. Тогда убедимся в том, что улучшения общественной нравственности можно достигнуть не повторением правил и наставлений, и еще менее того – одной заботой о распространении умственного образования, а ежедневным упражнением высших ощущений духа и борьбою с низшими ощущениями. Способ к этому один: содержать людей в строгом подчинении порядку общественной жизни, чтобы всякое его нарушение неизбежно отзывалось злом, а соблюдение его – благом для всякого человека. В этом, и только в этом одном, состоит национальное воспитание.

Закон

Сколько стародавних понятий помрачилось и запуталось в наше время! Сколько стародавних имен, изменивших или на глазах у нас изменяющих свое значение!

Изменяется, и не к добру изменяется понятие о законе. Закон, с одной стороны, – правило, с другой стороны – заповедь, и на этом понятии о заповеди утверждается нрав-

ственное сознание о законе. Основным типом закона остается десятисловие: «Чти отца твоего... не убий... не укради... не завидуй». Независимо от того, что зовется на новом языке санкцией, независимо от кары за нарушение, заповедь имеет ту силу, что она будит совесть в человеке, полагая свыше властное разделение между светом и тьмою, между правдою и неправдою. И вот где, а не в материальной каре за нарушение основная, непререкаемая санкция закона в том, что нарушение заповеди немедленно обличается в душе у нарушителя его совестью. Кары материальной можно избежать, кара материальная может пасть иногда без меры или свыше меры на невинного, по несовершенству человеческого правосудия, а от этой внутренней кары никто не избавлен.

Об этом высоком и глубоком значении закона совсем забывается новое учение и новая политика законодательства. На виду поставлено одно лишь значение закона как правила для внешней деятельности, как механического уравнивателя всех разнообразных отправлений человеческой деятельности в юридическом отношении. Все внимание обращено на анализ и на технику в созидании законных правил. Бесспорно, что техника и анализ имеют в этом деле великое значение, но, совершенствуя то и другое, разумно ли забывать основное значение законного правила. А оно не только забыто, но доходит уже до отрицания его.

И вот мы громоздим без числа и без меры необъятное здание законодательства, упражняемся непрестанно в изобретении правил, форм и формул всякого рода. Строим все это во имя свободы и прав человечества, а до того уже дошло, что человеку двинуться некуда от сплетения всех этих правил и форм, отовсюду связывающих, отовсюду угрожающих во имя гарантий свободы. Пытаемся все определить, все вымерить и взвесить человеческими, следовательно, увы, неполными, несовершенными и часто обманчивыми формулами. Хотим освободить лицо, повсюду расставляем ему ловушки, в которые чаще попадается правый, а не виноватый. Посреди бесконечного множества постановлений и правил, в коем путается

мысль и составителей, и исполнителей, известная фикция, что неведением закона никто отговариваться не может, получает чудовищное значение. Простому человеку становится уже невозможно ни знать закон, ни просить о защите своего права, ни обороняться от нападения и обвинения: он попадает роковым образом в руки стряпчих, присяжных механиков при машинном правосудии, и должен оплачивать каждый шаг свой, каждое движение своего дела на арене суда и расправы... А между тем громадная сеть закона продолжает плестись и сплетается в паутину, сжимая и совершенствуя свои клеточки. Недаром еще в XVI столетии знаменитый Бэкон применял к этой сети древнее пророческое слово: «Сети спадут на них, говорит пророк, и нет сетей гибельнее, чем сети законов: когда число их умножилось, и течение времени сделало их бесполезными, закон уже перестает быть светильником, освещающим путь наш, но становится сетью, в которой путаются наши ноги».

С XVI столетия в отечестве Бэкона эта сеть, которая в то время уже казалась ему невозможной, продолжала сплетаться ежедневно и достигла чудовищных размеров. Масса парламентских актов, постановлений, решений представляет нечто хаотически громадное и хаотически нестройное. Нет ума, который мог бы разобраться в ней и привести ее в порядок, отделив случайное от постоянного, потерявшее силу – от действующего, существенное – от несущественного. Масса законов как будто сложена вся в громадный амбар, в котором по мере надобности выискивают, что угодно, люди, привыкшие входить в него и в нем разбираться. На таком состоянии закона опирается, однако, правосудие, опирается вся деятельность общественных и государственных учреждений. Если понятие о праве не заглохло в сознании народном, это объясняется единственно силою предания, обычая, знания и искусства править и судить, преемственно сохраняемого в действии старинных, веками существующих властей и учреждений. Стало быть, кроме закона, хотя и в связи с ним, существует разумная сила и разумная воля, которая действует властно в применении закона и которой все сознательно повинуются. Итак, когда говорится

об уважении к закону в Англии, слово «закон» ничего еще не изъясняет: сила закона (коего люди не знают) поддерживается, в сущности, уважением к власти, которая орудует законом, и доверием к разуму ее, искусству и знанию. В Англии не пренебрежено, но строго сохраняется главное, необходимое условие для поддержания законного порядка: определительность поставленных для того властей и принадлежащего каждой из них круга, так что ни одна из них не может сомневаться в твердости и колебаться в сознании пределов своего государственного полномочия. На этом основании власть орудует не одною буквою закона, рабски подчиняясь ей в страхе ответственности, но орудует законом в цельном и разумном его значении как нравственной силой, исходящей от государства.

А где этой существенной силы нет, где нет древних учреждений, из рода в род служащих хранилищем разума и искусства в применении закона, там умножение и усложнение законов производит подлинно лабиринт, в коем запутываются дороги всех подзаконных людей, и нет выхода из сети, которая на них наброшена. Законы становятся сетью не только для граждан, но, что всего важнее, для самих властей, призванных к применению закона, стесняя для них множеством ограничительных и противоречивых предписаний ту свободу рассуждения и решения, которая необходима для разумного действия власти. Когда открывается зло и насилие, когда предстоит защитить обиженного, водворить порядок и воздать каждому должное, необходимо властное действие воли, направляемое стремлением к правде и к благу общественному. Но если при том лицо, обязанное действовать, на всяком шагу встречается в самом законе с ограничительными предписаниями и искусственными формулами, если на всяком шагу грозит ему опасность перейти ту или другую черту, из множества намеченных в законе, если притом пределы властей и ведомств, соприкасающихся в своем действии, перепутаны в самом законе множеством дробных определений, тогда всякая власть теряется в недоумениях, обессиливается тем самым, что должно бы вооружить ее силою, т[о] е[сть] законом, и подавляется

страхом ответственности в такую минуту, когда не страху, а сознанию долга и права своего надлежало бы служить единственным побуждением и руководством. Нравственное значение закона ослабляется и утрачивается в массе законных статей и определений, нагромождаемых в непрерывной деятельности законодательной машины, и напоследок сам закон в сознании народном получает значение какой-то внешней силы, неведомо зачем ниспадающей и отовсюду связующей и стесняющей отправления народной жизни...

Тем опаснее становится для общества непомерное умножение законов, что способ приготовления и обсуждения их совершенно извращен в последнее время началами новейшей демократии. Все совершение закона становится делом партии, и сам закон является орудием партии. Много требуется разумного, внимательного труда над приготовлением закона в большом, особенно в разноплеменном государстве: для того чтобы закон вышел действенный, нужно, чтобы он отвечал действительной потребности народной в той области, к которой относится, чтобы в нем было полное соответствие с экономией быта и с правдою души народной. Возможно ли соблюдение всех этих условий там, где обсуждение закона превращается лишь в состязание партий, в борьбу отвлеченных начал и где все решается не разумною оценкою мнений, а лишь механическим счетом голосов многолюдного собрания. Решает большинство, искусственно составленное подбором, двигателями которого у одних служат равнодушие или стадное побуждение, у других – страсть или фанатизм доктрины, у иных – интерес личный. Итак, в основании решения – одна формула или условная фикция, в которой ничему реальному, разумному, устойчивому нет места.

Вторая половина минувшего столетия была всюду эпохою преобразований, которые во многих местах соединялись с революционным движением или с преобладанием доктринерства в деятелях преобразования. Вследствие того во многих местах преобразовательное движение отразилось смещением понятий в умах и ослаблением умственной и нравственной

энергии в обществе. В преданиях и в обычаях народа таится глубокий смысл, отражающийся во всем движении явлений и событий прежней его истории. С разрушением этих обычаев и преданий разбивается и коренное единство духа народного, и единство власти, служащей его выразителем. Каждый гражданин является представителем личного своего вкуса и личных стремлений: одни – приверженцы форм старого порядка, уже утративших свое значение; другие – поклонники всякого рода теорий и химерических мечтаний об устройстве общественном. В этом смешении мнений и стремлений для установления какого-нибудь порядка берутся за законодательство, составляют новые кодексы, пишут новые законы. Так, повсюду обычай, сила живая, свободная и способная к самостоятельному развитию, заменяется буквою писаного закона – силы, в сущности бездушной, отрицательной, карательной и стесняющей частную деятельность.

И эта буква законов, горою накапливающихся над народом, становится во имя свободы орудием той или другой партии, в интересе того или другого излюбленного начала политики. Когда нужно, буква эта карает и подавляет; когда не нужно, масса законов, с торжеством проведенных, оставляется без действия, и посреди всяких беззаконий провозглашается имя закона как верховной силы, управляющей жизнью и водворяющей будто бы правду!

Притом посреди непрерывной законодательной работы трудно бывает сохранить единство и цельность в массе отдельных постановлений, приобретающих значение закона. Отсюда – масса законов, возникающих по отдельным побуждениям, не согласенных между собою и не примыкающих органически к общей системе законодательства и ко всему строю управления. Так образуется сеть законных правил, подлежащих обязательному исполнению, которое во многих случаях оказывается или невозможным, или соединенным с нарушением других правил, тоже имеющих силу закона. И закон мало-помалу теряет значение нормы, руководствующей и направляющей действие воли и распоряжение властей, поставленных для удовлетворения су-

щественных нужд и потребностей населения, для управы, необходимой для охранения прав всех и каждого. На всяком шагу тот, кто призван действовать и распорядиться, должен боязливо осматриваться во все стороны, как бы не нарушить то или другое правило, ту или другую формальности, предписанную в том или другом законе. Вследствие того с умножением законов ослабляется нередко необходимая для управления энергия властей, смущается сознание долга, когда трудно определить пределы его в отдельных случаях, и закон, долженствующий способствовать правильному отправлению должностей, полагает ему на каждом шагу стеснение и препятствие.

Болезни нашего времени

I

Все недовольны в наше время, и от постоянного, хронического недовольства многие переходят в состояние хронического раздражения. Против чего они раздражены? Против судьбы своей, против правительства, против общественных порядков, против других людей, против всех и всего, кроме себя самих.

Мы все бываем недовольны, когда обманываемся в ожиданиях: это недовольство разочарования, приносимое жизнью на поворотах, сглаживается обыкновенно на других поворотах той же жизнью. Это временная, преходящая болезнь, не то что нынешнее недовольство – болезнь повальная, эпидемическая, которою заражено все новое поколение. Люди вырастают в чрезмерных ожиданиях, происходящих от чрезмерного самолюбия и чрезмерных, искусственно образовавшихся потребностей. Прежде было больше довольных и спокойных людей, потому что люди не столько ожидали от жизни, довольствовались малой, средней мерой, не спешили расширять судьбу свою и ее горизонты. Их сдерживало свое место, свое дело и сознание долга, соединенного с местом и делом. Глядя на дру-

гих, широко живущих в свое удовольствие, маленькие люди думали: где нам? – и на этой невозможности успокаивались. Ныне эта невозможность стала возможностью, доступною воображению каждого. Всякий рядовой мечтает попасть в генералы фортуны, попасть не трудом, не службою, не исполнением дела и действительным отличием, но попасть случаем и внезапной наживой. Всякий успех в жизни стал казаться делом случая и удачи, и этою мыслью все возбуждены более или менее, точно азартною игрою и надеждой на выигрыш.

В экономической сфере преобладает система кредита. Кредит в наше время стал могущественным орудием для создания новых ценностей; но это средство сделалось доступно каждому, и при относительной легкости его употребления далеко не все создаваемые ценности получают действительное значение и служат для производительных целей: большею частью создаются ценности мнимые, дутые, для удовлетворения случайных и временных интересов, с расчетом на внезапное обогащение. Вследствие того успех каждого предприятия не в той мере, как бывало прежде, зависит от личной деятельности, от способности, энергии и знания предпринимателя: в общественной и экономической среде около дела образовалось великое множество невидимых течений, неуловимых случайностей, которых нельзя предвидеть и обойти. Каждому деятелю приходится вступать в борьбу не с тем или другим определенным затруднением, но с целою сетью затруднений, которыми дело со всех сторон обставлено. Расчеты путаются, потому что данные, с которыми необходимо считаться, ускользают от расчета. Отсюда – состояние неуверенности, тревоги и истомы, от которого все более или менее страдают. Всякая деятельность парализуется таким душевным состоянием, в котором деятель чувствует, что не в силах справиться с обстоятельствами, что воля его и разум бессильны перед окружающими его препятствиями. Энергия ослабевает, человек дела становится фаталистом и привыкает рассчитывать в успехе не на силу распоряжения и предвидения, но на слепой случай, на удачу. Вот одна из причин того пессимизма, которым заражены столь

многие в наше время, и отчасти причина другой, общей болезни – практического материализма, потребности чувственных наслаждений. Чувственные инстинкты возбуждаются с особенной силой в жизни, основанной на неверном и случайном, в тревожной и лихорадочной деятельности.

Те же явления заметны и в других сферах общественной деятельности. Повсюду ее орудием становится тот же кредит, повсюду создаются с удивительной быстротою и легкостью мнимые, дутые ценности, которые иным при благоприятных случайностях приносят фортуна, у других рассыпаются в прах от столкновения с действительностью жизни. Примечательно, с какой легкостью ныне создаются репутации, проходится или, лучше сказать, обходится воспитательная дисциплина школы, получаются важные общественные должности, сопряженные с властью, раздаются знатные награды. Невежественный журнальный писака вдруг становится известным литератором и публицистом; посредственный стряпчий получает значение пресловутого оратора; шарлатан науки является ученым профессором; недоучившийся, неопытный юноша становится прокурором, судьей, правителем, составителем законодательных проектов; былинка, вчера только поднявшаяся из земли, становится на место крепкого дерева... Все это мнимые, дутые ценности, а они возникают у нас ежедневно во множестве на житейском рынке, и владельцы их носятся с ними точь-в-точь, как биржевики со своими раздутыми акциями. Многие проживут с этими ценностями весь свой век, оставаясь в сущности пустыми, мелкими, бессильными, непроизводительными людьми. Но у многих эти ценности вскоре рассыпаются в прах, и владельцы оказываются несостоятельными. Между тем самолюбие успело раздуться до неестественных размеров, претензии и потребности разрослись не в меру, желания раздражены, а в решительные минуты, когда надобно действовать, не оказывается силы, нет ни разума, ни характера, ни знания. Отсюда множество нравственных банкротств, которые происходят в своем роде от тех же причин, как и банкротства в сфере экономической. Трудно исчислить, сколько гибнет сил в наше

время от неправильного, уродливого, случайного их распределения, от неправильного обращения всяческих капиталов на нашем рынке. В результате являются люди молодые, но уже надломленные, искалеченные, разбитые жизнью. Иные не выносят тяготы своей и, подобно сосуду, неравномерно нагретому, лопаются: в нетерпении они оканчивают жизнь самоубийством, которое, по-видимому, недорого стоит человеку, когда он привык себя одного ставить центром своего бытия, мерить его материальной мерой и чувствует, что мера эта ускользает от него и расчеты его спутались. Другие бродят по свету, умножая собою число недовольных, раздраженных, возмущенных против жизни и общества: беда, если их накопится слишком много, и откроются им случаи выместить свою злобу и удовлетворить свою похоть...

II

Древние ставили, говорят, скелет или мертвую голову посреди роскошных пиров своих для напоминания пирующим о смерти. Мы не имеем этого обычая: мы, веселясь и пируя, желаем далече от себя отбросить мысль о смерти. Тем не менее она сама, смерть, за плечами у каждого, и грозный образ ее готов ежеминутно воспрянуть перед очами.

Каждый день приносил нам известия о самоубийствах, то тут, то там случившихся, необъяснимых, неразгаданных, грозящих превратиться в какое-то обыденное, привычное явление нашей общественной жизни... Страшно и подумать: неужели мы уже привыкли к этому явлению? Когда у нас бывало что-либо подобное, когда ценилась так дешево душа человеческая, и когда бывало такое общественное равнодушие к судьбе живой души, по образу Божию созданной, кровию Христовой искупленной? Богатый и бедный, ученый и безграмотный, дряхлый и старец, и юноша, едва начинающий жить, и ребенок, едва стоящий на ногах своих, – все лишают себя жизни с непонятною, безумною легкостью, один – просто, другой – драпируя в последний час себя и свое самоубийство.

Отчего это? Оттого, что жизнь наша стала до невероятности уродлива, безумна и лжива; оттого, что исчез всякий порядок, пропала всякая последовательность в нашем развитии; оттого, что расслабла посреди нас всякая дисциплина мысли, чувства и нравственности. В общественной и в семейной жизни попортились и расстроились все простые отношения органические, на место их протеснились и стали учреждения или отвлеченные начала, большею частью ложные или лживо приложенные к жизни и действительности. Простые потребности духовной и телесной природы уступили место множеству искусственных потребностей, и простые ощущения заменились сложными, искусственными, обольщающими и раздражающими душу. Самолюбия, выраставшие прежде ровным ростом в соответствии с обстановкой и условиями жизни, стали разом возникать, разом подниматься во всю безумную величину человеческого я, не сдерживаемого никакой дисциплиной, разом вступать в безмерную претензию отдельного я на жизнь, на свободу, на счастье, на господство над судьбой и обстоятельствами. Умы крепкие и слабые, высокие и низкие, большие и мелкие – все одинаково, утратив способность познавать невежество свое, способность учиться, т[о] е[сть] покоряться законам жизни, разом поднялись на мнимую высоту, с которой каждый большой и малый считает себя судьей жизни и вселенной.

Так накопилась в нашем обществе необъятная масса лжи, проникшей во все отношения, заразившей саму атмосферу, которою мы дышим, среду, в которой движемся и действуем, мысль, которою мы направляем свою волю, и слово, которым выражаем мысль свою. Посреди этой лжи, что может быть, кроме хилого возрастания, хилого существования и хилого действия? Сами представления о жизни и о целях ее становятся лживыми, отношения спутываются, и жизнь лишается той равномерности, которая необходима для спокойного развития и для нормальной деятельности. Мудрено ли, что многие не выдерживают такой жизни и теряют окончательно равновесие нравственных и умственных сил, необходимое

для жизни? Хрустальный сосуд, равномерно нагреваемый, может выдержать высокую степень жара; нагретый неравномерно и внезапно, он лопается. Не то же ли происходит у нас и с теми несчастными самоубийцами, о коих мы ежедневно слышим? Одни погибают от внутренней лжи своих представлений о жизни, когда при встрече с действительностью представления эти и мечты рассыпаются в прах: несчастный человек, не зная, кроме своего *я*, никакой другой опоры в жизни, не имея вне своего *я* никакого нравственного начала для борьбы с жизнью, бежит от борьбы и разбивает себя. Другие погибают оттого, что не в силах примирить свой, может быть, возвышенный идеал жизни и деятельности с ложью окружающей их среды, с ложью людей и учреждений, разувверяясь в том, во что обманчиво веровали, и не имея в себе другой истинной веры, они теряют равновесие и малодушно бегут вон из жизни... А сколько таких, коих погубило внезапное и неравномерное возвышение, погубила власть, к которой они легкомысленно стремились, которую взяли на себя не по силам? Наше время есть время мнимых, фиктивных, искусственных величин и ценностей, которыми люди взаимно прельщают друг друга; дошли до того, что действительному достоинству становится иногда трудно явить и оправдать себя, ибо на рынке людского тщеславия имеет ход только дутая, блестящая монета. В такую эпоху люди легко берутся за все, воображая себя в силах со всем справиться, и успевают при некотором искусстве проникать без больших усилий на властное место. Властное звание соблазнительно для людского тщеславия, с ним соединяется представление о почете, о льготном положении, о праве раздавать честь и создавать из ничего иные власти. Но каково бы ни было людское представление, нравственное начало власти одно, непреложное: «Кто хочет быть первым, тот должен быть всем слугою». Если бы все об этом думали, кто пожелал бы брать на себя невыносимое бремя? Однако все готовы с охотой идти во власть, и это бремя власти многих погубило и раздавило, ибо в наше время задача власти усложнилась и запуталась чрезвычайно,

особенно у нас. И так много есть людей, перед коими власть, легкомысленно взятая, легкомысленно возложенная, становится роковым сфинксом и ставит свою загадку. Кто не сумел разгадать ее, тот погибает.

III

Для того чтобы уразуметь, необходимо подойти к предмету и стать на верную точку зрения – все зависит от этого, и все человеческие заблуждения происходят оттого, что точка зрения неверная. Мы привыкли доверяться своему впечатлению, а впечатление получаем, скользя по поверхности предмета, что мы умеем делать с ловкостью и быстротою. Довольствуясь впечатлением, мы спешим обнаружить его перед всеми по свойственному нам нетерпению; высказавшись, соединяем с ним свое самолюбие. Затем лень, совокупно с самолюбием, не допускает нас взглянуться ближе в сущность предмета и проверить свою точку зрения. Итак, по передаче впечатлений между восприимчивыми натурами образуется, развивается и растет заблуждение, объемлющее целые массы и нередко принимаемое в смысле общественного мнения.

Это верно и в малом, и в большом. Целые системы мировоззрения господствовали в течение веков, составляя неоспоримое убеждение, доколе не открывалось, наконец, что они ложны, ибо исходят из неверной точки зрения. Такова была Птолемея астрономическая система³⁵. Люди в течение веков упорно смотрели на вселенную сбоку, искоса, потому что утвердили на земле свою центральную точку зрения, потому что земля казалась им так безусловно необъятна: иного центра не могли они себе и представить. Система была исполнена путаницы и противоречий, для соглашения коих изобретались наукою искусственные циклы, эпициклы и т[ому] п[одобное]. Века проходили так, пока явился Коперник³⁶ и вынул фальшивый центр из этой системы. Все стало ясно, как скоро обнаружилось, что вселенная не обращается около Земли, что Земля совсем не имеет господственного значения, что она – не что

иное, как одна из множества планет и зависит от сил, бесконечно превышающих ее мощью и значением.

Птолемея система давно отжила свой век; но вот как понять, что в наше время восстанавливается господство ее в ином круге идей и понятий? Разве не впадает в подобную же путаницу новейшая философия, опять от той же грубой ошибки, что человека принимает она за центр вселенной и заставляет всю жизнь обращаться около него, подобно тому как в ту пору наука заставляла Солнце обращаться около Земли. Видно, ничто не ново под луною. Это старье выдается за нововость, за последнее слово науки, в коей следуют одно за другим противоречия, отречения от прежних положений, новые, категорически высказываемые положения, опровержения на них, с той же авторитетностью высказываемые, поразительные открытия, о коих вскоре открывается, что лучше и не вспоминать о них. Все это называется прогрессом, движением науки вперед. Но, по правде, разве это не те же самые циклы и эпициклы Птолемея системы? И когда явится новый Коперник, который снимет очарование и покажет вновь, что центр – не в человеке, а вне его и бесконечно выше и человека, и Земли, и целой вселенной?

И разве не то же самое мы видим, например, в истории всех сект, начиная с гностиков³⁷ или ариан и кончая пашковцами³⁸, сютаевцами³⁹, толстовцами и нигилистами⁴⁰? Вся причина в том, что человек, следуя впечатлению, становится на ложную точку зрения, в своем я утверждает он эту точку, и ему кажется, что вся вселенная около него движется, и он ищет правды обо всем и всюду, на все и всех негодует, все обличает, исключая себя, с теми же грехами и страстями... Какое странное, какое роковое заблуждение!

IV

Упорство догматического верования всегда было и, кажется, будет уделом бедного, ограниченного человечества, и люди широкой, глубокой мысли, широкого кругозора, всегда будут

в нем исключением. Одни верования уступают место другим, меняются догматы, меняются предметы фанатизма. В наше время умами владеет в так называемой интеллигенции вера в общие начала, в логическое построение жизни и общества по общим началам. Вот новейшие фетиши, заменившие для нас старых идолов, но в сущности и мы, так же как прапрадеды наши, творим себе кумира и ему поклоняемся. Разве не кумиры для нас такие понятия и слова, как, например, свобода, равенство, братство со всеми своими применениями и разветвлениями? Разве не кумиры для нас общие положения, добытые учеными и возведенные в догмат, например происхождение видов, борьба за существование и т[ому] п[одобное]?

Вера в общие начала есть великое заблуждение нашего века. Заблуждение состоит именно в том, что мы веруем в них догматически, безусловно, забывая о жизни со всеми ее условиями и требованиями, не различая ни времени, ни места, ни индивидуальных особенностей, ни особенностей истории.

Жизнь – не наука и не философия; она живет сама по себе, живым организмом. Ни наука, ни философия не господствуют над жизнью, как нечто внешнее: они черпают свое содержание из жизни, собирая, разлагая и обобщая явления жизни; но странно было бы думать, что они могут обнять и исчерпать жизнь со всем ее бесконечным разнообразием, дать ей содержание, создать для нее новую конструкцию. В применении к жизни всякое положение науки и философии имеет значение вероятного предположения, гипотезы, которую необходимо всякий раз проверить здравым смыслом и искусным разумом, по тем явлениям и фактам, к которым требуется приложить ее: иное применение общего начала было бы насилием и ложью в жизни. Одно то уже должно смутить нас, что в науке и философии очень мало бесспорных положений: почти все составляют предмет пререканий между школами и партиями, почти все колеблется новыми опытами, новыми учениями. Нет ни одной прикладной к жизни науки, которая представляла бы цельную одежду: всякая сшита из лоскутков, более или менее искусно, с изменением покроя по моде, а иногда куски эти ви-

сят в клочках, разодранных школьною полемикою различных учений. Между тем представители каждой школы в науке веруют в положения свои догматически и требуют безусловного применения их к жизни. Стоит привести в пример хоть политическую экономию: экономисты составили себе репутацию величайших педантов и догматиков потому, что хотят непременно вторгнуться в жизнь, в законодательство, в промышленность непререкаемою властью, со своими общими законами производства и распределения сил и капиталов; но при этом все более или менее забывают о живых силах и явлениях, которые в каждом данном случае составляют элемент, противодействующий закону, возмущающий его операцию. Они вывели формулу из великого множество фактов и явлений, но не могли исчерпать всего бесконечного их разнообразия, всего ряда комбинаций, которые в каждом данном случае представляются. И эти формулы были великим благодеянием для науки, которая благодаря им уяснилась и двинулась вперед, но ни одна из них не составляет неподвижного, безусловного закона для жизни: каждая служит только указанием для исследования, каждая выражает только известное движение, направление силы, которая в данном случае непременно возмущается или уравнивается другими силами, действующими в противоположных направлениях. Исчислить математически действие этих сил невозможно, их можно распознать только верным чутьем практического смысла, и потому общие заключения и выводы политической экономии, хотя и сделанные из бесспорных фактов, имеют только предположительное, гипотетическое значение, а не значение решительного, безусловно-го закона. Так и будет разуметь их всегда истинный ученый, незараженный педантизмом книжной науки. Но таковы далеко не все ученые. Что же сказать о массе, о тех поверхностных читателях, законодателях, юристах, администраторах, которые большею частью слышали звон, да не знают, где он, которые почерпают изредка все свое знание из нескольких страниц руководства, из современной журнальной статьи и любят без дальних исследований находить в минуту для каждой задачи

готовое решение в статье указателя за номером и печатью? Для них каждое общее положение служит непререкаемым «авторитетом науки», дешевым средством для готового решения важнейших вопросов жизни и удобным оружием, которым отражаются все аргументы здравого смысла, опровергаются сразу все факты истории и практики. Благодаря этим-то общим положениям и началам ныне так легко стало самому пустому и поверхностному уму, самому бездельному и равнодушному пролазу с помощью фразы прослыть за глубокого философа, политика, администратора и одержать дешевую победу над здравым смыслом и опытом. Такой ученый может вспрыгнуть разом на «высоту науки и современной мысли». На этой высоте кто в силах ему противиться?

Масса не может принять общего положения в истинном, условном его значении: разумению массы доступно всякое правило, всякое явление только в живом, конкретном образе и представлении. Великая ошибка нашего века состоит в том, что мы, воспринимая сами с чужого голоса фальшивую веру в общие отвлеченные положения, обращаемся с ними к народу. Это новая игра в общие понятия, пущенная в ход идеалистами народного просвещения в наше время, игра, слишком опасная потому, что она ведет к развращению народного сознания. В эту игру играет, к сожалению, слишком часто с народом наша школа; но прежде всего в нее начали играть народные правительства, и многие уже дорого за нее заплатились, заплатились правдою нравственного отношения к народу. Одна ложь производит другую; когда в народе образуется ложное представление, ложное чаяние, ложное верование, правительству, которое само заражено этою ложью, трудно вырвать ее из народного понятия; ему приходится считаться с нею, играть с нею вновь и поддерживать свою силу в народе искусственно, новым сплетением лжи в учреждениях, в речах, в действиях, сплетением, неизбежно порожденным первою ложью.

Это можно видеть всего явственнее на примере Франции. В прошлом столетии фантазия идеалистов-философов издала новое Евангелие для человечества, Евангелие, которое все со-

ставилось из идеализации и отвлеченных обобщений. Школа Руссо показала человечеству в розовом цвете натурального человека и провозгласила всеобщее довольство и счастье на земле – по природе; она раскрыла перед всеми вновь разгаданные будто бы тайны общественной и государственной жизни и вывела из нее мнимый закон контракта между народом и правительством. Появилась знаменитая схема народного счастья, издан рецепт мира, согласия и довольства для народов и правительств. Этот рецепт построен был на чудовищном обобщении, совершенно отрешенном от жизни, и на самой дикой, самой надутой фантазии; тем не менее эта ложь, которая, казалось, должна была рассыпаться при малейшем прикосновении с действительностью, заразила умы страстным желанием применить ее к действительности и создать на основании рецепта новое общество, новое правительство. Еще шаг – и из теории Руссо вырождается знаменитая формула: свобода, равенство, братство. Эти понятия заключают в себе вечную истину нравственного, идеального закона в нераздельной связи с вечною идеей долга и жертвы, на которой держится, как живое тело на костях, весь организм нравственного мирозерцания. Но когда эту формулу захотели обратить в обязательный закон для общественного быта, когда из нее захотели сделать формальное право, связующее народ между собою и с правительством во внешних отношениях, когда ее возвели в какую-то новую религию для народов и правителей, она оказалась роковой ложью, и идеальный закон любви, мира и терпимости, сведенный на почву внешней законности, явился законом насилия, раздора и фанатизма. Общие положения эти брошены были в массу народную не как евангельская проповедь любви, не как воззвание к долгу во имя нравственного идеала, но как слово завета между правительством и народом, как объявление новой эры естественного блаженства, как торжественное обетование счастья. Иначе не мог народ ни принять, ни понять это слово. Масса не в состоянии философствовать: и свободу, и равенство, и братство она приняла как право свое, как состояние, ей присвоенное. Как ей после того поми-

риться со всем, что составляет бедствие жалкого бытия человеческого, с идеей бедности, низкого состояния, лишения, нужды, самоограничения, повиновения? Терпеть невозможно, масса ропщет, негодует, протестует, волнуется, ниспровергает учреждения и правительства, не сдержавшие слов, не осуществившие ожиданий, возбужденных фантастическим представлением, созидает новые учреждения и вновь разрушает их, бросается к новым властителям, от которых слышала то же льстивое слово, и низвергает их, когда и они не в состоянии удовлетворить ее. И править этою массою стало уже невозможно прямым отношением власти, без льстивых слов, без льстивых учреждений; правительству приходится вести игру и передергивать карты. Жалкий и ужасный вид хаоса в общественном учреждении: с шумом мечутся во все стороны волны страстей, успокаиваясь на минуту, под волшебные звуки слов: свобода, равенство, публичность, верховенство народное... и кто умеет искусно и вовремя играть этими словами, тот становится народным властителем...

V

В Древнем Риме расселась однажды земля: открылась бездонная пропасть, угрожавшая поглотить весь город. Как ни трудились, как ни старались поправить беду, ничто не удавалось. Тогда обратились к оракулу; оракул ответил, что пропасть закроется, когда Рим принесет ей в жертву первую свою драгоценность. Известно, что за тем последовало. Курций⁴¹, первый гражданин Рима, доблестный из доблестных, бросился в пропасть, и она закрылась.

И у нас, в новом мире, открывается страшная бездонная пропасть – пропасть пауперизма, отделяющая бедного от богатого непроходимую бездной. Чего мы не ввергаем в нее для того, чтобы ее наполнить! Целыми возами деньги и всяческие капиталы, массу проповедей и назидательных книг, потоки энтузиазма, сотни и тысячи придуманных нами общественных учреждений – и все пропадает в ней, и бездна зияет перед

нами по-прежнему. Нет ли и у нас оракула, который возвестил бы нам верное средство? Слово этого оракула давно сказано и всем нам знакомо: «Заповедь новую даю вам – да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы друг друга любите». Если б умели мы углубиться в это слово и взойти на высоту его, если б решились мы бросить в бездну то, что всего для нас драгоценнее: наши теории, наши предрассудки, наши привычки, связанные с исключительностью житейского положения, в котором каждый утвердил себя, – мы принесли бы себя самих в жертву бездне, и она навсегда бы закрылась.

VI

Самое правое чувство в душе человеческой остается истинным чувством лишь дотоле, пока держится в свободе и охраняется простотою: что просто, только то право. Но камень преткновения для всякого простого чувства – это отражение в самосознании человека, это рефлексия. Чувство приобретает особую силу, когда укрепляется в душе сознанием, объединяется с идеею, но тут же оно подвергается опасности пережить себя в идее, поколебаться в простоте своей. Случается, что чувство, опираясь на идею и обобщаясь в ней, разрешается в формулу сознания и в ней выдыхается. Форма, как и буква, может убить дух животворный. Форма обманывает, потому что под формою незаметно развивается лицемерие, самообольщение человеческого я. Что светлее, что драгоценнее, что плодотворнее простого чувства любви в душе человеческой! Но с той минуты, как оно соединилось с идеей, ему предстоит опасность от той же рефлексии. И оно может создать для себя форму, разбиться на виды, пути, категории, порядки, учения. Так приходит, наконец, такая минута, что не чувство простое и цельное наполняет душу и оживляет ее, а бедное я человеческое начинает воображать, что оно владеет чувством или идеей чувства, служит его носителем и деятелем. Здесь конец простоте, здесь начинается разложение чувства и легко может перейти в лицемерие. Умножится, может

быть, количество дел любви, установятся в них порядки, но простоты чувства уже нет, благоухание его пропало.

Приходят в голову эти мысли, когда смотришь на деятельность наших организованных благотворительных учреждений и обществ с их уставами, собраниями, почетными членами, почетными наградами и пр[очим]. Все учреждение по идее посвящено любви и благотворительности, но при виде происходящих в нем явлений нередко спрашиваешь: где же обретается тут место простому чувству любви – сострадательной и деятельной? Видишь собрание, на котором произносятся речи, видишь мужские и дамские комитеты, куда съезжаются со скукой и равнодушием лица, вовсе не знакомые с делом, обсуждать какие-то правила и параграфы, видишь бумаги, составленные секретарем, которому выпрашиваются за то награды и пособия; слышишь напыщенные рассуждения самозванных педагогов о школьных системах и методах преподавания; видишь – о, верх общественного лицемерия! – благотворительные базары, на которых иная продавщица-дама, ничего от себя не жертвующая, носит на себе костюм, стоящий иной раз не менее того, что выручается от целой продажи, и это называется делом любви христианской!

Эта любовь в виде общественного учреждения. Но вот еще правда, правда, на которой мир стоит и держится, правда, без которой жизнь становится каким-то маревом дикого воображения, чем она является в новейшей, искусственной, выглаженной и выстроганной по европейской моде форме судебного учреждения! Мы видим машину для искусственного делания правды, но самой правды не видно в торжественной суете машинного производства, не слышно в шуме колес громадного механизма. Вы ищете нравственной силы – увь! Едва ли не вся сила, какая есть в действии машины, уходит на трение колес, совершающих непрерывное движение, едва ли не все нравственные усилия деятелей уходят на смазку этих колес и проводников к ним. Заседают суды в величавом сознании своего жреческого достоинства и, подобно древним авгурам, слушают, сколько вместит внимание; ораторствуют адвока-

ты, проводя величавые слова и громкие фразы по узеньким коридорам и трубочкам хитросплетенного мышления и заранее взвешивая на звонкую монету каждый из длинных своих периодов; тянутся длинные, томительные часы словесной пытки, а между тем главная жертва этой пытки – злосчастная правда должна переходить в обетованный рай по тонкому волоску Магометова моста⁴²: горе тому, кто положится при этом переходе на свою собственную силу. Прав только тот, кто, изучив прежде в совершенстве искусство акробата, сумеет не оступиться и не упасть на дороге...

VII

Вся жизнь человеческая – искание счастья. Неутолимая жажда счастья вселяется в человека с той минуты, как он начинает себя чувствовать, и не истощается, не умирает до последнего издыхания. Надежда на счастье не имеет конца, не знает предела и меры: она безгранична, как вселенная, и нет ей конечной цели, потому что начало ее и конец – в бесконечном. Это бесконечное стремление к счастью одна монгольская сказка олицетворяет в виде матери, потерявшей любимую дочь, единственное дитя свое. Грубая фантазия степного жителя представляет эту мать в виде старой женщины с одним глазом на самой матушке. С воплем ходит она по свету, отыскивая потерянное дитя свое, и подходит по временам то к тому, то к другому предмету, туда, где ей чудится, не дитя ли свое она встретила. Она хватает руками свою находку, уносит ее и потом высоко поднимает над головою, чтобы удостовериться, точно ли нашла свое сокровище. Но лишь только вглядывается в нее единственным глазом, как видит, что ошиблась, и с отчаянием бросает на землю и разбивает находку свою, и опять идет по свету на поиск. Счастье, которого ищет человек, определяет судьбу его, отзываясь в ней несчастьем. «Несчастье человека, – сказано у Карлейля, – происходит от его величия: оттого он несчастен, что в нем самом – бесконечное, и это бесконечное человек при всем

своим искусстве, при всем старании не в силах совершенно заключить и закопать в конечном».

Стало быть, невозможно счастье, потому что оно необъятно. Но отчего же вместе с сознанием этой необъятной цели в душе человеческой так живо сознание настоящего и, отворачиваясь с отчаянием от будущего, обращается к прошедшему и находит эту возможность там? У редкого человека нет в прошедшем такой поры, про которую говорит дума его: «А счастье было так возможно, так близко!»

Счастье отлетело от человека с той минуты, как он захотел овладеть бесконечным, сделать его своим, познать его. «Будете знать добро и зло, будете, как боги». Этого знания не получил он, но в нем произошло раздвоение, и с тех пор одна половина его ищет другую для того, чтобы восстановить единство и целостность сознания и жизни.

Если есть где что-либо подходящее к званию счастья, так есть разве у иных, немногих в той поре простого бытия и простого сознания, когда душа ощущает жизнь в себе и покоится в чувстве жизни, не стремясь знать, но отражая в себе бесконечное, как капля чистой воды на ветке отражает в себе солнечный луч. Если есть у кого такая пора, дай только Боже, чтоб она длилась дольше, чтобы сам человек по своей воле не стремился из судьбы своей в новые пределы. Дверь такого счастья не внутрь отворяется: нажимая ее изнутри, ее не удержишь на месте. Она отворяется изнутри, и кто хочет, чтоб она держалась, не должен трогать ее.

Прошедшее свое мы осудили, осудили за то, что не распознаем в нем тех принципов, которые составляют для нас мерило истины и благополучия. По кодексу этих принципов, из коих главный есть равенство, хотим мы переделать жизнь, отвести в другую сторону старые ключи ее, которыми питались прежние поколения, расположить ее вновь по сочиненному нами плану и составляем, и пересоставляем этот план по правилам науки, причем нередко обличаем в себе глубокое невежество в той самой науке, по которой планы составляются. Не беда, говорим мы смело, жизнь исправит ошибки нашего

плана, – и противоречим себе сами, ссылаясь на жизнь, которой знать не хотели, когда принимались за план свой. Жизнь на каждом шагу обличает нас следами неправды вместо той правды, которую мы обещали внести в нее: явлениями эгоизма, корыстолюбия, насилия вместо любви и мира, язвами бедности и оскудения вместо богатства и умножения силы, жалобами и воплями недовольства вместо того довольства, которое мы пророчили. Не беда! – повторяем мы громче и громче, стараясь заглушить все вопросы, сомнения и возражения, лишь бы принципы нашего века были сохранены и поддержаны. Что нужды, если страдает современное поколение; что за беда, если вместо крепких людей являются отовсюду дрянные людишки; пусть будет сегодня плохо: завтра, послезавтра будет лучше. Новые поколения процветут на развалинах старого, и наши принципы оправдают себя блистательно в новом мире, в потомстве, в будущем... Мечты, которыми наполнена жизнь наша и деятельность, осуществляются же когда-нибудь после... Увы! Разве осуществляются они в таком смысле, как случилось со Свифтом⁴³: в молодости он устроил дом для сумасшедших и под старость нашел себе приют в этом самом доме.

VIII

Как редко общественные отношения наши бывают просты и непосредственны! Как редко приходится, встречая людей, вести и продолжать беседу с ними простым и естественным обменом мысли! Когда живешь в так называемом обществе, приходится ежеминутно вступать в отношения с людьми, с которыми у тебя нет ничего общего, кроме человечества. Некогда останавливаться, некогда высматривать и выжидать молча, в спокойном состоянии: если бы я захотел поступить так, другой, кто ко мне подошел, кого познакомили со мною, не допустил бы до этого. Надобно в ту же минуту завязывать сношение, и приличие требует, чтобы оно казалось естественным. Надобно говорить, и разговор вступает немедленно на дряблую почву легкой пошлости, на обмен фраз о предметах (как в свидетель-

стве сумасшедшего) «до обыкновенной жизни касающихся». Люди подходят друг к другу со стороны «пошлости», которой довольно у каждого, и нередко случается, что при всех дальнейших встречах случайная их беседа не сходит с этой почвы, на которую оба сразу ступили. Но бывает и еще хуже: люди с первого шага начинают кривляться и ломаться друг перед другом. Это случается всего чаще при неравных встречах, т[о] е[сть] когда один, представляя себе в другом нечто особенное или знаменитое, со своей точки зрения, желает поставить себя вровень с ним на социальной почве, не ударить лицом в грязь, выказаться. С другой стороны, кто же не воображает в себе самом какой-нибудь особенности или знаменитости? Так начинается дуэль двух маленьких, иногда очень маленьких я, и у каждого все помышления направлены к тому, чтобы выказать себя, не уступить другому, возбудить о себе в другом, по возможности, блестящее представление. Блестеть предполагается обыкновенно умом, а кто не признает в себе ума или остроумия, или житейской опытности, заменяющей, а иногда и превосходящей ум? Какая обширная практика, какое нескончаемое поприще для пошлости мелкого самолюбия!

К ней присоединяется еще пошлость любезности. Всякая добродетель общественной жизни имеет оборотную сторону пошлости, и эта сторона выказывается там, где добродетель принимает вид общественного приличия, общественного обычая, размениваясь на мелкую монету известного чекана. Сколько выпущено у нас в обращение такой разменной монеты, и как уже вся она перетерлась, какая стала слепая, переходя ежеминутно из рук в руки, и через какие руки! Лучшие слова потеряли свое первоначальное значение, перестав быть правым выражением мысли; самые глубокие истины опошлись, являясь в рубище ходячего слова; драгоценнейшие чувства износились и истрепались на людях, выставляясь напоказ встречному и поперечному!

Надо быть умным, надо быть любезным – вот два главных мотива, возбуждающих нашу деятельность в беседной встрече. И мы привыкли явную пошлость первого мотива

оправдывать видимую уважительностью последнего. Совесть шепчет: сколько говорил ты вздору! Как ты рисовался! Сколько притворного напускал на себя! Как играл словами! У нас готово возражение: я старался быть любезным; надобно было оживить речь в собрании, пособить хозяину или хозяйке устроить, чтобы не скучно было.

Однако совесть права, и пошлость напрасно стала бы прикрывать и оправдывать себя любезностью. Из-за одной любезности, без побуждений мелкого самолюбия не стал бы человек, уважающий себя и слово свое, в течение целых часов играть в пошлую игру фразами, настраивать себя по мере надобности на тон любви и негодования, ходить на ходулях, раскрашивать придуманные рассказы и сочиненные ощущения и давать волю насмешке и остроумному злословию там, где открывались виды на слабости и грешки ближнего.

IX

XIX век справедливо гордится тем, что он век преобразований. Но преобразовательное движение, во многих отношениях благодетельное, составляет в других отношениях и язву нашего времени. Ускоренное обращение анализирующей и преобразующей мысли в наших жилах дожило, кажется, до лихорадочного состояния, от которого едва ли не пора уже нам лечиться успокоением и диетой; а куда продолжают еще пароксизмы возбужденной мысли, трудно поверить, чтобы деятельность ее была здоровая и плодотворная. Жизнь пошла так быстро, что многие с ужасом спрашивают: куда мы несемся и где мы упокоимся? Если мы летим вверх, то уже скоро захватит у нас дыхание; если вниз – то не падаем ли мы в бездну?

С идеей преобразования происходит то же, что со всякою новою, в существе глубокою и истинною, идеей, когда она пошла в ход. Вначале она является достоянием немногих глубоких умов, горящих огнем мысли, проживших и прочувствовавших глубоко то, что проповедуют и к осуществлению чего стремятся. Потом, когда, распространяясь дальше и дальше,

идея становится достоянием массы и переходит в то состояние, в котором слово принимается на веру, лишь только произнесено, идея переходит на рынок и на этом рынке опошляется, мельчает. В минуту сильного возбуждения великие поборники движения поднимают знамя, и когда они несут его, знамя это служит подлинно символом великого дела, скликающим на служение делу; но когда знамя это переходит на людской рынок и мальчишки начинают с ним прогуливаться в пору и не в пору, составляя игру с бессмысленными криками, тогда знамя теряет свой смысл, и люди серьезные, люди дела начинают сторониться отсюда, где это знамя показывается.

Есть эпохи, когда преобразование является назревшим плодом общественного развития, выражением потребности, всеми ощущаемой, развязкою узлов, веками сплетенных в общественных отношениях; преобразователь является пророком, изрекающим слово общественной совести, и осуществляет мысль, которую все в себе носят.

Слова его и дела его властвуют над всеми, потому что свидетельствуют об истине, и все, кто от истины, отзываются на это слово. Но когда дело его совершилось, является иногда вслед его полчище лживых пророков. Все хотят быть пророками – от мала до велика, у всех на устах новое слово, не выношенное в душе, не прогоревшее в жизни, дешевое – и потому гнилое, схваченное на людском рынке – и потому опошленное. Всякий, кто не делал никакого дела и кому лень делать дело, к которому приставлен, сочиняет проект нового закона или строит себе маленькую кафедру, с которой проповедует преобразование, требуя, чтобы дело, которого он не делал и потому не знает, было поставлено в новой форме и на новом основании. Таковы малые; что же сказать о великих, страдающих наравне с малыми преобразовательною горячкой?

Общая и господствующая болезнь у всех так называемых государственных людей – честолюбие или желание прославиться. Жизнь течет в наше время с непомерной быстротою, государственные деятели часто меняются, и потому каждый, покуда у места, горит нетерпением прославиться поскорее,

пока еще есть время и пока в руках кормило. Скучно поднимать нить на том месте, на котором покинул ее предшественник, скучно заниматься мелкою работой организации и улучшения текущих дел и существующих учреждений. И всякому хочется переделать все свое дело заново, поставить его на новом основании, очистить себе ровное поле, *tabula rasa*⁴⁴, и на этом поле творить, ибо всякий предполагает в себе творческую силу. Из чего творить, какие есть под рукою материалы – в этом редко кто делает себе явственный отчет с практическим разумением дела. Нравится именно высший прием творчества – творить из ничего, и возбужденное воображение подсказывает на все возражения известные ответы: «учреждение само поддержит себя, учреждение создаст людей, люди явятся» и т[ому] п[одобное]. Замечательно, что этот прием тем соблазнительнее, тем сильнее увлекает мысль государственного деятеля, чем менее он приговорен знанием и опытом к своему званию. Этот прием соблазнителен еще и тем, что, прикрывая действительное знание, он дает широкое поле действию политического шарлатанства и помогает прославиться самым дешевым способом. Где требуется деятельное управление делом, знание дела, направление и усовершенствование существующего, там опытного и знающего нетрудно распознать от невежды и пустозвона; но где начинают с осуждения и отрицания существующего и где требуется организовать дело вновь, по расхваленному чертежу, на прославленных началах, там чертеж и начало на первом плане, там можно без прямого знания дела аргументировать общими фразами, внешним совершенством конструкции, указанием на образцы, существующие где-то за морем и за горами; на этом поле нелегко бывает отличить умелого от незнающего и шарлатана – от дельного человека; на этом поле всякий великий человек может, ничего не смысля в деле и не давая себе большого труда, защищать какой бы то ни было проект преобразования, составленный в подначальных канцеляриях кем-нибудь из малых преобразователей, подстрекаемых тоже желанием дешево прославиться. Это удивительное явление следует причислить поистине к знаменьям нашего времени, а

оно заметно повсюду, хотя не всюду в одинаковой мере и степени: в любом правлении, в любом совещательном собрании или комнате. Разумеется, всего явственнее выражается оно там, где менее заложено в прошедшей истории твердых учреждений, где нет старинной, веками утвердившейся школы и дисциплины, где жизнь общественная в историческом своем развитии не выработала определенных разрядов, стенок и клеточек, полагающих преграду вольному устройству быта и порыву мысли и желания. Где шире и вольнее историческое и экономическое поле, там есть где разгуляться каким угодно преобразовательным фантазиям, там нет иногда и борьбы, нет и затруднительного расчета с утвердившимися идеями, интересами и партиями, но полная свобода широкому размаху руки, натиску груди, быстрому полету первого наездника...

А наряду с этим явлением, происходящим на вершинах, совершается другое подобное же движение из долин, ущелий и пропастей земных. Оно также преобразовательно, но в ином, совсем уже безусловном смысле. Масса людей, недовольных своим положением, недовольных тем или другим состоянием общественным и ослепленных или диким инстинктом животной природы, или идеалом, созданным фантазией узкой мысли, отрицая всю существующую, выработанную историей экономию общественных учреждений, отрицая и Церковь, и государство, и семью, и собственность, стремится к осуществлению дикого своего идеала на земле. И эти люди требуют, чтобы проповедуемое ими преобразование началось сначала, т[о] е[сть] на ровном поле, *tabula rasa*, которое хотят они прежде всего расчистить на обломках существующих учреждений.

Это враги цивилизации, – вопиют по всей Европе государственные люди, и во имя цивилизации вооружаются против массы непризнанных преобразователей. Но не время ли им самим, защитникам существующего порядка, подумать о том, что сами они первые стремятся иногда слишком легкомысленно налагать смелую руку на существующее, разрушать старые здания и строить на место их новые, сами они слишком беззаботно и самоуверенно спешат осуждать утвердившиеся поряд-

ки и разрушать предания и обычаи, созданные народным духом и историей; сами они, строя громаду новых законов, которые прошли мимо жизни и с которыми жизнь не может справиться, насилуют, в сущности, те самые условия действительной жизни, которые отрицает решительно масса отъявленных врагов цивилизации. Борьба с ними может быть успешна лишь во имя жизненных начал и на почве здоровой действительности.

Слово «преобразование» так часто повторяется в наше время, что его уже привыкли смешивать со словом «улучшение». Итак, в ходячем мнении поборник преобразования есть поборник улучшения или, как говорят, прогресса, и наоборот, кто возражает против необходимости и пользы преобразования, какого бы то ни было, в новых началах, тот враг прогресса, враг улучшения, чуть ли не враг добра, правды и цивилизации. В этом мнении, пущенном в оборот на рынке нашей публичности, заключается великое заблуждение и обольщение. В силу этого мнения здравому смыслу, здравому взгляду на предмет становится трудно проложить себе дорогу и пробиться сквозь предрассудок, и конкретное, реальное, здоровое воззрение уступает место воззрению, отвлеченному от жизни и фантастическому; люди дела и подлинного знания принуждены сторониться от дела и теряют кредит перед людьми отвлеченной идеи, окутанной фразою. Напротив того, кредитом пользуется от первого слова тот, кто выставляет себя представителем новых начал, поборником преобразований и ходит с чертежами в руках для возведения новых зданий. Поприще государственной деятельности наполняется все архитекторами, и всякий, кто хочет быть работником, или хозяином, или жильцом, должен выставить себя архитектором. Очевидно, что при таком направлении мысли и вкуса открывается безграничное поле всякому шарлатанству, всякой ловкости лицемерия и бойкости невежества. С другой стороны, деятельность положительная, практическая затрудняется чрезмерно, когда она совершается посреди общего настроения к анализу и критике, к поверке всякого дела общими началами, общими фразами, преобладающими в общественной среде. Тому, кому следова-

ло бы сосредоточить все внимание и все силы на своем деле и на том, как лучше и совершеннее исполнять его, приходится беспрерывно считаться с мнением о деле, думать о том, как оно покажется, какое произведет впечатление и в обществе, и в начальстве, если это начальство пробует все на том же камне новые идеи, новое направление. Так развлекается попусту на критику и на борьбу с критикою, по большей части пустою, масса великих сил, которые могли бы совершить великое дело; так много времени уходит у деятелей на это механическое трение, на эту бесплодную борьбу с возбужденной мыслью, что немного уже остается его для действительной, сосредоточенной деятельности. Человек окружен со всех сторон призраками и образами дела, которые тревожат его, но истинное, реальное дело исчезает у него под руками и не делается. Такое положение не могут вытерпеть лучшие, правдивые деятели. Они чувствуют в себе силу, когда имеют дело с реальностями жизни, с фактами и живыми силами; тогда они веруют в дело, и эта вера дает им возможность творить чудеса в мире реальностей. Но они теряют дух, когда приходится им орудовать с образами, призраками, формами и фразами; теряют дух, потому что не чувствуют веры, а без веры мертва всякая деятельность. Мудрено ли, что лучшие деятели отходят или, что еще хуже и что слишком часто случается, не покидая места, становятся равнодушны к делу и стерегут только вид его и форму ради своего прибытка и благосостояния...

Вот каковы бывают иногда плоды преобразовательной горячки, когда она свыше меры длится. Какой врач вылечит от нее современное общество, современных деятелей? Какой богатырь направит силы наши на действительные улучшения, в которых мы так много и со всех сторон нуждаемся и которых жаждет жизнь действительная? Нам говорят: «Подождите еще немного: вот поднимутся таинственные покровы преобразований и явится из-под них новая, девственная жизнь в полноте красы и силы, и засияет новая заря, и откроется страна, медом и млекоом текущая». И мы ждем давно, но все не шевелятся покровы, новый мир не является, наша «не-

знакомка спит глубоким сном», и к прежним покровам прибавляются только новые.

Между тем стоит только пройтись по улицам большого или малого города, по большой или малой деревне, чтобы увидеть разом и на каждом шагу, в какой бездне улучшений мы нуждаемся и какая повсюду лежит безобразная масса покинутых дел, пренебреженных учреждений, рассыпанных храмин. Вот школы, в которых учитель, покинув детей, составляет рефераты о методах преподавания и фразистые речи для публичных заседаний; вот учебные заведения, где под видом и формой преподавания обучение не производится, и бестолковые учителя сами не знают, чему учить и чего требовать в смещении понятий, приказаний и инструкций; вот больница, в которую боится идти народ, потому что там холод, голод, беспорядок и равнодушие своекорыстного управления; вот общественное хозяйство, на котором деньги собираются большие, и никто ни за чем не смотрит, кроме своего прибытка или тщеславия; вот библиотека, в которой все разрознено, растеряно и распушено, и нельзя найти толку ни в употреблении сумм, ни в пользовании книгами; вот улица, по которой пройти нельзя без ужаса и омерзения от нечистот, заражающих воздух, и от скопления домов разврата и пьянства; вот присутственное место, призванное к важнейшему государственному отправлению, в котором водворился хаос неурядицы и неправды за неспособностью чиновников, туда назначаемых; вот департамент, в который, когда ни придешь за делом, не находишь нужных для дела лиц, обязанных там присутствовать; вот храмы – светильники народные, оставленные посреди сел и деревень запертymi, без службы и пения, и вот другие, из коих, за крайним бесчинием службы, не выносит народ ничего, кроме хаоса, неведения и раздражения... Велик этот свиток, и сколько в нем написано у нас рыдания и жалости, и горя!

Вот жатва, на которую требуются деятели, куда надобно направить личные силы мысли, любви и негодования, где потребны не законодательные приемы преобразования, отвлекающие только силу, а приемы правителя и хозяина, собираю-

щие силу к одному месту для возделывания и улучшения. Вот истинная потребность нашего времени и нашего места, и ею-то пренебрегает наш век из-за общих вопросов, из-за громких слов, звенящих в воздухе. «Не расширяй судьбы своей, – было вещание древнего оракула. – Не стремись брать на себя больше, чем на тебя положено». Какое мудрое слово! Вся мудрость жизни – в сосредоточении мысли и силы, все зло – в ее рассеянии. Делать – значит не теряться во множестве общих мыслей и стремлений, но выбрать себе дело и место в меру свою, и на нем копать и садить, и возделывать, к нему собирать потоки жизненной силы, в нем восходить от работы к знанию, от знаний – к совершению и от силы – в силу.

Х

Богатство приводит в движение множество низких побуждений человеческой природы. Богатство налагает на человека тяжелые повинности, связывает его свободу во многом. Одна из самых ощутительных невзгод для богача то, что он становится предметом эксплуатации, около него образуется сплетение лжи всякого рода. Если бы не притуплялось в нем чувство, он чувствовал бы ежеминутно, что отношения его к людям переменились, что многие даже из самых близких к нему лиц подходят к нему не просто; и что для великого множества людей, входящих с ним в отношения, личность его совсем исчезает, а место ее занимают внешние черты его, черты принадлежащего ему капитала. Для чувствительной души такое положение нестерпимо, и потребна большая простота души богатому человеку для того, чтобы он сумел сохранить в себе ясное и благовольтельное отношение к людям и не обезумел бы, не опошил бы сам от всей той пошлости, которая вокруг него поднимается и выказывается под влиянием представления о его богатстве.

Подобной же участи подвергается и другая сила человеческая – ум, особенно ум из ряда выходящий, господствующий. Когда умный человек приобретает авторитет, входит в славу между людьми, поднимаются около него пошлые побуждения

человеческой природы. Сближение с ним ставят себе в честь; люди начинают подходить к нему не просто, а с заднею мыслью показаться перед ним умными людьми и возбудить его внимание. Когда умный человек входит в моду, нет такой пошлости, которая не пыталась бы надевать на себя перед ним маску умного человека и кривляться перед ним со всею аффектацией, на которую способна пошлость. Это ощущение лжи и аффектации для умного человека было бы нестерпимо и заставило бы его бежать от людей, когда бы сам он не подвергался действию той же пошлости. Оттого мы встречаем нередко умных людей, которые, привыкая к аффектации, рисуются перед окружающею их пошлостью мелких умов, и охотнее вступают в общение с ними, нежели с равными себе. Немногие умы свободны от этой слабости тщеславия.

Жена Карлейля в одном из своих остроумных писем к мужу говорит: «Вчера была у меня мистрисс N. Мы долго с нею беседовали, и наша беседа показалась бы очень интересной даже тебе, если бы ты мог тут же быть невидимкою, но непременно невидимкою, в волшебном плаще. Кого считают “мудрецом и глубочайшим мыслителем нашего века”, тому приходится жить одному, в тяжком, можно сказать, царственном уединении. Он осужден ни от кого не слышать простого слова, в простоте сказанного, всякая речь подходит к нему украшенная, в наряде. Вот отчего Артур Гельпе⁴⁵ (известный писатель) и многие другие говорят со мною очень просто, очень умно и занимательно, а с тобой начнут говорить и приводят тебя в томительную тоску. Со мной они не боятся становиться на скромную почву своей собственной личности, какова она есть. А с тобой они представляют из себя Талиони⁴⁶ и принимаются балансировать, поднимаясь на носки умственного или нравственного величия».

XI

В темные эпохи истории бывало такое состояние общества, в котором над всеми гражданами тяготело чувство взаимного недоверия и подозрения. Современники с ужасом

рассказывают о своей эпохе или о своем городе, что люди боятся прямо смотреть в глаза друг другу, боятся сказать вслух близким и домашним свободное, нелицемерное слово или отдаться вольному душевному движению, чтобы оно не было подхвачено, перетолковано и не послужило бы поводом к жестокому преследованию во имя государства или начала общественной безопасности. Из темных углов и из последних слоев общества поднимается и сама собою образуется в корпорацию прибыльная профессия доносчиков – тайная сила, пред которою все преклоняются, все молчат в страхе или, когда молчать невозможно, одевают мысль свою в лживые, льстивые и лицемерные формы.

Читая такие рассказы из времен нашей бироновщины или из эпохи французского террора, мы радуемся, что живем в иную пору и что события той эпохи составляют для нас предание. Но всмотримся ближе в совершающиеся около нас явления и принуждены будем сознаться, что и наше время изобилует признаками подобного же состояния. Более того, между нами взаимное недоверие пустило, может быть, корни еще глубже во внутреннюю жизнь общества, нежели в ту пору. Всего более поражает в состоянии нашего общества в последние годы отсутствие той простоты и искренности в отношениях, которая составляет главный интерес общественной жизни, оживляет ее веянием свежести и служит признаком здоровья. Как редко случается видеть, что люди сходятся просто; а как отрадно было бы сойтись с человеком просто, без задней мысли, без искусственного заднего плана, на котором рисуются смутные тени, мешающие свободному общению! Таких теней образовалось в последнее время бесчисленное множество, точно множество темных духов, рассеивающих смуту в воздухе. Откуда взялись они? Хорошо, когда б их породила идея определенная, сознательная; тогда б еще возможно было устранить их тоже посредством идеи. Но нет, их порождают, по большей части, бессознательные представления и впечатления, всосанные и схваченные случайно, из воздуха, как подхватываются и всасываются атомы испорченной материи при развитии вся-

кой эпидемии. В воздухе кишат теперь атомы умственных и нравственных эпидемий всякого рода: имя им легион, и иное название трудно для них придумать.

Посмотрите, как сходятся люди в нашем обществе, знакомые и незнакомые, для дела и без дела. Едва взглянули в глаза друг другу, едва успели обменяться словом, как уже стала между ними тень. С первого слова, которое сказал, с первого приема речи, который употребил один, у другого возникла уже задняя мысль: а, вот какого он мнения, вот какой он школы, вот какого он убеждения (любимый из новейших терминов и один из самых обманчивых). Он либерал, он клерикал, он крепостник, он социалист, он анархист, он фритредер, он протекционист, он поклонник «Московских Ведомостей»⁴⁷, он сторонник «Недели»⁴⁸, «Вестника Европы»⁴⁹, и так далее, и так далее. Присмотритесь, прислушайтесь, как вслед за этим первым впечатлением разгорается все сильнее взаимное подозрение, как оно потом переходит в раздражение, как затем всякий спокойный обмен мысли становится невозможен, как отрывистые и резкие фразы сменяются в принужденной беседе столь же резкими паузами и как, наконец, люди расходятся, не узнав друг друга и осудив уже друг друга с первой встречи. Каждый сразу поставил друг друга в известную категорию, в известную клеточку, с которою, как он давно уже решил, нет у него ничего общего. Из-за чего весь этот бессмысленный раздор? Из-за убеждений? Можно сказать наверное в большинстве случаев, что с той и с другой стороны нет никакого осмысленного убеждения, нет организованной партии, а есть только нечто, вчера услышанное, вчера вычитанное в газетах, вчера привившееся из разговора с таким же точно гражданином, только что покушавшим точно такой же детской каши.

Сколько сил тратится даром или лежит в бесплодии из-за этой бессмысленной игры во впечатления и в призраки убеждений. Люди, в сущности, честные, добрые, способные, вместо того чтобы делать, сколько можно каждому, практическое, насущное дело жизни, на них положенное, складывают руки, теряют энергию, истощаются в бесплодном раздражении и не-

годовании, решая, что на таких принципах, с такой теорией, с такими взглядами деятельность невозможна. Они еще руки не приложили к своему делу, а оно им уже опротивело, они изверились в нем потому, что оно не соответствует воображаемой теории дела. Куда ни посмотришь, всюду тот же порок, не имеющий смысла. Педагоги в ожесточенной брани о принципах, системах и способах преподавания забыли школу, в которой несчастные дети преданы в жертву тупым, бестолковым или ленивым учителям, а каждый из этих учителей готов в каждую минуту спорить об общих началах того самого дела, которое он не делает и не понимает. Суды наши плачут по юристам, по опытным практикам, преданным делу из-за самого дела; университеты наши плачут по юристам-профессорам, облюбившим свое дело как дело жизни; а юристы наши, ученые и практики, едва сойдутся, глядишь – скоро уже готовы разорвать друг друга из-за подозрения в ретроградстве, в клерикализме, из-за идеи наказания, из-за идеи суда присяжных, из-за гражданского брака, из-за тюремного устройства той или другой системы. Войдите в заседание одной из многочисленных комиссий для рассмотрения того или другого проекта; прислушайтесь к речам, которыми в таком диком беспорядке перебивают друг друга с концов зеленого стола члены, насланные из разных ведомств; всмотритесь во взгляды, которые они мечут друг в друга, – какое недоверие, какая подозрительность! Какая аффектация в приемах речи! Какое пустозвонство фраз! Из-за чего все это? Из-за дела, которым редко кто занимался в действительности? Нет, все из-за какой-то идейки, которую схватил где-то случайно оратор и которую понес с собою или, лучше сказать, на которой понес себя – *ad astra*⁵⁰; все из-за какой-то теории, да еще из-за теории, в редких случаях хорошо вычитанной из хорошей книги! В любой гостиной, едва разговор выйдет из колеи обычных фраз и новостей, повторяется в ином виде то же явление. Происходит смешение языков с такою путаницей понятий, с такими иногда резкими внутренними противоречиями мысли, что останавливаешься в изумлении и в ужасе. Не редкость встретить людей, которые

своими речами и образом действий своих точно протестуют с гордостью против своего же имени, против звания, которое носят, против дела, которому наружно служат и которым живут и содержатся. Случается слышать, как воспитатель, управляющий заведением, презрительно отзывается о педагогах, отстаивающих строгость дисциплины в воспитании; как военный офицер с негодованием громит отсталых людей, доказывающих необходимость дисциплины для армии; как священник с высшей точки зрения осуживает обычай ходить по праздникам к обедне; как судья и ученый юрист обзывает невеждами людей, требующих наказания вору, утверждающих, что прислуга должна повиноваться хозяевам... Все пошли врознь, всем стало трудно соединяться для деятельности, потому что все с первых же шагов расходятся в мыслях о деле или, вернее сказать, во фразах, облакающих неясные мысли.

Отчего происходит все это? Кажется, главную причину надо бы искать в непомерном, уродливом развитии самолюбия, в силу которого молодой, не видавший еще света человек, входя в незнакомое ему общество, сразу относится к нему враждебно, теряет спокойное самосознание, становится резок, отрывист и дерзок. Он приносит в незнакомую среду единственный капитал – высокое о себе мнение, и одна мысль, что его разумеют ниже, чем он сам себя понимает, приводит уже его в раздражение, отнимает у него простоту, ставит его на ходули, облакает его в протест, не имеющий смысла... Представим себе целую компанию, составленную из таких болезненно, не в меру самолюбивых людей: это сопоставление довольно комично, взятое само по себе, но, как ни смешно, оно служит образом того состояния, в котором находится у нас так часто компания людей, случайно сошедшихся вместе или соединившихся для общей деятельности.

ХИ

Есть термины, износившиеся до пошлости оттого, что их беспрерывно употребляют без определительной мысли, отто-

го, что их слышишь во всяком углу от всякого, и, произнося их, глупый готов почитать себя умным, невежда воображает себя стоящим на высоте знания. До того может износиться ходячее на рынке слово, что серьезному человеку становится уже совестно употреблять его: он чувствует, что это слово, прозвучав в воздухе, принимает отражение всех пустых и пошлых представлений, с которыми ежеминутно произносится оно на рынке ходячей фразы. Тогда наступает пора сдать такой термин в кладовую мысли: надо ему вылежаться в покое, надо ему очиститься в глубоком горниле самоиспытующей мысли, пока может оно снова явиться на свет ясным и определенным ее выражением.

Такая судьба угрожает, кажется, одному из любимых наших терминов: «развивать», «развитие». В книгах, брошюрах, руководящих статьях и фельетонах, застольных речах, проповедях, салонных разговорах, официальных бумагах, на лекциях, в уроках гимназии и народной школы – всюду прожужжало слух это ходячее слово, и уже тоска нападает на душу, когда оно произносится. Пора бы, кажется, приняться за серьезную проверку понятия, которое в этом слове заключается; пора бы вспомнить, что этот термин – «развитие» – не имеет определительного смысла без связи с другим термином – «сосредоточение». Пора бы обратиться за разъяснением понятий к общей матери и учительнице – природе. От нее нетрудно научиться, что всякое развитие происходит из центра и без центра немислимо, что ни один цветок не распустится из почки и ни в одном цветке не завяжется плод, если иссохнет центр жидкительной силы образования и обращения соков. Но о природе мы, как будто на беду, забыли, и, не справляясь с нею, составляем свои детские рецепты развития: в цветочной почке мы хотим механически раскрыть и расправить лепестки грубою рукою прежде, нежели настала им пора раскрыться внутренним действием природной силы, и радуемся, и называем это развитием; мы только уродуем почку, и раскрытые нами лепестки засыхают без здорового цветения, без надежды на плод здоровый! Не безумное ли это

дело? И не похоже ли оно на фантазию того ребенка в басне, который думал чашкою вычерпать море?

А сколько является отовсюду таких безумных ребят, таких непризванных развивателей и учителей! Страсть их к развиванию доходит до фанатизма, и нет такого глупца и невежды, который не считал бы себя способным развивать кого-нибудь. Но пусть бы они одни носились со своею неразумною страстью: всего поразительнее то, что вместе с ними, иногда вслед за ними, и люди, по-видимому, разумные, люди серьезной мысли, точно околдованные волшебным словом, ходячею монетой рынка, принимаются повторять его, поддакивать ему и на этом слове, на смутном понятии, с ним соединяемом, строят целые системы образовательной и педагогической деятельности.

И все эти фантазии разыгрываются, все эти планы сочиняются для того, чтобы оперировать, точно *in anima vili*⁵¹, на массе так называемых темных людей, на массе народной. На нее готовится поход, но ни полководцы, ни воины – никто не дает себе труда слиться с нею, пожить в ней, исследовать ее психическую природу, ее душу, потому что у народа есть душа, к которой надобно приобщиться для того, чтобы уразуметь ее! Нет, преобразователи ее и просветители видят в ней только известную величину, известную данную умственной силы, над которою требуется производить опыты. И притом какая удивительная смелость и самоуверенность! Требуется во имя какой-то высшей и безусловной цели производить эти опыты обязательно и принудительно! Как производить их, в этом сами учителя не согласны: сколько голов – столько систем и приемов. В одном только сходятся – в твердом намерении действовать на мысль и развивать, развивать ее! Напрасно возражают им слабые голоса, что у простого человека не один ум, что у него душа есть, такая же, как у всякого другого, что в сердце у него та же крепость, на которой надо ему строить всю жизнь свою и на которой до сих пор стоит у него церковное строение... Нет, они обращаются все к мысли и хотят вызвать ее к праздной, в сущности, деятельности, на вопросах, давно уже легко и дешево решенных самими про-

светителями. Какое заблуждение! Если бы потрудились они, без самоуверенности и без высокомерной мысли о своем разуме, войти в темную массу и приобщиться к ней, они увидели бы, что темный человек сам ищет и просит света и жаждет просвещения, но открывает вход ему только с той стороны, с которой оно может взаправду просветить его, не смутив души его, не разорив его жизни. Он чувствует, что всего дороже ему духовная его природа, и через сердце хочет пролить свет в нее. Когда с этой стороны прилетит ему свет разума, он не ослепит его, не разорит его жизни, не превысит центр тяжести, на котором утверждено его основание. Но когда операция развивания направлена исключительно на мысль его, когда его хотят начинить так называемыми знаниями и фактами учебников и общими выводами теорий, с ним произойдет то же, что происходит с конусом, когда хотят утвердить конус на острой вершине.

XIII

Жизнь – движение. Кажется, никогда еще не было столь усиленного, как ныне, движения жизни, но это движение порывистое, лихорадочное, болезненное; не естественная смена ощущения, но какая-то погоня за ощущениями, не последовательное стремление к одной цели, но цепь многообразных стремлений, колеблемых ветрами отовсюду.

Жизнь ли это? – спрашиваешь себя, когда видишь толпу людей, поглощающих жизнь и поглощаемых жизнью, думающих и тоскующих о жизни.

«Самое высшее, – говорит Гете, – что прияли мы от Бога и от природы – это жизнь, круговращательное около себя движение монады, движение, не знающее остановки и покоя; всякому дано природное побуждение поддерживать и воспитывать эту жизнь, хотя существо ее остается тайною для каждого и всех живущих». Жить, казалось бы, какое простое дело! *Quel est mon mestier*^{52?} – спрашивал себя Монтень⁵³ и отвечал: *Mon mestier c'est vivre* (Дело мое – жить).

Но какое непростое, какое сложное дело сотворили себе из жизни люди, особенно люди нового мира, когда стали крепче и глубже вдумываться в жизнь свою и в цель своей жизни, и на этой думе останавливаться беспокойною мыслью. Жить без мысли – значило бы жить, подобно животному, но эта мысль должна быть живая, мысль для жизни. А в наше время кажется иногда, что люди живут для мысли, и вся жизнь – простой и драгоценный дар Божий – поглощается у них в мысли. Жизнь – это свободное движение всех сил и стремлений, вложенных в природу человеческую; цель ее – в ней самой, в этом движении заключается, и потому ставить целью жизни движение одного ума, одного сердца, одного страстного влечения – значит суживать жизнь и уродовать ее. Она изуродована – изуродована искусственно – мыслью о жизни. Тот же Гете в свое время уже восклицал с болезненным чувством: «Бедный, бедный человек нашего времени – у него все ушло в одну голову! (Armer Mensch, an dem der Korpf alles ist). Живем ли мы? – продолжает он. – Мы выворотили себя из жизни анализом жизни (heraus-studirt aus dem Leben) и должны делать усилия, чтобы снова войти в жизнь». Гете говорит это, глядя на профессоров, на ученых и молодых студентов своего времени. Но с тех пор какие успехи сделал анализ жизни и как стала жизнь им разъедена! В ту пору, во 2-й половине XVIII столетия, мыслителя-мудреца поражал усилившийся в умах разлад между мыслью и жизнью, удивляла обратившаяся в моду для молодого поколения тоска по жизни (Weltschmerz). Ныне такая тоска в этой ее форме вышла уже из моды, но место ее заняла и господственно овладевает умами в систему приведенная, отчаянная, неутолимая новая теория жизни – теория пессимизма. Это уже не простая тоска от противоречия между действительностью здешнего мира и высшими идеалами духа – это решительное отрицание всего этого мира, в котором жизнь движется; не простая тоска по жизни, возбужденная борьбою со злом в человечестве, но разрушительное, злобное, безотрадное отрицание самой жизни в существе ее, отрицание, доходящее до того, что

единственным исходом из той бездны отчаяния предлагается «искоренение в душе самого желания жить».

Итак, вот до какого извращения жизни мы дожили. Мы думали, что мысль служит к направлению жизни, к упорядочению ее движений, что она пособляет жить, но вот дошло до того, что жизнь вовсе упраздняется мыслию – и не остается ни жизни, ни мысли. Такова нынче модная теория жизни, жадно воспринимаемая читателями и почитателями талантливого ее проповедника, теория, успевшая еще более оболгать жизнь, довольно и без того оболганную, ибо сами проповедники и последователи этой теории продолжают жить на воле всех своих животных побуждений, осуществляя в себе до бесстыдной лжи доходящее противоречие между жизнью и искусственно созданной теорией жизни – теорией, в которой нет места ни вере, ни правде, ни энергии воли, стремящейся воплотить себя в деятельности. Что же остается? Остается наглое, не из жизни, но из книг вычитанное отрицание веры, остается мертвая схема правды, взятая тоже из книг, мертвый образ природы в виде химической формулы и дряблая воля, склонная к отрицанию материально неудавшейся жизни.

XIV

Слово – драгоценное создание духа, драгоценное орудие дел человеческих. Оно призвано служить делу, но и само оно в некотором смысле есть дело. Но как часто становится оно делом пустословия, орудием спора, ни к чему не приводящего, кроме смешения понятий и столкновения личных самолюбий. И думается иногда, что наше время есть время пустословия. Точно всеми овладела какая-то страсть к речам, какая-то похоть ораторства. Заговорили все, кому есть что сказать и кому сказать нечего: и те, кто понимают и знают, и те, кто понятия не имеют о том, о чем говорят. До того уже доходит, что люди дела, люди, имеющие *что* сказать и умеющие *как* сказать, молчат посреди общего смешения языков, в котором каждый стремится сказать что-нибудь. Нет собрания, нет сколько-нибудь

многолюдного обеда без речей, в которых под влиянием минутных впечатлений не изливались бы в громких фразах потоки обычного красноречия. Единственно ради речей устраиваются торжественные собрания, учреждаются юбилеи и готовятся речи, в которых главной задачей оратора служит выставить на показ себя и свое искусство владеть фразой и фразою возбуждать одушевление. Недорого бывает это одушевление, ибо вскоре сменяется едкой критикой и самой речи, и ее предмета; случается, что и сам оратор готов смеяться над своим искусственным пафосом и, стало быть, над самим собой.

Но с измельчанием слова мельчает и мысль, мельчает и дробится на кусочки, подобно разбитому зеркалу. Это отражается на всей словесной деятельности: всеми овладевает какая-то страсть обо всем рассуждать и все обсуждать. Без рассуждения не стоит никакое дело, но всякое рассуждение должно приводить к чему-нибудь, вести к цели; но к чему оно годно, когда у рассуждающих одна цель – как-нибудь высказаться, выказать себя и опровергнуть возражения. Так иногда рассуждение, затягиваясь без конца, все состоит из опровержения с той и с другой стороны возражений. С этим приемом рассуждения ныне встречаешься всюду: и в проповедях, и в профессорских лекциях, и в критике, и, наконец, в дебатах разных собраний, обсуждающих вопросы законодательства и управления. Иногда кажется: точно работает мельница одним движением колес, а помола не видно.

Кто хочет сказать свое слово, должен бы спросить себя: какую мысль несет он и хочет выразить – положительную или отрицательную. Если отрицательную, тогда естественно, что отвечать будет тоже отрицательная мысль, и таким образом все рассуждение превращается в борьбу взаимных отрицаний. Но кто хочет внести в рассуждение свет и разум, тот выступает с положительной мыслью, которую успел в себе выносить в тишине, ибо только в тишине и на верхах, а не в болоте и не в трясине вырабатывается истина. С такою мыслью и писатель, и оратор может проникнуть в сердце и в глубину вопроса, озарить его светом, показать в нем истину.

Но как ведутся у нас обычные прения? Кто-нибудь выступает защитником своего или заявленного мнения, подкрепляя его аргументами в защиту своего и непременно другими в опровержение иных, противоположных мнений. Вслед за ним выступают защитники этих мнений и пространно занимаются опровержением всей цепи аргументов, которую низал в своей речи противник, а в это время он ждет своей очереди, внимательно отмечая все то, чем эта речь наполнена. И так тянется на неопределенное время состязание, все составленное из кусочков дробной, иногда мелкой полемики. И конца ему не видится, доколе не появится кто-нибудь с кратким, ясным и прямым словом и не осветит предмет из глубины вопроса светом истины.

XV

«Идолы у язычников серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть очи и не видят, есть уши и не слышат, и нет духа в устах их. Подобны им будут делающие их, все надеющиеся на них»⁵⁴.

Это сказано об идолах языческого мира, и то же следует сказать об идолах нового мира, об идолах ума и доктрины, об идолах так называемого общественного мнения. Явится идея и овладевает умами – и развивается, и расширяется, и приобретает художественное построение теории, облекается в термин, который служит знаменем для множества сторонников, из коих немногие могут составить себе точное понятие о том, в чем истинный смысл термина, и разделить в представлении, соединяемом с ним, истинное от ложного. Происходит нечто вроде верования в слово и рабского ему поклонения, причем вера рождается в суеверие: люди, забывая первообраз, поклоняются образу; служение идее мало-помалу становится промыслом, и подобно тому, что случилось в Эфесе, масса рабочих, изготавливающих на продажу медные изображения храма Дианы, не терпя проповедника истинной не идольской веры, гонят его вон с неистовыми криками: «Велика Артемида Эфесская!»

Немало этих понятий и ставших как бы священными терминами; случается нередко, что одни отживают свое время и сменяются другими. Но есть особо знаменитые термины, которые, начиная с XVIII столетия, овладели умами и, донею расширяя свою область, продолжают обольщать возрастающие поколения. Эти три слова – «свобода», «равенство», «братство». Больше же сих – «свобода».

Вдумываешься в смысл этого слова. Свободу нельзя признать за деятельное начало, порождающее и определяющее действие человека. Это не какая-либо существенная форма бытия, это не организм политический, не учреждение социального быта, подобное, например, религии, семье, собственности. Свобода сама по себе есть, можно сказать, лишь естественное условие причинной связи в действиях воли человеческой. В этом смысле она производит явления и действия самые противоположные – добрые или дурные, полезные или вредные и губительные.

Очевидно, что для соблюдения и порядка, и справедливости, и пользы общественной свобода подлежит известным ограничениям и стеснениям. Отсюда столкновения, доходящие до борьбы, между свободой и авторитетом.

Однако для приведения в порядок свободной деятельности человечества недостаточно одних средств стеснения и репрессии. Действие их имеет только отрицательное значение и само подвержено заблуждениям, ошибкам, увлечениям грубой силы, страсти и недомыслия.

Эта борьба между свободой и авторитетом не имела бы исхода, когда бы в душе человеческой не было внутреннего судьи, действующего на самый источник человеческой деятельности – на волю. Это совесть, средоточие и опора закона нравственного. Она одна дает нашим действиям правую цену; она, придавая воле господство над побуждениями инстинкта, творит из нее силу свободную. Итак, в нравственном законе – истинное начало свободы и вместе с тем начало духовного объединения людей.

Нравственный закон заложен в самой глубине души человеческой, куда не проникает разум, и потому властная сила

этого закона всюду между людьми держится верою и утверждается на религиозном чувстве. Сколько бы ныне ни уверяли нас новые теории натурализма, что нравственное начало – дело естества, не зависящее от религии, помимо нее не найдем для них нигде твердой опоры. Только религия, объединяя людей, создает из них органическое целое, и в этом смысле, без сомнения, даже грубая вера благодетельнее совершенного безверия. Но одна лишь христианская вера, почерпая из совершенства Божественного непреложное нравственное начало, отрицая порочные начала эгоизма, гордости и похоти человеческой в самом корне и во всех проявлениях, может воспитать в человечестве истинную свободу. Каковы бы ни были пороки, заблуждения, злоупотребления, преступления служителей Церкви, как бы далеко ни уклонялась жизнь членов ее от идеала веры и жизни, положенного в основание Церкви, этот идеал остается во всей своей чистоте неприкосновенным, и где еще может отыскать себе человечество твердое начало правды, если отречется от веры в этот идеал и утратит его?

Итак, казалось бы, что все горячие поклонники начала свободы должны ратовать за веру. На деле оказывается противное. Ревнители свободы, не познав истины, возненавидели ее, и на нее, прежде всего, обрушилась эта ненависть. Философы XVIII столетия, негодуя на насилия и злоупотребления светской власти, примирались, однако, со всяким насилием, в коем мечтали видеть воплощение идола свободы, и прославляли всех деспотов просвещения: Дантон⁵⁵, Робеспьер⁵⁶, Марат⁵⁷ встречали между ними хвалителей. Зато всю свою ненависть обратили они против веры. Нетрудно было разбить страшные беспорядки и злоупотребления церковных прелатов, но сквозь эту скорлупу верований главная цель была – уничтожить само ядро их (*ecrasez l'infâme*) – веру. Пришлось над этим задуматься, и философия принялась очищать веру свободною мыслию.

Безусловная свобода мышления стала идолом. Ревнители помышляли не столько о политической свободе, сколько о свободе мышления и речи, из которой должны истечь все-

возможные свободы. Все движение человечества к успеху, все движения истории сводилось у них к одному: завоевать для себя безграничное право критики и словесной речи – какой бы и о чем бы то ни было. С этой точки зрения, для всей цивилизации нет другой меры, кроме независимой свободы всякого личного мнения. Кто ратует за эту свободу и провозглашает ее, тот, какой бы ни был злодей, считается героем, благодетелем человечества. Кто смеет возражать, как бы ни возражал разумно и добросовестно, того следует поставить к позорному столбу общественного мнения.

Но разве это истинная, настоящая свобода? Не может быть таковою свобода теоретическая, умственная: это свобода призрачная, лживая, а ложь не порождает правды. Это мы и видим на деле. Кто ставит себя вольным, самовластным оракулом своего личного мнения, входит мало-помалу в апофеоз своего ума и своей мысли: развивая ее, составляет себе доктрину, а когда доктрина овладевает человеком, истина от него скрывается, потому что теряет реальность и сливается с мыслью, которая ее породила. Добро и зло, истина и ложь – все становится делом мнения.

Во всяком народе, кроме верований, кроме обычаев нравственных, есть известные, исторически сложившиеся и проникшие в души руководительные идеи, составляющие сущность общей вековой жизни и отличительное свойство национального характера: единство происхождения, племенное сродство, единство преданий и воспоминаний, и вкусов, единство воззрений на власть и правительство. В этом – источники жизненной крепости для каждого народа, итоги нравственной дисциплины, связующей его в единое целое.

И вот в наше время все эти руководительные мысли и убеждения всюду подвергнула свободная мысль критике и разрушению. Бог, душа, нравственная ответственность, различение добра и зла, национальные предания, общественные власти, семья, отношения супругов, власть родительская, все веками преподанные уроки народного разума и опыта – все стало спорным, все заколебалось. Умные люди, разбирая все,

потратили громаду труда и таланта на разрушение старых зданий и покрыли все развалинами, ничего не создав твердого и прочного. Как будто поставили они высшею целью своей умственной работы сопоставлять критически разные системы и производить критический анализ всяких мыслей с тем, чтобы не извлечь из них ничего существенного и крепкого.

Всякий стремится создать свою истину, изобрести свою метафизическую систему и свой кодекс обязанностей, уединяясь в кругу своего я и сталкиваясь с другими я в нескончаемых спорах. Невольно задумывается надо всем этим человек старого века и спрашивает: неужели когда-нибудь придется видеть, что толпа людская заменила собою народ и варварские термины «коллективности и солидарности» заступили священное имя отечества?

XVI

Как было во дни Ноевы! Люди жили, ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока пришла вода и смыла все.

С тех пор сколько раз повторялось бывшее во дни Ноевы. Пустыни, когда-то процветавшие жизнью, внезапно открывают нам развалины царств и следы народов, когда-то бывших в благополучии и славе и погибших бесследно. Всматриваясь в развалины, мы открываем в них следы пышной нередко цивилизации и спрашиваем себя: куда девалась и как распалась эта сила, как погиб весь пышный цвет ее? И всякий раз не находим иного ответа, как тот самый, который дан нам на дни Ноевы. Цвет облетел, соки застыли, сила истощилась оттого, что корни подгнили, дух иссяк в душе народной и вся цивилизация обратилась в плоть и жажду наслаждения. У всех народов арийского племени держатся предания о цветущей, благополучной эпохе золотого века, когда люди были крепки и сильны духом веры и идеального стремления к вечности, когда история полна делами борьбы богатырей со злыми исполинами и чудовищами, когда человек носил в себе начало и правды, и верности, когда жизнь была проста, любовь целомудренна, и

бессильна жажда захвата и приобретения. А затем всюду держатся предания о смене этого века веком тьмы и погибели: в индийских преданиях он зовется веком Кали⁵⁸, у германских племен – волчьим веком.

И вот какими знакомыми людям и нынешнего века чертами описывает индийский поэт Тульчи Дас⁵⁹ за много веков до нашей эры эту эпоху мрака и распада.

«В общем разврате, – пишет он, – иссякла вера; священные книги пришли в забвение, а вместо того лживые учителя рассеяли всюду ложные учения по своим фантазиям. Народ опутан обманом и ложью; корысть овладела всеми – и не стало места доброму делу. Люди всех каст забыли свое призвание: браманы⁶⁰ стали торговать Ведами⁶¹; короли стали грабить и притеснять народ – никому нет уже дела до заповедей откровения. Что угодно стало большинству, то считается за правду; кто громче кричит, тот слывет за первого ученого. Мошенники и лицемеры почитаются за святых. Муж стал подвластен жене и вертится перед женою, как обезьяна. Все преданы похоти, корысти и насилию, все смеются над богами, над святыней, над священными книгами. Жены бегут от добрых мужей, отдаваясь бродягам и проходимцам. Дочь не слушает отца. Никто не доволен, никто никого не уважает, ни у кого нет мира в душе. Мир исполнен зависти, клеветы, корысти – о кротости нет и помину»⁶².

Знание и дело

С того времени, как проснулась и пришла в движение мысль в нашем обществе, стали нам твердить на все лады о необходимости знания; столько твердили, что само понятие о просвещении отождествилось в умах нашей интеллигенции с количеством знаний. Отсюда – расширение программ и высшего, и среднего, и даже начального обучения, отсюда – полки наскоро навербованных бестолковых учителей, приставлен-

ных к каждой науке для того, чтобы пустоты не было, отсюда – формализм экзаменов и испытательных комиссий, отсюда – расположение журналов, трактующих *de omni re scibili et quibusdam aliis*⁶³ и наполняющих головы читателей на рынке интеллигенции массой отрывочных, перепутанных между собою мыслей и сведений. Результат всего этого жалкий: расположение мнимой интеллигенции, воображающей себя знающей, но лишенной того, к чему должно вести всякое знание, т[о] е[сть] умения взяться за дело, делать его добросовестно и искусно и поставить его интересом своей жизни.

Всякий человек призван к делу и должен выбрать себе известное дело; а для того, чтобы уметь делать его, необходимо собраться, сосредоточиться. «Не расширяй судьбы твоей, – было слово древнего оракула, – старайся не гулять за пределами твоего дела». Рассеяние в разные стороны развлекает мысль, расслабляет волю и мешает сосредоточиться на деле. Развлекающая во все стороны разнообразными движениями любознательности и любопытства, человек не может скопить в себе и сосредоточить такой запас жизненной силы, какой необходим для решительного перехода от знания к деланию. Сколько бы ни поглотил в себе образов и сведений дилетантизм любознательности и вкуса, все останется бесплодно, если не может он собрать все свое существо в себе и двинуть его к делу.

Знание само по себе не воспитывает ни умения, ни воли. Мы видим ежедневные тому примеры. Много видим людей умных, острых памятью и воображением, образованных, ученых и бессильных в решительную минуту, когда требуется решение для дела или твердое слово в совете. Но жизнь наша и частная, и общественная при усложнении отношений, при смешении понятий и вкусов требует непрестанно скорого и твердого решения. И мы видим, когда оно требуется, люди идут к нему не твердыми ногами, а окольными путями, оглядываясь на все стороны. В эту пору человек, имеющий ясное сознание и волю, способный в минуту сообразить все, что знает в связи с предметом решения, стоит для дела дороже множества умов неверных и колеблющихся.

Отсюда формализм и бесплодность многих происходящих у нас советов и совещаний: люди говорят, не умея сосредоточиться на предмете рассуждения. Но лучший оратор – не тот, кто изыскивает лишь способы уловить и запутать противника мелким оружием казуистики или потоком пышных угроз, но тот, кто приходит в совет с твердым и ясным мнением о деле и высказывает его ясно и твердо; не тот, кто, смешивая цвета и оттенки, способен доказывать, что в черном есть белое и в белом – черное, но тот, кто прямо и сознательно называет белое белым и черное – черным. Не тот истинный судья, кто, разлагая по волоску каждое требование и возражение, творит формальный суд по формальным признакам правды, но тот, кто, заботясь о существенной правде, умеет ясною мыслию проникнуть в существо отношений между сторонами. Не тот годный на дело военачальник, кто изучил до подробности всю историю походов и битв и все приемы военной тактики, но тот, кто может в решительную минуту острым взглядом сообразить в уме своем положение местности и военных сил и решительным действием воли определить судьбу сражения.

Вера

I

Здесь на Земле подлинно мы ходим верою, а не видением, и жестоко ошибается тот, кто думает, что погасил в себе веру, и хочет жить отныне одним видением. Как бы высоко ни поставил себя над миром ум человеческий, он не разделен с душою, а душа все стремится веровать, и веровать безусловно: без веры прожить нельзя человеку. И не жалкий ли это обман, что человек, отвергая веру в действительное, в существующее, в то, что сказывается душе его реальной истиной, делает предмет своей веры теорию и формулу, ее чествует, ей, как идолу, поклоняется, ей готов принести в жертву себя само-

го и целый мир в душе своей, и свободу свою, и всех своих ближних. Теория и формула, какие бы ни были, не могут заключать в себе безусловное, и каждая из них, возникнув в уме человеческом, есть, по необходимости, нечто неполное, сомнительное, условное и лживое. Что выше меня неизмеримо, что от века было и есть, что неизменно и бесконечно, чего не могу я обнять, но что меня объемлет и держит – вот во что хочу я верить, как в безусловную истину, а не в дело рук своих, не в творение ума своего, не в логическую формулу мысли. Бесконечность вселенной и начало жизни невозможно вместить в логическую формулу. Бедный человек, кто, составив себе такую формулу, хочет с нею пройти через хаос бытия: хаос поглотит его вместе с жалкой его формулой. Сознание своего бессмертного я, вера в единого Бога, ощущение греха, искание совершенства, жертва любви, чувство долга – вот истины, в которые душа верит, не обманываясь, не идолопоклонствуя перед формулой и теорией.

II

Какое таинство религиозная жизнь народа такого, как наш, оставленного самому себе, неученого! Спрашиваешь себя: откуда вытекает она? И когда пытаешься дойти до источника, ничего не находишь. Наше духовенство мало и редко учит, оно служит в церкви и исполняет требы. Для людей неграмотных Библия не существует; остается служба церковная и несколько молитв, которые, передаваясь от родителей к детям, служат единственным соединительным звеном между отдельным лицом и Церковью. И еще оказывается в иных, глухих местностях, что народ не понимает решительно ничего ни в словах службы церковной, ни даже в «Отче наш», повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы.

И, однако, во всех этих невоспитанных умах воздвигнут, как бы в Афинах, неизвестно кем, алтарь неведомому Богу; для всех действительное присутствие воли Провидения во всех со-

бытиях жизни есть факт столь бесспорный, так твердо укоренившийся в сознании, что, когда приходит смерть, эти люди, которым никто никогда не говорил о Боге, отверзают Ему дверь свою, как известному и давно ожидаемому Гостю. Они в буквальном смысле отдают Богу душу.

III

*В начале было слово*⁶⁴, – так благовествует Евангелист. Великий германский писатель захотел поправить эту мысль богослова своим философским анализом, заставив над нею задуматься Фауста. «Нет, – говорит Фауст, – в начале было дело»⁶⁵. Когда бы Гете писал своего Фауста в наше время, Фауст сказал бы, вероятно: «В начале был факт». Факт – это излюбленное понятие новейшей материальной философии, ячейка, из которой она строит вселенную, столп и основание всего того, что она называет истиной.

Какая неправда! Истина есть нечто абсолютное, и только абсолютное может быть основанием жизни человеческой. Все остальное не твердо, все остальное исчезает в колеблющихся образах и очертаниях, стало быть, не может служить основанием. Факт есть нечто существенно реальное, неразрывно связанное с условиями материальной природы и в ней только мыслимое. Но едва мы пытаемся отделять этот факт от материальной его среды, определить духовное его начало, уловить его истинный разум, как уже теряемся в сети предположений, гипотез, недоумений, возникающих в уме каждого отдельного мыслителя, и чувствуем свое бессилие познать его истину. Вот почему история представляет нам такое смешение представлений о каждом событии, о каждом историческом деятеле, когда мы пытаемся анализировать духовное значение того или другого. Самая высшая добросовестность исторического исследования может стремиться лишь к начертанию верной картины событий и действий в связи с современными им условиями жизни и деятельности, к восстановлению факта в полной по возможности матери-

альной его обстановке, с исследованием причин, последствий и побудительных причин исторической деятельности. Очевидно, что наука здесь не может обойтись без художества, и всякий подлинный историк должен быть художником в труде своем. Для художества необходим идеал; следовательно, историк в оценке событий и действующих лиц непременно имеет в виду идеал, черты которого могут быть не одинаковы у каждого. Каждый склонен увлекаться своим идеалом, т[о] е[сть] своим представлением о совершенстве в побуждениях, делах и учреждениях человеческих. К событиям во взаимной их связи историк относится критически, и характер критики определяется сложившимся у каждого мирозерцанием. Вот почему так различны и часто противоречивы суждения и приговоры исторической критики о знаменитейших деятелях и важнейших событиях истории. Кого один возвышал вчера, того другой сегодня развенчивает, и наоборот: кого прежде историческая наука выставляла извергом, в том после находит черты нравственного превосходства. Едва ли когда будет конец этим колебаниям исторической критики, ибо сам идеал ее представляет колеблющиеся черты и с каждым поколением ученых и художников изменяется.

Несравненно раньше прагматической истории из глубины народного сознания и творчества народного возникла легенда и продолжает твориться наряду с историей. Она служит сама источником для истории и предметом исторической критики, но, невзирая ни на какую критику, остается драгоценным достоянием народа, сохраняя в себе всю свежесть непосредственного представления. Народ понимает ее и любит ее и, прибавим, продолжает творить ее не только потому, что склоняется к чудесному, но потому еще, что чувствует в ней глубокую истину, абсолютную истину идеи и чувства, истину, которой не может дать ему никакой самый тонкий и художественный критический анализ фактов. Тех героев народной поэмы, которых развенчивает история, народ продолжает чтить; в них драгоценны для него черты идеала – идеала силы, добродетели, святости, ибо в этих идеалах, а не в людях, не в событиях, не в проходя-

щих образах жизни народ чует абсолютную истину. Ученые не хотят понять, что народ чует душой, что эту абсолютную истину нельзя уловить материально, выставить осязательно, определить числом и мерою, но в нее можно и должно верить, и абсолютная истина доступна только вере. Ничего нет совершенного, ничего цельного, ничего единого в делах, чувствах и побуждениях человеческих, ибо всякий человек раздвоен сам в себе и только стремится к объединению, падая и колеблясь на каждом шагу. Итак, если подойдем с анализом к каждому подвигу, к каждому событию, к каждому историческому лицу, никто его не выдержит, и героев не будет ни единого. Каждому подвигу предшествует такая цепь нравственных колебаний, его объемлет такая сеть разнохарактерных ощущений, побуждений, случайных событий, направляющих, изменяющих, рассекающих волю человеческую, что для пытливого ума не остается и места подвигу как цельному свободному проявлению воли, направленной к идеалу. Но в народном представлении подвиг является именно цельным и живым проявлением силы – так верует народ, и без этой веры жить не может, ибо на ней вся жизнь человека держится посреди рыдания и жалости, и горя, и лжи, кою она материально наполнена.

Вот почему заблуждаются те, которые хотят разложить эту веру в народе, отнять ее у него под предлогом заботы о мнимой исторической истине. Людям необходима вера в идеал истины и добра, но как сохранить эту веру, как поддержать ее, если она не воплощается в живом образе? Отнять у людей этот образ – значит отнять саму веру, которая в нем выражается, веру в абсолютную истину, в цельное совершенство. Вот почему, между прочим, любимое по преимуществу чтение русского народа – жития святых, Четьи-Минеи, все составленные из живых образов подвига, добродетели, нравственного совершенства. Каждый из этих героев святости был человек со всеми слабостями человеческой природы, со всяким колебанием мысли, побуждения и воли, со всею низостью падения человеческого, и если бы можно было разложить душу его, мы бы увидели в ней всю тайну первородного греха и все бессилие

борьбы человека с самим собою. Но из этой борьбы вышел он победителем, но борьба эта совершалась во имя высших идеалов совершенства, мера которого не на Земле, а на небе, в области абсолютного. И этот подвиг его борьбы описала живыми чертами подобная, сочувственная душа благочестивого писателя, которая вложила в описание живую любовь к той же истине, живое стремление к тому же идеалу. Все, в чем народ чувствует истину, и не сомневается, и верует, в то время когда пытливая философия ученого агностика пытается факты и, думая познать в них материальную истину, в то же время о духовной истине, об истине, которая сама отзывается в верующей душе, насмешливо спрашивает: «Что есть истина?»

IV

В мифе Прометея⁶⁶, связанного Зевсом⁶⁷ и пригвожденного к кавказскому утесу, нельзя не распознать идею новейшего скептицизма в сопоставлении с идеей Всемогущего Бога, Создателя вселенной. Это протест гордого духа против общего верования в бытие Божие, отрицание невыносимого для гордости чувства стыдения (*reverentia*) перед Божеством, покорности и поклонения Божеству. Нужды нет, что от Божества взяты, у Божества похищен священный огонь, которым живет, согревается, оплодотворяется человечество, человек знать этого не хочет и, владея Божественным огнем, хочет жить в отчуждении от Божества, самовластно.

Сфинкс древней басни сидел на распутье и предлагал каждому путнику свою загадку. Кто не умел разгадать ее, тот был жертвою сфинкса и повергался в пропасть: одолеть чудовище мог лишь мудрец, находивший разгадку.

Что такое сфинкс в нашей жизни? Вся наша жизнь – бесконечная, с виду механическая цепь явлений и событий (фактов). Друг друга сменяя, совокупляясь друг с другом, все они, пролетая мимо, несут на крыльях свои вопросы духу человеческого, и каждая минута в коловращении времени приводит свои современные вопросы. Потребна мудрость духа, чтобы отве-

тить на них, чтоб разрешить их: у кого нет ее, тот становится рабом фактов и явлений, рабом своего времени, хотя бы и величался человек современным. Факты подавляют его со всех сторон, господствуют над ним, и выходит человек пошлых путей, чувственного обычая (рутинер) и до того доходит в слепом повиновении фактам, что исчезнет в нем, наконец, последняя искра света, просвещающего всякое существо, достойное имени и звания человеческого. Но когда человек остается верен лучшим духовным побуждениям своей природы и когда умеет различать основные начала духовной жизни и твердо стоит в духе, не повинаясь фактам, но господствуя над ними, то все они ровно ложатся около него в жизни, каждый на свое место: не они его одолели, но он одолел их.

Сфинкс древнего Египта – не то, что сфинкс древней Греции, хотя и тот и другой выражают таинство души человеческой.

Египетский сфинкс – мирное существо получеловеческое, полуживотное. Перед храмом, перед царскою гробницей, проходя длинным рядом сфинксов, человек ощущает близость Божества и таинства смерти. Сфинкс является образом таинственного созерцания, погруженного в себя и в идею Божества: древние египтяне олицетворяли в нем Божество солнечного света.

Не таков сфинкс нового мира, создание греческой фантазии. Это существо демонического происхождения, порождение чудовищного Тифона⁶⁸ и Ехидны⁶⁹, олицетворение не светлого Божества, но темной силы Тартара⁷⁰, существо зверское, хищное, губительное. И в нем выражается таинство, но не таинство погруженного в себя созерцания, а таинство страстной, отрицательной, насильственной и разрушительной мысли.

И этот сфинкс донныне не перестает задавать человечеству странные, таинственные загадки, загадки неразрешимые. Тысячи умов пытаются найти решение, разгадать загадку жизни и религии – и не могут. Но каждая и безуспешная попытка решения только погружает мысль и чувство в новые бездны, и каждая загадка порождает лишь сотни и тысячи но-

вых неразрешимых загадок, и перед бедным человечеством разверзается в виду чудовища бездна погибели, и оно ринется в бездну, если не остановится на камне простой твердой веры и ясного мышления...

V

Великий вопрос, не перестающий смущать ум и совесть во всем человечестве, – вопрос об осуществлении в отношениях человеческих правды и любви, заповеданных Христом, полагаемых Христианскою Церковью в основание своего учения. Нет разума, который нашел бы ключ к разрешению этого противоречия, нет совести, которая успокоилась бы на нем. Проходя мыслью кровавую историю войн, раздоров, насилия, неправды, невежества и суеверия, длящуюся с начала мира до сегодняшнего дня, и в общественной, и в частной жизни всякий с ужасом спрашивает себя: «Где же и в чем же исполнение закона Христова посреди того ада, в котором живем мы и движемся?» Где выход из того состояния, в котором сама религия представляется как бы зеркалом лжи и лицемерия, показателем противоречий между делом и сознанием, сетью обрядов и формальностей, служащих покровом прельщаемой совести и мнимым оправданием неправды? Есть избранные, есть люди правды, смиренные сердцем, есть дела любви и разума, на которых мысль отдыхает и временно успокаивается, но, обозревая совокупность жизни, видит начальства и власти, забывающие свое призвание, видит несправедливые прибыли в чести и славе, богатство, нажитое хищением, поглотившее саму власть и владеющее миром, видит беззаконие самоуверенное под покровом наружного благочестия, видит тысячи и миллионы, приносимые в жертву богу войны, идолу вражды насилия, видит, наконец, бесчисленные массы, прозябающие без сознания, раздираемые нуждою, живущие и умирающие в страдании. Где же, спрашивает, Царство Христово, царство любви и правды, где же действенная сила религии, где цель и конец бедственной человеческой жизни?

Сколько раз слышалось и слышится издревле и до наших дней ожидание золотого века в человечестве, и оканчивается оно разочарованием, если не безнадежностью, ибо христианин не может, не должен быть безнадежным. Ветхозаветные пророки изображают будущее состояние мира и благоденствия в человечестве. Христос принес на землю заповедь любви и мира, но не исполнение этой заповеди, исполнение, в котором не оставалось бы места свободе; эта заповедь, по Его слову, явилась мечом⁷¹ и должна была зажечь огонь в сердцах человеческих. И когда по воскресении Его от сердец, загоревшихся надеждою на обновление мира, послышался робкий вопрос: «Господи, не в это ли лето устрояешь Ты царство Израилево»? Ответ Его был: «Не дано вам разуметь времена и лета: их Господь положил во Своей власти»⁷². Время, размеренное малыми долями у людей, безгранично у Господа Бога: у Него и тысяча лет, как день, и день, как тысяча лет.

И юная Церковь Христова первых столетий посреди гонений, посреди пороков и бед жила той же надеждою на устроенное царство Израилева: эта надежда на победу правды в человечестве была новой силой, которую внесло в безотрадный языческий мир Христианство. Настало страшное время, когда эта сила, по-видимому, иссякла, и надежда перешла в отчаяние. Взятие и разрушение Рима Аларихом поразило весь христианский мир невыразимым ужасом; и верующие души омрачились сомнением: где же сила Христианства, где же спасение? А мир языческий вопиял: все беды эти от новой религии Христовой. Тогда Блаженный Августин ободрил смущенную совесть и восстановил надежду христианскую своей одушевленной книгой «О граде Божием», разъясняя людям судьбы Промысла Божественного в истории человечества и непреложность учения о царстве, еже не от мира сего.

С тех пор и донине, в эпохи общественных бедствий, в разгаре насилия и разврата общественного сколько раз поднимается тот же самый вопрос в христианском мире! И мы переживаем такое время, когда начинает, по-видимому, оживать давно прошедшее язычество и, поднимая голову, стремится

превозмочь Христианство, отрицая и догматы его, и установления, и даже нравственные начала его учения; когда новые проповедники, подобно языческим философам древнего века, со злобной иронией обращают к остатку верующих горькое слово: «Вот к чему привело мир ваше Христианство, вот чего стоит ваша вера, исказившая природу человеческую, отнявшая у ней свободу похоти, в которой состоит счастье!» Что же неужели погибает перед напором древнего язычества *победа, победившая мир, вера наша*⁷³?

Нет, она остается целой в святой Церкви, о коей Создавший ее сказал: «Врата адовы не одолеют ей»⁷⁴. Она хранит в себе ключ истины, и в наши дни, как и во все времена, всяк, кто от истины, слушает гласа ее. В ней под покровами образов и символов содержатся силы, долженствующие собрать отовсюду рассеянное и обновить лицо земли. Когда это будет, ведает Един, времена и лета положивый в Своей власти.

А между тем от самого начала Церкви нетерпеливые сердца, гордые умы не перестают искать, помимо Церкви и вопреки ей, новые учения, долженствующие обновить человечество, исполнить закон любви и правды, водворить мир и благоденствие на земле. Поражаясь чудовищным противоречиям между учением Христа Спасителя и жизнью христиан, составляющих Церковь Христову, они возлагают вину на Церковь с ее установлениями и, приходя к отрицанию существующей от начала Христианства Церкви, думают утвердить вместо нее свое, очищенное, по мнению их, учение Христово, отрешенное от Церкви, выводимое по их усмотрению из отдельных текстов Евангелия.

Странное заблуждение. Люди, подверженные той же похоти и тому же греху, какому подвержено все окружающее их общество, люди одного со всеми естества, раздвоенного в себе, склонного хотеть, чего не делает, и делать, чего не хочет, себя одних представляют едиными в духе и являются непризванными учителями и пророками. Похоже на то, как бы они одни воображали себя стоящими на неподвижной точке, тогда как весь мир и они вместе с миром кругом обращаются. Начиная

с разрушения закона, сами они не в силах создать новый закон из тех частей и обрывков цельного учения, которое отвергли. Отрицая Церковь, они приходят, однако, к тому, что хотят создать свою церковь со своими проповедниками и служителями, и если успевают в том, повторяется на них то же, что они осуждали и против чего восставали, только с новым умножением лжи и лицемерия и безумной гордости, возвышающейся над миром. Гордость ума с презрением к людям той же плоти и крови возбуждает их разорять старый закон и созидать новый. Они забывают, что Тот же Учитель Божественный, имя Коего призывают они, будучи кроток и смирен сердцем, не хотел изменять ни одной черты в законе, но каждую черту оживотворял духом любви, в ней сокрытым.

Осуждая догматизм и обрядность, они сами под конец обращаются в узких и властолюбивых догматиков; восставая против фанатизма и нетерпимости, они сами становятся злейшими фанатиками и гонителями; проповедуя любовь и правду, сами бессознательно проникаются духом злобы и пристрастия. Гордость, ослепляя их, не допускает их сознать, какой соблазн вносят они в область веры, разрушая простоту ее и цельность в душах простых, которые Церковь не успела еще воспитать и привести в сознание веры.

Нетрудно, но и как безумно, как бессовестно соблазнить простую душу, в которой есть только чистое, незанятое поле религиозного чувства, душу невоспитанную, невежественную в истинах веры! Ужасно подумать, что к такой душе приступают с голым отрицанием Церкви, и хотят ее уверить, что эта Церковь с ее учением и таинствами, с ее символами, обрядами и преданиями, с ее поэзией, одушевлявшей из века в век множество поколений, есть ложное и ненавистное учреждение. Простая душа была душа смиренная, сектантство возводит ее на высоту гордости своею, особою верой, и веру вмещает в узкую рамку сектантской формулы. Нет души, как бы ни была она невежественна, к коей нельзя было бы привить такую бессмысленную гордость с уверенностью в своей правде – перед кем? Перед целым народом, составляющим Церковь и живу-

щим в смиренном сознании своей греховности перед Богом и в смиренной надежде на прощение грехов и на спасение в молитве церковной. Плоды этой гордости в дальнейшем ее развитии очевидны. Это лицемерие в самодовлеющем сознании праведности; это злобное раздражение против всех иначе верующих и до страсти доходящее стремление к отвлечению от церковного стада рассеянных овец его, причем всякие средства считаются годными для достижения цели.

Церковь – подлинно корабль спасения для пытливых умов, мучимых вопросами о том, во что верить и как верить. Пуститься с этими вопросами в безбрежное море исследований, сомнений и логических выводов страшно для ограниченного ума человеческого, для прихотливого воображения, для самолюбия, стремящегося искать новых путей. Утвердившись на своей, надуманной вере, ставя себя с нею выше авторитета церковного, человек, в сущности, может кончить тем, что уверует в себя как носителя веры; может прийти до нетерпимости и фанатизма, до странного обождения мысли принимать веру за самодовлеющий элемент спасения, отрешенный от жизни и деятельности.

Христос в грозном обличении книжникам и фарисеям своего времени не им одним высказывает строгое слово предупреждения и осуждения; это слово надлежало бы уразуметь и помнить всем безумным фанатикам нашего времени, непризванным учителям новых вероучений: «Не называйтесь наставниками, один ваш наставник Христос, и горе вам, переходящим море и сушу сотворить единого пришельца»⁷⁵. Церковь Христианская имеет наставников, поставленных самим Христом, главою Церкви. А их, учителей новой веры, кто поставил и послал? Разве дух самолюбия и гордости, дух разделения и вражды, которую они сеют между людьми своею проповедью. Воображают, что, разрушив ограду, содержащую и охраняющую учение Христово, лучше привлекут людей к этому учению, которое одни они будто бы разумеют! Говорят о любви, но, отвлекая человека от церковного союза, возбуждают в нем гордость, злобу и ненависть к оставленным

собратиям; соблазняя людей тем, что сами от себя изобрели и называют истиной, полагают ее в отрицании того, что признала истинною отвергаемая ими Церковь.

«Истина, – говорят они, – есть драгоценнейшее достояние души человеческой. Итак, если я уверен, что обладаю истиной, как мне оставаться в бездействии, как утерпеть, чтобы не сообщить ее своему ближнему, пропадающему оттого, что он не имеет, не знает истины?» Но кто меня удостоверит, непризванный учитель, что эта твоя истина утверждается не на одном личном твоём представлении и свидетельстве? Покажи мне еще авторитетное свидетельство о ней. Или ты можешь утверждать, что на ней лежит печать Божественного откровения? Или ты вправе провозгласить о ней, подобно древним пророкам: так речет Господь? Мнимая твоя достоверность – не что иное, как личное, хотя и искреннее твое убеждение: если для тебя самого это значит все, то для меня, ближнего твоего, ровно ничего не значит. Или получил ты свыше повеление идти в мир с проповедью и учить человечество тому, чему сам научен свыше? Но такого веления ты не можешь мне выставить и явственно удостоверить. Итак, всякий проповедник новой веры, сколько бы ни считал непререкаемым свое убеждение, должен иметь и показывать уважение к убеждениям своих ближних.

Но именно этого-то уважения фанатик новой веры и признавать не хочет, отвергая его как нечто недостойное. Свою операцию начинает он вести прямо с веры своего ближнего, воздвигая против нее стенобитное орудие для разрушения всей ограды этого верования и целой его системы, дабы поставить свое на его место. Это веками утвержденное вероучение для тех, кто держится его, составляет всю опору жизни; но чем оно глубже и искреннее, чем тверже основание, на коем оно возникло и стоит, тем зазорнее ведется против него атака, тем больше разгорается желание разрушить его, и на обломках его построить свое задуманное здание. Цель, по-видимому, созидательная, но вся деятельность, к ней направленная, – разрушительная. Разрушив, боец этот хочет строить, но и на мысль ему не приходит, как легко разрушить и как трудно строить

на месте разрушенного. Разрушенное стояло на фундаменте, вросшем в глубину; но когда оно пало, надобно для нового здания в новой глубине воздвигать новый фундамент и дерзкою рукою стремиться повторять вековую работу духа человеческого; кто дал на это право и силу непризванному разрушителю? Он овладел своей жертвой и вывел ее – куда? – в пустыню, где сотни дорог открыты во все стороны и нет ни одного ясного и широкого пути. Какова бы ни была цель, вот где конец фанатического религиозного прозелитизма – в пустыне.

VI

Передовые люди, основатели религий, на высотах созерцания сознавая в системе вероучения идею Божества и Его отношения к человеку, создают в применении к ней и формы культа, одухотворенные той же идеей. Но масса народная пребывает в долине, и свет чистого созерцания, озаряющий верхи гор, не скоро до нее доходит. В массе религиозное представление, религиозное чувство выражается во множестве обрядностей и преданий, которые с высшей точки зрения могут казаться суеверием и идолослужением. Строгий ревнитель веры возмущается, негодует и стремится разбить насильственной рукой эту оболочку народной веры, подобно тому как Моисей разбил тельца, слитого Аароном по просьбе народа, в то время, когда пророк пребывал в высоком созерцании на высотах Синайских. Отсюда – доходящая до фанатизма пуританская ревность вероучителей.

Но в этой оболочке, нередко грубой, народного верования таится самое зерно веры, способное к развитию и одухотворению, таится та же вечная истина. В обрядах, в преданиях, в символах и обычаях масса народная видит реальное и действительное воплощение того, что в отвлеченной идее было бы для нее нереально и бездейственно. Что если, разбив оболочку, истребим и само зерно истины? Что если, исторгая плевели, исторгнем вместе с ними и пшеницу? Что если, стремясь разом очистить народное верование под предлогом суеврия,

истребим и само верование? Если формы, в которых простые люди выражают свою веру в живого Бога, иногда смущают нас, подумаем: не к нам ли относится заповедь Божественного Учителя: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих верующих в Мя»⁷⁶.

В одной арабской поэме встречается такое поучительное сказание знаменитого учителя Джелалледина⁷⁷. Однажды Моисей, странствуя в пустыне, встретил пастуха, усердно молившегося Богу. И вот какую молитвою молился он: «О, Господи Боже мой, как бы знать мне, где найти Тебя и стать рабом Твоим. Как бы хотелось надевать сандалии Твои и расчесывать Тебе волосы, и мыть платье Твое, и лобызать ноги Твои, и убирать жилище Твое, и подавать Тебе молоко от стада моего: так Тебя желает мое сердце!» Распалился Моисей гневом на такие слова и сказал пастуху: «Ты богохульствуешь: бестелесен Всевышний Бог, не нужно Ему ни платья, ни жилища, ни прислуги. Что ты говоришь, неверный?»

Тогда омрачилось сердце у пастуха, ибо не мог он представить себе образ без телесной формы и без нужд телесных: он предался отчаянию и отстал служить Господу.

Но Господь возглаголал к Моисею и так сказал ему: «Для чего отогнал ты от Меня раба Моего? Всякий человек принял от Меня образ бытия своего и склад языка своего. Что у тебя зло, то другому добро, тебе яд, а иному мед сладкий. Слова ничего не значат: Я взираю на сердце человека».

VII

Древний персидский поэт Мухаммед Руми (XIII в.) – автор знаменитой поэмы «Маснави». В ней есть замечательные стихи о молитве, достойные верующей души.

*Некто в сладость устам своим возопил в тишине ночной:
«О, Алла!» А сатана сказал ему: «Молчи ты, угрюмец, долго ли тебе болтать пустые слова? Не дождешься ты ответа с высоты престольной, сколько не станешь кричать: “Алла!” и делать печальный вид!»*

Смутился человек, горько ему стало, и повесил он голову. Тогда явился ему пророк Кизр в видении и сказал: «Зачем перестал ты призывать Бога и раскаялся от молитвы своей?» И отвечал человек: «Не слышал я ответа, не было гласа: “Я здесь”, и боюсь я, что отвержен стал от благодатной двери». И сказал ему Кизр: «Вот что повелел мне Бог. Иди к нему и скажи: “О, искушенный во многом человек! Не Я ли поставил тебя на служение Свое? Не Я ли заповедал тебе взывать ко Мне? И Мое: “Здесь Я” – одно и то же, что и твой вопль: “Алла!” И твоя скорбь, и стремление твое, и горячность твоя – все это Мои к тебе вестники; когда ты боролся в себе и взывал о помощи, этой борьбою и воплем Я привлекал тебя к Себе и возбуждал твою молитву. Страх твой и любовь твоя – покровы Моей милости, и в одном твоём слове “О Господи!” множество отзывается голосов: “Я здесь с тобою!”».

Идеалы неверия

I

Древнее слово: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог», выступает ныне во всей своей силе. Правда его ясна, как солнце, хотя ныне всеми «передовыми умами» овладело какое-то страстное желание обойтись без Бога, спрятать Его, упразднить Его. Люди, по мысли добродетельные и честные, те задают себе вопрос: как бы сделать конструкцию добродетели, чести и совести без Бога? Жалкие усилия!

Франция, дойдя до крайней степени политического разложения, задумала в лице своего правительства организовать народную школу «без Бога». На беду у нас иные представители интеллигенции недалеко ушли от московской княжны, лепетавшей: «Ах, Франция! Нет в мире лучше края», – и недавно еще прославленный педагог указывал нам на новую французскую школу как на идеал для подражания.

В числе новых французских книг, официально предназначенных для руководства при обучении в женских школах насчет правительства, есть книга, называемая: «Нравственное и гражданское наставление молодым девицам», сочин[ение] г[оспожи]жи Гревильль⁷⁸ (*Instruction morale et civique des jeunes filles*). Это нечто вроде гражданского катехизиса нравственности, коим предполагается заменить в школах обучение Закону Божию.

Книга эта весьма замечательна. Она разделена на три части, и каждая часть – на отдельные главы. Первая часть содержит правила нравственности, понятия о долге, о чести, совести и т. п. Вторая часть содержит краткое учение о государстве и о государственных учреждениях. Третья часть – учение о женщине, о ее призвании, качествах и добродетелях. Изложение книги сжатое, простое, ясное, как пишутся учебники, с множеством наглядных примеров, с картинками в тексте. Нельзя ничего возразить против сущности самого учения: оно зовет к порядку, к доброй нравственности, к чистоте мысли и намерения, к добродетели и обращается энергически к чувству и сознанию долга, а женщине строго указывает ее обязанности в домашней жизни и в обществе.

Но примечательно вот что. Ни разу ни на одной странице не упоминается о Боге, нет ни малейшего намека на религиозное чувство. Автор, изыясняя глубокое и решительное значение совести в человеке, дает такое определение совести: «Совесть есть соображение того мнения, которое имеют о нас и о действиях наших другие люди» (*concoideration de l'opinion des autres*). На этом-то зыбком и колеблющемся грунте людского мнения сочинители стремятся утвердить нравственные основы целой жизни! Подлинно исполняется на этом слово: «Мнящиеся быть мудрыми обезумели».

К несчастью, в этот поток безумия, разливающийся ныне во Франции, привлекаются и из нашей бедной России мелкие ручьи доморощенной интеллигенции; и от глашатаев ее, из журналов и газет, из передовых статей и фельетонов слышится повторяемый хором тот же голос московской княжны. К тому

же хору присоединяются нередко благонамеренные, но через меру наивные и неопытные умы, воображающие, что журналы и газеты приносят им какое-то «новое слово» цивилизации.

Жалко читать, как журнальные критики рассуждают в вопросе школы, что без религии, конечно, нельзя, что религиозное обучение нужно, но все это – без Церкви и ее служителей. Говорили бы уже прямее и проще. Мы-де не отвергаем религиозного обучения, мы-де даже требуем его, мы не понимаем школы без него, только не хотим клерикализма. А под покровом этого термина разумеется Церковь и церковность. Этот иезуитский прием изложения, усвоенный новыми апостолами народной школы, вводит в заблуждение многих читателей, не умеющих «различать дух» писания.

Не знают эти добрые люди, что ныне и слово «религия», как и многие другие слова, изменилось в своем значении, и под ним стали уже многие разуметь нечто такое, от чего, если бы распознал, отступил бы с ужасом человек, подлинно верующий в Бога. Не знают, что в наше время выдумана религия без Бога, и само слово *Бог* в употреблении у так называемых людей науки получило особенное значение.

В 1882 году появилась замечательная книга, обратившая на себя общее внимание. Отрицание Бога высказывалось большею частью ненавистниками всякой религии, с чувством ожесточения, с выражением легкомысленной или злобной иронии, с проповедью об исключительном значении материи для вселенной. В этой книге в первый раз выразилось в спокойном тоне, с достоинством, с идеальным воззрением на жизнь целое учение о религии без Бога. Книга эта называется «Натуральная религия» (“Natural Religion”. – London, 1883). Автор ее – оксфордский профессор Сили (Seeley)⁷⁹ – тот самый, первое сочинение которого “Ессе Номо”, появившееся лет за десять перед тем, обратило тогда на себя внимание не только людей мирской науки, но благочестивых идеалистов, мнивших найти в нем какое-то новое слово о Христе и о христианской вере. Некто из уверовавших в эту книгу издал ее и в русском переводе.

Но людям церковным и в то время книга эта казалась странною и сомнительною. Нельзя было отнестись к ней с доверием.

Книга эта содержала в себе художественный анализ земной жизни и характер Иисуса Христа исключительно в чертах человеческой Его натуры. Она была написана в духе глубокого благоговения, языком философским, но не чуждым терминов церковных и богословских. Целью анализа явно выказывалось намерение выяснить образ Христов для благоговейного подражания. Казалось, автор – христианин, исполненный благочестного чувства. Однако многим благочестивым читателям этой книги было от нее смущение, как будто с их христианским воззрением и чувством не сходится то же, по-видимому, христианское чувство и воззрение автора. Образ Христа в этой книге был образом верховной святости, чистоты и благодати, но не родной, не свой, не тот, кого мы привыкли с детства чтить Богочеловеком, словом Божиим, не тот Христос, кого славит Церковь Христова. Что-то неладное слышалось в книге, как будто автор ее или утратил веру, или недалеко стоит от того. Однако в этой книге автор, видимо, утверждал еще веру в личное бытие Бога, в бессмертие души человеческой, в мессианское значение пришествия Христа в мир и даже, хотя с некоторым колебанием, в действительность чудес Христовых.

Прошло 10 лет, и он является, как ни в чем не бывало, восторженным проповедником религии, но религии новой, не Христовой. Старое откровение, говорит он, отслужило свою службу; вместо него явилось новое: новейшие естествоиспытатели, историки, филологи принесли нам такое откровение, о коем и не мечтали древние пророки. С этой точки зрения библейская критика немецких ученых выше и совершеннее самой Библии. Обращаясь с необыкновенною наивностью к людям верующим и церковным, он говорит: о чем нам спорить, о чем враждовать друг с другом? Мы можем соединиться в одной вере. Мы, люди науки, тоже веруем в Бога. Наш Бог – природа, которая есть в известном смысле откровение. Итак, мы не безбожники, повторяет он, и весь спор между нами, людьми науки, и вами, богословами, есть лишь спор о словах. Не все

ли равно: у нас Бог – природа, и научная теория вселенной есть тоже теория теизма. Ведь природа есть сила вне нас сущая, закон ее для нас безусловен, вот, стало быть, Божество, которому мы поклоняемся.

Не любопытно ли, что автор, отвергая личное бытие Божие, в то же время протестует энергически против обвинения в атеизме, и сам отвергает и обсуждает атеизм. Что же такое атеизм, по его мнению? На этот вопрос автор отвечает таким измышлением ума, который простому уму может показаться безумием.

«То, что обыкновенно называют атеизмом, есть очень метафизическая форма отрицания и не имеет серьезного значения. Подлинный, действительный атеизм имеет гораздо более серьезное значение и заключает в себе великое нравственное зло. Настоящий атеизм может быть назван общим термином «своеволие» (wilfulness). Именно всякая деятельность человеческая есть сделка с природою, сделка нашей потребности с неотразимым законом природы... Не признавать ничего, кроме собственной воли, воображать доступным все, что наметила сильная воля, не признавать вне себя никакой высшей силы, которую надлежит принимать в соображение и склонять на свою сторону для успеха в предприятии, – вот в чем заключается чистый атеизм». Желая пояснить примером эту смутную и спутанную мысль, автор приводит в примере государство, являющее в судьбах своих образ чистого атеизма, и указывает на Польшу. «Sedet aeternumque sedebit⁸⁰, – говорит он, – несчастная Польша, испытывая кару за преступное атеистическое своеволие, за то, что услаждалась безграничной личной свободой, не хотевшей считаться с природой вещей».

Составляя свою теорию религии, автор описывает подробно, как вырождается, по его мнению, религиозное чувство из науки, и как, проходя через призму воображения, оно расчленяется в нравственном существе человека в форму тройкой религии: религию природы, религию человечества и религию красоты.

В этой книге, написанной с талантом и одушевлением, высказано, хотя в первый раз с такою полнотою, далеко не новое учение; читатель встречается в нем знакомые черты столь модно-

го в наше время позитивизма, черты, знакомые по сочинениям Канта⁸¹, Джорджа Эллиота⁸² и столь излюбленного у русских переводчиков Герберта Спенсера. Ни в одном из помянутых сочинений не обличается так явственно внутреннее бессилие этой модной теории, как в книге «Natural religion». До какого безумия может договориться ум, когда, увлекаемый гордостью самообожания, отвергает сверхъестественное в жизни и вселенной и принимается строить свою теорию жизни в ее отношениях ко вселенной. Эта теория осуждена вертеться в заколдованном кругу и сама себе противоречит. Упраздняя личного Бога, она пытается удержать религию и напрасно пытается установить предмет религиозного чувства, ибо кроме живого Бога нет предмета для религии. Отвергая невидимый мир, бессмертие души и будущую жизнь, она полагает, однако, целью жизни счастье и напрасно пытается ограничить его пределами материи и земного бытия. Называя откровение выдумкою или мечтою и всякий догмат – ложью, она сама, однако, ищет опоры себе не в чем ином, как в новом догмате, выставляя в виде аксиомы, в которую должны верить, непрременный и бесконечный прогресс человечества.

Эта теория как раз отражает в себе то своеволие и гордое упорство мысли, которое наш автор соединяет в своем понятии с атеизмом. В ней не видно той цельной и ясной уверенности, которая служит признаком истины и прочности учения. Проповедники ее в своей проповеди о счастье человечества все спотыкаются на действительности, которой не могут отрицать. Эта действительность есть неотвратимое присутствие зла и действия, насилия и неправды в человеческой жизни – аргумент пессимизма. Этот аргумент нельзя утаить; одни из апостолов позитивизма стараются подавить и заглушить его, или лицемерно проходят его молчанием; другие, более добросовестные, останавливаются перед ним с грустью и сомнением. К числу последних относится и наш автор. Прославляя новую, проповедуемую им религию природы, человечества и красоты, доказывая всю силу и действенность соединяемого с нею религиозного культа, он в то же время говорит: «Едва на-

чинаем мы успокаиваться на той мысли, что все познаваемое и естественное довлеет для человеческой жизни, как поднимает свою голову пессимизм и приводит нас в смущение». «Если бы не пессимизм, – замечает он в другом месте, – ничто не смущало бы нашего религиозного поклонения». И в самом конце книги, построив свое здание, говорит он такие речи:

«Чем далее расширяются и углубляются наши мысли по мере того, как вселенная объемлет нас, и мы привыкаем к бесконечности в пространстве и времени, тем более поражает нас чувство собственного ничтожества, и мы от ужаса цепенеем, нравственный паралич овладевает нами. На время утешаем себя идеей самопожертвования, говорим: пускай я исчезну, буду думать о других. Но вот скоро и другие становятся для нас столь же презрительными, как сами; все печали человеческие заодно, кажется, не стоят того, чтобы облегчить их, счастье человеческое, даже высшее, представляется так бледно, что не стоит заботиться о приращении. Весь мир нравственный сводится на одну точку; градус духовной жизни, жилище святых уходит вдаль и светится чуть-чуть заметной звездочкой. Добро и зло, правда и неправда кажутся бесконечно малыми, эфемерными величинами, а вечность и бесконечность остаются где-то вне нравственного мира. Чувство любви замирает и истощается в мире, где все доброе и все пребывающее холодно, истощается в своей собственной сознательной слабости и беспредметности. Сверхъестественная религия, – прибавляет автор тут же, – наполняет всю эту пустоту, связывая любовь и правду с вечностью. А если она потрясена, то к чему послужит естественная религия?»

Можно ли поверить, что эти слова написаны горячим проповедником естественной религии? Так-то серьезный ум способен запутаться в сотканной им же самим умственной сети.

Сущность всей этой книги при всей умеренности тона, при всей искренности автора – безотрадный парадокс. Что различные мировоззрения – научное, художественное, гуманитарное – заключают в себе элементы религиозного чувства, это верно. Но они не заключают в себе элементы новой веры,

новой Церкви, а есть отдельные члены – *disjecta membra* – того же христианского мировоззрения. Никакая религия невозможна без признания аксиоматических истин, недостижимых индуктивным путем. К таким аксиомам принадлежит бытие личного Божества, духовность души человеческой; отсюда вытекает супернатурализм, без которого немыслима никакая религия. Научные же истины (кроме математических) по существу своему условны, существуют сознательно лишь для людей ученых и лишь обманом могут быть навязаны массам в форме догматической. Этот обман ныне и происходит... мы при нем присутствуем ежедневно.

II

Нетерпимость к чужой вере и к чужому мнению никогда еще не выражалась так решительно, как выражается в наше время у проповедников радикальных и отрицательных учений: у них она неумолимая, жестокая, едкая, соединенная с ненавистью и презрением. Если вдуматься в отношение этих новых учителей к непризнаваемой ими вере, оно окажется, может быть, еще ужаснее старинной религиозной нетерпимости, вызывавшей кровавые преследования за веру. В последнем случае преследование основывалось на безусловной же вере в истину, безусловно существующую. Когда человек верует в данное положение, что оно должно быть истиною для всех, что на нем зиждется безусловное начало жизни и благо для всех и каждого, как магометанин верует в Коран, понятно, что такой человек считает своим долгом не только исповедовать открыто свое учение, но в случае нужды – и насильно навязывать его другим. Но когда речь идет все-таки не более как о мнении, о предположении, хотя бы и наиболее вероятном для того, кто его вывел, как понять фанатизм такого мнения, как понять, что проповедник его не признает и не допускает ни для себя, ни для других не только противоположное мнение, но даже сделку, хотя бы условную и временную, с противоположным мнением? Между тем такое страстное отношение

к своему мнению или мнению своей школы составляет принадлежность всех отрицательных учений. Отвергая, как будто не бывшее и не сущее, всю предшествующую историю духовного развития в человечестве, не признавая ни за каким существующим издревле верованием и духовным состоянием права на самостоятельное существование, не останавливаясь ни перед одной святыней личного верования, заключенного в душе человеческой, они требуют для себя свободного входа во всякую душу и повсюду хотят водворить свою так называемую истину. Это называется у них верностью своим убеждениям. Один из представителей учения Конта и позитивистов (John Morley⁸³ “On Compromise”) говорит, например, в своей книге, что первый долг всякого человека в отношении к себе самому и к человечеству – разрешать в душе своей вопрос: верует он или не верует в бытие Божие? Затем, если, положим, он пришел к убеждению, что вера в Бога есть не что иное, как слепое и безумное суеверие, долг его, самый священный, – вторгаться с этим убеждением во всякую душу, пользоваться всяким случаем и поводом, чтобы передавать это убеждение прежде всего родным и близким, а потом, если можно, провести его в массу, всюду высказывать его и отвергать безусловно всякие явления и формы частного и общественного быта, в которых прямо или косвенно выражается вера, противоположная этому убеждению... Такой образ действия – что же иное, как не страшное насилие над чужой совестью, и во имя чего? Во имя только своего личного мнения!

Не видать и не слышать ни любви, ни веры в этой бездне самолюбия! А без любви и веры нет истины. Какая разница – слышать голос старого, истинного учителя. Сколько веры и любви, сколько глубокого знания души человеческой в Апостольском слове к коринфянам⁸⁴ о том, как следует уважать человеческую совесть. Он знает, что есть истина, но и с этой истиной духовного ведения как осторожно велит он подступать к душе человеческой. Главное дело состоит в том, чтобы душа приняла и обняла новую для нее истину в духе искренности и правды, без раздвоения, без разлада с собою, прямой

цельной верой. Все, что не от веры – грех. И Апостол учит сильных, знающих, чтобы они щадили совесть слабой братии в самом суеверии, покуда душа не созрела еще до восприятия истины цельной верой.

Вы знаете, говорит он, что пища не поставит нас перед Богом: едим ли мы – не приобретаем, не едим ли – не лишаемся. Вы знаете, что идол – ничто, что ложный бог не существует вовсе, и потому вы со спокойной совестью покупаете на торгу и едите мясо, которое принесено было в жертву идолу. Но не у всех такое ведение: есть слабые, у которых может быть идольская совесть, для которых идол есть еще нечто существующее, страшное и злое; для них есть такое мясо – значит приносить жертву идолу, и когда они видят, что вы едите его, их слабая совесть соблазняется, то есть приходит в разлад, в раздвоение по предмету веры. Итак, чтобы не соблазнять совестью слабого брата, лучше не есть мяса вовеки. Апостол, проповедник свободы христианской, происходящей от уверенности, жертвует в этом случае свободою охранению совести, потому что совесть для него всего дороже.

III

Удивительно безумие, до которого доходят умные люди, взрослые в отчуждении от действительной жизни и ослепленные гордой уверенностью в непогрешимости разума и логики. Обожание разума, отвратив их от положительной религии, доводит их, наконец, до ненависти ко всякому верованию в Единого Живого Бога. Но те из них, которые добросовестны настолько, что не могут отвергать потребности в вере, заявляемой всем человечеством, те, у кого есть еще сердце, не совсем иссушенное черствой логикой мысли, допускают законность религиозного чувства в природе человеческой и пытаются удовлетворить его какой-то новой, ими измышленной религией. Вот тут и приходится дивиться мечтательности планов, изобретаемых умами, по-видимому, стремящимися изгнать все похожее на мечту из своих выводов и соображе-

ний. Штраус⁸⁵ в своем сочинении «О старой и новой вере», отвергая Христианство, говорит с энтузиазмом о религиозном чувстве, но предметом его и центром ставит вместо Живого Бога идею вселенной, так называемое *Universum*. В Лондоне появились в свете найденные по смерти Милля отрывочные мысли его о религии под заглавием «Три статьи о религии: Природа, Польза религии и Деизм». Пользу религии он признает несомненно, но отвергает Христианство, хотя выражается о лице Христа с величайшим энтузиазмом. «Невозможно, – говорит он, – оспаривать великое значение религии для отдельного человека; это источник личного удовлетворения и высокого духовного настроения для каждого. Но спрашивается: для достижения этого блага необходимо ли переступить за границы обитаемого нами мира, или без того одна идеализация нашей земной жизни, одно возбуждение и развитие высших о ней представлений могут создать для нас поэзию, и даже в высшем смысле этого слова – религию, такую, которая была бы способна возвышать чувства наши и могла бы (с помощью воспитания) еще лучше, чем вера в существа невидимые, благородить наше существование и деятельность?»

Вопрос, достойный Милля, каким мы его знаем по истории его воспитания. Любопытно, как же он решает этот вопрос. Милль не мог искать решения, подобно Штраусу, в идее вселенной; не мог потому, что Милль, странно сказать, не верует в природу; в начале той же книги он, верный, как всегда, отчуждению своему от жизни, входит в исследование: «Насколько верно то учение, которое полагает в природе мерило правды и неправды, добро и зло, и руководственным началом для человека ставит сообразование с природою или подражание природе». Этого учения Милль не признает, потому что в природе видит слепую силу и ничего более. Она внушает желания, которых не удовлетворяет, воздвигает великие дарования, силы и дела с тем, чтобы в одно мгновение сокрушить их, словом сказать, разоряет в миг, слепо и случайно все, что ею самою создано. Оттого Милль отказывается строить на природе как-нибудь то ни было систему нравственности или религии.

Что же придумывает Милль? Вот подлинные слова его: «Когда представим себе, до какого сильного и глубокого чувства может достигнуть при благоприятных условиях воспитания любовь к отечеству, нам станет понятно, что очень возможно и любовь к обширнейшему отечеству, т[о] е[сть] к целому миру, довести до подобной же силы развития и обратить ее в источник высших духовных ощущений и в начало долга. Кто желает ознакомиться с понятиями древности об этом предмете, пусть читает Цицеронову книгу “De officiis”⁸⁶. Нельзя сказать, чтобы мера нравственности, устанавливаемая в этом знаменитом рассуждении, была очень высокая. По нашим понятиям, эта нравственность во многих случаях очень слабая и допускающая сделки с совестью. Но относительно одного предмета – относительно долга к отечеству – не допускает она никакой сделки. Чтобы человек, имеющий хотя бы малую претензию на добродетель, на минуту призадумался пожертвовать отечеству жизнью, честью, семейством – всем, что ему дорого на свете, этого не допускал и в предположении славный проповедник греческой и римской нравственности.

Итак, история показывает, что людям можно было привить воспитанием не только теоретическое убеждение в том, что благо отечества должно быть выше всяких иных соображений, но и практическое сознание, что в этом состоит величайший долг жизни. Если это было возможно, то почему же нельзя внушить им чувство точно такого же безусловного долга относительно общего блага для целого мира? Такая нравственность в натуре высоко одаренной почерпала бы силу из чувства симпатии, благоволения, восторженного одушевления идеальным величием, а в натурах низшей организации – из тех же чувств по мере природного их развития, да притом еще из чувства стыда. Это высокая нравственность не зависела бы нисколько от надежды на награду. Единственной наградой, которую имела бы в виду и мысль о коей служила бы утешением в печали и опорой в минуты слабости, единственной наградой было бы несомнительное загробное

бытие (!), но в этой жизни – одобрение всех уважаемых нами людей и в идеальном смысле одобрение всех – как живых, так и умерших людей, кого мы чествуем и кого похваливаем. Действительно, та мысль, что дело наше одобрили бы умершие друзья и родные наши, когда бы были живы, способна одушевить нас не менее чем мысль об одобрении современников... Сколько раз люди высокого духа одушевлялись к делу мыслью о том, что им сочувствовал бы Сократ, Говард⁸⁷, Вашингтон⁸⁸, Антонин. Если такое настроение духа назовем просто нравственным, слово это будет недостаточно. Оно есть действительно религия: добрые дела составляют только часть религии, плоды ее, но не саму религию. Сущность религии состоит в крепком и серьезном направлении чувств и желаний к идеальной цели, превосходящей все личные цели и желания. Это условие осуществляется в религии гуманности точно так же, как и в сверхъестественных религиях, я убежден даже, что осуществляется еще лучше и совершеннее».

Приведенные слова сами за себя говорят. Они показывают всю близорукость, лучше сказать, все безумие человеческой мудрости, когда она хочет делать отвлеченную конструкцию жизни и человека, не справляясь с жизнью и не зная души человеческой. Такая религия, какую воображает Милль, может быть, пожалуй, достаточна для подобных ему мыслей, заключивших себя от всего мира в скорлупу отвлеченного мышления; но разве может принять ее и понять ее народ, живой организм, объединяющийся только живым чувством и сознанием, а не мертвым и отвлеченным началом? В народе такая религия, если бы могла быть введена когда-либо, оказалась бы поворотом к язычеству. Народ, который нельзя себе представить в отделении от природы, если бы мог позабыть веру отцов своих, снова олицетворил бы для себя, как идею, вселенную, разбив ее на отдельные силы, или то человечество, которое ставят ему в виде связующего духовного начала, разбив его на представителей силы духовной, и явились бы только вновь многие живые боги вместо единого Бога истинного... Неужели этому суждено еще сбыться?

Новая вера и новые браки

Нас уверяют, что старой нашей вере приходит конец, что ее сменит новая вера, которой заря будто бы занимается. Бог даст, если это и случится, то еще не скоро, и если случится, то лишь на время. Конечно, то будет время не просвещения, а помрачения.

В старой вере нашей – истина природы человеческой, истина непосредственного ощущения и сознания, та истина, которая отзывается в правду, из глубины духа, на слово божественного откровения. Эта истина есть, и зерно ее лежит в каждой душе. Про нее сказано: «Всяк, иже есть от истины, послушает гласа Моего»⁸⁹.

Старая вера наша основана на том, что каждый человек чувствует в себе живую душу, бессмертную, единую, и этой живой души не смешивает ни с природою, ни с человечеством, в ней сознает себя перед Богом и перед людьми и в ней хочет жить вечно. Своей живой душой вступает он в свободный союз любви с другими людьми, и как живет ею, так и отвечает на нее сам. Ею ощущает он своего Создателя так же просто, как живет, и в этом простом ощущении независимо от разума обретает свою веру.

Являются проповедники новой веры. Одни смеются над старой верой и все хотят разрушить, не желая создать нового. Другие, по-видимому, серьезнее: они премудрости ищут и хотят навязать нам свою надуманную премудрость; всякий из них предлагает нам свое сочинение, свою конструкцию веры, потому что, сознавая все-таки необходимость верования, они хотят только сочинить свое. Но какие жалкие эти сочинения! Все они бессильны собрать около себя и одушевить живой идеей живые человеческие души, потому что ни одно из них не ставит живого Духа Божия в центре верования.

В последнее время много появилось отдельных систем, в которых философы, каждый по-своему, стараются построить

для человечества веру без Бога. Все воображают, что построили такую веру разумом, но это неправда. Разуму человеческому, когда он рассуждает прямым путем, не закрывая от себя и не отрицая фактов, существующих в природе и в душе человеческой, некуда деваться от идеи о Боге. Настоящий источник безбожия – не в разуме, а в сердце, совершенно так, как сказано пророком: сказал безумный в сердце своем: нет Бога. В сердце, т[о] е[сть] в желании, источник всякого падения, как бы ни старался разум осмыслить себе всякое падение. Начинается всегда с того, что сердце ищет себе полной свободы и возмущается против заповеди и против Того, Кого начало и конец всякой заповеди. Чтобы освободиться от заповеди, нет другого пути, как отвергнуть верховный авторитет ее и поставить на место его свой авторитет, свое знание. Повторяется в бесконечные веки самая старая из всех человеческих историй: «Ты сам можешь знать добро и зло; сам можешь быть себе Богом»⁹⁰. Вот откуда искони идет безбожие.

Но чудно, по правде, видеть, как разум сам себя обманывает. Какая, кажется, религия без Бога, а такую именно религию проповедуют безбожники. Они говорят: «Вместо старых сказок о Боге возьми действительную истину. Бога не видать нигде; действительно есть природа, действительно есть человечество. Оно не только факт, оно есть сила, способная дойти с течением веков и тысячелетий посредством опыта и разума до безграничного развития, до невообразимого совершенства. В этой идее столько внутренней глубины и силы, что она совершенно достаточна заменить человеку вполне религиозное чувство и связать всех людей воедино общей религией человечества». (Разве это не все равно, что библейское: будете яко божи?) Таково учение новейшей позитивной науки и так называемого утилитаризма.

Но с другой стороны, появляется знаменитый апостол Тюбингенской школы богословия, столп библейской ученой критики, дожившей до старости в ученом отрицании исторических основ Христианства. Это доктор Штраус, автор «Жизни Иисуса», автор новой своей книги «О старой и новой вере»,

в которой он сам говорит, что изложил исповедь свою, результат всех ученых трудов своих и философских размышлений о Боге, природе и человеке. В ту пору, когда он был еще молод и писал свою «Жизнь Иисуса», он входил еще осторожно и с некоторым уважением в разбор фактов, освященных вековым верованием человечества, касался еще вдумчиво основных идей, лежащих в глубине верования, в нем еще слышались остатки богопочтения. Но теперь, когда он говорит о Боге, в слове его слышится как будто раздражительное ожесточение против Бога, как против вредной и лживой басни, извратившей мысль человеческую. Слышно, как «сердится Юпитер».

Но, отвергая Бога, Штраус, по странному противоречию мысли, не хочет расстаться с религиозным чувством. Он сознает в себе потребность этого чувства, сознает и присутствие религиозного ощущения. Что же служит предметом его, что может иметь достаточную силу для того, чтобы овладеть душой и наполнить ее? Не личное божество, которого нет, отвечает Штраус, но вселенная (Universum), составляющая источник всяческого блага и всяческой силы и существующего по закону чистейшего разума. Мы требуем, говорит он, для этой вселенной того же самого благоговейного чувства, с которым добрый человек старой веры относился к своему Богу.

Что же такое эта вселенная, и есть ли в ней что духовное? Отвечая на этот вопрос, Штраус являет в себе последователя позитивной философии и новейшего материализма. Учение Канта и Лапласа⁹¹ об исключительном действии механических сил в планетной системе распространяет он безусловно на все явления животной и психической жизни, почитает дух человеческий не чем иным, как результатом сложного действия одних материальных, механических сил. Штраус не признает души в духовном смысле. Естественно, что он следует восторженно теории Дарвина⁹² о происхождении видов, не ограничиваясь приложением этой теории к явлениям внешнего мира, но распространяя ее произвольно и мечтательно на всякого рода явления жизни. Противоречия и скачки в выводах нисколько не смущают его. Все сомнения устраниваются в нем его новой ве-

рой, верой в излюбленную им гипотезу, несовместную, по его мнению, с бытием Бога. Нужды нет, что то или другое общее положение (например, о произвольном зарождении) еще не доказано. Не знаю, как именно и когда, говорит Штраус, но оно непременно будет доказано. В проблеме о происхождении человека он не задумывается над трудными вопросами о том, как объяснить и как согласить с системой происхождения в человеке умственных сил, нравственных идей, эстетических понятий? Все объясняет одно, точно магическое, словечко – натуральный подбор особей. Подлинно, если в этом мечтательном увлечении излюбленной теорией заключается новая вера, то она есть не что иное, как новое суеверие. Учение Дарвина появилось как нельзя более кстати в подкрепление проповедникам новой веры. Оно как будто озарило их новым светом, как будто принесли им ключевой камень, которого не доставало, чтобы замкнуть свод над целой системой. Ухватившись за это учение, многие уже готовы провозгласить или провозглашают старую веру окончательно разбитую и уничтоженную. Со всех сторон спешат прилагать начала, выведенные Дарвином, ко всем явлениям общественного быта и выводят из них такие последствия, о которых, может быть, не помышлял сам Дарвин. Школа, как нередко случается, забегает вперед учителя и, пожалуй, вскоре провозгласит его самого отсталым. Между тем учение Дарвина само по себе, в сфере тех данных, из которых оно выведено, едва ли оправдывает те опасения за целостность веры, которые возбудило оно во многих ее ревнителях. Система Галилея, теория Ньютона⁹³, новые открытия в геологии возбуждали в свое время еще более волнений и опасений, но вера верующих не пострадала от них. То же будет, конечно, и с учением Дарвина. Притом в настоящее время и его нельзя еще признать утвердившимся в науке, и первый энтузиазм, им возбужденный, начинает ослабевать. В него веруют безусловно только *dei minorum gentium*⁹⁴. Передовые люди науки уже начинают убеждаться в том, что это учение, в сущности, представляет только гипотезу, более или менее вероятную, но еще не удостоверенную достаточным числом данных; что положения,

выведенные гениальным ученым из многочисленных его наблюдений, в сущности, оказываются смелыми и остроумными обобщениями подмеченных им явлений, еще оставляющими много места недоумениям и сомнениям.

Но эти положения, возведенные на степень непреложной истины, повторяются уже массой, как *verbum magistri*⁹⁵, и стали, с одной стороны, поговоркой в устах пошлых болтунов либерализма, с другой стороны, многим серьезным умам дали основание для множества новых умственных комбинаций. Кто нынче не говорит о Дарвине? Кто не играет словами: «естественный подбор», «половой подбор», «борьба за существование»? Однако не одних людей легкомысленных, но и людей подлинно ученых и серьезных открытие Дарвина заставляет делать странные скачки в рассуждениях и выводах науки; заставляет высказывать такие речи, которые здравому непредубежденному суждению представляются не иначе, как фантазией или безумием. Это случается всего чаще тогда, когда при помощи Дарвинова учения хотят построить и завершить систему такого мирозерцания, в котором не оставалось бы места Божеству. И действительно, Дарвиново учение очень выгодно для аргументации нового материализма. Человек, по мнению Дарвина, совершенно напрасно присваивал себе и своему духу какое-то особое, привилегированное положение во вселенной; на этом основании он воображал себя одного в числе прочих животных под прямым и личным водительством Божества. Это заблуждение, и заблуждение вредное (*the pernicious idea*). Человек, как и всякое иное животное, есть не что иное, как продукт последовательного и безграничного развития природных форм животной жизни. Желаящему нетрудно вынести отсюда заключение, что, стало быть, Бога нет, и нет души бессмертной. Далее, из учения Дарвинова следует, что все существующие формы живого бытия образовались и все последующие образуются из вековечного и непрестанного движения материи, выводящего из одной формы другую, с новым развитием и новыми орудиями для потребностей. Желаящему нетрудно вывести отсюда такое заключение, что в

самой материи заключается творческая сила, именно это вековечное движение; что в нем заключается вся будущность природы и человечества, способная к безграничному прогрессу и совершенствованию, и что затем нет никакой надобности отыскивать еще вне самой материи конечную творческую силу, равно как и промысел Создателя о вселенной и человеке. Понятно, как сходится такой вывод со вкусом мысли, отвергающей Бога и верующей в человечество. Непонятно только, как может здравый смысл поверить в вечность материи, отвергая начальную ее причину, и поверить тому, что движение само по себе, движение чего бы то ни было, одним течением, хотя бы и вековечного времени, способно произвести все, что угодно представить себе любому воображению.

Печальное будет время, если наступит оно когда-нибудь, когда водворится проповедуемый ныне новый культ человечества. Личность человеческая немного будет в нем значить; снимутся и те, какие существуют теперь, нравственные преграды насилию и самовластию. Во имя доктрины для достижения воображаемых целей к усовершенствованию породы будут приноситься в жертву сами священные интересы личной свободы, без всякого зазрения совести, о совести, впрочем, и помина не будет при воззрении, отрицающем саму идею совести. Наши реформаторы, воспитанные сами в кругу тех представлений, понятий и ощущений, которые отрицают, не в состоянии представить себе ту страшную пустоту, которую окажет нравственный мир, когда эти понятия будут из него изгнаны. Каковы бы ни были увлечения нынешнего законодателя, правителя, нынешней власти всякого рода, над нею все-таки носится безотлучно, хотя и не всегда сознательно, представление о личности человеческой, о такой личности, которую нельзя раздавить так, как давят насекомое. Это представление имеет корень в вековечном понятии о том, что у каждого человека есть живая душа, единая и бессмертная, следовательно, имеющая безусловное бытие, которое не может истребить никакая человеческая сила. Оттого между нами нет такого злодея и насильника, который посреди всех своих насилий не озирался бы

на попираемую им живую душу с некоторым страхом и почтением. Отнимите это сознание – во что превратится законодательство наше, правительство наше и наша общественная жизнь? Поборники личной свободы человека странно ободряют себя, когда во имя этой свободы присоединяются к возникающему культу человечества.

К счастью, можно понадеяться, что эти новые горизонты, которые возвещает нам в будущем гуманитарное учение, никогда не откроются для человечества, или, по крайней мере, откроются не для всех и ненадолго. Что могли бы нам открыть эти горизонты новой веры и новой жизни, о том мы можем судить лишь по некоторым выводам и политическим приложениям, на которые от времени до времени нам указывают. Вот один из образчиков такого приложения дарвинизма к сфере практического законодательства. Есть особенное рассуждение Дарвина «О благодетельных для человечества стеснениях брачного союза». В самом начале статьи Дарвин объясняет, что одна из основных идей Христианства есть идея о личной ответственности каждого человека за свою душу и о независимости человека в духовной его сфере от других людей. Вследствие этого предполагается, что человек вправе располагать на свой ответ и своим телом. Эта идея и это право должны, по мнению Дарвина, уступить действию нового открытого нам закона, его так называемой эволюционной доктрине. Человек вправе располагать своим телом и позволять себе удовлетворение телесных потребностей лишь постольку, поскольку то и другое согласуется с нормальным развитием целой породы. Итак, по мере того как наука дарвинизма будет из своих наблюдений над фактами материальной жизни делать новые выводы и обобщения закона эволюции, законодательство может и должно стеснять личную свободу человека даже в удовлетворении органических его потребностей.

Ссылаясь на статистические данные, собранные в двух-трех ученых сочинениях о физиологическом влиянии наследственности на человеческий организм, Дарвин утверждает, что в Англии на каждые 500 человек приходится один безумный,

что это безумие происходит в большей части случаев от наследственного к нему расположения, передаваемого браком и рождением, и что количество отдельных случаев безумия увеличивается со временем в геометрической прогрессии. Итак, человеческой породе угрожает безграничное распространение зла, против которого необходимо принять меры. С этим выводом можно согласиться. Все дело состоит в том, какие потребны меры. Дарвин, со своей точки зрения, предлагает стеснить для человечества до крайней возможности свободу вступления в брак. «Необходимо, – говорит он, – улучшить, укрепить физический организм в породе человеческой; для этой цели мы должны придумать искусственное средство в замену ослабевшей силы естественного подбора (*natural selection*). Только при таком условии возможен прогресс в породе человеческой. *Mens sana in corpore sano*⁶. Успехи врачебного искусства служат в этом случае не к общей пользе, а к вреду. Нет сомнения, что в массе нашего цивилизованного общества уровень здоровья понизился до тревожных размеров, и что врачебное искусство, поддерживая слабые организмы, будет только увеличивать зло для будущих поколений. Необходимо, по мнению Дарвина, сократить число слабых, вступающих в состязание с сильными в борьбе за существование.

И вот какие средства предлагает Дарвин законодательству для этой цели. Все существующие ныне в законе препятствия к вступлению в брак должны оставаться в силе. Сверх того, закон должен, во-первых, признать решительным поводом к разводу появление у одного из супругов некоторых болезней. Каких? Дарвин приводит целую номенклатуру болезней, передаваемых по наследству; мы находим здесь болезни легких, желудка, печени, подагру, золотуху, ревматизм и т[ому] п[одобное], так что всякому супругу, не обладающему геркулесовским здоровьем, приходилось бы трепетать ежедневно за целостность своего брачного союза, тем более что расторжение его по болезни было бы связано с государственным интересом или, правильнее сказать, с интересом всего человечества. И можно думать, что Дарвин имеет в

виду приложение к делам этого рода следственного процесса, потому что далее, во-вторых, предлагает он ввести общую систему медицинского осмотра для удостоверения упомянутых болезней, по образцу принятой в Германии системы осмотра для удостоверения способности к военной службе. В-третьих, Дарвин предлагает поставить следующее правило. Никто не может вступить в брак, не представив удостоверения в том, что он никогда в жизнь свою не страдал припадками безумия. Мало того, он должен еще представить чистую свою родословную (*untainted pedigree*), т[о] е[сть] доказать, что его родители и даже дальнейшие, восходящие и боковые родственники никогда не имели подобных припадков. Все это необходимо, поясняет Дарвин, для того, чтобы в массе человечества значительно умножилась способность к счастью (*capacity for happiness*) с уничтожением главного препятствия к счастью, т[о] е[сть] болезни.

Возможно ли вводить такие стеснения? – спрашивает сам Дарвин, и отвечает: пустяки! Такие ли стеснения существуют в разных брачных законах?! В доказательство приводит он на трех страницах примеры из разных законодательств, больше всего из варварских, ссылаясь заодно и на Пруссию, и на Сиам, и на Китай, и на Мадагаскар, и на остяков с тунгусами. Ему нравится, по-видимому, всякое запрещение вступать в брак и всякий повод к разводу. В конце своей речи он даже не останавливается на самом простом вопросе, который можно было бы предложить ему: к чему послужат законные запрещения брака, когда помимо брака невозможно будет удержать натурального сожития и, стало быть, деторождения? Может быть, вопрос этот и приходил на мысль автору, но достаточным на него ответом представлялся ему, приведенный в этой же статье пример Японии, где проституция не только терпима, но даже под рукою покровительствуется государством, так как ею задерживается чрезмерное нарождение людей...

Так судит сам первоверховный апостол дарвинизма! Очевидно, что основным законом бытия представляется ему «охранение сильных и истребление слабых». И это самое пра-

вило хочет он, по-видимому, возвести в положительный закон для гражданского общества. Вот образчик крайнего увлечения односторонней идеей собственного изобретения. Кроме нее будущий законодатель общества ничего не видит и не признает, по-видимому, в жизни и развитии никаких иных мотивов, кроме физиологических. О нравственных мотивах не упоминает он вовсе. Сильные и слабые организмы представляются ему числами, отвлеченными величинами, на которых он делает расчет математически. Он даже не задает себе вопрос: действительно ли сильным прибудет силы оттого, что погибнут все слабые? Он не хочет знать той истины, что всякая сила возрастает от действительности, от испытания и упражнения, и что сильным не на чем будет испытывать и возвращать свою силу, когда не будет слабых, требующих помощи и покровительства; что сами слабые, возрастая при благоприятных условиях, могут окрепнуть, достигнуть силы и стать способными передать ее другому поколению. Наконец, и сильные, устоявшие в натуральной борьбе, способны ли будут послужить к усовершенствованию породы, если сила их будет поддерживаться механическим процессом на счет слабых?

Новое Христианство без Христа

Замечательное явление нашего времени представляет несущееся отовсюду отрицание Церкви со всеми ее догматами и установлениями, соединенное с проповедью христианства без Христа. Никем не призванные учителя разных толков, объединяясь лишь в отрицании, проповедуют с ревностью, доходящею до фанатизма и до глумления над всяким возражением, туманное, не приведенное в систему, но повелительное применение к жизни начал, произвольно извлеченных и произвольно истолкованных из Евангелия, но вместе с тем отрицают Евангелие во всей его целостности и отрицают вместе с Церковью главу Церкви – Иисуса Христа – Богочеловека.

Они называют это свое христианство истинным, а то, которое сначала проповедовалось Церковью, – ложным.

В отрицании людям всего легче объединиться, их влечет к этому общий дух недовольства и смутного стремления к лучшему. Всякий, сосредоточась на своем *я*, всегда себялюбивом, самочинном, исключительном, отрешаясь в духе от мира своих собратий, приходит к отрицанию. Возмущаясь против неправды и зла в человеческих отношениях, забывает притом о своей неправде, ищет водворения правды в человечестве и забывает притом, что всякий человек раздвоен в себе – хочет, чего не делает, и делает, чего не хочет, и что жизнь человечества совершается тысячами и миллионами годов и впадает в вечность; что тем же ходом идет в человечестве прерывистая и мучительная эволюция правды, коей вечные законы, от века начертанные, от века нарушаются и подвергаются поруганию. Хранительницей этих законов, говорят они, поставила себя Церковь; она не умела водворить их в действительности; здание ее обветшало, дело ее преисполнено мертвых формальностей, суеверий, обманов и злоупотреблений. Надо разрушить это здание, и новый закон любви и правды объявить человечеству: разрушим Церковь. Самый легкий способ усовершенствования учреждений, по мнению новаторов, есть разрушение существующих. С этого начинают и неохристиане, но на месте разрушенного учреждения не в силах они построить новое; ставя закон своего изобретения, ничего не хотят и не умеют создать для хранения и возможного в природе человеческой осуществления закона, как будто сам закон должен самостоятельно действовать и сам собою объединить человечество для новой жизни.

Прежде чем отрицать Церковь и ее верования, надобно знать ее. А для того чтобы знать ее, мало изучить внешним образом догматы ее, учреждения и обычаи. Церковь есть живой организм, совокупность верующих душ; и для того чтобы познать Церковь, надо войти в душу народа, который составляет Церковь, надо жить одной жизнью с народом, как с равными собратиями, не ставя себя выше народа, не относясь к нему с одним отрицанием, как к толпе невежественной и дикой. Но

к этому не способны самочинные пророки неохристианства, и потому, когда они обличают пороки и зло, и ложь в жизни церковной, в этих обличениях нет любви, а слышатся только гордость самодовлеющей мысли и злоба раздражения; нет того пламенного стремления к исправлению и усовершенствованию, той горячей надежды на победу любви и правды, что слышится в речах Христа, а обличения, исполненные гордого духа, приводят лишь к голому отрицанию.

Откуда все это? Невольно думается, что идеалом нынешнего века, конечным пунктом прогресса в человечестве становится теперь самодовлеющее *я*, стремящееся в человеческом образе возвыситься над человечеством и самому быть законом. Таковы, по-видимому, идеалы новейших философских учений, таковы герои излюбленных романов, драм и поэм в новейшей литературе. Идеальным представляется человек, кто сам себя ставит конечную цель своих действий и на других людей смотрит, как на орудие для своего возвеличивания. Быть самим собою, слушать только свою волю и свое хотение, ничего и никого не признавать над собою, сверх себя – таков идеал человека, стремящегося быть сверхчеловеком. Под эту мысль, в сущности, чудовищно нелепую, иные подкладывают в основание другую мысль: всего этого должен достигнуть человек посреди общества для того, чтобы, овладев им, подчинить его себе для его же блага и водворить в нем царство любви и братства. Но такого основания никакая философия признать не может. Что исходит из эгоизма и на эгоизме основано, в том не может быть никаких зачатков любви и преданности, и тот, кто сознательно заключил себя в своем *я*, не может сбросить его с себя и освободиться. Правда, для деятельности, посвященной общественному благу, потребны не бездушные, равнодушные и бесхарактерные люди, но лица с характером и совестью, и такое лицо всякий, желающий служить обществу, должен воспитать в себе. Но и личность в нравственном смысле может образоваться и достигнуть развития не иначе, как через сношение человека с подобными себе, так только человек может выработать в себе достоинство. Но когда человек

начинает с того, что, чуждаясь общества, посреди коего живет, подвергает его презрению для того, чтобы в отчуждении воспитать в себе свое гордое, причудливое я и затем присвоить себе миссию разорить это общество вконец и на месте его создать новое по своему плану – в этом нет никакой мудрости, а одно лишь безумие.

Тем не менее в наши дни это безумие возводится в идеал, художественно изображаемый мыслителями и поэтами. А за ними, не рассуждая, увлекаемая талантом, стремится стадным движением толпа, восхищаясь героями и героинями идеализированного эгоизма. Один за другим появляются самозванные пророки безумной автономии мышления и действия, пророки социальной реформы, пророки анархии и злодейства, пророки новых верований, отрицающие религию. А когда берется за это художник мышления и слова, он привлекает к себе толпу поклонников. Многие увлечения, при внутренней несостоятельности учения доходящие нередко до энтузиазма, объясняются силой художественной его конструкции. Когда идея, какая бы ни была, овладевает гениальным художником мышления и слова, он может приложить к ее развитию всю силу своего таланта и воздвигнуть на ней здание, поражающее красотой и стройностью логических выводов из мысли, в существе своем ложной. Но к распознаванию этой основной лжи не способна толпа, увлеченная своим восторгом. А творец-художник, увлекаясь и своим созданием, и восторгами своих поклонников, сам входит мало-помалу в роль пророка, призванного обновить человечество новой идеей и рассылать во все концы восторженных ее проповедников – учеников своих.

Наше время изобилует учениями, основанными на началах крайнего материализма, отрицающего духовную силу в жизни человечества. Разделяясь на множество отдельных систем и толков под разными названиями (позитивизм, натурализм, агностицизм, утилитаризм, крайний социализм, анархизм и пр[очее]), эти учения, сложившись в научно-художественное построение, расплодившись в обширной литературе, приобрели себе множество восторженных по-

клонников, располагают бесконечными средствами пропаганды посредством печатного и устного слова и мало-помалу овладевают умами возрастающего поколения. Так создается почва для неверия, для легкомысленной критики Церкви и легкомысленного от нее отчуждения.

Но отойдя от своей Церкви, в коей родились, люди не могут отрешиться от многих ощущений и впечатлений своего общества, порожденных и воспитанных веками христианского учения. Опыт доказывает, что где засохли корни веры, там еще остаются корни суеверия, повсюду нередко смешанного с неглубоко сидящею верою. Остается какое-то ощущение духа в жизни, какой-то страх перед чертою, отделяющею дух от материи. Отсюда замечаемое повсюду в наш век, подобно тому, что происходило в веке разложения римско-языческой культуры, искание какой-нибудь веры: с одной стороны, разномножение суеверий, иногда диких и чудовищных, создающих себе особенный культ; с другой – стремление найти ответ на запросы духа в магометанстве и буддизме; наконец, стремление создать новую религию на рациональных началах, вложив в нее по внушению фантазии нравственные правила, взятые из Евангелия, религию любви под названием очищенного Христианства. Отрицаясь от Церкви, разрушая всякую ограду церковной веры и церковного единения, апостолы этих учений хотят вместо Церкви создать какое-то расплывающееся в любви всемирное братство мнимых последователей Христа – без веры во Христа. Осудив Церковь, не сумевшую в течение веков осуществить царство Божие на Земле, сами они мечтают достигнуть этого своим учением, водворив любовь, общее довольство, равенство без порока и преступления: вот, проповедают они, истинная цель нашего учения – осуществление на Земле царства любви и мира.

Напрасная мечта, напрасная смута умов и сердец человеческих. Религия не может быть без веры, а это новое мнимое Христианство в кого и во что верует и на чем, кроме бедного слова человеческого, утверждает и свои заповеди, и свое мечтательное чаяние царства любви и правды на земле? Это уче-

ние ходит по земле и не имеет того, чем живет Церковь Христова – стремления к небу. В Церкви это стремление не праздно и не мечтательно, потому что имеет живую цель, живой образ Христа Спасителя – Богочеловека.

Вера не может держаться на одном учении, как бы ни было оно чисто и возвышенно, не может держаться и на одном собрании догматов. Могут они проповедовать жизнь, но жизни в них еще нет. Жизнь Христианской Церкви – в лице Христа, Богочеловека, в коем вечно идеальное существо Божества воплотилось и явилось человеку. Он, явившись, овладел всей душой человека и явил ему Отца Небесного. Христианство без Христа быть не может, а завет Христа не в том состоит, чтобы водворить на земле царство от мира сего, царство всеобщего довольства, благополучия и мира: Царство Его не от мира сего. В существе бытия по закону Его поставлена радость, но не счастье, не покой, не материальное благосостояние, а с радостью духа и со служением ближнему – жертва, поношение ига Христова, крест, блаженство нищих духом и плачущих, освобождение от греха и жизнь вечная. Кто хочет изъять все это из Христианства, тот уничтожает его в самом корне и льстивое мечтание гордой мысли воздвигает на место вечной правды Христовой.

Духовная жизнь

I

Старые учреждения, старые предания, старые обычаи – великое дело. Народ дорожит ими, как ковчегом завета предков. Но как часто видела история, как часто видим мы ныне, что не дорожат ими народные правительства, считая их старым хламом, от которого нужно скорее отделаться. Их поносят безжалостно, их спешат перелить в новые формы и ожидают, что в новые формы немедленно вселится новый дух. Но это ожидание редко сбывается. Старое учреждение тем драго-

ценно, потому и незаменимо, что оно не придумано, а создано жизнью, вышло из жизни прошедшей, истории и освящено в народном мнении тем авторитетом, который дает история, и одна только история. Ничем иным нельзя заменить этот авторитет, потому что корни его в той части бытия, где всего крепче связуются и глубже утверждаются нравственные узы, именно – в бессознательной части бытия. Напрасно полагают ныне, что можно заменить его сознанием идеи вновь введенного учреждения, которое желают привить к народной мысли; только отдельные лица могут скоро усвоить себе такое сознание рассудочной силой и найти в нем для себя источник одушевления и веры. Для массы недоступно такое сознание; когда хотят его привить к ней извне, оно преломляется, дробится, искажается в ней, возбуждая лживые и фантастические представления. Масса усваивает себе идею только непосредственным чувством, которое воспитывается, утверждается в ней не иначе, как историей, передаваясь из род в род, из поколения в поколение. Разрушить это предание возможно, но невозможно по произволу восстановить его.

В глубине старых учреждений часто лежит идея, глубоко верная, прямо истекающая из основ народного духа, и хотя трудно бывает иногда распознать и постигнуть эту идею под множеством внешних наростов, покровов и форм, которыми она облечена, утратив в новом мире первоначальное свое значение, но народ постигает ее чутьем и потому крепко держится за учреждения в привычных им формах. Он стоит за них со всеми оболочками, иногда безобразными и, по-видимому, бессмысленными, потому что оберегает инстинктивно зерно истины, под ними скрытое, оберегает против легкомысленного посягательства. Это зерно всего дороже, потому что в нем выразилась древним установлением исконная потребность духа, в нем отразилась истина, в глубине духа скрытая. Что нужды, что формы, которыми облечено установление, грубые: грубая форма – произведение грубого обычая, грубого права, внешней скудости – явление преходящее и случайное. Когда изменятся к лучшему нравы, тогда и форма одухотворится, обогородит-

ся. Очистим внутренность, поднимем дух народный, осветим и выведем в сознание идею, тогда грубая форма распадется сама собою и уступит место другой, совершеннейшей; внешнее само собою станет чисто и просто.

Но этого не хотят знать народные реформаторы, когда расвирепеют негодованием на грубость формы и на злоупотребление в древних установлениях. Из-за обрядов и форм они забывают о сущности учреждения и готовы разбить его совсем, ничего в нем не видя, кроме грубости и обрядного суеверия. Сами они думают, что перешли через него, пережили его и могут без него обойтись, но забывают о миллионах, которым оно доступно по мере быта и духовного развития их лишь в этой грубой обрядности. Разбейте ее в виду народа, и народ, только ее знающий, утратит с обрядностью целое учреждение, утратит, может быть, навсегда, возможность уловить снова заложенную в нем предками идею и облечь ее в новую форму. Не лучше ли было бы начать преобразование изнутри, просветить сначала дух народный, углубить в нем идею, очистить и обогатить нравственный и умственный быт его? Тогда и идея была бы спасена, и насилия в народной жизни не было бы, и грубая форма сама собою перелилась бы в новую.

«Великое дело, – говорит Карлейль, – существующее, действительное, то, что возникло из бездонных пропастей теории и возможности, образовалось и стоит между нами определенным, бесспорным фактом, на котором люди живут и действуют, жили и действовали. Недаром так крепко держатся за него люди, пока он стоит еще, с такой скорбью покидают его, когда он рассыпается и уходит. Остерегись же, опомнись, восторженный поклонник перемены и преобразований! Подумал ли ты, что значит обычай в жизни человечества, как чудно все наше знание, вся наша практика повешена над бесконечной бездной неведомого, несодеянного, и все существо наше, точно бесконечная бездна, через которую переброшен мост обычая тонким земляным слоем, сложенным вековой работой...

Этот земляной мост – система обычаев, определенных путей для верования и для делания: не будет его, не будет и

общества. С ним оно держится; хорошо ли, худо ли, существует. В них, в этих обычаях, истинный кодекс законов, истинная конституция общества; единственный, хоть и не писанный кодекс, которого никоим образом нельзя не признать, которому нельзя не повиноваться. Что мы называем писанным кодексом, конституцией, образом правления – все это разве не миниатюрный образ, не экстракт того же неписаного кодекса? Да, таким должен быть писанный закон и таким всегда стремится быть, но никогда не бывает, и в этом противоречии начало борьбы бесконечной...

Но если в обычае ты чувствуешь ложь, и эта ложь давит тебя, неужели оставить ее, неужели уважать ее, неужели не разрушить ее? Да, не мирись с ложью и разрушай ложь, но помни, в каком духе разрушаешь: смотри, чтобы не в духе ненависти и злобы, не с насилием эгоизма и самоуверенности, а в чистоте сердца, со святою ревностью к правде, с нежностью, с состраданием. Смотри, разрушая ложь, не заменяешь ли ты ее новою ложью, новой неправдой, от тебя самого исходящей, своею ложью, своей неправдой, от которой новые лжи и неправды родятся? Если так, последние у тебя будут горше первых...»

II

Из-за свободы ведется вековая брань в мире человеческих учреждений и отношений, но где она, эта свобода, если нет ее в душе человеческой? Отовсюду разум ополчается на старые авторитеты и стремится разрушить их, по-видимому, для свободы, но на самом деле для того, чтобы поставить на место их авторитеты настоящей минуты, вновь изобретенные сегодня, может быть, для того только, чтобы завтра на смену им явились еще новые. Современный проповедник разума и свободы смотрит презрительно на православно-верующих за то, что они держатся веры, которую приняли в Церкви от отцов и дедов, и остаются верны преданию, но и он разве сам из себя выработал то, что считает основными мнениями своими о Церкви и

о главных предметах жизни духовной. Он осмеивает благоговейное чувство церковного человека и называет его суеверием. А у него самого за плечами стоит так называемое общественное мнение и связывает его благоговейным страхом: разве это не величайшее из суеверий? Нам дорого наше прошедшее, мы относимся с уважением к истории. Он смеется, он презирает прошедшее и верует в настоящее, но это поклонение настоящему чем лучше нашего, осмеянного им чувства? Нам говорят: сбросьте с себя ярмо закона, разорвите вековые цепи предания и будете свободны... Но какая же то свобода, когда вместе с тем настоящее *status quo*⁹⁷ возводится нам в закон и ложится на нас ярмом, еще тяжелее прежнего, когда вместо непогрешимого и вдохновенного Писания, которое отнимают у нас, велят нам верить в непогрешимость мнения толпы народной и хотят, чтобы в большинстве голосов слышали мы непререкаемый и непогрешимый голос истины.

III

Старые листья (из Саллета⁹⁸)

Срывая с дерева засохшие листья,
Вы не разбудите заснувшую природу,
Не вызовете вы, сквозь снег и непогоду,
Весенней зелени, весенней теплоты!

Придет пора – тепло весеннее дохнет,
В застывших соках жизнь и сила разольется,
И сам собою лист засохший отпадет,
Лишь только свежий лист на ветке развернется.

Тогда и старый лист под солнечным лучом,
Почуяв жизнь, придет в весеннее брожение:
В нем новой поросли готовится назем,
В нем свежий сок найдет младое поколение...

Не с тем пришла весна, чтоб гневно разорять
Веков минувших плод и дело в мире новом:
Великого удел – творить и исполнять:
Кто разоряет – мал во царствии Христовом.

Не быть творцом, когда тебя ведет
К прошедшему одно лишь гордое презренье.
Дух создал старое: лишь в старом он найдет
Основу твердую для нового творенья.

Век будут истинны пророки и закон,
В черте единой вечный смысл таится,
И в новой истине лишь то должно открыться,
В чем был издревле смысл глубокий заключен.

IV

В пыли и брении земном
Зерно чистейшее хранится,
И пробивает прах ростком,
Чтобы под солнечным лучом
Могучим деревом развиться.

В пустыне, зноем дня спаленной,
Где только вранов слышен крик,
Под грудой камней раскаленной
Сокрыт живительный родник
Воды прозрачной и студенной.

Где солнца луч навек угас
В пучине хладной дна морского,
Там ищет смелый водолаз
Жемчужин, блещущих для глаз
Отливом неба голубого.

Под грубой каменной корой
Алмаз таится драгоценный;
Но млат дробит за слоем слой,
И блещет чудною красой
Алмаз, из камня извлеченный.

Не так ли в мире суждено,
По воле тайной Провиденья,
Чтоб слова Божия зерно
Было на дне схоронено
Соблазнов, лжи и заблужденья?

Чтоб чудный дар воды живой,
Излитый Божией рукой
На мир в потоках беспредельных,
Вкушался жаждущей толпой
В сосудах грешных и скудельных?

Но вечной истины зерна
Сплетенье лжи не заглушает,
И древо жизни и добра
От зла и смерти торжества
Весь мир собою охраняет.

Но и воды живой струя
В сосудах грешных не мутится,
И дня великого заря,
Лучами кроткими горя,
Во веки тьмою не затмится.

V

Один разве глупец может иметь обо всем ясные мысли и представления. Самые драгоценные понятия, какие вмещает в себе ум человеческий, находятся в самой глубине поля и в полумраке; около этих-то смутных идей, которые мы не в си-

лах привести в связь между собою, вращаются ясные мысли, расширяются, развиваются, возвышаются. Если бы отрезать нас от этого заднего плана, в этом мире остались бы только геометры да понятливые животные; даже точные науки утратили бы в нем нынешнее свое величие, зависящее от скрытого их отношения к другим бесконечным истинам, которые мы только угадываем и в которые лишь по временам как будто прозираем. Неизвестное – это самое драгоценное состояние человека, недаром учит Платон, что все в здешнем мире ее слабый образ верховного домостроительства. Кажется даже, что главное действие красоты, которую мы видим, состоит в возбуждении мысли о высшей красоте, которой не видим, и очарование, производимое, например, великими поэтами, состоит не столько в картинах, ими изображаемых, сколько в тех дальних отголосках, которые они будят в нас и которые идут из невидимого мира.

VI

Жизнь, бьющая ключом юности, желания и страсти, жизнь, исполненная наслаждений, жизнь под непрерывным солнечным сиянием погружает человека в сон, с которым расстаться не хочется, сон, исполненный очаровательных видений и сладостных ощущений.

Но этот сон когда-нибудь прерывается горем, заботою, разочарованием, падением счастья и правды. Солнце скрывается – наступает ночь со всеми страхами ночи.

Но посреди этой ночи на своде небесном являются смятенной душе в таинственной красоте своей небесные светила, которых она не видела и не чуяла в солнечном сиянии. Тогда таинственное объемлет и смиряет смятенную душу, и встают перед нею светила детства и юности: простота первых ощущений, ласки и заветы бескорыстной родительской любви, забытые уроки Богопочтения и долга – все, что вместе с началом бытия возникло для человека из вечности, и питало, и учило, и освещало начатки юной жизни. Надо было душе

погрузиться в мрак ночи для того, чтоб открылись ей из глубины прошедшего небесные ее светила.

VII

Карус⁹⁹ в своем известном сочинении «О душе» (Psyche) говорит, что ключ к уразумению существа сознательной жизни души лежит в области бессознательного. В своей книге он исследует взаимное отношение сознательного к бессознательному в жизни человеческой и высказывает много глубоких мыслей. Божественное в нас, говорит он, что мы называем душою, не есть что-либо раз остановившееся в известном моменте, но есть нечто непрестанно преобразующееся в постоянном процессе развития, разрушения и нового образования. Каждое явление, бывающее во времени, есть продолжение или развитие прошедшего и содержит в себе чаяние будущего. Сознательная жизнь человека разлагается на отдельные моменты времени, и ей доступно лишь смутное представление своего существа в прошедшем и будущем, настоящая же минута от нее ускользает, ибо едва явилась, как уже переходит в прошедшее. Приведение всех этих моментов к единству, сознание настоящего, т[о] е[сть] обретение истинного твердого пункта между настоящим и будущим, возможно лишь в области бессознательного, т[о] е[сть] там, где нет времени, но есть вечность. Известные мифы греческой древности об Эпиметее и Прометее имеют глубокое значение, и недаром греческая мудрость ставила их в связь с высшим развитием человечества. Вся органическая жизнь напоминает нам эти две оборотные стороны творческой идеи в области бессознательного. И в мире растительном, и в мире животном каждое побуждение, каждая форма дают нам знать, когда мы вдумываемся, что здесь есть нечто, возвращающее нас к прошедшему, к явившемуся и бывшему прежде, и предсказывает нам нечто, имеющее образоваться и явиться в будущем. Чем глубже мы вдумываемся в эти свойства явлений, тем более убеждаемся, что все, что в сознательной жизни мы называем памятью, воспоминанием, и все то в особенности,

что называем предвидением и предведением, – все это служит лишь самым бледным отражением той явности и определенности, с которой эти свойства, воспоминания и предвидения открываются в бессознательной жизни.

В сочинении Каруса исследуются случаи, в которых сознательная жизнь души, приостанавливаясь, переходит иногда внезапно в область бессознательного. Замечательно, говорит он, внезапное и непроизвольное возникновение в нашей душе давно исчезнувших из нее представлений и образов, равно как и внезапное исчезновение их из нашего сознания, причем они сохраняются и соблюдаются, однако, в глубине бессознательной души. Представления о лицах, предметах, местностях и пр[очем], даже иные особенные чувства, ощущения иногда в течение долгого времени кажутся совсем исчезнувшими, как вдруг просыпаются и возникают снова со всею живостью и тем доказывают, что в действительности не были они утрачены. Бывали отдельные очень удивительные случаи, в коих разом сознание с необыкновенною ясностью простиралось на целый круг жизни со всеми ее представлениями. Известен случай этого рода с одним англичанином, подвергавшимся сильному действию опиума: однажды в период сильного возбуждения перед наступлением полного притупления чувств ему представилась необыкновенно ясно и во всей полноте картина всей прежней его жизни со всеми ее представлениями и ощущениями. То же, рассказывают, случилось с одной девицей, когда она упала в воду и утопала в минуту перед совершенною потерею сознания.

Карус не приводит подробностей и не ссылается на удостоверение приведенного случая, многим, без сомнения, доводилось тоже слышать подобные рассказы в смутном виде. Но вот единственный нам известный, любопытный и вполне достоверный рассказ о подобном событии самого того лица, с коим оно случилось.

Это случилось с очень известным английским адмиралом Бьюфортом в Портсмуте, когда он в молодости опрокинулся с лодки в море и пошел ко дну, не умея плавать. Он был вытащен

из воды и впоследствии, по убеждению известного доктора Волластона¹⁰⁰, записал странную историю своих ощущений. Вот этот рассказ во всей его целостности.

Описывая обстоятельства, при которых совершилось падение, он говорит: «Все это я передаю или по смутному воспоминанию, и по рассказам свидетелей; сам утопающий в первую минуту поглощен весь ощущением своей гибели и борением между надеждой и отчаянием. Но что затем последовало, о том могу свидетельствовать с полнейшим сознанием: в духе моем совершился в эту минуту внезапный и столь чрезвычайный переворот, что все его обстоятельства остаются донныне так свежи и живы в моей памяти, как бы вчера со мною случились. С того момента, как прекратилось во мне всякое движение (что было, полагаю, последствием совершенного удушения), тихое ощущение совершенного спокойствия сменило собою все прежние мятежные ощущения; можно пожалуй, назвать его состоянием апатии; но тут не было тупой покорности перед судьбою, потому что не было тут ни малейшего страдания, не было и ни малейшей мысли ни о гибели, ни о возможности спасения. Напротив того, ощущение было скорее приятное, нечто вроде того тупого, неудовлетворенного состояния, которое бывает перед сном после сильной усталости. Чувства мои, таким образом, были притуплены, но с духом произошло нечто совсем противоположное. Деятельность духа оживилась в мере, превышающей всякое описание; мысли стали возникать за мыслями с такою быстротою, которую не только описать, но и постигнуть не может никто, если сам не испытал подобного состояния. Течение этих мыслей я могу и теперь в значительной мере проследить, начиная с самого события, только что случившегося; неловкость, бывшая его причиною, смятение, которое от него произошло (я видел, как двое вслед за мною спрыгнули с борта), действие, которое оно должно было произвести на моего нежного отца, объявление ужасной вести всему семейству, тысяча других обстоятельств, тесно связанных с домашнею моею жизнью, – вот из чего состоял первый ряд мыслей. Затем круг этих мыслей

стал расширяться дальше: явилось последнее наше плавание, первое плавание со случившимся крушением, школьная моя жизнь, мои успехи, все ошибки, глупости, шалости, все мелкие приключения и затеи того времени. И так дальше и дальше назад, всякий случай прошедшей моей жизни проходил в моем воспоминании в поступательно обратном порядке, и не в общем очертании, как показано здесь, но живой картиной во всех мельчайших чертах и подробностях. Словом сказать, вся история моего бытия проходила передо мной точно в панораме, и каждое в ней со мною событие соединялось с сознанием правды или неправды, или с мыслью о причинах его и последствиях; удивительно, даже самые мелкие, ничтожные факты, давным-давно позабытые, все почти воскресли в моем воображении, и притом так знакомо и живо, как бы недавно случились. Все это не указывает ли на безграничную силу нашей памяти, не пророчит ли, что мы со всей полнотой этой силы проснемся в ином мире, принуждены будем созерцать нашу прошедшую жизнь во всей полноте ее? И с другой стороны, все это не оправдывает ли веру, что смерть есть только изменение нашего бытия, в коем, стало быть, нет действительного промежутка или перерыва? Как бы то ни было, замечательно в высшей степени одно обстоятельство, что бесчисленные идеи, промелькнувшие в душе у меня, все до одной обращены были в прошедшее. Я был воспитан в правилах веры. Мысли мои о будущей жизни и соединенные с ними надежды и опасение не утратили нисколько первоначальной силы, и в иное время одна вероятность близкой гибели возбудила бы во мне страшное волнение, но в этот неизъяснимый момент, когда во мне было полное убеждение в том, что перейдена уже черта, отделяющая меня от вечности, ни единая мысль о будущем не заглянула ко мне в душу, я был погружен весь в прошедшее. Сколько времени было у меня занято этим потоком идей или, лучше сказать, в какую долю времени все они были втиснуты, не могу теперь определить в точности, но, без сомнения, не прошло и двух минут с момента удушения моего до той минуты, когда меня вытащили из воды.

Когда стала возвращаться жизнь, ощущение было во всех отношениях, противоположное прежнему. Одна простая, но смутная мысль – жалостное представление, что я утопал, тяготела над душой вместо множества ясных и определенных идей, которые только что пронеслись через нее. Беспомощная тоска вроде кошмара подавляла все мои ощущения, мешая образованию какой-либо определенной мысли, и я с трудом убедился, что жив действительно. Утопая, не чувствовал я ни малейшей физической боли, а теперь мучительная боль терзала весь состав мой; такого страдания я не испытывал впоследствии, несмотря на то, что бывал несколько раз ранен и часто подвергался тяжким хирургическим операциям. Однажды пуля прострелила мне легкие: я пролежал несколько часов ночью на палубе и, истекая кровью от других ран, потерял, наконец, сознание в обмороке. Не сомневаясь, что рана в легкие смертельна, конечно, в минуту обморока я имел полное ощущение смерти. Но в эту минуту не испытал я ничего похожего на то, что совершалось в душе у меня, когда я тонул; а приходя в себя после обморока, я разом пришел в ясное сознание о своем действительном состоянии».

Церковь

I¹⁰¹

См.: Настоящее издание. Т. 1. Вера. К вопросу о воссоединении Церквей – С. 453–458.

Есть сочинение замечательное по глубине и основательности мысли, написанное человеком, очевидно, верующим, глубоко и ревностно преданным своей Церкви. Вот что здесь сказано, между прочим, о религии.

См.: Там же. – С. 458–463.

II¹⁰²

См.: Там же. Вестминстерское аббатство. – С. 447–453.

III¹⁰³

См.: Там же. В протестантских храмах. – С. 442, 443.

IV

Говорят, что обряд – неважное и второстепенное дело. Но есть обряды и обычаи, отказаться от которых – значило бы отречься от самого себя, потому что в них отражается жизнь духовная человека или всего народа, в них сказывается целая душа. В разности обрядов всего явственнее выражается коренная и глубокая разность духовного представления, таящаяся в бессознательных сферах духовной жизни, та самая разность, которая препятствует слиянию или полноте взаимного сочувствия между разноплеменными народами и составляет основную причину разности церквей и вероисповеданий. Отрицать, с отвлеченной, космополитической точки зрения, действие этой притягательной или отталкивающей силы, приравнивая ее к предрассудку, значило бы то же, что отрицать силу сродства (*wahlverwandschaft*), действующую в личных между людьми отношениях.

Как знаменательна, например, у разных народов разница в погребальном обряде и в обращении с телом покойника! Южный человек, итальянец, бежит от своего мертвеца, спешит как можно скорее очистить от него дом свой и предоставляет посторонним заботу о его погребении. Напротив того, у нас в России характерна народная черта – религиозное отношение к мертвому телу, исполненное любви, нежности и благоговения. Из глубины веков отзывается до нашего времени плач над покойником, исполненный поэтических образов и движений, превращаясь с принятием новых религиозных обрядов

в торжественную церковную молитву. Нигде в мире, кроме нашей страны, погребальный обычай и обряд не выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, которой он достигает у нас; и нет сомнения, что в этом его складе отразился наш народный характер с особенным, присущим нашей натуре мировоззрением. Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы одеваем их благолепным покровом, мы окружаем их торжественною тишиною молитвенного созерцания, мы поем над ними песнь, в которой ужас пораженной природы сливается воедино с любовью, надеждой и благоговейной верой. Мы не бежим своего покойника, мы украшаем его в гробе, и нас тянет к этому гробу взглянуться в черты духа, оставившего свое жилище; мы поклоняемся телу и не отказываемся давать ему последнее целование, и стоим над ним три дня и три ночи с чтением, с молением, с церковной молитвой. Погребальные молитвы наши исполнены красоты и величия; они продолжительны и не спешат отдать земле тело, тронутое тлением, и когда слышишь их, кажется, не только произносится над гробом последнее благословение, но совершается вокруг него великое церковное торжество в самую торжественную минуту бытия человеческого! Как понятна и как любезна эта торжественность для русской души! Но иностранец редко понимает ее, потому что она совсем ему чужая. У нас чувство любви, пораженное смертью, расширяется в погребальном обряде; у него оно болезненно сжимается от того же обряда и поражается одним ужасом.

Немец-лютеранин, живший в Берлине, потерял в России горячо любимую сестру православную. Когда он приехал к нам накануне погребения и увидел любимую сестру, лежащую в гробе, ужас поразил его, сердце его сжалось, и видно было, что чувство любви и благоговения уступило в нем место отвращению, с которым он присутствовал при прощании с мертвым телом и должен был сам принять в нем участие... В этом, как и во многом другом, немец не может понять нас, покуда не поживет с нами и не войдет в глубину духовной нашей жизни. От этой же, кажется, причины ничто столько

не возмущает лютеранина в нашей церкви, как поклонение св[ятым] мощам, которое для нас самих, по природе нашей, кажется так просто и естественно, когда мы и своим покойникам кланяемся и их тело обнимаем, и чувствуем в погребении. Он, не живя нашею жизнью, не видит в этом чествовании ничего, кроме дикого суеверия, а для нас это движение и дело любви – самое природное и простое.

Трудно ему понять нас, так же как нам дико и противно слышать о возникшей недавно в германском и в английском обществе агитации, требующей введения нового погребального обряда. Они хотят, чтобы мертвые не предавались земле, а сжигались в особо устроенных печах, и требуют этого с утилитарной и гигиенической точки зрения. Пропаганда эта усиливается, собираются митинги, составляются общества, устраиваются на счет частных лиц усовершенствованные печи, производятся химические опыты, сочиняются траурные марши, которыми должно сопровождаться сожигание... Голоса растут, крики усиливаются во имя науки, во имя просвещения, во имя блага общественного. Из какого дальнего мира, из какого быта доносятся до нас эти звуки, и какой этот мир чужой для нас, какой неприятный и холодный! Нет, не дай Бог умереть в том краю, на чужбине, вдали от матери сырой земли русской!

V

Кто русский человек душой и обычаем, тот понимает, что значит храм Божий, что значит церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уважать потребность религиозного чувства; мало для того, чтобы уразуметь смысл Церкви для русского народа и полюбить эту церковь, как свою, родную. Надо жить народною жизнью, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением. Оттого многие, знающие Церковь только по домашним храмам, где собирается избранный и наряженная публика, не имеют истинного понима-

ния своей Церкви и настоящего вкуса церковного, и смотрят иногда равнодушно или превратно в церковном обычае и служении на то, что для народа особенно дорого и что в его понятии составляет красоту церковную.

Православная Церковь красна́ народом. Как войдешь в нее, так почувствуешь, что в ней все едино, все народом осмыслено и народом держится. Войдите в католический храм, как в нем все кажется пусто, холодно, искусственно православному собранию. Священник служит и читает сам по себе, как бы поверх народа и отлученный от народа. Он сам по себе молится по своей книжке, народ молится по своим, приходит и уходит, совершив свои моления и дождавшись того или другого церковного действия. На алтаре совершается священнодействие; народ присутствует лишь при нем, но как будто не содействует ему общей молитвой. Обряд не отвечает нашему чувству, и мы чувствуем, что красота, какая может быть в нем, – не наша красота, а чужая. Все движения обряда, механически разложенные, кажутся нам странными, холодными, невыразительными; очертания, образы, одежды – неблагообразными; звуки церковного речитатива – нестройными и бездушными; пение на чужом языке, в котором не распознаешь слов, – не гимном народного собрания, не воплем, льющим из души, но концертом, искусственно устроенным, который покрывает собою богослужение, но не сливается с ним. Душа наша тоскует здесь по своей церкви, как тоскует между чужими по родине. То ли дело у нас: вот красота неописанная, красота, понятная русскому человеку, красота, за которую он душу готов положить, так он ее любит. Русское церковное пение, как народная песнь, льется широкою, вольною струей из народной груди, и чем оно вольнее, тем полнее говорит сердцу. Напевы у нас одинаковые с греками, но русский народ иначе поет их, потому что положил в них свою русскую душу. Кто хочет послушать, как эта душа сказывается, тому надобно идти не туда, где орудуют голосами знаменитые хоры и капеллы, где исполняется музыка новых композиторов и справляется обиход по новым официальным переложениям. Ему надо слушать пение в благоустро-

енном монастыре или в одной из тех приходских церквей, где сложилось добрым порядком хоровое пение; там услышит он, каким широким, вольным потоком выливается праздничный ирмос из русской груди, какой торжественной поэмой выпевается догматик, слагается стихира с канонархом¹⁰⁴, каким одушевлением радости проникнут канон Пасхи или Рождества Христова. Тут оглянемся и увидим, как отзывается каждое слово песни в народном собрании, как блестит оно в поднятых взорах, носится над склоненными головами, отражается в припевах, несущихся отовсюду, потому что всякому церковному человеку знакомы с детства и слова, и напев, и во всяком душа поет, когда он их слышит. Богослужение стройное, истовое – действительно праздник русскому человеку, и вне церкви душа хранит глубокое ощущение, которое отражается в ней даже при воспоминании о том или другом моменте; это русская душа, привыкшая к церкви и во всякую минуту готовая воспрянуть, когда внутри ее слышится песнь пасхального или рождественского канона с мыслью о светлой заутрене, или любимый напев праздничного ирмоса, или «Всемирная слава» с ее потрясающим «Держайте». Подлинно, это те звуки, о которых сказал поэт¹⁰⁵, что им:

...без волненья
Внимать невозможно...
Не встретить ответа
Средь шума мирского.
Из пламя и света
Рожденное слово.
Но в храме, среди боя,
И где я ни буду,
Услышав его, я
Узнаю повсюду...

А у того, кто с детства привык к этим словам и звукам, сколько от них поднимается всякий раз воспоминаний и образов из той великой поэмы прошлого, которую каждый прожил

и каждый носит в себе... Счастлив, кто привык с детства к этим словам, звукам и образам, кто в них нашел красоту и стремится к ней, и жить без нее не может, кому все в них понятно, все родное, все возвышает душу из пыли и грязи житейской, кто в них находит и собирает растерянную по углам жизнь свою, разбросанное по дорогам свое счастье. Счастлив, кого с детства добрые и благочестивые родители приучили к храму Божию и ставили в нем посреди народа молиться всенародной молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему сокровище на целую жизнь, они ввели его подлинно в разум духа народного и в любовь сердца народного, сделав и для него церковь родным домом и местом полного, чистого и истинного соединения с народом.

Что же сказать о множестве затерянных в глубине лесов и в широте полей наших храмов, где народ тупо стоит в церкви, ничего не понимая, под козлогласованием дьячка или бормотанием клирика?

Увы! Не Церковь повинна в этой тупости и не бедный народ повинен, повинен ленивый и несмыслящий служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распределяющая служителей церкви; повинна, по местам, скудость и беспомощность народная. Благо тому человеку, в ком зажжется на ту пору искра любви и ревность о жизни духовной, и кто успеет вывести заброшенную церковь в свете благолепия и пения. Подлинно, он осияет светом страну и сень смертную, он воскресит умерших и поверженных, спасет души от смерти и покроет множество грехов... Оттого-то русский человек так охотно и так много жертвует на церковное строение, на созидание и украшение храмов. Как криво судят те, кто осуждает его за это рвение, а таких голосов слышится уже ныне немало. Это щедрое рвение приписывают то грубости и невежеству, то ханжеству и лицемерию. Говорят: не лучше ли было бы употребить эти деньги на «образование народное», на школы, на благотворительные учреждения? И на то, и на другое жертвуется своим чередом, но то жертва совсем иная, и благочестивый русский человек со здравым русским смыслом

не один раз призадумается прежде, чем развяжет кошель свой на щедрую дачу для формально образовательных и благотворительных учреждений.

То ли дело Церковь Божия! Она сама за себя говорит; она – живое, всенародное учреждение. В ней одной и живому, и умершему отрадно. В ней одной всем легко, свободно, в ней душа всяческая, от мала до велика, веселится и радуется, и празднует от тяжелой страды; в ней и белому, и серому человеку, и богатому, и бедному – одно место. Разукрашена она паче царской палаты – дом Божий, а всякий из малых и бедных стоит в ней, как в своем доме; каждый может назвать церковь своею, потому что церковь на народные рубли и, больше того, на народные гроши строена и народом держится. Всем в ней приют и молитва с утешением, и то учение, которое дороже всего русскому человеку. Вот что бессознательно и сознательно сразу сказывается в русской душе о церкви и заставляет русского человека жертвовать на церковь без оглядки и без рассуждения. Русский человек чувствует, что в этом деле не ошибается и дает верно и свято на верное и святое дело.

Характеры

I

Товарищ мой, Никандр¹⁰⁶, был для меня еще в училище предметом удивления. Казалось, ничего не было загадочного в его натуре, однако же я никак не мог разгадать ее и с нею освоиться. Казалось, подойти к нему мог всякий, легко и удобно, но всякий раз, как мне случилось близко подходить к нему, я чувствовал, что между ним и мною остается какое-то смутное, пустое пространство, и что его нельзя уже сузить, что дальше идти уже некуда. Он был хорош со всеми, и все хороши с ним; он принимал участие во всем, что нас всех занимало и волновало, и, казалось, способен был все понять и говорить обо всем

со всяким, но не видно было, чтобы он чему-нибудь отдавался, увлекался чем-нибудь. Когда беседа состояла из соблазнительных анекдотов, и у него был в запасе свой анекдот, то он звучал каким-то извне принесенным звуком; когда велись серьезные речи, вставлял и он свое мерное слово; когда кружок либеральничал, и он не оставался в долгу либеральной фразой, но она точно из книги была вынута. Когда мы все попались в так называемую историю, и вода выступала у всех выше головы, и он не отставал от нас, упрекнуть его нельзя было даже в прямой трусости. Но странное дело! Когда вода сбывала, он выходил сухим из нее и отряхивался в минуту, тогда как мы все выходили мокрые и помятые.

Нельзя сказать, чтобы его не любили, но и сердечных друзей у него не было. Никто не удивлялся его уму, ни в ком случайно сказанное им слово не будило души и не поднимало мысли, но все считали его способным человеком; и хотя он был постоянно в успехе, успехи его почти ни в ком не возбуждали зависти. Он занимался прилежно, хотя не принадлежал к числу так называемых зубрил, и успешные ответы его давались ему, по-видимому, без особенных усилий. Не помнили, чтобы он когда-нибудь срезался в своих ответах: так все кругло у него выходило. Начальство наше считало его звездой всего нашего класса, его выставляли вперед в показных случаях, о нем говорили, как о человеке, который пойдет далеко. Начальство наше было в восторге от его ответов, от его сочинений, от того, как он держал себя, от его приличного и очищенного во всем внешнего вида и поведения. Но я помню, что меня мало удовлетворяли и сочинения его, и ответы: я удивлялся только круглоте и гладкости, с которою все у него бывало обделано и налажено; но все, что он говорил, оставляло во мне какое-то впечатление неполноты, недостаточности, точно завтрак, прекрасно сервированный, из-за которого гость встает голодным.

Пророчество нашего начальства оправдалось. Никандр пошел быстрыми шагами в служебной карьере. Через несколько лет, приехав в столицу, я застал его на значительном месте. И тут, на службе, имя Никандра звучало беспрестанно в устах

начальства с восторженною похвалою. Отовсюду слышалось: какой способный человек! Какое у него перо! И подлинно, по общему отзыву, Никандр обладал мастерством изложения, которое особенно ценил его начальник. Но я опять становился в тупик перед изложением Никандра и всеобщими похвалами, когда случилось мне читать бумаги, им написанные. Бумаги эти производили на меня то же впечатление, как и ответы его на экзаменах, – впечатление прекрасно сервированного завтрака, на котором есть нечего. Меня томил голод, а другие оказывались сытыми и довольными. В бумагах Никандра, в записках и докладах его выказывалось для меня ясно только умение его, действительно мастерское, притупить и обольстить вкус, поглотить сушее зерно вопроса, опутать его пеленами закругленной фразы до того, что читатель, упуская из виду сущность и корень дела, сосредоточивал интерес свой на оболочке, на побочных и формальных его принадлежностях, на тех путях, по которым дело следует от истока своего до впадения; таким образом, искусно составленная бумага гладко и ровно доводила податливого читателя до потребного результата, отмечая ту точку, к которой требовалось на сей раз прибуксировать дело. Казалось, все так ясно изложено было в обточенных фразах, но в сущности ничего не было ясно, все прикрывалось туманом; а дело, по бумаге, в конце концов, обделывалось – *e sempre bene*¹⁰⁷.

Прожив еще несколько лет в своем углу, куда достигали время от времени новые хвалебные слухи о способности Никандра, я снова приехал в столицу и застал его на новом месте, еще более значительном. Тут пришлось мне быть свидетелем его деятельности и дивиться снова его умению, хотя оно не переставало казаться мне странным искусством. Но сам я, став уже старше годами и опытом, начал понимать, что много есть вещей в деловом мире, о которых не смеет и мечтать юношеская философия. Черты Никандровой физиономии стали выясняться передо мною, и он стал для меня любопытным предметом изучения уже не сам по себе, а в нераздельной связи с той средой, в которой совершалась его

деятельность. Он говорит немного, но внимательно слушает: внимательно, хотя, по-видимому, равнодушно. Редко можно подметить в чертах лица его выражение оживленного участия: видишь иногда чуть-чуть тонкую тень беспокойства, когда рассуждения принимают тревожный характер, когда обнаруживается резкое различие в мнениях. Это беспокойство переходит даже в некоторое волнение, когда при разногласии затрагиваются и возбуждаются вопросы деликатного свойства, особенно когда спор угрожает повести к одному из явлений, носящих название скандала. Все инстинкты Никандра направлены к сглаживанию всякой неровности в характерах, ощущениях, мнениях, к погашению всякого пререкания, водворению согласия и спокойствия повсюду. Он уже тревожится, когда рассуждение начинает проникать в глубь предмета, когда оно пытается свести отдельные вопросы к общему началу, добраться до основной идеи; зная по опыту, что разногласие в основной идее всего упорнее и раздражительнее, он пускает в ход всю свою тактику, чтобы погасить его. Надобно удивиться, с какою ловкостью старается он тогда свести противников с опасного поля и перевести их на другое, ровное и гладкое поле бирюлек, мелочей, подробностей и частных дел. На этом гладком поле он господин; тут небольшого уже труда стоит ему уверить спорщиков, что они, в сущности, согласны между собою, что не стоит им возбуждать вопросы, не имеющие существенного значения. На этом поле я не видел мастера, подобного Никандру, и подвиги его поразительны! Он умеет поставить перед собою противников, которых разделяет, по-видимому, непроходимая бездна коренного противоречия в основных мнениях о предмете; борьба происходит, по-видимому, между элементами и кажется непримиримою. И что же, глядишь, в какие-нибудь десять минут Никандр успел наполнить эту бездну легким пухом, прикрыть ее тонким хворостом, и противники уже переходят по ней, подавая друг другу руку! Никандр не любит основных идей, но недаром он опытен. Он знает, что основные идеи лежат большею частью в умах неглубоко, и почти всегда есть возможность

отвести от глубины неуверенную мысль или смутное ощущение, стремящиеся в глубину. Для этого есть у него прием, который редко изменяет ему: против основных идей он умеет, в крайнем случае, выставить так называемые принципы, общие положения, решительные приговоры, на которые редко кто посмеет возразить. Есть волшебные слова, которыми очаровывается у нас всякое совещание, и Никандр умеет проносить их в нужную минуту. Такое словечко, вроде классического Quos ego¹⁰⁸, мигом успокаивает у нас поднявшиеся волны. «Всеми признано уже ныне», «новейшая цивилизация дошла до такого-то вывода», «статистические цифры доказывают», «во Франции, в Пруссии и т[ому] п[одобное] давно уже введено такое-то правило», «такой-то европейский ученый на такой-то странице сказал то-то», «никто уже ныне не спорит, например, что цена определяется пропорцией между спросом и предложением» и множество тому подобных изречений – вот волшебные орудия, творящие чудеса в наших рассуждениях. Но самое волшебное из волшебных слов – это «наука говорит», «в науке признано». Никандр давно уже понял, что этого слова – «наука» – мы боимся, как черта, и не смеем обыкновенно возражать на него. Мы чувствуем, что эта палка о двух концах, и потому инстинктивно боимся взяться за нее, когда нам ее предлагают. Возражать на это слово «наука» – да ведь это значит возбуждать вопросы: какая наука, где она, откуда, почему и множество других, о которых конца не будет спору, и в которых мы чувствуем, что без конца перепутаемся. Итак, обыкновенно мы останавливаемся на этом слове, успокаиваемся и принимаем готовый результат науки, который предлагают нам, не мудрствуя лукаво о том, что и по какому случаю в каком смысле предлагает.

Век живи – век учись! Подлинно, я начинаю теперь только понимать, отчего в школе учителя наши так восхищались Никандром, отчего и в нынешней его деятельности все им довольны, все прославляют его гением дела. Говорят, что гений тот, кто отвечает на вопросы времени, кто умеет постигнуть потребности эпохи, места и удовлетворяет им. Никандр умел

понять вопросы времени, потребности среды, и удовлетворить им. Что нужды, что вопросы эти – мелкие, что потребности эти – немудреные! Все-таки он великий человек и, увы, отчасти представитель великих деятелей нашего времени. Около него образовалась уже целая школа подобных ему деятелей. Как они все благоприличны, как они гладки, как ровно и плавно вступают в репутацию «способных» людей! Когда я вижу их, мне невольно приходит на мысль отрывочная сцена из Фауста. «Духи исчезают без всякого запаха. Маршалок с удивлением спрашивает бискупа: “Слышите вы, чем-нибудь пахнет?” “Ничего не слышу”, – отвечает бискуп. А Мефистофель поясняет: “Духи этого рода, государи мои, не имеют никакого запаха” (Diese art Geister stinken nicht, meine Herren)».

II

Спокойно и без смущения смотрю я на Лаису¹⁰⁹, когда она, раскинувшись в пышной коляске, мчится по большой улице, отвечая улыбками на поклоны гуляющей знати; или сидит, полуодетая, полураздетая, в опере, и дамы большого света бросают на нее взгляды зависти, смешанной с презрением, хотя презрение не мешает им потихоньку заимствовать от нее отдельные черты манер ее и туалетов. На лице у нее открыто написано, кто она, чего ищет, для чего живет, одевается и веселится на свете, и она носит на себе имя свое без лицемерия, хотя и без стыда. Когда она, озираясь вокруг себя на нарядные ложи, нахально лорнирует разряженных дам модного света, ее нахальство не удивляет меня и не возмущает: взор ее как будто говорит им: «Я – подлинно та, за кого меня принимают, и мое лицо открыто; а вы зачем в масках ходите?» Задумываюсь над участью Лаисы, и мне становится жаль ее: приходит на мысль, какими судьбами жизнь привела ее на этот путь, какая среда ее воспитала и привила к ней жажду дикого наслаждения? Приходит на мысль: чем этот путь для нее закончится, и к какой плачевной старости приведет ее молодость, прогорающая в опьянении страсти...

Лаиса живет в своем кругу, и ей закрыты двери салонов большого света. Но когда в этих салонах я встречаю голую и величественную Мессалину¹⁰, душа моя возмущается, и я не могу смотреть на нее без негодования. Перед нею широко раскрыты все большие двери; нет знатного собрания, куда бы ни приглашали ее и где бы ни встречали ее с почетом; около нее кружится рой знатной молодежи; громкий титул, блестящая обстановка, роскошное гостеприимство привлекают в ее салоне всех, кто считает себя принадлежащим к избранному обществу. Все рассыпаются в похвалах ее красоте, ее вкусу, ее любезности, ее веселому нраву – словом сказать: «увенчанная цветами граций, она бодро шествует по земле благословенной». Но когда, взяв зеркало правды, я спрашиваю себя: какая разница между знатной Мессалиной и презренной Лаисой – увы! – Лаису мне жаль, а к Мессалине я чувствую презрение.

Когда она является на бал, я смотрю на нее с ужасом, хотя многие на нее любят. Искусство обнажать не только шею и грудь, но и спину, и руки доходит у нее до таких пределов, до каких не простирается обычай у самой Лаисы, так что многие из постоянных ее посетителей с усмешкой смотрят на туалет Мессалины. Иные уверяют даже, что гость Лаисы не услышит от нее вот таких разнузданных речей, таких цинических шуток, какие слышит от Мессалины кавалер ее в мазурке или сосед ее в рулетке. Но на Лаисе лежит печать отвержения, а Мессалина царит в салонах.

У Лаисы нет семьи, нет дома в настоящем смысле слова, и она состоит вне семейного круга. У Мессалины, правда, есть муж, коего громкое имя она носит, и есть дом, великолепный, с целою когортою ливрейных лакеев на мраморной лестнице. Но какая связь соединяет ее с этим мужем и для чего живут они под одной кровлей – это тайна, известная одной Мессалине. В ее салоне муж присутствует, муж сопровождает ее в другие салоны, и все покрывает собою. Но когда встречаются Мессалину зимою на бешеной тройке или весной на шумном гульбище в шикарном экипаже, запряженном рысачами, некто другой, а не муж разделяет с нею часы забавы и веселости; и даже в при-

сутствии мужа некто другой кажется ближе к ней и вольнее с нею обходится... И вот что удивительно: встречая Лаису с одним из рыцарей избранного круга, многие стыдливо смотрят в сторону, но когда встречают они Мессалину с ее излюбленным спутником из той же компании, приветливо раскланиваются и потом шепчутся между собой с улыбкой. О, добродетель и честь светского общества, кто распознает пути твои!

Мессалина – мать, у нее есть дети, но какая нравственная связь существует у этой матери с детьми, не распознаешь. Она почти не видит их и почти не знает, что с ними делается. В особом отделении дома живут они с гувернантками и в определенный час являются в виде бабочек, в костюмах последней моды, с голыми руками и ногами принять от матери поцелуй и удалиться восвояси. Ей нет времени думать и о детях посреди первого возбуждения, в котором проходят дни ее и ночи. Засыпая рано поутру, просыпаясь поздним утром, едва соберет она расшатанные чувства свои, как уже принимает гостя, потом едет гулять с ним, потом принимает гостей в своем салоне, перебирая с ними вести и сплетни, и скандалы вчерашнего дня и нынешнего утра и составляя инвентарь настоящих и предстоящих развлечений и праздников. Одевается утром, одевается к обеду, одевается в оперу, одевается на бал или на вечер. В чем интерес ее жизни? Где умственные или нравственные пружины, которые приводят ее в движение? К какому центру собираются мысли ее и желания? На эти вопросы не находишь ответа, когда видишь переливание из пустого в порожнее, составляющее всю жизнь ее. На столе у нее лежат книги, но едва ли ее видали читающею. Уединение нестерпимо для нее; быть на людях – неперемнная ее потребность: для чего? Для какой-то бессмысленной игры в непрерывное развлечение. Жизнь должна представляться ей чем-то вроде непрерывного праздника, во вкусе картин Ватто¹¹¹ с электрическим освещением. Натуральный человек, сколько бы ни стремился наслаждаться по своему желанию, спотыкается поневоле о заботу, о болезнь, о горе и утрату, и перед ним встает призраком таинственная идея жизни и смерти. Мессалина

неуязвима и тут. Что для нее забота о доме, о семье, о детях? Это дело управляющего, в крайнем случае – дело мужа. Болельщик? Но она крепка здоровьем и привыкла настраивать свои нервы – на то есть доктор, на то есть крепкие капли хлорала. Горе? Есть ли такое горе, которое нельзя бы прогнать, – можно уехать в Баден, в Монако, где столько сильных ощущений, наконец, в Париж, где с помощью ворта¹¹² нетрудно стряхнуть с плеч всякое горе. Иногда стыд появляется там, где его не спрашивают, но как он посмеет перейти порог великолепных чертогов, куда съезжаются все такие почетные, все такие знатные люди есть и пить, и праздновать, и любоваться хозяйкой, где разряженные дамы рассказывают друг другу про свои любовные игры и похождения, где слышится во всех углах щебетание взаимного самодовольства и беззаботной веселости, где все извиняют друг другу все, кроме строгого отношения к нравственным началам жизни... Страшна, казалось бы, старость для светской женщины? Но разве парижская наука не изобрела надежных средств против натурального увядания красоты, и разве мало старух, которые являются молодыми с помощью фальшивого румянца, фальшивой кожи, фальшивых волос и даже бюста фальшивого? Наконец, смерть ведь стоит за плечами у каждого... смерть – смерть, но – *franchement, après tout*¹¹³ – кто же думает о смерти!

Казалось бы, есть одно место, откуда слышится гроза и веет страхом. Все ложь в жизни и обстановке Мессалины. Роскошь, ее окружающая, дом ее с великолепным убранством, расставленные по лестнице величественные лакеи, тысячные наряды ее и уборы – все это ложь, все это должно, кажется, рухнуть каждую минуту. Все это и давно уже, в сущности, не ее, а чужое, мнимое, потому что счет уже потерян долгам ее и ее супруга, и счета из магазинов, ей предъявленные, давно уже составляют безобразную кучу, в которой никто не умеет разобраться. Имена ее заложены и назначаются то и дело в публичную продажу, заводы то и дело останавливают свое действие, займодавцы пристают с требованиями и предъявляют иски. Но каким-то волшебством все это распутывается

в критические минуты: имения освобождаются от продажи, заводы восстанавливают свое действие, заимодавцы, подобно завоевателю, гонимому неведомым страхом, рассеваются и притихают, – и Мессалина объявляет в своих чертогах бал, на котором присутствует избранное общество, и нет конца восторженным похвалам блеску и вкусу, и великолепию бала... Ни для кого из блестящих гостей Мессалины не тайна, что все это величина мнимая, но все летят, как ночные бабочки, на яркий свет, на роскошное убранство, не спрашивая, чье оно и откуда, все довольны, все восхищаются – таковы узы дружбы, связующей воедино толпу людей, вместе жаждущих наслаждения и возбуждения и вместе кланяющихся идолу тщеславия. Однажды, казалось, совсем гибель настает для Мессалины, и уже нет спасения; какие жалостные речи поднялись тогда о ней в гостиных! «Слышали вы: бедная Мессалина, дела их очень плохи. Говорят, что у них осталось уже не более 20 тысяч рублей дохода, ведь это ужасно, ведь это нищета, не правда ли?» Можно ли потерпеть такое разорение такого дома? Полетели изо всех углов ходатайства и мольбы, и вот, точно волшебным волнением, благоприятный ветер принес немалые деньги для поправления дел в расстроенном хозяйстве... Итак, мудрено ли, что Мессалина беззаботна и никакими страхами не смущается. Гордо выступают они с супругом, прямо глядя в глаза всем и каждому; сколько раз, когда случается встречать их, приходит на мысль стих из Расиновой¹¹⁴ Федры: «Боги, кои любите их и награждаете, неужели за добродетели?»

Мессалина и подобные ей живут на высотах, никогда не спускаясь в долину. Смотришь к ним наверх и с изумлением спрашиваешь себя: как эти люди, дыша всегда воздухом горных высот, не задохнутся! Или, подобно олимпийцам, питаются они амброзией? Они видят и слышат только подобных себе, и все дела, заботы, печали и радости людей дольного мира представляются им в туманной картине, долетают к ним, как дальнее жужжанье насекомых. Посмеют ли бедность и горе проникнуть в раззолоченные их чертоги не в виде идеи и понятия,

а в виде живого страждущего человека и стать в личное к ним сочувственное отношение? Боже избави сказать, что они злые люди: нет, многие из них – добрые люди и исполнены самых благих намерений, но им некогда остановиться и сосредоточиться в круговороте дня, посвященного от минуты до минуты исканию наслаждений и развлечений, условным обязанностям и условным приличиям того круга, в котором они вращаются. Иные, когда просыпается в них совесть, клянут себя и свой образ жизни и говорят: «Завтра начну по-человечески». Но это завтра никогда не приходит, потому что назавтра уже неумолимый устав очарованного круга начертал расписание часов, забав и условных обязанностей...

Одно из самых тонких искусств – искусство обманывать себя и успокаивать свою совесть, и в этом искусстве человечество упражняет себя с тех пор, как мир существует; мудрено ли, что приемы его доведены до виртуозности. Люди, живущие условною жизнью замкнутого круга, не могут успокоиться на той мысли, что им нет дела до того, что происходит в жизни обыкновенных смертных, нет дела до нищеты, нужды и бедности. Надо и им показать, что ничто человеческое для них не чуждо. И вот изобретено для того орудие учреждений общественной благотворительности – прекрасное средство для очистки личной совести отдельного человека. Учреждение само по себе существует и действует, подобно всякому учреждению, действует по регламентам и уставу; а человек со своей совестью, своим чувством, личной энергией воли живет сам по себе, вольно, и всякую печаль, которая портила бы жизнь его, стесняла бы свободу его, отнимала бы у него вольное время, слагает на учреждение...

При помощи такого гениального обретения в том очарованном круге, где блесит и господствует Мессалина, ядущее превращается в ядомое, из горького происходит сладкое, и дело благотворения, дело жалости и боли душевной, дело взаимного сочувствия между сынами праха во имя высшего духовного начала любви превращается в один из видов общественного увеселения и представляет собой ярмарку тщеславия.

И вот в каком виде является Мессалина покровительницей бедных, благодетельницей страждущего человечества. Я видел ее в эти минуты, как она стояла в свете электрического освещения, под звуки бального оркестра за одною из лавочек, артистически устроенных в великолепных залах большого дома, на одном из так называемых базаров благотворительности. Она была ослепительно красива в своем блестящем туалете, только что полученном из Парижа и стоившем бешеных денег. Около нее толпились покупатели, таявшие от взгляда и ее улыбки, и выручка ее в этот день возбуждала зависть во множестве соседних лавочек. Она сошла в этот день со своего места с гордым сознанием исполненного долга и нового, изведенного торжества, хотя вся ее выручка, как и выручка подруг ее, не достигала цены тех туалетов, которые она на себе носила... Невольно приходило на мысль: какая громадная сумма составила бы из сложения всех тех цифр, которые принесли в залу на плечах своих эти благодетельные особы!

В этом собрании не было места Лаисе, и зачем ей быть здесь? Лаиса – презренная женщина; «отчаянная жития ради и уведомая права ради». Но была однажды такая же, как она, носившая в себе огонь любви, в диком блуждании по распутиям мира¹¹⁵. Много и долго грешила она, но все ее грехи были отпущены ей потому, что любила она много, хотя не знала до последней встречи с истинным началом любви, куда девать любовь свою. Но кого, кроме себя, любила и любит Мессалина, и какой огонь носит она в себе?

III

Есть люди сухие и не очень умные, с которыми можно говорить серьезно, на которых можно положиться, потому что у них есть твердое, определенное мнение, есть известный характер, который неизменно в них является. Есть люди умные и занимательные, которых нельзя разумеать серьезно, потому что у них нет твердого мнения, а есть только ощущения, которые постоянно меняются. Таковы бывают нередко

так называемые художественные натуры, вся жизнь их – игра сменяющихся ощущений, выражение которых доходит до виртуозности. И выражая их, они не обманывают ни себя, ни слушателя, а входят, подобно талантливым актерам, в известную роль и исполняют ее художественно. Но когда в действительной жизни приходится им действовать лицом своим, невозможно предвидеть, в какую сторону направится их деятельность, как выразится их воля, какую окраску примет их слово в решительную минуту...

Такое развитие мысли и чувства, к сожалению, – обычное явление у нас, и особенно – между людьми, даровитыми по природе. Способности их развиваются в художественную сторону: не видно у них ясной и определенной идеи, на которой стоит человек, и которая держит его в жизни и деятельности, но все перешло в ощущение. Они способны вдохновляться всякою средою, в которую случайно попадают, быть проповедниками и певцами всякой идеи, какую в этой среде зацепили и какая имеет в ней ход. Впадая притом в непрерывные противоречия сегодняшнего со вчерашним, они умеют искусно соглашать эти противоречия и переходят от одного к другому искусною игрою в оттенки всякой мысли и в переливы всякого ощущения. В политической или служебной сфере такие люди иногда бессознательно делаются карьеристами, привыкая идти по течению ветра, который дует в ту или иную сторону, и одухотворяют в себе всякое попутное веяние. Между государственными людьми, произносящими речи в собраниях, между прокурорами и адвокатами нередко встречаются такие примеры: вдохновляясь впечатлением минуты, тот же человек, который сегодня был строгим, неумолимым судьей неправды, завтра является ее защитником, будет с горячим убеждением, с порывом вдохновения отстаивать совсем противоположную идею и отыскивать черты красоты в том явлении, которое вчера обличал в нравственном безобразии.

Свойство талантливого актера – вдохновляться каждою ролью и входить в душу и характер каждого лица, которое он представляет. Но вместе с тем потому он и предается этому ис-

кусству, потому и способен переживать моменты характерного действия в лице представляемом, что перед ним масса зрителей, душа которых сливается в эти моменты с его душой; стало быть, вдохновляясь своею ролью, он в то же время вдохновляется массою публики. Вот почему так увлекательно действует лицедейство, доходя до страсти и в актере, и в зрителях. То же ощущение свойственно всякому оратору в общественных собраниях: действуя, т[о] е[сть] разглагольствуя в той или другой идее, в том или другом направлении, и вдохновляясь своею задачей, он в то же время вдохновляется тою средою, в которой действует, не отрешаясь ни на минуту от своего я, а свое я стремится у него к возбуждению в этой среде ощущений – сочувствия или восторга. И это стремление может доводить до страсти талантливую натуру, так что она неудержимо ищет сцены для своего искусства, упражняя его на всякой сцене, в многочисленном собрании, в беседном кружке гостиной или кабинета, применяясь к настроению каждого кружка и вдохновляясь всяким цветом, каким он окрашен.

Таковыми людьми изобилуют совещательные и законодательные собрания; можно сказать, что из них образуется большинство, составляющее решительные приговоры. Противовесом им, казалось, могли бы служить люди серьезного дела и твердого направления, но эти люди редко бывают сильны словом, т[о] е[сть] не умеют владеть орудием, которым располагают свободно их противники, люди ощущения и натиска. Чем многочисленнее собрание, тем более смешанным представляется состав его, тем менее оно способно уразуметь идею вопроса, обнять фактическое его содержание и уразуметь в нем правду и неправду, тем более – способно увлекаться ощущением, иногда – ощущением минуты, которое произвел тот или другой оратор. Немногие приступают к делу, ознакомившись с ним предварительным его изучением, добросовестно: остальные являются в собрание, не имея точного понятия о деле или со смутным о нем представлением, или приступают к нему с предрассудком и предрасположением. В таком собрании художник слова является господином ощущения: искусно орудуя

расположением фактов и чисел, набрасывая на них свет и тени по своему усмотрению, возбуждая одних пафосом, запугивая других иронией, он овладевает полем, и борьба с ним за истину становится крайне затруднительна, а иногда и невозможна для человека, не умеющего орудовать фразой, ни орудующего строгою связью логического рассуждения. Его аргументы недоступны множеству людей, увлеченному ощущением, и чем он совестливее, чем живее ощущает нравственную ответственность за свое мнение, тем труднее для него одолеть безответственное большинство, не имеющее совести, ибо какая может быть совесть в огульном мнении, лишенном единства и цельности и объединяющемся одною лишь цифрою голосов? Цифра – вот что служит ныне, к сожалению, конечным критерием истины и решительной санкцией приговоров, коими решаются нередко важнейшие вопросы государственной политики...

IV

Тип мольеровского Гарпагона¹⁶ имеет много разновидностей, которые мало еще подвергались художественной разработке. Странно, что в комедии до сих пор никто не обратил внимания на особый вид скряжничества – скряжничество времем, а это сюжет богатый.

Как Мольеров скупой копил деньги и дрожит над ними, так иного рода скряга копил время и дрожит над ним, не делая из него сам производительного употребления или любуясь только своим капиталом, как скупой любит червонцами. Деньги ожили бы, если бы ожила душа, ими владеющая, и стали бы в руках у человека могучим орудием плодотворной производительности разумного благотворения. Подобно всякой силе, деньги требуют живого обращения. О времени уже сказали англичане, что время – те же деньги. Живая душа должна пускать его в обращение, издерживать его производительно, не жалея, но и не расточая, не разматывая.

Наш общественный быт богат этими двумя крайностями. С одной стороны, у нас слишком много праздных сил и

чрезвычайно развито мотовство временем у людей, не знающих, куда девать его. Столкновение людей этого типа с людьми, работающими и дорожащими временем, представляет положения, не лишённые комизма. С другой стороны, мы нередко встречаем у себя скопидомов времени и, к сожалению, не редкость встречать их между так называемыми деловыми людьми, даже сущими во власти.

Боязнь потерять время доходит иногда у такого человека до первого раздражения, заставляющего его запирается от людей и смотреть, как на вора и похитителя, на всякого, кто является к нему с живым делом, для объяснения или просьбы. Оттого иных людей и сущих во власти бывает так трудно видеть даже за самым нужным делом. Единственный способ сообщения с ними – письмо или бумага; письменные сообщения действуют на них успокоительно, хотя соединенное с ними канцелярское производство требует гораздо большей траты времени, нежели личное объяснение. Может быть, это одна из причин сильного развития, которое получает у нас бумажное дело. Спросите такого человека: зачем он так ревниво запирается и копит свое время; он скажет, что всякая минута дорога ему. Но если присмотреться ближе, на что идут у него эти минуты и часы, приходится только удивиться, из-за чего он хлопочет, из-за чего отрезает себя от жизни, от людей, от живой действительности и сидит, подобно Гарпагону, над своим сокровищем.

Ксенофонт¹¹⁷ в своих воспоминаниях о Сократе рассказывает поучительную историю одного молодого афинянина, который, не имея еще 20 лет отроду, задумал попасть в государственные люди и стал успешно произносить публичные речи в надежде привлечь к себе народное расположение. Когда он пришел к Сократу, Сократ спросил его: «Слышу я, Главкон, что тебе очень хочется иметь власть в государственном управлении?» – «Да, признаюсь, хочется». – «Какая прекрасная доля, – сказал ему Сократ, – управлять государством. Сколько можно сделать добра своему отечеству! В какую честь поставишь себя и весь дом свой! Как можешь прославиться в Афинах, да и не в одних Афинах! Фемистокл¹¹⁸ был славен и между вар-

варами... Прекрасно! Только, я думаю, и ты согласен со мною, что такая честь не дается даром, надо чем-нибудь заслужить ее?» – «О, конечно», – спешил отозваться Главкон. – «Скажи же мне, – продолжал Сократ, – с чего бы ты начал, например?» Молодой человек не дал ответа, он еще ни разу не думал, с чего начать. «Однако посмотрим; например, говорят: казна нужнее всего для государства; ты, конечно, старался бы прибавить доходов казне?» – «Разумеется, так». – «Любопытно знать, с чего бы ты начал? Конечно, тебе уже очень известно, с каких статей казна получает доходы, и сколько получает, и откуда?» Юноша должен был признаться, что не знает этого в точности. «Ну в таком случае скажи мне, какие расходы тебе кажутся лишними, какие ты хотел бы сократить?» «Признаюсь, что я не имел до сих пор времени и об этом хорошенько подумать. По мне казалось, Сократ, что нечего много и думать об этом, когда можно устроить казну на счет неприятеля»... «Правда твоя, но для этого необходимо побеждать неприятеля, быть сильнее его; а ежели он сильнее, то еще и он, пожалуй, твое отнимет. Стало быть, если рассчитываешь на войну, надо знать в точности свою силу и неприятельскую. А ты знаешь ли, скажи мне, сколько у нас сухопутных сил, сколько морских сил, каковы силы у наших неприятелей?» «Так, из головы, в одну минуту не могу тебе рассчитать». «Все равно, – продолжал Сократ, – если у тебя где-нибудь записано, посмотрим вместе». Но и на письме у Главкона ничего не оказалось. «Ну хорошо, – начал опять Сократ, – я вижу, и эту статью нам придется покуда оставить, видно, еще время ей не пришло. Но уж, наверное, ты знаешь все, что относится до внутренней охраны государства: сколько где есть и сколько потребно постов для внутренней стражи, где чего недостает и надо прибавить, где лишнее и надо убавить?» «Да, по правде сказать, – отвечал Главкон, – я бы все их уничтожил, когда бы от меня зависело. Что у нас за стража – стоит ли держать ее, когда повсюду воровство такое, что никто не уберется!» «Как же так? Ведь если снять отовсюду караулы, то воры будут грабить на воле, среди белого дня... Да разве тебе это дело так близко известно, и ты подлинно знаешь,

что никуда не годится наша полиция?» «Так мне кажется, все говорят, что так». «Нет, Главкон, тут мало предполагать, а надо знать подлинно». И Главкон должен был согласиться с Сократом. «Ну, вот, – спросил еще Сократ, – ты хочешь управлять государством. Знаешь ли ты, сколько в нашем городе требуется в год пшеницы для народного продовольствия, каков может быть домашний запас ее и сколько еще потребно закупить из-за границы?» «Как все это знать, Сократ, – отвечал молодой человек, – ты столько спрашиваешь, что надо предпринять страшную работу, чтобы тебе ответить». «Но ведь нельзя без этого, Главкон; своим домом не управишь, не зная, сколько чего для дома требуется, а государством много труднее управлять, нежели домом. Вот у тебя свой дом, т[о] е[сть] дом твоего дяди, расстроен; начни с этого – исправь дядин дом и увидишь, достанет ли у тебя умения и силы». «Да я охотно взялся бы за это дело, только дядя советов моих не слушает». «Как? – сказал на это Сократ. – Ты не можешь уговорить своего дядю и воображаешь, что в состоянии всех афинян вместе и с дядей убедить своими речами?» Беседа эта заключилась, наконец, тем, что молодой человек образумился, стал учиться и перестал произносить речи в народных собраниях.

Эту простую и старинную историю кстати припомнить в настоящее время, когда вся земля кишит главконами, стремящимися к государственной деятельности на попрание всевозможных преобразований; когда юноши, едва покинувшие школьную скамью, притом плохо обсиженную, начинают уже строчить в канцеляриях полуграмотные проекты новых уставов или произносят речи, нанизывая фразу за фразой. Только в ту пору был Сократ, к которому родные привели молодого честолюбца, заметив, что он становится смешон со своим пустым красноречием. А в наше скудное время нет никакого Сократа, да если бы и был он, главконы наши не пошли бы к нему и не стали бы его слушать. Пустые речи их звучат в собрании подобных же им слушателей, надувая оратора непобедимым самодовольством и непогрешимую самоуверенностью; проекты их проходят без критики и возбуждают еще

иногда удивление вместо смеха; перед ними раскрывает ровные свои ступени та желанная лестница, по которой восходят, окрыленные фразой, новейшие деятели...

V

Как только человек начинает мыслить, в нем просыпается желание определить себя, установить свое место в жизни, привести свою идею жизни в согласие с действительностью. Коллеблется неустановившаяся идея посреди вечно движущейся, пестрой и непостоянной действительности, посреди сменяющихся друг друга стремлений, ощущений и желаний. Душа мыслящая жаждет и требует опознаться во всем этом и найти себе точку, на которой можно утвердить равновесие жизни, создать для нее характер.

И есть счастливые люди, которым это равновесие дается само собою, без больших усилий. Не делая никаких выводов и умозаключений, не спрашивая себя: зачем, почему, откуда, для чего, человек сам собою, бессознательно находит решение этих вопросов в действительности. Идеи его все соответствуют органическим его потребностям и укладываются в душе его ровно, не сталкиваясь с желаниями и ощущениями. Интерес его деятельности заключен в круге, который он избрал для себя и из которого не стремится. Типы этого рода часто встречаются в обыкновенной жизни и могут возбуждать сочувствие, потому что простота отношений к жизни нередко сообщает им свойство прямоты и искренности. Правда, что эти типы представляют мало интереса на низшей ступени своего развития, потому что мы не видим в них никакой творческой силы. Но на высших степенях этого типа к нему принадлежат и люди культурные, люди развитой мысли, которых можно причислить к уравновешенным. Они не стремятся к творчеству, не бывают мастерами мысли и дела, но одарены способностью воспринимать, понимать и передавать творческую мысль, потому что обладают талантом; для них по природе возможно гармоническое сочетание жизни и

дела, идей и образов, а мысль, не переставая действовать, не стремится разрушать эту гармонию. К этому типу принадлежит множество людей, составивших себе почетное имя в административной деятельности, литературе, искусстве, науке, и деятельность их драгоценна, потому что они воспитывают и мысль, и вкус среды общественной, распространяя в ней не ими созданные, но ими воспринятые идеи и образы. Они делают великое дело без великих претензий. Деятельность их возбуждает подражателей по сочувственной склонности ума, но они не могут создать новую школу и собрать около себя толпу энтузиастов нового учения.

Есть иные души, желающие установить свое жизненное равновесие сами от себя, сознательно. Всякое рассуждение в человеке начинается с познания добра и зла. Ощущение зла и заблуждения производит в душе смуту, из которой ум человеческий ищет себе выход и, не довольствуясь инстинктивным чувством, для иных достаточным, прибегает к помощи разума, изыскивающего пути и способы к достижению истины. Так образуются разумники, желающие достигнуть единства в раздвоенной человеческой природе. Некоторые общие начала, принятые на веру умом, составляют для них непререкаемую теорию, под которую они усиливаются подводить все явления жизни. Разум, который они отождествляют с этой теорией, становится для них божеством, решающим все вопросы действительной жизни, и свои мнения признают они приговорами истины, которым должен подчиниться всякий, не лишенный разума. Такое направление ума доходит в иных случаях до фанатизма формальной логики. Фанатический поклонник общих начал не хочет признавать ничего, что не входит в систему его мышления, и не останавливается перед очевидными фактами и явлениями действительности: увижу, говорит он, и то не поверю. В высших проявлениях этого типа видим философов, богословов, моралистов, естествоведов, которые задались мыслью привести к единству и уравновесить разумом не только все, что сами они видят, мыслят и чувствуют, но и все, что мыслят и чувствуют другие люди, и даже то, что никогда

не бывало на мысли, но что может когда-нибудь произойти и явиться. Высшими представителями этого типа могут служить Огюст Конт и в особенности Стюарт Милль – чистейший образец отвлеченного мыслителя с безусловною верою в абсолютное значение разума и анализа.

Но таковы лишь крупные явления; низшие разновидности этого типа в разных областях знания и деятельности очень разнообразны, и число их умножилось в последнее время до бесконечности. Являются мнимые философы, облекшиеся в какое-нибудь модное религиозное или философское учение или составившие себе учение просто из отрицания тех идей, которые приняты окружающей их средой. Те и другие, однако, воображают, что обладают универсальным ключом знания в политике, науке, философии.

Резонерство есть своего рода художество и питается художественным инстинктом: ум любит и привыкает строить более или менее стройное здание доказательств, доводов и выводов. Это орудие одни обращают на службу страстям своим, похотям и материальным интересам, другие увлекаются страстью к свободе мышления и логическим построениям мысли, стремящейся приводить к формальному единству всю область мышления. Эта страсть – одна из самых сильных и господствующих над человеком. В числе первых есть страстные поклонники и проповедники социальных или религиозных идей, долженствующих преобразовать человечество, – это верхние степени типа. На нижних степенях его – софисты всевозможных разрядов, употребляющие свое искусство как искусство умственной игры на защиту или доказательство чего бы то ни было, ради случайного каприза или ради интереса; к ним принадлежат адвокаты и журналисты низшего разряда.

Люди этого типа стремятся, однако, установить гармонию в душе своей посредством уравнивания идеальных ее элементов, привести их к порядку в последовательной логической связи. Но есть умы, которые, восприняв одну идею, изнутри или извне пришедшую, или одно какое-нибудь верование, стремятся все остальное в ряду всевозможных идей и веро-

ваний подчинить своей формуле, ничего иного не признают и знать не хотят. Это настоящие фанатики предвзятой мысли. Такой человек столь убежден в истине своего представления или верования, что совершенно отождествляет его с истиною, и когда бы мог распознать истину, не признал бы ее, как не признает действительности, не согласной с тем, во что он уверовал, как в истину. Преследуя свою идею до крайних пределов, он не останавливается ни на какой иной идее, не обращает внимания на факты и явления, которых знать не хочет. Утверждая таким образом жизнь свою на излюбленной идее, подавляя насильственно все прочие, не согласные с нею представления и движения чувств, такой человек не может, однако, совсем их уничтожить, и нередко эти самые отрицаемые им силы вопреки теории разума, вопреки верованию, не допускающему никакой сделки, продолжают управлять его действиями, личными его отношениями и чувствами в действительной жизни. Чувства эти и движения, скрытые в глубине души человека, чувства, которых он ни за что не признает своими, сами собою, независимо от сознания, оказываются живыми в действительной его жизни, хотя он отрекся от них и похоронил их мысленно. Это явление особенно заметно в тех случаях, когда идея, владеющая человеком, является решительным отрицанием идей, принятых в среде людей, его окружающих. Так, например, мы видим, что либеральный атеист, отрицая до ненависти всякую религию, впадает в грубое суеверие в своей домашней жизни или создает сам себе свою религию из обрывков тех форм, которые отрицает; теоретик, отрицающий, как ложь и зло, всякую благотворительность по теории борьбы за существование, когда видит бедность, стремится помогать ей; ярый проповедник свободы отношений, отрицатель брака и семьи, оказывается нежным и заботливым мужем и отцом; фанатичный проповедник безбрачия и аскетизма радуется новым рождением детей своих; ожесточенный враг богатства и ненавистник капитала не упускает случая к умножению своих капиталов и имений. Явления этого рода, слишком известные, служат разительным обличением лжи, которую проникну-

та всякая теория, отрешенная от жизни. Роковое раздвоение природы человеческой является всюду: на языке – одно, часто высокое и торжественное слово, и совсем иное – на деле. В глубине души человеческой и в малом, и в великом таится лицемерие. Мы ужасаемся, когда оно является нам во всем своем бесстыдстве похоти, прикрывающей себя знамением религии или филантропии. Но кроме сознательного и бесстыдного лицемерия, как часто является оно в бессознательной форме, когда человек, ослепленный гордостью своей мысли или своего верования, несет его господственно под знаменем истины, величаясь толпой поклонников и учеников, разносящих ее по всем рынкам. Нередко эти ученики принимаются развивать систему своего учителя с новыми обобщениями основной ее идеи в виде формулы, долженствующей просветить человечество, объяснив ему всю тайну Божества, мира и жизни, преобразовать внезапным светом истины религию, искусство, социальную науку, философию. И эти ученики оказывают нередко плохую услугу своим учителям, возводя в систему все недостатки и ошибки их учения.

Какие побуждения приводят ум человеческий к столь одностороннему и крайнему развитию? Есть характеры, по свойству своему склонные к противоречию и к протесту против заявленных мнений, особенно против мнений и убеждений, укоренившихся в обществе, против всего, по преданию существующего и признанного. Эта природная склонность способна бывает превратиться в страсть, ищущую себе исхода и удовлетворения. На помощь ей острый ум вырабатывает себе искусную диалектику, служащую ему орудием для достижения цели, т[о] е[сть] для убеждения других в том, что он считает за истину, со всей энергией напряженной воли. Углубляясь в ту или другую научную теорию, в религиозную или социальную доктрину, ум хочет извлечь из нее истину, которой никто до толе не видел, и на этой истине стремится утвердить единство науки, единство верования, единство бытия человеческого. Так иной искатель истины, углубляясь в Евангельский текст и отыскивая в нем свой идеал религиозной истины, отвергает

в нем как несогласное с идеалом все, кроме нескольких слов и речений, и на этих обрывках текста строит свое здание новой веры, проповедует его как откровение своей мысли и привлекает учеников и поклонников из множества людей, бродящих по свету и ищущих утвердить на единстве свои разбросанные мысли и желания. И не перечесть с тех пор, как мыслит и чувствует человек о явлениях общественной жизни, сколько являлось таких учителей новой веры и сколько посеяно ими между разноверными людьми не любви, а лишь взаимной злобы, ненависти и преследований.

В высших представителях этого типа нельзя отрицать некоторой гениальности воображения и изобретения. Изобретатель, очевидно, обладает художеством и, увлекаясь стройностью конструкции, созидает свое здание, поражающее формами и размерами, несмотря на очевидную нелепость содержания. Такова, например, система гениального безумца Фурье. И все творцы высшего разряда подобных систем были замечательными художниками мысли и слова. Примечательно, что немногие из них принимали деятельное участие в осуществлении своих теорий; почти все довольствуются тем, что провозглашают свое учение, не заботясь о последствиях его; разрабатывая слово своего учения, они бросают его в мир, чтоб оно само собою действовало – будь что будет; само учение, захватывая умы на ходу, творит учеников, которые, становясь его фанатиками, стремятся нередко и осуществлять его, развивая и истолковывая его по-своему. В действительности нередко сам фанатичный проповедник анархии оказывается скромным гражданином, добрым семьянином, добрым человеком, тогда как ученики его и последователи совершают безумные и кровавые дела во имя его и в силу его учения. Апостол социализма издает свои книги, произносит речи, устраивает свое благосостояние, а его учение, одушевляя целые массы, направляет их к преступной деятельности. Учителю нет дела до того, сколько жизни загублено его учением, сколько лжи напущено в незрелые умы, сколько новых бедствий произвело оно в человечестве, сколько уродливых искажений внесено в

него узкими умами нередко совсем глупых людей, которые в него уверовали; все равно он верует в свой рецепт, в свою формулу единства человеческой жизни, которая рано или поздно должна преобразовать человечество.

Наше время, время смятенной и блуждающей мысли, особенно изобилует такими типами ненормального, неуравновешенного человека. Жизнь человечества во все времена была преисполнена неправды, насилия, лжи и бедности, но в наше время усиленнее, чем когда-либо, работает мысль и явственнее, чем когда-либо, открывается перед ней этот нескончаемый свиток зла и неправды. Неудивительно, что посреди болезненных ощущений мысль, ищущая идеал, теряется в них и не видит выхода, однако стремится обрести его. И горе ей, если иного выхода не находит в себе, кроме отрицания, негодования и протеста: путем отрицания нередко приходит она к мнимо положительной формуле жизни своего изобретения, но эта формула становится лишь новою ложью в общественном сознании; вступая в борьбу с иными формулами другого изобретения, сама истощается в бесплодных отрицаниях, пока не уступит место какому-нибудь новому учению. Один за другим тянутся ряды людей, желающих найти в себе ответ на вопрос Пилата: что есть истина? Но этот ответ обретают в себе, не разыскивая, лишь тот, кто сам «есть от истины»¹⁹.

Древние классические языки в школе

Все усовершенствования человеческой жизни, все расширения человеческой мысли достигаются упорною борьбою со временем и пространством. Грани эти неустранимы, но отодвинуть их удастся труду человеческому.

Наш век – век блистательных побед над пространством. Быстроходные суда и железные дороги, телеграф и телефоны, орудия ежедневной печати, совершенствуясь и размножаясь с головокружительною быстротою, установили живое, непо-

средственное общение между людьми и странами всего земного шара. Завоевания оптики и химии открывают нам доступ ко многим тайнам пространства небесного. Жалким и слабым представляется нам ныне человек, видящий и знающий ныне то, что его непосредственно окружает.

Но слаб и жалок и тот человек, который видит и знает лишь то, что он непосредственно переживает. Грани времени столь же неустранимы, как и грани пространства, но также подлежат расширению упорным трудом человека. Седая древность завещала нам письменность, оставила нам бесчисленные памятники былого человеческого творчества, как и былых процессов, изменивших вид земной поверхности. Знание прошлого, живое с ним общение словом и делом, возможно, и подлежит безграничному расширению. Живо чувствовали это люди Средних веков и благоговейным созерцанием прошлого подготовили блистательное будущее времен Возрождения.

И ныне в тиши ученого мира продолжается трудолюбивое восстановление давно минувшего. Пополняются сокровища, завещанные нам относительно близким прошлым Греции и Рима. К ним прикладываются откровения более отдаленного прошлого: Египта, Халдеи¹²⁰, Индии и Китая. Все дальше в глубь веков проникает пытливая мысль, силящаяся восстановить вещественную историю нашей планеты.

Но от этих изучений отвернулась современная толпа. Победы над пространством отвлекли ее внимание от уроков времени. Общению с прошлым она предпочитает гадания о будущем, беспочвенные и бесплодные, без близкого знакомства с минувшим. Приходят в упадок способы непосредственного проникновения в это минувшее, и живая его речь, столь долго служившая связующим звеном между веками и поколениями, все более устраняется из области умственного воспитания.

Увлечение это, как и многие другие, нашло преувеличенный отголосок в непомнящем родства русском обществе. То, что ныне у нас говорится и пишется об изучении языков, древних, новых и отечественного, изумит потомство своим легкомыслием.

Своевременно припомнить, что такое европейские древние языки – латинский и греческий.

Язык латинский есть не только язык древних римлян, но и язык международный, почти до наших дней переживший Римскую империю. Авторитет Католической церкви, потребность в общении между книжными людьми разноязычной Европы сохранили широкое его употребление вплоть до XVIII века. При этом он наравне с живыми языками видоизменялся и обогащался, приспособляясь к потребностям новым, но сохраняя притом свое грамматическое строение. Потребности католического богослужения сделали его орудием обильного и блестящего поэтического творчества в области, совершенно чуждой античному миру. Величайшие поэты эпохи Возрождения – Данте, Петрарка, Мильтон¹²¹ – чувствовали потребность сверх своего природного языка пользоваться для своего творчества этим новолатинским языком. Певец «Потерянного рая» на этом языке от имени Кромвеля¹²² приветствовал шведскую королеву Христину¹²³. Величайшие ученые философы нового времени – Бэкон Веруламский¹²⁴, Спиноза¹²⁵, Ньютон, Лейбниц¹²⁶ – приспособили этот язык к области научной. Всех их в этом отношении превзошел Линней¹²⁷. Латинский язык его по своей ясности и точности, по истинно поэтическому одушевлению несравненен и пленителен и немало способствовал быстрому распространению его плодотворных творений. В прошлом столетии великий математик Гаусс¹²⁸ писал почти исключительно по-латыни. В наши дни папа Лев XIII¹²⁹, кроме энциклик¹³⁰, пишет на латинском языке изящные стихотворения, и одно из них как в опровержение толков о неприложимости латинского языка к вещам современным посвящено восхвалению фотографического искусства.

Лишь отчасти и на краткое время латинский язык в XVIII веке был вытеснен в качестве международного языком французским благодаря изумительной выработке этого языка писателями XVII века. Возродившийся национализм скоро восстановил равноправность великих языков европейских, выдвинул и права языков второстепенных.

Между тем вавилонское размножение языков со времен Лейбница заставляет мыслителей и ученых мечтать о языке международном и всемирном, который служил бы орудием общения, делового и научного, между всеми племенами вселенной. Мы были свидетелями безобразного и мертворожденного изобретения волапюка¹³¹. Жалкая эта попытка лишь подчеркнула необходимость в качестве международного орудия общения языка, сложившегося исторически, бессознательным творчеством бесчисленных поколений. На деле до сих пор таким языком может служить только латинский – единственный известный всем образованным членам европейской семьи, единственный открывающий доступ к прошлому всех наук. Есть филологи, ратующие за возвращение этому языку его средневекового преобладания*. Вольно отдельным народам мечтать о грядущем возобладании языка французского или английского, немецкого или русского. Такая победа, если она возможна, – дело весьма отдаленного будущего. Пока же никому, кто имеет возможность посвятить лета отрочества и юности умственному своему развитию, не должен быть прегражден доступ к единственному в настоящее время орудию общения со всеми просвещенными народами, со всеми веками христианского и отчасти – дохристианского прошлого.

Иное значение имеет язык греческий. Никогда Православная Церковь не навязывала его в качестве языка богослужебного иноязычным народам. Никогда с далеких времен его всемирного владычества не служил он распространению новых научных открытий, новых мысленных течений. Но заключил

* Припоминаю по этому поводу рассказ покойного профессора Лясковско-го¹³² – отличного латиниста. В каком-то венгерском городке привелось ему лет пятьдесят тому назад передать поручение незнакомой даме. Подходя к ее дому, он спрашивал себя, на каком языке заводить с нею разговор. Отворила ему дверь маленькая девочка, а вслед за нею раздался голос ее матери: «Claude Januam». «Claus est»¹³³, – отвечала девочка и ввела посетителя в гостиную. Разговор тотчас завязался по-латыни. Оказалось, что во многих местностях Венгрии, населенных смесью мадьяр, немцев, румын и разнорычных славян, разговорным языком образованного общества служил язык латинский, и говорить на этом языке учили всех благовоспитанных детей. – *Примеч. С. А. Рачинского.*

он свое международное поприще распространением откровенней высших, но остается он хранилищем высочайших красот человеческой мысли и слова, и венца писаний, начертанных рукой человеческой, – Нового Завета с толкованием его ближайшими преемниками Священного Предания. Пусть не всем удастся осилить полное его усвоение, но достигнуть вершин понимания философского, богословского, художественного могут без его помощи разве люди гениальные; но орудие это должно быть дано в руки всякому, кому предстоит трудиться в высших сферах науки, искусства, духовного созерцания.

Школа, не мертвенно единая, но, как сама жизнь, разнообразная, не может исключить из своих программ ни одного из этих языков. Такое ее оскпление было бы величайшим грехом современности перед поколениями грядущими. Распределение по училищам различных типов и назначений того объема знаний по обоим языкам, которое нужно и достижимо, должно быть предметом самой тщательной и вдумчивой работы, как и выбор между давно выработанными методами преподавания. Толковать же об упразднении этого преподавания могут только люди, не испытавшие на себе его благотворного действия по случайностям своего воспитания или по собственному недомыслию.

Повторяю: порывать связь с прошлым, откидывая единственное орудие его непосредственного познания, лишать себя тем самым единственных данных, позволяющих нам плодотворно работать для будущего, было бы столь же превратно и безумно, как ограничивать свое знание настоящего случайным местом своего жительства. Азбучная эта истина нынешними преобразователями, очевидно, забыта. Напоминать о ней настойчиво и громко – долг всякого мыслящего человека. Увлечение, ныне овладевшее обществом, конечно пройдет. Но одной попытки осуществить предполагаемую ломку достаточно, чтобы искалечить умственно и нравственно целое поколение. Absit omen!¹³⁴

С. Рачинский

Власть и начальство

Есть в душах человеческих сила нравственного тяготения, привлекающая одну душу к другой; есть глубокая потребность воздействия одной души на другую. Без этой силы люди представлялись бы кучей песчинок, ничем не связанных и носимых ветром во все стороны. Сила эта естественно, без предварительного соглашения соединяет людей в общество. Она заставляет в среде людской искать другого человека – к кому прирастаться, кого слушать, кем руководствоваться. Одушевляемая нравственным началом, она получает значение силы творческой, совокупляя и поднимая массы на великие дела, на великие подвиги.

Но для общества гражданского недостаточно этого вольного и случайного взаимного воздействия... Естественное, как бы инстинктивное стремление к нему, огустевая и сосредоточиваясь, ищет властного, непререкаемого воздействия, которым объединялась бы, которому подчинялась бы масса со всеми разнообразными ее потребностями, вожделениями и страстями, в котором обретала бы возбуждение деятельности и начало порядка, в котором находила бы посреди всяких извращений своеволия мерило правды. Итак, на правде основана по идее своей всякая власть, и поскольку правда имеет своим источником и основанием Всевышнего Бога и закон Его, в душе и совести каждого естественно написанный, то и оправдывается в своем глубоком смысле слово: несть власть, аще не от Бога¹³⁵.

Слово это обращено подвластным, но оно относится столь же внушительно и к самой власти – о, когда бы сознавала всякая власть все его значение! Великое и страшное дело – власть, потому, что это дело священное. Слово «священный» в первоначальном своем смысле значит «отделенный», «на службу Богу обреченный». Итак, власть не для себя существует, но ради Бога, и есть служение, на которое обречен че-

ловек. Отсюда и безграничная, страшная сила власти, и безграничная, страшная тягота ее.

Сила ее безгранична, и не в материальном смысле, а в смысле духовном, ибо это сила рассуждения и творчества. Первый момент мироздания есть появление света и отделение его от тьмы. Подобно тому и первое отправление власти есть обличение правды и различение неправды: на этом основана вера во власть и неудержимое тяготение к ней всего человечества. Сколько раз и повсюду вера эта обманывалась, и все-таки источник ее остается цел и не иссякает, потому что без правды жить не может человек. Отсюда происходит и творческая сила власти – сила привлекать людей добра, правды и разума, возбуждать и одушевлять их на дела и подвиги. Власти принадлежит и первое, и последнее слово, альфа и омега в делах человеческой деятельности.

Сколько ни живет человечество, не перестает страдать то от власти, то от безвластия. Насилие, злоупотребление, безумие, своекорыстие власти поднимает мятеж. Изверившись в идеал власти, люди мечтают обойтись без нее и поставить на место ее слово закона. Напрасное мечтание: во имя закона возникающие во множестве самовластные союзы поднимают борьбу за власть, и раздробление властей ведет к насилиям, еще тяжелее прежних. Так, бедное человечество в искании лучшего устройства носится, точно по волнам безбрежного океана, в коем бездна призывает бездну, кормила нет, и не видно пристани...

И все-таки без власти жить ему невозможно. В душевной природе человека за потребностью взаимного общения глубоко таится потребность власти. С тех пор как раздвоилась его природа, явилось различие добра и зла и тяга к добру и правде вступила в душе его в неперестающую борьбу с тягою к злу и неправде, не осталось иного спасения, как искать примирения и опоры в верховном судье этой борьбы, в живом воплощении властного начала порядка и правды. Итак, сколько бы ни было разочарований, обольщений, мучений от власти, человечество, доколе жива еще в нем тяга к добру и правде с сознанием свое-

го раздвоения и бессилия, не перестанет верить в идеал власти и повторять попытки к его осуществлению. Издревле и до наших дней безумцы говорили и говорят в сердце своем: нет Бога, нет правды, нет добра и зла, привлекая к себе других безумцев и проповедуя безбожие и анархию. Но масса человечества хранит в себе веру в высшее начало жизни и посреди слез и крови, подобно слепцу, ищущему вождя, ищет для себя власти и призывает ее с неперестающей надеждой, и эта надежда жива, несмотря на вековые разочарования и обольщения.

Итак, дело власти есть дело непрерывного служения, а потому, в сущности, дело самопожертвования. Как странно звучит, однако, это слово в ходячих понятиях о власти. Казалось бы, естественно людям бежать и уклоняться от жертв. Напротив того, все ищут власти, все стремятся к ней, из-за власти борются, злодействуют, уничтожают друг друга, а достигнув власти, радуются и торжествуют. Власть стремится величаться и, величаясь, впадает в странное мечтательное состояние, как будто она сама для себя существует, а не для служения. А между тем непререкаемый, единый истинный идеал власти – в слове Христа Спасителя: «Кто хочет быть между вами первым, да будет всем слуга»¹³⁶. Слово это мимо ушей у нас проходит, как нечто не до нас относящееся, а до какого-то иного, особого, в Палестине бывшего сообщества; но поистине какая власть как бы ни была высока, какая в глубине своей совести не сознается, что чем выше ее величие, тем больший объемлет круг деятельности, тем тягостнее становятся ее узы, тем глубже раскрывается перед нею свиток язв общественных, в которых написано столько «рыдания и жалости, и горя», тем громче раздаются крики и вопли о неправде, проникающие душу и ее обязывающие. Первое условие власти есть вера в себя, т[о] е[сть] в свое призвание; благо власти, когда эта вера сливается с сознанием долга и нравственной ответственности. Беда для власти, когда она отделяется от этого сознания и без него себя ощущает и в себя верит. Тогда начинается падение власти, доходящее до утраты этой веры в себя, то есть до унижения и разложения.

Власть как носительница правды нуждается более всего в людях правды, в людях твердой мысли, крепкого разума и правого слова, у коих «да» и «нет» не соприкасаются и не сливаются, но самостоятельно и раздельно возникают в духе и в слове выражаются. Только такие люди могут быть твердою опорой власти и верными ее руководителями. Счастлива власть, умеющая различать таких людей и ценить их по достоинству и неуклонно держаться их. Горе той власти, которая такими людьми тяготится и предпочитает им людей склонного нрава, уклончивого мнения и языка льстивого.

Правый человек есть человек цельный, не терпящий раздвоения. Он смотрит прямо очами в очи, и в очах его видится один образ, одна мысль и чувство единое. Вид его спокоен и бесстрашен, и язык его не колеблется направо и налево. Мысль его сама с собою согласна и высказывается, не допытываясь, с чьим мнением согласна она, кому приятна, чьему желанию или чьей похоти соответствует. Слово его просто и не ищет кривых путей и лукавых способов убедить в том, в чем мысль, порождающая слово, не утвердилась в правду.

Не таков человек, не утвержденный в мысли, двоедушный и льстивый. Он глядит вам в очи, но в его очах вы не его одного видите, но кто-то другой еще стоит сзади и выглядывает на вас, и не знаешь, кому верить: этому или тому, другому? Говорит, и хотя бы красна и горяча была речь его, на уме у него: какое она произвела на вас впечатление, согласна ли она с вашим желанием или прихотью, — и если вы на нее отзоветесь, он обернет ее к вам и скажет, что вы ее создатель, что он от вас ее заимствовал. Мимолетное слово ваше он схватит налету, облечет в форму и понесет в виде твердой мысли, в виде решительного мнения. Чем способнее такой человек, тем искуснее успеет пользоваться вами и направлять вас. Вы затрудняетесь или сомневаетесь — у него готово решение, которое выведет вас из затруднения, из беспокойства в покой самодовольствия. Вы колеблетесь распознать, на которой стороне правда, — у него готовы аргументы и формулы, способные убедить вас в том, что казавшееся вам сомнительным есть суцая правда.

Бумага все терпит – такова старинная поговорка, образовавшаяся в то время, когда грамотейство было почти исключительно бумажное, и одна бумага служила материалом и орудием крючкотворства. Наступило другое время, бумага осталась, но над ней стала господствовать устная речь, и пришлось удивляться новейшему крючкотворству в речах бесчисленных ораторов. Возникла новая школа, в которой и невежды одинаково с умными и учеными стали обучаться искусству краснó говорить, о чем бы то ни было, краснó доказывать истину чего угодно и вести искусную игру, рассчитанную на впечатлительность слушателей. Образовалась новая порода людей, из среды которых пополняются нередко ряды практических деятелей, администраторов, судей, педагогов. Счастлив, кто, пройдя эту школу, успел еще сохранить в себе твердую мысль, добросовестность суждения и способность опознаться в истине посреди тучи общих взглядов и формул новейшей софистики; словом сказать, кто, пройдя училище двоедушия, успел остаться прямодушным.

Начальнику должно быть присуще сознание достоинства власти. Забывая о нем и не соблюдая его, власть роняет себя и извращает свое отношение к подчиненным. С достоинством совместна и должна быть неразлучна с ним простота обращения с людьми, необходимая для возбуждения их к делу и для оживления интереса к делу, и для поддержания искренности в отношениях. Сознание достоинства воспитывает и свободу в обращении с людьми. Власть должна быть свободна в законных своих пределах, ибо при сознании достоинства ей нечего смущаться и тревожиться о том, как она покажется, какое произведет впечатление и какой иметь ей приступ к подступающим людям. Но сознание достоинства должно быть неразлучно с сознанием долга; по мере того как бледнеет сознание долга, сознание достоинства, расширяясь и возвышаясь не в меру, производит болезнь, которую можно назвать гипертрофией власти. По мере усиления этой болезни власть может впасть в состояние нравственного помрачения, в коем она представляется сама по себе и сама для себя существующей. Это уже будет начало разложения власти.

Сознавая достоинство власти, начальник не может забыть, что он служит зеркалом и примером для всех подвластных. Как он станет держать себя, так за ним приучаются держать себя и другие – в приемах, в обращении с людьми, в способах работы, в отношении к делу, во вкусах, в формах приличия и неприличия. Напрасно было бы воображать, что власть в те минуты, когда снимает с себя начальственную тогу, может безопасно смешаться с толпой в ежедневной жизни толпы, на рынке суеты житейской.

Однако соблюдая свое достоинство, начальник должен столь же твердо соблюдать и достоинство своих подвластных. Отношения его к ним должны быть основаны на доверии, ибо в отсутствии доверия нет нравственной связи между начальником и подчиненным. Беда начальнику, если он вообразит, что все может знать и обо всем рассудить непосредственно, независимо от знаний и опытности подчиненных и захочет решить все вопросы одним своим властным словом и приказанием, не справляясь с мыслью и мнением подчиненных, непосредственно к нему относящихся. В таком случае он скоро почувствует свое бессилие перед знанием и опытностью подчиненных и кончит тем, что попадет в совершенную от них зависимость. Пущая беда ему, если он впадает в пагубную привычку не терпеть и не допускать возражений и противоречий; это свойство не одних только умов ограниченных, но встречается нередко у самых умных и энергичных, но не в меру самолюбивых и самоуверенных деятелей. Добросовестного деятеля должна страшить привычка к произволу и самовластию в решениях; ею воспитывается равнодушие, язва бюрократии. Власть не должна забывать, что за каждой бумагой стоит или живой человек, или живое дело, и что сама жизнь настоятельно требует и ждет соответственного с нею решения и направления. В нем должна быть правда личная, в прямом добросовестном и точном воззрении на дело, и еще правда в соответствии распоряжения с живыми социальными, нравственными, экономическими условиями народного быта и народной истории. Этой правды нет, если руководя-

щим началом для власти служит отвлеченная теория или доктрина, отрешенная от жизни с особенными многообразными ее условиями и потребностями.

Чем шире круг деятельности властного лица, чем сложнее механизм управления, тем нужнее для него подначальные люди, способные к делу, способные объединить себя с общим направлением деятельности к общей цели. Люди нужны во всякое время и для всякого правительства, а в наше время едва ли не нужнее, чем когда-либо; в наше время правительству приходится считаться с множеством вновь возникших и утвердившихся сил – в науке, литературе, критике общественного мнения, общественных учреждениях с их самостоятельными интересами. Умение найти, выбрать людей – первое искусство власти; другое умение – направить их и ввести в должную дисциплину деятельности.

Выбор людей – дело труда и приобретаемого трудом искусства распознавать качества людей. Но власть нередко склоняется устранять себя от этого труда и заменяет его внешними или формальными признаками качеств. Самыми обычными признаками этого рода считаются патенты окончания курсов высшего образования, патенты, приобретаемые посредством экзаменов. Мера эта, как известно, весьма неверная и зависит от множества случайностей, стало быть, сама по себе не удостоверяет на самом деле ни знания, ни, тем менее, способности кандидата к тому делу, для коего он требуется. Но она служит к избавлению власти от труда всматриваться в людей и опознавать их. Руководствуясь одной этой мерой, власть впадает в ошибки, вредные для дела. Не только способность и умение, но и само образование человека не зависит от выполнения учебных программ по множеству предметов, входящих в состав учебного курса. Бесчисленные примеры лучших учеников, ни на какое дело не годных, и худших, оказавшихся замечательными деятелями, доказывают противное. Весьма часто случается, что способность людей открывается лишь с той минуты, когда они прикоснулись к живой реальности дела; до тех пор наука в виде уроков и лекций оставляла их равнодушными, по-

тому что они не чуяли в ней реального интереса – такова была история развития многих великих общественных деятелей.

Начальник обширного управления с обширным кругом действий не может действовать с успехом, если захочет без должной меры простирать свою власть непосредственно на все отдельные части своего управления, вступаясь во все подробности делопроизводства. Самый энергичный и опытный деятель может даром растратить свои силы и запутать ход дела в подчиненных местах, если с одинаковою ревностью станет заниматься и существенными вопросами, в коих надлежит ему давать общее направление, и мелкими делами текущего производства. Место его – на вершине дела, откуда может он обозревать весь круг подчиненной деятельности; спускаясь непосредственно во все углы и закоулки управления, он потеряет меру труда своего и своей силы и способность широкого кругозора, расстроит необходимое во всяком практическом деле разделение труда и ослабит в подчиненных нравственный интерес деятельности и сознание нравственной ответственности каждого за порученное ему дело. С другой стороны, ошибется главный начальник, если предоставит себе лично выбор не только лиц, непосредственно от него зависящих, но и всех второстепенных деятелей и работников, подчиненных начальникам отдельных частей управления. В таком случае он взял бы на себя дело свыше сил своих и не на пользу дела, а лишь в угоду личному произволу своему и самовластию. Начальник каждой отдельной части несет ответственность за успех порученного ему дела, и отнять у него право избирать по усмотрению своему сотрудников себе и работников – значит снять с него ответственность за успешный ход дела, ослабить его авторитет и стеснить его свободу в законном круге его деятельности.

К несчастью, по мере ослабления нравственного начала власти в начальнике им овладевает пагубная страсть патронатства, страсть покровительствовать и раздавать места и должности высшего и низшего разряда. Великая беда от распространения этой страсти, лицемерно прикрываемой видом добродушия и благодеяния нуждающимся людям. Побуждения

этой благодетельности нередко смешиваются с побуждениями угодничества перед другими сильными мира, желающими облагодетельствовать своих клиентов. Увы! Благодетельности этого рода раздаются часто на счет блага общественного, на счет благоустройства служебных отправлений, наконец, на счет казенной или общественной кассы. Стоит власти забыть, и она уже отрешается от мысли о правде своего служения и о благе общественном, которому служить призвана.

А казна! Равнодушной власти она представляется каким-то свыше, в неведомой стране поставленным, неисчерпаемым рогом изобилия, откуда сыплются блага и милости всякого рода, куда можно обращаться с твердой надеждой на исполнение какой-то заповеди: просите и дастся вам; где всякую нужду, облеченную в привычные формы, милостиво и благодушно приемлют. Мудрено ли забыть, и все более или менее забывают, из каких источников питается этот рог изобилия, откуда, от кого и какими путями, иногда тяжкими и болезненными, собираются рубли и гроши в сокровищницу государственной казны, и кому, и чем она служить предназначена. Мало-помалу это забвение может распространиться на всех, сверху донизу, и обратиться в общую деморализацию как облагающих властей, так и облагаемых обывателей; и ими, невзирая на ропот и жалобы, овладевает какое-то бессмысленное чаяние благ и милостей от казны и государства. Возрастают ряды чиновников, плодятся учреждения, удваиваются оклады; вместе с тем возрастает обложение, и государственный бюджет принимает чудовищные размеры, вбирая несущиеся отовсюду изобретения, претензии и требования частных интересов и социальных фантазий. Бюджет нынешней французской демократии представляет ужасающую картину деморализации правительства, утратившего сознание нравственного достоинства власти.

Одним из главных двигателей фаворитизма служит лесть – исконный источник соблазна, действующий не только на слабые, но и на крепкие натуры, ибо искусство льстить неистощимо в разнообразии и в оттенках своих приемов. Один из

самых тонких приемов состоит в искусном внушении начальствующему лицу, что всякая творческая мысль от него исходит, что всякое новое изобретение, ему подсказанное, им внушено, что всякий труд подчиненных им одушевляется. Так, малопомалу льстец становится приятен, заявляет себя способным и производит ощущение человека преданного. А когда стало заметно расположение начальника к такому приятному обращению, ловля его благосклонного и доброго мнения входит уже в обычную политику внутренней экономики управления.

Человек с определенным взглядом на жизнь, воспитавший себя и волю свою на разумном труде, ясно сознающий, к чему стремится и чего хочет, по долгу своего знания свободен в отношениях своих к людям и в этой свободе отношений почерпает умение судить о людях. Встречая на пути своем людей, сильных духом и способных, он умеет различать их, ибо не смущается нимало мыслью о том, что его достоинство в чем-либо потерпит ущерб от достоинства другого человека. Вступая во власть, он не теряет своей свободы.

Но человек, не приготовленный к власти дисциплиною труда и воли, чувствует себя несвободным в обращении с людьми. Одно внешнее достоинство власти ослепляет его, но и обессиливает, ибо не соединяется в нем с достоинством духа и разума, и потому не умеет он ценить и в других духовное достоинство; оно лишь обличает и смущает его. Напротив того, чувствует он себя свободно с людьми невысокого духа и житейских наклонностей, которые льстят ему, применяясь к нраву его и наклонностям. Так образуется около начальника сеть ближних людей и фаворитов, из которых он способен произвольно, без дальнего рассуждения выбирать людей для дел своего управления. Сам не воспитанный на труде, он не имеет ясного представления о том, что значит работать и чего стоит работа; ему подносят готовой чужую мысль, которую он принимает за собственную, чужое произведение, которое он признает своим и пускает от своего имени.

К этим двигателям фаворитизма присоединяется еще товарищество. Бессознательные близкие отношения, установив-

шиеся в ранней молодости с товарищами учения, юношеских забав и развлечений или боевой жизни, образуют между людьми связь, основанную не столько на взаимном сочувствии духовного свойства, сколько на привычке близкого обхождения. А привычка у иных людей становится главным руководственным началом ежедневного быта и деятельности и в личных, и в общественных отношениях. И когда товарищ является искателем мест и назначений, выбор определяется личной благосклонностью или заботой об устройстве человека со скудными или расстроеными средствами, иногда без всякого соображения о том, способен ли человек к тому делу, на которое идет, в состоянии ли он править многими вверяемыми ему интересами частными и общественными. Еще ближе товарищей к благоволению начальника его родные – иногда многочисленные, ищущие устроить судьбу свою на служебном кормлении и считающие заботу об этом устройстве нравственным долгом властного родственника.

Остается ли при этом и какое место заботе о благе общественном, ради коего власть вверяется начальственному лицу? Остается лишь одно имя общественного блага, лицемерно начертанное на знамени того сана, который начальник носит, той должности, которую он занимает.

И нетрудно забыться, когда все свои побуждения и образцы, и формы деятельности человек почерпает не изнутри, а извне, из той среды, в которой вращается и где сосредоточены его интересы. Если он исправен и исполнителен в своем деле, что пользы, когда все дело его бумажное и из-за бумаги не видит он человека с его нуждами, с его законными ожиданиями, с его жадной удовлетворения и помощи? Что пользы, когда, услышав о неправде, о насилии, не загорается он ревностью исправить зло, дать управу, восстановить нарушенное, но безмятежно приказывает написать бумагу и безмятежно ее подписывает?

У равнодушного начальника все его подчиненные становятся лишь механическими орудиями производства, бездушными колесами сложной машины, в которой половина силы

поглощается трением, потому что нет духа жизни в движении колес, нет одушевления сверху. Интерес дела мало-помалу истощается, поглощаясь интересом службы, интересом повышения, наград, высших окладов – словом, личным интересом потребности и выгоды каждого. И тот, кто приступает к делу сначала с идеалом деятельности, не находя для себя ни руководства, ни опоры, мало-помалу втягивается в механику общего равнодушия.

Но как быстро может измениться картина, когда появится во главе учреждения живое лицо с сознанием долга и нравственной ответственности, со знанием дела, которым должно управлять, с сердцем, желающим водворить порядок и правду посреди бесчиния и бесправия, с волею, которою правит ясная, сознательная мысль. Тут открывается, какую силою возбуждения обладает разумная власть, когда обращается не к бумаге, а к живому человеку, распознавая в каждом и способность к делу, и охоту делать живое дело. Тогда и подчиненные работники из бездушных колес бездушной машины становятся членами органического тела, действующими по внушению одушевленного средоточия нервной системы.

Лишь бы только появление живого лица во главе учреждения было не случайным, а сознательным проявлением разумной государственной мысли и обдуманного выбора. Благо тому государству, в коем государственная мысль руководствует выбором надлежащих людей на разных степенях управления, где в смене поколений одно передает другому запас людей, готовых к делу, окрепших в школе практической деятельности. Но где пресеклась эта умственная и нравственная связь старших деятелей с младшими, исчезает запас людей, воспитанных самым делом, под руководством знания и авторитета, а на место их являются люди случайные, искатели карьеры, стремящиеся к власти без мысли о долге власти и об ответе за власть, ни для какого дела не воспитанные, но готовые взяться за всякое. Поднимаясь вверх с одной опроставшейся ступени на другую, становятся и они распределителями власти... И тут являются признаки нравственного падения власти.

Самая драгоценная способность правителя – способность организаторская. Это талант – не часто встречаемый, талант – не приобретаемый какою-либо школою, но прирожденный. О людях этого качества можно сказать, что сказано о поэтах, что они рождаются, а не делаются (*nascuntur, non fiunt*). Стоит представить себе, какое совокупление различных качеств требуется для организаторского таланта. В таком человеке сила воображения соединяется со способностью быстро избирать способы практической деятельности. Он должен быть крайне сообразителен, предусмотрителен и вместе с тем решителен при действии, угадывая для него потребную минуту; быстро проникать во все подробности дела, не теряя из виду руководящих начал его; должен быть тонким наблюдателем людей и характеров, уметь доверяться людям и в то же время не забывать, что и лучшие люди не свободны от низменных инстинктов и своекорыстных побуждений.

Счастлив государственный правитель, когда ему удастся опознать такой талант и не ошибиться в выборе. Ошибка возможна, и нередки случаи, когда организаторский талант думают усмотреть в человеке великого ума и красноречия. Но оба эти таланта не только различные, но и совершенно противоположные. Логическое развитие мысли, способность к диалектической аргументации почти никогда не сходятся с организаторской способностью. Напротив того, человек, способный соображать способы действия и созидать план его, весьма часто бывает совсем не способен изложить доказательно то, что сложилось в уме его для действия. Но этот талант открывается лишь на деле, а красноречие, действуя на умы логикой своих доводов и критикой чужих мнений, быстро увлекает людей и вызывает сразу восторг и удивление.

Народ ищет наверху, у власти, защиты от неправды и насилий и стремится там найти нравственный авторитет в лице лучших людей, представителей правды, разума и нравственности. Благо народу, когда есть у него такие люди в числе его правителей, судей, духовных пастырей и учителей подрастающего поколения. Горе народу, когда в верхних, властных слоях

общества не находит он нравственного примера и руководства, тогда и народ поникает духом и развращается.

В социальном и экономическом быте прежнего времени история показывает нам благородное сословие людей, из рода в род призванных быть не только носителями власти, но и попечителями о нуждах народных и хранителями добрых преданий и обычаев.

Если суждено такому сословию возродиться в нашем веке, вот в чем должны состоять основы бытия его и сущность его признания:

- служить государству лицом своим и достоянием;
- быть в слове и деле хранителем народных добрых преданий и обычаев;
- быть ходатаем и попечителем народа в его нуждах и защитником от обиды и насилий;
- советом и примером поддерживать добрые нравы в семье и в обществе;
- не увлекаться господствующей в обществе страстью к приобретению и обогащению и чуждаться предприятий, обычных для удовлетворения этой страсти.

Возможно ли осуществление такого идеала? Возможно ли бремя такого призвания? А без этого как быть особенному сословию, призванному к власти?

Велико и свято значение власти. Власть, достойная своего призвания, вдохновляет людей и окрыляет их деятельность: она служит для всех зеркалом правды, достоинства, энергии. Видеть такую власть, ощущать ее вдохновительное действие – великое счастье для всякого человека, любящего правду, ищущего света и добра. Великое бедствие – искать власть и не находить ее или вместо нее находить мнимую власть большинства, власть толпы, произвол в призраке свободы. Не менее, если еще не более печально видеть власть, лишенную сознания своего долга, самой мысли о своем призвании, власть, совершающую дело свое бессознательно и формально, под покровом начальственного величия. Стоит ей забыться, как уже начинается ее разложение. Остаются те

же формы производства, движутся по-прежнему колеса механизма, но духа жизни в них нет. Мало-помалу ослабевает само желание избирать людей, приготовленных и способных на каждое дело, и люди уже не избираются, но назначаются как попало, по случайным побуждениям и интересам, не имеющим ничего общего с делом. Тогда начинает исчезать в производствах предание, охраняемое опытными и привязанными к делу деятелями, разрушается школа, воспитывающая на деле новых деятелей опытностью старых, и люди, приступающие к делу ради различного интереса и служебной карьеры, сменяясь непрестанно в погоне за лучшим, не оставляют нигде прочного следа трудов своих.

Для всякой практической деятельности потребно искусство, оживляющее эту деятельность, а искусство приобретает трудом разумным и добросовестным, для чего необходимо руководство. Итак, всякое учреждение, назначенное для практической деятельности, должно быть вместе с тем школой, в которой поколение новых деятелей приучается к искусству дела под руководством старых деятелей. На этом утверждается внутренний интерес каждого дела и нравственная сила, долженствующая оживлять его. При этих условиях учреждение может возрастать и совершенствоваться, имея перед собой открытые горизонты: есть чего ожидать и надеяться, есть путь, куда идти вперед. Но когда учреждение немеет и мертвоет, замыкаясь в пошлых путях текущей формальности, оно перестает быть школой искусства, превращаясь в машину, около коей сменяются наемные работники. Горизонты замыкаются, некуда смотреть, и нет стремления и движения вперед. Такова может быть судьба новых учреждений, разрастающихся с усложнением общественного и гражданского быта. Такой становится школа при множестве учеников, учителей и предметов обучения, когда приходится наполнять ее кадры учителями, не приготовленными и неспособными, учительствующими по ремеслу, ради хлеба: дух жизни пропадает в ней, и она становится неспособна образовывать и воспитывать юное поколение. Таков становится суд, как бы

ни были в нем усложнены и усовершенствованы формы производства, когда он перестает быть школой для образования крепкого знанием, опытом и искусством судебного сословия: формы застывают и мертвеют, а дух жизни исчезает в них, и сам суд может стать такой же машиной, около которой сменяются лишь наемные работники.

Представления о власти людей, желающих и ищущих власти, столь же разнообразны, как страсти и желания человеческие. В массе людей, коих помышления сосредоточены на ежедневной жизни, преобладает стремление к улучшению своего быта без всяких дальнейших соображений. Затем преобладающим побуждением к власти служит честолюбие. В каждом человеке свое *я*, как бы ни было мелко и ничтожно, способно к быстрому и безграничному возрастанию, достигающему у иных до чудовищных размеров: каждый, как бы ни был мал, осматриваясь, видит около себя еще меньшие величины, успевшие при благоприятных обстоятельствах взобраться на крышу того или другого здания и благополучно вззирающие с крыши вниз на ходячее по земле человечество. Принадлежность к сонму хотя бы “*deorum minorum gentium*”¹³⁷ соблазнительна для маленького человека, а затем – сколько видится на горизонте зданий всякой величины, с маленького здания приятно высмотреть другую крышу повыше и на нее перебраться и вглядываться в дальние горизонты, на которых красуются “*dii majorum gentium*”¹³⁸, – бывали ведь примеры и такого восхождения!

Таковы пошлые пути и течения, по которым ходит и стремится воображение малых и средних людей. Из них редкий спрашивает себя: кто я, и способен ли на то дело, которое падет на меня с моим возвышением? Справлюсь ли я с ним, и как буду отвечать за него? И кто ставит себе такие вопросы, у того они немедленно потухают в сиянии воображаемой славы, и вопрошающему стоит только сравнить себя со многими, вокруг него сидящими на кровлях, чтобы тотчас же успокоиться.

Но оставим в стороне пошлые пути, как и разнообразные и чистые, возвышенные, но, увы, тоже обманчивые стремления

к власти. Два знания существенно необходимы для посвящения человека во власть. Одно – вековечное правило: «Познай самого себя», другое – «Познай окружающую тебя среду». То и другое необходимо для того, чтобы человек мог сознательно определять волю свою и действовать – действовать на воли человеческие и двигать события в какой бы то ни было обширной или тесной сфере. Действование совершается в мире реальностей; законы разума суть в то же время законы природы и жизни. Кто не знает этих законов, не обращает на них внимания, не применяется к ним, тот не способен действовать.

Но воображение человека, воспитанное лишь на отвлеченных стремлениях души, хотя бы самых возвышенных, но не воспитанное на реальностях, возводя на высоту дух человеческий, побуждает человека представлять себя способным на действие, рисуя перед ним заманчивые картины правды и блага. Так вырастает в человеке обманчивая уверенность в себе и мало-помалу может вырасти в уверенность в свое призвание. А когда с этим соединяется еще вера в некоторые общие положения и аксиомы, которые, действуя будто бы сами по себе, требуют только применения к отношениям человеческим и сами по себе способны устроить в них порядок и правду, тогда эта уверенность принимает характер догматизма и, раздражая душу, порождает в ней страстное стремление к власти во имя высшего начала правды и блага, а в сущности все-таки – во имя своего разросшегося я.

Я буду приказывать, мечтает иной искатель власти, и слово мое будет творить чудеса, – мечтает, воображая, что одно властное слово, подобно магическому жезлу, само собой действует. Но бедный человек! Прежде чем приказывать, научился ли ты повиноваться? Прежде чем изрекать слово власти, умеешь ли ты выслушивать и слово приказания, и слово возражения? Прощел ли ты школу служебного долга, в которой каждый человек на известном месте к известному времени должен исполнить верно и точно известное дело в связи с сетью множества дел, другим порученных? Научился ли ты понимать, что приказ – это не Минерва, вдруг вышедшая

из головы Юпитера, каким ты воображаешь себя, а крайнее звено, разумно связанное с цепью других звеньев логической цепью причины и последствия?

Иному благожелательному человеку воображение представляет картину благодеяний; ему так хочется творить добро и служить орудием добра. Увы! Для того чтобы уметь делать добро, мало быть добрым человеком. И тот, кто благодетельствует, по Евангельской заповеди, из своего имущества, и тот, наконец, удостоверяется собственным опытом, что делать добро человеку – добро в истинном значении этого слова – очень мудреная и тягостная наука. Во сколько раз труднее она, когда приходится творить добро из фонда власти, которой облечен человек. Хорошо, когда, думая о себе и о своей власти, он ни на минуту не забывает, что власть принадлежит ему ради общественного блага и для дела государственного; что в сфере его властного действия запас данной ему силы не может и не должен обращаться в рог изобилия, из которого сыплются во все стороны щедрые дары, многообразные награды, и что данное ему от государства право судить о достоинстве лиц, о правоте дел и о нуждах людей, требующих помощи и содействия, не может и не должно превращаться в руках его в право патронатства.

Но соблазн велик и для доброго и, прибавим, для тщеславного человека, а оба эти качества нередко соединяются: как сладко быть патроном, встречать со всех сторон приветливые и благодарные взгляды! Увлечение этою слабостью может довести власть до крайнего расслабления, до смешения достоинства и способности с тупостью и низостью побуждений, до развращения подчиненных общей погоней за местами, общию похотью к почестям, наградам и денежным раздачами.

Первый закон власти: «Мерило праведное». Оно дает силу судить каждого по достоинству и воздавать каждому должное, не ниже и не свыше его меры. Оно научает соблюдать достоинство человеческое в себе и в других и различать порок, которого терпеть нельзя, от слабости человеческой, требующей снисхождения и заботы. Оно держит власть на высоте ее при-

звания, побуждая вдумываться и в людей, и в дела, им порученные. Оно дает крепость велению, исходящему от власти, и властному слову присваивает творческую силу. Кто утратил это мерило своим равнодушием и леностью, тот забыл, что творит дело Божие и творит его с небрежением¹³⁹.

Из Карлейля

I

Детство

Счастливая пора детства! Благодатная природа, всем ты добрая мать; и вот юному своему питомцу приготовила ты уютное гнездо любви и надежды бесконечной, и тут вырастает он и дремлет, убаюкиваемый сладкими снами! Под кровом родительским приют наш и наша отрада; тут отец – и пророк, и священник, и царь наш, и в послушании находим мы свободу. Юный дух только что возник из вечности и не знает еще того, что зовется у нас временем: время для него покуда – не поток, быстро текущий, а веселый, ярко блестящий на солнце океан; годы – что века для ребенка, ему еще неведомы тайны горькой заботы, тайны то быстрого, то медленного стремления несущейся куда-то вселенной, и вот в этом неподвижно пребывающем мире вкушает он то, чего навеки лишены мы в кипучем водовороте нашего мира, вкушает сладость покоя. Спи, почивай покуда, милое дитя! – впереди, и уже недалеко, ждет тебя долгий и тяжкий путь твой. Еще немного, и сон твой кончится, и сами сны твои станут отражением жизненной борьбы, и понятно будет тебе слово старого мудреца: «Какой покой! Будет еще целая вечность покоиться».

Небесный нектар сладкого забвения! Пирр¹⁴⁰ может покорить вселенную, Александр¹⁴¹ – разорить целый мир, и они тебя не добудут; но вот ты сам собою тихо сходишь на уста

и на очи, и на сердце всякого младенца, сына своей матери. И сон, и пробуждение для него едино! Прекрасный Эдем жизни убаюкивает его, не переставая, шелестом своих листьев, и вокруг него всюду аромат росы небесной и роскошный цвет надежды...

II

Простое правило жизни

Убеждение, какое бы ни было чистое и возвышенное, ничего не значит, если не обращается в жизнь самым делом. И до тех пор нельзя даже признать действительность убеждения, ибо одно рассудочное мнение по природе своей безгранично, бесформенно, пучина посреди множества пучин; одна лишь несомненная достоверность опыта приводит его сознательно к средоточию, около коего, обращаясь, образуется оно в систему. Есть истинное слово мудреца: «Всякое сомнение одним только устраняется действием». Итак, если кто изнывает болезненно в тусклом мерцании неверного света и молит из глубины душевной о том, чтобы свет дневной озарил его из потемок, пусть примет к сердцу другое, бесценное и спасительное правило: «Делай дело, которое всего тебе ближе и в котором самый ближний долг твой». Делай его, за ним объявится другой, последующий долг, и все станет ясно.

III

Воспитание

Какие бы ни были училища и семинарии для образования людей к деятельности, какие бы ни были курсы учительства, проповедничества, миссионерства, для всех одно правило: приучать молодые души, чтобы умели приказывать и умели повиноваться. Мудрость приказания, мудрость послушания, способность к тому и другому – вот истинная, верная мера

культуры и доблести человеческой для каждого, кто бы он ни был; всякое добро – в обладании этими обоими качествами; всякое зло, всякая неудача и пагуба – в отсутствии этих качеств. Кто умеет приказывать и повинаться – тот годный человек; кто не умеет – тот негодный. Если наши учителя, наши проповедники в своих семинариях, академиях, соборах воспитывают людей для этих качеств, верно будет их слово, право и действительно; если нет – то нет в нем правды.

IV

Дело

Смотри и вдумывайся, какое дело ты, ты именно, можешь делать; первая задача для каждого человека – найти для себя, какое дело может он делать в этом мире.

Для этого самого рождается всякий человек и сегодня, и во все времена. Он рождается для того, чтобы всю силу, какую дал ему Всевышний Бог, употребить на то дело, на которое он способен: стоять на нем до последнего издыхания и делать его как можно лучше. Все мы к этому призваны, и за то всем нам верная награда, если заслужим, награда в том, что мы сделали свое дело или, по крайней мере, всячески старались сделать. Это – само по себе великое благо, и, можно сказать, лучшей награды нечего нам ждать на этом свете. «Имуще пищу и одеяние, сими довольны будем», а затем не все ли равно, что ты издержал на это, семьдесят ли тысяч, семь ли миллионов или семьсот! В сущности, для мудрой души разница не велика.

Главное счастье, какого может желать себе мудрый человек, – счастье иметь дело в руках и сделать его. «Нечего есть», – плачет человек, но первый плач его такой: «Нечего делать». Несчастье человеку в том, что делать не может, не может совершить судьбу свою человеческую. Быстро пролетает день, быстро жизнь пролетает – ночь подходит, ночь, *в ню же никтоже может делати.*

Что ты делал, человек, как ты делал? Счастье твое, несчастье твое, ведь это было твое жалование, и все его ты истратил на житье свое, ни копейки не осталось. А дело-то, дело? Где оно у тебя?

И когда бы ни был человек таким голодным скитальцем, не стал бы плакаться на свое жалование, плакался бы скорее на себя, что он сделал со своим жалованием.

V

Религия

Церковный обряд – это одежда, форма, в которой люди в разные времена воплощали для себя религиозное начало, выражали идею Божественного в мире, облакая ее в живое и действенное тело, чтобы она могла обитать между нами, облакая словом, живым и животворящим.

И выразить нельзя, что значит для человечества это одеяние жизни, важнее и необходимее всех одежд и украшений жизни человеческой. Соткано и сработано оно обществом; только там, где «собраны двое или трое», только там религия, таящаяся в духе, неистребимо у каждого является во внешнем выражении и стремится воплотить себя в видимом общении воинствующей Церкви. Таинственно и чудодейственно это общение одной души с другою в стремлении к небу: только в этом стремлении, а не в стремлении книзу, к земле, становится союз взаимной любви, образуется общество. Взглянет человек в лицо брату, встретит взгляд его ласковый, приветливый, любовный или распаленный гневом и ненавистью, и вот душа, дотоле спокойная, невольно сама загорается тем же огнем, и, отражаясь от одного к другому, огонь вырастает в беспредельное пламя либо пылкой любви, либо смертельной ненависти – вот такая чудесная сила течет от человека к человеку. И если так действует эта сила на тесных путях земной нашей жизни, каково должно быть ее действие в стремлениях к жизни небесной, когда одна душа входит в общение с другой душой в самой глубине своего внутреннего я.

VI

Бессознательное

Здоровые не думают о здоровье, думают о нем больные – это афоризм медицинский, но применение его много обширнее медицинской сферы – не в одной телесной терапевтике, но и в нравственной, и в умственной, и в политической, и в литературной. На этой пробе все жизненные силы испытываются.

Все врачи согласны в том, что нужно для здоровья: нужно, чтобы каждый орган совершал свои отправления просто, бессознательно. Стоит одному какому-нибудь органу заявить отдельное свое существование, выказаться, хотя бы для удовольствия, и уже завязывается в теле особый узел ощущения, и начинается расстройство. Верх благосостояния телесного тогда, когда совокупная деятельность всех органов является единою, цельною: человек здоров сам по себе «без системы». Единство, согласие всегда безмолвно или тихо выражается; напротив того, раздор громко возвещает о себе. Само понятие о здоровье на иных языках выражается словом, означающим единство, и когда мы чувствуем себя совсем по себе, чувствуем себя целыми (на славянском языке «целый» значит «здоровый»).

Кто из нас столь счастлив, что живет цельно «без системы»? Многие, обращая мысль к своей юности, вспомнят, какое было время света, чистого воздуха, легкости и совершенной свободы, тело не стало еще темницею для души, было лишь сосудом ее и дополнением. Мы не думали о своих членах, а только двигались, голосили и бегали; и в уши нам, и в глаза, и во все открытые пути чувств неслись в нас извне ясные звуки, слухи и вести, а из нас самих выходила наружу бодрая, могучая сила; мы стояли как бы в средоточии природы, раздавая всюду и принимая отовсюду, в гармонии со всей природой. Не так, как земледельцы у Вергилия¹⁴², «мы были слишком счастливы потому именно, что не ведали своего блаженства». Все существо наше было единое, весь человек – воплощенная воля.

Таковая могла бы быть и дальше жизнь наша, если бы покой или счастливый труд мог быть достоянием человечества; жизнь была бы чистой, непрерывной гармонией звуков, сиянием белого света, все нам освещающего, а нам самим невидимого, света без всякого преломления лучей в цвета и краски. Начало всякого исследования уже болезненно: всякая наука, если вдуматься в нее, должна родиться от сознания чего-то неверного, порченного, и в ней непременно есть разделение, раздробление, частное исправление какого-то частного зла. Так, по древнему писанию, древо познания вырастает на корне зла и приносит плоды и добрые, и злые.

Увы! Память о первом состоянии свободы и райской бессознательности стала идеальным поэтическим сном, и мы строим в мире, исполненные сознания о многом, и знание, признак расстройства, побуждает нас стремиться изо всех сил к устройству порядка. Кое-когда, в редких случаях, слышится нам небесная мелодия, но всего чаще жизнь проходит в борьбе, в ломке, в порывистых движениях. Жизнь дана нам для жизненной деятельности, для виднеющейся вдали внешней цели, и для нее-то природа снабдила нас разумом и волею. Но та же природа так устроила, что действует в нас и через нас бессознательное. Как ни безгранична область человеческой деятельности, одна лишь малая и отрывочная часть ее управляется сознанием и предвидением; что может изобрести человек, что может он знать и уразуметь, – все это в существе только механическое и малое, а великое – существенно жизненное таинство, и только поверхность его подлежит разумению. Но природа, подобно заботливой матери, укрывает от нас даже то, что она есть таинство; мы покоимся на прекрасном и страшном ее лоне, как будто в безопасном доме; мы ходим поверх бездны, на которой так дивно и так страшно висят все дела и события человеческие, ходим и строим на ней, как будто на ней держит нас не тонкая нить, а скала непоколебимая. Возле, близко неизбежная смерть, и в таком соседстве с нею человек может забыть, что он рожден для смерти. О самой жизни своей, которая поистине содержит в себе бесконечность и вечность, человек легко-

мысленно может представлять себе, что она дана ему просто для дневного труда и пропитания. Так искусно природа, мать всякого совершенного искусства (которое лишь издали может подражать ей), изводит конечное из бесконечного и надежно ведет человека по дивному пути его, посылая ему не столько дар видения, сколько дар слепоты, там, где нужно. В глубоком основании всех ее даров, из коих драгоценнейший – жизнь, лежит мрак, благодетельно от нас сокрытый. В самой жизни корни и внутренние пути ее, простирающиеся до страшной области смерти и ночи, лежат в глубине неощутимо, но прелестный стебель жизни, покрытый цветами и листьями, красуясь под солнцем, растет и видим.

То же самое – в мире духовном. Дух, поистине крепкий и могучий и умом, и нравственностью, не сознает своей силы; и тут, как в мире физическом, признак здоровья – бессознательность. И во внутреннем, равно как во внешнем мире, открыто для нас только механическое, все динамическое и существенно жизненное закрыто. В области мысли – разве только что на поверхности можем мы выразить определительно; наверху – сфера аргументации и сознательных рассуждений, но под нею область созерцания мысленного, и тут, в таинственной глубине пребывает сущность нашей жизненной силы, тут зачинается и растет всякое создание, а в той сфере лишь составление, выделение, распространение мысли. Все выделяемое понятно, но низменно; создаваемое велико и выше понятия. Ритор, адвокат, как бы ни был искусен из последних в ряду истинных мыслителей, он знает, что может сделать и как достиг этого. А художник не знает, в нем действует вдохновение. В поэте, в ораторе, в исследователе истинная сила есть, сила бессознательная. Истинное, здоровое разумение не есть разумение логическое, доказательное, но прозревательное (*intuitive*), ибо цель разумения состоит не в том, чтобы доказать и найти причины, но в том, чтобы знать и верить.

То же самое – в сфере нравственности. Сказано: *Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая*¹⁴³. Не шепчи в сердце своем: «Как хорошо, что я сделал», – с этой минуты дело

твое потеряло всю цену. Добрый человек тот, кто делает добро постоянно, для кого добродетель – состояние естественное, не возбуждающее удивления, не требующее комментариев. Самосозерцание, несомненно, – симптом болезненный, даже при сознании болезни и желании исцеления. Нездоровая та добродетель, что истощается в смущении и в сознании своей греховности или, еще того хуже, надувается самоуслаждением и тщеславием; в том и другом случае это искание своего, бесполезное оглядывание пройденного пути, тогда как надо смотреть лишь вперед и идти, не останавливаясь. В нравственной сфере особенно, как самой внутренней, самой жизненной, требуется цельность, и признак цельности – бессознательность.

Гений нравственности, равно как и низший гений ума, – тайна для себя самого. Здравая нравственная натура любит добро и вся живет в добре без изумления пред ним. Нездравая влюбляется в добро и пытается жить в нем или, разуверившись в своем ухаживании за ним, обращается вспять и покидает его не без презрения. Удивительны в душе человеческой эти отношения произвольного и сознательного к непроизвольному и бессознательному, но так сотворены мы, и такова наша природа. И в каком бы смысле ни представлялось нам жизненное бытие каждого смертного – в высшем ли духовном, или в животном физическом – несомненно, что в здоровом его состоянии основная жизненная его энергия есть невидимая и бессознательная. Иначе сказать словами приведенного уже афоризма: «Здоровые не думают о здоровье, думают о нем больные».

Гладстон об основах веры и неверия

*The Impregnable Rock of Holy Scripture*¹⁴⁴

Неверие ссылается на заблуждение, на невнимательность, на несостоятельность в людях верующих; правда, и это служит тяжким затруднением к укреплению веры.

Когда, увлекаясь идеей о благодати и милости Божией, мы забываем неизменную Его правду и правосудие; когда, прославляя несказанное Его милосердие в оставлении грехов, опускаем то, что состоит в неразрывной связи с прощением – глубокое проникающее действие его на прощенную душу, то этим уже одним мы создаем для всей системы христианского учения опасности больше тех, какие создаются его врагами. Но еще того хуже. Еще хуже, когда верующий во Христа держит Его учение, не думая осуществлять его в своей жизни; а хуже всего, если, держась учения, он не только увлекается в обыкновенные слабости или излишества человеческой природы, но презирает или пренебрегает такие основные начала естественной нравственности, против которых сам порок редко осмеливается спорить. Учреждение семейного союза, нравственная связь между членами семьи, природа мужчины и женщины, отношение каждого человека к душе своей, которая вверена ему Богом, чтобы познавал ее, чтил ее, очищал и святил ее, – все это установлено законами самыми древними, самыми коренными, самыми священными. Всякий прогресс поверяется и испытывается сообразностью с этими нерушимыми, хотя и неписаными уставами; по этой мере можем распознать, действительный ли это прогресс или обманчивый, ложный, и само Христианство не было бы Христианством, если бы способно было колебать эти священные уставы.

Переходим к отрицателям веры. Отрицание признает своим источником исключительно разум – это верно лишь отчасти. Говорят, например, о причинах неверия, что такие догматы, как троичность, воплощение, Таинства, Страшный суд, оказываются положительно невыносимы для просвещенной мысли современного человечества.

Меня же все приводит к убеждению, что главная причина, содействовавшая возрастанию в наше время отрицательных учений, не интеллектуальная, а нравственная, и что ее следует искать в возрастающем преобладании материального и чувственного над сверхчувственным и духовным.

Пожалуй, такому мнению могут приписать ненавистный характер, назвать его фарисейством в худшем значении этого слова; могут истолковать его в таком смысле, будто от силы и твердости догматических положений зависит у каждого отдельного лица и возвышенность нравственного характера. Такое мнение было бы совсем неверно и противоречило бы ежедневному опыту жизни. Я имею в виду совсем иное. Я говорю о том, что относится не до того или другого человека в отдельности, но до всех нас. Мы совершенно изменили меру нужд и потребностей; мы размножили чрезвычайно желания свои и похоти; мы установили для себя новые социальные предания, предания, которые бессознательно образуют и руководствуют нас независимо от предварительного сознания и выбора. Мы создали новую атмосферу, которой дышим, так что действием ее и входящих в нее элементов бессознательно преобразуется весь наш состав. Это не значит, что нас создает окружающая среда, так как в нас есть сила размышления и рассуждения. Но этой силой мы мало пользуемся, мало приводим ее в действие, так что окружающая нас атмосфера, данная мера жизни воспринимается нами естественно, без рассуждения; с этим запасом каждый из нас предпринимает свое странствование в мире, и он руководствует жизнь нашу, за исключением редких случаев, когда гнусный вид порока, с одной стороны, или вид христианского подвига – с другой побуждают нас избрать для себя особую меру жизни и деятельности. Но и то, и другое совершается в кругу принятого мнения, так что одно мешается с другим, и, глядя на людей в образе жизни их и поведения, приходится видеть людей высокой добродетели с малой верой и людей крепкой веры, но плохой добродетели. Так, в сфере общественного мнения может казаться, что и свобода, и правда одинаково сходятся и с правоверующими, и с неверными.

Главная причина этой поразительной, даже страшной несообразности заключается, без сомнения, в том, что каждому из нас лично вера пришла не путем борьбы, жертвы, крепкого убеждения, но пришла, как все почти, что мы имеем легким способом, по рождению и наследству, через других, а не

от себя самих, как дело естественное, а не как дело выбора и усилия, так что и сидит оно на нас, как внешняя одежда, а не пронизает нас, как начало и сила действенная.

Но с другой стороны, неоспоримо верно, что господственное предание в атмосфере нашей есть предание христианское. Им одним сделано возможным то, что без него осталось бы недостижимо. Оно одно, это предание, тихо и неощутительно вносит во многие души и характеры не только у верующих, но и у неверующих людей идею о добродетели, самоотвержении и филантропии вместе с силой сообразного действия. Многие люди, не отрицающие христианской веры, не знают сами, где, когда и как научились они ее держаться; точно так же многие, отступившие от христианской веры, не сознают, что самое высокое в мысли их, в духовной природе и в действии – плод Христианства. Что значит новоизобретенное слово «альтруизм»? По своему значению – это просто вторая великая заповедь христианского закона, «подобная первой»¹⁴⁵. По форме – это маска, прикрывающая мысль заимствованную, так что иные и не догадаются, где ее истинный источник. И совершился этот подлог не с пониманием, а бессознательно*. В нашем достоянии – кодекс христианской нравственности, которым постепенно прониклись наши учреждения и обычаи, и он так слился с обычною нашею жизнью, что затмилась самая память о божественном его происхождении, как будто это законное наследие, утвержденное за нами давностью. Мы поймем, что сделало для нас христианское предание, когда присмотримся к нравственному кодексу тех народов, кои не имели этого предания. Стоит указать на пример греков в пятом столетии до Р[ождества] Х[ристов] или римлян в эпоху Р[ождества]

* Кстати при этом заметить, что у нас по привычке орудовать новыми иностранными словами вошло уже в неразумное употребление и это слово «альтруизм» и ставится, как попало, даже в применении к любви христианской. При водворившейся распущенности слова орудуют этим термином и молодые духовные писатели, что уже совсем непростительно. Его почерпают из чтения новых философских сочинений (Спенсер и т[ому] п[одобное]), переведенных на русский язык, но нельзя забывать, из какого источника происходит и с какою системой мышления связан этот термин, совсем неприложимый к понятию о любви христианской. – *Примеч. К. П. Победоносцева.*

Х[ристова]: у тех и у других увидим поразительный упадок нравственности, хотя в то же время поражает нас блестящее интеллектуальное развитие у одних, а у других – превосходство организаторского политического гения.

В наш век мы видим перед собой усилившееся господство видимых вещей и по мере того – умалюющееся значение вещей невидимых. В течение всей истории человечества невидимое и неразлучное с ним сознание будущей жизни было в постоянном состязании с вещами видимого мира.

Текущая половина нынешнего столетия резко отличается от всех прошедших веков исторической жизни человечества в двух отношениях: никогда не бывало такого размножения богатства и вместе с тем размножения наслаждений, богатством доставляемых; то и другое – явления отдельные, но совместные и нравственно между собою связанные... Очевидно до математической достоверности, что усилившееся действие всякой мирской прелести расстраивает равновесие бытия нашего, доколе не будет уравновешено усиленным действием духовных влечений и стремлений. Откуда же возьмутся эти духовные силы? Страшно признаться, что в тех сферах, которые доступны нашему зрению, не видно такого приращения духовных идей и побуждений, которые могли бы служить перевесом, усиливающимся мирскими похотями и стремлениями. А когда мир невидимый и сродные с ним идеи утрачивают свою притягательную силу, то вместе с сим и непременно и верования, принадлежащие к этой сфере невидимых соотношений, тускнеют, и привлекательная сила их ослабляется. Материализм как положительная система, думаю, не приобрел господственное значение; эта система по своей конструкции лишена, по мнению моему, той интеллектуальной силы, какая нужна для цельного учения. Но совсем иное дело – безмолвное, тайное, бессознательное действие материализма; сила его громадная. Помнится, Макс Мюллер¹⁴⁶ сказал, что без языка невозможно мышление, и это верно в отношении ко всякому мышлению, организованному и сознательному. Но в природе человеческой таится множество неразвитых, зачаточных сил,

впечатлений, извне воспринимаемых и падающих на сродную почву внутри; все это никогда не вырастает до зрелости, не выливается в членораздельную речь и не получает определенного вида в нашем сознании.

И вот, я думаю, что в настоящую минуту эти невысказанные и неиспытанные движения не столько ума, сколько похоти, или, если легче выразиться, наклонности, все эти – не мысли, а обрывки мыслей действуют около нас и в нас; и если бы можно было перевести их на язык и выразить в слове, они сложились бы в известное, издревле во всех веках бывшее вульгарное представление о том, что, в конце концов, видимый мир есть одно, что мы известно знаем, и что всякое дело, стоящее труда, всякая забота, стоящая попечения, всякая радость, имеющая цену в этом мире, в нем начинаются и с ним же для нас кончаются... Мы знаем, как сильны низшие наклонности человеческой природы, и совершенно естественно, что кому улыбается мирская жизнь, у того слишком часто наряду с возрастающим тяготением к земному центру незаметно поражаются бессилием стремления к внутренней жизни. И понятно, что при этом поражении духовных стремлений к душе легче и удобнее приражается все то, чем подрывается авторитет слова Божия или великих христианских преданий, все то, чем в разных путях отстраняется, ослепляется ощущение присутствия Божия, заглушаются упреки внутреннего голоса совести. Итак, напрасно искать корень зла в науке, действительной или мнимой, даже в заблуждениях и неверностях верующих людей, на которые неправо ссылается неверие. Нет, не то: возрастающая в нас сила чувственных и мирских влечений и побуждений – вот что дает невидимого союзника всякому аргументу сомнения и неверия, чего бы он в существе ни стоил; вот что приобретает массу учеников отрицательным учениям. Человек воображает, что, давая волю сомнению, он следует изысканию истины, а, в сущности, он только мирволит низшим наклонностям своей природы; им уже овладели они, а он еще усиливает их, допуская новых им союзников без всякой поверки титула их и права. Идеи, в основании своем слабые, подталкиваются наклон-

ностью, которая непременно сильна. Итак, в душе зачинается будто тайный заговор, и выезжают в ней на бой два витязя, один – с открытым лицом, а другой – с опущенным забралом.

Христианская вера порождает христианское предание, образуя идеи и образ жизни и поведения. Люди не отрицают сами правила этого предания – отрицают лишь источник происхождения правил. Является сначала великий мыслитель, человек высокой нравственности, он благочестив и проповедует благочестие, но не признает догмата. Другой деятель, следующий за ним, идет на том же поле еще далее – восхваляет нравственность, отвергая благочестие. А противонравственная, противодуховная сила, во всех нас скрытно действующая, обольщаясь видом добра, под которым таится начало разрушения, помогает относиться снисходительно к новой проповеди и даже петь хвалу ей хором. Аргумент скептической мысли в действительности – не что иное, как прививок, получивший жизнь и силу от мощного и крепкого дерева, к которому привит.

Итак, по моему мнению, несомненно, что главной причиной, почему скептицизм в наше время получил такое распространение и такую силу, служит чрезвычайное развитие мирских сил и побуждений внутри нас и в среде нашей. Но это относится не столько к офицерам и солдатам армии, к людям, серьезной работой мысли исследующим предметы, над коими сами они тяжело задумываются, сколько к массе, которая без труда присоединяется к хору последователей новых учений. Мнения свои человек отчасти составляет сам и отчасти заимствует из окружающей среды. Мыслящий человек сам в себе их вырабатывает, хотя и на него действуют скрытые влияния бессознательно; немыслящий черпает их из окружающей среды или вполне, или большей частью. А среда, как всякому известно, вмещает в себе идолов, образы, тени и привидения преходящего дня.

Но я должен оговориться. Мои замечания имеют в виду особое и, может быть, беспремерное доньше состояние, в коем множество людей подвергают сомнению основания нашей веры и авторитет священных книг наших, не испытывая ни

благовременности столь серьезного дела, ни своей к нему способности. Во всех других предметах требуется, чтобы человек имел знание или показал бы его, но в делах веры ничего того не требуется, а всякий предполагается знающим.

Христианская вера воспринимается сердечным сочувствием и согласием, сердцем веруется. С другой стороны, всякий человек, в каком бы ни был положении, основывает разумно, даже необходимо основывает действия и события своей жизни, главным образом, на вере, без сомнения, на свободной и разумной, но все-таки на вере, иногда на преданиях рода своего и племени. Всякий, кто занимает ответственное положение в этом мире, большое или малое, сознательно или бессознательно, действуя за себя, в то же время действует для других, для других и вместо других приобретает и испытывает убеждения, поверяет материальные факты, имеющие значение для человеческой жизни, такие убеждения и представления, которые не всякий человек по условиям своей жизни может установить и испытать самолично. Лучше, конечно, если бы каждый мог это исполнить для себя самостоятельно, но не у всякого есть для этого и случай, и способность. А где того и другого нет, что слишком часто случается, там не следует человеку обманывать себя, будто он с чужих слов приобрел себе свое убеждение.

Но не подлежит сомнению, что в наше время, едва ли не больше, чем прежде, множество мужчин и женщин, безо всякой способности и безо всякой для себя нужды, подвергают сомнению веру, которой, по старому преданию, держались. Для некоторых из нас, по расположению и образованию ума, по свойству знания, по роду занятий, представляется и разумным, и даже необходимым подвергать исследованию великое историческое откровение в исторической обстановке и в его отношениях к характеру и состоянию человека. Этот процесс исследования сам по себе – дело прямое и законное; и мы знаем, что действие его в течение многих веков на великие умы приводило вообще к положительным результатам и, в конце концов, еще усиливало авторитет Священного Писания.

Однако в применении к массе людской разум удостоверяет нас, что всякому человеку свойственно держаться предания и предполагать его истинным, покуда нет серьезного основания усомниться в нем. Таково правило здравого смысла, принятое в обыкновенной жизни. В предметах предания не вера, а сомнение должно было бы, во всяком случае, становиться в защиту и предъявлять свои документы, хотя бы не в смысле доказательства, а лишь в смысле разумного вероятия. Но неиспытанное сомнение, которому так часто удается свить гнездо в умах наших, есть владелец без документа – опасный и незаконный гость. Незаметно и помимо всякого опроса он вдруг вступает в роль доказанного отрицания, обессиливает в нас действие, наводит тень на чувство долга и на сознание присутствия Божия во всех путях наших, ослабляет пульс нашего нравственного здоровья. Сомнение может освободить или поработить нас, но оно должно быть непременно или другом, или врагом нашим: нейтральным оно быть не может. Те сомнения, коих испытать нельзя, если дать им место, отражаются и на вере нашей, и на поведении. А исследования недостаточные, мнимые служат лишь новым искушением на пути долга; если уже предпринимать исследование действительное, то оно должно стать для нас священным долгом. Мнимое исследование есть одно лишь обольщение; под предлогом его мы становимся жертвой предрассудка, моды, склонности, похоти, лукавых внушений мирского духа, всяческих многообразных искушений. Каждый человек призван установить меру своего поведения в своей сфере – задача высокая, но и трудная, столь трудная, что никто не может выполнить ее в совершенстве. Долг не обязывает нас делать выводы и заключения о судьбах мира, о свободе воли, тем менее еще погружаться за этими пределами в глубину и во мрак размышлений, которые все сводятся к одной непроницаемой проблеме о существовании и о действии зла в здешнем мире. Вера христианская и Священное Писание вооружают нас средствами пересиливать и отражать приступы зла извне и внутри нас. Вот единственное практическое решение задачи. Пусть окутана туманом вся

страна, окружающая нас, но нашу дорожку можем мы разобрать час за часом, день за днем, шаг за шагом. Умозрительное рассуждение, если оно бесцельно, становится самочинно, возвышаясь над предметом умозрения; а самочинное, гордое умозрение о делах, о промыслениях Божиих для людей, верующих в Бога, есть само по себе грех. Оставить лежащий на каждом из нас долг управлять собой и своим поведением, обращая работу ума и сердца на такие предметы, которые для нас обязательны, лишь поскольку могут быть нужны для особого дела нашего и призвания, значит в нравственном смысле – убежать от сытости в голод. Похоже на то, как если бы кто, владея лишь разбитой посудиною, собирался накормить и напоить из нее всех своих соседей.

Но если признать, что никто легкомысленно, не имея ни способности, ни духовной нужды, не должен вступать в исследование веры, и что во всяком исследовании такое сомнение не имеет права требовать доказательств от самой веры, надобно вместе с тем помнить, что всякое религиозное исследование, хотя оно и возбуждает взаимные пререкания, нельзя сравнить с процессом между равноправными сторонами тяжущихся или с битвою двух полководцев за спорную территорию. Спаситель наш Христос возбудил в народе удивление тем, что, оставляя в стороне все хитросплетения и наросты учений, омрачавшие образ веры, учил народ «яко власть имей, а не яко книжники и фарисеи»¹⁴⁷, учил со властью, т[о] е[сть] имея право повелительное и силу повелительную. Когда Бог даровал нам откровение воли Своей и в законах природы нашей, и в царстве благодати, это откровение не только просвещает нас, но и повелительно обязывает. Справедливо и необходимо, что, подобно верительной грамоте земного посланника, и верительная грамота этого откровения должна быть испытана. Но если, быв испытана, она оказывается подлинною, если эта подлинность подтверждается такими же доказательствами, какие в обыкновенных обстоятельствах жизни обязательно принимает наш разум, тогда нельзя уже нам считать себя самостоятельными судьями, погруженными в вольное исследование, тогда уже мы –

служители Владыки, ученики Учителя, дети Отца и каждый из нас связан узами этих отношений. Тогда уже и глава, и колена должны преклониться перед Вечным Богом, и человек должен обнять Божественную волю и следовать ей всем сердцем, всем помышлением, всей душой и всею кротостью своей.

Дела и дни

(Emerson. Society and Solitude¹⁴⁸)

Наш девятнадцатый век – век орудий. Их производит из себя наша организация. «Человек – мера всех вещей, – говорит Аристотель, – рука – инструмент всех инструментов, а разум – форма всех форм». Тело человеческое – магазин изобретений, кладовая образцов, с которых сняты всевозможные механизмы, какие только придуманы. Все орудия и машины – не что иное, как распространение членов и ощущений этого тела. Человека можно определить так: «Разум со служебными органами». Машина помогает природному ощущению, но не может заменить его. Вся мера – в теле. Глаз ощущает такие оттенки, которые не в силах уловить искусство. Ученик не расстаётся с аршином, но опытный мастер меряет без ошибки пальцем и локтем, опытный нарядчик отмеряет шагами аккуратнее, чем иной – веревкой и цепью. Степной индеец, бросая камень из пращи, знает, что попадет как раз в точку, в таком сочувствии глаз у него с рукою; плотник рубит бревно свое по насеченной линии, ни на волос не отступая. Нет чувства, нет органа, который нельзя было бы довести до самого тонкого совершенства в деле.

Дивиться – любимое ощущение человека, и в этом чувстве – семя нашей науки. Таково механическое направление нашего века, и так еще свежи лучшие наши изобретения, что радость и гордость от них еще не износились в нас, и мы готовы жалеть отцов своих, что они не дожили до пара и до галь-

ванизма, до серного эфира и до морских телеграфов, до фотографии и спектроскопа, как будто они беднее нас на половину жизни. И кажется нам, что эти новые художества открывают нам настежь двери в будущее, обещают одухотворить формой весь материальный мир и возвести жизнь человеческую из нищеты в богоподобное состояние довольства и силы.

Правда, и нашему веку достался не скудный запас в наследство. Был уже компас, был типографский станок, были часы, спиральные пружины, барометры, телескопы. Но с тех пор прибавилось столько изобретений, что вся жизнь как будто переделана заново. Лейбниц сказал о Ньюtone: «Если счесть все, что сделано математиками с начала мира до Ньютона, и все, что сделано Ньютоном, последняя половина превзойдет первую»; так можно сказать, что сумма изобретений за последние 50 лет поравняется с итогом остальных 50 столетий. Новость для нас – безмерное усиление производства железа и крайнее разнообразие железного изделия; новость – множество самых употребительных и необходимых орудий для дома и для сельского хозяйства: швейная машина, ткацкий станок, жатвенная машина Мак-Кормика¹⁴⁹, косильная машина, газовое освещение, фосфорные спички, бесчисленные произведения химической лаборатории – все это новости нынешнего столетия, и порция угля ценою на один франк заменяет нам двадцатидневный труд прежнего работника.

Нужно ли поминать о паре, пожирателе пространства и времени, о громадной и тонкой силе, которая в больнице приносит чашку с супом к самой постели больного, гнет и плющит, как воск, толстые железные брусья и мерится с силами, поднявшими и выворотившими геологические слои нашей планеты. Чему хочешь, он выучится, как способный мальчик, что хочешь, поднимет на рабочие плечи, но он еще далеко не совершил всего своего дела. Он уже ходит по полю, как человек, и работает всякую работу; поливает нашу ниву, срывает нам горы, где нужно. Но он будет еще шить нам рубашки, будет возить телеги и коляски наши; Беббедж¹⁵⁰ принялся уже учить его счету и научит когда-нибудь вычислять проценты

и логарифмы. Лорд канцлер Тюрло¹⁵¹ надеется, что он когда-нибудь станет составлять исковые бумаги и возражения для канцлерского суда. Положим, что эта сатира, но и сатира будет недалеко от действительности, судя по начальным попыткам применить пар к механическим действиям, соединенным с умственным расчетом.

Сколько чудных механических применений изобретено для тела человеческого: для зубных операций, для прививания оспы, для ринопластики, для усыпления нервов тонким сном нового изобретения. Наши инженеры с помощью громадных машин, подобно кобольдам¹⁵² и волшебникам сверлят Альпы, роют насквозь Американский перешеек¹⁵³, прорезывают пустыню Аравийскую¹⁵⁴. В Массачусетсе мы побеждаем море, укрепляя зыбкий берег простым травяным растением, укрепили песчаную пустыню сосновой плантацией. Почва Голландии – самого населенного когда-то края в Европе – ниже морского уровня. Египет не знал, что такое дождь в течение трех тысяч лет, теперь, говорят, там бывают ливни благодаря оросительным каналам и лесным плантациям. Древний царь еврейский сказал: «Восхвалить Бога и ярость человечества». И в числе доказательств единобожия самое сильное – это громадность результатов, достигаемых самыми обыкновенными делами и средствами.

Кажется, нет и пределов новым откровениям того же духа, который некогда создал стихийные элементы, а ныне посредством человека разрабатывает их. Искусство и сила и впредь не престанут действовать, как действовали доньше: ночь претворят в день, пространство – во время и время – в пространство.

От одного изобретения родится другое. Едва обозначился в уме электрический телеграф, как открылся и материал, необходимый для него, – гуттаперча. С усилением торгового движения открыты новые запасы золота в Калифорнии и в Австралии. Когда Европа переполнилась населением, открылся запрос на него в Америке и в Австралии; и так, где ни случается неожиданное явление, оно приходится ко времени, как будто

природа, устроив повсюду замки, ко всякому замку устроила и ключ, который сама помогает отыскать, когда нужно.

Вот еще следствие изобретений: умножение отношений между людьми. Оно изумляет нас, открывая новые пути к решению трудных и запутанных политических вопросов. Отношения эти – не новость, только размеры их новые. Сами по себе, мы по чувству эгоизма ухватились бы за рабство, готовы были бы замкнуть четвертую часть земного шара ото всех, кто вне ее, на чужой почве родился. Наша политика отвратительна, но чему в силах она помочь, чему может помешать в такую пору, когда первородные инстинкты двигают массами рода человеческого, когда целые народы движутся приливом и отливом? Природа любит скрещивать расы: германец, китаец, турок, русский, индеец – все стремятся к морю, все женятся между собой и посягают; коммерция приходит в движение, и море кишит кораблями, которые готовы перевести с берега на берег целые населения.

Тысячерукое искусство вошло новым элементом и в жизнь государства. Наука власти волею или неволею вынуждена признать власть науки. Цивилизация восходит, карабкается выше и выше. Когда Мальтус¹⁵⁵ выводил, что число желудков умножается в геометрической, а количество пищи – лишь в арифметической прогрессии, он забыл прибавить, что разум человеческий – тоже один из факторов в политической экономии, и что с умножением в обществе нужд умножится и сила изобретения.

Для потребности общественного быта у нас есть уже значительная артиллерия всяческих орудий. Мы ездим вчетверо быстрее, чем ездили отцы наши. Намного лучше их путешествуем, мелем, вяжем, куем, сажаем, возделываем и копаем. У нас совсем новые сапоги, перчатки, стаканы, инструменты; у нас есть счетная машина; у нас – газета, и посредством газеты каждая деревня может составить доклад о себе и поднести его нам за завтраком. У нас деньги и кредитный билет; у нас – язык, тончайшее из всех орудий и самое близкое душе. Много, и чем больше есть, тем больше требуется. Человек льстит

себе, что власть его над природой еще возрастет и умножится. События начинают повиноваться ему. Нас ожидает еще воздухоплавание и, может быть, недалеко нам до войны, которая разыграется на воздухе. Немудрено, что мы изобретем такую воду, от которой негр разом станет белым. Он уже видит, как меняется головной тип англосаксонской расы под влиянием условий американской жизни.

В старину видали Тантала¹⁵⁶, как он, стоя на самой глубине, напрасно пытался утолить жажду свою текучею струею, которая убегала, лишь только он наклонялся к ней. Старик Тантал, говорят, недавно опять появился в мире. Его видели в Париже, в Нью-Йорке, в Бостоне. Он весел, уверен в себе, думает, что ему скоро удастся поймать струю, даже наполнить ею бутылку. Но, кажется, уверенность его напрасная. Обстоятельства – все еще мрачного вида. Сколько ни прошло столетий непрерывной культуры, новый человек все-таки стоит на самом рубеже хаоса, все-таки не выходит из кризиса. У кого на памяти такая пора, когда бы не жаловались, что денег нет, что время тяжелое? У кого на памяти такое время, когда довольно было добрых людей, разумных людей и таких мужчин и таких женщин, каких было нужно? Тантал начинает думать, что пар есть фантазия и что гальванизм – не больше того, чем по природе служит.

Многое уже заставляет задумываться, многое наводит на мысль, что благо наше лежит где-то глубже, что его не сыщешь в паре, фотографии, воздушном шаре, астрономии. Все это орудия сомнительного качества. Все это – реактивы. Множество машин имеют угрожающий вид. Ткач сам превращается в ткань, механик – в машину. Кто сам не владеет орудием, того берет во власть орудие. Все орудия – с обточенным острием и, стало быть, опасны. Человек строит себе прекрасный дом, и вот является у него владыка, приходит работа на всю жизнь, и он должен устраивать дом свой, беречь его, показывать, поддерживать и починивать до последнего своего издыхания. Человек создал себе репутацию, он уже не свободен, он должен беречь свое сокровище, уважать его. Человек написал картину,

издал книгу, и чем больше успеха имело творение, тем хуже оттого иной раз творцу. Я знал одного доброго человека, он жил вольно, как птица небесная, как зверь лесной; но раз ему вздумалось украсить кабинет свой нарядными полками для коллекции раковин, яиц, минералов и чучел. Это была забава, но чем забавлялся он, в сущности? Тем, что устраивал изящные цепи и оковы для своих же членов.

Задумывается и ученый экономист. «Сомнительно, все, какие только есть механические изобретения, облегчили ли труд дневной хоть одному человеку». Машина развинчивает, разделяет человека. Машина доведена до высшего совершенства, а кто механик при ней? Никто. Всякое новое усовершенствование в машине сокращает механика в его деятельности, разучивает его. Бывало, машина требовала для себя Архимеда¹⁵⁷; нынче для нее довольно мальчика, лишь бы он знал нужные приемы, умел двинуть рукоятку, смотреть за котлом, но когда испортится машина, он не знает, что с нею делать.

Посмотрите на газеты: они наполнены каждый день ужасными подробностями. Прежние издания вроде «Календаря ньюгетской тюрьмы» стали не нужны с тех пор, как в лондонском «Таймсе», в нью-йоркской «Трибуне» появляются свежие рассказы о преступлениях гораздо еще ярче, гораздо ужаснее.

В политике разве бывало когда больше, чем у нас, своекорыстие, разврата, насилия? А торговля, это любимое дитя океана, гордость его и слава, эта воспитательница народов, эта благодетельница поневоле и вопреки себе, торговля наша кончается во всем мире постыдною несостоятельностью, надувательным предприятием и банкротством.

Мы перечисляем всякие искусства, всякие изобретения человеческие как мерило достоинству человека. Но когда при всех своих искусствах и знаниях он оказывается лукав и преступен, явно, что механическое искусство со всеми своими изобретениями не может служить ему мерилом достоинства. Поищем, нет ли другой мерки.

Что прибыло от этих искусств и знаний характеру и достоинству рода человеческого? Стало ли лучше челове-

ство? Многие спрашивают с недоумением: не понижалась ли нравственность по мере того, как возвышалось искусство? Мы видим, с одной стороны, великие искусства и знания с маленькими людьми, с другой стороны, видим, как из низости вырастает величие. Видим торжество цивилизации и радуемся, но нам указывают такую благодетельную руку, которую душа не хочет признать. Самый главный фактор преуспеяния в мире – это торговля, сила личного эгоизма и мелкого расчета. Казалось бы, всякая победа над материей должна возвышать достоинство природы человеческой в сознании человека. А нам, когда смотрим на свое богатство, приходится дивиться, откуда взялось оно и кто его виновник. Посмотрите на изобретателей. У каждого из них есть свой фокус, в котором он силен. Гений бьется в известной жилке, пробивается в известном месте, но где найдешь великий, ровный, симметричный ум, питаемый великим сердцем? У всякого больше есть, что притаить в себе, нежели что выказать, всякого заставляет хромать свое совершенство. Слишком заметно, что от материальной силы отстало нравственное преуспеяние. По всему видно, что мы поместили капитал свой не совсем расчетливо. Нам предложены были дела и дни на выбор, мы выбрали дела.

Новейшие исследования санскритского языка раскрыли нам происхождение древних названий Божества – *Dyaueus, Deus, Zeus, Zeu pater, Jupiter* – все имена солнечные. В них еще слышится сквозь новую одежду ежедневного наречия слово «день» (*Day*). Не значит ли это, что день для нас – явление Божественной силы, что люди Древнего мира, пытаясь выразить речью верховную силу вселенной, дали ей имя «день», что это название все племена приняли?

Гесиод¹⁵⁸ написал поэму и назвал ее «Дела и дни». В ней поэт описывает времена греческого года, учит хозяина, когда, под каким созвездием следует сеять, когда начинать жатву, когда рубить лес, в какой счастливый час плователю пускаться в море, чтобы избежать бури, и за какими небесными планетами следовать. Поэма наполнена хозяйственными наставлениями

для греческой жизни; в ней указан возраст для брака; в ней есть правила для домашней экономии, для гостеприимства. Поэма эта дышит благочестием и исполнена разума житейского; она прилажена ко всем меридианам, потому что и дела, и дни поэт представляет в нравственном их значении. Но наука дней неглубоко им разработана, хотя это очень глубокая наука.

Крестьянин, работая на поле своем, говорил: хорошо, когда бы моя была вся земля, какая примыкает к моему полю. Такие же наклонности были у Бонапарта¹⁵⁹, он хотел сделать Средиземное море французским озером. Говорят, один владыка земной простирает еще дальше свои планы, и весь Тихий океан хотел назвать своим океаном. Но хотя бы и удалось ему, хотя бы он всю землю мог взять в удел себе и океан счесть за свое озеро, все-таки он был бы нищим. Тот лишь один богат, кто владеет днем своим. Вот сила; нет на свете ни царя, ни богача, ни чародея, ни демона, кто бы имел такую силу. Дни для нас – те же сосуды Божества, как и для прародителей наших, арийцев. Изо всего сущего они всего менее обещают, а вмещают всего более. Они приходят безмолвно и торжественно, точно видение образа, с ног до головы закрытого покрывалом, точно немые посланники с даром из дальнего приятного края, и так же безмолвно удаляются, унося с собою дары свои, если мы не берем их и ими не пользуемся.

Как приходится день по душе, как обвивается вокруг нее, точно тонкое покрывало, как одеваает все ее фантазии! Всякий праздничный день окрашивает нас своим цветом. Мы носим его кокарду, всякий привет его отражается на нашем душевном расположении. Вспомним свое детство, что у нас было в душе праздничным утром, например в день национальной годовщины, в день Рождества Христова? Несемся, бежим, и, кажется, сами звезды с неба мигают нам об орехах и пряниках, о конфетах, подарках и потешных огнях. Помните, как в ту пору жизнь считалась по календарю минутами, сосредоточивалась в узлы нервной силы, в часы радужного блаженства, а не разливалась ровным и гладким потоком счастья. В уединении и в деревне каким торжеством дышит праздный день! Встает из бездны

времен священный час праздника, древняя суббота, седьмой день, убеленный тысячелетиями религиозных верований, раскрывается чистая страница, которую мудрец испишет словами истины, дикий исцарапает фигурами своих фетишей; и мы слышим в уединении своем вселенский псалом, соборный хор всей истории человеческого рода.

И как сходится погода с душевным расположением в молодости! Ветер, меняясь, меняет свою ноту на тысячи ладов, меняет тысячу раз картины, которые несет воображению, и всякий новый лад его – новая оболочка, новое жилище для духа. Бывало, я умел выбирать настоящую пору для каждой из любимых книг своих. Один писатель приходится всего лучше к зимнему времени, другой – к летним каникулам. Есть книги (напр[имер] Платонов Тимей¹⁶⁰), для которых ждешь, долго ждешь настоящего часа. Наконец, приходит желанное утро, занимается заря, на небе является мерцание света, как будто в первую минуту мироздания и в начале бытия, и вот в этот час простора смело раскрываешь книгу...

В иные дни к нам подходят великие люди близко-близко; на лице у них ни малейшей суровости, ни малейшего снисхождения; они нам ровные, берут нас за руку, говорят с нами, и мы с ними беседуем. В иные дни мы чувствуем, что настал праздник – изо дней день в году. Ангелы являются во плоти, уходят и приходят снова. Вся природа оживает, точно у всех духов и богов проснулось воображение, и являет живые образы отовсюду. Вчера не слышать было птичьего голоса, мир был сух, каменист и пустынен; сегодня все населено и наполнено; все создание цветет, роится и множится.

Дни ткуются на чудном станке: основа и утók его – прошедшее и будущее. Нити ложатся величественным рядом, как будто все боги принесли по нитке для небесной ткани. Странно подумать, отчего мы богаты, отчего мы бедны; несколько больше, несколько меньше монет, ковров, платьев, камня, дерева, краски; тот или иной покрой, та или другая форма; наша доля – точно доля краснокожего индейца: один гордится тем, что у него есть нитка бус или красное перо, а остальные, не

имея ни того, ни другого, почитают себя несчастными. Но не таковы те сокровища, на которые истощилась для нас природа, веками образованная, тонкая, сложная анатомия человека, над которой потрудились все прежние слои мироздания, все племена, бывшие до нас, все формы и образы творения, которыми окружены мы, вся земля и исполнение ее, воздух, несущий дыхание и меру жизни, море, зовущее вдаль, бездна небесная со всеми ее мирами, – и на все это отзывается мозг с нервным составом и глаз, способный проникать в бездну и бездну снова отражать в себе: бездна, бездну призывающая. Все это без меры дано всем и каждому, не то, что бусовое ожерелье, что ковры и монеты наши.

Не диво ли это? И это диво в руках у последнего нищего. Рынок людской кишит под голубым небом, и в небе херувим и серафим над нами витают. Небо – это сияние славы, которым Великий Художник одел Свое создание, это предельная черта между материей и духом. Это край мироздания, дальше не могла идти природа. Когда бы осуществились самые блаженные сновидения наши, когда бы тонкая сила открыла нам новое зрение, и мы увидели, как ходят по земле миллионы духовных существ, и тогда бы, кажется, открылось, что сфера, в которой они движутся, окружена отовсюду той же самой тканью синевы небесной, которая осеняет меня теперь на городской улице, между ежедневных дел человеческих.

Странно, что на богатом нашем английском языке не находится слова, чтоб назвать вселенную. Есть старинное английское слово *Kinde* (род), но оно выражает лишь малую часть того, что заключается в прекрасном латинском слове, имеющем тонкий оттенок будущего, дальнейшего бытия: *natura*, т[о] е[сть] не только рожденное, но и имеющее родиться, чему в германской философии соответствует *das werden*. Но ни на одном из новых языков нет слова для выражения силы, действующей только в красоте. Для нее было только одно соответственное слово на греческом языке: *Kosmos*, и оттого Гумбольд¹⁶¹ избрал удачное название *Kosmos* для своей книги, в которой изложены последние результаты науки.

Таковы дни: земля – полная чаша, которую предлагает нам природа от безмерных щедрот своих каждый день в насущное наше питание, и покров чаши нашей – свод небесный. Но нам дана еще сила мечты, которая с нами рождается и остается при нас до последнего издыхания.

Она ласкает нас, льстит нам, обманывает нас с ранней зари до вечерней, от рождения до смерти, и ничей опытный глаз не успевал еще до сих пор распознать обмана. Индусы представляют Майю, энергию мечты, в числе главных атрибутов Вишну¹⁶². Моряки в бурю привязывают себя к мачтам и снастям корабельным; не так ли, в той буре воюющих элементов, которая зовется жизнью, требуется привязать к жизни души человеческие, и природа употребляет для этого вместо канатов и веревок всякого рода мечты и фантазии: для ребенка – погремушку, куклу, яблоко; для мальчика на возрасте – коньки, реку, лодку, лошадь, ружье; для юноши и для взрослого нечего и приводить примеры, потому что им нет числа и предела. Иногда маска спадает, завеса медленно поднимается, и дается человеку увидеть безобразную массу, набитую чучелу, замазанную краской, подделанную снаружи. Юм¹⁶³ утверждал, что изменяются только обстоятельства, а средняя доля счастья всегда одна и та же, что у нищего, что сидит на мосту и ловит мух на досуге, и у вельможи, проезжающего мимо в богатой коляске, и у девушки, выезжающей на первый бал, и у оратора, когда он с торжеством возвращается из парламента, у всех разные способы душевного возбуждения, но количество его одно и то же.

Воображение всей своей силой помогает нам скрывать от себя цену и значение настоящего времени. Кто из нас не сознает в каждую минуту, что его настоящая деятельность ниже и меньше того, что бы он мог сделать? «Что ты делаешь?» «Да ничего; я только что занимался вот чем, или я намерен делать вот что, а теперь я только...». Ах, протак! Неужели никогда ты не вырвешься из сетей своего фокусника, неужели никогда не поймешь, что когда исчезло сегодня, когда между нынешним днем и нами невозвратимые годы протянули уже свою луче-

зарную ткань, минувшие часы сияют перед нами обольстительной славой и тянут нас к себе, как фантастический роман, представляются нам царством красоты и поэзии? Как трудно смотреть на них прямо без обмана! Все, что в них происходило, все отношения, все слова и разговоры, все горячие интересы и горячие дела минувших дней – все это бросает нам пыль в глаза и развлекает наше внимание. Тот сильный человек, кто может глядеть на них прямо, без смущения, не поддаваясь обольщению, кто видит в них все, как было, сохраняя при себе свое самосознание; кто знает и помнит, что ничего нет нового под луною, и что было прежде, то и всегда бывает; кого ни любовь, ни смерть, ни политика, ни стяжение, ни война, ни удовольствие не в силах отвлечь от принятого дела.

Мир всегда сам себе равен, и всякий человек в минуту глубокого раздумья о себе чувствует, что проходит тот же опыт жизни, какой проходили до него люди в древних Фивах или в древней Византии. Непрестанное ныне царствует в природе и украшает наши кусты теми же розами, которые пленяли древнего человека в висячих садах Вавилона и Рима. Невольно просится в душу вопрос: стоит ли учить языки, стоит ли обходить вселенную для того, чтобы узнать такие простые и старые истины?

Перед нами – памятники древнего искусства, вырытые из-под земли города, вновь открытые рукописи и надписи; правда – это красота, и стоит знать ее историю, и наши академии сходятся решать нерешенные споры школ древнего искусства. Какие экспедиции, какой труд измерения, какие усилия умов – Нибура¹⁶⁴ и Мюллера¹⁶⁵, и Лэйарда¹⁶⁶ для того, чтобы определить место нахождения Трои и столицы Нимродовой¹⁶⁷! Сколько морских походов для того, чтобы почтить память Данте, а для того, чтобы привести в ясность, кто открыл Америку, приходится пуститься в плавание не меньше того, какое нужно было бы для открытия. Дитя человек! Ведь эта мягкая масса, из которой старшие братья наши в древности вылепили дивные свои символы, совсем не персидская, и не мемфисская, и не тевтонская, и совсем не местная глина:

это обыкновенная известь, обыкновенный песчаник с водой и со светом солнечным, с жаром крови, с дыханием легких, ту же самую глину ты сам держал в неумелых руках своих и бросил из рук, когда побежал ее же отыскивать в старых гробницах, в гробовых колодцах, в старых книжных лавках малой Азии, Египта и Англии. Это все то же многозначущее сегодня, всеми пренебрегаемое, та же богатая бедность, всеми ненавидимая, то же многоглаголющее, любвеобильное уединение, от которого бегут люди в города на шумный рынок. Нынешний день притаился и спрятался, его надобно отыскивать; в нем удача и победа, в нем действительность, радость и сила. Всякий льстит себя, никто не думает, что настоящий час – критический, решительный час для всякого. Но всякому надо написать у себя в сердце, что каждый день, какой приходит, – лучший день в году. Ничего вправду не узнает человек, покуда не почувствует, что каждый день – день судеб в его жизни, день посещения. От века божество являлось на земле в смертной одежде, в низком и смиренном виде; плохое величие то, что любит являться миру с возвышения, в бриллиантах и в золоте. Настоящие цари и владыки оставляют свои короны в кладовой и являются в простом и бедном наряде. В северной легенде наших предков Один является в виде рыбака, живет в бедной хижине, чинит свою лодку, В индийской легенде Гари¹⁶⁸ живет между поселян простым поселянином. В греческой легенде Аполлон¹⁶⁹ живет с адметскими пастухами, и Юпитер делит сельскую жизнь с бедными эфиоплянами. И в нашей истории Иисус родился в яслях, и двенадцать Апостолов Его – из простых рыбаков. В нашей науке мы видим на каждом шагу, что природа являет в малом крайнее свое величие; таково было правило Аристотеля и Лукреция, а в наши времена – правило Сведенборга и Ганемана¹⁷⁰. Возраст слоев земной коры определяется по тому же порядку, в котором совершается развитие яйца. В народных сказках и легендах наших самая могущественная фея всегда меньше всех ростом. В учении о благодати смирение выше всех добродетелей, и живой образец смирения – Мадонна; в жизни тайна смире-

ния – тайна мудрости человеческой. Заслуга гения перед человечеством всегда состоит в том, что он снимает нам завесу с простых явлений обыденной жизни, и мы видим, чего не подозревали прежде, видим божество в простой одежде, посреди толпы цыган и разносчиков. В ежедневном быту прием для работы обличает нам мастера; мастер пользуется подручным материалом, не дожидаясь, покуда достанут ему издалека то, что слывет у других за отличное или из чего другие работали со славой. «У полководца, – говорил Бонапарт, – всегда достаточно войска, если только умеет он употребить людей своих и если сам делит поход и бивуак с ними». Дело, которое принес тебе настоящий час, не отвергай для другого, более заманчивого и славного. Высшая точка на горизонте мудрости в одинаковом расстоянии отовсюду, и если хочешь найти ее, ищи ее теми способами, какие тебе самому сродни и свойственны.

Но воображению нашему всегда привлекательнее то дело, которое не на сей час требуется. Сегодня именно и в тот час, когда обещали мы придти на работу, в заседание, как влекут нас к себе, сколько нам обещают дальние холмы и вершины!

Главный урок истории состоит в том, что она показывает нам цену настоящего часа и долг его. Благо мое, дело мое – то, на которое мне указывает родина моя, мой климат, мои средства и материалы, мои сотоварищи.

Есть поверье, что конские волосы в воде превращаются в червей-волосатиков. Ученые считают его басней, но мне часто думается, что старые вещи гниют, и из прошедшего рождаются змеи. Поклонение делам предков может превратиться в обманчивое чувство. Достоинством их было не поклонение прошедшему; заслуга их состояла в том, что они чтили настоящую минуту; и мы напрасно ссылаемся на них в оправдание такой наклонности, которая им была бы противна, которой они не следовали в жизни.

И еще любимая мечта наша в том, что нам мало времени для дела. Но мы могли бы размыслить, что многие твари вкушают из одной чаши, и каждое существо сообразно своему составу принимает и перерабатывает в нем те элементы, которые ему

свойственны: и время, и пространство, и свет, и воду, и пищу телесную. Змея обращает всякую свою добычу в змею, лисица – в лисицу; и Петр, и Павел обращают все бытие свое в Петра и Павла. В Нью-Йорке кто-то однажды жаловался, что мало времени. Простой индеец ответил ему умнее иного философа: «Мне кажется, в твоей власти все время, какое у тебя есть».

Есть еще мечта: мы не можем отрешиться от мысли о великом значении долгого времени – года, десятилетия, столетия. Но старая французская поговорка гласит: «Божье дело в минуту совершается» – “En peu d’heure Dieu labeure”. Мы молим себе долгой жизни, но долгая жизнь значит: полная жизнь, жизнь, великая минутами. Истинная мера времени – духовная, а не механическая мера. Жизнь длинна свыше меры. Минуты духовного разума и провидения, минуты полного единства в личном отношении, одна улыбка, один взгляд – вот чем мы проникаем в вечность и черпаем из нее полную меру. В такие минуты жизнь возносится до крайней точки и сосредоточивается. По словам Гомера¹⁷¹, «боги однажды только и в один только день дают смертным ту долю разума, какая кому назначена».

Я одного мнения с поэтом Вордсвортом¹⁷², что «одно только есть в жизни счастье, и нет иного – счастье в разуме и добродетели». Одного мнения с Плинием¹⁷³, что «чем больше углубляемся мыслью в эти истины, тем более долготы придаем свой жизни». Я одного мнения с Главконом¹⁷⁴, когда он говорит: «О Сократ! Мера жизни для мудрого – говорить и слушать речи, подобные тому, что мы от тебя слышим».

Тот один может обогатить меня, кто даст мне мудрость дня, кто мне осветит путь мой от восхода до восхода солнечного. Разумение дня служит мерой человека. Поэт с одной своей поэзией, математик с одними своими проблемами не вполне удовлетворяет нас; но когда человек постигает душой заодно и основные начала мироздания, и праздничное величие вселенной, тогда и его поэзия верна, и числа его отзываются вам музыкой. Не тот для меня ученый из ученых, кто может раскопать передо мной погребенные в земле династии Сезострисов¹⁷⁵ и Птолемеев, определить мне годы олимпиад и

консульств, но тот, кто может раскрыть мне теорию нынешнего понедельника, нынешней среды. Есть ли в нем то знание любви (*piety*), которое одно умеет разгадать пошлость ежедневной жизни, может ли он снять покровы с тех уз, которыми пошлые люди, пошлые предметы соединяются с первым началом бытия? Пролетело пятнадцать минут, в людском мнении – это доля времени, а не вечность; мелкая, подневольная доля, доля надежды или доля памяти, это дорога к счастью или от счастья, но не само счастье. Может ли он показать мне эту четверть часа в связи ее со счастьем и с вечностью? Вот истинный учитель, вот кто может провести нас из рабского и нищенского быта в богатство и в уверенность. С ним на том месте, где он, честь и достоинство. Наша Америка, нищенствующая Америка, любопытствующая, всюду заглядывающая, повсюду странствующая, всему подражающая, изучающая Грецию и Рим, и Германию, и Англию, Америка снимет запыленные свои сандалии, сбросит полинявшую дорожную шляпу, и останется дома, и сядет в мир и в сиянии радости. Посмотрим вокруг себя: во всем мире нет таких видов природы, в истории веков не было такого часа, в будущем не найдется другой минуты благоприятнее! Час поэтам, нет, час искусствам раскрывать все свое богатство!

Еще одно замечание. Жизнь только тогда хороша, когда она очаровательна и музыкальна, когда в ней полный лад, полное созвучие, и когда мы не анатомируем ее. Держи в чести дни свои, превратись сам в день свой, не допрашивай его, как профессор ученика. Мир наш – загадочный мир; все, что говорится, все, что познается и делается, – все загадка, все надобно принимать не в разуме буквы, а в разуме духа. Чтобы уразуметь все в правду, мы должны быть наверху своего звания. Когда птица поет песнь свою, слушай; но если хочешь слышать песнь, берегись разлагать ее на имена и глаголы. Постараемся воздержать себя, отдать себя, покориться. Когда утро наступает, дадим место утру.

Все во вселенной идет волной и изгибом. Прямых линий нет. Помню, как теперь, что рассказывал иностранный ученый,

заехавший на неделю к нам в дом на радость моей юности. «Любимая забава у диких островитян, – сказывал он, – играть с волною на береговом прибое. Они ложатся на волну, которая подхватывает их и выносит, потом плывут опять, снова отдаются волне и с наслаждением по целым часам занимаются этой игрой. Вся человеческая жизнь состоит из таких же переходов. Надо уметь выйти из себя, отдалиться; кто не умеет этого, для того не может быть и величия. А у вас здесь и астрономия как будто для того, чтобы присматривать за человеком. Не смеешь выйти из дому и посмотреть на месяц и на звезды, все кажется, что и они считают шаги мои и допытываются, сколько строчек и страниц я написал и прочел, с тех пор как с ними виделся... Не так жили мы в своем краю: все наши дни были не похожи друг на друга, и все смыкались воедино – единою любовью к тому, что занимало и наполняло нас. Чувствовать полным свой час – вот в чем счастье. Наполните, боги, час мой, так, чтобы, когда прошел он, я мог бы сказать: “Я прожил час”, – а не говорил бы так: “Вот прошел еще час моей жизни”».

Нам нужны не деланные люди, мастера на всякое литературное или искусственное дело, те, что умеют написать поэму, отстоять судебный процесс, провести ту или другую меру за деньги; те, что могут крепким усилием воли обратить свою способность куда угодно – на тот или другой предмет, в ту или иную сторону. Нет, все, что совершено лучшего в мире – дело гения, – совершилось даром, ничего не стоило, вышло на свет без тяжких усилий, свободным течением мысли. Шекспир создал своего Гамлета, как птица вьет гнездо свое. Иные поэмы вылились бессознательно, между сном и пробуждением. Великие художники писали картины в радость себе и не чувствовали, как сила из них выходила. Так не могли бы они писать в хладнокровном настроении. И мастера лирической нашей поэзии также писали свои песни. Чудная сила цвела в них чудным цветом красоты, творение их было, по выражению известных писем французской женщины, «прелестным случаем прелестнейшей жизни» (“*la charmant accident de l’existence encore plus charmante*”). Ни один поэт не истощается, не терпит убыли от

своей песни. И песни не будет, пока не пришел час вольно и в красоте спеть ее. Если оттого поет певец, что должен петь, и что нельзя миновать песни, то лучше пусть ее вовсе не будет. Сон сам собою приходит к тем одним, кто не заботится о сне, так и говорят и пишут всего лучше те, кого не нудит забота: как скажется и как напишется.

В науке – то же самое. Наш ученый часто бывает из любителей. Подвиг его состоит в какой-нибудь записке для академии о странной рыбе, головоастиках, паутинных ножках; он делает наблюдения, сидит над микроскопом, как другие академики; но когда записка его окончена, прочитана, напечатана, он входит снова в обычную жизнь, которая идет у него сама по себе, совсем отдельно от жизни ученой. Не таков Ньютон: у него наука была так же вольна, как дыхание; для того чтобы определить вес луны, он употреблял ту же умственную способность, которая ему служила на застежку крючков на платье; вся жизнь его была простая, мудрая, величественная. Таков был Архимед – всегда сам себе подобен, как свод небесный. У Линнея, Франклина¹⁷⁶ – та же ровная простота и цельность; нет ни ходулей, ни вытягивания; и дела их плодотворны и достопамятны всем людям.

Освобождая время от всех его иллюзий, стараясь отыскать сердцевину дня, мы останавливаемся на качестве минуты и отлагаем заботу о долготе ее. На какой глубине стоит наша жизнь – вот что важно для нас, а широта ее протяжения несущественна. Мы стремимся к вечности, а время – преходящая оболочка вечности; и в самом деле, от малейшего ускорения мысли, от малейшего углубления мыслительной силы наша жизнь расширяется, углубляется, и мы чувствуем долготу ее.

Есть люди, которым нет нужды проходить долгую школу опытов. После многолетней деятельности они могут сказать: все это мы наперед знали; они с первого взгляда любят и отвращаются, умея различать сразу сродственное и несродственное. Они не спрашивают никогда об условиях, потому что сами всегда в едином условии с собою и живут вволю, приказывают другим, не принимая ни от кого приказа, сознавая право свое

на успех, всегда в нем уверены и всегда пренебрегают общими приемами и способами для успеха. Сами собою живут, сами собою держатся, сами ведут себя. Во всяком обществе остаются сами собою: им это позволено. Они велики в настоящем; они не имеют талантов и не заботятся иметь их, потому что в них та сила, которая прежде таланта была и после таланта будет, и сам талант употребляет себе орудием. Сила эта – характер, самое высокое имя, до какого достигла философия.

Не важно, как такой человек делает то или иное дело; важнее всего, кто он, что такое он сам. Кто он, что в нем – это выражается в каждом его слове, в каждом движении. Здесь минута сливается с характером, не различишь одно от другого.

Преимущество характера над талантом прекрасно выражено в греческой легенде о состязании Феба с Юпитером. Феб стал вызывать богов на состязание и спросил: кто из вас обстреляет Аполлона-стрелометателя? Зевс отозвался: я обстреляю. Марс¹⁷⁷ принес жребии, положил их в шлем свой, и первая очередь выпала Аполлону. Он натянул лук свой и метнул стрелу далеко, на край дальнего запада. Тогда встал Зевс, одним движением занял все пространство и сказал: куда стрелять? Не осталось места. И боги присудили награду за стрельбу тому, что не брал в руки лука.

И вот путь восхождения для духа, ищущего мудрости: от дел людских и всякого делания рук человеческих до наслаждения теми силами, которые управляют делом; от почтения к делам до мудрого благоговения перед таинством времени, в которое дух человеческий поставлен для делания; от местных искусств и от экономии, считающей по часам сумму производительности, до той высшей экономии, которая ищет видеть качество дела, право на дело, веру и верность в деле; ищет проникнуть через дело в глубину мысли, являющейся в деле, мысли во вселенском ее значении, той мысли, которой корень не во времени, а в вечности. Источник таких дел – характер – высшее начало духовной цельности. Перед ним все минуты равны; он дает человеку величие во всяком звании; в нем единственное определение свободы и силы.

КОММЕНТАРИИ

ГОСУДАРСТВО

О жалобах на действия должностных лиц административного ведомства

Печатается по изданию: *Победоносцев К. П.* О жалобах на действия должностных лиц административного ведомства. – СПб., 1864. – 13 с.

¹ Так в оригинале. – О. С.

² Фридрих Вильгельм Кристиан Карл Фердинанд фон Гумбольдт (1767–1835) – немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат. Старший брат ученого Александра фон Гумбольдта.

³ Милль Джон Стюарт (1806–1873) – английский философ-позитивист, экономист, общественный деятель.

⁴ От франц. *arreter* – останавливать.

О реформах в гражданском судопроизводстве

Печатается по тексту: *Победоносцев К. П.* О реформах в гражданском судопроизводстве // *Русский вестник*. – Т. 21, 22. – 1859. – С. 541–581; 5–34; 153–190.

⁵ К. П. Победоносцев изучал старые судебные дела Московского судного и других приказов в Сенатском архиве старых дел в период его службы в Московских департаментах Сената в 50-х годах XIX века. (См.: *Победоносцев К. П.* Историко-юридические акты

переходной эпохи XVII–XVIII веков. – М.: Общество любителей истории и древностей российских при Московском Университете, 1887. – С. VI.; *Победоносцев К. П.* Исторические исследования и статьи. – СПб.: Типография Министерства путей сообщения, 1876. – С. 3).

⁶ Уильям Пенн (1644–1718) – английский колонист в Америке, один из отцов-основателей государства и его первой столицы – Филадельфии; квакер-пацифист, проповедник веротерпимости, основатель в качестве «убежища для свободомыслящих европейцев» колонии Пенсильвания.

⁷ Во Франции институт мировых судей создан в 1790 году учредительным собранием, чтобы заменить ими существовавшие до революции сельские суды, при этом за образец были взяты голландские суды. Первоначально мировые судьи функционировали вместе с двумя заседателями, но уже в 1801 году стали судьями единоличным. С 1802 года мировые судьи не выбираются местным населением, а назначаются государем из трех кандидатов, представляемых первым председателем и прокурором апелляционного суда. Для занятия должности мирового судьи не требовалось никакого образовательного или имущественного ценза, достаточно было достичь тридцатилетнего возраста.

⁸ Необходимо заметить, что когда К. П. Победоносцев говорит о гласности, его смысловое наполнение данного термина существенно отличается от современного, спекулятивного понимания. Гласность Победоносцева – это юридическая информированность о законах и судебной практике, а не гласность как полная открытость для всех и каждого абсолютно всех судебных процессов и решений; устранение юридической неопределенности, информирование о прецедентах судебных решений для заинтересованных лиц, в первую очередь, для самих тяжущихся, а не спектакль для праздных зевак и повод для соблазна. Гласность – не цель, а средство, необходимое не для тотального контроля общества над судебной властью, а для выработки единообразного судопроизводства и облегчения судебных тяжб. Речь идет о гласности разумных волевых решений сложных судебных споров на основании закона, а не об открытости даже тех процессов, которые вредят общественной нравственности. Напротив, такая гласность может привести к юридическому соблазну, которого весьма опасался Победоносцев. Цель гласности судебных решений – устранить раздор, а не вызвать брожение в обществе и усилить накал страстей. Правовая информированность

населения и представителей судебной власти должна привести к большей ответственности и сознательности в исполнении закона. Необходимо также отметить, что К. П. Победоносцев имел в виду только гражданское право, а не уголовное, существенно различая статус участников гражданского и уголовного суда.

⁹ Так в оригинале. Вероятно, затыжных. – О. С.

¹⁰ Так в оригинале. – О. С.

¹¹ Родовое имение представляет собой древнейшую форму землевладения, характеризуется принадлежностью имения всем членам семьи, а не только ее главе, поэтому изъято из свободного распоряжения последнего: продажа такого имения сначала совершенно не допускается, затем разрешается в случае крайней нужды, с согласия всех родственников, имеющих право на имение, наконец, дозволяется без ограничений, но с правом выкупа; завещательные распоряжения по отношению к родовому имению не допускаются, переход по наследству, определяемый обычаем или законом, совершается с преобладанием прав мужского поколения над женским. С XIII века в городах только перешедшие по наследству имения считаются родовыми, купленные считаются «благоприобретенными» и подлежащими полной свободе отчуждения.

¹² Чресполосное владение – владение землей с неопределенными границами, которая то возвращается в казну, то дается в пользование служилым людям в различном размере, то дробится между их наследниками.

¹³ Пледирование (от англ. pleadings) – обмен различными ходатайствами, заявлениями и разъяснениями, имеющими непосредственное отношение к делу, со ссылками на закон и фактические обстоятельства (иск, возражения на иск, возражения на возражения, дополнения и т. д.).

¹⁴ Эксцепция (лат.) – в римском праве ссылка на фактические обстоятельства или правовую норму, которая исключает возможность удовлетворения иска.

¹⁵ Дуплика (лат.) – возражение обвиняемого на слова обвинителя.

¹⁶ Франциск I (1494–1547) – король Франции с 1 января 1515 года, сын графа Ангулемского Карла, двоюродного брата короля Людовика XII и Луизы Савойской. Основатель Ангулемской ветви династии Валуа. Его царствование знаменито продолжительными войнами в Европе и расцветом французского Возрождения.

¹⁷ Лопиталь Мишель де (между 1505 и 1507–1573 гг.) – французский государственный деятель, юрист, поэт, автор многочисленных юридических и публицистических сочинений, речей, поэтических произведений на латинском языке. В 1560–1568 годах канцлер Франции. Призывал католиков и гугенотов в период религиозных войн к примирению, к веротерпимости. В январе 1562 года по инициативе Лопиталья был издан «эдикт терпимости», предоставлявший гугенотам право богослужения вне городов.

¹⁸ Генрих III Валуа (1551–1589) – четвертый сын французского короля Генриха II и Екатерины Медичи, последний король Франции (с 1574 г.) из династии Валуа.

¹⁹ Так в оригинале. – О. С.

²⁰ Здесь важно понимать, принимая во внимание контекст высказывания, что термин «общее мнение» отнюдь не тождествен термину «общественное мнение» в современном общепринятом, часто спекулятивном понимании. Это не есть мнение людей, поверхностно знакомых с вопросом и судящих по впечатлению, не мнение СМИ, не мнение всех и каждого вне зависимости от информированности, компетентности и целей осмысления. Речь идет о мнении интеллектуально и нравственно (христианские установки при этом сами собой разумеются) подготовленных профессионалов, связанных чувством долга. В пользу такой интерпретации свидетельствуют слова Победоносцева: «Адвокатом может быть не всякий, но лишь тот, кто достаточно приготовлен к этому званию. Случалось, что правительство, несправедливо опасаясь чрезмерного влияния, которое может иметь в обществе корпорация людей, сильных знанием, мыслию и словом, пыталось открыть в это сословие *свободный доступ людям всякого звания, не подвергая их соблюдению никаких формальностей и не требуя от них никакого приготовления*» (курсив мой. – О. С.). То есть Победоносцев считал неприемлемым открытие доступа в адвокатское сословие людям либо некомпетентным, материально и интеллектуально зависимым, несамостоятельно мыслящим, либо людям иных нравственных установок.

²¹ Так в оригинале. – О. С.

²² Фемиды – в древнегреческой мифологии богиня правосудия.

²³ Блюнчли Иоганн Каспар (1808–1881) – швейцарский политик, юрист.

²⁴ Так в оригинале. – О. С.

²⁵ Так в оригинале. – О. С.

Судебная реформа

Печатается по тексту: *Победоносцев К. П.* <Передовая статья о необходимости участия административной власти в вопросах возбуждения административного преследования и предания суду в отношении подведомственных ей должностных лиц> // Сочинения. – СПб.: Наука, 1996. – С. 126–130. А. И. Пешков публикует данное произведение по тексту статей, анонимно опубликованных К. П. Победоносцевым в газете «Московские ведомости» (1865. – 14 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 17 апреля; 23 апреля; 30 апреля; 1 мая). Авторство К. П. Победоносцева установлено А. И. Пешковым по архивным материалам: Дневники К. П. Победоносцева. 1864–1866 гг. // Российский государственный исторический архив. Ф. 1574. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 96.

²⁶ 20 ноября 1864 года были приняты судебные уставы: учреждения судебных установлений, устав уголовного судопроизводства, устав гражданского судопроизводства, устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. К. П. Победоносцев участвовал в разработке уставов гражданского судопроизводства. В начале 1860-х годов состоял членом комиссий, готовивших проекты документов для судебной реформы. 10 марта 1884 года он писал А. Н. Шахову: «Своих мыслей об уставах я не изменил и, когда сидел в комиссии, протестовал против безрассудного заимствования из французского кодекса форм, не свойственных России. И, наконец, с отвращением бежал из Петербурга в Москву, видя, что не урезонишь людей. С тех пор я более и более убеждался в основательности своих опасений, а ныне для меня совершенно ясно, что это чужое платье, на нас одетое, совсем нас стеснило... Когда вышли судебные уставы, я писал для «Московских ведомостей» критику их, в коей содержались те же мысли в существе, за которые теперь ухватились «Московские ведомости», но в то время редакция не решилась напечатать и выпустила у меня самые существенные мысли. А теперь я только убеждаюсь в том, что тогда не ошибался» (*Победоносцев К. П.* К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 2. – Минск, 2003. – С. 46–48).

²⁷ Училище Правоведения основано указом Николая I от 9 (21) мая 1835 года по идее и на средства принца Петра Ольденбургского, племянника царя, при участии М. С. Сперанско-

го, с целью воспитания юридически компетентных кадров для административной и судебной деятельности. Петр Георгиевич Ольденбургский был назначен попечителем училища. 5 (17) декабря 1835 года состоялось открытие училища. Оно состояло в ведомстве Министерства юстиции, управлялось попечителем, директором, инспектором классов, советом (попечитель, директор, инспектор, три профессора и воспитатель) и хозяйственным правлением (директор, инспектор и воспитатель). В него принимались юноши от 12 до 17 лет, только из потомственных дворян; всего воспитанников было не более 100.

²⁸ Геркулес – в римской мифологии бог и герой. Соответствует греческому Гераклу. Почитался во многих городах Италии; его культ был заимствован римлянами из Тускула (или Тибура), где Геркулес почитался как воинственный бог, «победитель», «непобедимый» и имел жрецов-салиев, аналогичных римским салиям Марса.

²⁹ *Pia desideria* (лат.) – благие пожелания.

³⁰ Голиаф – силач-филистимлянин, известный в результате описанного в Библии сражения с Давидом-псалмопевцем и побежденный им (1 Цар. 17).

³¹ Самсон – согласно Библии, человек, обладавший сверхъестественной физической силой.

Московские воспоминания

Печатается по тексту: *Победоносцев К. П.* Московские воспоминания. – М.: Университетская типография, 1904. – 12 с.

³² *Оболенский Дмитрий Александрович* (1822–1881) – князь, государственный деятель, публицист. С 1862 года председательствовал в комиссии по выработке нового закона о печати. Входил в кружок Великой Княгини Елены Павловны, был близок к славянофилам, особенно к Ю. Ф. Самарину и своему товарищу по выпуску И. С. Аксакову. *Оболенский Георгий Александрович* (ум. в 1890 г.) – князь, действительный статский советник, член совета Министра финансов. *Оболенский Андрей Васильевич* (1825–1875) – князь, действительный статский советник; чиновник особых поручений V класса Министерства финансов.

³³ Шаховской Николай Иванович (1823–1890) – князь, тайный советник, сенатор. Окончил училище Правоведения в 1842 году,

был направлен в Сенат, где прослужил всю жизнь. В 1864 году был председателем комиссии о подложном Государственном займе.

³⁴ Ферзен Герман Егорович (ум. в 1862 г.) – барон, действительный статский советник, Августовский губернатор.

³⁵ Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – юрист, публицист, редактор, поэт, общественный деятель, один из лидеров славянофильского движения.

³⁶ Львов Георгий Владимирович (1821–1873) – князь, государственный деятель, действительный статский советник, ученый, публицист; по окончании курса в училище Правоведения в 1842 году определился на службу в Сенат, служил в Морском министерстве и Министерстве внутренних дел.

³⁷ Менгден Владимир Михайлович (1825–1910) – барон, действительный тайный советник, член Государственного совета, директор Санкт-Петербургского воспитательного дома. Служил в 7-м и 6-м департаментах Сената, в Собственной Его Императорского Величества канцелярии по делам Царства Польского, Министерстве иностранных дел. Менгден Николай Михайлович (ум. в 1888 г.) – барон, действительный статский советник; состоял при Министерстве внутренних дел.

³⁸ Ровинский Дмитрий Александрович (1824–1895) – юрист, историк искусства и составитель справочников по русским портретам и гравюре XVIII–XIX веков. Почетный член Академии наук и Академии художеств.

³⁹ Старицкий Егор Павлович (1825–1899) – судебный деятель, служивший в московских департаментах Сената, в Министерстве юстиции, принимал участие в работах по применению судебной реформы к Кавказскому краю, член Государственного совета.

⁴⁰ Глебов Павел Николаевич (ум. в 1876 г.) – тайный советник, член морского генерал-аудиториата, деятель по реформе военного и морского уголовного законодательства. Принимал активное участие в подготовке мероприятий по отмене телесных наказаний, автор проекта Устава о военно-морском суде, один из ближайших помощников великого князя Константина Николаевича по реформам в морском ведомстве.

⁴¹ Набоков Дмитрий Николаевич (1826–1904) – государственный деятель, сотрудник гражданского кассационного департамента Сената, главноуправляющий Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, близкий сотрудник Великого Князя Констан-

тина Николаевича по делам Царства Польского, член Государственного совета, министр юстиции, отец политика В. Д. Набокова, дед писателя В. В. Набокова.

⁴² Зубов Петр Алексеевич (1819–1880) – государственный деятель, юрист, преподаватель, сенатор, тайный советник, статс-секретарь Госсювета, главноуправляющий II отделением Собственной Его Величества Канцелярии, член-редактор Высочайше учрежденной при государственной канцелярии комиссии для составления проектов законоположений по судебной части в Российской империи, криминалист.

⁴³ Коробьин Владимир Григорьевич (1826–1895) – тайный советник, первоприсутствующий сенатор соединенного присутствия I и кассационного департамента Сената, член особого присутствия Государственного совета по рассмотрению жалоб на определения Сената.

⁴⁴ Зубков Василий Петрович (1798–1862) – тайный советник, сенатор, ученый, служил советником 2-го департамента Московской палаты гражданского суда, советником 2-го департамента Московской уголовной палаты, обер-прокурором 1-го и 2-го отделений 6-го департамента Сената, обер-прокурором в 7-м и 8-м департаментах Сената, обер-прокурором Общего Собрания Московских департаментов Сената.

⁴⁵ Урусов Сергей Николаевич (1816–1883) – выпускник Московского университета, юрист, тайный советник, сенатор, государственный секретарь, министр юстиции, служил в Собственной Его Императорского Величества канцелярии, Госсювете, Святейшем Синоде и был членом главного управления цензуры духовного ведомства.

⁴⁶ Оболенский Александр Петрович (1780–1855) – князь, сенатор, московский почетный опекун, действительный тайный советник, судья московского совестного суда, управляющий Военно-сиротским училищем.

⁴⁷ Нечаев Степан Дмитриевич (1792–1860) – обер-прокурор Святейшего Синода, историк, археолог, первый исследователь Куликова поля, основатель Музея Куликовской битвы, сенатор, действительный тайный советник, писатель, поэт, благотворитель.

⁴⁸ Курута Иван Эммануилович (1780–1853) – граф, губернатор Владимирской губернии, сенатор.

⁴⁹ Константин Павлович (1779–1831) – Цесаревич и Великий Князь, второй сын Павла I и Марии Федоровны. На протяжении

16 дней, с 27 ноября по 13 декабря 1825 года, официальные учреждения в Петербурге и Москве под присягой признавали его императором и самодержцем Всероссийским Константином I, но он не царствовал и своего вступления на престол не признал; командующий войсками, расположенными в герцогстве Варшавском, главнокомандующий Польской армией, командир Литовского корпуса, депутат польского сейма от пригорода Варшавы-Праги, исполняющий обязанности наместника Польши.

⁵⁰ Дребуш Александр Феодорович фон (1783–1855) – сенатор, статский советник, минский губернатор, лютеранин по вероисповеданию, участник битвы под Аустерлицем.

⁵¹ Полуденский Петр Семенович (1777–1852) – деятель Опекунского Совета, тайный советник, сенатор.

⁵² Бегичев Дмитрий Никитич (1786–1855) – писатель, попечитель московского дома трудолюбия, сенатор.

⁵³ Протасов Александр Павлович (1790–1856) – сенатор, тайный советник, масон и мистик, член Императорского Московского Общества Сельского Хозяйства, почетный член Московского Общества испытателей природы.

⁵⁴ Масонство, франкмасонство (от франц. franc-maçon – вольный каменщик), религиозно-этическое движение, возникшее в начале XVIII века в Англии и распространившееся затем во Франции, Германии, Испании, России, Дании, Швеции, Индии, США и других странах. В масонстве под знаком этического учения, провозгласившего «объединение людей на началах братства, любви, равенства и взаимопомощи», идеи «буржуазного антиклерикализма» переплелись с элементами религиозного мистицизма. Начало движению было положено в Англии (создание «Великой ложи», 1717). В «Книге уставов», составленной в 1723 году лондонским проповедником Джеймсом Андерсоном, масону предписывалось не быть «ни глупым атеистом, ни безрелигиозным вольнодумцем», поддерживать гражданские власти, не участвовать в политических движениях. Отрицая церковную догматику и культ, масоны представляют Бога как «великого архитектора вселенной» (в духе деизма), допускают исповедание любой религии, вводят в свое учение и в ритуал элементы Христианства, иудаизма и других религий. (См.: Большая советская энциклопедия. Т. 15. – М.: Советская энциклопедия, 1974. – С. 1329).

⁵⁵ Чертов Павел Аполлонович (1782–1874) – генерал от инфантерии, сенатор.

⁵⁶ Чертова Варвара Евграфовна (1806–1903) – благотворительница, основательница в 1869 году Александро-Мариинского училища на Пречистенке.

⁵⁷ Архивными юношами называли в 20-е годы XIX века молодых служащих Московского архива Коллегии иностранных дел, которые занимались разбором, чтением и описанием древних документов. Они создали также литературное общество (Ф. И. Тютчев, Н. В. Путята, В. Ф. Одоевский, В. П. Титов, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, В. И. Оболенский, Д. П. Ознобишин, А. Н. Муравьев и др.) и «Общество любомудрия».

⁵⁸ Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – великий поэт, драматург, прозаик.

⁵⁹ Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) – князь, поэт, литературный критик, член Российской Императорской академии, отец историка литературы и археографа Павла Вяземского.

⁶⁰ Одоевский Владимир Федорович (1803–1869) – князь, писатель, философ, педагог, музыковед, теоретик музыки. Был последним представителем одной из старейших ветвей рода Рюриковичей. Его отец Федор Сергеевич происходил по прямой линии от черниговского князя Михаила Всеволодовича, замученного в 1246 году в Орде и причисленного к лику святых.

⁶¹ 22 февраля 1848 года началось восстание в Париже, приведшее к ликвидации Июльской монархии и установлению во Франции Второй республики (1848–1852).

⁶² Жирарден Эмиль де (1806–1884) – французский журналист, писатель, депутат, внебрачный сын генерала графа Александра Жирардена, муж писательницы Дельфины де Жирарден (урожденной Гэ).

⁶³ Блан Луи (1811–1882) – французский социалист, деятель революции 1848 года, историк, журналист.

⁶⁴ Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) – французский публицист, экономист, социолог, один из основоположников анархизма.

⁶⁵ Ламартин Альфонс де (1790–1869) – французский поэт, писатель, журналист и политический деятель.

⁶⁶ Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) – французский социалист-утопист.

⁶⁷ Энтомология (от греч. έντομα – насекомые) – наука о насекомых.

⁶⁸ Бартенев Петр Иванович (1829–1912) – историк, литературовед, издатель.

⁶⁹ Павлов Николай Филиппович (1803–1864) – писатель, издатель. Происходил из крепостных (дворовых) крестьян, в детстве был отпущен на волю. Окончил Московское театральное училище, был актером, затем окончил словесное отделение Московского университета и служил в Московском надворном суде.

Ле-Пле

Печатается по изданию: *Победоносцев К. П.* Ле-Пле. Издание К. П. Победоносцева. – М. – Русское обозрение. – 1893. – 30 с.

⁷⁰ Цицерон Марк Туллий (106–43 до н. э.) – древнеримский политический деятель, оратор, писатель.

⁷¹ Тацит Публий Корнелий (ок. 58 – после 117) – римский писатель-историк.

⁷² Монтень Мишель де (1533–1592) – французский философ и писатель.

⁷³ Сен-симонизм (от имени К. А. Сен-Симона, французского философа) – учение, в основе которого лежат идеи о закономерности движения общества как целостного организма от низших форм к высшим и об утверждении нового общественного строя путем правительственных реформ, нравственного воспитания, государственного планирования, распределения общественных благ по способностям.

⁷⁴ Руссо Жан Жак (1712–1778) – французский философ-просветитель, писатель, композитор, автор теории общественного договора.

⁷⁵ Бэкон Френсис (1561–1626) – барон Веруламский, английский философ, историк, политический деятель, юрист, основоположник эмпиризма.

⁷⁶ Конибер Генри (1823–?) – английский инженер, архитектор, профессор королевской инженерной академии в Чатаме, один из организаторов английской горной школы.

⁷⁷ Баклэнд Уильям, Вильям Букланд (1784–1856) – английский геолог и палеонтолог, член Лондонского королевского общества, декан Вестминстерского аббатства.

⁷⁸ Платон (428 или 427–348 или 347 до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Настоящее имя – Аристокл. Платон – прозвище, означающее «широкий, широкоплечий».

⁷⁹ Араго Доминик Франсуа Жан (1786–1853) – французский физик и астроном.

⁸⁰ Демидов Анатолий Николаевич (1812–1870) – русский и французский меценат, действительный статский советник, князь Сан-Дonato.

⁸¹ Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882) – граф, государственный деятель, археолог, меценат, коллекционер, московский градоначальник, почетный член Российской Академии наук, попечитель Московского учебного округа, президент Московского общества испытателей природы, почетный член Императорского Русского Исторического Общества в Санкт-Петербурге, главный воспитатель наследника цесаревича Николая Александровича, великих князей Александра Александровича, впоследствии императора Александра III, Владимира и Алексея Александровичей.

⁸² Пауперизм (от лат. pauper – бедный, неимущий) – нищета, отсутствие самых необходимых средств существования.

⁸³ Конвент – с 21 сентября 1792 года по 26 октября 1795 года высший законодательный и исполнительный орган первой французской республики.

⁸⁴ Майорат (позднелат. majoratus, от лат. major – больший, старший) – наследование недвижимости по принципу первородства в семье или роде.

⁸⁵ Наполеон III, Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1808–1873) – император Франции в 1852–1870 гг., племянник Наполеона I. 10 декабря 1848 года был избран президентом французской республики, а 2 декабря 1851 года совершил государственный переворот при помощи армии, в результате чего вся власть перешла в его руки.

⁸⁶ Морни Шарль Огюст Жозеф Луи де (1811–1865) – граф Море, позднее герцог Морни, французский политический деятель, финансист, сводный брат Наполеона III.

⁸⁷ Эльзас – О. С.

⁸⁸ Августин Блаженный Аврелий (354–430) – святой Православной и Католической церквей, епископ Гиппонский, философ, проповедник, христианский богослов и политик.

⁸⁹ Людовик IX Святой (1214–1270) – король Франции (1226–1270), руководитель 7-го и 8-го крестовых походов. Сын Людовика VIII и Бланки Кастильской.

⁹⁰ Д'Арк Жанна (ок. 1412–1431) – национальная героиня Франции, одна из главных командующих французскими войсками в Сто-

летней войне (1337–1453), ведшейся между Англией, Францией и их союзниками из-за притязаний на французский престол английской королевской династии Плантагенетов. Жанна была передана англичанам пленившими ее бургундцами и сожжена на костре как еретичка. Причислена Католической церковью к лику святых.

⁹¹ Людовик XII (1462–1515) – король Франции с 7 апреля 1498 года. Из Орлеанской ветви династии Валуа, сын герцога Карла Орлеанского. Он облегчил налоги, заботился об улучшении судопроизводства, за судебные реформы и великодушие Людовик был прозван «отцом народа». Его царствование знаменито также войнами, которые Франция вела на территории Италии.

⁹² Валуа – династия королей Франции, правившая с 1328 по 1589 год, ветвь дома Капетингов. Получила свое название от титула графа де Валуа, который носил основатель этой ветви, Карл французский. Ее сменила младшая ветвь Капетингского дома, династия Бурбонов.

⁹³ Религиозные или гугенотские войны – ряд затяжных гражданских войн между католиками и протестантами (гугенотами) при последних королях династии Валуа, с 1562 по 1598 год. Во главе гугенотов стояли Бурбоны (принц Конде, Генрих Наваррский) и адмирал де Колиньи, во главе католиков – королева-мать Екатерина Медичи и Гизы. Елизавета Английская поддерживала гугенотов, а Филипп Испанский – католиков. Войны закончились восшествием Генриха Наваррского на французский престол и изданием Нантского эдикта (1598 г.).

⁹⁴ Гугеноты – название французских протестантов (кальвинистов), происходящее от имени Гюга, женеvского гражданина, по другим мнениям, искаженное немецкое Eidgenossen (самоназвание швейцарцев).

⁹⁵ Нантский эдикт был подписан французским королем Генрихом IV в апреле 1598 года в Нанте, завершив религиозные войны во Франции. По Нантскому эдикту католицизм оставался господствующей религией, а гугеноты получили свободу вероисповедания и богослужения в городах (кроме Парижа и некоторых других), в своих замках и ряде сельских местностей. Гугенотам предоставлялось право занимать судебно-административные и военные должности, им было разрешено созывать свои политические конференции и синоды. По секретным статьям эдикта гугеноты получили 100 крепостей с гарнизонами. После войны с гугенотами в 1621–1629 гг.

секретные статьи эдикта были ликвидированы. Людовик XIV в 1685 году отменил Нантский эдикт 1598 года.

⁹⁶ Паскаль Блез (1623–1662) – писатель, философ, один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счетной техники, автор основного закона гидростатики.

⁹⁷ Декарт Рене, Картезий (1596–1650) – французский математик, физик, физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, философ, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике.

⁹⁸ Саль Франсуа де, святой Франциск Сальский (1567–1622) – католический святой, епископ Женевы, учитель Церкви, основатель конгрегации визитанток, автор трудов о духовной жизни.

⁹⁹ Поль Винсент де, святой Викентий де Поль (1581–1660) – католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия.

¹⁰⁰ Латур д'Овернь Анри де, виконт де Тюренн, известный под именем Тюренн (1611–1675) – французский полководец, главный маршал Франции.

¹⁰¹ Конде – французские «принцы крови», младшая ветвь венценосного дома Бурбонов: Конде Людовик I Бурбон (1530–1569), Конде Генрих I Бурбон (1552–1588), Конде Генрих II Бурбон (1588–1646), Конде Людовик II Бурбон (1621–1686), Конде Генрих III Бурбон (1643–1709), Конде Людовик III Бурбон (1668–1710), Конде Людовик Генрих I Бурбон (1692–1740), Конде Людовик Иосиф Бурбон (1736–1818), Конде Людовик Генрих II Бурбон (1756–1830).

¹⁰² Король Франции Людовик XVI был казнен революционным правительством по обвинению в «составлении заговора против свободы нации» 21 января 1793 года.

¹⁰³ Новой революционной властью учреждаются культы Разума, Природы, Истины, принимается новый календарь, чтобы отвергнуть летосчисление от Рождества Христова. По словам математика-революционера Шарля Ромма, такая мера была принята, чтобы «упразднить воскресение». Жак Эбер, крайне левый якобинец также говорил: «Существо, создавшее нас, требует от нас культа, а ему может быть приятен один культ Разума» (Цит. по: *Домнич М. Я.* Великая Французская буржуазная революция и Католическая церковь. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1960. – С. 125, 139).

¹⁰⁴ В марте 1793 года начался контрреволюционный Вандейский мятеж. «Для спасения революции» 6 апреля 1793 года создается Комитет общественного спасения. 10 июня силами Национальной гвардии была установлена якобинская диктатура. 13 июля жирондистка Шарлотта Корде заколола кинжалом Марата, это убийство было использовано якобинцами для обоснования революционного террора. В результате его усиления члены Конвента под предводительством Колло д'Эрбуа и Барраса совершили 27 июля 1794 года термидорианский переворот, поддержанный Национальной гвардией. Робеспьер и его сторонники были арестованы и гильотинированы.

¹⁰⁵ 26 августа 1789 года Учредительное собрание приняло «Декларацию прав человека и гражданина». «Старому режиму», основанному на сословных привилегиях, были противопоставлены равенство всех перед законом, неотчуждаемость «естественных» прав человека, в том числе частной собственности, народный суверенитет, свобода совести, принцип «дозволено все, что не запрещено законом».

¹⁰⁶ Леруа-Болье Анатоль (1842–1912) – французский публицист, профессор истории, автор исследований о государственном и общественном строе России.

¹⁰⁷ Началом Великой французской революции принято считать 14 июля 1789 года, дату взятия Бастилии, а датой ее окончания называют 27 июля 1794 года (Термидорианский переворот) или 9 ноября 1799 года (Переворот 18 брюмера).

Свобода, равенство и братство

Liberty, equality, fraternity, by James Fitzjames Stephen. – Lond., 1873. Das Princip des Sittlichen, von J. H. Kirchmann. – Berlin, 1873.

Печатается по тексту: [Победоносцев К. П.] Свобода, равенство, братство [Обзор книги Дж. Стифена] // Гражданин. – 1873. – № 35–37. – С. 958–962; 977–979; 1007–1010. Авторство установлено Л. Гроссманом на основании писем К. П. Победоносцева Ф. М. Достоевскому. (См.: Письма К. П. Победоносцева. Публикация Л. Гроссмана // Литературное наследство. – Т. 15. – М., 1934. – С. 124–149).

¹⁰⁸ Конт Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье (1798–1857) – французский философ, социолог, родоначальник позитивизма, основоположник социологии как самостоятельной науки.

¹⁰⁹ *Liberté, égalité, fraternité, ou la mort!* (франц.) – Свобода, равенство, братство или смерть.

¹¹⁰ Стифен Джеймс Фицджеральд (1829–1894) – барон, английский юрист, судья, антилиберальный писатель.

¹¹¹ Пилат Понтий – римский правитель Иудеи с 26–36 годов, судья Иисуса Христа, приговоривший Его к смертной казни под давлением иудеев.

¹¹² *Ultima ratio* (лат.) – последний довод.

¹¹³ Бокль Генри Томас (1821–1862) – английский историк, автор «Истории цивилизации в Англии», шахматист.

¹¹⁴ Местр Жозеф-Мари де (1753–1821) – граф, французский католический философ, литератор, политик, дипломат, сторонник политического консерватизма, иезуитский проповедник в среде русского высшего общества.

¹¹⁵ Бентам Джереми, Иеремиа Бентам (1748–1832) – английский социолог, юрист, теоретик политического либерализма, родоначальник утилитаризма, одного из направлений в английской философии.

¹¹⁶ Конскрипция (лат. *conscriptio* – запись, набор) – комплектование армии посредством воинской повинности с допущением выкупа и заместительства.

¹¹⁷ Стоицизм (от греч. *στοῖα ποιήλη*, букв. «расписной портик») – философская школа эллинистической римской философии 3–2 вв. до н. э., согласно которой человеку следует стремиться быть свободным от страстей, уметь подчиняться неизбежной необходимости, сохраняя душевное равновесие и спокойствие. Основатель стоицизма – Зенон Китийский (346/336/333–264/262 до н. э.), ученик школы киников. Стоицизм сохранил свое влияние до конца античного мира.

¹¹⁸ Эпикур (342/341–271/270 до н. э.) – древнегреческий философ, основатель эпикуреизма в Афинах, автор произведения «Сад Эпикура», в котором развил этику наслаждений в сочетании с учением об атомах Демокрита.

¹¹⁹ 1) Христианство, 2) ислам, 3) буддизм, 4) индуизм. – О. С.

Франция: взгляд на теперешнее ее состояние

Печатается по тексту: [*Победоносцев К. П.*] Франция (Взгляд на теперешнее ее состояние) // Гражданин. – 1873. – № 35. – С. 939–

942. Авторство установлено Л. Гроссманом. (См.: Письма К. П. Победоносцева. Публикация Л. Гроссмана // Литературное наследство. – Т. 15. – М., 1934. – С. 124–149).

¹²⁰ Тьер Луи Адольф (1797–1877) – французский политический деятель и историк, автор трудов по истории Великой французской революции, журналист, несколько раз премьер-министр Франции при Июльской монархии, первый президент Третьей республики, член Французской академии.

¹²¹ Речь идет об «Июльской монархии» – периоде в истории Франции от Июльской революции 1830 года, завершившей эпоху Реставрации, до Февральской революции 1848 года, установившей Вторую республику. Бурбоны пали, на трон был возведен Луи-Филипп I (1773–1850), герцог Орлеанский, представитель Орлеанской ветви династии Бурбонов, получивший прозвище «король-гражданин».

¹²² Генрих (Анри), герцог Бордоский, впоследствии использовавший титул граф де Шамбор (1820–1883) – претендент на французский престол как Генрих V и глава легитимистской партии, последний представитель старшей линии французских Бурбонов. Со 2 августа по 9 августа 1830 года формально считался королем, однако корона была передана Луи-Филиппу I.

¹²³ Людовик XIV де Бурбон (1638–1715) – король Франции и Наварры (с 1643 г.), сторонник абсолютной монархии и божественного права королей.

¹²⁴ Речь идет о сыне Наполеона III – Наполеоне Эжене Луи Жане Жозефе, Наполеоне IV (1856–1879), принце, последнем наследнике французского престола, так и не ставшем императором; погиб в англо-зулусской войне.

¹²⁵ Вавилон – город, существовавший в Междуречье, являлся одним из крупнейших городов Древнего мира. Вавилон был столицей Вавилонии – царства, просуществовавшего полтора тысячелетия. Имя *Вавилон* имеет также иносказательное значение, основанное на Откровении Иоанна Богослова и Библии, связанное с образом вавилонской башни и вавилонской блудницы – символами богоборчества, богоотступничества, антихристианства и самообоготворения человека.

¹²⁶ Речь идет о Наполеоне III.

¹²⁷ Речь идет о Франко-Прусской войне 1870–1871 годов.

¹²⁸ Пий IX, в миру Джованни Мария, граф Мастаи-Ферретти (1792–1878) – римский папа с 1846 по 1878 год. Вошел в историю как папа, провозгласивший догмат о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии, созвавший I Ватиканский Собор, утвердивший догмат о непогрешимости папы.

¹²⁹ Парижская коммуна – революционное правительство Парижа во время событий 1871 года, когда после заключения перемирия с Пруссией во время Франко-Прусской войны в Париже начались волнения, приведшие к революции и установлению нового правительства – «диктатуры пролетариата», длившейся 72 дня (с 18 марта по 28 мая). Во главе Парижской коммуны стояла объединенная коалиция социалистов и анархистов.

Новейшая английская литература по восточному вопросу

Печатается по тексту: [*Победоносцев К. П.*] Новейшая английская литература по восточному вопросу // Гражданин. – 1877. – № 1. – С. 20–25.

¹³⁰ Гладстон Уильям Юарт (1809–1898) – английский государственный и общественный деятель, лидер либеральной партии, премьер-министр Великобритании (1868–1874, 1880–1885, 1886, 1892–1894), писатель и правозащитник, выступавший против религиозных и этнических притеснений турками славян на Балканах; принимал активное участие в организации общественного движения против восточной политики Бенджамена Дизраэли лорда Биконсфильда (1804–1881), английский государственный деятель, представитель консервативной партии, дважды премьер-министр Великобритании, писатель «социального романа», настаивал на прекращении безусловной поддержки Порты, предлагая предоставить Боснии, Герцеговине и Болгарии автономию.

¹³¹ К. П. Победоносцев перевел на русский язык ряд произведений У. Гладстона, касающихся «восточного вопроса», например: Болгарские ужасы и восточный вопрос. Соч. В. Ю. Гладстона / [Пер. с англ. К. П. Победоносцева в соавт. с К. Н. Бестужевым-Рюминым]. – СПб.: тип. В. Тушнова. – 1876. – 115 с.; Речь Гладстона к воспитанникам коллегии Мальборо / [Пер. с англ. К. П. Победоносцева]

// Гражданин. – 1877. – № 6; Черногория: Статья Гладстона / [Пер. с англ. К. П. Победоносцева] // Там же. – № 32–33.

¹³² Эмансипация католиков в Англии была осуществлена посредством парламентского акта, известного под именем Catholic Emancipation Act, в 1829 году. Ранее положение католиков регулировал Test Act 1673 года, в силу которого от лица, поступающего на государственную или общественную службу, а также от лица, вступающего в парламент, требовалась присяга в допущении супрематии (т. е. верховной власти короля над Церковью), свидетельство о причащении в Англиканской церкви и письменное заявление о непризнании догмата Католической церкви о причащении. После унии Великобритании с Ирландией (1800 г.) те же законы распространились на Ирландию. Это возмущало не только католиков, но и представителей Англиканской церкви. В XVIII веке в парламент подавались петиции об отмене Тест-Акта. С 1813 года билль об эмансипации многократно вносился в палату общин, но отвергался ею. В 1823 году в Ирландии была основана О'Коннелем и его сторонниками католическая ассоциация, главной задачей которой была пропаганда отмены Тест-Акта. 5 марта 1829 года билль был вынесен на голосование и после ожесточенной борьбы принят и подписан королем, став законом. Им были отменены Тест-Акт и все другие акты, стесняющие права католиков, введена другая присяга, которую могли приносить и католики.

¹³³ В 1290 году около 16 тысяч евреев было изгнано из Англии. В 1640 года в Англии произошла революция, а в 1649 году пришедший к власти Оливер Кромвель разрешил евреям селиться в Англии, открылись синагоги и кладбища еврейской общины. В 1858 году евреи были допущены в английский парламент.

¹³⁴ В 1798 году в Англии возникла «Африканская Ассоциация», боровшаяся против рабства. В 1808 году была запрещена торговля неграми, в 1823 году – перевозка рабов из одной колонии в другую, а в 1834 году произошло полное освобождение рабов с обязательством отпуска на волю через 4 года. Еще ранее торговля неграми была приравнена к пиратству, и особые военные крейсеры во исполнение этого закона следили за торговыми судами в Атлантическом океане.

¹³⁵ «Хлебные законы» действовали в Англии в период между 1815 и 1846 годами. Были установлены тарифы на импорт зерна, защищавшие английских фермеров и землевладельцев от конкуренции с дешевым иностранным зерном.

¹³⁶ Отмена государственной Церкви в Ирландии была осуществлена в 1869 году во время правления премьер-министра У. Гладстона.

¹³⁷ Речь идет о так называемом Рисорджименто (итал. *il risorgimento* – возрождение, обновление) – периоде борьбы за политическое объединение Италии. В основе его лежали антиавстрийские настроения и национальная идея. В 1820 году начинается восстание в Неаполитанском королевстве, подавленное австрийцами, восстания охватывают и другие части Италии. В 1831 году Д. Мадзини основывает в Марселе патриотическое движение «Молодая Италия», которое боролось за объединение Италии. В результате двух войн за независимость (1848–1849 гг. и 1859–1860 гг.) происходит объединение Сардинского королевства с Ломбардией, Тосканой, Романьей, Пармой, Моденой, объединение с Сардинией Королевства обеих Сицилий. 17 марта 1861 года новый парламент провозглашает Итальянское королевство во главе с Виктором Эммануилом II, а в июне 1871 года итальянская столица переносится в Рим.

¹³⁸ Скайлер Юджин (1840–1890) – дипломат, писатель, переводчик, путешественник и ученый.

¹³⁹ Йомуды (туркм. *Ýomutlar* – один из главных туркменских родов, обитающий в южной части Балканского ваята Туркменистана, около реки Атрек и в сопредельных местностях Ирана.

¹⁴⁰ Дженкинс Эдвард (1838–?) – английский сатирик, публицист, политический деятель, член парламента.

¹⁴¹ Карлейль Томас (1795–1881) – английский историк, философ, публицист.

¹⁴² Суинборн Алджернон Чарльз (1837–1909) – английский поэт-«прерафаэлит».

¹⁴³ Кювилье-Флери Альфред-Августин (1802–1887) – французский писатель, журналист, член Французской академии, воспитатель герцога Омальского, орлеанист.

¹⁴⁴ Браунинг Роберт (1812–1889) – английский поэт и драматург, философ.

¹⁴⁵ Уильям Моррис (1834–1896) – английский поэт, художник, издатель, социалист. Крупнейший представитель второго поколения «прерафаэлитов».

¹⁴⁶ Фруд Джеймс Антони (1818–1894) – английский историк.

¹⁴⁷ Фримен Эдуард (1823–1892) – английский историк, один из ревностных сторонников сравнительно-исторического метода,

впервые дал обзор основных территориальных изменений в Европе с древности до XIX в., профессор Оксфордского университета, сторонник У. Гладстона.

¹⁴⁸ Речь идет от освобождении крестьян 19 февраля 1861 года Манифестом Александра II.

¹⁴⁹ Каннинг Джордж (1770–1827) – английский политический деятель, тори, министр иностранных дел, отвечавший за политику Великобритании во время наполеоновских войн в Европе, премьер-министр Великобритании.

¹⁵⁰ Уилберфорс Уильям (1759–1833) – британский политик, филантроп, противник работорговли, член партии тори, член парламента Британии.

¹⁵¹ Речь идет о казни Иродом Св. Иоанна Крестителя по просьбе дочери Иродиады, которой он обещал перед гостями выполнить любую ее просьбу за исполненный танец (Мф. 14:3–11).

¹⁵² Геркулесовы столбы – название, использовавшееся в Античности для обозначения высот, обрамляющих вход в Гибралтарский пролив. Северная скала (со стороны Европы) – это Гибралтарская скала, расположенная во владении Великобритании, южный столб (со стороны Северной Африки) – гора Джебель-Муса в Марокко либо гора Абила, расположенная рядом с Сеутой.

¹⁵³ Райяты, райя (тур.) – первоначально обозначение всех подданных в мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока, позднее – податное сословие (крестьяне и горожане).

¹⁵⁴ См.: Исх. 1:12.

¹⁵⁵ Крымская война (1853–1856), Восточная война – война между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Боевые действия разворачивались на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке.

¹⁵⁶ Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) – светлейший князь, дипломат, государственный деятель, канцлер.

¹⁵⁷ Неверный (арбск.).

¹⁵⁸ Парижский мирный договор (Парижский трактат) – международный договор, подписанный 18 (30) марта 1856 года на Парижском конгрессе, открывшемся 13 (25) февраля 1856 года. В работе конгресса участвовали Россия, с одной стороны, и союзники по Крымской войне: Османская Империя, Франция, Англия, Австрия, Сардиния, Пруссия.

¹⁵⁹ Кембль Джон Митчелл (1807–1857) – английский историк и филолог.

¹⁶⁰ Абдул-Азиз (1830–1876) – 32-й султан Османской Империи, правивший в 1861–1876 годах. Второй сын султана Махмуда II.

¹⁶¹ Эллиот Генри (1817–1907) – английский дипломат, посланник в Константинополе, в 1876–1877 годах – участник Константинопольской конференции (отозван за крайнее туркофильство), посланник в Вене.

¹⁶² Солсбери Роберт, Роберт Артур Талбот Гаскойн-Сесиль, 3-й Маркиз Солсбери (1830–1903) – британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании, депутат Палаты Общин от Консервативной партии, член Палаты Лордов.

¹⁶³ И. С. Аксаков немало выступал в защиту славян, за что даже подвергался преследованиям. Так, во время Берлинского конгресса 1878 года И. С. Аксаков произнес речь в Славянском комитете, содержащую резкую критику дипломатии, за что был выслан из Москвы, а Славянский комитет закрыт.

¹⁶⁴ Мы особенно рекомендуем вниманию читателей «Гражданина» эту статью нашего почтенного сотрудника Z. Z., в которой чрезвычайно ярко изображены главнейшие существенные обстоятельства одного из самых любопытнейших и знаменательных явлений в современной истории европейского человечества. – *Примеч. Ф. М. Достоевского.*

Испания

Печатается по тексту: [*Победоносцев К. П.*] Испания // Гражданин. – № 37. – С. 991–994. Авторство установлено Л. Гроссманом. (См.: Письма К. П. Победоносцева. Публикация Л. Гроссмана // Литературное наследство. – Т. 15. – М., 1934. – С. 124–149).

¹⁶⁵ Пронунсиаменто, пронунциаменто (исп.) – призыв (к восстанию, государственному перевороту в Испании и Латинской Америке), манифест; воззвание; заявление.

¹⁶⁶ Изабелла II (1830–1904) – королева Испании с 1833 года, а с 1837 года – первый конституционный монарх страны. Дочь Фердинанда VII и Марии Кристины Неаполитанской. Вступила на престол вследствие отмены ее отцом салического закона. В первые годы царствования малолетней королевы (правительство которой воз-

главляли испанские либералы, давшие в 1837 году стране конституцию) престол оспаривал ее дядя Дон Карлос Старший, развязавший первую карлистскую войну; свергнута в 1868 году, а в 1870 году в эмиграции отказалась от прав на престол в пользу сына, ставшего в 1874 году королем Альфонсом XII.

¹⁶⁷ Речь идет об Амадее I, Амадее (Амедео) Савойском (1845–1890), короле Испании с 1871 по 1873 год.

¹⁶⁸ Прим-и-Пратс Хуан (1814–1870) – граф Реус, виконт Брух, испанский генерал, президент совета министров Испании.

¹⁶⁹ Кастеляр Эмилио (1832–1899) – испанский политический деятель, профессор истории в Мадридском университете, издатель антимонархической газеты, депутат кортесов, министр иностранных дел, премьер-министр. Придя к власти, Кастеляр немедленно ввел военное положение, отменил конституционные гарантии и ограничил свободу печати. Эти меры вызвали оппозицию со стороны большинства депутатов кортесов, и Кастеляр был вынужден подать в отставку. После отставки вновь был избран депутатом кортесов, где выступал уже как умеренный республиканец.

¹⁷⁰ Юнта – испанский термин, обозначающий союз, избранное совещательное собрание, избранный исполнительный комитет.

¹⁷¹ Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – философ, революционер, анархист, идеолог народничества.

¹⁷² Пи-и-Маргаль Франсиско (1824–1901) – испанский политический деятель, юрист, писатель, революционер-демократ, министр внутренних дел, президент, депутат кортесов. Родился в семье мелкого торговца.

¹⁷³ Дон Карлос Младший (1848–1909) – предводитель испанских карлистов, внук Дона Карлоса Старшего.

¹⁷⁴ Дон Карлос Мария Исидро де Бурбон (1788–1855) – испанский инфант, сын короля Карла IV и Марии-Луизы Пармской, младший брат Фердинанда VII. Претендент на испанский престол с 1833 по 1844 год. Известен как Дон Карлос Старший.

¹⁷⁵ Контрерас Хуан (1807–1881) – испанский генерал, фельдмаршал, сторонник королевы Христины.

¹⁷⁶ переворот 18 брюмера – государственный переворот во Франции, состоявшийся 18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 г. по Григорианскому календарю), в результате которого была лишена власти Директория и было создано новое временное правительство во главе с Наполеоном Бонапартом.

¹⁷⁷ 2 декабря 1851 года Наполеон (будущий Наполеон III) присвоил себе исключительные полномочия, а 2 декабря 1852 года провозгласил себя императором.

Борьба государства с Церковью в Германии

Печатается по тексту: [Победоносцев К. П.] Борьба государства с Церковью в Германии // Гражданин. – 1873. – № 34. – С. 915–918. Авторство установлено Л. Гроссманом (См.: Письма К. П. Победоносцева. Публикация Л. Гроссмана // Литературное наследство. – Т. 15. – М., 1934. – С. 124–149).

¹⁷⁸ Австро-прусская война (17 июня–23 августа 1866 г.) – война между Пруссией и Австрией (одновременно воевавшей с Италией) за господствующую роль в Германии, способствовавшая образованию Северо-Германского союза. В результате этой войны Пруссия значительно увеличила свою территорию за счет мелких германских государств, заключила секретные военные соглашения с южно-германскими государствами; Венецианская область отошла к Италии.

¹⁷⁹ 18 июля 1870 года в Католической церкви был официально провозглашен новый догмат (в догматической конституции *Pastor Aeternus*). Согласно этому догмату, вероучительная «безошибочность папы является даром Святого Духа, данным папе, как преемнику Апостола Петра».

¹⁸⁰ Деллингер Иоганн Йозеф Игнац фон (1799–1890) – баварский католический священник, историк Церкви и богослов, один из инициаторов движения старокатоликов в Германии в 1870-х годах.

¹⁸¹ Конкордат 1847 года – соглашение, подписанное папой и правительством, предоставлявшее папе широкие права в духовной, кадровой, имущественной, семейной и образовательной сфере.

¹⁸² Интердикт (лат. *interdictum* – запрещение) – в Римско-Католической церкви временное запрещение всех церковных действий и треб, налагаемое папой или епископом на население целой страны, города, иногда на отдельных лиц (отлучение).

¹⁸³ См. сноску 398 раздела **Вера**.

¹⁸⁴ Тридентский Собор – XIX Вселенский Собор (по счету Римско-Католической церкви), проходивший в Тренто с 4 декабря 1563 г. по 13 декабря 1564 г. по инициативе папы Павла III в

ответ на Реформацию. Всего на Соборе было принято 16 догматических постановлений.

¹⁸⁵ Рейнкенс Иосиф-Губерт – первый старокатолический епископ, бывший профессором католического богословия в Бреславле, проповедник. Выступил противником постановлений Ватиканского Собора (1870 г.) и догмата о непогрешимости папы, за что в 1872 году был отлучен от Церкви. В 1873 г он был избран епископом немецких старокатолических общин и утвержден правительством.

¹⁸⁶ Ультрамонтанство – течение в Римско-Католической церкви, ратовавшее за жесткое подчинение национальных Католических церквей папе Римскому, кроме того, защищавшее верховную светскую власть пап над светскими государями Европы.

Церковные дела в Германии

Печатается по тексту: [Победоносцев К. П.] Церковные дела в Германии // Гражданин. – 1873. – № 51. – С. 1367–1369.

¹⁸⁷ Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (155/165–220/240) – раннехристианский писатель, теолог, автор 40 трактатов, из которых сохранился 31. Положил начало латинской патристике и церковной латыни.

¹⁸⁸ Викентий Леринский, либо Лиринский (?– до 450 г.) – святой неразделенной Церкви, иеромонах, раннехристианский автор Галлии. Почитается как Отец Церкви в Католической церкви и местно – в Православной Церкви.

¹⁸⁹ Unigenitus (лат.) – едиnorodный, единственный.

¹⁹⁰ Афанасий Великий (ок. 298–373) – святой, епископ Александрийский, защитник Православия от арианства, один из составителей никейского Символа веры.

¹⁹¹ Янсенизм – религиозное учение XVII–XVIII в. внутри Католической церкви, осужденное как ересь. Для янсенизма характерна вера в предопределение.

¹⁹² Гейкамп Ян (1824–1892) – архиепископ утрехтской общины янсенистов, добившийся соединения своей Церкви со старокатоликами (Декларация 24 сентября 1889 г.).

¹⁹³ Ecclesia (греч.) – собрание.

¹⁹⁴ Св. Киприан Карфагенский (?–258) – епископ Карфагена, латинский богослов, выступавший против отступничества и

раскола. Он видел единство Церкви не в суждениях какого-либо «епископа епископов», а в соборном согласии епископов, в равной мере наделенных благодатью Святого Духа и самостоятельных в управлении своей паствой.

¹⁹⁵ Монталамбер Марк Рене де (1714–1800) – маркиз, французский военный деятель, теоретик фортификации, дивизионный генерал, член Парижской и Петербургской академии наук, участник войн за польское и австрийское наследство, консультант военного министра Л. Карно после Великой французской революции.

¹⁹⁶ Фредерик Уильям Фабер (1814–1863) – английский поэт, писатель, богослов, ораторианец, автор религиозных гимнов и песен.

¹⁹⁷ См.: Деян. 14:15.

¹⁹⁸ Partibus infidelium (лат.) – часть неверных.

¹⁹⁹ Бисмарк-Шенхаузен Отто Эдуард Леопольд фон (1815–1898) – немецкий государственный деятель, князь, первый канцлер Германской империи, генерал-полковник, генерал-фельдмаршал, в отношении Церкви проводил жесткую антиклерикальную политику.

Церковь и государство в Германии

Печатается по тексту: [Лобедносцев К. П.] Церковь и государство в Германии // Гражданин. – 1873. – № 40. – С. 1064–1066.

²⁰⁰ Речь идет о так называемом культуркампфе (нем. *Kulturkampf* – «культурная борьба») – в 1873 году данным термином стали обозначать борьбу прусского и общегерманского имперского права против папской власти, борьбу Бисмарка и национал-либералов против католической партии Центра и Католической церкви. Инициатором данной политики был князь Бисмарк, главным исполнителем – прусский министр народного просвещения и исповеданий А. Фальк. «Майские законы» (11, 12 и 13 мая 1873 г.) устанавливали строгий контроль государства над школами, назначениями на церковные должности, отношениями между духовенством и паствой. Органами надзора, кроме общих полицейских учреждений, был специальный государственный суд для церковных дел. Антицерковным законам, борьба с которыми стоила священникам многих лет тюрьмы, было подчинено не только католическое, но и евангелическое духовенство. В течение 1879–1891 годов в результате ожесточенной борьбы власти и

общественности бо́льшая часть майских законов была отменена, часть имущества и денег возвращены Церкви.

²⁰¹ Фрейтаг Густав (1816–1895) – немецкий писатель, автор исторических романов.

²⁰² Гогенштауфены – династия южно-германских королей и императоров Священной Римской империи в 1138–1254 годах.

²⁰³ Тридцатилетняя война (1618–1648) – военный конфликт, коснувшийся всех европейских стран (кроме Швейцарии), включая Россию. Война началась с религиозного столкновения протестантов и католиков Германии, вылившись в борьбу против династии Габсбургов в Европе.

²⁰⁴ Клейст-Рецов Ганс Гуго фон (1814–1892) – германский политический деятель, глава консервативной юнкерской партии, один из основателей «Крестовой газеты», член прусской палаты депутатов, обер-президент Рейнской провинции, член прусской палаты господ.

²⁰⁵ В конце жизни Навуходоносор (вавилонский царь – 605–562 г. до н. э.); в 597 году захватил Иерусалим и увел в плен десять тысяч иудеев, в 586 году разрушил храм Соломона) страдал ликантропией – представлял себя животным.

²⁰⁶ Конгресс в Констанце состоялся в 1873 году, где под руководством Рейнкенса была выработана организация Старокатолической церкви в Германии, основными частями ее стали: приходские общины, епархии с епископами, высшая инстанция церковного управления – синод. Конгрессом было решено учредить две особые комиссии для ведения переговоров с различными исповеданиями, в том числе и с Православием.

²⁰⁷ См.: Лк. 19:44.

МОСКОВСКИЙ СБОРНИК

Печатается по тексту: *Победоносцев К. П.* Московский сборник // Сочинения. – СПб.: Наука, 1996. – С. 264–463, опубликованному А. И. Пешковым по книге: *Московский сборник.* Издание К. П. Победоносцева, пятое, дополненное. – М.: Синодальная типография, 1901. – 366 с. Произведение было впервые опубликовано в 1896 году и выдержало три издания в течение года, затем выходило в 1897 году, в 1993 году (в сборнике «Великая ложь нашего времени» – частично), в 1996 году (в книге *Победоносцев К. П.: pro et contra.* – СПб.: Российский

Христианский Гуманитарный Институт, 1996. – 576 с.; в сборнике «Церковь и демократия» – три статьи из «Московского сборника»: «Великая ложь нашего времени», «Печать» и «Новая демократия», опубликованы с сокращениями), в 2009 году (СПб: Русская симфония).

¹ Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi (лат.) – Если хочешь, чтобы я плакал, ты должен прежде всего сам испытывать боль.

² Патер Гиацинт, мирское имя Шарль Лойзон (род. в 1827 г.) – проповедник старокатолического движения, член ордена кармелитов. Отлучен папой Пием IX от Католической церкви.

³ Фридрих-Вильгельм IV (1795–1861) – король Пруссии из династии Гогенцоллернов (с 1840 г.), старший сын Фридриха Вильгельма III и Луизы Мекленбург-Стерлицкой, брат Вильгельма I.

⁴ Риль Алоиз (1844–1924) – немецкий философ, профессор философии, сторонник критического реализма, отвергавший метафизику, стремясь создать строго научную философию. Тем не менее вместе с теоретической научной философией как общим учением о науке он признавал существование практической философии, вырабатывающей человеческие идеалы, которая рассуждает не о том, что есть, а о том, что должно быть, апеллируя к благоразумию и вере в добро.

⁵ Франкфуртский парламент 1848/1849 годов – Германское национальное собрание 1848–1849 годов, созданное в результате Мартовской революции и создавшее в 1849 году во Франкфурте-на-Майне общегерманскую конституцию, учреждавшую конституционную монархию во главе с наследным кайзером.

⁶ Эмансипация католиков в Англии была осуществлена посредством парламентского акта (Catholic Emancipation Act), принятого 5 марта 1829 года. После ожесточенной борьбы документ прошел голосование и был подписан королем, став законом. Им упразднялся Тест-Акт и все другие акты, стесняющие права католиков, введена новая присяга, которую могли приносить и католики.

⁷ Кавур Камилло Бензо ди (1810–1861) – граф, итальянский государственный деятель, дипломат и премьер-министр Сардинского королевства, способствовавший объединению Италии под скипетром сардинского монарха, первый премьер-министр Италии (1861 г.), автор лозунга «Свободная церковь в свободном государстве».

⁸ Crescit indulgens sibi (лат.) – Возникает из снисходительности к себе.

⁹ Речь идет о Бисмарке.

¹⁰ «Велика Артемида Ефесская!» – так, согласно Писанию (Деян. 19:25–28), кричали ремесленники во главе с серебряником Димитрием в ответ на проповедь святого Апостола Павла. Храм Артемиды (богини охоты, плодородия) был религиозным и экономическим центром Ефеса, поэтому христианской проповеди, подрывавшей престиж Артемиды, опасались не только жрецы, но также ремесленники и купцы из материальных соображений.

¹¹ Фукидид (ок. 460–400 г. до н. э.) – древнегреческий историк, участник и описатель Пелопонесской войны (до 411 г. до н. э.).

¹² *Mutato nomine* (лат.) – под другим именем.

¹³ *Mundus vult decipi – decipiatur* (лат.) – Мир желает быть обманутым, пусть будет обманут.

¹⁴ С сентября 1814 года по июнь 1815 года под председательством австрийского дипломата графа Меттерниха проходил Венский конгресс, на котором устанавливались новые границы государств Европы после наполеоновских войн. В конгрессе участвовали все страны Европы, кроме Османской империи. В феврале 1815 года Наполеон бежал с острова Эльба, 20 марта вступил в Париж, начав «Сто дней» своего последнего правления; 25 марта создана антифранцузская коалиция, куда вошли Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия; 9 мая вышел манифест «О договорах, заключенных к пользе государственной»: к Российской Империи присоединяется часть герцогства Варшавского под именем Царства Польского, Австрия получила Галицию, Пруссия – Познаньскую и Краковскую республику. 8 июня на Венском конгрессе создан Германский союз, куда вошли 39 германских государств; 18 июня Наполеон разбит при Ватерлоо, в результате он отрекся от престола; 9 июля во Франции образовано правительство во главе с Ш. Талейраном (1754–1838) и Ж. Фуше (1759–1820) (оба служили и Директории, и Наполеону); 7 августа принята новая конституция Швейцарии; 26 сентября произошло создание «Священного союза» (Россия, Пруссия, Австрия) для поддержания международного порядка, установленного на Венском конгрессе; 20 ноября между участниками антифранцузской коалиции – Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией – подписан второй Парижский мирный договор (первый был подписан 30 мая 1814 года между Россией, Великобританией, Австрией, Пруссией с одной стороны и Людовиком XVIII – с другой, позднее к нему присоединились Швеция, Испания и Португалия. Договор возвращал Францию в границы 1792 года, за небольшими исключения-

ми); 27 ноября Царство Польское, вошедшее в состав Российской Империи, получило конституцию.

¹⁵ Речь идет о восстании декабристов (членов различных тайных обществ) на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года. Единой программы действий у восставших не было. Проект конституции Северного общества (автор Н. М. Муравьев) предполагал образование Российской федерации в составе 15 «держав», превращение страны в парламентскую монархию и отмену крепостного права с наделением крестьян землей по 2 десятины на двор (было необходимо в 2 раза больше). «Русская правда» П. И. Пестеля представляла Россию единой республикой с сильной централизованной властью и землей в общинной собственности. На Сенатской площади восставшие требовали утверждения Сенатом «Манифеста к русскому народу», который составляли накануне барон В. И. Штейнгель, Н. А. Бестужев, С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев, но единой редакции манифеста не существовало. Декларировались: отмена крепостное права, причем вопрос о наделении крестьян землей не оговаривался, отмена подушной подати, отставка всех нижних чинов, прослуживших 15 лет, передача высшей власти временной диктатуре из 2–3 человек, которые разработали бы порядок выборов в представительный орган, создали вместо полиции «внутреннюю народную стражу», органы местного самоуправления, суды присяжных, распустили постоянную армию.

¹⁶ Речь идет о следующих парижских восстаниях: восстании 10 августа 1792 года, закончившимся арестом короля Людовика XVI и ликвидацией монархии во Франции; о восстании 27 июля 1830 года в защиту Конституционной хартии 1814 года, приведшем к отречению от престола короля Карла X и воцарению Луи Филиппа; о восстании 22 февраля 1848 года, увенчавшемся ликвидацией Июльской монархии и установлением во Франции Второй республики (1848–1852 гг.).

¹⁷ 4 сентября 1797 года члены Директории при помощи армии, присланной Наполеоном Бонапартом, осуществили в Париже государственный переворот, в результате которого сторонники Директории пришли к власти вопреки монархическому большинству, сложившемуся в Совете старейшин.

¹⁸ 9–10 ноября 1799 года Наполеон Бонапарт под предлогом борьбы с якобинством осуществил государственный переворот, приведший к упразднению Директории, установлению консульства и укреплению власти самого Наполеона.

¹⁹ 2 декабря 1851 года Наполеон (будущий Наполеон III) присвоил себе исключительные полномочия, а 2 декабря 1852 года провозгласил себя императором.

²⁰ В результате разгрома наполеоновских войск в 1813–1814 годах и вступления войск антинаполеоновской коалиции в Париж 30 марта 1814 года Наполеон Бонапарт отрекся от престола. На трон вступил король Людовик XVIII. В 1815 году бежавший из ссылки и осуществивший стодневное правление Наполеон потерпел поражение в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года, а 22 июня 1815 года он вновь отрекся от престола. В результате неудачного для Франции хода Франко-Прусской войны (1870–1871 гг.) и пленения прусскими войсками Наполеона III 4 сентября 1870 года в Париже произошла революция, восстановившая во Франции республику. Президентом Третьей республики, провозглашенной после Парижской коммуны («диктатуры пролетариата», длившейся с 18 марта по 28 мая 1871 г.), стал Адольф Тьер.

²¹ Во время испанской революции (1808–1814) было созвано учредительное собрание в Испании (Кадисские кортесы), начавшееся 24 сентября 1810 года на о. Леон, окончившееся 20 сентября 1813 года в Кадисе. Кадисскими кортесами 18 марта 1812 года была принята конституция.

²² Фердинанд VII (1784–1833) – сын Карла IV, король Испании (в марте-мае 1808 г. и с 1814 г.), ликвидировавший Кадисскую конституцию после падения Наполеона.

²³ Риего-и-Нуньес Рафаэль дель (1785–1823) – испанский революционер, один из лидеров партии эксальтадос, возглавивший восстание 1 января 1820 года, с которого началась испанская революция 1820–1823 годов.

²⁴ Имеется в виду четвертая жена испанского короля Фердинанда VII Мария Кристина де Бурбон (1806–1878), принцесса обеих Сицилий, дочь Франциска I и Марии Изабеллы Испанской, регент испанской королевы Изабеллы II (в 1833–1840 гг.).

²⁵ Изабелла II (1830–1904) – королева Испании (с 1833 по 1868 г.).

²⁶ Альфонс XII (1857–1885) – испанский король (с 1874 г.), сын Изабеллы II.

²⁷ Луций Элий Аврелий Коммод (161–192) – римский император, последний представитель династии Антонинов, семикратный консул, восемнадцатикратный трибун, сын Марка Аврелия и Фау-

стины Младшей. Его разврат, бессмысленная жестокость и пренебрежение общественными нормами были поразительны даже для языческого Рима.

²⁸ Фридрих Вильгельм IV.

²⁹ Мэн Генри Джемс Семнер (1822–1888) – английский юрист и историк.

³⁰ Посредник.

³¹ Авгуры – члены почетной древнеримской жреческой коллегии, толковавшие волю богов на основании гаданий.

³² Парламент, палата депутатов.

³³ Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ, социолог, основатель органической школы в социологии, сторонник эволюционизма и либерализма.

³⁴ Впервые опубликовано: [*Победоносцев К. П.*] Герберт Спенсер о народном воспитании (*The Study of Sociology*. XV) // *Гражданин*. – 1873. – № 43. – С. 1150–1152.

³⁵ Птолемея астрономическая система – геоцентрическая система мира, созданная древнегреческим астрономом Птолемеем, утверждавшим, что все небесные светила двигались вокруг статичной Земли.

³⁶ Коперник Николай (1473–1543) – польский астроном, математик, экономист, создатель гелиоцентрической системы мира.

³⁷ Гностицизм – религиозное учение, возникшее в начале нашей эры, включающее элементы античных и восточных пантеистических религий, Христианства, иудаизма. Адепты гностицизма считали себя участниками тайного знания – Гносиса. Духовный мир противопоставлялся гностиками материальному миру, считавшемуся детищем темных сил – Демиурга, который противопоставлялся Богу, как высшему зону, стоящему во главе нематериального мира, из которого происходят носители Гносиса. Соединить их с высшим миром, согласно гностицизму, освободить их пришел на землю Христос или любой другой спаситель, посланный от Бога. В сектах гностиков нередко добро было названо злом, а зло – добром, проповедовалась «преступная мораль» и разрушение дел Иеговы. Гностическая секта каинитов почитала Иуду-предателя, имея его евангелие с «тайными знаниями». Спаситься, по их представлениям, можно было только пройдя через все виды греха. Христос был для гностиков или обычным человеком, или частью какого-то сложного существа, Святой Дух они называли

Его женской четой. Так или иначе уничтожалось значение Личности Спасителя в христианском понимании. Первым учителем гностицизма считается Симон Волхв, упоминаемый в Деяниях святых Апостолов. «Я, – говорил он, – слово Божие, я обладаю истинной красотой, я – Утешитель, я – всемогущ, я – все, что есть в Боге». «Тут, – говорит Франк (знаток каббалы, считавшей ее источником гностицизма. – О. С.), – нет ни одного выражения, не соответствующего какой-нибудь “сефироте” Каббалы. Симон Волхв называл божественной “мыслью” (Энной) известную свою подругу Елену. Он сам представлял “Мудрость” (каббалистическая Хохма), мужской принцип, а Елена – “Мысль, разумение” (Бина Каббалы) – женский принцип» (Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. – М., 2008. – С. 198). Л. А. Тихомиров считал, что в основе как каббалы, так и гностицизма лежит древнее языческое представление о мире, как эманации божества и разделение божества на два пола. Идеи гностицизма во многом воплощены в русской религиозной философии конца XIX – начала XX века.

³⁸ Пашковцы, прохановцы, редстокисты – секта протестантского толка, основанная в конце XIX века гвардии полковником Василием Александровичем Пашковым, последователем миссионера из плимунтских братьев лорда Гренвиля Вальдигрева Редстока, имевшего немало поклонников своего учения в среде русской аристократии. Согласно пашковцам, все верующие во Христа спасены, независимо от своих поступков и нравственного состояния, каждый уверовавший имеет право толковать Евангелие. Пашковцы отвергают Таинства, почитание икон, святых и церковную иерархию.

³⁹ Сютяевцы (сютяевцы) – религиозная секта, основанная крестьянином Василием Кирилловичем Сютяевым (1819–1892). Сютяевцы считали любовь главной чертой христианства, стремились к установлению путем самосовершенствования царства любви, гармонии, братства и труда на земле, из отсутствия любви выводили все несправедливости и главное из них – войну. При этом они отвергали Церковь, Таинства, учение Церкви о загробном мире, не признавали иконы, святые мощи, пост, богослужение, молитву, присягу, собственность.

⁴⁰ Нигилизм (от лат. nihil – ничто) – мировоззренческая позиция, выражающаяся в отрицании осмысленности человеческого существования, значимости общепринятых нравственных и культурных ценностей; непризнание любых авторитетов.

⁴¹ Курций Марк – римский юноша, который, согласно легенде, в 362 году до н. э. бросился в пропасть в середине форума, которую можно было заполнить, по словам прорицателя, только «лучшим благом Рима», иначе городу грозила величайшая опасность. Тогда Курций, сказав: «Нет лучшего блага в Риме, как оружие и храбрость!», вооруженный и на коне бросился в пропасть, которая после этого сомкнулась.

⁴² Мост Сарат (Сират) – согласно мусульманству, мост, протянутый над адом, который праведники проходят, а грешники падают с него в ад.

⁴³ Свифт Джонатан (1667–1745) – английский и ирландский писатель-сатирик, поэт, публицист, общественный деятель, настоятель собора святого Патрика, автор «Путешествия Гулливера».

⁴⁴ *Tabula rasa* (лат.) – очищенная табличка, белый лист.

⁴⁵ Гельпс Артур (1813–1875) – английский писатель, посвящавший свои работы политическим и социальным вопросам.

⁴⁶ Тальони (Талиони) – итальянская семья артистов балета и балетмейстеров.

⁴⁷ «Московские ведомости» – газета, принадлежавшая Московскому университету, издававшаяся в 1756–1917 годах в Москве. Со времени редакторства М. Н. Каткова (1863 г.) издание приобретает репутацию консервативного печатного органа.

⁴⁸ «Неделя» – еженедельная литературно-политическая газета либерального направления, основанная по инициативе министра внутренних дел П. А. Валуева, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1866–1901 годах.

⁴⁹ «Вестник Европы» – российский литературно-политический толстый журнал умеренно либерального направления, основанный М. М. Стасюлевичем, выходивший в Санкт-Петербурге в 1866–1918 годах.

⁵⁰ *Ad astra* (лат.) – к звездам.

⁵¹ *In anima vili* (лат.) – в воздухе простота.

⁵² *Quel est mon mestier* (франц.) – В чем мое дело?

⁵³ Монтень Мишель Эйкем де (1533–1592) – французский писатель, философ, автор книги «Опыты», посвященной самонаблюдению, самоиспытанию и анализу природы человеческого духа.

⁵⁴ Пс. 113:12–16.

⁵⁵ Дантон Жорж Жак (1759–1794) – юрист, масон, один из основателей Первой французской республики, министр юстиции, со-

председатель клуба кордельеров, первый председатель Комитета общественного спасения.

⁵⁶ Робеспьер Максимилиан Франсуа Мари Исидор де (1858–1894) – глава якобинцев, один из лидеров Великой Французской Революции.

⁵⁷ Марат Жан-Поль (1743–1793) – лидер якобинцев, сторонник смягчения уголовного законодательства и при этом сторонник революционного террора, один из предводителей Великой Французской революции, журналист, издатель газеты «Друг народа».

⁵⁸ Кали – в индийской мифологии темная часть бога Шивы, богиня-мать, связанная с богом огня, символ разрушения. Некоторые ее почитатели считают, что она разрушает невежество, благословляет и освобождает стремящихся к богопознанию, поддерживает мировой порядок.

⁵⁹ Тулси (Тульчи) Дас (1532–1624) – индийский поэт.

⁶⁰ Браман (брахман) – жрец религии брахманизма; в индийской философии (веды, йога) брахман – безличный, индифферентный абсолют, «душа мира», первооснова всех вещей.

⁶¹ Веды (санскр.) – знание, учение, самые древние священные книги индийцев на санскрите, включающие гимны, молитвы, толкования ритуалов.

⁶² Baumgartner A. Die Literaturen Indiens und Ostasiens. Freiburg, 1897. – *Примеч. К. П. Победоносцева.*

⁶³ De omni re scibili et quibusdam aliis (лат.) – обо всех вещах, доступных познанию, и о некоторых других.

⁶⁴ Ин. 1:1.

⁶⁵ См.: Гете И. В. Фауст. Ч. 1. Сцена 3.

⁶⁶ Прометей – в древнегреческой мифологии титан, защищавший людей от произвола богов. Имя «Прометей» значит «мыслящий прежде», «предвидящий», имя его брата – Эпиметей – переводится как «думающий после».

⁶⁷ Зевс – в древнегреческой мифологии главный бог-олимпиец, ведающий всем миром, бог неба, грома и молний.

⁶⁸ Тифон – в древнегреческой мифологии огнедышащее чудовище о ста головах.

⁶⁹ Ехидна – в древнегреческой мифологии полуженщина-полузмея.

⁷⁰ Тартар – в древнегреческой мифологии одушевленная бездна в недрах земли, находящаяся под Аидом, место обитания низвергнутых Зевсом титанов, циклопов, царство мертвых.

⁷¹ См.: Мф. 10:34.

⁷² Деян. 1:6, 7.

⁷³ 1 Ин. 5:4.

⁷⁴ Мф. 16:18.

⁷⁵ См.: Мф. 23:8, 15.

⁷⁶ Мф. 18:10.

⁷⁷ Руми Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад (1207–1273) – персидско-таджикский поэт-суфий.

⁷⁸ Дюран-Гревиль Алиса (1842–1902) – французская писательница.

⁷⁹ Сили Джон Роберт (1834–1895) – английский эссеист, профессор новой истории в Кембридже, автор трудов “Ессе Номо: a survey of the life and work of Jesus Christ” – «Се Человек: обозрение жизни и труда Иисуса Христа» (1865), “Natural religion” – «Натуральная религия» (1892).

⁸⁰ Sedet aeternumque sedebit (лат.) – сидит и вечно будет сидеть.

⁸¹ Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, ученый, родоначальник немецкой классической философии, соединивший в своем творчестве две эпохи – Просвещение и Романтизм, автор «Критики чистого разума» (1781 г.), «Критики практического разума» (1788 г.) и «Критики способности суждения» (1790 г.). И. Кант утверждал невозможность существования нравственности без Бога.

⁸² Элиот Джордж, настоящее имя – Мэри Анн Эванс (1819–1880) – английская писательница, тайно опубликовала в 1846 году перевод «Жизни Иисуса» Д. Ф. Штрауса, в 1854 году – перевод «Сущности христианства» Л. Фейербаха, в 1856 году – перевод «Этики» Спинозы, автор романов «Миддлмарч» (1871–1872 гг.), «Дэниэл Деронда» (1876 г.).

⁸³ Марли (Морлей) Джон (1838–1923) – английский писатель, критик, сторонник позитивизма, журналист, редактор, государственный деятель либерального и антиклерикального направления, неоднократно занимал министерские посты, в течение пяти лет управлял Индией, проводя жесткую политику в отношении местного населения.

⁸⁴ См.: 1 Кор. 8.

⁸⁵ Штраус Давид Фридрих (1808–1874) – немецкий философ, теолог, историк, публицист, автор книги «Жизнь Иисуса, критически переработанная» (1835–1836 гг.), отрицающей историческую достоверность евангельских преданий, отвергающей Божественность

Иисуса Христа; автор книги «Старая и новая вера» (1872 г.), проповедовавшей пантеистическую религию и зависимость человека от мировой закономерности.

⁸⁶ De officiis (лат.) – «Об обязанностях».

⁸⁷ Говард Джон (1726–1790) – английский юрист, создатель социологического метода в юриспруденции, филантроп, тюремный реформатор, много сделавший для преобразования мест заключения преступников и тюремного режима, исследователь массовых инфекционных заболеваний в Европе.

⁸⁸ Вашингтон Джордж (1732–1799) – американский государственный деятель, первый президент США (1789–1797), главнокомандующий Континентальной армией во время войны за независимость в Северной Америке в 1775–1783 годах.

⁸⁹ Ин. 18:37.

⁹⁰ См.: Быт. 3:5.

⁹¹ Лаплас Пьер-Симон (1749–1827) – французский математик, физик, астроном, один из создателей теории вероятностей, автор работ в области небесной механики, дифференцированных уравнений, член Французского географического общества.

⁹² Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882) – английский натуралист, путешественник, автор эволюционной теории происхождения живых организмов, изложенной в книге «Происхождение видов путем естественного отбора, или Выживание благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (1859 г.). Дарвин изучал англиканскую теологию в Кембридже, желая стать пастором. Представители креационистского направления современной науки не принимают теорию Дарвина. (См.: *Священник Тимофей*. Православное мировоззрение и современное естествознание. – М.: Паломник, 1998. – 208 с. Автор книги, имеющий инженерно-физическое образование, на основании новейших достижений целого ряда наук доказывает несостоятельность дарвиновской теории). Противоречия Библии, теория Дарвина находится в гармонии с древним халдейским пантеистическим учением, в разной степени воспринятым позднее каббалой, гностицизмом и манихейством, о возникновении мира и даже божества из хаоса, борьбой его с этим хаосом.

⁹³ Ньютон Исаак (1642–1727) – английский физик, астроном, математик, один из создателей классической физики, автор закона всемирного тяготения и трех законов механики, ставших основой классической механики.

- ⁹⁴ *Dii minorum gentium* (лат.) – боги младших родов.
- ⁹⁵ *Verbum magistri* (лат.) – главное слово.
- ⁹⁶ *Mens sana in corpore sano* (лат.) – в здоровом теле – здоровый дух.
- ⁹⁷ *Status quo* (лат.) – существующее положение вещей.
- ⁹⁸ Саллет, Заллет Фридрих фон (1812–1843) – немецкий поэт, сказочник, писатель, сатирик, позднее – религиозный мыслитель.
- ⁹⁹ Карус Карл Густав (1789–1869) – немецкий ученый, зоолог, врач (гинеколог, анатом, патолог, психолог), художник, теоретик романтизма в искусстве, друг Гете и автор его биографии (1863 г.).
- ¹⁰⁰ Волластон Уильям Хайд (1766–1828) – английский врач, ученый, физик, химик, открывший палладий (1803 г.), родий (1804 г.), впервые получивший в чистом виде платину (1803 г.), независимо от И. Риттера открыл ультрафиолетовое излучение (1801 г.), изобрел гальванический элемент, носящий его имя.
- ¹⁰¹ Первая часть раздела статьи «Церковь» представляет собой воспроизведение статьи IV раздела «Русских листков из-за границы»: К вопросу о воссоединении Церквей // Гражданин. – 1873. – № 33. – С. 893–896. – О. С.
- ¹⁰² Вторая часть раздела статьи «Церковь» представляет собой воспроизведение части статьи III раздела «Русских листков из-за границы»: Вестминстерское аббатство // Гражданин. – 1873. – № 32. – С. 870–873. – О. С.
- ¹⁰³ Третья часть раздела статьи «Церковь» представляет собой воспроизведение статьи II раздела «Русских листков из-за границы»: В протестантских храмах // Гражданин. – 1873. – № 31. – С. 848, 849. – О. С.
- ¹⁰⁴ Монах-регент, объявляющий сначала глас, потом слова канона, которые поются обоими клиросами попеременно.
- ¹⁰⁵ М. Ю. Лермонтов, стихотворение, посвященное М. А. Щербатовой.
- ¹⁰⁶ Вымышленное имя.
- ¹⁰⁷ «*E sempre bene*» – в итальянском языке означает ироничное, насмешливое одобрение.
- ¹⁰⁸ *Quos ego* (лат.) – Вот я вас!
- ¹⁰⁹ Лаиса – древнегреческая гетера.
- ¹¹⁰ Валерия Мессалина (ок. 17/20–48) – третья жена римского императора Клавдия, мать Британика и Клавдии Октавии, известная своей влиятельностью и распутством.

¹¹¹ Ватто Жан Антуан (1864–1721) – французский художник, основоположник стиля рококо.

¹¹² Ворт – сахариновая жидкость из воды, солода и зерна для изготовления пива, эля, портера, спирта и виски.

¹¹³ Franchement, après tout (франц.) – откровенно, после всего.

¹¹⁴ Расин Жан Батист (1639–1699) – французский драматург.

¹¹⁵ Речь идет об искренне раскаявшейся грешнице, ставшей святой женой-мироносицей, Марии, сестре свв. Марфы и Лазаря Четверодневного, которую простил Спаситель (См.: Мф. 26:7–13; Лк. 7:37–50; Ин. 11:1,2; 12).

¹¹⁶ Гарпагон – главный герой комедии французского драматурга Мольера «Скупой», отличавшийся беспримечной жадностью.

¹¹⁷ Ксенофонт (ок. 444–355 или 354 гг. до н. э.) – древнегреческий писатель, историк, полководец, ученик Сократа, автор «Анабасиса Кира».

¹¹⁸ Фемистокл (537 до н. э. – 459 до н. э.) – афинский государственный деятель, полководец Греко-Персидских войн (500–449 гг. до н. э.).

¹¹⁹ См.: Ин. 18:37.

¹²⁰ Халдея – территория в области устьев рек Тигра и Ефрата, населенная семитским народом.

¹²¹ Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт, один из основателей литературного итальянского языка, автор «Комедии», названной Бокаччо «Божественной». Петрарка Франческо (1304–1374) – итальянский поэт. Мильтон Джон (1608–1674) – английский поэт, политический деятель, мыслитель, автор поэмы «Потерянный рай».

¹²² Кромвель Оливер (1599–1658) – лидер индепендентов (конгрегационалистов), отрицавших необходимость вселенской или национальной Церкви, утверждая автономию каждого прихода, вождь английской революции 1640–1660 годов, генерал-лейтенант парламентской армии (1643–1650), лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии в 1653–1658 годах.

¹²³ Имеется в виду шведская королева Христина, Кристина (1626–1689), дочь Густава II Адольфа и Марии Элеоноры Бранденбургской, правившая в 1632–1654 годах.

¹²⁴ Речь идет о Френсисе Бэконе (1561–1626).

¹²⁵ Бенедикт Спиноза, урожденный Барух Спиноза (1632–1677) – нидерландский философ-рационалист, тяготеющий к каббалистической картине мира, хотя и критиковавший каббалистов.

¹²⁶ Лейбниц Готфрид Вильгельм фон (1646–1716) – немецкий философ, юрист, историк, языковед, математик, физик, изобретатель, дипломат.

¹²⁷ Линней Карл (1707–1778) – шведский врач, естествоиспытатель, создатель единой системы растительного и животного мира, член Королевской академии наук Швеции (с 1739 г.), а также Парижской академии наук (с 1762 г.).

¹²⁸ Гаусс Иоганн Карл Фридрих (1777–1855) – немецкий математик, астроном, геодезист, физик, развивший теорию капиллярности, теорию системы линз, заложил основы математической теории электромагнетизма, ввел понятие потенциала электрического поля, разработал систему электромагнитных единиц измерения, вместе с Вебером сконструировал первый электрический телеграф.

¹²⁹ Лев XIII (1810–1903) – Римский папа (1878–1903 гг.).

¹³⁰ Энциклика – послание Римского папы, обращенное ко всем католикам.

¹³¹ Волапюк – международный искусственный язык, созданный баденским пастором Иоганном Мартином Шлейером в 1879 году.

¹³² Лясковский Николай Эрастович (1816–1871) – ординарный профессор химии в Московском университете (1859–1871 гг.), фармаколог, действительный член Московского общества испытателей природы (1847), почетный член Императорского общества естествознания, антропологии и этнографии (1871 г.), знаток древних языков.

¹³³ «Claude Januam»... «Clausam est» (лат.) – «Запри дверь»... «заперта».

¹³⁴ Absit omen! (лат.) – Да не будет это дурным знаком!

¹³⁵ Рим. 13:1.

¹³⁶ Мк. 9:35.

¹³⁷ Deorum minorum gentium (лат.) – боги младших родов.

¹³⁸ Dii majorum gentium (лат.) – боги старших родов.

¹³⁹ См.: Иер. 48:10, где говорится о проклятии всякого, творящего дело Божие с небрежением.

¹⁴⁰ Пирр (319/318–273/272 до н. э.) – полководец, один из опаснейших противников Рима, гегемон Эпирского союза (в 306–301 и 297–292 гг. до н. э.), царь Молоссы и Македонии (в 288–284 и 273–272 гг. до н. э.).

¹⁴¹ Александр Македонский, Александр Великий (356–323 гг. до н. э.) – полководец, государственный деятель, царь Македонии из династии Аргеадов (с 336 г.).

¹⁴² Публий Вергилий Марон (70–19 гг. до н. э.) – древнеримский поэт, создатель нового типа эпической поэмы, автор «Энеиды».

¹⁴³ Мф. 6:3.

¹⁴⁴ **The Impregnable Rock of Holy Scripture (англ.) – Неприступная скала Священного Писания.**

¹⁴⁵ См.: Мк. 12:31.

¹⁴⁶ Мюллер Фридрих Максимилиан (1823–1900) – немецкий и английский филолог, лингвист, историк религии, индолог, специалист по мифологии, утверждавший, что при помощи знания древних языков можно раскрыть истинный смысл религиозной веры древних людей, считавший мифы «болезнью языка»; автор работ «Очерки сравнительной мифологии» (1856) и «Наука о языке» (1861–1863).

¹⁴⁷ Мф. 7:29.

¹⁴⁸ Emerson. Society and Solitude – **Эмерсон. Общество и уединение.** (Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882) – американский поэт, эссеист, философ, автор произведения «Дела и дни», перевод главы из которого публикует К. П. Победоносцев).

¹⁴⁹ Мак-Кормик Линдер Джеймс (1819–1900) – американский изобретатель.

¹⁵⁰ Бэббидж Чарльз (1791–1871) – английский математик, изобретатель первой универсальной цифровой вычислительной машины (1833 г.), член-корреспондент Императорской академии наук в Санкт-Петербурге (1832 г.).

¹⁵¹ Тюрло Эдуард (1732–1806) – английский юрист, государственный деятель, член Палаты общин (с 1768 г.), лорд-канцлер (с 1778 г.), советник короля.

¹⁵² Кобольды – в северно-европейской мифологии духи шахты и домашнего очага.

¹⁵³ Имеется в виду строительство судоходного канала на Панамском перешейке, соединяющего Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Строительство Панамского канала проходило с 1879 по 1920 год.

¹⁵⁴ Речь идет о строительстве Суэцкого канала – судоходного канала в Египте, соединяющего Средиземное и Красное моря, являющегося кратчайшим водным путем между Индийским и Атлантическим океанами. Канал открыт в 1869 году.

¹⁵⁵ Мальтус Томас Роберт (1766–1834) – английский ученый, демограф, экономист, священник, утверждал, что народонаселение растет в геометрической, а средства существования – в арифмети-

ческой прогрессии, что должно привести к голоду при бесконтрольном росте населения.

¹⁵⁶ Тантал – в древнегреческой мифологии царь, за тяжкие преступления осужденный богами находиться в подземном царстве в непосредственной близости питья и пищи и не иметь возможности утолить голод и жажду, поскольку ветви с плодами и вода отдалялись, как только он пытался их коснуться.

¹⁵⁷ Архимед (287–212 гг. до н. э.) – древнегреческий ученый, математик, физик, инженер, механик, изобретатель, во время второй Пунической войны (в возрасте 75 лет) построивший метательные машины, забрасывавшие римские войска тяжелыми камнями, краны, захватывавшие железными крюками корабли противника.

¹⁵⁸ Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.) – древнегреческий поэт.

¹⁵⁹ Речь идет об императоре Наполеоне I Бонапарте (1769–1821).

¹⁶⁰ Речь идет о диалоге Платона «Тимей».

¹⁶¹ Гумбольдт Александр (1769–1859) – немецкий ученый естествоиспытатель, путешественник, географ, автор работы «Космос», содержащей сведения по всем областям знаний первой половины XIX века.

¹⁶² Вишну – верховное божество индуизма, либо одна из пяти форм бога, его аватары – Рама и Кришна. Майя – в индийской мифологии богиня-иллюзия.

¹⁶³ Юм Дэвид (1711–1776) – английский и шотландский философ, представитель эмпиризма, историк, публицист, экономист.

¹⁶⁴ Нибур Бартольд Георг (1776–1831) – немецкий историк античности, специалист в области филологических обоснований исторического исследования.

¹⁶⁵ Мюллер Карл-Отфрид (1797–1840) – немецкий исследователь древности, историк искусства и мифа.

¹⁶⁶ Лэйярд Остин Генри (1817–1894) – английский археолог, один из первооткрывателей ассирийской цивилизации, основоположник ассиро-вавилонской археологии, руководитель раскопок Ниневии, помимо других артефактов нашедший 30 тысяч глиняных табличек, датированных VII в. до н. э. (ритуальные тексты, медицинские, философские, математические, астрономические, филологические трактаты, царские указы, исторические анналы, дворцовые записи, мифы, песни, гимны); с 1868 года – министр общественных сооружений, в 1877–1880 годах – посол в Стамбуле.

¹⁶⁷ Нимрод (Нимврод) – ветхозаветный месопотамский царь, богатырь, охотник, строитель Вавилонской башни, сын Хуша, внук Хама.

¹⁶⁸ Хари, Гари – в индийской мифологии одно из имен бога Вишну.

¹⁶⁹ Аполлон, Феб – в древнегреческой мифологии бог света, наук, искусств, врачеватель, предводитель муз, охранитель стад, предсказатель будущего, покровитель путешественников.

¹⁷⁰ *Сведенборг* Эммануил (1688–1772) – сын Еспера Сведенборга, профессора богословия в Упсальском Университете, позднее ставшего епископом, шведский ученый, изобретатель, естествоиспытатель, математик, анатом, физиолог, экономист, геолог, химик, родоначальником минералогии, физиологии мозга, теософ. *Ганеман* Христиан Фридрих Самуэль (1755–1843) – основатель гомеопатии.

¹⁷¹ Гомер (VIII в. до н. э.) – древнегреческий поэт, автор поэм «Илиада» и «Одиссея».

¹⁷² Вордсворт Уильям (1770–1850) – английский поэт-романтик.

¹⁷³ Плиний Старший, Гай Плиний Секунд (23/24–79) – римский государственный деятель, писатель, ученый, автор «Естественной истории», дядя Плиния Младшего.

¹⁷⁴ По свидетельству Ксенофонта, Главкон был юным собеседником Сократа, желавшим занять высокую государственную должность.

¹⁷⁵ Сезострис – египетский царь, полководец, законодатель.

¹⁷⁶ Франклин Бенджамин (1706–1790) – американский политический деятель, один из лидеров войны за независимость Америки в 1775–1783 годах, дипломат, ученый, журналист, издатель, масон.

¹⁷⁷ Марс – в древнеримской мифологии один из трех главных богов (Юпитер, Марс, Квирин), бог плодородия, позднее – бог войны.

**ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА,
НЕ ВОШЕДШИЕ В ДАННЫЙ СБОРНИК**

1. Вечная память. Воспоминания о почивших. – М.: Издание К. П. Победоносцева, 1896. – 114 с.
2. Гражданское судопроизводство. Лекции профессора Победоносцева. – М.: Университетская типография, 1862. – 534 с.
3. Записка о гражданском судопроизводстве // Материалы по судебной реформе в России. – Т. 26. – Ч. 6. – СПб., 1862. – С. 1–31.
4. Историко-юридические акты переходной эпохи XVII–XVIII веков. – М.: Общество любителей истории и древностей российских при Московском Университете, 1887. – 294 с.
5. Исторические исследования и статьи. – СПб.: Типография Министерства путей сообщения, 1876. – 352 с.
6. Конечная цель жизни // Тайный правитель России. – М.: Русская книга, 2001. – С.366–401.
7. Курс гражданского права. В 3 т. – СПб.: Синодальная типография, 1868–1892.
8. Материалы по истории приказного делопроизводства в России. – М.: Университетская типография, 1890. – 175 с.
9. Новая школа. – М.: Синодальная типография, 1898. – 120 с.
10. Новые путешествия по Востоку. – М. Русский вестник, 1863. – 543 с.
11. Новый Завет в переводе К. П. Победоносцева. – СПб.: Российское библейское общество, 2000. – 632 с.
12. О реформах в нашем богослужении // Сочинения. – СПб.: Наука, 1996. – С. 203–211.
13. Бабет И. Письма о путешествии Государя Наследника по России от Петербурга до Крыма. – М., 1864. – 568 с.
14. Плоды демократии в начальной школе // Тайный правитель России. – М.: Русская книга, 2000. – С. 490–495.
15. Приключения чешского дворянина Вратислава в Константинополе и в тяжелой неволе у турок с австрийским посольством. – СПб., 1877. – 387 с.
16. Секты и вероучения в США. – СПб.: Синодальная типография, 1896. – 160 с.
17. Судебное руководство. – СПб., 1872. – 554 с.
18. Ученье и учитель // Тайный правитель России. – М.: Русская книга, 2000. – С. 447–489.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВО

Реформы	5
О жалобах на действия должностных лиц административного ведомства	5
О реформах в гражданском судопроизводстве	18
Судебная реформа	131
Московские воспоминания	173
Самоуправление	179
Ле-Пле	179
Свобода самоопределения	207
Свобода, равенство и братство	207
Франция: взгляд на теперешнее ее состояние	241
Новейшая английская литература по восточному вопросу	249
Испания	265
Государство и Церковь	277
Борьба государства с Церковью в Германии	277
Церковные дела в Германии	287
Церковь и государство в Германии	294

МОСКОВСКИЙ СБОРНИК

Церковь и государство.....	301
Новая демократия	320
Великая ложь нашего времени.....	331
Суд присяжных	352
Печать	354
Народное просвещение	365
Герберт Спенсер о народном воспитании.....	372
Закон.....	379
Болезни нашего времени.....	385
Знание и дело	428
Вера.....	430
Идеалы неверия	445
Новая вера и новые браки	458
Новое Христианство без Христа.....	467
Духовная жизнь.....	472
Церковь.....	484
Характеры.....	491
Древние классические языки в школе.....	515
Власть и начальство	520
Из Карлейля.....	538
Гладстон об основах веры и неверия.....	545
Дела и дни.....	555
КОММЕНТАРИИ.....	574
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДАННЫЙ СБОРНИК	617

Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 12 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 50 томов).

Редактор Л. А. Попенова
Корректор А. А. Полякова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 05.04.2011 г. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Объем 30,5 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (<i>вышел</i>)	Русская икона и религиозная живопись в двух томах (<i>вышли</i>)
Русское Православие в трех томах (<i>вышли</i>)	Русская архитектура и скульптура
Русское государство (<i>вышел</i>)	Русская живопись
Русский патриотизм (<i>вышел</i>)	Русский театр
Русское мировоззрение (<i>вышел</i>)	Русская музыка
Русский образ жизни (<i>вышел</i>)	Русская наука
Русская география	Русская школа
Русское хозяйство (<i>вышел</i>)	Русское воинство
Международные отношения	Памятники Отечества
Национальные отношения	Русские за рубежом
Русская литература (<i>вышел</i>)	Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершённым сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используют опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

- Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.

Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.;
т. 2 – 624 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спаский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Платонов О. А. Массонский заговор в России, 1344 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.

Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.

Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.

Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.

Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.

Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.

Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.

Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.

Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.

Платонов О. История цареубийства, 768 с.

Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.

Башилов Б. История русского масонства, 640 с.

Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.

Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.

Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.

Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.

Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.

Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, rodina@gw.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)